

Михаил

ЧЕРНОКОВ

Избранные произведения



МИХАИЛ ЧЕРНОКОВ

Избранные произведения



Фотография на фронтисписе: М.В. Черноков
(из фонда ЦГАЛИ СПб.)

Редакторы: *Л.Е. Каршина, Е.Ш. Галимова*
Технический редактор *Е.Ю. Назарова*
Дизайн, вёрстка: *М.В. Антипина, А.В. Бобров*
Набор текста: *Н.А. Королькова, Д.С. Мосеева,*
Е.Г. Собина, Ж.В. Яницкая
Корректоры: *С.В. Калинина, Ю.С. Кузнецова*

Подписано в печать 19.12.2016. Формат 60×84/16
Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 25,11.
Тираж 500 экз. Заказ № 1294.

Отпечатано в ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.
E-mail: zakaz@ippps.ru, сайт www.ippps.ru

Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области
«Архангельская областная научная ордена “Знак Почёта”
библиотека им. Н. А. Добролюбова»

Северная библиотека
Серия основана в 2006 году

МИХАИЛ

ЧЕРНОКОВ

Избранные произведения

Архангельск
2016

УДК 821.161.1(081)
ББК 84(2Рос=Рус)64я44
Ч-49

Составители: Л. Е. Каршина, Е. Ш. Галимова
Автор вступительной статьи Е. Ш. Галимова

Черноков, Михаил Васильевич.

Ч-49 Избранные произведения : [сборник] / Михаил Черноков ; [авт. вступ. ст. : Е. Ш. Галимова ; сост. : Л. Е. Каршина; Е. Ш. Галимова] ; Гос. бюджет. учреждение культуры Арханг. обл. «Арханг. обл. науч. ордена "Знак Почёта" б-ка им. Н. А. Добролюбова».— Архангельск : Правда Севера, 2016.— 432 с. : [1] л. фот.— (Северная библиотека).

ISBN 978-5-9909384-3-4

Агентство CIP Архангельской ОНБ

В сборнике избранных произведений Михаила Чернокова, уроженца Архангельского Севера, представлены произведения различных жанров: роман, повести, рассказы, воспоминания. М. В. Черноков – писатель, чьё творческое наследие современному читателю предстоит открывать для себя заново. Книги его, посвящённые родному Усть-Мошскому краю, выходили в 30-е годы XX века и с тех пор ни разу не переиздавались. Надеемся, что предпринятое переиздание лучших произведений талантливого, оригинального, светлого писателя Михаила Васильевича Чернокова вызовет интерес ценителей хорошей литературы.

Открывает сборник статья «Возвращение Михаила Чернокова», написанная профессором САФУ Е. Ш. Галимовой. В приложении помещён список произведений М. В. Чернокова и литературы о нём.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

УДК 821.161.1(081)
ББК 84(2Рос=Рус)64я44

ISBN 978-5-9909384-3-4

Возвращение МИХАИЛА ЧЕРНОКОВА

Есть на просторах Северной России место, которое даже по меркам этой щедрой на талантливых людей земли выделяется особо, так как дало миру сразу несколько ярких литературных имён. Здесь, в древнем Усть-Мошинском краю (так называются земли и куст деревень в районе впадения реки Моши в Онегу), родились обретший всероссийскую известность писатель Алексей Павлович Чапыгин (1870–1937); поэт Александр Дмитриевич Чуркин (1903–1971), автор любимых многими поколениями русских людей песен «Вечер на рейде» и «Город над вольной Невой»; поэт-революционер Фёдор Степанович Чумбаров-Лучинский (1899–1921), проживший совсем короткую жизнь – всего двадцать два года; критик и публицист Дмитрий Яковлевич Одинцов (1887–1975).

Здесь же в 1887 году родился Михаил Васильевич Черноков, писатель, творческое наследие которого потомкам предстоит открывать для себя заново. И это наследие, безусловно, того заслуживает.

В 1980-е годы уже предпринимались попытки вернуть это забытое имя читателям и историкам литературы.

Первым в 1981 году написал о Михаиле Чернокове известный библиограф, историк книги Арлен Блюм, опубликовавший в «Альманахе библиофила» статью «Забытая страница библиофильской прозы» с подзаголовком «Михаил Черноков и его роман “Книжники”». Началось всё с того, что А. В. Блюму попала в руки необычайно заинтересовавшая его книга, которую он охарактеризовал как «поистине редчайшее, если не уникальное в своём роде явление русской литературы», поскольку этот роман «полностью, буквально от первой до последней строчки, посвящён библиофильской и шире – книжной теме, проникновенному изображению удивительного мира книги, её творцов и собирателей»*. А интерес к книге побудил библиографа разузнать больше об авторе, имя которого было ему незнакомо. И сегодня значительная часть сведений о Михаиле Чернокове, доступная нам, – результат тщательных разысканий А. В. Блюма. Позднее, во второй половине 1980-х годов, внимание к жизни и творческому наследию Чернокова проявили известный архангельский журналист, издатель и «летописец» литературной жизни Севера Б. С. Пономарёв и М. Скороходов, в ту пору – студент Архангельского пединститута. Но всё-таки полного, настоящего возвращения Чернокова читателю в 1980-е годы не произошло, потому что не были переизданы его книги (они не переиздавались с 1930-х годов и стали библиографической редкостью).

Биографические сведения о Михаиле Васильевиче Чернокове не слишком подробны, но всё-таки дают представление об основных этапах его жизненного пути и основных событиях на этом пути.

Родился он 1(13) ноября 1887 года в крестьянской семье. Родителей его звали Василий Филиппович и Анастасия Филимоновна**.

В ту пору его родная деревня Черноково вместе со всем обширным кустом усть-мошинских деревень (Усть-Мошским приходом) входила в состав Пудожского уезда Олонецкой губернии (а впервые древний погост Усть-Моша упоминается в документах Великого Новгорода ещё в 1137 году). В начале XX века вокруг волостного центра – села Федова

---

* *Блюм А.* Забытая страница библиофильской прозы (Михаил Черноков и его роман «Книжники») // Альманах библиофила. М., 1981. Вып. X. С. 223.

** Государственный архив Архангельской области. Ф. 29. Оп. 39. Д. 160. Л. 174–175.

располагалось более 80 деревень. Позднее усть-мошинские деревни перешли в состав Каргопольского уезда Вологодской губернии, затем – в Приозёрный район Северного края. Сейчас в муниципальном образовании «Федовское», расположенном в Плесецком районе Архангельской области, 38 деревень.

Биографы пишут о том, что будущий писатель рано осиротел. Кроме него у матери на руках были ещё два сына и дочь. В этих краях наряду с относительно развитым земледелием (по сравнению с более северными районами), животноводством и традиционным северным промыслом, охотой, в XIX – начале XX века широкое распространение получило отходничество. На заработки отправлялись чаще всего в Петербург. Туда же, к уже закрепившейся в столице родне, посылали и подросших детей – «в люди». Такой путь, как до него самый известный его земляк и будущий друг – писатель Алексей Чапыгин, совершил в отрочестве и Михаил Черноков.

В автобиографии писателя, обнаруженной А. В. Блюмом в одном из архивов, говорится: «Учился в сельской школе, а потом, когда стал ездить в Петербург на заработки, ещё учился на общеобразовательных курсах. Писать начал поздно. Первый рассказ напечатал в “Ежемесячном журнале” в 1916 г., напечатал два рассказа в “Летописи” М. Горького. От литературных занятий отвлекала служба в старой армии и затем гражданская война. Во время гражданской войны на Севере я был волостным военным комиссаром в прифронтовой полосе. В 1924 г. приехал в Ленинград и долгое время работал в книжном фонде. Писал мало. Вышли в свет две книжки рассказов и три повести. Последняя повесть (по времени издания) вышла в 1940 г. В ближайшее время сдаю в печать книгу об интервенции на Севере»*.

Эта автобиография написана 20 февраля 1941 года.

Блокадной зимой 1941/42 года (по другим сведениям – в 1943 году) тяжелобольной писатель вместе с сыном (жена Чернокова умерла ещё в 1930-е годы) был эвакуирован из осаждённого Ленинграда. Биографы пишут, что он намеревался поселиться в родной деревне. Но этим планам не суждено было сбыться. Сведения об обстоятельствах его смерти расходятся. Одни пишут, что Михаил Васильевич Черноков и его сын «погибли во время налёта фашистской авиации, бомбившей колонну автомашин на Ладожском озере» в 1941 году, другие – что писателю удалось доехать до Вологды, где он скончался 17 апреля 1943 года**.

Дополняя писательскую автобиографию, исследователи жизни и творчества Михаила Чернокова упоминают о том, что, окончательно переехав в 1924 году в Петроград, он поселился в доме-общежитии писателей на улице Литераторов (на Аптекарском острове). В этом доме, построенном для писателей ещё до революции, жил и Алексей Чапыгин; здесь же в 1925 году обосновался и их младший земляк Александр Чуркин.

Работал Михаил Черноков в Государственном книжном фонде, который был создан в 1919 году, чтобы «пополнять главные государственные книгохранилища и удовлетворять требования различных просветительных организаций, испытывавших нужду в книгах»***. В те годы, когда лишились своих владельцев богатые книжные собрания, хранившиеся в помещичьих усадьбах и городских особняках, задачами фонда стали «учёт, собирание, охрана и распределение бесхозяйных и неправильно используемых книжных имуществ.

* Цит. по: *Блюм А.* Указ. соч. С. 225–226.

** *Макаров Н.* К 115-летию со дня рождения писателя Михаила Чернокова // Правда Севера. 2002. 28 нояб.

*** *Берков Н. П.* История советского библиофильства (1917–1967). М., 1971. С. 36.

Поступавшие в Государственный книжный фонд собрания в значительной степени шли на комплектование государственных и профсоюзных библиотек». Благодаря деятельности сотрудников фонда «центральные государственные хранилища (Румянцевский музей в Москве, Государственная Публичная библиотека и Библиотека Академии наук в Петрограде) пополнились большими и очень ценными поступлениями, в высокой степени обогатившими их»*.

Работа с книгами, среди которых встречались и настоящие редкости, судя по тому, как пишет Черноков о книгоиздании, букинистических лавках, собирателях-библиофилах в своём романе «Книжники», пришлась ему очень по душе.

Изданные до войны книги Михаила Чернокова, о которых он упоминает в автобиографии, – это сборники рассказов «Тёплые росы» (1926) и «Простор» (1930), а также повести «Житие Васьки Змиева» (1931), «Охотники» (1936), «Близкое и далёкое» (1940). Почему-то не упомянул Черноков о том, что в 1931 году отдельным изданием вышла первая книга его романа «Книжники» (может быть, потому, что роман не был дописан). Кроме того, в 1937 году в журнале «Звезда» была опубликована его повесть «Председатель», а в 1938-м в альманахе «Север» – воспоминания об А. П. Чапыгине.

Не такое уж малое литературное наследие.

Почему же так давно и прочно имя писателя оказалось забыто? Почему не состоялось его настоящего возвращения к читателю в 1980-е годы, на витке нового интереса к нему библиофилов и краеведов? Может быть, его литературный талант невелик? Или произведения целиком и полностью укладываются в рамки своего времени и не способны перешагнуть через эти рамки?

Но чтение прозы Михаила Чернокова – всех опубликованных им произведений – убеждает, что проза эта яркая, живая, интересная, что писатель, безусловно, по-настоящему талантлив, что он имеет свой почерк, свой стиль, что некоторые его языковые находки заставляют замирать в восхищении и напоминают открытия А. Платонова.

Тогда в чём же дело?

Найти ответ (хотя бы частичный) на этот вопрос помогло знакомство с рецензиями на произведения Чернокова, публиковавшимися в периодике 1920–1930-х годов. Благодаря стараниям и заинтересованности Л. Е. Каршиной, библиографа отдела «Русский Север» Архангельской областной научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова, нам стали доступны многие из этих рецензий. И общий тон их таков: писать так, как пишет Черноков, нельзя. Нельзя живописать дореволюционную деревню так, что становится непонятно, зачем же при такой жизни крестьянам понадобилась революция. Нельзя уделять так мало внимания классовой борьбе. Нельзя не рассказывать о становлении колхозов. И так далее.

Конечно, он писал и о классовой борьбе, и о колхозном строительстве. И о Гражданской войне (неоконченную книгу о которой упоминает в автобиографии), пытаясь соответствовать идеологическим требованиям эпохи. Порой следы этих попыток видны. Впрочем, больше заметны следы редакторского насилия. Во всяком случае, черновики рассказа с редакторской правкой, сохранившиеся в издательском архиве, со всей наглядностью демонстрируют то, как нещадно обращались в издательстве с рукописями Чернокова.

Но всё же главное у Михаила Чернокова, то, что заслуживает долгой и счастливой литературной жизни, – не эти конъюнктурные, как правило, не удававшиеся попытки (которых, в общем-то, и немного), а его лучшие произведения: многие рассказы, повести –

---

* *Берков Н. П.* Указ. соч. С. 36–37.

«Житие Васьки Змиева» и «Охотники», роман «Книжники». Именно эти лучшие произведения писателя и вызывали нападки критиков рапповского толка (в частности, лидеров существовавшего в начале 1930-х годов Ленинградского отделения Российской организации пролетарско-колхозных писателей), ругавших Чернокова за «мировоззренческое отставание», «увлечение общечеловеческими иллюзиями» и «подмену социалистической реконструкции деревни культурничеством народнического толка»*.

Сегодня то, за что критики тех лет ругали прозу Чернокова, воспринимается как достоинства этой прозы. Хула звучит как похвала. Ибо, конечно, непросто было ему под таким градом отрицательных отзывов продолжать писать, сохраняя свой подход к изображению жизни, свой взгляд на мир, свой стиль.

Думается, что такая горестная для писателя судьба – забвение – постигла Чернокова, как это ни парадоксально, потому, что он не был ни среди репрессированных, ни среди эмигрировавших писателей, наследие которых активно возвращалось отечественному читателю с конца 1980-х годов. При жизни печатался, репрессиям не подвергался, в эмиграцию не уезжал и не погиб на фронте (это тоже могло бы привлечь внимание к его творчеству), а не то умер, не то был убит во время эвакуации. Тихая, не выделяющаяся жизнь. Не нашлось ни активных родственников, ни заинтересованных земляков, кто бы добивался переиздания его книг.

Полнее всего, больше всего о писателе рассказывают его книги, даже если это не исповедальная лирика и не документальная проза о событиях собственной жизни. В любом случае личность автора раскрывается в его творениях.

По книгам Михаила Чернокова становится очевидным, что для него главными, наиболее притягательными были две сферы жизни: во-первых, всё, что связано с книгой (от истории книгоиздания, библиографических редкостей, искусства оформления книги до распространения грамотности и книготорговли на селе в пореволюционной России); во-вторых, прошлое и настоящее северной деревни, его родного Поонежья. Об этом он и писал. Писал по-своему, никому не подражая. Самое общее впечатление о писателе Михаиле Чернокове, оставшееся после знакомства с его прозой, – то, что это писатель светлый, жизнеутверждающий, открытый, со здравым и ровным душевным устроением, настроенный на созидание.

Первые опубликованные рассказы Михаила Чернокова позволяют увидеть, в русле какой традиции формировалась его проза, какие проблемы его волновали, какой материал привлекал. Ранние произведения писателя прежде всего свидетельствуют о его любви к традиционному укладу северорусской деревенской жизни, ко всему природному космосу, в котором осуществлялась эта жизнь, а главное – к землякам, к тем северным охотникам, земледельцам, рыбакам, о которых Черноков писал как о людях внутренне ему близких, родных, как о людях ярких, сильных, значительных.

Характеры героев Михаила Чернокова – и это будет присуще и более поздним произведениям писателя, всему его творчеству – более здоровые, цельные, светлые, нежели характеры персонажей северных произведений Алексея Чапыгина, в которых нередко преобладают тёмные инстинкты или всякого рода психологические «выверты», обусловленные уродствами социальных отношений и странностями человеческой натуры. В отли-

---

* См.: *Михайлов А. И.* Ленинградское отделение Российской организации пролетарско-колхозных писателей (1931–1932 гг.) // Из истории литературных объединений Петрограда–Ленинграда 1910–1930-х годов: исследования и материалы. Кн. 1. СПб., 2002. С. 327–361.

чие от Чапыгина (считавшего, впрочем, не без оснований, Чернокова своим учеником), в поэтике которого влияние модернизма начала XX века более ощутимо, Михаил Черноков оставался в русле реалистической традиции, хотя ритмы времени, безусловно, ощущал и отражал в своей прозе.

Михаил Черноков начинал свою творческую деятельность, следуя традициям и откликаясь на новации, он искал свой путь, своё собственное место в литературном процессе эпохи. Ничего не ниспровергая, избегая демонстративно новаторских подходов, не пытаясь поразить и ошеломить читателя, он спокойно и уверенно повёл свою борозду на общем поле российской словесности.

Рассказ «Бурый», одно из первых опубликованных произведений Михаила Чернокова, появился в горьковском журнале «Летопись». Несомненно, решающую роль в том, что Черноков отнёс свой рассказ именно в «Летопись», сыграло то обстоятельство, что с этим журналом сотрудничал Чапыгин, опекавший своего земляка. Но, видимо, Чернокова привлекало и творчество Максима Горького, то, о чём и как он пишет. Это и не удивительно: в предреволюционные годы влияние Горького на молодых авторов, прежде всего – писателей из народа, было огромным. Во всяком случае, нельзя не заметить, что многое в рассказе Чернокова напоминает раннюю горьковскую прозу (да и не только раннюю, если вспомнить, к примеру, опубликованный в 1925 году роман «Дело Артамоновых») с её вниманием к ярким, талантливым русским предпринимателям, первонакопителям, выходцам из социальных низов, становившимся промышленниками или купцами благодаря своей энергии, силе воли, мощи характера. И благодаря способности преступить закон, в том числе и нравственный, что так ярко показал Горький в повести «Фома Гордеев».

Ерофей Кузьмич, главный герой рассказа Чернокова «Бурый», по происхождению – крестьянин. Он, подобно горьковскому Игнату Гордееву, выбившемуся в судовладельцы из чернорабочих, разбогател и «стал первым человеком в селе; все шли к нему: кому надо деньги, бери у Бурого; сена, кожи, рыбы – всё можно достать у Бурого». Но так же, как и герой Горького, Бурый порой «нет-нет да и выкинет какую-нибудь штуку»: то ни с того ни с сего сожжёт своё гумно, то в церковный праздник наденет на себя медвежью шкуру и пойдёт по селу на четвереньках...» Характерно, что и внешне персонажи похожи: «В мощной фигуре его было много русской, здоровой и грубой красоты; от его плавных движений и неторопливой походки веяло сознанием силы» (Игнат), «лицо моложавое, здоровое... Высок и силён, как медведь» (Ерофей).

Черноков рассказывает, как ездил Ерофей с сыном Ильюшкой в приозёрные деревни скупать рыбу, как соперничали отец и сын из-за красивой работницы Васишки, как победил Ильюшка в последнем соревновании-поединке Ерофея, погибшего при попытке поднять огромный валун. (Почти такую же смерть спустя несколько лет опишет Максим Горький в «Деле Артамоновых», его Илья Артамонов тоже надорвётся, пытаясь поднять неподъёмную тяжесть.) Похожая любовная коллизия и в другом рассказе Чернокова – «Постройка», только там соперником богатого лесопромышленника Граева становится не сын, а молодой плотник, работавший на строительстве нового граевского дома.

И в дореволюционных, и во многих печатавшихся в советское время рассказах Михаил Черноков, казалось бы, расставляет все классовые акценты «правильно», показывая хищничество «хозяев жизни», но при этом возникает ощущение, что гораздо больше ему хочется не обличать, а любоваться красотой природы, описывать бытовой и хозяйственный уклад – лад – жизни земляков, показывать их в работе и в забавах.

Всё творческое наследие Чернокова свидетельствует о том, что ему интереснее бы-

тийная, а не событийная сторона жизни, сам феномен жизни, вся полнота её. В этом он сродни Чехову и Бунину, прозу которых современные исследователи определяют как феноменологическую.

Критики упрекали Чернокова в «бытовизме», в том, что его рассказы перегружены «посторонними для замысла деталями»*, но именно детали, частности, подробности – бытовые, хозяйственные, пейзажные, психологические – интереснее и важнее для него как для писателя, чем событийная канва его произведений. Порой кажется, что сюжет он прописывает исключительно по необходимости: должен быть сюжет в произведении – ничего не поделать, критики требуют, но в действительности интересно ему рассказывать не о событиях, а о феномене каждого явления жизни, о её драгоценных подробностях и «мелочах». Поэтому нередко его рассказы производят довольно странное впечатление, кажутся дисгармоничными: сюжет словно существует сам по себе, а жизнь в её подробностях – сама по себе, и она «перетягивает» повествование на себя, привлекает большее внимание и писателя, и читателя и кажется достовернее и значительнее, чем сюжетные события.

Конечно, при таких особенностях мировидения и писательской манеры очень важно найти адекватные этим особенностям жанровые формы. И Черноков ищет.

Повесть «Житие Васьки Змиева», опубликованная в 1931 году, в 1933-м была переиздана под названием «Жизнь Васьки Змиева». Сопоставив две редакции, нетрудно заметить, что изменилось не только название. Второй вариант повести пространнее – появились две заключительные главы. По-разному решены и некоторые сцены. Немало и стилистических исправлений. В целом первая редакция повести производит впечатление более свободно, раскованно написанной, поэтому для публикации в предлагаемом вниманию читателя сборнике мы выбрали её (отмечу, что такой же выбор – в пользу текста первой публикации – мы сделали и для рассказа «Крутая ступь»).

«Житие Васьки Змиева» написано в сказовой манере, очень распространённой в ранней советской прозе. Сказовый тип повествования, при котором герой, причём герой из народа, сам рассказывает историю своей жизни или какие-то отдельные её эпизоды, ориентирован на устную речь, стремится воспроизвести особенности именно разговорной речи, часто – необразованного или малообразованного человека. Писатели 1920-х годов очень любили сказ, поскольку он давал возможность новому герою как субъекту истории и герою новой литературы, адресованной новому читателю, рассказывать о себе так, что возникала иллюзия отсутствия автора, общения героя и читателя напрямую, без посредничества писателя. Автор «умалялся», отходил на задний план, отдавая и эту роль – роль автора произведения – своему герою-рассказчику. Новаторство повествовательной формы было продиктовано социальным новаторством эпохи, напрямую связано с ним, обусловлено им. Человек из народа, как верилось многим в ту пору, в самые первые пореволюционные годы, становился делателем истории, творцом новых форм государственности. В 1920-е годы к сказу обращались такие определяющие развитие прозы тех лет писатели, как Михаил Шолохов, Борис Пильняк, Леонид Леонов, Евгений Замятин и, конечно, Михаил Зощенко. Сказовый тип повествования получил развитие и в творчестве авторов-северян, прежде всего – Бориса Шергина и Степана Писахова.

К началу 1930-х годов сказ постепенно уходил с литературной авансцены, уступая свои позиции более традиционным формам повествования, поскольку государство всё отчётливее сигнализировало своим подданным, что социальное творчество – дело госап-

* *Шухер В.* [М. Черноков. Простор] // Резец. 1930. № 32. С. 17.

парата, а народ допускается к этому процессу очень осторожно, избирательно, и скорее условно, чем реально.

Главный герой и рассказчик повести Михаила Чернокова – сын кузнеца, уроженец северной деревни, имеет, кроме глубоких крестьянских корней, и не менее глубокие литературные корни. Не случайно рецензент А. Плиско в отклике на «Житие Васьки Змиева», опубликованном в 1931 году, упоминает об «авантюрных положениях»*, к которым прибегает автор. Васька Змиев напоминает смекалистых и ловких солдат из русских авантюрно-новеллистических сказок, тех солдат, кому ничего не стоит суп из топора сварить. Герой повести Михаила Чернокова – одновременно и узнаваемый социально-исторический тип, северный крестьянин, воевавший в Первую мировую войну, освобождавший Русский Север от интервентов, связывающий свои чаяния с новой властью, и одно из многочисленных фольклорных и литературных воплощений архетипа трикстера. Васька сродни целой плеяде таких персонажей – от Хаджи Насреддина и Тиля Уленшпигеля до Шиша Московского. Среди героев молодой советской прозы Ваське Змиеву ближе всего Назар Ильич Синебрюхов, созданный Михаилом Зощенко.

Повесть Чернокова и её герой весьма характерны для ранней советской литературы. Писатель стремился показать поиск самим народом, самим крестьянством новых форм жизни, социального устройства, новых способов хозяйствования. Показать живой, творческий характер этого поиска. И этим «Житие Васьки Змиева» сближается с романом Андрея Платонова «Чевенгур», в котором представлен широкий спектр самых разных, нередко – причудливых и нелепых форм социального творчества народа, охваченного стремлением построить новый мир.

И с фольклорными авантюрными сказками, и с «Чевенгуром» повесть Чернокова сближает сюжетообразующий мотив странствия. Стремление показать жизнь не одного села, а большого края в целом, представить читателю множество самых разных людей, как и те возможности создания различных авантюрно-приключенческих коллизий, которые даёт мотив странствия, перемещения героя, видимо, обусловили выбор писателем именно такого способа сюжетостроения. Васька путешествует не по заморским странам и неведомым землям, а по родному Поонежью. Но для современного читателя, даже для уроженца Русского Севера, места, где происходит действие повести, – не меньшая экзотика, чем какие-нибудь тихоокеанские острова. Этого, конечно, Михаил Черноков предвидеть не мог. Время действия повести – первые пореволюционные годы, период Гражданской войны и иностранной военной интервенции. В то время земли, которые описывает Черноков, были густонаселённы. Одна из первых деревень, куда попадает партизан Васька, убегая от преследователей, расположена на Кожеозере (Кожозере). Сегодня эти места – на многие десятки и даже сотни километров вокруг – безлюдны. Чтение повести вызывает, помимо всего прочего, интерес ещё и потому, что позволяет увидеть, как кипела жизнь в этих краях век тому назад, какие надежды связывали крестьяне с новой властью, призванной, как им думалось, открыть северянам новые возможности по освоению их лесного и озёрного края, прекрасного и обильного.

К нашим дням обернулось всё запустением.

В последние годы, особенно с развитием геопоэтической составляющей литературоведческих исследований, становится особенно очевидным, что для формирования представлений о той или иной территории (регионе и стране в целом) определяющим является «литературная освоенность» (термин Дм. Замятина) этой территории. При этом, если «в

---

* *Плиско Арс.* Михаил Черноков : (литературный портрет) // Перелом. 1931. № 7. С. 40–45.

Европе практически любой небольшой регион или местность могут “похвастаться” своими образами, запечатлёнными в тех или иных литературных произведениях», то значительные пространства России, особенно Сибири, Дальнего Востока, Севера «фактически отсутствуют в литературных образах и описаниях», они как бы молчат, их природные и культурные ландшафты до сих пор недостаточно представлены на литературной карте России»*. Так что и в этом – геопоэтическом – отношении повесть Чернокова важна и интересна, как и другие его произведения.

При том, что в «Житии Васьки Змиева» отражены события Гражданской войны и интервенции на Севере, общий её настрой удивительно жизнерадостен. Михаил Черноков написал весёлое произведение, проникнутое комизмом, не только своим главным героем, но и общим настроем, стилистикой близкое авантюрно-новеллистической фольклорной сказке. В повести нет трагизма, хотя упоминаются и сражения, и жертвы. С первых же сцен, с развёртывания ряда комических положений, заданных карнавальным мотивом переодевания героя в священническое облачение и бегством его от преследователей, задаётся лёгкий, «праздничный» тон повествования. И это при том, что сценам спасения Васьки и его деятельности в роли «явленного попа» предшествует сообщение героя-рассказчика о гибели его товарищей: «...на глазах у меня пали Федя Петухов и Степан Терентьич, – говорит он, – да и меня хватала за горло смерть, гнула к земле». На протяжении всего повествования герой сохраняет праздничное восприятие жизни: сама жизнь для него является праздником, и это его мироощущение невозможно истребить.

В первых главах повести раскрывается характер Васьки Змиева, а точнее – определяется его типаж, поскольку Черноков создаёт не столько индивидуальный характер, сколько типическое и даже, как отмечалось выше, архетипическое воплощение одной из граней народного характера. Примечательно, что в повести используется уменьшительно-пренебрежительная форма имени героя, подчёркивающая его «несерьёзность», шутовство, трикстерскую сущность его натуры. Отдельные автобиографические сведения герой-рассказчик сообщает по ходу повествования, время от времени упоминая то одно, то другое обстоятельство своей жизни. Постепенно выясняется, что Ваське двадцать восемь лет, что он – «сын кузнеца из деревни Большие Луга» (отметим, что название деревни перекликается с названием родной деревни Алексея Чапыгина – Большой Угол; а неподалёку, в среднем течении реки Онеги, есть деревня Змиево, сейчас уже нежилая), что довелось ему учиться в Каргополе, в уездном училище и в ту пору «не было во всём городе озорнее Васьки Змиева», что когда-то в юности он «работал у хорошего книжника», что ему довелось повоевать и в Первую мировую, и в Гражданскую войну.

О событиях Гражданской войны и иностранной интервенции на Севере Михаил Черноков знал не понаслышке, поскольку сам принимал в них участие. В повести нашло отражение многое из происходившего в те годы на Севере: и восстание 11 декабря 1918 года солдат созданного незадолго до этого Архангельского полка Белой армии, воспротивившихся отправке на фронт, и жестокое подавление этого восстания, и боевые действия на Онеге. Но при этом нельзя не заметить, что акценты в осмыслении происходящего делаются на иностранной интервенции, а не на братоубийственной войне «красных» и «белых». Достаточно сравнить «Житие Васьки Змиева», например, с «Донскими рассказами» Михаила Шолохова, чтобы увидеть, насколько чужды в массе своей герои Чернокова, северные крестьяне, классовой ненависти, как ранит их души сама мысль о войне русских с

* *Замятин Дм.* География русской литературы // Введение в геопоэтику : одиночные экспедиции в океане смыслов : антология. М., 2013. С. 308.

русскими. Так, Сенька Заводихин, «матёрый мужик» из Порожской волости, страдающий от братоубийственной розни, собирается уйти от людей, скрыться в лесной пустыни. Он с болью говорит о том, что по всей Русской земле «в деревнях бьются, на полях бьются и в лесах тоже». Но когда Васька говорит ему о необходимости защиты родной земли от иноземных захватчиков, Сенька с готовностью соглашается: «Англичанку-то, пожалуй, надо вышибить».

Васька вспоминает рассказ своего деда о вторжении интервентов на Север в ходе Крымской войны, об обстреле англичанами в 1854 году Соловецкой обители, тем самым вписывая очередное нашествие захватчиков в общую многовековую историю защиты Руси-России от внешнего врага.

Основное внимание в «Житии...» уделяется первым шагам деревни на пути к новой жизни. Для самого Васьки главным представляется просвещение односельчан, и он начинает обучать их грамоте, весьма успешно. А главным генератором идей по переустройству сельской жизни становится в повести председатель исполкома Меркурий Матвеич, который «подкупил народ уменьем всё делать». Именно в связи с ним вспоминаются герои Андрея Платонова, прежде всего его «Чевенгура», занятые поиском способов – часто весьма фантастических – переустройства хозяйственных и общественных отношений, изобретатели-самоучки. Неутомимый Меркурий, считавший, что «деревня в таком нынешнем виде никуда не годится», организует масштабное осушение болот и заготовку торфа, начинает строительство кооперативного кожевенного завода, моторного судна, планирует наладить добычу мышьякового колчедана и даже пробует реформировать систему воспитания крестьянских детей: «ребят нельзя пороть, нельзя при них ругаться похабно, надо бы для них летом детские площадки, купанье в реке до поздней осени и даже зимой обливать ребят холодной водой».

При этой, казалось бы, несомненной устремлённости в будущее, герои Чернокова часто вспоминают прошлое, причём это прошлое таково, что, как саркастически отмечали рецензенты, «изображение старой деревни как какого-то весёлого, сдобного, райского жития» вызывает закономерные вопросы: «зачем такой деревне надо было впрягаться в гражданскую войну, в партизанщину»?*

Михаил Черноков и его герои не боялись говорить о том, что далеко не всё в дореволюционной жизни северной деревни было плохо. Напротив, вспоминая «старину», Васька Змиев свидетельствует: «Здесь раньше у стариков бывали сказочные дела. Край был богатый. Уток ребята весной палками били, лесную дичь можно было из окошка стрелять, и зверя всякого стада-стадами. Трава на лугах росла на славу. Старики рубили большие избы и дворы, чистили в лесу поляны, жгли мелкий лес. Удобренная золой земля, по словам стариков, давала урожай ржи сам-шестьдесят, а то и больше». И, словно спохватываясь, что нельзя так описывать старое житьё, герой добавляет, что случались и неурожаи, и тогда наживались богатые мужики.

А вот как описывает один из героев повести, выдающий дочь замуж, как до революции его земляки-крестьяне «свадебничали»: «Шуму, веселья сколько было. Пока обедали да чаёвничали, можно было напиться и выспаться, потом снова пить. За обедом подавали на первое селёдки архангельские, за селёдкой, знаешь, тресковый рыбник, потом рыбники: зубатка, камбала одноглазая, палтус синий или белый, потом щука свежая или налим, бывали и лещи, язи, потом щи, говядина, студень; квас всё время на столе, как сейчас. После студня пойдут пироги из крупчатки сдобные. Насчёт пирогов у нас бабы мастерицы.

---

* *Брайнина Б.* [Житие Васьки Змиева] // Художественная литература. 1934. № 1. С. 56.

Или блины подадут, тут, брат, не то что не хочу иль сыт, а блины сами в рот лезут. Мы нынче со сватом уж не по-прежнему, а всё-таки кое-что раздобыли, иное берегли с просторного времени».

Писатель и его герои-крестьяне не видят непримиримых противоречий, непроходимой пропасти между «старым» и «новым», у них нет стремления разрушить весь прежний мир до основания, напротив, всё дорогое, привычное, нужное крестьянину необходимо сохранять, а всё несправедливое, неразумное, косное – исправлять и изменять.

Корили Чернокова суровые критики рапповского толка и за то, что он «никогда не показывает активного сопротивления классового врага», что в его произведениях «кулаки зарисованы настолько мягко, что просто поражаешься, как можно пролетарско-колхозному писателю так относиться к ним». «Просто недоумеваешь, – восклицал критик, – как можно писать в настоящее время, не зная таких простых истин, как, например, классовая борьба в деревне»*.

Действительно, и в «Житии Васьки Змиева», и в других произведениях Михаила Чернокова богатые крестьяне изображаются хотя и малосимпатичными, но безвредными (или безрезультатно и малоэффективно пытающимися противостоять переустройству деревни). Но социальное расслоение деревни писатель показывает практически во всех своих повестях и рассказах, вовсе не идеализируя прошлое.

Мягкостью и даже, как ни странно звучит это определение в таком контексте, деликатностью отличается в повести (и во всей прозе Чернокова) и характер решения антирелигиозного и антиклерикального мотивов, без которых в 1920-е годы обходилось редко какое произведение советской литературы. В отличие от многих других авторов тех лет, Михаил Черноков и в «Житии Васьки Змиева» (само название которого, конечно, пародийно по отношению к христианской агиографической традиции), и в своём творчестве в целом не демонстрирует агрессивно-воинствующего неприятия религии. Его «прогрессивные» революционизированные герои относятся к своим верующим односельчанам, как правило, снисходительно: мол, что поделать, отсталые они пока. И главным способом распространения новой идеологии среди крестьян Васька, как и герои других произведений Чернокова, считают просвещение (в частности и поэтому критики обвиняли писателя в подмене «социалистической реконструкции деревни культурничеством народнического толка»).

В одном из самых доброжелательных отзывов на «Житие Васьки Змиева» отмечается выразительность языка повести, «богатство его оттенков». Автор рецензии Арс. Плиско считает, что «внутренняя, широкая, почти былинная ритмичность, яркая выразительность языка» повести позволяют поставить её «в один ряд с лучшими произведениями писателей-стилистов», что «чеканная и звучная северная речь нашла в Чернокове своего подлинного мастера»**.

Действительно, сказовая повесть Чернокова написана очень выразительным языком, сочетающим в себе и особенности северорусской речи, и своеобразие авторской манеры Чернокова. Многие его фразы словно «сгущены», уплотнены по смыслу, заставляют читателя вникать в них. Вот, например, как размышляет Васька, отправляясь на охоту: «Бывало, я занимался охотой или просто любил бродить в лесу с ружьём и никогда не думал, хорошо это или плохо, – довольно было того, что это занятно, – а потом я заметил, что охота вызывает в нас беспечный и весёлый дух, точно мы хотим в лесу, в полях разом взять то, что ежечасно теряем». При этом языковых выкрутасов, подчёркнутой и утрированной стилизации народной речи Черноков избегает.

---

* *Никитин.* Творчество Чернокова // Перелом. 1931. № 5. С. 65–66.

** *Плиско Арс.* Указ. соч. С. 44.

В целом «Житие Васьки Змиева» производит впечатление светлого, радостного произведения, полного надежд на будущее, которое, как верят герои, будет наполнено творческим и азартным трудом. И в то же время выбор в качестве главного героя неунывающего, любвеобильного весельчака, скомороха, балагура, восходящего к фольклорному прототипу, придаёт произведению некоторую полусказочность, фантастичность, будто рассказывает автор не о реальной жизни, а о чём-то не очень прочном и стабильном. Словно сами перемены – резкие, революционные – многовекового уклада деревенской жизни придают этой новой, меняющейся жизни ирреальность.

Может быть, стремление Михаила Чернокова писать не о настоящем или недавнем пореволюционном прошлом, а о временах более отдалённых объясняется присущей ему тягой к прочности, надёжности, традиционности – тем, чем отличается здоровый крестьянский консерватизм. Думается, не случайно действие и более поздней «деревенской» повести Чернокова «Охотники», и его романа «Книжники» происходит до революции.

Повесть «Охотники» по своей жанровой природе принципиально отличается от «Жития Васьки Змиева». Повествование ведётся в третьем лице, в очень сдержанной, лаконичной манере, при этом преобладает изображение событий из ракурса автора-повествователя, сочетающееся с персонажными точками зрения, то есть видением происходящего глазами героев повести.

Никаких дат, упоминаний о конкретных исторических событиях, никаких указаний на то, в какие именно годы происходит действие повести, нет. Возникает ощущение, что это время движется не линейно, а по кругу, по природному, календарному кругу, когда жизнь, ежеминутно меняясь в своих конкретных проявлениях, при этом в сущности своей, в основе остаётся неизменной и главные её хозяйственные и природные события, праздники, ярмарки, будни повторяются из года в год. Лишь в заключительных главах повести упоминается о земельной реформе («закон новый есть»), позволяющей «мужику в собственники выйти»: нетрудно понять, что речь идёт о Столыпинской аграрной реформе 1906–1907 годов. В то же время эта реформа перекликается с законом о земле 1831 года, о котором вспоминает столетний Захар Петухов (судя по всему, имеется в виду реформа государственной деревни, проводившаяся несколько позже – с 1837 по 1841 год).

И тем самым даже такое, казалось бы, отдельное, конкретное событие, как земельная реформа, тоже вписывается в череду повторяющихся, характерных для крестьянской жизни.

То же касается и места действия: мир деревни и её окрестностей, освоенных сельчанами: полей, лугов, лесов, вся крестьянская ойкумена – это космос, за пределами которого словно и нет ничего. Упоминаются другие деревни, упоминаются города, в том числе и столицы, другие страны, но они существуют где-то в другом измерении, почти не имея значения. Конечно, оттуда, из столиц, приходят законы и доносятся гулы мятежей, но они мало затрагивают жизнь села. И, выясняя у приехавшего в деревню бывшего матроса, который вышел из тюрьмы, не с теми ли он был, «кто царство шатали, царя и господ спихнуть думали», крестьяне ничуть не интересуются его взглядами.

И сам сюжет «Охотников» тоже строится на повторении – вновь и вновь, в разных вариантах – одного и того же жизненного круга. Состарился и умер, пройдя отмеренный ему путь, дед Агапей, прожила свою не очень долгую жизнь его любимая внучка Мариша – главная героиня повести, подрастает её сын, «лосёнок» Аким, вслед за дедом и матерью собирающийся стать охотником. Интересно, что Черноков наряду с «Охотниками», выпущенными отдельным изданием в 1936 году, опубликовал годом раньше в журнале «Звезда» и

«Детство Акима» – по сути, повесть со сходным содержанием, но с другим главным героем – подрастающим сыном Мариши. В «Охотниках» писатель изменил ракурс восприятия и изображения событий, но сохранил основные смыслы текста. То есть для него важна не столько индивидуальность характера того или иного героя, сколько общая панорама их жизни, содержание этой жизни. И можно с немалой долей уверенности предположить, что и самому Чернокову, судя по всему, близки мысли его героев о том, что «старого обычая держаться надо».

Рассказывая об этой жизни, показывая своих героев в трудах, заботах, на промысле и на отдыхе, Черноков лаконичен и сдержан, он избегает психологических нюансировок, эмоционально-экспрессивных оценок. Рисуя отдельные выразительные эпизоды, яркие сцены из жизни Агапея, Мариши, Терентия, других персонажей повести, о важных событиях и целых этапах жизни каждого из них, в том числе и главной героини, он зачастую говорит предельно кратко и подчёркнуто бесстрастно: «Мариша ещё одну осень промышляла с дедом. Он по-прежнему легко ходил в лесу, только совсем оглох и называл теперь себя старым псом. На осенней охоте Агапей простудился, слёг и больше уже не встал. В этом же году утонул в озере во время бури Фёдор, Маришин муж. На руках бабы остались двое ребят и свекровь Агафья Сидоровна».

Жизнь, в которую погружает Черноков своих читателей, трудна, полна лишений, бесконечных забот и трудов, таких трудов, что порой они кажутся запредельными. Так, после целого дня тяжелейшей работы в лесу, где Мариша с сыновьями работали на зажиточного соседа («рубили лес, выдирали кустарник, очищали от сучьев лесины и, обливаясь потом, размазывая по лицу смолу и грязь, ворочали кряжи, складывали в кучи»), она, еле добравшись до дому («ноги заплетались одна за другую, ныли спина и шея, висели плетьми руки»), освежившись купанием в реке, ночью идёт пахать поле. И называет это… отдыхом: «…за сохой идя, высплюсь, хорошо за сохой спится». Показывает писатель и то, как наживаются на охотниках перекупщики и как по-разному живут односельчане («у кого земли мало, у других вон сколько нахапано. Улейкин пять коров держит да тройку лошадей бешеных. Амбар хлеба. Мы впятером на одном наделе живём, а другие ещё того хуже»).

Но всё-таки главные акценты сделаны не на социальном расслоении и не на тяготах крестьянской жизни. Эта трудная жизнь показана Черноковым прежде всего как достойная. Она наполнена смыслом, и не примитивным – необходимостью физического выживания, а истинным, высоким смыслом, который подспудно ощущается его героями, даже маленьким Акимкой: «За работой мужик, на каком бы он счету ни был в деревне, казался Акиму достойным всяческого почтения. Любая работа, выполняемая обыкновенно мужиками просто, умело, без особенных усилий, делала их в глазах Акима лучше, добрее, веселее, смотреть на них никогда не наскучит».

И многие сцены в повести наполнены особой красотой этого высокого смысла простого труда. Так, выходит в поле отстаивающий своё право самому засевать первую полосу («точно просыпается в старике весной трудовой дух») древний Куропоть, а мужики, остановив свою работу, смотрят на него с почтением: сеет он «тихо, спокойно и ещё легко для своего возраста», так, что «невольно заглядишься на него и ждёшь чего-то». И все крестьяне на пахоте «работают с каким-то особенным увлечением, даже с жадностью, это заметно на каждом лице – потном и весёлом».

И Мариша на охоте радуется совсем не только добыче. Она живёт запахами, звуками, красотой природного мира, растворяется в нём.

Охотники Михаила Чернокова – и Мариша, и дед Агапей, и Терентий, и Аким – сильные, независимые и красивые люди. Они, особенно Мариша, занимаются и крестьянским, земледельческим трудом, но именно те качества, которые требуются от охотника: смелость, даже отвага, решительность, быстрота реакции, наблюдательность, необходимость принимать решения и брать всю ответственность на себя, – делают их особенно дорогими автору и сближают их натуры с характерами поморов – недальних их соседей.

В одном из произведений Михаила Чернокова герой, проживший долгую жизнь, много испытавший и много видевший на своём веку («всю-то жизнь мою пересказать, так год надо слушать»), подытоживает: «Кто мужиком не бывал, тот полностью жизни и красы не знает». Но добавляет: «А век землю пахать тоже не стоит, скуса жизни другой не будешь знать. Я век так жил и тебе так велю», – говорит он внуку («Когда цветёт рожь»). Творчество Михаила Чернокова свидетельствует о том, что эта позиция близка и его любимым героям, и самому писателю.

В воспоминаниях об Алексее Чапыгине Черноков, рассказывая о том, как любил его старший товарищ «сказочный мир Севера», пишет: «Лучшие его произведения зародились там, на родине, под шум вековечных сосен, под крик желны на живописной сыри низин и в тихие очаровательные белые ночи, когда сонно скрипит коростель в густой ржи, облитой медвяной росой, и золотистый свет зари теплится на мшистых крышах изб». Судя по тому, как, какими словами говорит Михаил Черноков о родном для них с Чапыгиным крае, эти слова можно отнести и к нему самому.

Особое место в творчестве Чернокова занимает роман «Книжники», с обретения которого и началось возвращение писателя, затянувшееся на три с половиной десятилетия. С остальным корпусом произведений Михаила Чернокова «Книжников» связывает лишь упоминание о происхождении главного героя Касьяна Ильича Балакина; когда он вспоминает свои родные края: «сумрачные северные леса, тихие реки, озёра, красоту летних ночей, весёлых охотников и стариков-сказителей», то не приходится сомневаться: герой родом из тех же мест, что и автор. Оттуда же, из северной деревни, приезжает и мальчик Гриша, которого деревенские родственники отправили на выучку к Балакину. Глядя на мальчика в дублёном полушубке с берестяным коробом в руках, ошеломлённого встречей с Петербургом, Касьян Ильич вспоминает, как много лет назад вот таким же наивным пареньком «прикатил на возу рябчиков» в столицу.

Эти упоминания о деревенской жизни, при всей их мимолётности, очень важны и эстетически значимы: они словно приоткрывают окно в мир большой России из замкнутого мира «книжников». Что касается самого этого круга библиофилов, букинистов, антикваров, книгоиздателей и книготорговцев, то он воссоздан и описан Черноковым подробно и тщательно. И в этом – одно из безусловных достоинств романа, во многом определяющее его ценность, которая со временем будет только возрастать. Как пишет А. Блюм, при том, что «многие произведения русских писателей как бы изнутри пронизаны “книжностью”», «целый роман об издателях, букинистах, библиофилах» – это «редчайший случай в литературной практике»*.

В этом произведении, как и в «деревенских» повестях и рассказах Чернокова, ощутим интерес автора прежде всего к самой фактуре жизни «книжников», к неповторимой атмосфере этого особого мира, а сюжетные события не отличаются драматизмом и занимательностью. Это вызвало нарекания рецензентов, укорявших писателя в чрезмерной

---

* *Блюм А.* Указ. соч. С. 223–224.

насыщенности романа «спецификой тщательно накопленного материала, выдержанного в духе и стиле антикварных людей и идей», и выражавших мнение о том, что книга Чернокова, «написанная в несколько старинной медлительной манере, не представляет интереса для широкого круга читателя»*, что она заинтересует только библиофилов.

Думается, если понимать значение слова «библиофил» широко, то есть назвать так всех ценителей и любителей книги и книжного чтения, а не только коллекционеров, то читательская аудитория получится совсем не маленькой. А если учитывать, что Черноков открывает читателям неведомый для большинства современных людей мир, интересный, своеобразный, неповторимый в своей уникальности и уже навсегда ушедший, то ценность этого незаконченного романа сегодня вряд ли может вызвать сомнения.

Характерно, что действие и этого своего крупного произведения Михаил Черноков перенёс в дореволюционные годы, в начало XX века, причём конкретное историческое время (как и место действия) упомянуто в первом же предложении: «В сумрачных петербургских лавках антикваров и букинистов Балакин был своим человеком ещё года за два до первой революции». И, что тоже, как отмечалось выше, характерно для Чернокова, мир «книжников», как и северная деревня в повести «Охотники», – это действительно отдельный, самостоятельный мир, словно капсулировавшийся, обособившийся внутри большого мира, замкнувшийся в себе. Веяния жизни, гулы истории, переживания событий, будоражащих всех сограждан, «гасятся», попадая внутрь этого мира, теряют свою актуальность. Этот обособленный мир библиофилов словно пытается спрятаться, отгородиться от грозных событий современности, сохранить свою уникальность в неприкосновенности. Главные интересы героев романа направлены внутрь этого мира, связаны с жизнью этой профессиональной среды, процессами, происходящими в ней.

Вот характерный пример: Касьян Балакин, которого происходящее в России и в мире, в отличие от большинства других «книжников», волнует и тревожит, пытается обсудить события Русско-японской войны, Цусимскую катастрофу с библиофилом Картоновым:

«Он пришёл к нему в день известия о разгроме под Цусимой русской эскадры и, волнуясь, заговорил о событии.

– Ну, бог с ней, с эскадрой, – спокойно проворчал Картонов».

И в ответ на горячие, взволнованные слова Балакина, рассуждавшего о нелепости этой войны, Картонов равнодушно бросает: «Явная нелепость» и сразу же переводит разговор на свои книжные сокровища, торопясь показать гостю свой «рай»: «Вот... четырнадцатый век – манускрипт нормандский с миниатюрами, целостная, сохранная вещь, сладчайшая. <...> Вот ещё, смотрите: “Святые легенды”... Величайшее сокровище! Чертог!»

А когда Балакин при следующей их встрече начал размышлять о том, что надо «свергнуть весь старый порядок» и «шагнуть примерно к такой республике, как во Франции», замечая, что не очень понимает, чего же хотят более радикально настроенные рабочие, Картонов вновь сворачивает этот разговор: «Понятно, разберутся без нас. Кто хитрее, организованнее, тот и сядет управлять. Ну а мы займёмся новыми редкостями».

А один из московских букинистов признаётся Балакину: «Революция-то эта, как туча, мимо нас стороной прошла. Ведь и то сказать: чем больше тебе нового, модного, тем пуще старину любишь – законное это дело».

От других «книжников» Касьяна Ильича Балакина отличает не только внимание к социально-политическим событиям, к атмосфере эпохи, но и то, что он в этой сфере деятельности универсал, совмещающий интересы и занятия, характерные для разных «специализа-

* *Лурье А.* [«Книжники»] // Художественная литература. 1933. № 8. С. 50.

ций». Он и коллекционер-библиофил, обладатель коллекции знаменитых изданий Н. И. Новикова и старинных иллюстрированных французских и немецких книг; и крупный книгоиздатель, очень хорошо знающий историю книгопечатания и пекущийся об издании качественных во всех отношениях книг; стремится он и наладить книготорговое дело, «взять рынок в свои руки», потеснить некачественную, бульварную продукцию тех издателей, кто озабочен только наживой, и спекулянтов, для кого «книга просто товар». Его интересует и глубоко волнует всё, что связано с книгой, он настоящий энтузиаст своего дела, мечтающий «создать такой союз, который имел бы первостепенное общественное значение», – союз книгоиздателей и книготорговцев, главной целью которого стало бы просвещение страны.

Выбор в качестве главного героя именно такого универсального знатока, ценителя и фабриканта книги обеспечивает автору возможность показать сразу все группы «книжников», из которых состоит библиофильское сообщество. А. Блюм, анализируя роман и отмечая, что Черноков «с глубоким пониманием и знанием материала изображает удивительно пёстрый книжный мир России начала века»*, что «чередой проходят в романе колоритные, тщательно выписанные фигуры книгоиздателей той поры, библиофилов и библиоманов разного толка, крупных антикваров и мелких, так называемых “холодных” букинистов-разносчиков»**, уделил характеристике каждой из таких групп большое внимание. Он пишет о том, что в романе Чернокова ярко изображён «поразительно пёстрый и колоритный мир книготорговцев России начала века»*** и характеризует наиболее выразительные из выписанных Черноковым фигур – представителей этого мира, среди которых встречаются и подлинные знатоки-букинисты, и ловкие торгаши. Выделяет А. Блюм и различные типажи книжников-коллекционеров, многие из которых (как и другие персонажи романа) имеют реальные прототипы. Кроме того, Черноков включает в круг героев своего произведения и реальных людей, таких как известный литератор и издатель Алексей Сергеевич Суворин, чьи книжный магазин и издательская фирма занимали одно из первых мест в русской книжной торговле. В разговоре с Сувориным упоминается и Александр Филиппович Смирдин (1795–1857), знаменитый книгоиздатель и книготорговец.

Основное содержание библиофильского романа Михаила Чернокова – разговоры, которые ведут в романе «книжники», и размышления главного героя о судьбе книги, её прошлом, настоящем и будущем. В этом произведении, по сути, представлена вся история книгопечатания, и не только в России. Персонажи романа размышляют и спорят о традициях в оформлении книги, её предназначении, об отношении к ней в различные эпохи в разных слоях общества, о перспективах развития книжного дела. Этот небольшой незаконченный роман – поистине энциклопедия книжности, сведения о разных сторонах библиофильства и о судьбах книги даны в нём так густо, концентрированно, столько содержится в нём важной информации, что если снабдить этот текст комментариями, адресованными неискушённому читателю, то эти комментарии многократно превзойдут в объёме текст самого романа. Вот, к примеру, фрагмент размышлений Балакина: за каждым именем и каждым названием, встречающихся в нём, – интереснейший, содержательный материал, осмысленный автором и его героем и требующий читательского осмысления: «Прежде всего надо сказать о корнях: как известно, прекрасный образец книжного искусства дали французы в восемнадцатом веке. Было, конечно, там и излишнее увлечение

* *Блюм А.* Указ. соч. С. 233.
** Там же. С. 228.
*** Там же. С. 235.

украшением книги иллюстрациями, но можно восхищаться чудесными рисунками Эйзена, Моро, Буше. Есть издания Казэна, Франсуа Дидо и других, в которых существует поразительное сочетание работ типографа, художника и переплётчика. Немудрено, что наши баре восемнадцатого и начала девятнадцатого века увлекались французской книгой. А нынче! Вы посмотрите, как охотятся за этой книгой наши современные баре. Но ведь вкусы смешались – классицизм разбавлен увлечением Рёскиным, Бердслеем и Ропсом. Образованные богачи ищут знакомства с тонкими знатоками искусства, и в свою очередь знатоки летят в гостиные и салоны радушных миллионеров, которые любят слыть покровителями искусства. Ведь известно, что Рябушинский, Мамонтов, Поляков, Щукин – отцы и пестуны роскошных сборников "Золотое руно", "Весы" и целого ряда других изданий. Говорит о богатом расцвете книжной иллюстрации, о десятке имён талантливых художников, украшающих книгу. Но если вы посмотрите на дягилевский "Мир искусства", на "Старые годы" Вайнера, на сборники и книги, где работают иллюстраторы, то увидите не искусство книги, а искусство в книге».

И при этом в «Книжниках» Михаила Чернокова главное – даже не эти сведения, а та поистине уникальная атмосфера библиофильских страт Санкт-Петербурга и – отчасти – Москвы начала XX века, которая делает роман столь значимым явлением отечественной словесности. Передать и донести читателю эту атмосферу, от которой спустя столетие практически ничего не осталось, – задача немаловажная, Черноков справился с ней достойно.

Надеемся, что переиздание лучших произведений талантливого, оригинального, светлого писателя Михаила Васильевича Чернокова, предпринятое спустя семьдесят шесть лет после выхода его последней книги, вызовет интерес ценителей хорошей литературы и писатель придёт к читателю младого, незнакомого ему племени.

Елена Галимова

РАССКАЗЫ

Бурый*

Ерофей Бурый ещё не стар, лицо моложавое, здоровое. В большой рыжей бороде с бурым отливом не заметно седого волоса. Высок и силён, как медведь, хорош был охотник смолоду, но теперь уже заросли его дальние тропы в лесу, и спокойно висели на стене избы ружья, покрытые пылью.

После смерти отца Ерофею одному пришлось держать хозяйство, и для охоты уже мало было времени. Соблазнил его один человек заняться торговлей. Имея свободные деньги, он накупил на озёрах рыбы, привёз домой и продал с хорошим барышом. Мало-помалу Ерофей втянулся в торговлю, полюбил наживу и бросил охоту. Скоро стал он скупать, кроме рыбы, хлеб, меха и завёл знакомство с дальними купцами.

Жена его умерла рано, оставив ему сына Ильюшку. Не женился больше Бурый, зато держал красивых работниц, ростил и приучал сына к торговле.

Разбогател Ерофей и стал первым человеком в селе; все шли к нему: кому надо деньги – бери у Бурого, сена, кожи, рыбы – всё можно достать у Бурого.

Народ дивился предприимчивости и удачливости Ерофея; старики качали головами и говорили: «Не к добру попёрло человеку». Но Бурый всё богател, только нет-нет да и выкинет какую-нибудь штуку, такую, что все ахают от удивления. Привезёт ведро водки, соберёт любителей выпить, сядет в тарантас и велит возить себя. Мужики с пьяным хохотом возят Бурого до тех пор, пока не выпьют всего ведра или не очутятся все в канаве, а то и в ручье. Однажды Ерофей ни с того ни с сего взял да и сжёг своё гумно, а то на годовой праздник наденет шкуру медведя и пойдёт по селу на четвереньках.

Каждую весну Ерофей ездил на озёра закупать рыбу. В этот год он взял с собою и сына, чтобы познакомить с делом.

Лёжа в тряской телеге, Бурый всматривался в гущу леса, красующегося свежей зеленью и полного опьяняющего запаха. Вспомнилась Ерофею молодость, охота, и жаль становилось былой жизни, вольной и весёлой.

Ильюшка, двадцатилетний парень, похожий на отца лицом и фигурою, недовольно думал о том, что не пришлось погулять на празднике в соседней деревне, искоса посматривал на отца и поминутно стегал вожжами широкие бока Белоноска.

– Ты что-то, паренёк, хмурый сегодня, – заметил Ерофей сыну, слегка усмехнувшись.

– Да так… – неохотно ответил Ильюшка.

– Знать, миленькие в голове в чехарду играют, так, что ли?

– Что мне миленькие, ни печь ни жарить…

---

* Печатается по: *Черноков М. В.* Бурый : рассказ // Летопись. 1916. № 8. С. 68–85.

Бурый снова усмехнулся.

– Ни печь ни жарить, вот женю осенью, так будешь печь и жарить.

Ильюшка не ответил, прикрикнул на лошадь.

– Но, ты, поползень! Раскачивайся!

«А батько-то хитёр, – подумал Илья. – Боится, что у него работниц отбивать буду. Куда ни шло, посватаю девку у Сажина, да отодрать с нею тысчонку у старого Шамакши. Тогда я с деньгой-то из-под батькина начала выкарабкаюсь».

К вечеру приехали в деревню Чернозерскую прямо к избе Гриши Шлямы. Шляма плёл бураки для сушёной рыбы. Заметив гостей, он бросил работу и торопливо пошёл навстречу, крикнув жене, чтобы ставила самовар.

– Ерофей Кузьмич! Присадил опять, Христос тя носи, – говорил Шляма, весело потряхивая седеющей бородой, – да и сынка приволок наших овсяных блинов попробовать. Да вваливайся в избу-то, шапку под лавку, а сапоги куда знаете.

– Ну, загалдел, – заметил Ерофей, улыбаясь на болтовню хозяина. – Пора бы посмирнее стать, вон борода-то линять стала.

– Да полиняешь, если Господь сподобит с медведем пообниматься.

– Что, нарвался?

– Да, прошлую осень довелось с ним встретиться. Кабы не Фома Ямкин, так от Гриши Шлямы одни бы рукавицы остались, а то только ещё одно ухо на обмен на его шкуру-то пошло.

– Вижу, вижу, экая жалость! – сочувственно проговорил Бурый.

– Да, жалость, а он, еретик, не жалеет, как на ура пойдёт.

Шляма был рад гостям, он, держа в руках кисет, свёртывал папиросу, разводил руками, сыпал на пол табак и снова подбавлял его на измятый лоскут бумажки.

– Да помолчи ты, старик! – проговорила Карповна, – та-та-та, только тебя и слышно!

– Но, ты, одёр, грей знай самовар-то, – покосился Шляма на жену.

– Ну, как обстоят дела-то? – спросил Бурый.

Карповна поставила на стол самовар и заботливо обтёрла его тряпкой.

– Да что, дела идут не хромают, лодка завтра готова будет. Ну, хозяин на столе сердится, – указал Шляма на большой никелированный самовар. – Давай, дружки, чайком угостимся, зимой я завоевал его сиятельство.

Шляма любовно постучал концами пальцев по самовару.

Ерофей похвалил самовар и спросил про лов.

– Лов, брат, нынче такой, что рыба невод рвёт, водяной, что ли, пьянствует да шугает рыбу-то, – уж больно много её, прямо хоть штанами лови.

– Баб-то, наверно, замучили с рыбой, – улыбаясь, заметил Ильюшка.

– Вот о чём печалиться вздумал, краснорылко, – ответил Шляма. – Ты заучи, что тогда баба и человек есть, если она делом настоящим занята.

В избу вошла высокая девушка, пряча что-то под передник. Перекрестившись на образ, она из-под платка оглянула большими бойкими глазами приезжих и обратилась к хозяйке:

– Я те, Карповна, долг принесла.

– А, Васишка!.. – воскликнул Бурый, расправляя бороду. – А мне долг принесла? С прошлого года, еретица, поцелуй должна.

Васишка засмеялась.

– Ты памятной, Ерофей Кузьмич!

– Ещё бы... У меня все ваши озёрские долги в записной книжке.

Карповна встала из-за стола и увела Васишку за печь. Пошептавшись, они вышли, и Бурый поманил девушку к столу.

– Поди-ка, поди сюда, шептунья!

Васишка, улыбаясь красивым ртом и перебирая передник сильными руками, опасливо подвинулась к столу.

– Не бойся, не бойся, – ободрял её Бурый, и, расправив бороду, он поднялся с лавки. – Ну-ко, Господи, благослови... Давно уж не целовался.

Васишка, смеясь, пятилась назад. Шляма на цыпочках зашёл стороной к Васишке и хотел помочь захватить её, но девушка взвизгнула и бросилась из избы.

– Ишь ты, сёмга шуганая!.. – закричал Шляма.

– Уж без тебя-то дело не обойдётся тут, – проворчала на мужа Карповна.

– Вишь, одёр-то у меня ревнивой, – подмигнул гостям Гриша.

Бурый высунулся в окно и остановил проходившую мимо Васишку.

– Слушай, еретица, поедем ко мне в гости. Мне в лодку гребцов надо.

– Ты поговори с батюшком, – сдерживая улыбку и плутовато взглянув в лицо купцу, ответила Васишка.

– Ладно, зайду... – провожая её взглядом, сказал Ерофей.

Ильюшка, выпив стакана два чая, пошёл посмотреть Белоноска, всыпал ему в колоду овса и вышел на деревню. На ровной, широкой улице деревни молодёжь играла в рюхи.

Гулко стучали тяжёлые палки и кричали молодые возбуждённые голоса.

Илья подошёл к играющим и сел в стороне на бревно, где сидело около десятка мужиков, с интересом наблюдавших за игрой.

– У тебя, Яшка, палка-то щукой всё что-то ходит, – заметил один мужик.

– А лешо-т её знает, – угрюмо ответил Яшка, целясь палкой в далеко лежавшую рюху.

Яшка и другой высокий парень Алёха, в галошах на босых ногах, играли партию на пять фунтов язей.

– Третью партию проигрываю, хвати тя провал, – говорил Яшка, старательно пуская плавком палку и при этом густо загребая песок правой ногой.

– Ах ты, гробоздилка, пылишь только, – смеялся Алёха, – а я чичас остальную выгоню.

– Ну и лешо-т с ней, – проворчал Яшка, – давай новую.

Алёха засмеялся и пошёл собирать рюхи.

– Ты, Яшуха, на палку поменьше бери, да не горячись, – учили мужики.

Яшка, потный, красный и обескураженный неудачей, старательно приглаживал удары, но всё было не то, что у противника, который играл, как бы шутя и смеясь над Яшкой.

Ильюшке не нравилась насмешливая самоуверенность Алёхи, и вместе с тем ему хотелось сыграть.

– Вот что, друг, – проговорил он, подходя к Яшке, – ты дай мне раз сыграть с твоим товарищем.

Яшка было не соглашался вначале, но мужики сказали, чтобы он уступил, и парень отдал Илье палки.

– Сколько ты проиграл? – спросил тот.

– Тридцать фунтов.

– Играем на все, – обратился Илья к Алёхе, пытливо оглядывающему нового партнёра.

– Ну-ко, ну, – зашевелились мужики, – чья-то возьмёт?

– Бей, – коротко сказал Илья, окинув взглядом ряды ровных и крепких рюх.

– Ну, помоги мне, Микола Дупленской, – ухмыляясь, проговорил Алёха, делая замах палкой.

– Хорошо, девять ушло, один лежёк, добро, – похвалили мужики.

Второй удар палки был не менее удачливым, и Алёха самодовольно усмехнулся.

– Да, неплохо, – спокойно заметил Ильюшка, берясь за палки.

Все ловили движения парня, решительные и уверенные в своей силе.

– Ишь вить, точно туча какая налезает, – заметил один голос.

– Да-а, туча, а вон оно что из тучи-то, град. Да, палка на месте, а рюхи, что леший хватил, эвон по изгороди как одна заскакала.

Все были поражены, и даже самые равнодушные к игре покрутили головами. Когда вторая палка оторвала из ряда и далеко отбросила более десятка рюх, все были уверены, что Алёха проиграл, и он сам сознался в этом, отказавшись продолжать игру.

– Значит, Яшка отыгрался, – весело улыбаясь, проговорил Ильюшка.

Высокий старик подошёл к нему и дружески похлопал его по плечу.

– Молодец, по-нашему, по-старинному играешь. – И старик, возбуждённый молодой, буйной силой Ильюшки, принялся рассказывать ему про старину и свою молодость.

II

Чернозерская была необыкновенно оживлена, у каждой избы стояли кучки людей, обсуждавших торговые сделки с Бурым.

– За сушёную-то рыбу он что, чертодуй, мало даёт!.. – кричал длинный мужик в прожжённом полушубке.

– Ты пересушил, видно, рыбу-то... – говорил другой... Печь-то у тебя жаркая, вишь, как полушубок-то поджарил.

– За щуку-то больше двух рублей, хоть сам засолись, не выпросишь!

Между избами мелькали видные фигуры Бурого и Ильюшки. Их сопровождала толпа мужиков, наперерыв хваливших свой засол. Ерофей остановился и проговорил тоном человека, не знающего пределов своих благодеяний:

– Мы, ведь, кажись, давно знаем друг дружку. Ещё молодым я к вам в гости приходил, а с тех пор я денег вам перевозил несчётно. Ведь вон хоть рубахи на вас – это мой ситец, сапоги, пиджаки, шапки – всё у Бурого взято, просто вам со мной жить-то, ребята. Ведь правда, Пахом?.. – спросил Ерофей у старика с палкой.

Пахом развёл руками.

– Да оно, батюшка, выходит так и этак, с одной стороны, одеваешь, а с другой – раздеваешь, дай же Бог здоровья.

– Ну, ну, заплёл!.. – заметил Бурый, улыбаясь в бороду, и обратился ко всем, берясь за шапку:

– Ну, старички, я прибавляю по грошу, так будем Богу молиться?

– Пошла, Кузьмич! – и в воздухе замелькали руки торопливо крестившихся.

– Вози теперь к лодке товар, будем весить и грузить, – махнул рукой Ерофей и, приказав Ильюшке идти к лодке, отправился к Фоме Ямкину, отцу Васишки.

Жена Ямкина, сноха и Васишка были заняты в сенях чисткой рыбы. Сам Фома, засучив рукава, солил её в ушате. Заметив над ушатом блестевшую на солнце плешь, Бурый шутливо прикрыл рукой глаза и проговорил:

– Фу-ты, шут тя возьми! Как сверкает, даже глазам больно.

Ямкин поднял улыбающееся лицо.

– Ну да! – воскликнул он… – Вот чудило… Разве оттого, что вчера спиртиком в бане отполировал маленько, простуда, вишь…

– Ну, ладно, пусть простуда… – согласился Бурый и, заглянув в ушат, заметил: – Добрая рыба! Для себя, наверно?

– Угадал, угадал… Надо же и себе харчу малость заготовить, не всё тебе.

– Да, народу-то у тебя есть… – заметил Ерофей, оглядывая баб.

– Есть этого добра!.. Васишка, может, в люди уйдёт, Бог даст.

– Так-а-к-так, – протянул Бурый… – Отпусти её ко мне на лето работать, до Богослова, шесть красных дам!

Бабы переглянулись. Васишка, наклонив голову, старательно чистила рыбу.

Фома, опустив покрытые солью руки, потупившись, подумал и обратился к дочери:

– Пойдёшь к Ерофею Кузьмичу?..

– Всё одно, – ответила Васишка.

Бурый вынул бумажник и подал Ямкину три пятёрки задатку.

– На тебе, плешь полировать!

– Экой шутник, Ерофей Кузьмич, – крутил головой Фома и пригласил зайти в избу, свежей щучки попробовать, но Бурый отказался и неторопливо пошёл к лодке.

Там уже, на берегу, Ильюшка приготовил весы, рядом толпились мальчишки, возившиеся с гирями.

Краснощёкий мальчуган пыхтел и отдувался, силясь поднять двухпудовую гирю. Другие мальчишки с интересом следили за его усилиями.

– Ужо, ужо, – упрямо говорил он, – я как по-настоящему-то возьмусь, так…

Его меньшой брат сидел на корточках и говорил, как большой:

– Блось, Митька!

– Верно… Бросьте-ка, ребята, – проговорил Ильюшка, оборачиваясь от скалок к ребятишкам. – Подите, я лучше вас свешаю… Сколько в вас, комарах, грузу есть?

Мальчишки обступили Илью.

– Меня, меня! – наперерыв кричали они.

Ильюшка выбрал самого большого, положил на скалку, затем другого, третьего, как котят, один на другого, навалил полную скалку; мальчишки визжали и смеялись.

– Держись, держись! Сейчас буду гирьё класть! – кричал Ильюшка.

Бурый, заложив за спину руки, медленно шёл от деревни на берег, очищая с сапог пыль о молодую, мягкую траву.

Ощущая на лице и на плечах солнце, Ерофей легко и радостно глядел на спокойную, ярко-синюю реку, нежные отливы зелени и цветов на берегах, слушал весёлый визг ребят и звучный голос сына:

– Двенадцать с половиной пудов говядины!..

– Ладно! – закричал Бурый, – по семь гривен за пуд. Тащи, Илюха, бочку, сейчас солить будем!

Ребятишки с визгом разбежались по берегу.

С горы потянулись возы с рыбой.

Вечером изба Гриши Шлямы была полна мужиков и баб. За столом сидели Бурый и Ильюшка. Перед Ерофеем лежали пачки кредиток, два мешочка с серебром и медью. Бабы глядели на отца с сыном и тихо говорили про них:

– Вишь, сынок-то, молодец, весь в отца! – долетали слова до Бурого.

Ерофей сосал трубку и любовно косился на сына.

Ильюшка держал в руках записную книжку и вызывал по очереди к столу озеряков получать за рыбу деньги. Все почтительно смотрели на Бурого, на пачки засаленных бумажек, на грязную, большей частью позеленевшую мелочь. Ерофей с равнодушным, почти что с брезгливым видом отсчитывал деньги, и это равнодушие купца к деньгам больше всего удивляло озеряков.

– Да, брат! Деньги-то для него всё равно что шелуха какая-нибудь, – слышался голос.

– Степан Обозин, – вызывал Ильюшка, – получить одиннадцать рублей сорок копеек.

Обозин протискался к столу, поглядел на деньги, отсчитываемые Бурым, и, почесав голову, певучим голосом заговорил:

– Это дело, Ерофей Кузьмич, не прикинешь ли малость ещё? Уж больно лещи-то добрые я тебе отдал. Прямо рыбины – что твои ворота.

– Вот-вот... – заметил рядом стоявший мужик, – у самого у гумна ворот нет, взял бы да и навесил пару лещей – голова!..

– Да у него на петли денег не было! – закричал из угла хриплый бас.

– Ну так, Степан, вот тебе на петли и на ворота, – сказал Бурый, подвигая ему деньги.

– А хороши лещи, добрые, – твердил Степан, пряча деньги.

– Антон Громогласный! – вызывал Ильюшка...

III

Утро было тихое, ясное, на берегу, у лодки Бурого, стояла толпа мужиков и баб, большинство мужиков были с ружьями. По затее Бурого отъезд его с озера всегда обставлялся с особой торжественностью. Все принаряжались, украшали лодку Бурого разноцветными лоскутками, и, как только судно отчаливало, мужики палили из ружей.

Гриша Шляма, немного хмельной, суетясь около нарядной лодки, старательно прилаживал вёсла и кричал:

– Лодка такая, что хоть грузи ещё сто пудов, подымет.

– А как насчёт угощенья, Лукич? – спросил один мужик.

– Обещал... Я не упущу! – уверенно ответил Шляма. – Вить я здесь воротило и пятило. Бурый что? Бурый ни то ни сё, всё Шляма делает, лодку наладит, и работницу найдёт, а Бурый знай только езди.

– Это Васишку-то? – сказал сиплый голос... – Ой, старый греховодник, будет тебе за это на том свете...

– Пожалуйте, девушки-красоточки! – закричал Шляма, завидев подходивших к лодке несколько девиц, нанятых Ерофеем в гребцы.

– Ты с нами, Лукич, едешь? – спросила одна.

– Спаси меня, Господи, чтобы я с вами поехал! Я уж давно заклялся подходить близко к вашему брату.

– Зачем же ты звал нас?

– Забыл, забыл! – ответил Шляма, сходя на берег. – Вить, вишь, какие вы писаные, – обнимая крайнюю, продолжал Гриша.

– Ох хитрой, бес! – проговорила девушка, оттолкнув от себя Шляму.

Пришла Васишка с сундуком, а вслед за нею и Бурый, отправивший Ильюшку на лошади по дороге домой.

Озеряки обступили Ерофея, и Шляма спросил на угощенье.

Бурый дал и обратился к девицам:

– Все собрались?.. Ну так едем.

Несколько мужиков бросились отвязывать причалы.

– Ну, ну, забирайся в лодку-то, краснопёрыя! – покрикивал Шляма на девок.

Бурый зашёл в корме на мостик и взялся за кормовое весло.

– Благослови, Господь!.. Работай, голубушки!

Вёсла протяжно заскрипели, и лодка двинулась от пристани, в то время раздался залп десятка ружей.

– Ну, ну, пошла, матушка, Христос тя носи! – нежно говорил Шляма, снимая фуражку. – Запасу-то, запасу-то уйма, слава Те, Христе!

– Прощай, ребята, живите по-христиански! – закричал Бурый, кивнув головой мужикам.

Мужики кланялись и просили не оставлять вперёд.

Хорошо идёт лодка, здорово гребут девки… А утро, утро-то какое. Бурый весел и доволен, девки смеются молодым, задорным смехом. Веселит и ласкает сердце этот смех. А Васишка, какая она на солнце особенная, залюбуешься: солнце завивает пряди волос, а зубы блестят, как струйки пены на реке.

– Весело вам, еретицы? – громко проговорил Ерофей, – водяного-то испугаете.

– Вот сейчас мы его испугаем, – сказала Васишка и, остановив греби, запела песню. С ударом вёсел остальные подхватили.

– Вот это хорошо! – похвалил Бурый, прислушавшись и покрыв их голоса своим сильным голосом. – А хорошо выходит, чёрт возьми! – в восторге закричал Ерофей. – Засыплю пряниками! Пойте хорошенько!

Быстро несётся лодка, ещё быстрее песня, вспугивая стада уток, сверкающих крыльями над водой. Песня росла и падала и снова разливалась над ярко-синей рекой, над крутыми берегами, вышитыми нежными узорами цветов, и над манящими далями, покрытыми сизоватым дымком утра. Из-за поворота реки выплывали деревни со сверкающими стёклами изб, под горой чёрной изломанной линией тянулись бани. В деревнях народ высыпал на улицу и с любопытством глядел на лодку, украшенную лоскутками, и на высокую, стоявшую на мостике фигуру Ерофея. Над его белой рубахой ярко выделялась красивая, раздуваемая ветром борода.

– Бурый едет, Бурый! – слышался говор… – Ишь, каким богатырём стоит!

– Охо-хо-хо! – раскатывался по берегам могучий голос Ерофея…

– Хо… хо! – гулко вторило эхо.

– Весна-матушка-а… Живёте, православные, хорошо ли?

– Всяко бывае-ет… Приво-о-ра-чи-ва-а-й!.. – кричали с берега.

– Спасибо-о!.. Вот вы пристань устройте… Так я приверну на иной го-о-д…

Кричали что-то ещё с берега, но Бурый не слушал их, запевая песню.

IV

Большой дом у Бурого обшит тёсом и выкрашен белилами, живёт Ерофей лишь втроём, сын и тёща да вот ещё Васишка, сразу оживившая молчаливый дом песнями, смехом и топотом босых ног.

Бурый сидел у окна с трубкой и, улыбаясь в бороду, следил, как Васишка резво бегала по сеням, хлопала дверью в избу, бежала мимо окон к колодцу, опиралась коленом о сруб, обнажив до колена другую красивую ногу, и торопливо черпала воду.

– Ишь, шубянки, как нажаждали! – смеясь, кричала она на овец, обступивших колоду с водой. Из-под платка, низко опущенного на лоб, весело блестели бойкие глаза и белые зубы. Вышел на крыльцо Ерофей и, взглянув на овец, заметил:

– Обстричь бы надо животин-то! Займись-ка, Васиша, как-нибудь.

Солнце уходило к лесу, длинные тени стоявших за колодцем рябин и черёмухи падали на крышу бани. На деревне слышалось блеянье овец, певучие голоса баб и топот лошадей, испуганных мальчишками.

Идёт пастух Никишка и снимает фуражку перед Бурым.

– Что, суконное ухо, ещё моей поляны не скормил?

– Ещё не дошла очередь... – помахивая длинным рябиновым кнутом, хитро ответил Никишка.

– Смотри береги, на праздники рассчитаюсь.

– Понимаю, Ерофей Кузьмич... А, может, задаточек чичас получить можно?.. – заискивающе проговорил пастух, подвигаясь ближе и всё помахивая прутом. – Во рту всё до званья выжгло от жары дьявольной.

– Больно ты торопкой, материн сын!.. Ну да ладно, подойди к окну...

Никишка, подмигнув, снял фуражку, перекрестился и с благоговением глянул на показавшуюся из окна руку Бурого с большой зелёной рюмкой водки.

– Ой, еретик! Ко кресту, что ли, подходишь... – сказала Васишка.

– Не бойся, я к тебе так не подойду, а прямо ястребом... Цоп, и моя красоточка!..

Выпив рюмку, Никишка подскочил к девке, но та, не допустив до себя, быстро вылила на него ведро воды. Парень, озадаченный неожиданностью, мигом нашёлся и, кланяясь, проговорил смеющимся Васишке и Ерофею:

– Спасибо, дружки, теперь снутра и снаружи прохолодило малость...

Повернувшись, он с разудалым видом пошёл, напевая песню.

Ильюшка вывел из конюшни Белоноска, собираясь ехать пахать в ночь, неторопливо запрягал и говорил:

– Заспался ты совсем, дурачина! Точно с похмелья...

Белоноско глядел на Илью сонными глазами, слегка качая головой, и как бы говорил: «Да, маленько так».

Васишка после дневных хлопот уходила к себе в горенку, открывала сундучок, вынимала куски материи, подаренные Бурым, и любовалась на них. Слышался кашель Ерофея, сидевшего на крыльце. Он, покуривая трубку, задумчиво глядел на сизые в летнем сумраке поля и деревни. Иногда на Бурого находило сентиментальное настроение, и он, оглядывая избы соседей, доброжелательно думал о мужиках и прощал их долги и бедность.

– Вот богатство, почёт, здоровье, сила есть, ничем не обижен, – рассуждал он, – а ещё как будто чего нет... Что бы это значило? Годы идут, а на душе с каждым годом становится темнее... Неужели старость? Нет, я ещё молодой, – отгонял Бурый неприятную мысль. – Вот разве церковь построить...

Но Ерофей тот же миг бросал эту затею… Стоит ли Бога подкупать?.. Всё не то… «Что-то такое есть, что ещё надо бы мне сделать…» – И никак Бурый не мог додуматься, что ему ещё надо сделать.

Сумерки сгущались, и Ерофей шёл спать, но чаще шёл к Васишке. Как-то вечером купец постучался в дверь горенки, где спала работница.

– Открой, Васишка! Мне надо ягоды сушёные взять.

Ягоды лежали высоко на печке. Ерофей не мог достать их и попросил Васишку:

– Ишь, далеко засунуты, я тебя подниму, так ты достанешь. Не бойся, не бойся, не ожгёт… – ободрял Бурый полураздетую девушку.

– Ой, щекотно! – засмеялась Васишка, извиваясь в сильных руках купца.

– Плутовка! И горячая же ты!.. Достала?

Ерофей перевернул её на руках лицом к себе, и при этом кулёк с ягодами упал на пол.

– Уронила? Ах ты, брусника с молоком! Вот тебя за это так же надо!

Бурый бросил Васишку на кровать и заглушил её смех поцелуем… После этого Бурый часто стал заходить в горенку.

Ильюшка догадывался о связи отца с работницей, и ему самому очень нравилась быстроглазая девка. Он часто вступал с нею в разговоры, а наедине торопился обнять её, но Васишка вывёртывалась и убегала. Это злило парня, и он решил начать с другой стороны. Подарил Васишке золотое кольцо, это подействовало, она уже позволила обнять себя.

Однажды Илья ревниво упрекнул Васишку, что она любит отца, а на него и смотреть не хочет.

– Неужто мне пятерых надо, паренёк?

– Да не то… Васишка, милая… – торопливо шептал Илья, хватая её руки. – Ты к окну меня пусти, выгляни вечерком, утешь ты меня!..

– Боюсь я, Ерофей узнает – убьёт нас обоих!..

– Сам домовой не узнает! – воскликнул парень. – Ведь это что, ты только выгляни в окно-то…

Вечером Васишка услышала стук в стекло, приоткрыла окно и увидела женскую фигуру.

– Дуняшка… Ты?.. – спросила она, вглядываясь в лицо.

– Это я, я… – шептал Ильюшка, одной рукой подбирая сарафан, а другой хватаясь за подоконник.

Не успела Васишка опомниться от неожиданности, как парень очутился уже в горенке.

V

Был сенокос, и Бурый реже заходил к Васишке. Однажды он, подходя к горенке, услышал шёпот. На стук ему тотчас же открыла Васишка, и Бурый видел, как в тёмном окне мелькнула женская фигура.

– Это Дуняшка приходит, холера, чуть не каждый день.
– Зачем привадила? – буркнул Ерофей.
– Кто их приваживает!.. – ответила Васишка, ласкаясь к нему.

Однако частое посещение Дуняшки стало подозрительно Бурому. Один раз, когда наступила ночь, он тихонько подкрался к горенке и припал к двери. Слышался шёпот, прерываемый поцелуем.

– Чёрт возьми! – Бурый выпрямился и сжал кулаки.

Стиснув от бешенства зубы, он ухватился за ручку двери и сильно дёрнул. Дверь соскочила с крючка. С кровати спрыгнула большая фигура, неловко поправляя сарафан, платок, и бросилась к окну.

– Погоди, погоди... барыня... – с мрачным спокойствием проговорил Бурый, хватая переодетого Ильюшку за руку. Илья выдернул руку и ухватился за подоконник.

– Да погости, погости, что ты!.. – И сильные руки Ерофея крепко обхватили сына за плечи. Злобное чувство шевельнулось в груди Ильюшки, и он, вывернувшись, в свою очередь обхватил отца.

Они старались свалить один другого, с бешенством волочили друг друга по горенке, уронили со стены два хомута, дугу. В углу зазвенели какие-то банки и бутылки. Оба задыхались и молчали, трещали и рвались рубахи. Васишка забилась в угол кровати и со страхом глядела на борьбу. Большие тела ударялись о стены горенки, стены глухо дрожали, с потолка сыпался песок. Васишке казалось, вот-вот сейчас обрушится весь дом.

В дверях горенки показалась старуха, тёща Бурого, со свечкой в дрожащих руках.

– Господи!.. Что это такое?.. – воскликнула старуха, подступая к борющимся.

Свет и голос старухи привёл в себя обоих борцов, и они, тяжело дыша, остановились друг против друга. Лица их были красны и злы, и вместо рубашек висели только клочки. Сарафан и платок Ильюшки лежали в углу. Старуха растерянно глядела на опрокинутые вещи и охала.

– Так это ты, сынок! – наконец, проговорил Ерофей и сел на подоконник. Ильюшка стоял опустив голову.

– Господи!.. Грех какой... – шептала старуха.

– Да, грех!.. – усмехнулся Бурый. – Вишь, два медведя в берлоге завелось.

Покачиваясь, он вышел из горенки. Старуха, взглянув на Ильюшку, укоризненно качнула головой, погрозила кулаком Васишке и пошла вслед за Бурым. В избе старуха подала Ерофею другую рубаху. Переодевшись, он сел на лавку и немного успокоился. В душе была горечь, в теле ощущалась усталость и ломота.

– Историйка, да! – проворчал Ерофей. – Ну что ж, молодой парень, ему и чести больше, – спокойно старался рассуждать он. Ещё в первый раз Бурый так остро почувствовал уход молодости, вспомнились прошедшие годы, полные проявления буйной силы и удальства. Особенно ярко представились ему годовые празд-

ники села, когда собирались все силачи в округе помериться силой. Целые вечера боролся и не знал себе соперника – прошло это, верно. Ерофей грустно тряхнул головой.

В избе становилось светло, от утренней зари алели стены избы и засветился ствол ружья, стоявшего в углу. При взгляде на ружьё на Бурого нахлынули воспоминания прежней жизни, охоты, лесные недра, прекрасные, вечно молодые в солнечном блеске. Тишина, нарушаемая хлопаньем крыльев тетеревов и лаем собаки, звон своего голоса, пугающего задремавшего зверя.

– Всё это так, всё это было… – прошептал Ерофей. – И вот, кажись, я укрепился хорошо здесь. Не я ли, Бурый, бог деревни, а судьба-то в один миг всё подмыла.

Бурый видел, что уже вся счастливая, удачливая жизнь надорвана. Он любил жить в доме, как медведь в берлоге, один, полным хозяином. Но вот вырос другой, родной, тоже сильный. «Уйти, бросить всё» – эта мысль заняла Ерофея, но вместе с тем ещё было желание жить прежней жизнью…

– Надо решить.

Бурый встал с лавки, стал задумчиво ходить по избе.

Старуха совала дрова в печь. Всходило солнце. Вдруг Бурый резко обратился к тёще:

– Скажи Илье, чтобы приходил сейчас на село к часовне.

Старуха растерянно замигала глазами и переспросила:

– К часовне?

– Ну да! – так же резко ответил Бурый и, надвинув на голову фуражку, вышел из дому. Старуха подбежала к окну, проводила его взглядом за избу соседа, покачала головой и торопливо пошла будить Ильюшку.

Бурый пришёл к десятскому – Василью Чухне и послал его сбирать мужиков на сходку к большому камню у часовни. Пока Чухна бегал по селу, Ерофей сидел на камне, курил трубку и слушал, как на селе гулко раздавался стук палки о стены и надтреснутый голос десятского: «Эй, хозяин, на сходку к часовне! Бурый зовёт!»

Слышались хлопанье форточек, кашель и сонные недовольные голоса, но мужики шли немедля, хотя с вялым и сонным видом, здоровались с купцом, ёжась от утреннего холодка, зевали и спрашивали один у другого о причине сходки.

Бурый молчал, курил.

Когда все собрались и пришёл Ильюшка, Ерофей неторопливо выколотил о камень трубку, встал и, глубоко вздохнув, начал:

– Я, братцы, созвал вас сюда, на солнышко, не картошку печь и не бороды красить, а по делу одному моему важному, вы будьте свидетелями и судьями меня и моего сына Ильи.

В толпе послышался возбуждённый шёпот. Мужики видели, что Бурый хочет выкинуть что-то чудное.

– У нас зашёл спор на большой капитал, кто из нас ядрёнее будет, он или я? – продолжал купец.

Илья спокойно стоял, хмурил брови, силясь понять затею отца.

Мужики не понимали ещё, в чём дело, и во все глаза смотрели на Бурого, стараясь определить, трезвый он или пьяный.

Купец угадал их мысль и, усмехнувшись, заметил:

– Я, братцы, трезвый и в своём уме! – Затем обратился к сыну, показав на камень: – Иди поднимай, поднимешь выше, чем я, твоё счастье – хозяин будешь.

Парень понял всё. Он, быстро вскинув глаза на отца, подвинулся к камню.

Мужики знали, что Бурый раньше на годовых праздниках собирал всю молодёжь и ставил ведро водки силачу, который поднимет камень. Не многих помнили мужики выигравших. Все хорошо знали, что сам Бурый поднимал камень. Теперь все тесным кольцом обступили серую глыбу, за которую должен был взяться Ильюшка. Круг любопытных глаз уставился на сильную фигуру парня с решительными, резкими движениями. Некоторые подбадривали Ильюшку:

– Поднимешь, только пуп не жалей!

Старые знатоки и любители лезли вперёд и возбуждённо кричали, указывая на камень:

– Он, чёрт его хвати, по утрам-то чижелее бывает!

Илья обошёл кругом камень, определяя, с какой стороны удобнее взяться, мельком взглянул на отца и ухватился за серую глыбу.

Бурый стоял за сажень от сына, мрачно насупившись.

Вот руки парня стали медленно подбираться под камень, оборвались все возбуждённые голоса, один только слышался звон комаров.

Вдруг гул одобрения пронёсся кругом, когда камень медленно отделился от земли четверти на две и через несколько секунд глухо упал на место.

Ильюшка выпрямился, красный от напряжения, и торжествующе оглянул толпу.

Бурый был очень взволнован, лицо было как бы хмельное, тёмное и улыбалось недоброй улыбкой.

Молча махнув рукой сыну, он расправил плечи и взялся за камень.

Вся сходка замерла в ожидании и в предчувствии решения чего-то важного.

Теперь Ильюшка стоял на месте отца и нервно мял ремень, слабо затянутый. Послышался треск рубахи на Ерофее от надувшихся широких плеч.

Круг людей был зачарован напрягшей все свои мышцы могучей фигурой.

– Четверть, две, три четверти! – Толпа ахнула от удивления и восторга, но вдруг гул резко оборвался.

Едва Бурый выпустил камень и выпрямился, показав страшное от напряжения лицо, как его руки как бы снова потянулись к камню, и большое, тяжёлое тело Бурого опустилось, осело рядом с камнем недвижимое, мёртвое.

Крутая ступь*

Уж ты смолоду – конём скачи.
К сорока году – смысел ищи,
С полусотни – не широкий путь,
А последняя – крутая ступь.

Из народной песни

I

«Живи, чтобы земля от тебя пела и шевелилась, унылость сдунь» – так говаривал Степан Платоныч тому, кто ворчал на жизнь свою, на неудачи. Жёстким, крепким словом, таким, как вся жизнь, любил ободрить человека этот мужик – широкий, плотный, точно сбитый молотами. Пожил он на земле уже больше полусотка лет, но не утерял молодую синь в глазах и резкий, задорный поворот головы; ещё широкой, насмешливой прорехой выглядывал из лохматой бороды рот.

Когда Платоныч свёз на погост жену, то вскарабкалась сутулость на плечи, смотрели тогда глаза потным стеклом и крепче сжались губы; однако это постёрлось, выправилось, как выправляются после бури и ливня смятые ржаные поля.

Много впереди толковых, занятных дел у Степана Платоныча.

Добреет хозяйство, оно для него что рысак, выезженный на зависть людям: оба они друг без друга дня бы не прожили.

Ещё с начала революции Степан Платоныч стал подыскивать приёмыша в дом, стал бы тот приёмыш мужем дочери Саше, тонкой, смугловатой, на которую смотрят люди, как весной на яблоню в цвету.

Вот Платоныч наглядел парня, и, казалось, надёжного, под стать себе.

Увидал он его на сходе, а раньше не знал. Говорил парень про новую жизнь, как по звонким самоварам тростью бил, дыбил засмолистые волосы и, округляя сухое лицо своё, смутные, беспокойные мысли родил в мужицких головах.

– Наше житьё-бытьё перетряхнуть бы надо; затопчи старое, что из собачьих шкур сшито. Эх, вековщина напластованная, сугревная старина, перемолоть её, свезти на мельницу и пожилину новую расчистить.

Задумался тогда Степан Платоныч над словами парня – Бузуном его звали. Слушал и солёные ответные слова мужиков:

– Ты, дружок, не мужиковал с нами, другое видал, потому житьё наше не по скусу тебе, а мы с зыбки робячьей середи пугал всяких живём. Вы, молодые, другие, меньше пуганы, и орудуй насчёт пожилины.

– Врёте вы, старики! – кричал Степан Платоныч. – Другое у вас на уме, не укладное с новым, а я думаю, что мы, как самовары, от выделки не чищены, и пускай молодые почистят и сами светлоту свою миру кажут.

* Печатается по: *Черноков М. В.* Тёплые росы : рассказы. М. ; Л., 1926. С. 44–46.

После схода Степан Платоныч с Бузуном в рюхи играл, тут уже вплотную узнал парня. Гибкий он, в сиреневой рубахе и высоких сапогах, легко, забавляясь, показывал невыношенную силу. Тогда Платоныч и уговорил его пожить, поработать у него, думал: «Огляжу получше тебя и приспособлю к дому, к Саньке, корень мой продолжишь, задача. А гож, кажись».

II

Потянулся Степан Платоныч с Бузуном к общественным делам. Пёстрые крикливые вереницы мужиков ходили за ними – старых, вековечных земель искали, потом пошли церковные и солуяновские заливные наволоки сообща косить.

– А ведь ловко всё идёт, – радуется Степан Платоныч и широко дерёт свою прореху-рот.

– Кажи общую, дружную силу!

– Ка-ажем, ка-ажем! – отзывается поле.

– Эки громадины – зароды!

Около одного зарода отдыхает Платоныч, любуясь на бритые наволоки и суетливое движение людей. Саша и Бузун затеяли игру, мечутся через кучи сена, падают, извиваясь и жарко дыша друг на друга.

– Сноп! Сноп! Мешок с солодом! – кричит Саша. – Ух! Жарко!

– Ха-ха! В искры, в бисер обернулись. – И оба перекатываются, смеясь по-разному.

– О-хо-хо! – широко топчется Степан Платоныч. – Колесом пошли, ух! Санька! Держись! Перекувалдывай! Я пособлю! – И бросается в перекатку по горячей постели сена.

Потом Платоныч под переливы неугомонного смеха за спиной опять могуче и радостно кричит:

– Шевели, народ, небо и землю! Завтра на дальние сена идём!

– Идём! Идём! – отзывается поле.

– Но, кончай, свёртывай остатки, – говорит Бузун, хватая вилы.

Кончается день. Кораблями раскинулись зароды и пьянят поле своей пахучестью; полупьяной развалкой плывут люди по бритой глади, раскосо оглядывая знакомые разваленные костерки-деревни в сухой, охлаждающей зной синеве.

Гогочущая по дороге телега мечет пыль и перебивает говорливые переливы вечера.

Степан Платоныч по-хозяйски, с добротой оглядывает всё кругом, у него со всем миром крепкая, волнующая связь. Саша и Бузун впереди, экие пласты с пожилиной.

Корень его всего того, с чем он связан.

– Добро, ширь-матка, – пыхтит он густо и громко, – люби, робята, землю во всю грудь, эх сугревна-а-я!..

Лес уже подёрнул синий атласный невод и выпихнул к деревне колокольчики и трубу пастуха.

III

Тихий прохладный лес сторожит извилистую речку Шортомец и наволоки вдоль неё.

Утро. Лес окутан паутинной синью. Эта синь и писк рябчиков – предвестники хорошей погоды. Об этом сказал Платоныч Бузуну, зябко позёвывая при налаживании кос. На восходе холодно. Трава белеет от свинца росы и будто замерзает, дрожит. Кое-где белизна травы рассечена следом зверя, ходившего на водопой. Восход пятнает верх леса и облачные седины, а когда сверкнули косы, то наволоки затопились, подёргиваясь светлым паром. Слезливая старуха ночь оставила в лесу блестящее покрывало, узорчато вышитое работой пауков.

Платоныч поправил на голове фуражку и потряс косой.

– Н-но, пошла шипеть! – и врезался короткими взмахами в светло-зелёную гущу «пырня», идущего полосой по ложбине.

– Эх, есть где развернуться, наддай!

– П-ишет, п-ишет, – говорил Бузун в такт посвистыванью кос, – попишем.

Оба они косили сильными, короткими взмахами, шли почти полным шагом, точно поливали наволок, оба в белых куколях-шлемах шевелились над «пырнем» великанами среди ошалело носившихся мух и движущейся сетки комаров.

В одно время правили косы, вытирая их пахучей травой.

Солнце уже заливало наволоки блеском до ослепления, и в этом блеске лениво вились, на фоне леса и дымчатых извилин наволоков, последние струйки пара.

Лучистый глянец на косах, на лицах и руках.

За правкой косы Платоныч озирался на сочные валы скошенной травы и густо покряхтывал от говора силы внутри себя и смеялся, глядя на Бузуна, который, держа косу, как игрушку, пошевеливал округлыми плечами и напевал, подражая звону кос на других наволоках:

– Девки – диво! Диво! Диво!

Снова поливали наволок, двигаясь один за другим.

Вялилась трава, вялились, горели спины и лица, тогда косцы взбалтывали своими телами синий омут и, вылезая на бритый берег, раздолисто громыхали зубастыми ртами:

– О-хо-хо!

Слушая отзвук в далях, Платоныч кивал:

– Будто там леший вздрогнул от страха, а трава на малину-сено пошла. Эх-ты-ты, хороша жизнь, парняга, оставайся у меня жить, женю на Саньке, и мы тут выше всего.

Бузун смеялся:

– Ладно, был бы омут, а черти найдутся, сладим; только если скучно будет, уйду.

– Куда?

– Эх, куда! Туда, где ещё просторнее, чем тут, где думает человек о радостном, – не одна ведь земля.

– Ну ладно, – смеялся Степан Платоныч, – матка-земля – она ничего, ласковая, это ты зря, с ней хорошо бывает.

– Не привык я один счастье искать, смолоду крылья перелётные выросли, не усижусь тут.

Степан Платоныч жевал стебель дикого клевера, тряс бородой, как козёл.

И широко, доверчиво метнулся к Бузуну:

– Ладно, ты женись, а там ходи, летай, устанешь – в свой угол придёшь отдохнуть и мне скажешь о жизни-то. А тут, – он повёл рукой, – всё наше: в лесу путик-ловушки для птицы, в озёрах – рыба, всё отведу. Мы тут выше всего, что глаз видит.

Наволоки наполнены ароматом от светло-зелёного сена. Оно шуршит под граблями, как шёлк, и свёртывается в пышные валы. Рвут эти валы крючья-руки пружинистых людей, кипит кровь в их телах, и то ласка, то свирепость вспыхивает на мокрых, запорошенных трухой лицах. Забылось всё, кроме душных ворохов сена. Глаза слепит пот, солёный, едкий, и почти вслепую кидаются на зароды пласты.

– Э-эх, э-эх! – сочно кряхтит Платоныч с каждым пластом, и гудит внутри радостная бодрость – похвала самому себе.

Вдруг дымчатой воронкой пробежал по наволокам ветер, закручивая подолы рубах, близко прокатился гром, и на лицах оторопело мелькнули полоски зубов.

– Эх ты, леший! Илейко, не вовремя ты... – пыхнул Степан Платоныч, оглядываясь.

– Урвём! – выдохнул Бузун, тоже оглядываясь, и оба разом оскалили зубы.

– Го-оп!

Этим «го-оп» они точно выдохнули усталость и, как бы ощетинившись, шипя, закружились над сеном, злобно вскидывая глаза на чёрное крыло тучи, бросившее синюю тень на наволоки.

Наволоки чернели, а люди, как чёрные большие ежи, взмахивали рыхлыми, разрываемыми ветром, громадами.

Только звериные выкрики смешивались с ветром:

– Бух, ух! Вали, рви гужи-и!

Свет молнии делал людей похожими на бурых медведей, занятых шальной и свирепой игрой. Катился шум дождя и смешивался с гулом и треском в лохматом, чёрном лесу. Вместе с грохотом над головами упали на зарод последние пласты.

Зашумел дождь, как водопад. Треск, гул и шумная дождевая муть, рассекаемая молнией, смешались в одну гудящую темь.

Отбросив вилы, Степан Платоныч упал от усталости под зарод рядом с Бузуном, но всё же нашёл в себе силы злорадно прохрипеть:

– Наша взяла, тётку твою перекати шестьсот раз с треском!

Бузун, размазывая по лицу грязь, ворчал:

– Чёрт! На войну похоже.

IV

Пошли слухи о каких-то белых, о войне. По реке часто плыли лодки с неизвестными людьми, никто их не задерживал. Лишь ундозер-охотники поймали в лесной избе у озера шесть офицеров, пробиравшихся к морю.

В конце лета молодёжь уходила в Красную армию. Пошёл и Бузун. Платоныч и Саша провожали за деревню, там постояли минуту молча, пасмурно глядя друг другу в ноги.

– Свой ты уже нам, – сказал Платоныч, – помни, – жили, кажись, в лад.

Бузун мягко улыбнулся, глядя на сивую лохматую бороду Платоныча.

– В лад жили, верно, – и, заметив у Саши слёзы, он добавил: – Я вернусь потом к вам.

Саша прильнула к мягким, пухлым губам, которые часто целовали её в тёмных сенях, и спрашивала:

– Скоро ли?

Степан Платоныч глядел на них и досадливо подумал: «Э-э, чёрт! Что же я их не поженил?»

Потом, в последующие дни, эта мысль мучила его. Когда пришло от Бузуна первое письмо, Платоныч оживился, значительно покашливая, усмехался и косился на дочь.

– Пишет Семёнко о побывке, женю вас.

И про себя думал: «Надёжнее для корня, и всё такое».

Осенью мужики выбрали Платоныча членом исполкома.

В исполкоме сутолока от мужиков и приехавших с фронта людей.

Полушубки, шинели, суглинистые, волосатые и красноскулые лица шевелились в табачном дыму и говорили с надсадой каждый о своём, об общем, о хомутах, коровах, о земле, революции. Степан Платоныч тоже спорил, тыкал толстыми пальцами в декреты и вразумлял:

– Мало понятно, да чуется, что крепко сказано, с пригнётом на старое, барское.

По деревням мужики побогаче не стесняясь ругали свой исполком:

– Мы только и знаем, что отдаём скотину да хлеб, а защиты от вас нет, выбирали вас, надёжных, чтобы упирались в другом деле разорительном, – боитесь.

Степан Платоныч сердился:

– Чего вы шибаетесь на власть вашу, не время жалеть себя; раз война – так дружно спихнуть надо, гогочет земля, спихнём это время. Потом опять запоёт земля-матка.

Бороды мужиков-первачей щетинисто колыхались в табачном дыму и копоти горевшей лучины, голоса тяжело бились в тёмных стенах избы десятского:

– Власть что, власть властью, война войной, а нам леготу надо, чтобы землю не уронить.

– Ладно, – успокаивал Платоныч мужиков, – повоюем и наладимся. Мужицкий корень крепок, ништо.

Скоро стало не до разговоров. Мужики с лошадьми занялись перевозкой разной фронтовой клади, живой и неживой. Девушки и подростки копали окопы, работали с песнями и шутками и к рёву орудий относились полушутя. Степан Платоныч однажды побывал на окопных работах, поглядел, послушал.

– Сердито сегодня воюют, – говорила высокая молодая баба в солдатской фуфайке, занятая едой, – белые, говорят, вина напьются, чтобы стрелять веселее.

Рядом пели:

Гром гремит, земля трясётся,
Милый мой сейчас проснётся.

Платоныч бодро кричал, оглядывая копошившихся в земле людей:

– Это наши заговорили, новые эшалоны пришли. Тарасовку, верно, берут.

– Зря копаем тут! – кричали голоса. – Не потребуются окопы-то. Отгонят.

Степан Платоныч кивнул на инженера с десятниками:

– Вот товарищи знают лучше нас, что делать.

Уходя, он думал: «Всё зря, жить надо человеку и настоящее делать. Зачем, отчего ладу в мире нет? Землю пакостят и человека».

Лошадь Степана Платоныча была записана в транспорт.

Поехал он с утра в дождливый осенний день. По почтовому тракту, тянувшемуся среди казённых лесных дач, зеленели возы с сеном, плывущие к железнодорожной станции, понурые лошади с пустыми телегами, рядом шагающие бороды хмуро тыкали на лошадей кнутами.

– Отощали животины, намыкались.

И охотно рассказывали про своё мыканье.

– Вырвешься оттуда нескоро, ежели только у кого что поломается или гужи сорвутся, а то недельки две прокатаешь. Да ладно, увидите сами, как и что.

Увидел Степан Платоныч у станции сутолоку побольше исполкомской. Похоже было на конскую ярмарку, только вместо цыган и барышников были красноармейцы, которые кого-то искали, кому-то кричали, махали, и слова «товарищ-щ! товарищ-щ!», пересыпаемые «мать, мать!», разноголосно носились среди сотен нахлобученных шапок, сотен лошадей и возов с сеном. Всё это охраняли зенитные батареи, задравшие кверху жерла, как волки головы, когда воют. Широко раскинулись постройки с мокрыми флагами, с пятнами плакатов и старых вывесок. Ухали кузницы, скрипели мастерские, кругом всего этого бегали и шипели нахлобученные шапки. За поворотом к кладовым скрывались вереницы лошадей, выплывали по железнодорожной линии и спускались в лес. На первый взгляд всё это казалось

бестолковым, но Степан Платоныч скоро почувствовал себя и окружающее в подчинении крепкой силы. Не успел ещё он оглядеться, как уже знал суровый приказ, что кормить через три часа и нагружаться у кладовой № 3. В бараках тесно и душно от постоянно топившихся печей и человеческих испарений. Тут грелись, пили, ели, несмотря на гвалт и сутолоку, многие ухитрялись спать. Примостившись к знакомым мужикам, Платоныч слушал их рассказы и наставления.

– Дорога, браток, тосклива, хуже всего на Авду, завяжи глаза, как поедешь. Грязь до брюха, пни, колоды, корм ещё донимает.

Рядом мужики выменивали у красноармейцев за хлеб махорку, спички. По углам – папахи, фуфайки. Темнела борода в углу, уговаривавшая красноармейца:

– Товарищ, дорогой, всё ведь наше, общее, чего нам торговаться, бери, что даю.

Заслонявший их полушубок смеялся:

– Будет вам общая принудиловка.

В первый день по дороге к фронту Степан Платоныч брёл по грязи за возом и с жалостью смотрел на надрывающихся лошадей. По рядам густого ельника дрожал хрип и бесконечный стон голосов:

– Го-о! О-го, го-о!

Встречались легко раненные красноармейцы, а тяжело раненные дрожали на пустых телегах, которые еле тянули лошади с резкими линиями рёбер. И лошади, и люди были точно выкупаны в грязи. При встречах и остановках над обозами стоял пар, пахучий и густой. Раненые на телегах равнодушно смотрели на обоз и так же вяло и равнодушно отвечали на вопросы. Все говорили:

– Наступают наши.

Все эти люди в бинтах казались Платонычу подобранными на кладбищах и теперь едут к живым людям. Один красноармеец-пешеход, раненный в руку, закуривал, прислонившись к дереву. Его синее и грязное лицо смотрело на обступивших его мужиков ласково-простодушно, он махал здоровой рукой и говорил:

– Там что, там ничего, мы ему шороху нагнали теперь, угомонили.

– Ну то-то, – говорили мужики, – чтоб нам не боязно ехать.

– Ну-у надёжно. Э-эх! – красноармеец тёрся спиной о дерево. – Чёрт, вши доняли, а ещё этот лес проклятый, идёшь один, так и думаешь, что леший сейчас обнимать будет.

Дальше опять хрип, грязь по колено и раскаты стона:

– Го-о! О-го, го-о!

Кое-где лежали по дороге павшие лошади, у некоторых были обрублены ноги, и рядом следы костров. На травяных местах выгрызена земля.

«Тошнота, порча несусветная», – думал Степан Платоныч и вспомнил песню, которую запел чей-то голос, когда спускались они со станции в лес:

Прощай жизнь, жизнь, радость моя.

V

Через восемнадцать дней Степан Платоныч вернулся домой, вывел лошадь с фронта за повод, подкармливая хлебом. Саша не узнала прежнего крепкого, сытого Карька, но Степан Платоныч обрадовался дому. Сытый, лежал на печи в ожидании бани и ворчал:

– Устосались мы-таки здорово, да вот дома, на печи теперь, а там люди голодные, холодные, вшивые, со смертью в шашки играют.

Пока он ездил, в деревне расквартировали красноармейцев; у него жил завхоз Яков Петрович – высокий, вертлявый, с немного раскосыми глазами, мигающими при разговоре. Помещался он в боковушке, где часто собиралась какая-то компания; всегда компания шумела и ругалась, по-видимому из-за карт, так как карты утром можно было находить и в сенях, и у крыльца дома.

Однажды завхоз сказал Саше:

– Затерялась ты тут в глуши, красотка. Ну хочешь, танцовать научу, на спектакли в школу заглядывать будем.

Саша краснела.

– Ведь это трудно, танцовать-то? – И согласилась: – Хорошо, только вы надо мной не смейтесь!

– Вот вздор какой! – надул губы завхоз и обнял девушку.

Саша с первых же уроков оказалась понятливой ученицей, и с этого дня завхоз не отходил от неё. Ходили вместе на спектакли в школу, и дорогой Яков Петрович, обнимая Сашу, всегда говорил одно и то же:

– Почему мне хочется всегда в это время целовать тебя?

И ловил её губы своими. Но Саша помнила слова отца, который, глядя на её успехи в танцах, опасливо говорил:

– Эти финтиклюшки-то всяковаты бывают.

Всегда, когда дело доходило до любовных признаний, она увёртывалась и начинала играть в снежки. Однако завхоз не унывал и придумывал хитрые планы. Но однажды явился Бузун, и все планы Якова Петровича осеклись.

Степан Платоныч увидал знакомое, покрытое инеем лицо, блеснувшие синие глаза и свернулся с печи, где он часто грелся, жалуясь на недомогание после поездки на фронт.

– Ух ты, тётку твою разнеси в пух, гость первосортный! – кричал Платоныч. – Саша! А, тут уже, чего впереди батька лезешь обниматься. – И нетерпеливо топтался рядом, норовясь облапить парня.

Отец и дочь наперебой вертели Бузуна:

– Ну-ко, каков вояка!

– Нагрели! Будет! – смеялся Бузун. – Экие шалые!

– Долго ли у нас будешь?

– Поживу, – кивнул Бузун, – моя часть тут рядом, до наступления стоять будем.

Саша сдёрнула с него шинель, надела на себя и потянула гостя к топившейся печи. Степан Платоныч надевал шубу, чтобы сбегать за водой на самовар, слышал поцелуи и одобрительно думал: «Ладно, пускай, так и расперетак!»

Яков Петрович запил и однажды пожаловался своему собутыльнику Каблукову на неудачу в любовных делах.

– Дело на лад шло, а тут чёрт принёс этого парня.

Каблуков – служащий госпиталя – морщил своё старушечье лицо и успокаивал приятеля:

– Ерунда, наладится, уйдёт парень.

– Нет, видимо, поживёт.

– Гм, – поднял пьяные глаза Каблуков и ухмыльнулся: – Я тебе пару вшей тифозных принесу. Сунь их сопернику в рукав шинели, и дело твоё наверху будет.

Завхоз поморщился.

– Фу, какая гадость, – поколотил себя в грудь, презрительно глядя на Каблукова, – мы здорово-таки озверели, а любовь она очищает человека, советую и тебе влюбиться.

И, выпив залпом стакан, стал декламировать из Пушкина:

Мечтаю я о сумрачной России…

– Эх, чёрт, забыл, да, Пушкина забыл, – потряс он головой. – Но всё равно я люблю простую сумрачную Русь, брошу пить и играть в карты.

Утром к Якову Петровичу зашёл Степан Платоныч, неодобрительно оглянул стол с разбитым стаканом и остатками еды. Завхоз тоже поглядел на стол и хмуро сказал:

– Непорядок у меня, да ничего, налажу.

Платоныч усмехнулся:

– Ты сам наладься. Вот поезжай-ка с Санькой да с Бузуном к моей сестре в гости, проветрись.

Слово «проветрись» понравилось Якову Петровичу, и он согласился ехать.

Степан Платоныч, пока молодёжь усаживалась в большие сани-розвальни, похлопывал поправившегося Карька и с лаской говорил Бузуну, взявшему вожжи:

– Ты, Сеня, его пошевеливай, подлеца, он те махнёт живо.

– Во, н-но, вали ветром!

Яков Петрович всю дорогу молчал, рассеянно окидывая глазами пестроту перелесков, полян с изгородями и изредка улыбался на весёлость Саши, которая вертелась в санях, держась за шинель Бузуна, и кричала:

– Дай, Сеня, я буду править!

– Вместе, вместе, – оборачивался Бузун, – ты правой, я левой, кати!

– Ох, заяц, заяц! – показала Саша. – Ишь, катит от нас!

Бузун весело моргнул забрызганными снегом бровями.

Яков Петрович смотрел на Бузуна и думал: «Что-то в нём есть спокойное, крепкое – странно. Я его даже люблю».

Когда они въезжали в деревню, где жила сестра Степана Платоныча, то заметили как бы крадущиеся по задам фигуры в белых балахонах.

– Стоп! – крикнул Бузун и волчком вывернулся на снег, выхватил из саней Сашу, торопливо говоря: – Беги к тётке, тут белые разведчики. – И, кивнув тревожно завозившемуся в санях завхозу, повернул лошадь и, бросившись в сани, махнул кнутом.

– Уедем, нет? – прошептал он, оглядываясь, и видел, как белые балахоны заколыхались перед избами и кричали:

– Стой!

Бузун махнул кнутом и взвизгивал:

– Врёшь, не было такого уговора!

Покатились выстрелы по перелескам и полям.

Яков Петрович, болтая руками, говорил придушенно:

– Застрелят, ей-богу, застрелят.

Он точно хотел уловить визжавшие пули, одна из них расщепала дугу, лошадь шарахнулась в сторону. Выстрелы прекратились, так как беглецам повстречался мужик с возом сена. Мужик испуганно вертелся около головы лошади и бормотал:

– Што оно, што оно?

Бузун бешено мял ногами снег и ругался, глядя на движение белых балахонов к деревне.

– Налетели, волки, без оружия пропадёшь, как собака.

И насторожил уши, указывая завхозу кнутом на деревню.

На какой-то постройке зачернела женская фигура, и по розовому платку, которым она махала, узнали Сашу.

Она не ушла к тётке и, когда началась стрельба, бросилась на крышу ледника и слышала, как стоявший шагах в двадцати от неё белогвардейский офицер говорил балахонам:

– Не уйдут, вон в перелеске наши перехватят.

Бузун и завхоз услышали Сашин голос:

– На реку бегите, не ездите. Бегите на реку!

– А-а, – понял Бузун. – Нельзя по дороге.

И, скрываясь за возом сена, побрели к реке. Оба вздрогнули от выстрела в деревне.

Мужик всё топтался у лошади и твердил:

– Вот я попал в уху, вот попал.

– Лошадь захвати нашу! – махнул Бузун.

Яков Петрович, подпрыгивая впереди товарища, тяжело дыша, думал: «Который из нас счастливее?»

– На лыжах они, догонят.

Бузун молчал, временами беспокойно оглядываясь назад, откуда опять стреляли.

Когда Саша с крыши ледника кричала беглецам, офицер свирепо рассёк шашкой снег.

– Долой! Ты, кукла!

Саша не слушала и, заметив показавшихся из-за воза Бузуна и завхоза, закричала снова:

– Держись у воза, наши идут!

– Снять девку! – махнул рукавицей офицер.

Рядом стоявший балахон выстрелил, и Саша присела, а затем покатилась с ледника.

Охнули стоявшие за углом мужицкие бороды, и пошло по деревне:

– Убили!

– Ставить автомат! – кричал офицер, кружась среди балахонов. Они указывали на реку и на перелесок, где брызнула тревожная ракета. Затем все стали на лыжи и метнулись к лесу.

Якова Петровича ранило в ногу. Он схватился за рану и, показав себе мокрую буро-красную ладонь, взвыл и, распластавшись на снегу, тыкался в разные стороны головой, как слепой щенок.

– Пропали, изнеможем.

Бузун, лёжа рядом, злобно пыхтел:

– Дотащу, может, тебя до спуску, а там что будет.

Взглянул на реку и радостно расширил глаза, завидев роту красноармейцев.

VI

Степан Платоныч стоял посреди избы, руки со сжатыми кулаками висели молотами, не смотрел на Бузуна, готового в путь. Тяжело говорил:

– Я бы шёл с тобой туда, да ещё подумать надо о многом. Охотой идёшь ты или посылают?

Бузун поднялся с лавки и протянул руку.

– Ну, живи, старина, думай больше о земле, легче от этого, а я потом загляну к тебе, если цел буду. Иду охотой, знаю те места, ребят трое со мной ещё, бывали уже там на разведке, а офицера того я поищу с фонарём, в Ширдозере они были, и званье там узнаю.

– Ты сам себе хозяин, а придёшь ко мне – утеху дашь, – сказал Платоныч, провожая Бузуна на крыльцо.

Он без шапки, сутуло, неподвижно глядел вслед парню, и когда тот скрылся за углом избы, то шумно вобрал в себя воздух и вспомнил, что он не договорил Бузуну то, что хотел сказать: пошёл бы с ним, но хозяйство, землю до неминучей оставить нельзя. Не хотелось идти в избу, пусто там, тошно.

Через две недели пришёл к Степану Платонычу солдат, маленький, плотный,

с пышными усами, как беличий хвост. Платоныч играл в шашки с выздоравливающим Яковом Петровичем.

– Я, я Платонов, – скоро ответил он солдату и потянулся к нему.

Солдат поглядел на костыли завхоза, как бы что-то вспомнив, заговорил басисто:

– Этих самых балахонов-то мы нашли, Андронов, офицер, волчьей сотней командовал, девку вашу убили, так на клочки его гранатой привалo, Бузун в Турчасове хватил, значит.

Степан Платоныч, выпячивая ершистую бороду, лязгнул зубами:

– Ну а Бузун где, где он?

Солдат отпустил усы.

– На унос мы пошли, все гранаты раскидали, насели, вишь, на нас густо, троих устрелили, один я улизнул, и сам не знаю как.

Степан Платоныч жал стену спиной и морщил лицо, точно пил кислый квас, и устало пыхтел:

– Экой парень пропал, пошто я не отговорил его тогда, пошто? – Поглядел на солдата. – Наказу нет какого?

Солдат подумал:

– Какие у нас наказы, сгинул – што плюнул, а за што и пошто сам суди, правоту да радость ищем, а смерть всегда у тя на горбах сидит.

Платоныч молчал, глядя на широкие ботинки солдата с задорно загнувшимися кверху носками.

– Ночуй у меня, а сапоги твои утром дёгтем надо вымазать.

Солдат встрепенулся.

– Нет, я пойду, прощайте!

Яков Петрович глядел на шашки, на свою дамку, которой он собирался съесть двух, взял дамку и стал её внимательно рассматривать.

VII

Весной уже не было фронта. Ушли красноармейцы на юг, на запад. Остались ржавые дороги, площади, окопы и колючая проволока.

Весенние ветры и дожди пчелой прожжужали по полям.

Сыто и пьяно дышит земля, а в небе поёт синеризый мужицкий бог.

Степан Платоныч шевелит полинялую бороду и смотрит внутрь себя. Там порвались какие-то нитки, а были они крепкие, смолевые. Мало думает о работе, о хозяйстве. Всё уже не прежнее, а одна тень того. Стряпухой сестра, она надоедает плаксивостью при воспоминаниях о Саше и носит попу хлеб за поминки.

Теперь отяжелели плечи Платоныча и потускнела синь в глазах.

Ещё прибавилось беспокойство в груди.

Одышка, боль при тяжёлой работе – это заметил недавно. Как-то взялся копать канавы, придумал тяжелее дело нарочно.

В первый день он то с бешенством копал, то бросал лопату и шёл домой, сердился:

– На кой чёрт канавы, другое бы что.

Снова возвращался и рыл. Вечером лёг в канаву, схватившись за грудь, чуть не потерял сознание и с усилием пришёл домой.

Потом дня два отдыхал дома.

Заходили мужики, нюхали избяной запах и смотрели на Платоныча как на захромавшую лошадь. Все одинаково советовали:

– Перетряхнуться надо, паря, самогону, значит, похватай, перемоет он всё лишнее.

Потом что-то припоминали:

– Струменту у тя много, не продашь ли по-приятельски?

Если Платоныч отказывался продать, то брали на время, для работы, кто фуган да дорожник, кто коловорот с перками.

«Что они смерть, что ли, ворожат мне? – подумал Степан Платоныч. – Весь струмент растаскали. Ладно ещё, ужо отнесёте».

Старуха Корношиха, сухая как жердь, лицо точно выедено у червей, зашла предложить Платонычу невесту.

Он пил чай и слушал скрип старухи.

– Уж я тебе такую бабицу в хозяйки найду, что молодому будет завидно.

– Пошла ты, огрызок суконный, – проворчал Платоныч.

– А ты куропоть, – огрызнулась старуха, – с добром ведь я, кому корень-то свой передашь?

Платоныч дёрнулся на месте и бросил о пол стакан.

– Уйди, чёрт!

Старуха попятилась крестясь и, ворча что-то, ушла.

Иногда Степан Платоныч, искосив голову, одним ухом слушал весёлый говор на деревне, смех, песни, шёл ближе и смотрел на весёлых людей долго и упорно, хотел что-то разгадать: живут вот, текёт всё по-прежнему; глядел внутрь себя, стержень какой-то будто вынули; не любил грохота, криков и грозы, а гроза бывала в это лето часто, она напоминала ему войну, непонятную, тёмную. По вечерам одиноко посиживал на крыльце, пахло дымом лесного пожара, и ветерок приносил сладковатый запах цветущей ржи, вились комары над головой и, казалось, кого-то отпевали гнусаво и насмешливо. Если в стороне проходили грозы, то Платоныч угрюмо ворчал:

– Проклятое, ишь ползёт.

Когда гроза запирала людей в избе и заставляла старух боязливо креститься, Платоныч упирался бородой в раму и вызывающе глядел на тучу. От молнии медью вспыхивали его лицо и изба, дрожали стены, за печкой крестилась с дрожащим шёпотом сестра Платоныча, а он суровым речитативом басил:

– Шаль ты! Тёмное пугало! Птица змейчатая, тётку твою перекати шестьсот раз с треском!

Потом садился на лавку и устало говорил:

– Будоражит она меня, спокоя нет. – И глядел на сестру: – Какие у нас дела-то? Не угонюсь я за ними.

Обычно он говорил мало с сестрой, похожей на него лицом и фигурой. Она боялась его молчаливости и придумывала разговор.

Иногда он оживлялся: бодрила хорошая погода, выезжал в поле, как и прежде.

Вот мужики пашут пар, идут за сохами так, как будто ищут клад и, не находя, сердито кричат на лошадей. Дорога дышит пылью и теплом. По зеленобородым межам бежит стрекотня кузнечиков. Тихо. Ярко, и оттого изгорода в струях воздуха точно обёртывается в солнечные лучи. Свежая пашня ноздревато чернеет подсыхающим варом. Пахнет квашеным изюмом.

Хотелось пахать по-прежнему, чтоб пела внутри бодрость; работал по привычке хорошо, но сухо было внутри, точно выжатой губкой стало сердце, а пашня как пашня, всё в порядке, глыбки даже по старой привычке ногой с межи скатил на полосу. Смотрел на поле. Мужики пашут, как клад ищут, с усладой. Недалеко сосед, допахавший полосу, руками и ногами кидал с дороги вырытые сохой глыбки с таким усладительным шипеньем, что Степану Платонычу стало до боли не то завидно, не то тоскливо.

– Что бы такое? Мужики говорят: перетряхнуться самогоном – н-да!

Тут вспомнил, есть у него в подвале четверть водки, что много лет берёг на свадьбу дочери.

Вечером зазвал мужиков пить водку. Мужики пьют и крякают, как утки.

– Будто винтом медовым прошло, сугревно, вот так, пей сам, наладишься, конь-конём будешь.

– Был конь, да езжен, – проворчал Степан Платоныч.

Мужики ласково мнут лица.

– Верно, теперь тебе бы облегчиться с хозяйством-то. Лишки всякие на што тебе. Вон хоть три хомута, один-то всё для суседа можно уступить… платы, сарафаны.

– Верно, наволоки-то по реке отдай, скосим, из половины можно.

– Налажусь, сам скошу наволоки, врёшь! – Степан Платоныч стукнул по столу. – Ещё есть сила! Не думайте, что я в клепи совсем ульнул, всё сам сделаю! Я знаю, вы облегчите… А ну-ка, самогону ещё, пей! Гуляй! Пропивай Степанову поселицу!

Медведь свалил в лесу корову Семёна Коробушки. К Степану Платонычу мужики опохмелиться пришли и попутно уговорили медведя подстеречь.

– Бивал ты зверья, лобоз для лёжки сделаем. Покарауль ночь, ништо.

Степан Платоныч отправился к убитой корове медведя ждать. Палати-лобоз мужики с похмелья плохо укрепили, а зверь какой-то шалый, подпорку у палатей толкнул, и Степан Платоныч с палатями на медведе оказался. Не понял Платоныч,

почему зверь на месте с рёвом кружится, помнил, что хватался за уши медведя и ножом ударил в мягкое.

Очнулся он под утро, озябший, с тупой болью в голове.

– Стукнулся, что ли, о что?

Оглянул мёртвого медведя, зарывшегося в мох.

– Не ушёл, а тут припадок, труха-дело… с водки, может? Тьфу!

Поразмялся и стал разводить огонь.

Уходила в чащу тусклая ночь, в синеющие просветы ельника видны струйки седин неба, уже запятнанные солнцем. Живые комочки певучей мелюзги мелькали в просветах.

Платоныч по-детски ловил руками лохматый дым и ворчал:

– Отсрочку ещё дала, ладно. Я ещё поборюсь, не сломишь сразу.

VIII

Справляют свой ежегодный праздник шортомецкие наволоки. Утром тонкоберестовые завитки тумана серебристо тлеют в солнечных лучах и обёртывают лес слюдяной тканью. Наволоки, что широченная зелёная дорога, разрезанная синей полоской – речкой, попыхивающей тёплым паром, – укатываются убегистым говором людей и кос. Из леса пахнет рыжиками и морошкой.

Вот от избы, прилепленной, как большой мухомор на пригорке, посыпался трухлявый голодный гогот топора. Люди идут на его зов и думают о наваристой ухе из щук, выловленных на дорожку. Залаяла собака, поднявшая тетерева, и потом грохнуло ружьё, точно упало на лес облако и рассыпалось горохом.

Степан Платоныч с одымлённым ружьём в руках берёт у жадноглазой собаки тёплую тяжёлую птицу и смотрит на яркую кровь на чёрно-пушистой шее.

– Пососать крови – прибудет силы, – бормочет он нерешительно. – Нет, стошнит, пожалуй, мяса поем в охоту, крепость даст, дремуху снимет.

Он тащит тетерева к избе, где у костров, в дыму, колыхаются люди.

– Вон какого материка убил Платоныч, – загудел чугунный голос, – фунтов двенадцать: кидай в котёл. Я знал одного охотничка, – большой, как лесина старая, так он в лесу с голодухи четырнадцать фунтов тетерева слопал да рябчиком закусил.

– Ядрён, значит, был, утробист, – сказал Платоныч и недоверчиво улыбнулся.

– Ядрён, понятно, – продолжал чугунный голос, – ядрёные-то теперь только в лесу живут да на чернозёме, умные в городах, а глупые да худые на лёгкой земле леготу ищут.

– Рассудил, – проворчал кучеватый мужик в фуражке без козырька, – всё живёт – леготу ищет Федот. А ну-ка я те, Платоныч, пособлю птицу ощипать, крыло дашь бабе стол опахивать, тоже легота.

Костры трещали и дышали жаром. Дым гнал комаров от людей. Девки и бабы разбрелись по лесу за морошкой. Слышались смех и ауканье. Несколько голов придвинулось к тетереву, дёргали перо и говорили о погоде, о травах.

Степан Платоныч неожиданно сказал:

– У меня добрая трава нынче, погодистых дней теперь – и я бы нагрохал зародов.

Другой голос, холодный и насмешливый, поселившийся в нём после случая с медведем, ехидно пискнул: «А одышка-то глошит, запарит ужо она тебя».

Мужики, слезливо морща в дыму лица, облизнулись, чугунный голос удивлённо проворчал:

– Думаешь, за три-четыре дня управиться? Лешего-то! Неделю проползаешь, вот этого бы тебе чёрта в помощь, что тетерева-то сразу съел, так, пожалуй бы, сделали.

Степан Платоныч показал зубы, точно собирался перекусить шею тетерева, и упрямо крикнул:

– Управлюсь; управлялся, бывало, вам и во сне не снилось того, что я делал. Какой год дождик помешал половину сена убрать, я домой уходил, солнышка дожидался, до восхода вышел сюда, двадцать вёрст через мхи, болота рысаком промахнул, сенцо подсушил, убрал, вилы ещё сломал при метке и обратно домой махнул, солнце садилось, я на великом мху был... Вот как работали!

Мужики согласились:

– Что говорить, первый ты был у нас, таких, как ты, земля редко родит.

Другой ехидный голос у Платоныча опять пискнул: «Ты говоришь это для того, штоб могучесть прежнюю поднять, так подымай веселее».

– Подыму ещё силу, ребята, – пыхнул Платоныч, выпрямляясь. – Эх, гудит она, ревёт, бывало, в тебе, а земля-то тогда духом, как вином крепким, старым ошунет.

Вернулись девки и бабы с морошкой, принесли запах багульника. Костры развалили и в кругу их, одымлённые, сидели у котелков.

Смешались запахи дыма и свежей наваристой ухи. Говор и смех плавились в яркой сини наволоков.

Упрямо гонится Степан Платоныч за людьми в работе. Часами в нём подымалась бодрая сила, тогда оживала прежняя крепкая связь с землёй, и утерянный стержень искал своё место.

Вечером он еле шёл к избе, точно бы на нём был надет тяжёлый вымоченный тулуп.

– Ухлябался, бывало и раньше это, ништо.

Однако не мог скосить наволоков так скоро, как прежде.

Погожие дни. Люди начинают убирать сено, а сосед Федот чугунным своим голосом пугает дождём:

– Торопиться, ребята, надо. Календарь у меня дождик ворожит – кила щемить стала.

– А штоб тебя с килой-то медведь съел! – ворчат мужики. – Ну да оно не лишне иметь такой календарь или барона, что погоду указывает; урожайный год, часто гром бывает... А ну-ка, шевели сено, урывай, когда календари заговорили.

Степан Платоныч рано поднялся – докосить по росе хотелось. Теперь устало шаркает по наволокам, переворачивая граблями шуршащие пахучие ряды. Потом на высоких местах сгребает сухое, горячее сено и шатаясь носит к стожарам. Душно и пахуче до одурения, распаренное тело точно обливается чем-то тяжёлым, обжигающим, голова обволакивается туманом от хриплого запара в груди. Влез Платоныч в омут, сидел в нём пыхтя. Освежило, вылез на бритый берег и крякал, как утка:

– Громыхали, бывало, – лешему страшно было. Эх ты, ч-чёрт!

Неуклюже пополз по сену, напрягся весь и встал, широкий, лохматый, как седая ель, и взвыл страшно, с отчаянием:

– У-у-о-о!

Звал прежнее, могучее гудение земной силы.

– У-у-о-о!

Где-то за тихим прохладным лесом отозвался гром, и голос – недавний поселенец внутри – хрипнул: «Оборет! Тут твоя, Платоныч, последняя ступь».

Чернобурая лисица*

I

В клепи попала лисица, какой Иван Николаевич никогда не видал. Однажды он уловил чернобурую лисицу, а эта тоже чернобурая, но на чёрном хребте была серебряная ость, что встречается очень редко, и такие лисицы ценятся дороже соболя.

Охотник долго, сидя на лыжах, курил и глядел на зверя не то со страхом, не то с лаской, не хотелось снимать шкуру.

– Эхма! – вздохнул он, – так понесу домой, – и оглянулся на шум сзади. Из опушки вынырнул Бунча, и его длинная, косая тень, точно лохматый кнут, кинулась по окрашенному взошедшим солнцем прогалку.

– Соболь, что ли? – выдохнул Бунча и завистливо уставил беличьи глаза на лисицу, рот его стал похож на медный пятак. – Чё-орт воз-зьми, ведь эко тебе счастье, Иван!

Иван Николаевич, вытянув вперёд клинышек-бороду, недовольно взглянул на парня, заметил у него под мышкой зайца и с усмешкой кивнул:

– Ты тоже с добычей.

Парень вдруг разозлился и швырнул зайца далеко в сторону.

– Не было удачи, и это не удача. Тьфу! Всю зиму хожу, а что выходил, окаянный я, – у людей радость, а у меня чёрт внутри!

Иван Николаевич встал и хмуро указал на лисицу:

– Не радость, красу бьём, пустошим землю и сердце, – вздохнул, – ну что делать – убита, значит, понесём домой.

---

* Печатается по: *Черноков М. В.* Тёплые росы. С. 65–81.

Взвалил зверя на спину и пошёл. Бунча сзади, шаркая лыжами, щурил беличьи глаза на игравший по снегу лисий хвост и думал: «Не одну сотню пудов хлеба несёт вот на себе человек, и нужды-то ему в этом нет, проживут, а тут мать больна, хлеба нехватка, жениться надо. Эх, прийти бы мне пораньше, и лисица была бы моя, разиня, чёрт!» – ругал он себя.

Иван Николаевич и дома любовался на лисицу, раскинутую по полу. Брат, чернобородый Пётр, аппетитно тёр кулаком поясницу и сопел:

– Тут, братанко, хлеба вагон, – и ухмылялся на какие-то свои мысли.

Жена Катерина толкнула его локтем:

– Ладно, мели, тебе всё вагон!

Пётр рассердился.

– Я не мелю, а никак меньше взять нельзя, потому редкость, что ты понимаешь, звезда!

К братьям шли мужики. Скоро изба набилась шумными полушубками. Толстые и рыжие, от цигарок, пальцы учтиво трогали серебряную ость, и бороды с уважением косились на спокойное лицо человека на лавке.

– А что, ребята, – фистулил кучеватый Никита, – мне бы такая лисица, так я бы года три на солнышке пролежал бородой кверху.

Мужики сочувственно щурились.

– Да, оно дородно бы, отдых.

Иван Николаевич усмехнулся, взглянул на Никиту.

– Пролежал бы, значит, а потом?

Никита вытянул шею и юмористически округлил рот.

– А потом бы корзину нову купил – просить по миру идти.

– Врёшь, стыдно было бы?

– Что, однако, за этакого зверя возьмёшь? – любопытствовали мужики.

Иван Николаевич недовольно шевельнул бородой.

– Вы бы сказали: зачем такого зверя бить. Таких лисиц и всего-то на свете, может быть, десяток, продам я шкуру, повезут её за границу, и будет там какая-нибудь барыня на плечах носить, барыне-то грош цена, чё-орт! – Он вскочил и стиснул протянутый кулак: – Злоблюсь я! Лисицу бы отдал даром, если бы эта барыня узнала об этом. А вот возьму и не продам.

Мужики переглянулись и думали: «Иван Николаевич от радости стал заговариваться».

Дня через два приехал Каталай – скупщик пушнины. Шкура лисицы была уже снята с пял – высохшая – и висела во всю стену – от потолка до пола.

Каталай, потряхивая кудрявыми вихрами над плешью, тряс шкурой в избе, выбегал в тёмный коридор – и тряс там.

– Вишь искры, – вскидывал он глаза на Петра, который топал вслед за скупщиком.

– Вижу, брат, ишь ты, растак её.

Иван Николаевич, раскинув ноги, смотрел на пол и сердито говорил, точно лаял:

– Не продам, сам в город свезу, цену слуплю, знаю.

Проводив скупщика, охотник пошёл к вдове Иванихе, у неё были часы с музыкой, играли песню:

Соловьём залётным юность пролетела…

Любил эту песню и музыку и часы Иван Николаевич. Он застал Иваниху перед зеркалом: она, раздвинув локти, прятала под платок чёрные волосы и слушала болтовню Дуняшки:

– Меня дразнят Бунчихой, мама, я не знаю, сердиться или нет?

Иван Николаевич легонько дёрнул за синюю ленту в косе девушки и улыбнулся.

– Ах, франтиха! Но тебя можно и без прикрас любить, ведь ты совсем как ягодник в цвету.

Засмеялись глаза и губы девушки, и она нырнула в угол к прялке.

– Садись-ко, Николаич! – скоро и сухо проговорила Иваниха, точно пересыпала костяшки. – А я вот по муже собираюсь поплакать, да всё некогда.

Иван Николаевич играл голосом:

Я, млада, плачу,
А милый конём скачет.

Дуняшка, тонкая и высокая, оперлась с прялкой в руках о косяк двери, и охотник уловил на себе её взгляд, напомнивший ему глаза женщин, которых он любил. Слушал шаги уходившей девушки и думал, что он ещё молод.

Иваниха обняла самовар.

– Ну-ко подогрею, чаю попьём, а ты опять на часы глядишь?

– Гляжу – утеха, значит.

Лампа на столе освещала большую комнату, где дорогая городская мебель уживалась рядом с грязным курятником, ушатами и вёдрами. На стене круглые часы. Чёрный циферблат с зелёными цифрами казался Ивану Николаевичу лицом ручного доброго зверя.

Скоро он сидит раскинув ноги, слушает музыку и поёт негромко. Иваниха упрямо смотрит на его лицо, оно ровное, мягкое, с радостью. Голос и музыка шевелят у ней морщины около сухих губ.

II

Пётр везёт Ивана Николаевича на станцию. Был март. С утра холодило. Гулко стучат сани и копыта лошади по замёрзшей дороге. Голый лес роняет иглы хвои. Пётр указывает на них кнутовищем:

– Примета, через шесть недель яровое сеять.

Скачет по лесу гул, будто Дед Мороз торопливо дорубает ледяную избу, а солнце уже пыхнуло над лесом, и в выси заиграли струйки туманных седин. Чиликнуло и взвилось стадо снегирей, не умолкая токуют косачи во всех сторонах, и кажется, что рассыпается и рвёт вместе с лучами солнца эта песня любви туманные седины. Шумный и радостный вздох сдунул Дедка Мороза; искры сосулек на деревьях зазвонили ему отходную. Всё засмеялось.

– Ах, матка-весна, – смеялся и Иван Николаевич.

Взгляд его плыл за неуловимыми тенями в прозрачных прогалинах леса.

Пётр кряхтел и, сморщив сизый в световых тенях нос, размягчённо сказал:

– Хорошо, братанко, дружно жить всем, благодать ведь эка. – Загляделся на серое пятно на дороге: – Уй, братанко, подкова лежит, стоп, давай сюда, фунтов шесть хлеба.

Встречались мужики с сумками – шли с работ, на смену им плыли другие.

Около станции плакали сотни пил и ухали топоры дровоколов.

– Ишь, как лупят, – кивнул туда Пётр, – оно, братанко, я давно не бывал, занятно.

На полотне дороги сиротливо стояло несколько товарных вагонов, в открытых дверях одного стоял человек в белом переднике. Пётр почтительно ткнул на вагоны кнутовищем:

– Должно, лавка железнодорожная.

Пили чай у Тихонка, у него в доме была контора Северолеса, находящаяся за перегородкой от кухни, где хозяин принял гостей. Тихонко, круглый, как надутый резиновый мешок, катался на кривых ногах между переливающихся верениц людей и кричал тем, кто торопился:

– Постой на запасном! Я из паров вышел, котёл лопнет!

В конторе он по-хозяйски надрывался:

– Требование на рыбу пошлите! Одна бочка осталась! Завтра орда шпаловозов присадит, разорвись, значит, Тихонко.

Два тулупа спорили:

– С вином архирейстее было жить.

– Поди-ты, угарно.

– Нет, выпьешь, так шары в теле заходят по-ладному.

– А без порток если заходишь?

Рядом пел бас:

Во поход ли она собиралася.

Другие говорили о заграничной шпалотёске, один кричал:

– Торгуем, всё за границу прём, а вот, ребята, лешего бы в лесу поймать да продать за границу, дорого бы дали, а?

Иван Николаевич говорил знакомым мужикам:

– Вы всё о хлебе, хлеб – кабала наша, оттого, что дальше навоза, земли и хлеба ничего не видим, не люблю, ерунда хлеб, по-иному жизнь пойдёт, надо скорей

ростить в головах трубу такую, которая затрубит: «Кантуй дружней проклятое и страшное, очищай место радошному».

Пришёл поезд – казался большим, глазастым топтуном; он много видел кое-чего и устало вздыхает и шипит на надоедливых людей-комаров.

Иван Николаевич поместился в купе жёсткого вагона.

На нижней полке спали обнявшись двое. Пахло колбасой и сигарой.

«Городское», – подумал охотник, влезая на верхнюю полку. Скоро заснул и проспал до города.

Было утро, когда он попал на главную улицу, тут были все учреждения, весь мозг губернии. Этот мозг – неповоротливое, громоздкое, в хитрой многоглазой оболочке, казался охотнику лисицей, которая сильнее его клепей.

Но шум, звонки трамвая, пестрота красок и суета людей были любопытны. Шёл он не по панели, читал на вывесках непонятные слова и хмурился.

– Навыдумывали вот!

На одной вывеске прочёл: «Комитет Российской Коммунистической партии (большевиков)».

Остановился и снова прочёл с расстановкой каждое слово и подумал: «В старину не было, а теперь есть, значит, пусть, учись друг у дружки хорошему, а худое вон, пойду поговорю».

Он было пошёл к двери, но раздумал, – прислушался к разговору двух человек с портфелями – уловил слова: «Боевая задача – поддержать тяжёлую индустрию».

«Что это такое за штука? – подумал Иван Николаевич. – Занятно», – но тут его привлёк магазин «Северопушнина».

Прижал мешок под мышкой, глядя на выставленные меха.

Дохнуло лесной жизнью, представлял, как идёт по снежному солнечному прогалку чернобурая лисица с сияющей серебряной остью.

– Краса! – и сжал мешок, как жалкое воспоминание, вздохнул и направился разыскивать земляков. Лисицу он решил продать на другой день.

«Не продам дёшево», – упрямо подумал Иван Николаевич, входя в магазин «Северопушнина».

– Что, дядя, скажешь? – спросил усатый, плечистый из-за прилавка.

– Пёсик вот есть, – охотник сердито глядел на усатого и насмешливо скривил губы, наблюдая, как он и другие трясли и вертели лисицу.

– Продаёшь, значит? Та-ак, – протянул усатый, – сколько?

– Шестьсот рублей золотом.

– Нет таких цен.

– Мне-то что до цен. Я бивал и видал немало зверя, знаю, что чего стоит, – уверенно говорил Иван Николаевич и стал лисицу класть в мешок.

– Постой, – протянул руку усатый, улыбаясь глазами, – поладим.

Охотник засмеялся.

– Тяжёлая вы индустрия, ребята, не купцы ведь вы прежние, знаю я, – и хлопнул по прилавку, – гони деньгу.

На улице он уже не думал о лисице, поднимая клинышек-бороду, пришлёпнул ладонью по пазухе, куда положил деньги, и подумал: «Первый раз в жизни у меня столько денег». Вид у него стал задорный, ему казалось, что встречные люди-топтуны думают про него: «Вот мужичонко чернобурую лисицу продал».

Захотелось сильного движения. Сдвинув на затылок шапку, замахался между суетливых и озабоченных лиц. Обошёл несколько улиц, рынок, смотрел на товары:

– Всё это ерунда, не нужно мне.

На рынке попался земляк Навага, рабочий с завода. Он обрадовался Ивану Николаевичу и суетливо потянул его в пивную.

В полутёмном помещении с угаром от табака и дыма люди казались большими гудящими тараканами.

– Эк ты, брат, хватил денег, – крутил головой Навага, – что теперь начнёшь?

Слегка захмелевший Иван Николаевич грыз цигарку, возбуждённо ширил глаза и гаркал на всю пивную:

– Заверну что-нибудь такое большинское, чтоб копоть пошла и сверкнула. Эх! Ужо подумаю ещё. – И обернулся к людям-тараканам: – Эй вы-ы, люд честной и разный, споём, что ли?

– Пой, коли весело!

– У нас за этим дело не станет, – охотник крякнул и запел:

Соловьём залётным…

Песня понравилась, особенно жалостливо смотрел на певца нищий, сжавшийся у печки.

На стол понесли деньги. Иван Николаевич сначала не понял.

– Не понимаешь? – усмехнулся Навага. – Они думают, что за деньги поёшь.

Охотник засмеялся, взглянул на бурую щетину усов нищего, сгрёб деньги и подал:

– На, выпей, сват-солодяга, и тебе веселее будет, это я заработал вместо тебя.

III

– Он теперь у нас первый богач, – говорили мужики про Ивана Николаевича, – за простоту человеку счастье, сколько лосей бил, и всё соседи в долг без отдачи растащат.

И всем казалось, что и деньги тоже так же уплывут из рук охотника, и втайне все желали этого.

Мужики сговорились попросить денег на переустройство в полях. Однажды они пригласили Ивана Николаевича на собрание. Он долго слушал дружный топот

и ласковое жужжание и неожиданно сказал:

– Возьмите, пожалуй, вот, – он полез за пазуху.

Мужики сгрудились больше, и зашевелились у всех глаза и бороды при виде толстой пачки денег.

Все разом хотели жалостливо благодарить, но охотник повертел пачку в руках и в раздумье проговорил:

– Ужо, ребята, я вещь одну куплю, а потом скажу, потерпите, – и засмеялся, – а то пропьём, всю волость соберём и решим.

Нашлись и охотники пропить.

По дороге к дому Ивана Николаевича догнал Бунча и, забегая вперёд, точно норовясь подставить ногу, мял на голове шапку и вытягивал лицо – молил:

– Осчастливь ты меня, Шаляка, дай полусоток на свадьбу, что тебе стоит с удачи, а?

Охотник подозревал парня в краже лисицы из клепей в прошлом году и, остановившись, пошутил:

– А что, разве дать тебе, парень?

Бунча заплясал вьюном.

– Куда бы добром, Иванушко, удружи.

Но тут подкатился Пётр и подозрительно скосил глаза на Бунчу.

– Вы чего тут?

– Денег просит – дать, что ли?

Пётр расширил плечи, точно собираясь протиснуться через толпу, загородил брата и язвил:

– Ладно, скись, парень, какие деньги, ишь ты.

– Да ты-то что, дымник! – огрызнулся Бунча. – Поговорить с человеком не даёшь.

– Видишь, брат не даёт, – усмехнулся Иван Николаевич, – а ты женись на Иванихе, а не на дочери, тогда и без денег обойдёшься.

Бунча плюнул и откачнулся.

Пётр, осторожно ступая в новых сапогах через лужи, пыхтел:

– Ты бы, братанко, мне деньги-то отдал, я бы лучше распорядился, пропадём ни за грош, право.

Позже охотник сидел у Иванихи, слушал музыку и пел, посматривая на красивую Дуняшку на кровати. Она плутовато глядела на него, часто пошевеливалась и подгибала ноги.

Иваниха собиралась идти к кому-то на деревню и сухо говорила:

– Я вот, Николаич, никогда не пела, выпала мне на долю статья – на мужиков любоваться: девкой на одного женача любовалась, потом на мужа, а теперь на тебя.

Дуняшка вытянулась на кровати, провожая глазами мать.

Иван Николаевич встал и взялся за шапку, но его остановил взгляд девушки.

– Ты помнишь, Иван Николаевич?.. – она глядела в потолок, что-то припоминая.

– О чём, ягодник?

– А когда ты меня трогал за синюю ленту, но иди, иди. – Она отвернулась к стене лицом.

Иван Николаевич надел шапку и шагнул к двери, но быстро вернулся и видел, как вздрогнула спина на кровати, неровным голосом сказал:

– Это я помню, ну что ж. – И яркий рот и задорные зубы повернулись к нему, но в тот же миг его оттолкнул стук в сенях.

Вошёл Бунча. Охотник потёр лоб и заговорил:

– Ты давеча просил, парняга... – и замолчал, заметив, что Бунча тревожно кинул глазами на Дуняшку.

Уходя, Иван Николаевич подумал: «Которому-то из нас счастье». Он прошёлся по деревне и снова пришёл к дому Иванихи.

В окне разглядел двоих обнявшихся и быстро отошёл с шёпотом:

– Это всё деньги, ерунда всё. Надо купить часы у Иванихи, пойду рыбачить на озеро, возьму туда.

Навстречу ему шлёпал человек, то был Пётр, он встревоженно заговорил:

– Я за тобой, братанко, – жена, того, раскладываться стала.

Катерина стонала в родах. Пётр с надвинутой на глаза шапкой то топтался в избе, то шлёпал по деревне, собирая старух.

– Зря всё, – ворчал Иван Николаевич, – съезди в больницу за доктором.

Старухи были против доктора, но Пётр послушал брата, поехал.

Изба была полна старух; доктора они встретили с тревогой, его резкий голос, крупная фигура и очки пугали.

– Ты будь спокойнее, – мягко говорил доктор Катерине, осматривая её. – Так и думал, неправильное положение плода, – надо операцию делать.

По рядам старух прошёл испуганный шёпот, а Пётр безнадёжно махнул рукой. Приехавший с доктором фельдшер улыбнулся.

Иван Николаевич с любопытством смотрел на доктора, он видел в нём представителя другой, незнакомой ему жизни и, при словах его об инструментах, подумал: «Тяжёлая индустрия».

Доктор как будто только что заметил старух, улыбался, оглядывая их.

– А, бабушки-помощницы, я, значит, буду делать операцию, трое из вас пусть останутся, на лавку сядьте, а остальные вон.

Старухи молча повиновались, и три с вытянутыми сухими лицами наблюдали за торопливыми и уверенными движениями большого и чужого человека. Этот человек знал народ, его недоверие к медицине и лечение и операции любил обставлять какими-нибудь особенностями. Теперь, усыпляя Катерину, он сказал ей:

– Тихонько говори слова из песни «О радуге», знаешь?

– Знаю!

Больная просто взглянула на очки и стала нараспев говорить слова из песни, на половине её заснула. Операция прошла скоро. Доктор передал инструменты фельдшеру и ждал. Катерина проснулась и договорила песню.

– Ой, батюшко! – в одни голос запели старухи и бросились доктору в ноги. – С песней заснула, с песней и проснулась.

Доктор, хитро кося голову, сверху глядел на старух и смеялся:

– Это для души, для души, бабки-старушки, от вас перенял.

Пётр широко топтался, радостно шевелил скулами и ртом, слушая писк ребёнка и говор людей, сунулся к доктору.

– Товарищ-барин, отец, – бестолково говорил он, – радуешь нас, верим мы тебе.

Ивану Николаевичу очень хотелось поговорить с доктором о науке, о другой, незнакомой жизни, но доктор торопился к другим больным.

IV

Тёплые дни. Солнце прогревает всё насквозь. Земля дышит паром, а тёплые струи воздуха щекочут лицо. Иван Николаевич в первый раз вышел из избы в лёгком кафтанчике и старой шляпе. Он конопатил лодку и часто щурил глаза на широкое плёсо реки.

Вода лезла в берег, а на другом, крутом берегу шумно сваливались в воду подмытые глыбы снега и качались в синеве реки, как распластавшие крылья лебеди.

Смеялись и играли быстрины с плывущими дудками озёрных тростников.

«Озёра раскачало, – думал Иван Николаевич, – пойду рыбачить, там подумаю».

Огородник Чудаков давно уже набил парники, он приподнимает со сверкающими стёклами раму и блаженно кряхтит от пара, хлынувшего из парника.

– Теплынь, братец ты мой!

Иван Николаевич медленно косится на солнце и тянет:

– Печёт рестантина скрозь.

От дома слышится голос Петра:

– Поди, поди, милой, какие у нас деньги, на семена, говоришь? Погоди, привезут ужо, раздавать будут, деньги, брат, транжирили, вчера у Иванихи часы с музыкой купили, деньги ей на свадьбу надо, за Бунчу дочь выдаёт.

«Опять кто-то приходил денег просить, – подумал охотник, – люди, что мухи, чуют, что кому не нужно».

К вечеру он собрался на озеро, бережно уложил в мешок часы и понёс на спине.

В поле пашня чёрная, как воронье крыло, поблёскивала водяными воронками. Сквозь струи воздуха синел лес, а над ним цветными расплывчатыми обручами стояли облачка.

С разноголосым говором лилась вода по канавам и местами заливала дорогу, смывая прошлогодние тележные колеи.

Иван Николаевич обходил на дороге глубокие ямы, оглядывался и думал: «Гибнут поля, довели же, отдать уж им деньги-то, обрадовать их, дураков, нет, этого мало».

Он остановился, и в груди у него переливалось, точно ворвалась туда весенняя, тёплая вода и клокотала с переливчатым звоном.

– Эх, погоди, сделаю ужо.

Он ещё не знал, что будет делать с деньгами, но верил, что назреет скоро в душе большое, красивое.

Была ночь тихая, тёплая, когда охотник пришёл к озеру. Отопил избу и заснул под крик ночных птиц и тиканье часов.

Утром открыл глаза и зажмурил снова от ярких пятен, пробившихся сквозь щели избы. Солнечное пятно стояло на ряднине мешка с часами.

– Тип-антип, тип-антип, – слышалось из мешка.

Иван Николаевич засмеялся и спрыгнул с нар. За дверью его ослепил свет. Изба стояла на песчаном пригорке, озеро лежало внизу, как круглое зеркало, оно жило, шевелилось от взмахов крыльев и кряканья уток; в берегах кулькали ручейки.

Солнце разредило лесную гущу и обвесило прозрачными разнокрапными сетками, а оттуда доносилось:

– Чилик, кик, сик, тюить, мюить.

– Ах, дым тя заешь! – пыхнул охотник и спустился в низину.

Под ветвями елей лежали старый, со щелями, чёлн и курмы-ловушки. Шумно спустил на воду чёлн, и серебро утиных крыльев взвилось к лесу.

Двинулся чёлн по зелень-воде навстречу стрельчатой мелюзге-рыбе; искры ряби, таявшие в берегах, мутнели в глазах Ивана Николаевича.

Он на минуту опьянел от запаха леса, земли и воды.

Мужики опасались, что Пётр приберёт к рукам деньги брата, и, собравшись, переругались между собой и сгоряча решили послать к Ивану Николаевичу ходока.

Выбрали кучеватого Никиту.

– Поди-ко, брат, не терпим больше, пусть он нам скажет слово, чтоб верно было.

Пётр узнал о выборе ходока и встревожился.

– Отдаст братанко деньги мужикам, негоже, надо опередить, пойду.

Как только ушли один за другим Никита и Пётр, вслед побежал Бунча. Дорогой он, как собака, вытягивал лицо и смотрел на свежий след четырёх ног. Прыгал через ямы, подбегал по ровным местам, точно его гнала какая-то сила.

В Бунче жила смутная надежда на получение денег, и чем дальше и горячее он шёл, тем больше у него разгоралась страсть к деньгам и больше было веры.

Снимал шапку и махал ею на потное лицо, взглядывая сквозь капли пота на бровях на прозрачную синь дороги.

– Ужо, может, выйдет что-нибудь, чёрт, неудача всё, родня-богачи, по-нищенски играть, дьявол тя побери. Прошлый год лисицу урвал от Иванушка, а этот год неужели ничего не очистится? С такой шальной удачи – шестьсот рублей, ведь воз.

Бунча догнал мужиков перед озером.

– Рыбачить иду, ребята, – отдувался он, переводя дыхание, – на свадьбу рыбки половить.

Не доходя до избы, все трое остановились и переглянулись, усмехаясь. В лесу паутинная синь утра прерывалась в прогалках золотом солнца, и там рыжий валежник и кочковатая зелень земли струились светом. Озеро, лес кругом и изба сизо туманились.

Часы, повешенные на углу избы, с солнечными бликами на стекле казались большим и живым глазом, часы играли, а Иван Николаевич стоял на пригорке, без шапки, в одной рубахе и пел. Он был весь в движении, точно собирался лететь; лицо и борода в световых тенях казались лучистым ершом. Переливались между собой голос и звон музыки, взрывая лесную тишь. Переливчатый рокот крутился в зелёных цепях деревьев и замирал в далях над светлотеневыми тропами.

Ивану Николаевичу казалось, что всё зарадовалось, засветилось ещё больше от музыки и голоса и вся лесная тварь прислушивается и двигается из лесной ширины с покорным, ласковым взглядом.

Мужики под деревьями молчали, что-то лёгкое, давнишнее вошло в них и мешало думать о том, зачем пришли.

Иван Николаевич увидел подходивших к избе мужиков и удивился, так это было для него неожиданно. Бунча ухмылялся.

– Затейник ты, Иванушко, с прикрасами живёшь.

Никита покряхтел:

– Хорошо это, ты не понимаешь, Бунча, да.

Иван Николаевич искоса оглядывал гостей, рассаживающихся на камни.

– Праздник, отдых себе даю здесь, – он развёл широко рукой, – а вы зачем?

Штаны-ряднины тёрли и грели камни. Охотник сидел на пороге избы, курил, поглядывая на озеро.

– Та-ак, – протянул он, – деньги всё, не говорите мне больше, придёт час такой, и всё увидите; ну, давай уху варить, рыба есть, угощу гостей, руби-коли дрова.

Скоро четверо сидят вокруг костра и жмурятся от яркого пламени. Кучеватый Никита смешливо собирает складки на круглом лице, рассказывая сказку о мужике, который надул Илью-пророка с помощью Николы-угодника. Сказка особенно понравилась Бунче, он смеялся:

– Мужику всё заработок.

Иван Николаевич улыбнулся чему-то своему и оглянул гостей.

– Я однажды шляпу заработал, – он снял с головы старую шляпу и повертел в руках, – вот эту, она была хорошая.

– Ну, ну, вали, говори, – накинулся Никита и лёг на кафтан ближе.

– Говорю, – согласился охотник, надвигая на лоб шляпу, – был я годов семь назад на Лесокатке в Архангельске, и пришла мне тогда пора любить. Полюбил я одну замужнюю, а она гордая и красивая, не ровня. Не стало у меня ни земли, ни солнца, никакой красы, готов был бегать по улицам и домишки эти мещанские ворочать.

– Ока-азия! – мотнул головой Никита.

Иван Николаевич меланхолически пощурился на огонь.

– Хорошее это было время; подошёл, значит, такой случай, а у меня удаль и сила лесная была, ей нравилось это, слюбились. Часто мы с ней в лодке к устью Двины ездили и однажды далеконько заехали. Шла буря и вышвырнула нас в воду из лодки саженях в сотню от берега. Я плавун худой, её поймал и кое-как за лодку сгрёбся. Долго плавали, а потом муж её нас спас, искать пошёл. За это, значит, мне шляпу подарил, чудак, хороший был, простяга.

– Ну а баба? – нетерпеливо тряс ногой Никита.

– Видишь, я без бабы, – развёл руками охотник, – с мужем осталась.

Никита засмеялся.

– Я так однажды дрался с одним парнем в сарае из-за бабы, и оба скатились под лестницу к коровам, этим дело и кончилось, третий наше место занял.

– Да ведь это ты со мной дрался-то, чёрт! – вспомнил Пётр, побурел и закатился: – Ха-ха-ха!

V

Бунча остался рыбачить. Часы по-прежнему висели на углу избы, и Бунче было смешно смотреть на них. Он потоптался и скривил рот:

– Чудно как-то, – поиграй, что ли!

Иван Николаевич на пороге избы делал котач для плетения из бересты лаптей и кошелей, не поднимая головы, буркнул:

– Для тебя не буду, а послушай-ко!

– Что слушать?

– Признайся, прошлый год ты ведь лисицу не убил, а из клепей взял?

Лицо Бунчи вытянулось, и быстро забегали глаза.

– Кто тебе наврал или примерещилось? Вором считаешь?

– Говорили, да я забыл, плевать, – охотник встал и потянулся, глядя на озеро.

– Пойду бересто драть, в острова.

Бунча остался сидеть на камне. Часто свёртывал цигарку и, усунув голову в плечи, думал.

Временами вздрагивали губы, и беличьи глаза пробегали по деревьям.

Вскочил с камня и прислушался к грохоту за озером.

– Рубит, чёрт! Лисицей укоряет, велик убыток.

Вынул из-за голенища нож и прыгнул к челну. Шипел и прокалывал по щелям дерево.

Спустил чёлн на воду, вода брызнула в щели ручьями.

– Ладно, заделаю шутя.

Торопливо озираясь, изорвал старые портянки и проложил тряпки по щелям, сверху замазал землёй и песком.

– Незаметно, водой промоет тряпьё, поплавает да не утонет, на плотке выручу, за выручку заплатит, ладно, ужо.

Скоро пришёл Иван Николаевич, взял раскинутую у избы большую сетку, топор и пошёл к челну.

– Ты куда? – испугался Бунча, ёрзнув на камне.

– За озеро, бересто оставил, не захотелось нести, привезу да сетку поставлю, на заре окунь пойдёт…

Бунча взглянул на плоток и подвинулся к берегу, к чему-то замахал руками.

– Ух, что-то оно…

Брошенной в чёлн сеткой закрыло его работу.

– Подтекает чёлн-то, а?

Иван Николаевич сгорбившись вертел цигарку; лицо в световых вечерних тенях, красное от ходьбы, было спокойно и мягко, как озеро.

Он пошевелил усами.

– Надо смолы нагнать да залить с паклей.

Вспыхнула спичка, и дымок завертелся около головы.

«Вдруг да он последний раз курит», – подумал Бунча, и съёжилось что-то внутри. Захотелось признаться в краже лисицы, и не было нелюбви к этому сутуло-широкому человеку, удачливость и счастье от которого светилось на других.

– Ничего, счастливый он, – успокаивал себя Бунча и попятился на пригорок, всё пятился и смотрел вслед челноку.

– Ох ты, чёрт! – пронеслось с озера.

Бунча вздрогнул и сунулся к шесту у избы.

– Что ты, а? – бестолково выдохнул он, запинаясь о камень; неясно различал от ряби в глазах поднявшегося в челне Ивана Николаевича.

– Тону, Бунча-а-а! – грохануло по лесу.

Шест был сухой, и Бунче хотелось плюнуть на руки.

– Держись! Еду! Я-а!

Оттолкнулся шестом, перебежала через плоток вода. Скользнули ноги, и, оборачиваясь в воде на озеро, цеплялся за плоток и видел, как бился человек, точно большая рыба, и кричал:

– В сетку запутался, скорее!

Бунча овладел плотком и дико кричал, силясь заглушить грохот другого голоса.

Надрывается он с шестом.

– Вот оказия, вот оказия.

А то кричит:

– Сичас! Сичас! Сичас!

Близко голова, руки рвут сетку, но вот голова скрылась в воде, и холодом дыхнуло от кругов на озере.

– Иван Никол!.. – тупо-обрывисто выкрикнул Бунча и нелепо совал вперёд шест.

«Он был, и нет уж».

– Нет уж, нет уж, – бессмысленно бормотал он, дико глядя в воду.

Сетка с поплавком мелькнула в глазах, и он жадно потянулся вперёд, ухватил цепко за поплавок и потянул.

Тяжёлое обрадовало его.

Медленно, дрожа от холода и стуча зубами, тянулся к берегу и уверенно думал: «Оживёт, счастье у него есть».

Починка*

I

Епифан Оврагин засобирался в город. Правда, это задумано было давно, но всё дела, дела, а теперь осень, когда всякая тварь и земля дела в кучу складывают, перекрашиваются и годы свои подсчитывают. Так и Епифан, надевая в первый раз дублёный полушубок, на походе за косачами в посеребрённые морозцем берёзовые перелески, подумал, что ему нужно жизнь перелицевать. Он плохой работник, слишком докучает болезнь, оттого и тоска иногда.

Он любил мысли, весёлые, певучие, а если этому мешает что-то в теле, то надо вырезать. А то, что Епифан болезнь свою хотел решить, на операцию идти – многих занимало.

Кое-кто из соседей, как и он, с грыжами, и бабы с болями от тяжёлой работы провожали Епифана сочувственным говором:

– Поди-ко, поди до городу, попытай доктора, буде выправит, не зарежет, тогда нам дорогу укажешь.

Епифан, маленький, кривоногий, с круглой тонковолосой бородой, ершась, поднял кисть руки на плечо, как топор, и, рассекая ребром ладони воздух, великодушно заявил:

– Что ни говори, робята, а пойду – попытаю за всех за вас, а то какой я работник с этим календарём, и к тому же сын там.

Соседи уже думали о другом, делали наказ о разных общественных делах.

– Пошевели-ко в городе власть кое на что, бойчее жить охота.

Епифан кивал на наказы.

– Ладно, засуну в голову, доведу, там Олёшка, сын, пособит.

Он обошёл ещё всё по дому, со всем домашним прощался уже несколько дней подряд и, готовый в путь, торопливо простился со старухой, боясь показать слезу.

– Прощай-ко, может, ворочусь скоро.

Стало жалко жену, тугой он всегда был с ней на язык, какая уж мужичья ласковость.

– Ужо, старуха, я тебе у сына на сарафан буду просить, приволоку.

– Воротись хоть сам-то.

---

* Печатается по: *Черноков М. В.* Тёплые росы. С. 93–118.

Старуха плакала, а Епифан беспокойно обвёл глазами избу и добавил:

– Лошадь лучше корми, починюсь, так на подруб избы лес буду возить, да с огнём тише ходи. – И пошёл, подпираясь берёзовым батожком.

II

Долгая, стовёрстная дорога для Епифана. На первых верстах думалось о доме, о хозяйстве; потом напала жалость к себе.

– Качусь вот, упираюсь на батожок берёзовый, э-хо-хо, пожил ты, Епифанко, поработал, вся сила и жизнь укладена у тя, а замены нет; починить себя, да снова тяни гуж, эх-хо-хо, Епифанко, Епифанко!

Он устало позёвывал, но зорко оглядывал пустые поля – много ворон, скучная птица. Хорошие озимые веселили глаз, и родил знакомое, трудовое – топор в лесу.

Запоздалые чёрные утки летели на юг. Епифан участливо вскидывал глаза на уток и думал: «Кабы мне эко крыльё, слетел бы я скоро до городу, ну да успею, тише – надёжнее».

Вечером долго выбирал избу для ночлега и выбрал большущую древнюю старуху с дымником. Соображал, что изба должна быть с тёплыми полатями у печи и ладный сосновый дух смоляной, кашлюнов лечить в самый раз.

Хозяева в таких избах нараспашку живут, сами век в миру и мир досужее принимают.

Оврагин не ошибся. Всё было так, как ожидал. Только он был удивлён большим числом ребят, они были везде: и на лавках, и на полу, и под лавкой. Между ребятами – кошка с котятами и две собаки.

На лавке против топившейся печи сидел мужик, большой, здоровый, как засмолистый пень. Голос – через горы кричать.

– Дорожный человек, вались, брат, гостем будешь!

– Ладно говоришь, хозяин, – бодро сказал Епифан, приглядываясь к большому мужику, ловко щипавшему лучину.

– Экой лешой мне попался в хозяева, – и указал на ребят.

– Это всё твоё стадо-то?

– Моё, словет, а ты куда дорогу мнёшь?

– До городу, друг, на починку, главно дело, а потом сын там…

Хозяин бросил работу, раскурил потухшую трубку и тяпнул ладонью по лавке.

– Садись, теперь что, починять людей стали, какая поломка у тя?

– Календарь, да надоел до страсти, погоду предсказывает, а работать мешает, думаю извести.

– Это дело, земля ядрёных любит, а сын-то осоветовался, видно?

Епифан, облегчённый от котомки, полушубка, попыхивал у печи, видел большой горшок с картофелью и охотно судил о сыне.

– Осоветовался, друг, за Советы с малых лет, за соху мало держался, по городам всё. Заедет нынь, когда по пути, домой на день, на два. Я ему говорю: ты скоро

ли, Олёшка, мне смену дашь, ведь я скоро станового встречу – умирать лягу, а он смеётся, починю, говорит, тебя, приходи в город, – вот и пошёл.

Хозяин сочувственно мотнул волосатой головой.

– Не особо важно твоё дело.

Епифан продолжал говорить о сыне:

– Заведует он каким-то аги, аги-тропом, фу, не выговорить, заплеталовка, одним словом. Я говорю ему, что плетёте вы, кажись, робята, нам корзину на руку, а подавать скоро некому будет, растяни тя в нитку.

– Ха-ха-ха! – раскатился хозяин, – так и сказал, а он что?

– Он всё смехом, шуткой: я, говорит, за тебя пай в кооператив внёс да газету выпишу «Бедноту», читай с мужиками, да на новый манер игру с землёй заводи, теперь ведь так и горе берёт другой раз, что сын будто теперь уж не мой, а сам с килой. Какое житьё, растяни его в нитку.

Хозяин усадил Епифана есть картошку с рыжиками, и за едой вели разговор об охоте; ребята дрались, а Епифан подсвистывал и рябчиком, и молодым тетеревом, дразня собак. Стоял шум, гам и визг. Хозяин усмехался на Епифана.

– Я рябчиком не умею, а вот как медведь ревёт, могу показать.

– Ой нет, не надо, – замахал Епифан. – Я лучше сказку расскажу, вот сейчас на полати подымусь.

Полати были горячие, у чёрного потолка был ещё дымок, воздух сухой и смолистый.

«Вот благодать, – думал Епифан, – какой мне ночлег ладной попался». – И стал рассказывать сказку.

В избе стихло, только слышался медлительный ласковый голос Епифана да лясканье собак.

III

Дальше идут незнакомые Епифану места. Как будто другая земля, другие порядки у мужиков. Брал он в руку землю, мял, нюхал её и потом спрашивал в деревнях об урожайности. Сравнивал со своим урожаем и был доволен, что его земля и урожайность лучше.

Везде жаловались на бедность.

– Что вы сеете? – спрашивал Епифан на ночлеге, – а вот у вас лён хорошо бы рос, эх, заняться бы вам этим делом, разжились бы!

Мужики вздыхали о достатках.

– Нету их, земля обеднела.

– Нету, да, – соглашался Епифан и колотил кулаком по стене избы. – Жили мы, вишь, раньше как разорители какие, сами себе разор делали. Лес вот не знай на что и как сгубили, все крестьянские дачи опустошены, потому зверь и птица выводится, промысла нет, а в озёрах да в реках рыбу мелюзгой, слепушкой выловили, лосей, оленей маток били не жалеючи, так вот теперь и поплакивай на свою бес-

таланность. Землю, леса, воды пустошим и друг друга не горазд милуем, так куда нам глянуть, у кого учиться жить? Худо, невесело, иду вот до городу, погляжу, есть ли толк какой? А бедность наша давно завелась, от дурости.

На своих кривых ногах Епифан, казалось, катился по дороге шаром. С разговоров весёлых со встречными людьми посвистывал да помахивал берёзовым батожком. Докатился он до города на четвёртый день к вечеру, был доволен, что скоро осилил путь, удивлялся даже:

– Будто гнал меня кто…

Жёлтая, ещё мягкая дорога, как рукав дублёной шубы, упиралась в город-шатёр с куполами церквей и садами. На холоде вечером против солнца над говорливыми обозами стоял тонкий сизый парок. Всё это знакомое, медлительное, вековое.

Пока Епифан шёл деревнями, то знал хорошо, чем люди живут. Зайдя в город, он поглядывал на окна деревянных домов и думал: «Вот так деревня, домов без счёту, живут вот чем-то, какие-то дела есть, какие они? Пустые, как небо, поди».

Встречались люди с обликом иной жизни – с портфелями, газетами и аккуратным, круглым говором.

Важные, гордые лица, точно знают какую-то тайну, нужную остальному миру. Женщины Епифана смешили. Он долго, искосив бороду, осматривал двух молодых франтих. В первый раз в жизни ему показался женский наряд нелепым, смешным. Туфли на высоких каблуках Оврагину казались какой-то дикой выдумкой.

– Пресвятая Матка, эки штуки, что комарики, растяни вас в нитку!

– Чего, земляк, на бабочек загляделся? – спросил толстый голос.

Епифан взглянул на остановившегося против него человека в зелёном кушаке, крепко обтянувшем ядрёное брюхо. Мужик держал связку кренделей и ел крендели так, что бурая борода двигалась и шелестела, казалось.

– Скотник, что ли? – спросил Епифан и шагнул к зелёному кушаку.

От кренделей шёл аромат, и старик с завистью пожевал губами.

– Почём крендели-то?

– Восемнадцать, а почему думаешь, что я скотник?

– Да видимость у тя самая что ни на есть скотинистая, по ремеслу.

– Ну да, – важно кивнул встречный, – не то, что ты, как суслон овсяный в телячьей шапке.

Епифан остро оглянул шевелящуюся бороду с крошками кренделей.

– Ишь ты, язык-то коровы не съели, чешешь православных тоже, дела веселят?

– Дела ничего, каковы цены на скот у вас, откуда будешь?

– С Лугов.

– Знаю Луга, староверское гнездо лесное, крепкие мужики. Ломай-ко крендель, – скотник тряхнул связкой, – свежие.

Епифан, совестясь, неловко разломал крендель.

– Давай штучку, будто давно не едал крупичатого, а ты эк фунта два опишешь? Едрён ты, батько, – Епифан с уважением оглянул здоровенного скотника. – Кабы мне твоё едрёнство, парень, настряпал бы я тогда, а тебе на кой хрен оно? Скот покупать – с батогом ходить в самый раз, как я хожу.

У скотника бурое, казалось горячее, лицо потолстело от усмешки.

– Век человеку не дано то, что ему больше всего хочется, на том мир и стоит, чтобы люди тянулись к тому, чего у них нет.

Епифан будто бодал скотника.

– Нет, ты языком едрён, хорошо, ладная примета, что с тобой встретился. Починяться иду я, будешь в наших краях – заходи в гости, Оврагина спросишь.

– Ладно, а ты, в случае, Роженого помни, здесь все меня знают.

Оба пошли в разные стороны. Дорогой Епифан много раз принимался думать о том, как его примет сын, знал, что Алексей женат, но снохи не видал.

«Знаю, что не обрадуются гораздо, не клад несу, а ежели что, и уйду, изб тут много».

Так он ворчал, входя в квартиру сына. В кухне молодая женщина – гораздо выше ростом его старухи – с весёлыми чёрными глазами. Лицо красивое, крепкое. Епифан кивнул: «Сношка поди моя», – и спросил о сыне.

В кухне показался крупноголовый, подвижный человек с усталыми глазами на здоровом, но сухом лице. Вдруг лицо его стало широким и весёлым.

– Ого! Батя прикатил, вот удивил! Жена, бери старика на харчи!

Епифану стало легко, поклонился сношке.

– Татьяна Семёновна, значит...

Сын тянул старика в столовую.

– Ты пешком, что ли?

– Не на тройке, ясно. – И потому ли, что в столовой было прохладно, схватился о батожке: – Ой, Олёша, батожок-то мой спрятай, чтоб не сожгла Семёновна, дров-то у вас негусто, а мне обратно конь этот нужен.

Татьяна Семёновна и Алексей стояли над стариком, уже снявшим полушубок и занятым свёртыванием цигарки непослушными пальцами.

– Мы тебе лошадку наймём, папаша, – сказала Татьяна Семёновна, – батожок нам на память оставь.

– Хо-хо, в город пришёл, – смеялся Алексей, – теперь ты у нас поживёшь, не выпустим скоро.

Епифану показалось, что он очень хороший батько, а сын ещё лучше, и сказал, опьяняясь крепким табаком:

– Пожить-то что, вот починиться надо, главно дело. Календаришко земля подарила.

Алексей стал серьёзен.

– Знаю, об этом с утра, оглядись сначала.

IV

Епифан осматривал жильё сына, он любил столярное дело и долго любовался на мебель. Стоя на коленях, вертел стул красного дерева и пыхтел:

– Как сделано, а? Растяни его в нитку.

Так же ахал около шкапов, столов и пианино. Поглаживая пёстрой рукой полированное дерево, заметил, что руки грязны, спрятал их за спину и стал хвалить изразцовые печи.

Над большим камином в столовой, да ещё с зеркалом в золочёной раме на нём, смеялся.

– Ха-ха, какая берлога, воз сушнику сожрёт это место сразу. Рожи красить огнём да рыжики жарить свежие хорошо-о!

Опять поглядел на руки.

– Знаешь, Олёша, мне стыдно Семёновны, баньку бы пожарчее, вымыться…

– Ну, застыдился, гость лесной, – смеялся Алексей, – вымоем, а пока пойдём к самовару, кажется, ребята идут.

У Алексея Епифановича было двое жильцов-приятелей: секретарь РКСМ Брусницын и учитель Курчавин. Оба они были люди разные, но Оврагин их обоих одинаково любил, и Епифан видел, как сын улыбнулся, услыхав голоса жильцов.

На столе в столовой стояла уже зажжённая лампа с толстым широким абажуром. Она не давала света кверху, и комната имела две части – сумрачную и светлую.

Татьяна Семёновна, сидя на высоком табурете, разливала чай и прислушивалась к спору жильцов; они всегда спорили: Курчавин басом, а Брусницын тенорком. Бордовая кофточка на Татьяне Семёновне казалась очень яркой и неосвещённое лицо – бледно-матовым, с блеском зубов, а пышные волосы напоминали кучу расчёсанной чёрной шерсти.

Епифан наблюдал за незнакомыми людьми. Оглянув здоровяка с сочными губами в тонкой, сизого цвета толстовке, подумал: «Этот Брусницын и есть, будто бруснику век ел, едрён, а тот учитель что подержанной поднос ржавой, что он такое судит?»

Курчавин простуженным голосом, с лицом озябшим, каким оно казалось всегда, даже при выпивке, говорил о значении цветов в природе. Он всегда говорил строго и грустно, и говорил как будто о постороннем, а всегда получалось, что говорил он только о себе. Часто жаловался на разбитость своего мироощущения.

– Природа скупа на красное, – говорил Курчавин. – Этот цвет, как и всякий другой, имеет свой скрытый смысл, он есть проявление бурного, находившегося ранее в потенции.

Брусницын равнодушно сказал:

– Опять новое сказание у отца Курчавина, ты когда же лекцию о мироздании прочтёшь в клубе – обещана?

– Не отказываюсь, – серьёзно сказал учитель, – для лекции нужен подъём, увлечение, а почему я говорю о цветах, о красном? Потому что моё собственное нутро утеряло вкус к бурному, к волевому. Грустно ведь это?

Алексей смеялся.

– Боишься, что всех похоронишь своей лекцией.

– Талант на всё надо, батька, – проворчал Курчавин, – вот я вам, большевикам, удивляюсь, за всё вы берётесь, и всё выходит, а не выходит, так вы уверяете всех, что выходит или погодя выйдет, упорный народ, крепкий, хотел бы с вами поработать, да боюсь, заездите. Ещё плохо, что жизни я не ощущаю толком. Вы бы указали мне секрет – стать этаким крепышом и любить своё место в жизни.

Это была любимая тема Курчавина.

– Ну, давай поговорим, – энергично шевельнулся Брусницын. Я тебе открою секрет…

– Постой, – усмехнулся Алексей Епифанович, – я – загадку: если лентяй борется с собственной ленью, то кто он будет?

Жильцы шевельнулись и начали, как всегда, спорить. Алексей, усмехаясь, вставлял замечания.

Епифан слушал, поводя бородой то на того, то на другого, и легонько постучал концами пальцев по столу, как копытцами:

– Робятки, эй! Я вам тоже побасёнку скажу.

Все улыбнулись.

– Побасёнку? Можно, отец.

– Было, робятки, время, старики лес рубили, а лес этот, что дымовой, матерущий и голая смоль. Веки вечные этот срубленный лес не сгноить, а теперь нету такого. Так вот, откуда такие соки, сила такая? Краса лес был, э-эх, – старик чмокнул, восторженно мотнул головой. – Я-то вот знаю, отчего такой лес был, вы говорите то да сё, а я ещё другое скажу, что на болоте ничего ладного не вырастет, а в мире также болотца-то есть, поди.

Учитель открыл рот, показывая недостаток переднего зуба, и кивал:

– Ты прав, пожалуй, отец.

Алексей посмотрел на задумавшуюся о чём-то жену и громко сказал:

– Теперь мы будем слушать доклад по женотделу.

Татьяна Семёновна встрепенулась.

– Правда, надо бы вас развеселить. Мы, женщины, меньше вас мудрим. Я сейчас почему-то вспомнила песню одну, слышала от девушек, с ягодами шли из лесу. Спеть?

– Да, да слушаем, – отозвались все.

Она, точно чему-то обрадовавшись, махнула себя по лбу ребром ладони и запела:

Не струна ль звенит гусельчата,
Поливает поле перегудами;

Не глупенька ли птаха неуседчата,
Спозаранку голос перепутала.
Ты играй, играй, греми, струна,
Пой ты, птаха неуседчата,
Как живу ли я да не думаю,
Что когда-нибудь да не буду жить.

– Ну вот, – развёл руками Брусницын, – что тут весёлого, – и усмехнулся на прищуренное от внимания лицо учителя; нос его блестел, как подогретый сургуч.

– Ой хорошо, ой ладно! – заегозил Епифан и протянул тонковолосую бороду к Татьяне Семёновне.

– Ещё бы я послушал, не слыхивал экой…

Он лёг спать на диван. В темноте и тишине жили городские новые запахи. Старик собирал деревенские мысли, думал: в больницу ли завтра идти или о делах общих затеять ход, пережду ещё завтра день для знакомства со здешним.

Утром он толкался на кухне, дрова, воду таскал и тыкал пальцем кругом.

– Поправку кое-какую надо произвести тут вам, ужо займусь.

– Какой ты хлопотун, папаша, – удивлялась Татьяна Семёновна.

– На том век живём, учимся, а ты вот как будто ладная, сношка, весёлая, экую песню пела вечор, ужо запомню. Мы говорили что верёвку вили, а ты нас будто взяла да разрезала.

– Ха-ха, папаша, ты тоже весёлый, значит, помогай мне стряпать, учи, ты тоже песни поёшь?

– Хе-хе, раньше пел петухом, а нынь коростелем.

– Коростель поёт разве?

Епифан, красясь перед растопившейся печью, – он любил стоять у печи и дома, – благодушно развёл руками.

– Знашь, в светлые ночи, рожь когда цвет выкинет, а коростель поскрипывает, что зёрна сухие перетирает.

В кухню вошёл Алексей, улыбаясь и зевая.

– Столковались – сошлись хлеб с ситцом?

Епифан почмокал, оглянув плотную, крепкую фигуру сына, и сказал:

– Ты ничего, едрёный, Олёша, в мать издался, она ещё куда бойчее меня кочерыга, а тебе бы земля по плечу была, да-а.

– Ладно, ты что о деревне хотел сказать?

Старик подумал, припоминая мужицкие наказы.

– Что те сказать? Бедности мы не любим, а она, ведьма, полюбила нас, отпихнуть бы.

Алексей знал, что отцу хотелось пожаловаться на многое, но всё, что теперь начал говорить он, было для него не ново. Слушал долго.

– Да, да знаю, дифференциация, фу, чужое слово, скажем – расслойка деревни, давно знакомое, бедность ничего, с бедности крепче будем – школа, везде ещё бедность.

– Ох, Олёша, Олёша, растяни тебя в нитку, сынок, ушёл ты от нас, и бедной мы класс, нет у нас людей ладных по миру. Цари нас держали хуже скотов, и теперь мы ни растём, ни цветём.

– Экий ты крикун, батя, погоди, придут к вам люди молодые, знающие, расти и цвести будете.

Алексей наговорил ещё так много хорошего, близкого, что старик миролюбиво махнул рукой.

– Ладно уж, теперь ты меня почини, веди к доктору, буде не зарежет, так привалит к нему сюда людей на выправку.

– Хорошо, я сегодня узнаю, не бойся – не зарежут.

Спокойный голос сына обрадовал старика.

– Хе-хе, правду ты... ну вот что, я займусь тут починкой обутки, вон у вас угол лежит её, бросили, богачи, – и усмехнулся, взмахнув руками: – Куплю ежели весь угол, сколько берёшь? Получай рупь, растяни тебя в нитку.

Алексей и Татьяна Семёновна, державшая ухват, взглянули друг на друга и стали смеяться, потом Алексей сказал:

– Два рубля, меньше нельзя.

– Эк вас россыпало, с чего с такого?

– Я догадываюсь, что ты надумал, – сказал сын, – сдаю весь угол в твоё распоряжение, хозяйничай; без твоего рубля как-нибудь проживём.

Епифан занялся просмотром обуви и думал, что он, может быть, тут себе новый топор заработает или что там...

V

На дворе морозец. Утром синие окна утыканы в краях пушком. На улицах гулко и прозрачно. Епифан, выходя из ворот, по привычке снял шапку, чтобы перекреститься, но, заметив переходившего ему дорогу попа, плюнул и бросился опередить его.

– Тьфу ты, долгополой! Недогляди – и испортил бы весь день, вот я тебе перебежал дорожку на счастье.

Он искривил бороду на рыжие широкие задники сапог, мелькавшие из-под рясы и, бодро крякнув, покатился по улице.

В красном морозном солнце побелевшие крыши и бледный дым из труб точно стреляли светлыми искрами.

На перекрёстках улиц разбегисто гоготали телеги и в обозах легко шли лошади. За рекой, покрытой шипящим сальцом плывущего льда, красный монастырь, казалось, обтянут выцветшим кумачом; там отчётливо видны пятна галок.

По улицам люди и обозы двигались к центру на площадь. Тут вокруг тяжёлого белого собора начинался торговый день.

По широкой улице ползло, в кругу людей и лошадей, что-то тяжёлое, слышались крики, визг и грохот тяжёлого, то везли паровую машину. Епифан поравнялся с чёрным чудовищем, подивился и заметил сзади него хромого механика с палкой, он отмахивался палкой от налезавшей на него толпы и гордо рычал, стараясь покрыть грохот:

– Поспеете, чёрт вас возьми! Раз машина прибыла, значит, теперь скоро…

Что скоро, Епифан не разобрал, но он думал, что в городе бывают удивительные дела, вот он после починки всё осмотрит. Оглянулся ещё на машину, медленно уползающую, и проворчал:

– Разруху свою давят, ужо зашумит жизнь.

Епифан обошёл площадь, заглянул в магазин, любуясь на товары, потом зашёл в госторг, вспомнил, что мужики ворчали на строгий приём белки. Разыскал заведывающего, высокого, бравого человека, и энергично мотал перед ним сухим кулаком.

– Какие ваши скупщики, все прежние купцы, торговцы, и вы им волю дали. Прежде в десятке белок были и третинки, и половинки, а теперь весь десяток чистых подавай, чуть шкура синевата, и цена половинная, а ведь что шкура? Белка-то чистая, как серебро залежалое, при чём шкура? А вы, уставщики, этим промысел бьёте.

Заведывающий за столом, занятый делами, сморщив пухлый лоб, протянул к Епифану голову, точно собираясь клевать его.

Он стал ворчливым тоном доказывать, что всё теперь делается как раз в развитие промысла, и удивлялся, почему всё не так на местах понимают, и что всё внимание обращено на охрану зверя летнего, когда он плодится и растёт.

На стенах с тёмно-зелёными обоями от какого-то стука наверху дрожали висевшие редкие сорта лисиц, куниц, песца, горностая и белки, казалось, они выражали сочувствие заведывающему.

Епифан стал спорить, но его оттёрли вновь пришедшие люди, и он из-за них, прискакивая, кричал, чтобы заведывающий записал его жалобу. Потом старик был ещё в земотделе. Земотдел бедный, нет средств, чтобы развернуть широко работу.

Вдруг Епифану стало скучно.

– Ну вас, лучше пойти обутки починять, бойкому да охочему тут надо ходить, отговорятся, еретики, ото всего, вот ужо починюсь, так я с вами поговорю, погоди-и!

Потом дома Епифаном овладевало какое-то жалобное беспокойство, а когда Татьяна Семёновна, вернувшаяся откуда-то домой, сказала, что ему завтра можно на операцию, то на минуту старик почувствовал суеверный страх человека, никогда не лечившегося. Особенно не нравилось ему слово «операция», какое-то чужое, жёсткое. Сидел задумавшись.

В квартире тихо, а ему захотелось шума, людей и, проворно скидав в мешок починенную обувь, он вышел.

На площади крикливые тулупы с кнутами. От волосатых оживлённых лиц несёт спиртным и треской. В морозной гулкой светлоте базар гремит и рычит. Над сапогами в мешке у Епифана смеялись:

– Стыд продаёшь.

Вдруг тулупы остановились и стали хохотать, колыхая связками кренделей. Все смотрели на большого человека в зелёном кушаке – верхом на быке.

Епифан узнал Роженого.

Скотник показывал белые зубы в широком красном рте и махал рукавицей.

– Коровку кому наладить породистым холмогором?

Толпа обвила кольцом Роженого.

– Постой, медведь на лешем, откуда едешь?

Бык, сытый, шевелил языком и ни на кого не глядел.

– Хорош, где взял?

– В коммунии за рекой, другого там вырастили, на трактор деньги собирают, осоветовались, да чего глядеть. Корми животину кренделями!

Роженый слез на землю и тыкал быка кулаком в бок: больно смирён, жри их, Епиша!

– Для Коопсоюза купил, что ли?

Роженый кричал:

– А так, что надоело мелкого скота покупать, глядеть не на что, по волостям поведу холмогора теперь – коровам на радость, для кореня хорошего.

– Ну и хитёр, дьявол! Нажива лопатой, буде не врёшь.

Епифан размашисто тронул Роженого.

– Узнаешь, нет?

– Ну как же, ты приметный, шапку твою телячью помню. Что обнюхиваешь?

Епифан оглянул толпу, она, весёлая, густо курила и шумела.

– Денег добыть думаю. Эй, Роженый, выручай, растяни тебя в нитку! – Оврагин бросил о землю мешок и стоял с таким задорным, петушиным видом, что многих заинтересовало.

– Что ты так раскипятился? – спросил Роженый, медлительно пошевеливая бородой. Ему нравилось что-то в старике.

– Живёте вы, а я жизнь свою помянуть думаю, завтра килу решать иду, у смерти шило покупать. Эх, Роженый, покупай барана позаглазно; у нас будешь, возьмёшь, баран что зверь, двери вышибает в хлеве, я новые петли сделал.

Тулупы смеялись.

– Покупай, Роженый, надо мужику килу пропить.

Скотник с неподвижной усмешкой глядел на Епифана и резко подтянул зелёный кушак на себе.

– Пойдём со мной.

Оврагин поднял мешок и ходко двинулся за Роженым.

Зашли они во двор маленького домика недалеко от площади. Из тёмных сеней вынырнул в одной рубахе волосатый человек, взял быка и кивнул.

– Покормлю, вали, Стёпа.

Епифан лез по крутой лестнице за тяжёлой поступью впереди и удивлялся, что скотник ничего не говорит о баране.

В полутёмной широкой горнице Роженый крякнул:

– Ке-их! Устя, принимай гостей!

– Иду-у! – откликнулось из-за недокрытой двери. В щель виден свет лампы. Детский голос по складам читал:

– Мы не ра-бы, ра-бы не мы.

Епифану слышалось: «Мы не рыбы, рыбы не мы».

Показалась светловолосая женщина с лампой. Она пожмурилась с некоторой жеманностью, причём во рту блеснул золотой зуб.

Скотник указал Епифану на стол.

– Лепись, баранов хозяин, а ты, Устя, квасу тащи.

Женщина вышла.

– Хе-хе, ты ещё бы редьки заказал, – усмехнулся Оврагин и стал с завистью и удивлением смотреть на величественную фигуру. Роженый в комнате был пышнее.

– И соку в тебе! – чмокнул Епифан, – где ты вырос такой?

– От земли я тоже, только не мужикую, связался с кооперативным союзом, служу, закупки всякие веду.

– Эво-о как, я думал, ты хозяин.

Светловолосая внесла маленький бочонок и, кряхтя, поставила на стол.

– Пробуйте, – и опять показала золотой зуб.

Роженый протянул руку к кружкам, стакана по четыре вместимостью, налил браги.

– Пей-ко, занятен ты мне, невелик, что гриб подберёзовик, а жить крепко жаден.

У Епифана от первой кружки всё поплыло перед глазами, и жизнь стала другой, и ничто не страшно.

Потом помнил, что были они ещё в людном пьяном месте, там Епифан пристал к какой-то шумной ватаге не то воров, не то хулиганов. Он совал свою бородёнку к их столу, укоризненно крича:

– Мученая жизнь у вас, робята, слова ладного не слышу, какие же вы есть люди, ежели баран у меня лучше вас во сто раз.

Кто-то неожиданно ударил Епифана, и он откатился в угол. Среди поднявшегося шума рявкнул, точно треснувший колокол, Роженый и стал молотить кулаком прижатого к стене толстоплечего хрипуна.

– Вали! – закричал Оврагин, подымаясь, – я пособлю, растяни их в нитку, змии.

Свистнула бутылка, Роженому разбили голову, а Епифану кулаком скулу. Оба они были отправлены в больницу.

VI

Через пять дней Оврагин выписался из больницы, выписался и Роженый. В последние два дня они не разлучались, играли в шашки и говорили о делах, которые их ждут по выходе из больницы. Для Роженого больница была какой-то невероятно глупой шуткой, а для Епифана местом перехода к другим, большим делам. Он в больничном халате похож на огородное чучело, а скотник – на большую серую глыбу.

Роженый стыдился, что его побили, и при воспоминании о драке будто выжимал слова:

– Ну их к быковой матери!

Епифан лишь жалел потерянный мешок с починенной рванью, но, радуясь собственной починке, хвастливо говорил:

– Кабы у нас не выпито было лишнее, так мы бы начесали им, ну да ништо, а я с похмелья не слыхал, как у меня календарь решили.

От момента операции у Епифана осталось яркое пятно. Кругом него люди в белом то спокойные, то улыбающиеся. Это бодрило, и думалось, что у них в руках тайна жизни и смерти.

Прощаясь с Роженым, Оврагин долго упрашивал заходить к нему в деревню в гости, соблазняя его груздями, вяленой олениной и квасом из репы.

Скотник за воротами больницы повеселел, подтянул свой зелёный кушак и, сдвинув на затылок шапку, жадно оглянул шумную улицу.

– Опять люди! Жизнь! Ладно! – И скрылся среди пешеходов.

Епифана дома встретили как дальнего путешественника; казалось, все скучали без него и беспокоились. Курчавин простуженным басом декламировал, усмехаясь:

Вернулся он из дальних стран… без славы и без злата.

Епифан кинул в угол шубёнку.

– Что мелешь-то, Кучерявин, ловко ли живёте тут?

– Живём ловко, мы тебя, что клада, ждём, – сказала Татьяна Семёновна, раскрасневшаяся, смеющаяся, – у тебя праздник, папаша?

Старик выпил вина и кричал:

– Теперь я, сношка, что пчела, которая весной на первый цвет вылетит, роботник, значит, а не розруха ваша прежняя.

Алексей посмеивался, косясь на красное пятно на лице отца.

– За обутку-то дорого взял?

Епифан безжалостно махнул рукой.

– Лешой хватил! Вам смешки, а вот как было дело: пошли мы с приятелем Роженым к золотозубой бабочке, такой у неё квасок-кряхтун изготовлен, что я диву дался. Потом нас ветром занесло в одно пьяное место, это место и люди мне не показались. Я пью, у меня день такой, на собаку похож, слово мне хорошее надо,

а тут слова что кнутом бьют и рожи нечеловечьи; обидно мне стало до страсти, кличет, значит, мир человека к красной крепкой жизни, а он не слышит... ну, одним словом, поговорили, а за это раньше в больницу попал, хе-хе, ништо это...

Старик, говорливый всегда, теперь не умолкал весь вечер. Другое рассказывал с припевами из каких-то неслыханных песен, и все слушали, как сказку.

На другой день он заторопился в деревню, уже навалило снегу, и надо было ездить в лес.

Ещё рано утром загибал пальцы, пересчитывая свои хозяйственные дела. Их было так много, что Алексей шутливо предупредил:

– Не горячись, а то опять починять придётся.

Епифан подпёр кулаками бока и кивал сыну:

– А наплевать, я теперь храбёр, ты всё со мною смешком, Олёша, шубу с ветра шьёшь. Пожить я ещё хочу, чтоб земля пела, в лес поехал, так сосны б смеялись, радовали.

Учитель, только что вставший, стоял в накинутом на плечи пальто, курил и щурясь смотрел на старика. Его удивляла радостность в этой маленькой кривоногой фигуре в пёстрой рубахе. Трудовые морщины и пятно на скуле играли весёлостью и сознанием жизненной бойкости.

Алексей спокойно сказал:

– Я, батя, с тобой не спорю, всякий по своему нутру мир щупает, а кому лесины смеются и земля поёт – тот самый мудрый.

Учитель задумчиво протянул вперёд руку, точно хотел уловить комара.

– Ведь вот шутка, братие, ходим мы мимо людей и не видим в них чего-то важного для нас, чудесного...

Алексей недоверчиво улыбнулся.

– А ну-ка, я по городу побегу, – пошевелился Епифан, – проведаю, каково работаете тут, может, скоро всю землю осоветуете, а я знать не буду, обидно.

– Валяй-валяй, – усмехнулся Алексей и взглянул на Курчавина.

– Говоришь, коротка жизнь и много ненужных дел, а ты делай и расти то, что тебя переживёт долго-долго.

Учитель широко улыбнулся.

– Я старику завидую, мне бы тоже поправку надо некую, хорошо мир чувствовать остро-остро.

Епифан весь день катался на своих кривых ногах по городу. Всё, казалось ему, оглядел и был горд, что в каждом учреждении толково спрашивал о деле и, видя деловитых, осанистых людей, думал: «Ништо, не прогонят, ежели что, скажу, мол, я Олёшкин батько, знают».

С ним не везде говорили так, как бы ему хотелось, а то и совсем не хотели говорить. Тогда он отступал назад, ворча:

– Неговоркой какой попался, растяни его в нитку! – И проворно накатывался снова.

– Я ходок, товарищ, мужики наказ дали, расскажи, как нам от худой старой жизни бойчее отлягнуться.

К вечеру он был сыт разговорами и, устало пробираясь к квартире сына, думал: «Ничего не скажу Олёшке, все у них как-будто правильно, а у нас не совсем… подоврут, другое замажут, ну да я их пошевелил, робёнок не плачет – матка не разумеет». Оглянув площадь с жидкой уже торговой толпой, сказал:

– Завтра к старухе отчалю.

VII

Вот Оврагин и в своей избе. Самовар, начищенный старухой, светлый-светлый, на столе ворчит на хозяина и всю старую избу с запушёнными окошками прикрашивает. Тепло. Епифан взглядывает на старуху и шутливо важничает.

– Теперь мне чай и газету подавай и разговор бойкой, круглой, прямо меня робята там пережевали, ха-ха, как думаешь, мягче стал?

Старуха, ещё крепкая баба, краснела и всё улыбалась.

– Ой, старик, заврался ты совсем.

Самое интересное для неё – о сыне и снохе.

– Сношка добрая, – хвалил Епифан, – добротность, взгляд и слово, да-а, Олёшка не пузырём вышел, растяни его в нитку.

– А внучка-то нет отчего? – вдруг спросила старуха.

Епифана как бы ожгло: и в самом деле, отчего у сына внучка нет? Он посмотрел на старухины вопрошающие глаза и рассердился.

– Ну вот, так бы я и спросил: отчего у вас внучка нет?

Этот вопрос был маленькой неприятностью для стариков. Епифан, ещё сердитый, влез на печь полежать с дороги и уже оттуда выглянул смеющимися глазами.

– Я теперь, старуха, нашу избу буду звать филиппросветом, мужики будут ходить, а тебя – пропагандой.

– Ой, старик, совсем заврался, совсем заврался.

Старик думал, что бы ещё рассказать, зевнул, с довольством щёлкнул зубами и сказал:

– Там, старуха, женотдел есть такой, вот бы тебе побывать, ужо отправлю.

Старуха подумала, что старика в самом деле перелицевали.

Пошли трудовые дни, больше всего езды в лес. Епифан уезжал рано, задолго до света, а заставал тяжёлые сосновые боры уже светлыми и прозрачными. В сумерках тихо везде. О дорогу лишь мелькают огромные пни, обложенные снегом; они казались тёмным нутром нор, где прячется лесная тварь. На свету, как струны, тянутся светлые полозновицы по лесной дороге. Начинается гам голосов и топора. Этот гам не пугает купающихся в снегу косачей, их даже не пугает близкий скрип полозьев. На косачей косится покрытая инеем лошадь, и когда бодро фыркнет, то в сизом, плетённом серебром березняке трепыхнутся рябчики. Вверху ясная синь,

и оттого снег в гуще деревьев голубеет, а на прогалинах – сверкает. Через широкие белые полотнища мхов видны высокие, дымовые боры, плотно и могуче закрывающие даль. В них жизнь древняя, простая, как сказка. Лошадь останавливается. Епифан смахивает с неё иней и накрывает тулупом, ей это любо. Она фыркает и сочно хрупает сено. Хозяин её осматривается и щурясь жуёт цигарку.

– Эй, вековые, здорово! Рог вам пороху да пыжей воз.

Вот крякнул топор-плитка и стал въедаться в дрогнувшее дерево. Запахло смолой от жёлтых мягких пряников, падающих на снег.

Старик, нагревшись, снимает полушубок, а потом и шапку. Когда затихнет треск и гул упавшего дерева, то он, отдыхая, надевает шапку и говорит каждый раз:

– Ведь вот починили хорошо, шутя валю лесины.

Часа через три едет, сидя верхом на бревне, молодо оглядывает просветы в лесной стене и грызёт мёрзлый хлеб. Вспоминается ему Роженый с кренделями, и кажется, что у хлеба есть аромат кренделей.

– Ладно, – пыхтит Епифан, а на светлых, солнечных полянках прыгают и смеются дымчатые, его и лошади, тени. Смеётся лес кругом, смеются Роженый, Алексей и Татьяна Семёновна.

Недюжие мужики с завистью говорят:

– Ишь, как Оврагина выладили в городе, обновили, вот – счастье.

По вечерам изба Епифана наполнялась мужичьём. Особенно любили заходить страдающие болезнями. Сидели они и на лавках, и на полу, поблёскивали глазами в табачном дыму и слушали рассказы хозяина.

Выходило всё у него хвастливо и заманчиво, и пахло от его живой фигуры настоящим счастьем. И мужики испытывали какое-то странное наслаждение каждый вечер.

Однажды кто-то сказал:

– Хрустит у тебя жизнь, Епиша, ей-ей хрустит.

Другой крякнул:

– Ке-йх, веди нас до городу, ты счастливой, подровняешь и нас с собой.

– Да, да, своди-ко! – кричали с лавок.

Мужиков отговаривал от похода в город колдун Карбас, лечивший их заговорами. Они хотя верили в заговоры, но думали, что Карбас дурачит их из жадности. Оврагин посмеивался над колдуном. Наконец мужики стали настойчиво просить Епифана вести их в город, и он согласился. Сказал старухе:

– Приготовь хлеба, сухарей, поведу уж верно мужиков, своих опять проведаю. – О чём-то подумал и открыл радостно рот: – Знашь, старуха, я им внучка закажу, а?

Старуха усмехнулась сочувственно, но поворчала на старикову прыткость и легкомыслие, а он рассуждал:

– Лес вот вожу, избу поправить, а для кого? Эх, лес какой! Любоваться, обнимать, так как там, в городе, не похвастать.

На совещании ходоков в город было решено идти на лыжах лесом – ближе. И на второй день утром двенадцать полушубков с мешками за плечами гуськом потянулись за тринадцатым кривоногим бойким Епифаном.

Вся деревня кланялась уходившим и напутствовала:

– Лёгко вам копыто, крепку землю, братики.

Какой-то шутник махал красным платом.

Епифан, обернувшись, энергично махал батожком.

– Ладно-о! Не морозь носов, копыто лёгко-о!

Шли они мимо шароглазого лохматого колдуна Карбаса. Он опёрся на палку и насмешливо поводил бородой.

– На выправку? Тэ-эк, мои наговоры не гожи стали, ну-ну, шагай, только не ладно, што вас десяток с тремя, число не то...

– Жолвак те в рот, – с сердцем сказал задний, самый старый, Ефим.

Другие не заговорили с колдуном и, отойдя от него, переговаривались тревожно:

– Что ворон, каркает Карбас, примета худая, не по нраву ему ходьба наша, закроет дорогу ужо...

Епифан оглянулся и сердито плюнул в рукавицу, тронуто было самолюбие вожака.

– Ни бось! Ни лешего ему не сделать, худой он колдун, хвастун, чёрт глазастый!

Мужики поругали Карбаса и успокоились.

Начался лес. Снег в лесу ещё неплотный, лыжня глубокая, тяжело идти переднему, и потому они шли, как волки, чередуясь: передний, пройдя с версту, останавливался, пропуская вперёд соседа, и вытирал лицо шапкой, пока шли все мимо.

Лес сух, морозен, и звонко в нём; если треснет лёд на лесном озере, то гул катится, будто деревья колются.

Когда попадался смолистый сухой пень, Епифан поднимал батожок.

– Стой, робята, покурим!

Пень зажигали и садились на лыжи кругом столба огня. С кряхтеньем втягивали в себя смолистый запах и лениво доставали табак.

Епифан рассказывал о городе.

– Крепок город стал, разживается, хе-хе, жонки, значит, там с золотыми зубами, не показалось мне это, не полюбил бы такую.

Мужики шевелят бородами – не полюбил бы?

– Нет, а вот там, робята, изба крестьянина устроена, растяни её в нитку, ладная: газеты, книжки, чай и разговоры умные – одним словом, заманиловка для нашего брата.

– Ишь ты, и пожить пускают?

Ефим, высокий, сухой, грел голую поясницу, скрипел от жара зубами и, потряхивая жёлтой соломенной бородой, рычал:

– Тараканов нет в избе этой, клопов?

– Нет.

– А в больнице, как-то там ужо?

– Э-э, – успокаивал Оврагин, – ты и не услышишь, как тебя облегчат, ловко работают, вот мы с приятелем Роженым… – он начал рассказывать о своей больничной жизни.

На ночь сделали надью – кругом обложили себя сухоподстойными кряжами один на другом с расщепами вдоль. В расщепах медленно горело и давало столько тепла, что под навесом из ветвей было жарко. Лежали тоже и на ветвях ельника.

С вечера мужики с грыжами затосковали.

– Погоде быть другой, вьюге или снегу, подкалывать стало.

В полночь на небе высоко луна; мимо неё плывут морозные седые волокна. Лес строг и велик; тёмное в нём переплелось с белыми полосами от белой луны.

Мужики сидят – красные от вспыхивающих жарких полос надьи – и глядят сквозь ветки над головами на луну, кто стонет, кто воет.

Вокруг надьи шагает длинный, сухой Ефим и бормочет заговор: «…Бежит река огненная, через огненную реку калиновый мост, по тому калинову мосту идёт стар матёр человек; несёт в руках золотое блюдечко, серебряно пёрышко. Мажет у мужиков стар матёр человек семьдесят жил, семьдесят костей, семьдесят суставов; збавляет мужиков об наличном мясе, от грызоты, от болести, от ломоты. Не боли, не ломи, не отрыгай ни на конце, ни на ветке».

Епифан ушёл от надьи к редколесью, где начинался мох-болото, и смотрел на его гладкое белое полотно с тёмным крылом под лесом. Потом повернулся лицом к надье; на шапке его блеснула медная пуговица, и шаркнул полушубок о кору дерева. Дымчатая борода озабоченно пошевелилась.

– Ежели оттепель, так заревимся здесь.

От огненных полос надьи не на лунном снег красный, а в светлых полосах между ветвей скользит дымок. Длинный, сухой Ефим ещё бродит по красному. Продолжается и разноголосый вой.

– Ву-у! Ой, эй-э!

Кто-то сипло ругается:

– Дьявол! Киньжа из топорища! Заговор худой, себе заговорил, а нам не можешь!

Ефим смущённо ворчит.

– Карбас перебивает силу, жолвак ему в рот!

В лесу хрустит мороз. Плетёное лунное серебро среди могучих стволов недвижимо.

VIII

Оттепели не случилось, а началась вьюга со снегом.

– Охо-хо, куревка! – чавкали мужики.

Снег льнул к лыжам, и они шли как пьяные; избегали гладких мест – в лесу теплее, зато с качающихся со скрипом деревьев валились белые, рассыпающиеся

клубки. На пути сплошная снежная стена. И среди чащи медленно лезли тринадцать белых столбов, иногда столб падал, тогда все сбивались в кучу и курили.

Вьюга продолжалась три дня. Мужики кружились, два раза вышли на свой первый ночлег. Епифан плевался и кричал на ветер:

– Мать твою перенимать, привязало, что ли!

– Карбас дорогу закрыл, – убеждённо сказал Ефим, – водит леший.

Все пугливо оглянулись.

– Водит!

– Водит!

В лесу вой, и серая муть вверху взвизгивает протяжно и насмешливо.

– Вз-ы, ву-у!

– Поёт, неладной, э-у, во, выше лесу ходит, вон в куколе.

Епифан злобно сбивает с бороды снег, трясёт в сторону кулаком в рукавице. Хотя он уверен, что вьюга не названа на них Карбасом и нечистым, но ему почему-то не хочется ещё разубеждать мужиков. Он даже сам увлёкся их суеверием и воображал на своём пути и Карбаса, и лешего, и вдруг в нём вдвойне поднялась энергия и поднялась злоба на стариковские предрассудки.

– Врёшь, не поддамся, растяни тебя в нитку! Уйдём, кати, робята, влево. – И, грозя кому-то батогой, налёг на лыжи.

Опять лезут белые столбы между лесин, кидающих хлопья снега, и тянут:

– Водит! Водит!

– Сгинь! Сгинь! Выше лесу ходит!

Епифан неистово машет руками:

– Вали! Не боюсь, уйдём! Мерещится вам, херы!

Потом, прислонившись к деревьям, устало подпирались шомпаками и уныло чавкали.

– Ни рука ни нога не гнётся, станового, значит, встретили.

Кое-как сделали надью и в тепле проспали чуть не сутки.

Вьюга ещё продолжалась, и мужики упали духом.

– Закружит нас, уведёт туда, что и не вылезешь.

У всех болели ноги, и было решено ещё отдыхать.

– Не реви, робята, попадём в город скоро, – утешал Епифан. – Эх, там мы заживём. Ввалимся в избу крестьянина, и тут нас почествуют чем-нибудь. Потом клуб есть, значит, станут там люди говорить – говорят, говорят и спросят: кто вопрос имеет? Вот ты, примерно, вопрос имеешь: какое, мол, житьё лучше – тихое, как омут, или бойкое – с быстринами? И тебе скажут, что славной ты человек, коли хочешь допытываться, как жизнь играет, а она на все манеры играет, а ты и щупай, které крепче, замашистее, с быстринами.

Епифан оглянул торчавшие кверху бороды, они все повернулись к нему. Одна борода крикнула:

– Слышно худо твоя беседа.

И в самом деле, в лесу гудело с прежней силой и повизгивало в дуплах.

– Поёт лешой, мешает!

Рыжий подслеповатый, точно проснувшись, стал оглядываться.

– Лежим вот тут, отлёживаемся, как медведи, а дым кверху пошёл, выяснит, верно, скоро, вон звезда мелькнула.

– Выяснит, – спокойно сказал Епифан, – а в клубе том про звёзды и про всю видимость рассказывают. Лешого, говорят, нет, выдуман, и всё, чего не видим, выдумано страстью человеческой, дано человеку испокон веку искать и выдумывать – что его выше становит, книжны люди…

Ефим перебил, глядя в сторону:

– Врут, поди, где им всё знать, сама лучша книга у Карбаса глазастого, чернокожие, ужо умрёт, так куплю у его старухи.

– На хер Карбас, и с книгой, – плюнул Епифан, – та книга тёмная, светлое нам надо, перебороть другое надо и обрадоваться светлоты всему люду малому.

Все вздрогнули от треска падающей сушины где-то поблизости, покосили туда бороды.

– Задавит ещё непутный.

Ефим вытянул на Епифана свою жёлтую соломенную бороду.

– Пророчить стал, жолвак те в рот! А, леший, грозит.

Мужики ухмыльнулись.

Епифан неожиданно вскочил.

– Врёшь ты сам всё, пила! Не любо – зачем идёшь со мной, не поведу вас дальше, сейчас обратно пойду.

Он стал одеваться.

Мужики изумлённо вытянули чёрные шеи и переглянулись; один сердито толкнул Ефима.

– Эка киньжа, сушина соломенная!

Епифан полез к лыжам.

– Уйду. Скучно, растяни вас в нитку.

Мужики выкатились наружу и зашевелились на снегу во вспышках огня лохматыми тенями.

– Мы ведь ничего, Епифан, что ты, брат, веди, будь доброй.

Двое лезли на Ефима.

– Как чёрт, обедню спортил.

– Ништо, – спокойно скосил на них бороду Ефим и полетел от пинка в зад. Толстоплечий, маленький лягнул его ещё.

– Вот те ништо!

Ефим пополз на четвереньках по красному снегу и кричал с хрипотой:

– Есть лешой, есть, жолвак вам в рот! Еретики-и!

Епифана мужики успокоили, и потом уже все посмеивались. К тому же метель переставала, и местами показывались широкие куски неба со звёздами.

С утра двинулись дальше. Лес уже был тих и гол, весь снег с него разметало, и он точно отдыхал от тяжёлой схватки.

Вечером ходоки заметили, что лес кончается, и по редколесью заторопились к простору. Было уже темно, но жильё слышали и шли на него. Вот вынырнули все из леса на бугор над рекой и остановились. Увидели огни города и оглянулись на Епифана.

– Ведь город! Козья матка!

Епифан обрадованно тряхнулся.

– Ясно дело, вишь. – И, обернувшись к лесу, злорадно потряс батожком: – Наша взяла, растяни тебя в нитку! Наша-а!

Мужики, опершись на шомпаки, глядели на город и удивлённо чавкали:

– Ба-атюшки, сколь огонька-свету!

Воронко*

I

Жизнь Стёпы Хватко сплошь состояла из меновых сделок. Казалось, не было ничего у него такого в доме, чего бы он не мог променять. И каждый день он менялся то обувью, то платьем или санями и разной мелочью, а главное – лошадьми. Лошади – страсть Хватко. Несмотря на то что он чуть не каждый день менялся ими – любил красивых, даровитых лошадей, и была мечта выменять когда-нибудь коня-бегуна невиданной красоты и страсти. Все привыкли видеть Хватко всегда в обновках и на обновках. То он едет с дому на поджаром горячем коне в заячьем полушубке и папахе, то в тот же день возвращается на какой-нибудь толстоногой крупной кобыле, одетый в старый казакин, с пыжиковой шапкой на ухе. Эта внешняя перелицовка менуха была всегда темой разговора волости и соседей. Дома он был постоянно осаждаем мелкими и крупными менухами. Постоянно задорное битьё по рукам и буйный гам суглинистых лиц в табачном дыму избы, будто трещат белая широкая печь и стены и трубят медные глотки. Сам Хватко в кругу крикунов точно бьёт кудрями в потолок, весь кипит и задором синих горящих глаз заражает допьяна других, кричит:

– Всех менухами сделал, зараза-вьюн!

– Э-э, сатана приди – менять заставлю! – смеётся Хватко.

– Ха-ха, ад разворотишь, с ума сведёшь!

Гам, хохот. Рубли и барахло переворачиваются в жадных лапах людей.

Бывает, Хватко точно кто-то подменит. Выкинет свою удаль и буйство в свирепой ненависти ко всему окружающему. Махнёт наотмашь хищными руками, как орёл крыльями, и с грохотом откатываются тяжёлые тулупы и бороды, показывая в широком оскале зубов смесь злобы, восхищения и неостывшего менового задора.

– В цердцах дьявол сегодня!

* Печатается по: *Черноков М. В.* Тёплые росы. С. 119–134.

Хватко протянет буйно трясущуюся хищную руку на тулупы и оскаленные бороды.

– Вы-ы коростели-скрипуны, и весь мусор ваш и мой – дым, ветер для меня. Эх! Нет, нет такого, чем бы дорожить, не променять!

Тогда, бывало, тоска – лежит Хватко на полу в своей большой, гулкой, с высоким потолком, избе, бьётся, громыхая ногами.

– Спалю, всё спалю и уйду мутосветить, тесно, прискучило!

Мать, высокая, скуластая, сложив на груди руки, стоит над сыном и сурово говорит:

– Сынок, верёвку да кнут не принести для тебя?

Тогда завсегдатай избы Хватко сосед Пётр Иванович, вечно хмельной, рыжий, насмешливый, хлопает руками в кожаных рукавицах.

– Смотри, Митриевна, когда-нибудь Стёпа тебя променяет за такие слова, ужо-ка я песню спою, песня хворь сымет.

И Пётр Иванович, любовно поглядывая на могучую беспокойную фигуру парня, начинает петь своим сочным, игривым голосом. Вначале поёт тихо, как бы баюкая, при этом покачивая хмельной толстенной волосатой головой.

Ох как не по мо-рю,
Э-э, да лебёдушка-а плывё-ёт…

И под звуки заунывной песни Хватко начинал успокаиваться. Мать опускалась к сыновней голове и гладила кудри.

– Сказку скажу, Стёпа, сынок шальной, неуёмная головушка.

Хватко любил песни и сказки, и мать и Пётр Иванович ходили над ним как над больным ребёнком. Так было с детства.

II

После этого Хватко несколько дней не занимался меной. Укладывал силу в хозяйственные дела. В эти дни разные люди заходили к нему за советами по части покупки скота. Он знал кругом сотни лошадей и безошибочно мог сказать возраст, недостатки и достоинства каждой.

– Сколько, думаешь, можно дать за эту кобылу? – спрашивал пришедший за советом.

– Поди и дай сорок восемь, больше пятидесяти не давай, ленивая, нескучливому надо ездить, воду возить, не расплещет, бог с ней.

Однажды Хватко пропадал несколько дней, вернулся мрачный, чем-то озабоченный. Изба наполнилась любопытными.

– Что у Хватко нового?

Он сидел понуро на лавке и качал кудрявой головой.

– Конь, конь – сказка, песня, не добыл, эх!

– Славный конь, говоришь, не выменял?

– Эх, вороной, как ночь, как буря, сгинуть готов за этого коня, не мог взять. Чего вы зубы скалите?

Мужики гикали ехидно:

– А-а, сорвалось, дьявол тя побери! Не всё хвастать!

– Пошли к чёрту!

– Не к чёрту, а мы вот на заготовку леса отчалим завтра. Мы лёгких хлебов, как ты, не едим. Эку лошадь нашёл: во дворе держать да головой трясти-ездить.

Хватко встал, расширив руки, и топнул ногой.

– Я вас тряхну, что кости затрещат, вон!

И всех точно выдуло в широкую дверь избы.

– Зашибёт, дьявол! Задорной!

Остался лишь Пётр Иванович. Он расширил руками рыжую хмельную бороду и кашлянул одобрительно вслед последнему мужику в дверях.

– Так-так, работнички, убирай ноги.

Хватко гулко захлопнул дверь и взглянул на мать, греющуюся на печи; она, свесив скуластое крупное лицо, ворчала:

– Эх, сынок, соседям ты на потеху дался, у них только и свету в окошке, что на тебя потешаться.

Пётр Иванович поплевал на свои кожаные рукавицы, надетые на руки, потёр ими и зарычал:

– Стёпа, плюнь на всё!

Хватко плюнул.

– Плюю!

– Ладно, я бобыль, а ты бобылю батько, поедем на заготовку тоже, потом лошадь ту добудем.

Хватко тряхнул кудрями и оскалился.

– Врёшь, там вина нет.

– А к лешому, передышку сделаю, протрезвлюсь, лошадь вороную больно охота для тя добыть.

У Петра Ивановича была непонятная любовь к менуху; бобыль, пьяница и озорник, он видел, должно быть, в Хватко не выросшую у него самого, но желанную страсть к беспредельному буйству и тоске по сказочному, красивому.

Хватко скоро решил:

– Верно, Петруша, поедем лес рубить.

– Ну вот и славно.

Пётр Иванович опять плюнул на рукавицы, потёр ими и встал с лавки.

– Я пойду ещё напьюсь раз последний, чтоб черти сапоги снимали, а ты?

– Я на вечеринку схожу.

Они вышли вместе и разошлись, поскрипывая по-разному в морозной лунной ночи.

Хватко вошёл в дымную от лучины и горячую от пляшущих людей избу. Девки – что берёзки среди ельника парней. Ельник ухарски топает, а берёзки вьются вокруг него и поют:

Я калинку-малинку брала,
Мила дружка привораживала…

Хватко огляделся, скинув на руки мальчишек полушубок и щегольскую барашковую шапку. Когда на лавках в тусклом свете встали зелёные, расписанные цветами прялки, то он, раздув ноздри, прошёл к самой красивой девке – Анке. С ней рядом сидел парень в новеньких сапогах и в беличьей шапке на затылке. Хватко взял парня за плечо и поднял с лавки.

– Ты зачем тут?

Парень испуганно надулся, вытаращив на Хватко свои телячьи глаза.

– Ты потише, тебе что?..

Он готов был заплакать от обиды и бессилия, которое на него напало, когда Хватко, слегка оттолкнув его, сел на лавку и обнял Анку.

– Ты жихорь, чёрт! У-у!.. – трусливо выругался обиженный, пятясь к парням, а парни смеялись.

– Эх, Иван Катеринич! Хвост поджал, не вяжись младень с чёртом.

Хватко заглядывал в голубые глаза Анки и тряс головой.

– Совсем не важно, что меня девки не любят, я их люблю, дай я тебя поцелую, голова кружится, люблю!

Анка дёрнула его за курчавые волосы.

– Обманщик ты, врун, – она взглянула на Ивана Катеринича, стоявшего у печи с красным, смущённым лицом.

Юркий толстяк с озорным лицом сунулся к нему и задорил:

– Заяц, смотри, менух, как сноп, девку обхватил, съест!

– Пускай, что же, – плачущим голосом протянул Катеринич; ему и хотелось уйти, но уйти не мог, а юркий толстяк пыхтел ему махоркой в лицо.

– Он и у меня девку отбил, бутылку ставишь, родня?

Иван Катеринич не успел согласиться, как толстяк схватил с полки горшок и бросил его в Хватко. Горшок ударился в стену над головой менуха. Изба ахнула, а Хватко чутьём угадал врага, кинулся с лавки, разбивая толпу головой, но толстяк исчез.

III

Синие боры точно жуют обозы, когда они, скрипящие, шевелятся то там, то сям в глубине, зато топор гогочет и грызёт деревья, потом по борам катится рассыпчатый грохот; этот грохот весь день, и весь день в лесу в снежной пыли люди машут топорами и дерут зубастые рты вслед грохоту падающих деревьев.

– Пожили, постояли, чисти место, э-ге!

Везде видны огромные пни, и кругом зелень вершин и сучьев.

Людей так же густо, как и деревьев, только деревья холодные, снежные, а от людей валит пар, и между грохотом ширятся хриплые крики наваливающих на дровни брёвна, крики то одобрительные, то свирепые:

– Терёха, пуп береги!

– Шевелись, дьявол нежной, бабья нога!

– Вершину, вершину не упускай, эх, работничек, бродишь, што поп с робёнком кругом купели.

Ловко и без ругани работают Хватко с Петром Ивановичем, оба красные, в рубахах, головы без шапок. Пётр Иванович сметлив и опытен в лесном деле и к тому же плут – дерева с гнилью не бросит, поворчит только:

– Ишь ты, брат, богомолка попалась, бей клин, Стёпа, сейчас замочим, а мороз закрасит, на заводах всё уйдёт, заграница загребиста, купит.

Иногда они сидят на обделанном бревне и курят. Хватко жадно пыхтит дымом цигарки, оглядываясь кругом. Вырубка наводит его на грустные разговоры, он трясёт покрытыми инеем кудрями и тихо говорит:

– Восемьдесят лет сюда не заглянет топор, другие будут, Петруша, люди потом работать.

Пётр Иванович равнодушно жует цигарку.

– Такие же лодыри, пьяницы.

Хватко с непонятной досадой швыряет окурок.

– Эх, не по-моему мир устроен, истребит человек всё и себя истребит, а что останется – слава его, гордость, что он прошёл по земле злодеем страшным, эх, Петруша, Петруша, сидит то злодейство в каждом из нас. Я злодей, но тоска по другому, не по злодейству.

– Плюнь, – спокойно посоветовал Пётр Иванович, – живи себе, чтоб чёрт завидовал. Я вот тоску вином заливаю.

Рядом вывозят брёвна, хрипят лошади под рёв людей.

Тяжело и медлительно скрипит бесконечный обоз по жёсткой плачущей дороге. Далеко светлая полоса дороги сливается с двумя синими крылами леса. Лес сухой, холодный, белогривый, а на дороге пар и дым над обозом: кто поёт, кто смеётся, кто добродушно ругается. Большой тулуп встал на воз и широко раскинул руки; похож он был на боярина, увидел Хватко в обозе и кричит:

– Хватко, мену разведёшь здесь?

На других возах тоже взмахиваются тулупы, скаля зубы. Хватко трубит в кулак:

– Все люди век меняют, а я чем хуже?

– Давай перекинем лошадками, – машет рукой тулуп-боярин.

– Хе-хе, надоело, знать, палками на ночь подпирать, чтоб не упала?

– Ха-ха, – катится над обозом.

Тулуп-боярин тоже смеётся сконфуженно.

– Ха, знает, дьявол, не обманешь, где стоишь-то, в какой избе?

– В казённой, под елями.

Тулуп обещается навестить Хватко в избе, но кто-то кричит, что менух до полночи работает, не найдёшь в избе вечером.

В горячей дымной избе плачут закурчавленные морозом бороды, печь из камней брызжет искрами. На дублёных лицах пляшет отблеск пламени, изба кряхтит:

– Варить, курить, шевелись, мороженый люд!

– Пей воду, наводи брюхо!

Варят, пьют и едят, потеют, и, с лоснящимися тёмными лицами в жидком свете, люди похожи на больших тараканов. Позже всех входят в избу Хватко и Пётр Иванович. Лежебоки завистливо ворчат:

– Чего ещё до утра не работали, мало дня, на кого эк в нитку готовы растянуться, рубли ловите лишние.

Хватко молчит, а Пётр Иванович, как хмельной, пьёт холодную воду и косит глазами на лежебок на нарах.

– Будьте здоровы, мягко вам место, а на месяце светло работать.

– Выхваляетесь, – не унимаются лежебоки, – у нас дома ребят по возу, да мы [меру] знаем, а вам, бобылям, мало, вишь.

– Верно, – подхватывает вся изба, – хвастуны!

Всех злит то, что Хватко с Петром Ивановичем зарабатывают вдвое больше против других и всегда бодры и веселы.

– Ишь, лешой, ишь, – ширятся бороды на Хватко, который, раздевшись догола, вскочил на нары у каменки, потоптался в горячем воздухе и нырнул в дверь.

– Опять купаться, чёртов приёмок.

Хватко вернулся, выкатавшись в снегу, весь белый, и гоготал, вскакивая опять на горячие нары.

– Го-го, Петруша, выкупайся, хо-орошо!

– Иди ты… ну-ка, сойди сюда, я тебя вытру рукавицей.

Хватко встал перед печью, а Пётр Иванович, покряхтывая и старательно кривя рот, вытирал крепкое, богатырское тело парня чистой, тёплой рукавицей.

– Она мяконькая, э-хе-хе.

Хватко тряс кудрями и задорно блестел зубами, с кудрей летели брызги на мужиков и на каменку. Каменка шипела, а мужики плевались.

– Огненный андел, фати тя провал!

– Эх, бороды! – топает ногой Хватко, – вот добуду вороного коня, напою вас до повалихи, ладно, что-ль?

Везде показываются весёлые зубастые рты.

– Го-го, ладно! Похвалим, ты ведь не худой дьявол, знаем, ха-ха! Пётр Иванович разливалом.

Не смеялся лишь Иван Катеринич. Он свесил руки между ног в больших белых валенках, со смутной злобой мигал своими телячьими глазами на Хватко. Всё его

давило в этом парне. Когда мужики ругались, то ему было приятно, а за смех злился; казалось, что Анка думает о Хватко и поёт песни. Иван Катеринич вышел из избы на месяц. Кругом в шалашах лошади грызли сено и пофыркивали. Он прошёл к своей лошади, гладил её, подрывал сено и начинал спокойно думать, вспоминая свой дневной разговор с парнем, бросившим в Хватко горшок. «Верно, лошадь у меня тоже хорошая, шуба лисья есть, а тот голый хвастун».

В лесу тихо, морозно, и, казалось, хрустит лунное серебро на деревьях. В избе буйный голос Хватко и восторженный визг других голосов.

«Сейчас Пётр Иванович запоёт песню», – думает Иван Катеринич.

Подходили праздники. Мужики по вечерам у свалки облепят какого-нибудь грамотея и тычут его кнутами:

– Мне подсчитай, мне.

Грамотей с надвинутой на уши шапкой, горбатясь, чертит на снегу кнутом цифры и кричит:

– Карандаш тупой, а бумага нежна больно, погоди.

– К зори виднее цифры-то, эх, столбы!

Тулупы бродят, нагибая бороды к снегу.

– Семерики пишешь, а шестерики-то куда оставил? Прясло!

Один тулуп, кряхтя, наклонился над своим столбцом цифр и, окунув в снег толстый грязный палец, всё, покряхтывая, старательно выводил под столбцом свою фамилию. Другой не мог дождаться подсчёта, досадливо сплюнул и, распластавшись по снегу, стал кататься по цифрам.

– Писать, так всем писать, к лешому!

Тулуп, выводивший пальцем свою фамилию, распрямился и взревел:

– Не катись к моим, заплата безграмотная, не дам ломать!

– Вали, вали!

– Не дам! У-у!

Другие грозили кнутами и снова начинали писать.

В этот день Хватко долго пробыл в участке, выехал последним, Пётр Иванович был впереди. Кто-то дико кричал в стороне. Хватко пошёл на крик, скоро увидел лошадь Ивана Катеринича, а дальше его самого; он лежал на снегу и тряс головой, ноги были придавлены срубленным деревом. Хватко на ходу схватил кол и приподнял дерево.

– Вылезай!

Иван Катеринич, хрипя что-то испуганно, откатился и, поднявшись, досадливо чавкал:

– Наваливал и запнулся за хворостину, упал, а бревно скатилось на ноги.

– Бывает, – спокойно сказал Хватко.

Навалил парню бревно и вместе поехали. Иван Катеринич улыбался, благодарил, глядя на Хватко как-то по-особенному, тряс кисетом.

– Покури, Стёпа, моего табачку.

Курили, сидя рядом на возу. Хватко усмехнулся, оглянул смятую фигуру Ивана Катеринича.

– Так, ладно, что я тебе попался, а то леший бы крепко обнял.

– Да-а, – смущённо повертел головой парень и подумал, что бы сказать приятное, помял шапку и, глядя вниз, сказал:

– Ты, может, Стёпа, будешь жениться, так женись на ней, – голос его задрожал, – уж женись.

Хватко задорно оскалился.

– Эх, парень, не буду, пусть твоё счастье.

– А-о! – удивлённо и радостно шлёпнул губами Катеринич, – кумом позову тебя потом, ужо.

Хватко отвернулся и проворно прыгнул к своему возу. Иван Катеринич услышал, как менух запел песню, и озадаченно потёр свой широкий красный нос.

– Хер его поймёт, чёрта.

В лесу было тихо, небо морозно туманилось, и в синих просветах неба видно, как из редких снежинок лениво плелась светлая сетка.

IV

Хватко и Петру Ивановичу казалось, что они достаточно заработали денег. Но чуть не весь заработок ушёл на придачу в мене Хватко на вороную лошадь. Осталось лишь Петру Ивановичу на недельное пьянство с хорошей компанией песенников и сказочников, но всё это было после мены; несколько дней Пётр Иванович ждал Хватко трезвый. Вот Хватко шумно сдержал у своей избы разгорячённую лошадь. На крыльце мать и хмельной Пётр Иванович. Менух, весь в снегу, бросил вожжи, и яркий рой будто одымил лицо.

– Принимай!

Крупное скуластое лицо матери ворчливо усмехнулось, тяжёлые руки она держала за спиной, шагнула к коню.

– Ладный, говоришь, конь?

Пётр Иванович, распахнув шубу, мелко побежал кругом Воронка. Конь стоял, переминаясь с ноги на ногу, глядел весело и буйно, взмахивая пышной гривой. Он был невысок, густо-вороной – весь дышал красотой и страстью. Бока его парились. Пётр Иванович бестолково мял ногами снег и восторженно раздирал зубастый рот.

– Вина не пьёт. Ветер его фати, а!

Мать Хватко повела рукой по тёплому хребту коня и махнула сыну.

– Дай проеду!

Она в одном сарафане, в мужской шапке, широко села в маленькие сани. Хватко повернул коня к дороге. Пётр Иванович, разбежавшись, сунулся в сани рядом с Дмитриевной. Она, могуче раздвинув плечи, натянула вожжи. Красные, тяжёлые руки её дрожали, и вмиг лицо, крупное, скуластое, покрылось снегом. Хватко на

дороге обвеяло морозной копотью. Он, расширив ноги, вытянул вперёд руки, смеющееся лицо горело, и весь он в морозной копоти казался одымлённым, кричал неистово:

– Убьёт! Матка, не горячи!

По дороге видна только пыль и слышится гогот Петра Ивановича. Из всех изб высыпали тёплые фигуры.

– Э-э, кого лешой носит?

– Хватко, робята, землю на небо променивает, ишь, копоть поднял.

Дмитриевна примчалась обратно и кинулась из саней к сыну, с неё посыпался во все стороны снег.

– Убил бы, не жаль было, береги, сынок, коня!

Пётр Иванович, растопырив руки, сунулся к коню и, обняв красивую горячую голову Воронка, хмельно рычал:

– Боже мой, боже мой, ветер тя фати!

Он и Хватко повели мимо сбежавшихся людей Воронка в сарай.

Кто-то кричал на радость хозяевам:

– Вот бежит – земля дрожит!

На погосте светов конец – ярмарка. На высоком берегу двадцатиодноглавая церковь, построенная в восемнадцатом веке, – диво-дивное народного зодчества, где фантастика сплелась с достижениями многовекового искусства. Перед этой причудливой группой глав и бочек на площади в морозный ясный день шевелилась многотысячная толпа. Гуще и праздничнее толпа перед спуском на реку, с реки выносятся щегольские сани и сверкающие сбруи. У ограды сотни таких саней и сытых лошадей. Толпа ждёт бегов, но никто не вызывается гонять лошадей. Говорят о былых бегах и знаменитых рысаках. В последние годы лучшим рысаком был Бурый Якова с Култы.

– Яков, Яков! – кричат в толпе, – потешь, где он, жилистой?

Якова не видно. Вдруг толпа раздвинулась, очищая дорогу стрелой мчавшейся с реки по крутому подъёму вороной лошади.

– Ой, Хватко! Какого огня выменял, а! Вот дьявол!

Хватко спрыгнул с маленьких саней и тряхнул кудрями.

– Здорово, гулебный люд!

Глаза его весело оглянули толщу бурых от холода лиц, тулупы, шубы и атласные платы. На Хватко тужурка на беличьем меху и пыжиковая шапка на ухе. Он высок и красив. Много глаз, улыбаясь, любовались на менуха, но больше любовались на его коня.

Воронко весело и буйно смотрел на стоявших у ограды лошадей и рвался к ним, обдавая близко стоявших людей паром из широких ноздрей. Конь всех удивлял своей стройностью и могучестью склада. Лёгкая сбруйка точно приросла к нему, на оглоблях висели синие вожжи. Бороды с сосульками лезли к Хватко и махали на реку.

– Начинай-ко бега, пристыди всех!
– Не трушу, давай, – усмехнулся менух.
Любители бегов заволновались.
– Где, где охотники? Эй вы-ы! Вон Яков!
Появился юркий старик в оленьих рукавицах, он зорко оглянул Воронка и прищурился на Хватко.
– Пешком ходит или бегать умеет?
Несколько тяжёлых рукавов одобрительно погладили старика.
– Языком востёр, Яковушко, задорь, задорь!
Хватко раскинул толпу и крикнул:
– Ещё не родилась такая лошадь, чтоб сравнялась с моим Воронком.
Воронок, казалось, слушал слова хозяина и одобрительно потряхивал пышной гривой.
– Ой ли, дьявол! – лезли толкающиеся бороды с сосульками. – Хвастун, где те против Якова с Култы!
– Ясно – хвастун, поедем, ну, эй, собирайся, кто овсом кормит, кажи езду!
Там и сям замелькали разгорячённые лица.
– Крой, мохнатый едет, ёрш вон щетинится.
Среди толпы топтался хмельной Пётр Иванович; он был до того разогрет спиртным, что от бороды и толстого насмешливого лица шёл пар, полушубок распахнут.
– Плавуны вы, – кричал он натужно, с рёвом, – упокойников возить на ваших конях!
Вдруг толпа двинулась.
– Эй, Панов говорит что?
На санях стоял молодой чернявый парень в серой заячьей шапке и поднимал руки в зелёных перчатках.
– Сегодня спор о вере, о Боге, звали попов спорить, да у них брюхо болит.
В толпе загудело:
– Путай, ладно, богов не тронь!
– Трога-ай! Чего-о! У кого язык вострой, спорь, кто осилит.
Панов махал зелёными рукавицами.
– Б-у-д-ем разбивать священное, святых отцов, Христа, гром и молнию.
– Пута-ай, отморозить те язык!
– Вали-и! Панов!
Где-то далеко высокая рысья шапка вопила:
– Попы, где-е попы? Жолвак им в рот!
На санях взмахнулась тяжёлая, как метла, борода, голос её визгливый смешил.
– Бойтесь, православные, печатать, печатать еретики будут денно и нощно.
Рядом кричали:
– Уйди, жихорь, скрипун! Докладывай, Панов!

Взвились кудри Хватко, и площадь загудела.

– Хватко послушаем, говори, ветрогон, лесина садовая, вешняя, девкины слёзы.

Девки, сбившись в кучу, смеялись, а Хватко протянул перед собой тяжёлую руку.

– Говорю, всем говорю, гулебный люд, принимай всё, спорь, радуйся и гуди крепко, на всю землю. Зачем бояться говора человечьего от неуёмной души, пусть Панов скажет.

– Верно!

Чернявое лицо Панова с инеем на скулах встало одно выше всех, и под причудливой, наивно величавой группой глав и бочек тысячи глаз видели толстую книгу сердитых Святых Отцов, Бога, Ноя и какую-то науку над ними. Начётчики сурово трясли сосульками на бородах и поднимали кулаки в рукавицах.

– Сосуд Антихристов, хвост Сатаны!

Куча тяжёлых бородачей двинулась к саням.

– Буде, – кричали они, – буде шевелить старину, певун, есть Бог, есть!

– Нету, не мешай! – задорно ощетинились другие.

– Есть!

– Нету!

– Стяни рот!

– Пошёл к чёрту, мать-перенимать!

Толпа шумно зашевелилась, и спор перешёл в крикливую одиночную ругань. Рядом с Пановым встал Пётр Иванович. В руках его откуда-то появился бубен. Мелодичные звуки бубна привлекли взляды к хмельной широкой фигуре.

– Эй, хрипуны! – криво-насмешливо разодрал рот Пётр Иванович. – Слуша-ай!

– Ха-ха, Пётр Иванович с музыкой.

– Вот что скажу вам, робята, спор бегами решим. Выбирай кажда партия лошадь, котора победит, за той и правда.

– Ха-ха, верно, молодец Пётр Иванович, пора бега открыть, кто кого?..

Ещё ругались кучками, но мысль о бегах охватила всю площадь. Начётчики были не согласны решать спор бегами, однако большинство было за это, и старики кричали:

– Давай, начинай, мы за Якова с Култы, за богов, значит.

– Ишь, перву лошадь выбрали наверняка, нет, хромую возьмите, Бог ноги даст.

– Ладно-о! – ревел с саней Пётр Иванович. – Пусть их Яков, а другие, кто без Бога, держи за Хватко, Хватко!

Яков уже выводил своего бурого белогривого коня.

– Раззадорили меня вы, старики, а вдруг не выстоим.

– Выстоишь, много годов первым ходишь.

Вокруг Хватко и его Воронка крутились приверженцы Панова и все мужики, любившие менуха.

– Выручай, Хватко! Прославь нас!

Хватко, натянув крепче рукавицы, гладил коня.

– Ладно, на ветер возьмёмся, эх! – Парень буйно повёл рукой: – Страсть показать, силу, чтоб все тут завыли.

Вся площадь шумела, волновалась. Толпу, возбуждённую спором, охватывала страстность. Хватко, Яков и две лошади казались сверхобычными, славными, праздничными гостями, и, когда обе лошади тронулись с места, площадь стихла, и затем прошёл гул:

– Поехали-и!

Дорога шла вначале вдоль площади, потом заворачивала полукругом к другому берегу и там скрещивалась с другими дорогами.

Передним ехал Яков. Хватко часто взглядывал на его согнутую спину и ловил движения. Иногда старик показывал своё лисье лицо, точно кому подмигивал.

– Накручива-ай!

«Балуется, лиса старая, не нажимает ещё», – думал Хватко.

Его Воронко шёл легко и весело, как бы играя. Менух ласково ворчал:

– Ладно, дружок, ладно, легонько.

– У-ух! – вдруг пронзительно крикнул старик и махнул оленьей рукавицей.

Бурый рванул вперёд. Вороной же фыркнул, почуяв бег, но ему не было простора, и он всё ещё то играл, то сердился. Хватко успокаивал лошадь и, откинувшись в сторону на закруглении дороги, усмехнулся, угадывая, что старик сейчас должен показать всё, что есть в Буром; тут была самая лучшая дорога по широкому наволоку, и с погоста они были видны в профиль. Яков, обернувшись, остро оглянул Воронка, и прищуренное снежное лицо его было строго, казалось, он сейчас остановит лошадь, но опять взвизгнул и ловко протянул кнут; больше не оглядывался, что-то пел гнусаво-жалобно, натянувшись весь, точно повис на вожжах. Бурый шёл полным ходом, и старик, как бы опьянённый, пел и двигал бородой. Ещё на повороте дороги Хватко был поражён красотой и чёткостью бега Бурого, и ему стало понятно какое-то волнующее, захватывающее пение старика. Вдруг Яков круто обернулся и бросил вожжи. Вороной не отстал ни на шаг. Обе лошади встали, и старик, выскочив из саней, упёрся по колено в снег, строго и внимательно стал осматривать соперника своего знаменитого Бурого.

– Хм, – хмыкнул он и почесал нос оленьей рукавицей. – Дельна лошадь, вали теперь передним обратно.

Хватко молчал, взглянул на погост, увидел под сказочными главами в морозной копоти залитую народом площадь и, бросившись в сани, сказал:

– Ну, сейчас наша песня, Воронко, пой, пой, эх, милы-ый! – И рассчитывал по дороге место, где он должен сам запеть так же, как старик.

Хватко поехал, спустя вожжи и смеясь посмотрел назад.

– Чего зубы скалишь? – рассердился старик. – Объеду!

– Погоди, скоро вожжи возьму, я и за тобой так ехал.

– Дразнись, ладно, чёрт с порогов!

Менух вытянулся из саней, заглядывая на Якова.

– Я тебя сейчас ездить научу.

Старик показал жёлтые зубы.

– Ну-ко, ну, чёрт!..

Хватко бросил шапку под ноги, встал, хватая вожжи.

Воронко мгновенно весь натянулся и широко брызнул паром ноздрей.

– Э-эх, родно-ой!

Яков, сразу же отставший, увидел на изгибе дороги необычайную ширину хода Воронка, свистнул кнутом и сердито бросил кнут под ноги; он уже решил, что всё потеряно, а Бурый в первый раз за много лет сбился с рыси и скакал. Хватко, шалея, с гиком, прошёл реку и услыхал, как ахнула площадь, точно раскололо её.

Теперь он, стоявший в санях с размётанными кудрями, и вороная лошадь на синих вожжах точно вились в морозной седой копоти. Шумно и горячо дрожали храп с хрустением и набойчатый говор копыт. Хватко что-то звонко крикнул перед подъёмом, и ему в ответ протяжно и восторженно взвыли на площади бурые лица с сосульками:

– Во-о! Естрибо-ом! Птичей дьявол взялся, вот тя!..

Передние полились кругом вылетевшей на площадь лошади.

– Наша правда-а!

Кряхтели и рычали, как хмельные в драке. Воронко в густом пару, весь бурно трепещет. Пётр Иванович повис на оглоблях и тычет пьяной, шальной мордой в лошадиную. Его гудение сливается с гулом толпы, вспомнившей о споре, о Боге, а Хватко стоит в санях весь в снегу – дрожит и трясёт протянутой над головами большой своей горячей рукой. Её видят, чувствуют все и замирают, когда он гордо кричит:

– Видали-и? Это я, я и есть бог!

Куницы*

I

Года три не был Крапива в сузёме у праздника Николы зимнего. Упал, говорят, нынче промысел в сузёме, а бывало, на Николу переворачивались тысячи белок, горностая, куниц, лисиц, возы рябчиков. Азартно тогда тряслась купеческая мошна. Деловито шумел сузём, и Николин день для суземлян был самым знатным в году.

И вот несколько лет уже этот день мало чем отличался от других дней, как мало отличается пятница от четверга.

В эти-то годы и не был Крапива в сузёме. А теперь снова пахнуло оттуда пушниной, дичью и рыбой, и немало тронулось людей к Николе. Плывут по белой лес-

* Печатается по: *Черноков М. В.* Простор. Л., 1930. С. 85–102.

ной дороге обозики, возки, сзади возков и в одиночку, и кучками топчутся люди, хлопушат рукавицами и временами тонут в морозной копоти.

– Эй, Михалёва скоро-о! – катится по дороге голос. – Будем лосину варить. Оська уважит!

– Уважит, уважит! Винтом въедем к нему!

Оська, лесной сторож, в накинутом на плечи тулупе вышел на крыльцо избы и прислушивался к говору, потом крикнул:

– Граммофон ещё вам завести! – Его чернобородое лицо с птичьим носом, ухмыльнувшись, усунулось в воротник, точно голова птицы под крыло.

Красивая баба – Оськина жена – грела самовары и ёжилась от холода, принесённого мужиками в тулупах. Мужики кряхтели, благодушно поругивались, бороды у всех белые, с них падали на пол сосульки и хрустели под ногами.

Крапива что дуб среди других. Подпоясанный ярким кушаком, он заломил назад меховую шапку и разглядывал Оськину жену. Оська легонько потянул его за рукав.

– Проходи, Егор Павлыч, в ту половину.

В другой половине чисто, есть картинки, зеркало и шкапик; на шкапике граммофон с трубой, обвитый берёстовыми лентами.

– Ты, парень, разбогател, – заметил Крапива, – музыкой и бабой обзавёлся, вот чертодуй!

Оська насмешливо поклевал носом.

– Богат Ипат, да сапоги без пят…

Наталья внесла самовар, и Крапива опять стал разглядывать её, как бы удивляясь, что в диком лесу есть такие красивые бабы.

Она казалась девушкой. Тонкая, с маленькими руками и завитками русых волос на лбу. Яркий рот, тёмные брови и смеющийся взгляд будто спрашивали: «Хороша я?»

Наталья быстро носилась между людьми, и они смотрели на неё почтительно и ласково. Оська, прищурив глаза, курил, меланхолически пуская дым, и следил за женой. Ради красивой жены и граммофона проезжие подолгу кормили лошадей и хорошо платили за постой. Оська за чаем хвастал Крапиве:

– Нынче всё больше народ у меня пристаёт. У другого сторожа, у Кузьмы, мало кто бывает. Ведь нашему брату, мороженому, угодить надо.

Крапива слегка дёрнул за передник проходившую мимо Наталью.

– Ты, касатка, глотни с нами чаю, прикрась стол-то.

– Вот управлюсь и сяду.

В другой половине шли меновые сделки, менялись главным образом лошадьми.

Задорно кричали, торгуясь и доказывая один другому достоинство своих кляч.

– Мена хорошо, а не менять – лучше, – говорил мужик с востреньким носиком, видимо опытный в этих делах.

– Я доменялся до того, что теперь на чужой лошади езжу, крестами торгую – не надо ли крестов кому? По фунту хлеба – крест. – Мужик высыпал на стол груду медных крестов: – Берите по крестику на счастье.

Люди смеялись, крестов не брали, только мужичонко с сухоньким, морщинистым лицом, одёргивая рваный офицерский френчик, подошёл к столу и поддержал торговца.

– Внуку подарок принесу, будто на ярманке купил, – пояснил он, рассматривая крестик.

Оська завёл граммофон и топтался около него.

– «Ухаря», «Ухаря» Егору Павлычу сыграть!

– Ты, Ухарь, – обратился Крапива к Оське, – жене-то подарок к празднику купил бы, у меня товар хороший есть.

Оська покосился на жену.

– Вот купим как-нибудь штофный сарафан.

Наталья засмеялась.

– Нам хоть бы с батюшком один на двоих.

– Батюшке-то твоему зачем? – удивился Крапива.

Оська с усмешкой махнул рукой.

– Старик, тесть-то мой, ризу себе смекает.

– Ризу? – удивился Крапива, но расспросить не успел: заиграл граммофон. Проезжие столпились в дверях и поочерёдно подходили потрогать берёстовую трубу.

II

Ночь. Опять плывут возки и дремлют люди. Мороз-кряхтун, весь в серебре, гнусавит на ухо из старой песни:

Нет ни молодца, ни красавицы,
Чтоб меня они не боялися.

– А важная у Оськи баба, щекотнуть бы её, серебром подарить, жемчугом.

– Да, да, – Крапива плотнее закрывается тулупом: дремлется.

– Кхе-хе, – кряхтит морозище, лисой чернобурой идёт, росомахой скачет, запах звериный кадит в ноздри, – кхе-хе, опять житьё тебе, как лесу столетнему, тут твоё счастье, купец, а ты не ведашь, не ведашь. Оська што? Оська зябун, где ему такой бабой владеть.

Я хожу-похожу,
В терему посижу,
Подойду к окну,
Серебром тряхну.

Кхе-хе, дома-то у тебя всё ладно, только скушно.

Пожить бы инако, барыши считать да с красавицей обниматься. Повыкопай золото из подвала, опять тебе будет почёт и уважение, прежняя стезя подходит...

Крапива поднял голову и шумно зевнул.

– Чушь какая-то, фу-ты!

Лес редеет. Слышится собачий лай. На возах люди шевелятся и закуривают. Огни деревни манят дорожных. Думается о самоваре, язевых рыбниках и самогонке. Вот и деревня над озером. Возы рассыпались по избам, встревожив стаи собак, сухих и голодных.

Крапива остановил лошадь у большой избы, где он был всегда своим человеком. Хозяин Прохор, подвижный, с весёлым курносым лицом обрадовался гостю:

– Присадил, Христос тя носи, всё утро вспоминаю: вить сегодня Никола.

– Вижу, что праздник, рубаху-то какую напялил, ещё у меня поди кумач брал.

– У тебя, у тебя, – усмехнулся Прохор, зажёг лучину и вдруг свирепо зарычал: – Эй вы, девки! Где вы, окаянные? Распрягите лошадь и всё прочее!

Баба ещё стряпала. В избе было дымно и темно. Пахло прокисшей рыбой и овчинами. Пока грелся самовар, Прохор жаловался.

– Житьё, одним словом, умирать не надо – смерть сама придёт. Первое дело – хлеб на исходе, достатки малые, весь год колотишься, штоб свой шкилет волочить.

Прежде Крапива сказал бы: «Рече, Прохор, Бога гневить, не всё плохо», а теперь он говорит:

– Раньше худо жили, захотели лучше, ну и получай!

Прохор махнул рукой.

– Што, брат, говорить, что прежде? Теперь-то надо устройство сделать.

Крапива ещё поворчал и спросил:

– Как насчёт пушнины, Прохор?

– Есть кое у кого. Вчера шныряли тут скупщики, не знаю, купили ли?

Крапива встрепенулся.

– Эх, чёрт возьми! Было бы за чем погоняться, купить – не купить, а цену нанести, пускай другой после Крапивы купит. А то скуплю всё и передержу, потом своё возьму.

Фуркал на столе самовар и блестел при свете яркой лучины. На Прохоре празднично горела кумачовая рубаха, и по курносому лицу плыла одобрительная усмешка.

– Ты, Егор Павлыч, всё такой же размашистый, дородно, брат, мы таких любим.

За окном светлело. Прохор усаживал Крапиву за стол.

– Надо торопиться. Вместе и поедем.

Знакомые деревни. Озёрная гладь с вехами, шуршащие праздничные сани и кое-где пьяные окрики напоминали прошлое. Крапива задумчиво оглядывал избы, где, бывало, он ел рыбники, пил водку и задорно бил по рукам.

– Што загляделся, Егор Павлыч? – окрикнул его молодой парень. – Поди обедать!

Крапива встрепенулся.

– Митька! К тебе и еду. Погреешь с мороза?

– Ну ещё бы, давно жду тебя, – суетился Митька, радостно улыбаясь. От него шёл пар тёплой избы и самогонки.

– Погоди, – остановился Крапива, – где тут с пушниной люди с сузёма?

– Они, кажись, у Кузьки...

– Ладно, заведи воз во двор. А я схожу на разведку.

Кузькина изба полна народа, пахло потом, полушубками и печёной рыбой. На столе – куницы, росомахи и белки. За столом владельцы пушнины. Трое скупщиков перебирали пушнину и торговались. Бородач охотник говорил:

– Меньше-то уж негожо, хлебца нам надо, сколько следует, мы и то наголодались в эти годы, по девять возов березняку съедали.

Один из скупщиков фистулил:

– Мы тут ни при чём, друзья, а говорите дело, надо сбавить... за такую цену немыслимо покупать, торгуйтесь вы, – обращался он к остальным скупщикам.

– Да что торговаться? Придётся уйти, не купить, – говорили те, – ну, окончательно сколько?

– Как Иван Петрович, – сказал один из охотников, – его охоты больше, буде и спустит што, так мы все согласны.

Охотники вытирали руками пот и переглядывались. Иван Петрович помялся, посмотрел на товарищей и махнул рукой.

– Сорок пудов ржи и обирайте.

– Получай сорок один! Моя купля! – закричал из-за толпы Крапива и полез к столу.

– На-ко, Егор Павлыч! Вон как он! У-хо брат! – послышалось кругом.

Тулуп остался в руках толпы, а сам Крапива, широкий, как стог, с вылупленными глазами на буром лице, чуть не опрокинул стол, расталкивая озадаченных скупщиков.

– Откуда тебя водяная мать принесла? – накинулся на Крапиву рыжий скупщик.

Крапива смеялся.

– Не водяная мать, а Никола-угодник приволок. Эх, хоть тряхнуть!

Он любовался куницами и тряс их.

– Твои, твои!

– Ну, баста! – проговорил Крапива, – только хлеб получите у меня на дому, за подводы накину товаром. Рябов, белку сдавайте на что угодно.

– Ладно, ладно, – кивали озеряки.

Три скупщика с завистью смотрели на Крапиву.

III

– Молодец, люблю за ухватку! – кричал Митька, когда вошёл к нему в избу Крапива с покупкой.

Хмельные гости шумели, как мухи в мухоловке.

– Эх, старинный друг, давно не бывал, заживи-ка с нами по-старому.

– Время прикрепило к дому, всё ваша власть поштенная…

Крапива захмелел с первого стакана, обнимал озеряков…

– Я вас угощу своей самогонкой, честь сделаю, – кричал он, поднимая бочонок с самогонкой, принесённый с его воза, – только с уговором – всем к бочонку приложиться с крестом, благословлясь пить.

– Вишь ты, – гоготали озеряки, – неспроста, а зайди с хвоста, вот камедь-то.

Все по-очереди подходили к Крапиве, и бороды льнули к бочонку.

– Теперь пойте: «Новая озерская явленная, помилуй нас».

Озеряки вереницей стали кружиться по избе, выводя пьяными голосами «Новую озерскую».

Потом пили, а Крапива гудел:

– Пей приятство, а когда архандел полетит с трубой, встанем с этим жбаном и скажем: нам на земле этот жбан одна утеха только и была. Там попробуют и скажут: «Фу, какую дрянь пили, бедные, подите в Царство Небесное». Ну, кто хочет Царства Небесного, пейте.

Перепились озеряки, пьян и Крапива, весел и сидит атаманом. Кажется ему, что живёт по-прежнему, только нет возов рябчиков и пушнины, а надо, надо, чтобы они были. И он, пьяный, поехал по деревням скупать промысел.

IV

На Михалеве всё так же людно. Веселит людей Оськин граммофон, и люди дивятся, что Оська такой хитрый – берёстовую трубу приделал.

Крапива встретил Оськину жену на крыльце, она шла за водой с двумя вёдрами.

– Эх, Натальюшка свет Андреевна! – воскликнул Крапива, растопырив руки, – баская же баба, бог тя люби, да и я не прочь полюбить на старости лет.

Наталья засмеялась:

– Ишь, ты какой… У меня Осип есть. – Она опасливо посторонилась от Крапивиных лап.

– Ну, што там Осип, – усмехнулся Крапива, хитро скосив голову, – с него и граммофона хватит, а ты бы мне в самый раз.

На крыльцо высунулся большеносый парень и нагло взглянул на Крапиву.

– Што, клюёт, отец?

Крапива огрызнулся:

– Нам, рыбакам, да вам, дуракам, не ловить, а носом камень долбить.

Парень, провожал взглядом широкую спину купца, ворчал:

– Ишь ты какой, лешой.

Оська стоял в дверях другой половины, курил большую трубку и говорил:

– Хорошо жить было в городе, музыки наслушаешься вдоволь, круглые сутки слушай. Были, знаешь, люди, которые с музыкой родились, и с музыкой их хоронили.

– Буржуазия, господа, это, – заметил один из собеседников, – а мы так с материнщиной родимся, с матюком и умрём, вот вишь, – указал он на дверь, за которой не умолкало: мать, мать, мать.

– Как же не ругаться-то нашему брату, когда мы ещё человеки дикие, яко звери, – оправдывал ругань старик в сером кафтанчике, плешивый бородач с шельмовато-ласковыми глазками.

– Да у собаки свой язык, а у нас свой.

Оська провёл Крапиву в чистую половину. Туда тихонько вошёл и старик в сером кафтанчике.

– Ты откуда, поштенный? – спросил Крапива.

– С Янгор я, тестем буду Осипу, так в гости зашёл.

– Вот как, – Крапива внимательно оглянул старика, – Андреем звать?

– Да, Колюхой прозываюсь.

– А я Крапивой.

– Ишь ты, – засмеялся Колюха, – верно, ожгёшь другой раз человека-то?

– Всяко бывает, а ты чем живёшь?

Оська кивнул на тестя.

– Он ведь из духовного звания, попом заделался старина.

– Попом? – удивился Крапива. – Где же твой приход?

– Приход? Хе-хе-хе… Приход большой, церкви нет, только кадило и крест деревянный имею.

– Какой же ты поп без церкви?

– Сузёмный, родной, никому не подвластен, а людям помогаю.

– Как же это?

– А так… Время теперь конобойное, чижолое, народишко бедный, денег ни у кого ни гроша, а они требуются другой раз. К примеру, родился у мужика ребёнок, надо крестить и выписку в Совете брать да деньги платить, а где деньги? Выискивай, а я, значит, тут и являюсь на выручку, без всякой выписки окрещу, благословясь. С меня што взять? Я поп слободной, яко ветер.

Крапива засмеялся:

– Ловко, а што берёшь?

– За большим не гонюсь…

Колюха подумал и с сожалением добавил:

– Вот ризы у меня порядочной нет, надо бы штофный сарафан где-нибудь купить для ризы-то.

– Ты все требы исполняешь?

– Всё делаю, вот думаю у Осипа граммофон атаковать да кружков молитвенных достать, молебны да службу на граммофоне закатывать, баско бы было! – Колюха с умилением качнул головой. Оська сочувственно ухмыльнулся.

Крапива шумно вздохнул:

– Шельма же ты, старина!

Колюха засмеялся.

– Я таких люблю, – ухмыльнулся Крапива, – садись чай пить, да когда-нибудь приходи ко мне в гости.

За чаем Наталья гадала на картах, а Крапива петухом сидел около неё.

– Ах, красота, проси чего хочешь, ничего не пожалею… – пользуясь минутным отсутствием Оськи, он поглаживал Наталью по спине. – Сарафан, штофный сарафан тебе подарю с золотой бахромой…

Колюха привскочил на стуле.

– Вот, вот, Егор Павлыч, подари-ко, сделай милость, а дочка мне на ризу отдаст.

– Ну уж нет, батюшка, не дам!

Оська в дверях смеялся:

– Ишь ты, отец, какой! Граммофон отдай, сарафан отдай. Ты нас совсем разоришь.

Потом Крапива поймал Наталью в сенях и, обнимая, шептал:

– Поди ко мне, женой будешь, всё добро твоё будет, помни.

V

Лихорадочная жизнь началась у Крапивы. Каждый новый день приносил заманчивые торговые комбинации, и он весь отдался им, как бы навёрстывая потерянные два-три года унылой жизни. Рождённый для торговли, Крапива без устали разъезжал, скупая пушнину, внося везде шумное маклачество, горячий задор и бесшабашное бахвальство. Долго пугал он своим торговым азартом больную жену и сестру – старую деву. Между делом Крапива всё присматривался к жене – больной и бесполезной в доме. Однажды он сказал ей:

– Тебе, Марья, теперь лечиться надо получше. Поезжай-ка к батьке, там фершал рядом, ходить чаще будет.

– Не хочется мне с дому уезжать, – отказывалась жена, оглядывая хитро-озабоченное лицо мужа.

– Для твоей и моей пользы надо ехать, – решительно заявил Крапива и подумал: «Умрёшь, так ближе на погост тащить, а пока мешать не будешь».

В тот же день он отвёз жену к тестю, вечером напился допьяна и поехал на Михалёво с криком и гиканьем:

– Ух, жизнь, вернись! Крапива жить хочет!

На третьей версте вывалился из саней и упустил лошадь. Так поездка на Михалёво и не удалась.

Спустя несколько дней Крапива сидел у окна и сортировал белку. Под окнами прошёл мужик и остановился у крыльца.

– Оська! – воскликнул Крапива, и ему представились и граммофон, и Наталья, и штофный сарафан.

Оська вошёл в избу, помотал перед носом озябшей рукой и крякнул:

– Здорово живёшь, Егор Павлыч!

– Живём, хлеб жуём, а хлеба не будет, так белку жрать будем.

– Мани-и, – ухмыльнулся Оська, – деревню прокормишь.

Крапива закрутился по избе, что-то обдумывая.

– Надо тебя чаем напоить, парень ты гожой, да с чем, не лисицу ли поймал?

– Что лисица, куницу-таки дошёл, на-тко, – Оська тряхнул шкурой лесной красавицы.

Крапива стал торговаться, весело блестя раскосыми глазами.

– Не проси дорого, самогонкой первейшей угощу.

Торговались недолго, потом появились чай и жгучая самогонка. Оська пил, покряхтывая и краснея всё больше.

– Архирей проехал, ух-х, – закатывались у Оськи глаза, и лицо с птичьим носом жмурилось от жгучего ощущения.

Крапива снова наливал. У Оськи поплыло всё перед глазами, и, засмеявшись, он стал кричать:

– Душа ты, медвежье ухо, доброхот! Оську так принимаешь, прямо сердце ожёг!

– Ну-ну, чудило, на то я и Крапива, штоб ожечь, а ты пей, и я выпью, веселей чертям обедню служить.

Они пили и калякали. Крапива крутил головой.

– Чудак, идёт ко мне один, ты бы граммофон и бабу тащил, вот тогда мы бы зажили здесь чертовски знатно.

– А тебе на што баба-то? – сунулся Оська носом к Крапиве и повёл широко рукой. – У меня баба-жена – губерния, одним словом. Поедем ко мне?

Мутно стало в Оськиной голове, он топтался, вертел цигарку и смеялся всякому слову Крапивы.

– Чего ехать, мы напишем и коней пошлём, граммофон сюда привезут.

Забавно это казалось Оське, и писали они что-то, и спорили, потом снова пили и пели: «Сяду я на лавочку да брусовую, новую…»

Пара коней понесла Крапиву на Михалёво. Пьяный Оська спал в санях.

– Вали-и! Огонь кони! Жарь, Микола! – кричал Крапива рыжебородому ямщику. Он не мог спокойно сидеть, ворочался, вставал в санях, подставляя ветру бороду.

– Крапива едет!

Мужики на деревнях ворчали, усмехаясь:

– Ошалел, матёрой чёрт, куда его понесла неприятная сила?

На Михалёве у сторожа Кузьмы – огонёк. К нему внесли спящего Оську.

– Пускай у тебя проспится, – пояснил Крапива, – жену его пугать не стоит, нако, Кузьма, выпей. – Крапива налил из бутылки в кружку самогонки.

В Оськином жилье было мало проезжих. Наталья сидела и что-то шила, а Колюха читал Священное. При входе Крапивы старик встрепенулся.

– На-тко, кого пресвятая принесла, сичас думалось, с кем бы чаю попить.

– Ну здорово, – громко сказал Крапива, – любишь ты шуметь, всё, поди, о ризе думаешь? – Он подал Колюхе записку. – Читай, дочери письмо от Осипа, он у меня ночует.

Старик, наклонившись плешью к огню, читал: «Наталья, приезжай с Егором Павлычем сюда. Я у него в доме куницу продал, надо кое-что купить, и ещё возьмёшь здесь штофный сарафан. Твой Осип».

– Я заехал сюда из Шеины, – врал Крапива, – по-приятельски ко мне, Андреевна, поедем.

Колюха подумал и сказал:

– Что ж, езжай, дочка.

– Я никуда не бывала далеко, – улыбнулась Наталья, – и так мне не хочется ехать. – Она задумалась.

– За два часа доедем, с ветром полетим. Осип-то ждёт ведь, – наседал Крапива.

Колюха кивнул дочери головой, и она решительно встала из-за стола.

– Сейчас оденусь.

– Давай! Я иду к коням, надо ямщика погреть, – заторопился Крапива и выскочил из комнаты.

Колюха тихо говорил дочери:

– В случае чего – ты не бойся. Похитрее, знаешь? А сарафан-то выуди.

Оська проспался. Вспомнил продажу куницы, выпивку, но как оказался у Кузьмы – не мог вспомнить.

– Крапива привёз.

– Как же так? – Оська потёр лоб и побрёл домой.

Колюха топил печь, ставил горшки и удивлённо взглянул на зятя.

– Вы што, уж приехали?

– Да, приехали, – мрачно проговорил Оська, – а где Наталья?

– На-кось, кому лучше знать, вечор к тебе поехала с Крапивой. Записку писал?

Оська растерянно мигал глазами.

– Вот тя, лешой! Ничего не пойму.

Колюха с ухватом в руках засуетился.

– Оно што тут? Ты, брат, тово, подь-ко, погляди свою записку-то.

Оська припоминал – верно, писали что-то – прочёл записку и задумался.

– Я ведь у Кузьмы спал, Крапива меня привёз.

Вдруг обоим стало всё ясно. Колюха побурел и наклонил голову. Оська сел, но тотчас вскочил, будто собираясь бежать, и испуганно крикнул:

– Ведь он увёз бабу-то!

– Погоди, погоди, – развёл руками Колюха, – тебе ехать надо, тут попутчик есть.

Оська стал ругаться и схватил ружьё со стены.

– Убью я его, вора, поеду сейчас...

– Ты слышь, – успокаивал Оську Колюха, – ружьё-то брось, зачем так, баба сама всё там смекнёт, а ты отправляйся за ней.

– У-у, я ему! – грозил Оська, но всё же послушался, повесил ружьё на стену.

В сущности, он был ошеломлён дерзостью Крапивы, и если бы это касалось не его, то он был бы в восторге от ловкой крапивинской ухватки. «Ах, чёрт, ах, дьявол!» – бормотал он, одеваясь.

С попутчиком Оська отправился выручать свою жену. Мужик, который его вёз, знал, зачем сторож едет, и рассуждал из сочувствия к седоку.

– Вот у нас на днях тоже ушла баба от мужа к другому мужику и почто бы, муж как ягода, а не нравится, вишь, поди вот с этими бабами...

– У меня ведь, братаха, не так, – ворчал Оська, – у меня хитростью взяли; оно, конечно, на баб положиться нельзя плотно, пол слабый, ещё в городе я насмотрелся на них. Вот теперь, скажем, я приеду к Крапиве, тому уж сутки, как моя баба у него в руках, а за сутки ведь много чего можно обделать, ой ты-ы... – Оська даже поёжился.

– Ну, Бог милостив, – утешил Оську мужик.

– Что Бог, тут не Бог, а всё куницы да сарафаны. Задумали дочка да батька сарафан штофный алый завести, ну и пошло сарафанить.

– М-да, – согласился мужик.

Ехали они тихо. У мужика был воз сырых кож. Наконец Оська добрался до дома Крапивы. Всё тут, казалось, было такое же, как и сутки назад: слегка обледенелое крыльцо, дверь в сени приветливо открыта, где-то слышался голос хозяина, голос громкий, густой, как всегда. «Ишь, что труба трубит, буржуй, – подумал Оська, – они всем сильны, ладно ужо...» Он вошёл в избу и остановился у порога, как ослеплённый. Наталья примеривала штофный алый сарафан, сарафан горел, как заря, и поблёскивал золотой бахромой. Крапива держал у себя на груди большое зеркало и кричал Наталье:

– Как раз по тебе, будто влили тебя в этот сарафан, ловчей не надо.

Наталья повернулась ещё раз перед зеркалом и, увидав мужа, вскрикнула: «Ой!», уставилась на него и неожиданно для себя, ни к чему сказала:

– Ты пришёл?

Оська криво ухмыльнулся.

– Что ж, не надо, что ли, приходить-то мне?

А Крапива как ни в чём не бывало.

– Нет, нет, ладно, парень, – закричал он, – чай будем пить, видишь, самовар на столе.

Оська двинулся к Крапиве и сжал кулак.

– Ты что ж, обманом чужих баб увозишь, где это видано в Советской стране, мы знаем порядки, я управу на тебя найду.

– Чудак, да ты с кем это вздумал, – распялил возмущённо лапы Крапива, – законы-то я не хуже тебя знаю. Прежде баба была твоя собственность как бы, а теперь воля всем, на то революция была; хочет баба у тебя жить – живёт, а поехала ко мне, я не гоню, пусть забавляется, места у меня хватит.

Оська, обезоруженный этими доводами, растерянно мигал глазами и вдруг с каким-то бессильным отчаянием кинулся на Крапиву.

– Загрызу идола, у-у!

Крапива легонько обнял Оську и усадил на лавку.

– Что ты, что ты, Христос с тобой, век приятелями были и будем.

Оська вывернулся из его рук и слезливо взглянул на жену.

– Ты идёшь домой, Наталья?

Наталья молча торопливо стала надевать шубу. Сторож обрадовался и, вызывающе топчась перед Крапивой, помахивал кулаком.

– Тебе, естребу, ужо обрежут крылья, погоди, перестанешь форсить.

Крапива милостиво улыбался и разводил руками.

– И чего ты на меня разошёлся, я век шутя живу и тебе желаю, брось сердиться, налью самогонки.

– К чёрту! – взвизгнул Оська и пошёл из избы.

Крапива провожал гостей и на крыльце, оглянув Наталью, сказал любовно:

– Х-хорош сарафан! А знаешь ли, – резво добавил он, – у меня ещё серьги есть, славные серьги!

Наталья покраснела и опустила глаза.

– Носи-ка сам, – свирепо оглянулся Оська, – мало ли у тебя чего есть, чёрт краснорожий!

Он надвинул на уши шапку и зашагал рядом с женой. Шли рядом, молчали. Наконец Оське надоело молчать, он оглянулся и деловито заметил:

– Вёрст через пяток в Пугачихе у Ивана Семёновича переночуем.

Затем он покосился на подол сарафана жены и вздохнул. Как этот сарафан был добыт Натальей, Оська боялся спросить. «А серьги-то уж нет, шалишь...» – думал он сердито.

Постройка*

I

Богатый лесопромышленник Граев строил новый дом. Граев мог бы построить каменный дом, но каменных домов он не любил и предпочитал камню смолистую,

* Печатается по: *Черноков М. В.* Простор. С. 119–136.

устоявшуюся сосну и лиственницу. И притом ещё прельстил его на деревянную постройку старик Шпаньков, известный строитель, он умел строить дома затейливой формы – с колонками, с башенками. Работу Шпаньков начал, когда кончали посев яровых и ещё с полей несло дымком догорающего, сухого навоза. Были созваны лучшие плотники, испытанные Шпаньковым. И вот издалека в солнечные дни видно, как светлыми крыльями взмахиваются топоры и ворохом из углов летят на гостей-мужиков жёлтые пахучие пряники. Кругом струится табачный дым, гудит бесконечное балагурство, смех и шуточные песни. Никто не может равнодушно пройти мимо постройки, а иные стоят потешаются с утра до ночи. И к тому же весна идёт в красу, в сияние, которое отражается в нежно-голубой реке и в полях, заплёснутых рябью воздуха, и ещё там, где прямо лесом легла, трубой светлой, дорога.

С начала постройки заметно оживлённее стал старый граевский дом, стоявший на краю деревни. Дом был скрыт наполовину садом, и издали видны были лишь белые балкончики. Граевские работницы раза три в день грели плотникам самовары, и, когда плотники толпой вваливались в большую кухню, занеся с собой запах смолистых брёвен, работницы шныряли взад-вперёд и поталкивали плотников.

– Питухи пришли, питухи!

«Питухи» щипали девок и в один голос с ними визжали:

– Ай, штоб тя кружило!

Днём работницы часто прибегали к постройке за щепой и стыдились, если плотники запевали явно для них:

У Марфушки в одном месте
У-х-х, зарыто рублей двести...
Э-ох, дубинушка, ухнем...

Ты, Олёна, будь спокойна –
Ублажу тебя сегодня...

Песни пелись легко, просто, как шутка. Всякий прохожий или проезжий был для плотников дядя, тётка, сватья, и они могли услышать только что сложенную для них песенку. Скорее и метче всех умел придумать песни белокурый плотник Артемий Никонов. Это он называл «подвеселить честный люд». Но не всем было весело: иные дяди, тётки спешили пройти мимо, заслышав песню.

Особенные песни пелись для Граева, когда он приезжал на тройке со своих работ.

– О, сам едет, встречай, ребята!..

Граев выскакивал из тарантаса, трогал своей большой рукой козырёк фуражки, надувался и кричал:

– Здорово, шуты-ы!

К нему суетливо подходил Шпаньков, маленький русый старик, и вёл Граева кругом постройки. А плотники пели:

Что ж, хозяин, нас морочишь,
Топоров точить не хочешь.
Сколь топорики тупые,
Столь хозяева скупые.

Угол вырубим с кривинкой,
Не поправишь тут дубинкой…

– На водку просят, – усмехнулся Шпаньков.

– Часто, брат, кадишь, святых опалишь, – ворчал Граев.

Но, заметив вышедшую из старого дома красавицу Липку, давал на четвертную плотникам и шёл Липке навстречу. Плотники смотрели на девку. Она недавно появилась в граевском доме. На деревне говорили, что лесопромышленник собирался Липку выдать замуж за сына своего приятеля, потом влюбился в неё сам, баловал, наряжал и отдал под её начало весь дом. Жене Граева Липка приходилась племянницей.

– Никонов, спой что-нибудь про Липку, – просили плотники.

Никонов молчал и один лишь раз запел, когда Липка проходила мимо постройки:

Ты, лазоревый цветочек,
Поцелуй меня разочек.

Липка взглянула на Артемия и отвернулась.

Он усмехнулся:

– Ишь, ты какая… – и в раздумье глядел Липке вслед, на её белые босые ноги, на ладную фигуру в ситцевом платье. Вдруг Липка остановилась. Никонов спрыгнул со стены на землю и направился к девке.

– Послушай… – сказала она, пятясь от плотника, – как тебя звать? – И плутовато щурилась, будто манила его за собой.

Никонов, не отвечая Липке, пытался её поймать, но она ускользнула из его рук и погрозила пальцем.

– Смотри ожгу!

– Не пугай, всё равно моя будешь… – засмеялся Никонов и пошёл обратно.

– Как, парень, клюёт? – насмешливо спросил показавшийся из-за амбара Граев. Он шёл откуда-то в длинной сатиновой рубахе без пояса, подпираясь чёрной тростью, и левой рукой щипал свою бороду. Зорко оглянув Никонова, собравшегося лезть на стену, он ткнул его тростью.

– Ты в зятья, что ли, ко мне метишь?

Никонов влез на стену и крикнул:

– Много ли приданого с невестой?

Граев захохотал и отошёл к разваленной куче брёвен, где стоял Шпаньков.

– Э, ты, жених! – крикнул Граев и поманил пальцем Никонова.

Тот спустился с топором в руке по двум длинным плахам с поперечными планками, по которым плотники ходили с земли на стену и обратно, как по лестнице.

– Я хочу посмотреть, стоишь ли ты невесты, задачу тебе решить дам… – сказал Граев.

Плотники перестали работать, кто сидел на стене, кто сходил вниз, и у всех лёгкая усмешка и любопытство: как это Никонов посмел затронуть Липку, теперь Граев не простит ему.

– Ты вот что, как тебя… Никонов, – продолжал Граев, пиная ногой бревно, – снеси один на стену эту деревину, снесёшь – отдам за тебя Липку.

Плотники засмеялись.

– Вот так задачка, чёрту впору.

Никонов покраснел и, насупясь, бросил косой взгляд на бревно, потом по лицу его прошла взволнованная улыбка.

– Ты бы ему, Илья Кузьмич, полегче бревно дал, – вмешался Шпаньков, – это бревно впору только Глыбину.

Силач Глыбин, плечистый, краснорожий мужик, сидевший на стене, почесался и уверенно крикнул:

– Никонов, берись, снесёшь!

– Ну, ну… пусть, – кивнул Граев.

Никонов решительно колыхнулся, снял фуражку и широко перекрестился.

– Ладно, купец, шутки в сторону, дай дорогу!

Все увидели, что шутка переходит в любопытное спорное дело. Двое плотников помогли Никонову поднять бревно на плечо. Он обхватил бревно левой рукой и, проверяя его равновесие, переминался на месте. Его стойкие ноги чуть трепетали.

– Вот так, милашка! – насмешливо крякнул Граев.

– Ладно, погоди, он те крякнет, – сказал Глыбин, – а ты, Артемий, не горячись, справишься.

– Спра-авлюсь! – будто из-под земли сказал Никонов и ровным, медленным шагом двинулся с места.

По лицу купца прошло смятение: «Неужели выдержит? Не может быть…»

Никонов приостановился у концов плах, шумно дыхнул и каким-то рассчитанным стопудовым шагом поднялся на первую и вторую ступеньку, запорошенные мелкой щепой.

Вот и дальше, на третьей, хрустнули под ногой щепки, – осталось девять шагов до стены.

«Снесёт ведь…» – решил Граев и, краснея, затопал ногами.

– Брось, кинь, чёрт! Я пошутил! Получи на вино!

– А-а, сдался! Н-нет, постой! – дружно заволновались плотники.

Никонов всё тем же стопудовым шагом брал отлогий подъём. Граев не выдержал, бросил на землю три полтинника, которыми он думал откупиться, и торопливо ушёл.

– Стой! Стой!

Голоса плотников оборвал грохот бревна. Артемий стоял на верхней ступеньке с растопыренными руками и качался как пьяный. Он ничего не видел: глаза заливал солёный густой пот.

Наконец Никонов вытер рукавом мокрый лоб, глаза и сел.

– Ух-х, чёрт возьми! – вздохнул он, склоняя голову между колен.

– Ты что… всё ли у тебя ладно? – заботливо спросил Глыбин.

Шпаньков кряхтя поднимал с земли полтинники.

– Полтора рубля заработал, чего ещё…

Никонов вскинул голову и затем резво вскочил.

– Какие полтора рубля! Где Граев? Я выиграл!..

– Где-где, уж давно дома Граев. Говорит – пошутил.

– Врёт. Я теперь не отступлюсь от девки. Она моя!

– Как это твоя, – вмешался Шпаньков, – ведь она живой человек, не полюбит – что с неё возьмёшь?

– Не в этом дело, тут дело совести. Он похвастал, что может Липку мне отдать, вот мы посмотрим…

Он вдруг ринулся к старому дому.

Плотники видели, как в доме захлопнулась дверь. Видели остановившуюся недалеко от крыльца фигуру Никонова в запылённых сапогах и кричали ему:

– Худо встречают, брат, не готовы… Ха-ха, видно, обряжаются.

Никонов взбежал на крыльцо и ударился всем телом в дверь. В доме никто не шелохнулся.

– Ладно, купец! – крикнул Артемий. – Я тебя заставлю!

Под вечер Никонов узнал, что Граев уезжает на работы и берёт с собой Липку.

– Недалеко уедет… – погрозил Никонов и рано в этот день покинул постройку.

– Вот головушка, вот головушка! – вздыхали плотники. – Опять наживёт себе беду.

В прошлом году он чуть не попал в тюрьму за то, что помог бежать ссыльным. К Никонову явился урядник и повёл к допросу.

Толстый рыжий становой пил чай у урядника и рассказывал сидевшим за столом старшине и писарю длинные анекдоты. Никонов долго сидел на лавке и смеялся вместе с другими рассказам станового. Вдруг становой прищурился на Никонова.

– Это ты, парень, ссыльных отправил по домам?

– Нет, они сами ушли.

– Врёшь, тебя уличат.

– Некому уличить.

– Найдём.

– Вряд ли.

– Но чем ты докажешь свою непричастность, как я тебе поверю?

– Чем хочешь.

– Чем хочу... – усмехнулся становой и подмигнул уряднику и старшине, – я вот, например, хотел, чтобы ты признался, чего греха таить, свидетели есть, утром со мной поедем.

– Не поеду я.

– Поедешь, куда тебе деваться, поучим за хорошие дела.

– А ты, барин, мне поверь.

– Ладно, – становой снова весело подмигнул уряднику. – Я тебе, парень, поверю, если к утру на крыше берёза вырастет, берёза, ха-ха, понимаешь?

– Понимаю, – покорно сказал Никонов.

– Ха-ха, он понимает, ай, парень! Ну иди, а утром отправлю тебя.

Ночью Артемий принёс из лесу берёзу, разыскал на деревне пожарную лестницу. Кое-как втащил берёзу на крышу урядникова дома. Босиком он легко добрался до дымовой трубы и вставил берёзу так, как будто она прямёхонько из трубы выросла. Сошёл на землю и полюбовался, как на берёзе листья ночной ветерок перебирает. Утром жена урядника долго мучилась с печью, из печи валил дым и выжил из дома станового и хозяина.

– Осподи помилуй, Осподи помилуй; как на грех, гость... – стонала хозяйка.

Когда всё объяснилось, становой потребовал привести к нему Никонова, но его нигде не могли найти. В конце-концов отцу Артемия как-то удалось всю историю уладить.

II

Вечером после заката понеслась граевская тройка через деревню в поля, в голубую ночь, мимо окрашенных в яблочный цвет берёзовых перелесков, мимо древней, как бы льном покрытой, часовни, стоявшей у такого же льняного моста через ручей, а там скоро начался сосновый лес. В лесу что-то рубили. Вдруг на пути тройки упала густая сосна. Кучер, чёрный Филимон, остановил тройку и трусливо оглянулся. Он вспомнил, как лет тридцать назад здесь убили коновала, и, чтобы ободрить себя, ревел на лошадей:

– Стой, вы, окаянная сила-а!

Граев проворно выскочил из тарантаса (Липки с ним не было) и столкнулся с Никоновым. В это время упало на дорогу второе дерево.

«Значит, он не один», – подумал Граев, пятясь от Никонова на простор дороги.

– Ты что дуришь, парень... Смотри! – крикнул он Никонову.

Филимон возился с лошадьми, испуганными падением второго дерева.

– Стой, стой, не пяться, дело есть у меня... – сказал Никонов, – поговорим, ехать тебе некуда.

– Ты что, в самом деле... – удивился Граев. – Не понимаю...

Никонов не ответил ему, поправил за поясом топор и крикнул Филимону:

– Эй ты, чёрный! Распрягай лошадей. У нас будет долгий разговор.

Близко в кустах слышался треск и глухое ворчанье.

Граев знал, что надо от него Никонову, и, лукаво мигая глазами, придумывал, как бы ему поступить похитрее. Стоять тут на дороге и разговаривать о своей давешней ошибке стыдно, и вообще дело пахнет скандалом.

– Вот что, Никонов, – сказал он миролюбиво, – садись в тарантас и поедем ко мне. Я не хочу здесь разговаривать.

Никонов стоял, широко расставив ноги, и мрачно смотрел на Граева.

– Ладно, – наконец сказал он, – поедем!

Садясь рядом с Граевым в тарантас, Никонов приложил ко рту палец и пронзительно свистнул. Заревел Филимон, и тройка рванула по дороге.

Граевские босоногие Марфушки, Олёнки и хозяйка, завидя возвращающуюся тройку, кидались в переполохе от окон в сени и из сеней к окнам. Никогда не случалось, чтобы Илья Кузьмич возвращался с дороги. Увидели в тарантасе Никонова и решили, что Граев жениха везёт. Они знали, что произошло днём. Липка застыдилась, убежала на чердак, хозяйка ушла в свои комнаты. Но Граев приказал всем выйти принимать гостя.

Никонов прошёл за хозяином в парадные комнаты, где чинно стояла дорогая мебель в чехлах, чуть сияли в свете зари огромные зеркала без рам. Пахло кофеем и ещё чем-то городским. За окнами тихая, голубая ночь, Граев в широком пиджаке, надуваясь и дёргая бородой, вертелся среди девок и торопил. Никонов, сложив на груди руки, с любопытством смотрел, как со всех сторон носят для него на стол невиданные кушанья. Медленно провёл по лицу рукой и усмехнулся: «А-га, зашевелились!» Он стоял с вызывающим видом посреди комнаты, резко выделяясь среди пышной обстановки, и ободрял девок весёлым огоньком своих больших глаз. Но все опасливо обходили гостя. У Липки замирало сердце, когда она шла мимо Никонова, стыдилась и краснела – и оттого казалась краше, чем всегда. Она только раз украдкой взглянула гостю в лицо.

Вошла хозяйка. Жёлтое лицо её принуждённо улыбалось.

Никонов вдруг стройно вытянулся, шагнул к хозяйке и ловко поклонился.

– Почтение Марье Ивановне, как поживаете?

– Твоими молитвами, – вздохнула Марья Ивановна.

– Молюсь, молюсь! Рад стараться, прикажи молиться святой Филонии о рождении деток. О согласии в супружестве помолюсь мученикам Гурию, Симону и Авилу, об усмирении мужа – Андронику...

Хозяйка и девки засмеялись.

– А вам, писаные, – весело обернулся к девкам Артемий, – посоветую самим молиться: о любви – Агапии, об отогнании беса – Агафонику.

Граев, упирая в грудь бороду, посмотрел на ловкого гостя, окружённого смеющимися девками, и потянул его к столу.

– Выпей сперва с хозяином, чего там...

– А ведь он хороший, – егозили девки и щипали Липку, – бес какой... Ты поди за него...

Граев неодобрительно посмотрел на девок и уже сердито дёрнул к столу Никонова, который шутил с Липкой, взял её за руку. Рука её была покорна.

– Ты вот что, гость, пей! Не серди хозяина!

– Ну что ж, за лесную нашу встречу выпьем? – спросил Никонов.

Граев вспомнил, как он струсил в лесу, он вдруг обозлился – не то на Никонова, не то на себя за свою трусость – подошёл к шкапу, вынул из шкапа револьвер и показал его Никонову.

– Счастье твоё, парень, что этой игрушки у меня с собой не было...

Никонов строго взглянул на купца.

– Может, и твоё в этом счастье...

– Ладно уж... – махнул рукой Граев, – давай мировую, держи рюмку, будущий зятёк.

Девок и жену он отпустил. Никонов по-прежнему с любопытством смотрел на купеческий стол и деликатно взялся за большую зелёную рюмку.

– Я люблю угощать, – сказал Граев, – ты мой гость, и, значит, кончено... После водки полагается коньяк, ты такого коньяку никогда ещё не пил.

Он выпил сам и, чмокая губами, с хитрецой следил, как пьёт гость. Затем хвастливо крикнул:

– Вот как у нас! Вот как я тебя, змия, принимаю. Ха-ха!

– Змий принимает змия, – засмеялся Никонов, – значит, мировую пили?

– Мировую. А по совести говоря, я не думал, что ты бревно снесёшь... ей-богу.

Никонов хмелел, улыбался всё шире, веселее.

– Знаешь что... – сказал он, расправляя плечи, – я ещё не то могу, да бросим об этом говорить... Хочешь, я песню спою?

– Ну-ну, пой...

Оба они прислушались к смеху девок на кухне.

Артемий подумал, глядя в одну точку, встрепенулся и запел:

Все весенние дорожки призапутались,
Все друзья мои удалы призаплу́тались.
Крупный дождик воробьём меня клюёт,
Я иду один, один иду вперёд.
И ни зверя, и ни пули не боюсь,
Невидимкою я шапкой заслонюсь.
А когда в красу весёлый день пойдёт –
Ты встречай меня у крашеных ворот.

Пока Никонов пел, Граев сидел насупясь. Его трогала песня, но к этому примешивалось чувство досады, он слышал шорох за дверями и знал, что там Липка и девки смотрят в щёлку на гостя.

«Липка? Да не может быть, чтобы Липка от меня ушла… никак нельзя этого допустить. Нет, нет…»

Граев мрачно стукнул кулаком по столу и сказал, противореча своим думам:

– Я тебе ни в чём не перечу, от своих слов не отказываюсь, остальное сам мозгуй, только до конца постройки – молчок. До конца… понимаешь?

– Ну что ж, дело терпит, – согласился Никонов, – теперь надо невесту спросить.

– Невесту? Ладно. Я сейчас позову, где она? Липа!

Граев поспешно вышел. Липка стояла у входа в кухню. Заметив Граева, она хотела шмыгнуть в соседнюю комнату. Он её взял за локоть.

– Постой… – вернулся, чтобы закрыть дверь. – Я давеча пошутил с Никоновым, а он взял всерьёз шутку. Понятно, что это тебе не жених.

– Зачем, Илья Кузьмич, надо было шутить, – сказала Липка, глядя на свою босую ногу, которой она чертила по полу. – Теперь вот я пойду за него.

Граев сердито погрозил ей мясистым кулаком.

– Я те пойду! Разве худо живётся тебе у меня – на барском, можно сказать, фасоне, – он взглянул на беспокойную Липкину ногу, – если бы этот чёрт лесину на дорогу не спустил, я бы тебе туфли коричневые, а не то лакированные привёз из города. Привезу не только туфли, много чего. Эх, недавно ещё живёшь здесь, а я к тебе привык, жаль ведь… Ну? – он снова вздохнул и обнял Липку. – Быть бабой – последнее дело, и моего на то нет согласия.

Рука, обнимавшая Липку, дрожала…

– Что же мне, в девках сидеть?

Граев сердито отступил.

– Не держу, с богом, если так. Но мы ещё поговорим…

Купец вернулся к Никонову, молча налил две рюмки и сказал:

– Стыдится она, поговоришь завтра… Сказано – до конца постройки, и, значит, держись.

III

До конца постройки Граев рассчитывал что-нибудь придумать. Между тем каждый новый день ничего хорошего не приносил. Постройка росла, казалось, скорее, чем можно было ожидать. Шире, заливистее стали песни. Граев разлюбил эти песни – думал, что Никонов поёт их для Липки. Он замечал, как Липка, выходя из дома, отыскивает глазами Никонова, и лицо её при этом как бы цветёт. Видна была лукавая восторженность во всей её гибкой фигуре. Граев видел очертания её ног, стройного стана, круглых плеч, и лицо его становилось хищным и жестоким.

– Холера! Ведь отдал я её своими руками, ах дурак, дурак! Но погоди ещё…

Однажды девки Граева ушли ловить бреднем рыбу. Возвращались они уже ночью. Дверь должна была открывать им Липка. Одна девка зашла в сад, чтобы постучать в окно горенки, где Липка спала, и тотчас выбежала обратно из сада.

– У ней кто-то на окне сидит!

Девки припали к забору и увидели, что на окне сидит в изорванной рубашке Липка, голые ноги её тянулись к земле, но Липку держал Граев, целовал её плечи и шипел с отчаяньем:

– Липочка, дура, вернись, озолочу, ей-богу, озолочу, светик...

Девки стали шуметь. Граев услыхал шум, оставил Липку на окне и сам открыл дверь.

Утром он уехал в город и три дня там кутил. Сбрил себе бороду, подстриг усы и купил дорогую соломенную шляпу. Бритые пухлые щёки его теперь отливали белизной. Ярко горел нос, раньше он не был так заметен, когда Граев был с бородой. Через пять минут по приезде купца Никонов при накатке на стену бревна пел:

Граев в городе побрился,
В нову шляпу нарядился,
Нос малиновый под шляпой
Угодит красотке всякой...

Граев обычно не обижался на нелестные для него песенки, а на этот раз плюнул и отвернулся.

– Илья Кузьмич, кончаем сейчас, – сказал Шпаньков, – поздравить можно?

– Ну-ну, – проворчал Граев.

Тут же плотники спели Граеву хвалебную песенку, не забыли и его жены:

Как у Граева двор да на семи верстах,
На семи верстах, на восьми столбах,
Хозяин во дому как Адам в раю,
Хозяйка в терему как оладья в меду.

Илья Кузьмич сидел на обрубке дерева рядом со Шпаньковым, говорили о дальнейшей работе в доме. Дом был высокий, двухэтажный, рубленный в замок.

– Ну и лес, доложу тебе, Илья Кузьмич, – говорил Шпаньков, брёвнышко к брёвнышку, и в настоящем соку, – что надо, одним словом, любо работать. До сенокоса далеко, успеем закрыть дом, потолки, полы набрать.

Граев оглядывал дом, как оглядывают разлюбленную жену. Он казался ему уже ненужным. Если не удалась любовь, то не нужна и постройка, не нужны песни, и всё, всё...

Плотники тащили с «Дубинушкой» последнее бревно, князевое бревно. Шпаньков поспешно стал подниматься на постройку, чтобы всё досмотреть. Граев наблюдал, как бревно медленно шло вверх до стропил, потом бревно подхватили руки плотников, и оно село в гнёзда стропил на самом верху. Ещё несколько минут его вертели и двигали в сторону лицевой стены, потом на него ловко сел Шпаньков, сдёрнул с головы фуражку и перекрестился широким крестом. Снизу Шпаньков казался маленьким; плешивая голова в разорванном венце кудрей и его плот-

ная фигура полны были деловитой торжественности. Все недвижимо смотрели на него. Бывало, Шпаньков любил пройти по князевому бревну. Плотники этого ожидали, но подрядчик медленно стал спускаться вниз. На лесах он оглянулся туда, где только что сидел и крестился. Там теперь стоял Никонов. Шпаньков ничего ему не сказал, подумал, что он сделал ошибку, ему надо было пройти по князевому бревну, теперь этот парень пойдёт – и вдруг случится беда.

– Смотри, Шпаньков, замена тебе выросла, – указал один из плотников на Никонова.

Никто больше ничего не сказал, так как ничего говорить в таких случаях не полагается.

На крыльце старого дома стояли девки. Липка была тут же. Она прислонилась к косяку двери, смотрела вверх на тонкую, прямую, как свечка, фигуру Артемия и растерянно улыбалась. Ей хотелось крикнуть, остановить, но было уже поздно. Артемий пошёл по длинному князевому бревну. Липка вцепилась пальцами в косяк и стояла с белым, будто фарфоровым, лицом.

– Вот змий-то! – взволнованно вздохнула одна девка.

– Упадёт, ей-богу, упадёт! – взвизгнул Граев.

Плотники и Шпаньков сердито покосились на Граева. Он стоял с растопыренными пальцами рук, не дышал. Лицо перекосилось, дрожало, казалось, он сам сейчас рухнет на землю. Было непонятно, чего он ждёт, радости или ужаса. Каждый шаг Никонова был для Граева пыткой. Но вот Никонов гибко согнулся и цепко обхватил стыки стропил. Затем спустил ноги на плаху и жадно оглянулся.

– Ну, ну, чёрт, слезай, – одобрительно ворчали плотники.

Граев уже сидел на обрубке дерева, согнувшийся, дряблый, с красными пятнами на лице.

Никонов проворно спустился на землю и подошёл к Граеву.

– Знаешь, Илья Кузьмич, – сказал он с усмешкой и указал наверх, – пройдёшь ежели там, то что хочешь отдам.

Граев вскочил и затопал ногами.

– Уйди! – Он увидел смеющееся лицо Липки и хрипнул: – Всю душу ты из меня вытянул…

Снова сел на обрубок – и вдруг зарыдал жалобно и бестолково.

Никонов пожал плечами и отвернулся.

ПОВЕСТИ

Житие Васьки Змиева*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Так гни, чтоб гнулось,
а не так, чтоб лопнуло.

В эти осенние сумеречные дни немало было у меня знатных происшествий, и потому не грех заняться их описанием. К тому же я с тех малых лет скудоумлюсь написать славную повесть. Так написать, чтобы всё в ней было стройно, благозвучно и сердце бы всякого человека радовало. Но будет ли так на этот раз?

Начну свою повесть с трудного того дня, когда на глазах у меня пали Федя Петухов и Степан Терентьич, да и меня хватила за горло смерть, гнула к земле... и всё-таки не одолела меня.

Я когда-то читал книжку «Битва русских с кабардинцами», а у нас была нынче битва с врагами нашей революции. И какая же это была битва? Мне просто стыдно и вспоминать, как мы, партизаны, попали в ловушку. Бывало я, Васька Змиев, не раз выходил целёхоньким из-под ураганного огня немецких пушек, а здесь мне сгинуть было бы обидно.

Начинало светать, когда мы подходили к Турчанскому погосту. На маленькой колоколенке шатровой церкви звонили к заутрене. Мы знали, что вчера на погосте стояли наши, а тут вдруг нас встретил ружейный и пулемётный огонь. Отступать было некуда. Мы кинулись за церковную ограду и стали стрелять, но белые обложили нас с двух сторон, и вышло для нас дело гибельное. Я пополз между могильных холмиков. Потом вскочил и помчался вокруг церкви. Слышал сзади выстрелы. Обо что-то споткнулся и упал. Мне показалось, что я ранен, но тотчас же об этом забыл и нырнул в открытые двери церкви. Там я увидел жёлтый огонёк свечки перед иконостасом, а кругом была тишина и пустота. За стенами церкви или где-то наверху слышались крики, гомон, я пробежал к алтарю и не знал, что делать. Передо мной была дверь в алтарь, и на одну секунду я остановился, различая архангела с мечом. Я погладил архангела. Дверь открылась, и что-то тёмное упало к моим ногам. Я глядел на это тёмное, как на пугало. Наконец понял, что это ряса; она была повешена у двери. Вдруг передо мной как молния блеснули простор, свобода, жизнь. Только бы успеть, только бы счастье не выдало! Бог, боги, святые!.. Я сорвал с себя шинель, в которой ещё воевал с немцами. Моя голова и

* Печатается по: *Черноков М. В.* Житие Васьки Змиева : повесть. Л. ; М., 1931.

сердце кипели: уже было понятно, что как поп, так и богомольцы где-нибудь стоят на колокольне и смотрят на редкостное происшествие. Надо успеть уйти от них, надо сделать всё, чтобы не быть похожим на партизана. Некогда было смотреть, коротка или длинна ряса, – надел её мигом. На низком столе виднелась фиолетовая камилавка. Я её сунул себе на голову, схватил с престола большое Евангелие, серебряный крест и бросился к выходу. И уже душно, тяжело мне стало в этой церкви. Казалось, идут, спускаются с колокольни поп и богомольцы.

Теперь я знал, что мне делать. Я начинал верить в удачу и, как только вывернулся из церкви, расположил Евангелие у себя на груди, крест поднял вровень с плечом и пошёл за ограду. Напротив стояла толпа. Я слышал запах английских сигарет, видел русские лица в чужом обмундировании. Солдаты о чём-то гомонили и смотрели на меня. Я осенил их крестом и запел для бодрости «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его». Солдаты как будто с почтением смотрели на меня. Я поскорее пошёл от них вправо и жадно смерил глазами площадь. Там недалеко был амбар и спуск к реке. Мне казалось, что сзади уже кричат, гонятся за мной, и я похолодел, когда ко мне сунулся нескладный большой солдат: на ходу покрестив свой нос, он взялся обеими руками за мою руку с крестом, чмокал холодное серебро, а мне хотелось треснуть его крестом и бежать. Ещё двадцать-тридцать шагов – вот и амбар. Я спустился к реке и во весь дух рванул по берегу, – благо скрывали меня кусты и крутой высокий косогор. Неизвестно, была ли за мной погоня, только я благополучно пробрался в лес, где долго отдыхал, рассматривая Евангелие. Оно очень увесистое, всё в бархате и украшено чеканкой. Мне было приятно рассматривать Евангелие и крест, и даже рясу – они помогли спасти мне жизнь. Я торжествовал, веселился и думал, что если приду к своим в таком обряде, то будет потехи довольно.

Весёлость не покидала меня весь тот день, к тому же рассеялся утренний туман, и осенний лес озолотился солнечным лучом. Я направился в ту сторону, где не было ни белых, ни красных. Хотелось попасть в деревню Куделино, расположенную у большой просёлочной дороги. В этой деревне были знакомые мне мужики. Шёл я лесом наугад и заблудился. Наконец увидел охотничью тропку и уж в вечерних сумерках пришёл по тропе к какому-то озеру. Меня одолевали усталость и голод, но я верил в счастливый конец моего лесного путешествия и не ошибся. Я попал к кожеозерским мужикам, они ловили в озере рыбу и собирались ужинать, когда я подошёл к ним.

– Гожусь я в вашу компанию? – спросил я и положил на стол Евангелие и крест.

Мужики с испугом глядели на меня и вдруг стали креститься.

– Не наваждение ли какое?.. – осторожно сказал светлобородый мужик. – Ты, батюшко, каким путём к нам?

– В Куделино пошёл лесом и заблудился. Куда же я попал?

– Эвон куда попал, – да ведь Куделино вёрст пятнадцать от нас, мы с Кожеозера, тут близко до нашей деревни.

– А Турчанский погост далеко ли? – спросил я.

Мужики засмеялись.

– Вёрст двадцать пять… ты, значит, оттуда, турчановский поп?

– Не, я ничей, я вольный.

Мужики на несколько минут забыли про меня. Обступив стол, они рассматривали Евангелие и крест, гладили свои бороды и о чём-то шептались. Лица мужиков были важные и добрые.

– Эко ведь самоцветное явилось к нам, – сказал светлобородый.

Вдруг он засуетился, взглянув на меня.

– Пожалуй-ка, батюшко, уху есть, да и отдохнёшь, ночуешь с нами в избе.

Мы взялись за ложки. Мужики шутили между собой, вспоминая какого-то Ивана Харитоныча, который не варил и не ел никакой другой рыбы, кроме ершей. За моей спиной всё время смеялись бабы. Они сидели особо и, казалось, смеялись надо мной.

После ужина светлобородый (его звали Фролом) опять стал шептаться с мужиками, потом он отвёл меня в сторону и, прищуря свои хитрые маленькие глаза, сказал:

– Ты говоришь, что ты вольный поп, ну, пускай вольный, тут дело для нас тёмное: теперь, говорят, всем воля дана. А мы люди лесные, век вольно без начальников живём, а поп всегда. А нынь без попа остались, утонул наш отец Пётр этим летом, и теперь мы сиротствуем. Без попа что без соли.

– Найдётся для вас поп, – сказал я.

– Отчего не найдётся, – торопливо вновь заговорил Фрол, – у нас не худо жить. Отец Пётр хоть и был к нам архиереем сослан в наказанье, но наше Кожеозеро ему не легло поперёк сердца, мы ладно жили. И вот теперь я к тебе, батюшко, с душевной просьбой: сделай милость, оставайся у нас попом… не пожалеешь.

Помню, я усмехнулся и сказал:

– Нет уж, Фрол, ты поищи другого попа, я думаю в иные места идти. У вас тут война, белые были у вас?

– Были какие-то солдаты, угнали всех наших молодых мужиков окопы рыть, говорят – до зимы продержат. А ты зря уходишь от нас, у нас тихо, война-то только началась, да и не беспокоит нас – мы в глухом месте. Только старой да малой живём, ну а молодые воротятся.

– Так, а всё-таки раздумываю я у вас остаться, – сказал я, – к тому же и сан с себя хочу снять.

– Ну, это ты совсем зря, – огорчился Фрол, – этакая у тебя книга светлая, что Микола-угодник ты с ней, да и крест поштенного виду, и сам ты пригож, голос доброй, только молод ты ещё очень, да это лучше. Вот смотри, – он указал мне на краснощёкую бабу с пухленькой нижней губой, – ежели холостой, так и попадья тебе готова… Казистая, что патрет, баба, Ульяна Кузьминишна, – она всего два года за попом Петром замужем была, из нашей деревни он её взял и говорил, что нынь разрешено попам жениться. Грамоте обучил Ульяну. Она теперь вроде учительши для наших ребят.

Чтобы отделаться от увещаний Фрола, я сказал, что подумаю, – надо было смекнуть, как лучше отказаться. Фрол считал меня уже своим, и я видел, как он жадно схватил со стола Евангелие и крест и понёс их в избу.

– Не пошёл бы ночью дождик, чтоб не испортило, – пояснил он.

Потом Фрол что-то особенное говорил попадье Ульяне Кузьминичне, она махнула рукой и смеялась, как бы не веря тому, что ей говорил светлобородый.

Мы вошли в низкую избу с просторными нарами, устланными сеном. Я разделся, лёг на нары к стене и тотчас заснул. Меня разбудил дружный смех. Кто-то басом рассказывал сказку. Избу освещала воткнутая в стену лучина. Тёмные волосы, ладный изгиб спины, и я уже не мог спать: смотрел на Ульяну, прислушивался к весёлому голосу рассказчика, и всё больше и больше охватывало меня чувство теплоты и благодушия. Но тут я вспомнил то, что произошло утром, вспомнил гибель друзей своих и тихо застонал.

Когда в избе умолк разговор и все уже спали, Ульяна заглянула мне в лицо, увидела, что мои глаза полны слёз; она с добротой спросила:

– Ты что, милый?

Я припал к её горячему плечу, молчал.

Она приподнялась, потушила огонь лучины, потом погладила мои волосы и ласково и робко прошептала:

– Ты бы остался у нас, а?

Эта женская ласка обольстила меня.

– Если ты хочешь, – сказал я, прижимаясь к Ульяне, – могу и остаться, вправду могу...

И вот так мы сговорились.

Утром мы пошли в деревню. Светлобородый Фрол в белом кафтане шёл впереди, бережно держа под мышкой Евангелие и крест.

Я шёл рядом с Ульяной в кругу мужиков, как почётный пленный.

Глава вторая

Были встарь сосуды деревянные, да попы золотые,
а теперь сосуды золотые, да попы деревянные.

Я не золотой и не деревянный поп, а и сам не знаю какой, живу с Ульяной в её домишке, и с каждым днём мы один другому становимся ближе и нужнее, так что уйти сейчас жаль. А раз так, то приходится вести и поповское дело. Чтобы не показать перед мужиками своё великое невежество по церковной части, я ревностно взялся за служебник и руководство, два дня изучал их, и не напрасно. В воскресенье надо было служить обедню. Накануне Фрол объявил мне, что соберётся много народу глядеть, как я буду служить. С утра в воскресенье шёл дождь, это не помешало большому сбору моих прихожан, и мне пришлось показать себя.

Я много напутал и много пропустил из того, что следовало петь, и Фрол, который был за дьячка и за церковного старосту, что-то пел другое. Я думаю, что и он плохо знает службу. В общем, у меня был успех. У прежнего попа был, говорят, голос пискливый, и сам он был неказистого вида. А я видом дороден, и риза голубая с золотистыми цветами ладно облачала меня. Пением своим я усладил, можно сказать, кожеозерских богомольцев. Голосом я всегда выделялся. Бывало, благочинный у нас в школе часто бывал и каждый раз заставлял меня петь «Свете тихий, святые славы». По желанию благочинного я пел тогда и на клиросе вместе с нашими певчими, и благочинный то просфоры мне давал, то гривенники совал после обедни. Думал ли я тогда, что когда-нибудь придётся попом быть!

Самой торжественной минутой в первую мою службу было моё появление из алтаря с турчанским Евангелием. Вся церковь разом, как единый шумный вздох, пала на колени. Я на миг был ошеломлён и глядел на народ с гордостью. Мне казалось, что я теперь могу повелевать этим народом.

До сих пор у кожеозерских мужиков в церкви было потрёпанное Евангелие безо всякого вида и крест деревянный. Ульяна говорит, что мужики всегда сетовали на скудность своей церкви, и в престольный праздник, когда приезжали в гости турчанские мужики, кожеозерским мужикам было стыдно за своё Евангелие и крест. Ну а теперь они могут похвастаться. В дополнение к моим успехам и торжеству мужиков светлобородый Фрол пустил слух, что я поп не простой, а, несомненно, посланный в бедное Кожеозеро Миколой-угодником.

Глава третья

Каков поп, таков и приход.

Может быть, и не Фрол, а какой-нибудь другой выдумщик захотел прославить своё Кожеозеро и поволновать народ. Пошла лесными дорогами вокруг озёр от деревни к деревне молва о явленном, непростом попе. Ко мне стали ходить мужики и бабы за добрым словом, за советами; иные шли ко мне как к судье со своими спорными делами. Одно спорное дело я разрешил так ловко, что заставил возликовать все кожеозерские деревни.

Однажды я ходил в лес за груздями. Я набрал белых тяжёлых груздей почти полную корзину и долго лежал на песчаном сосновом бугре, раздумывая о славных и неславных сторонах своего жития. Временами я видел солнце, светлые берестяные облака. Видел высоко летающего ястреба. Он звонко и жалостливо пиликал. Я подумал, что паразиты, негодяи и хищники награждены природой больше, чем мы думаем. Где-то близко на рябине или берёзе у тихих омутов ручья пищали рябчики. Олений мох, на котором я лежал, был как шкура зверя, грузди пахли соками земли, нерушимо угретой благостным хозяином лесов. Так почтительно именуют старика-лешего здешние мужики.

В низине таял туман. Низина видна мне была сквозь ряды стройных елей. Там сияло солнце, и в ельнике был синий сумрак. Вдруг я увидел в ельнике мужика в коротком пестрядинном кафтане. Он, не видя меня, что-то складывал в дупло сушнины. Скоро он ушёл. Я тоже поднялся со своей постели и направился к дому. В этот день вечером пришли ко мне двое моих прихожан: один – сухой мужик в солдатской фуфайке, другой – плотный, румяный, с тёмной бородой, в коричневом пестрядинном кафтане. Я вспомнил, что этот мужик что-то прятал давеча в дупло.

– Батюшко, рассуди нас, – крикнул мужик в фуфайке, – вся надежда на тебя труды свои спасти!

– Какие труды? – спросил я.

– Такие труды, что вот он, толстой, – указал он на плотного мужика, – украл у меня две прошлогодние куницы.

– Путает он, батюшко, – резво махнул рукой толстяк, – он у меня куницу украл.

Мужики схватились ругаться и лезли один на другого с кулаками. Я встал между ними и сказал:

– Ну-ка, погодите, сейчас я вас рассужу.

– Рассуди, батюшко, – устало вздохнул сухой мужик.

– Твои куницы я знаю где, – сказал я.

Толстяк испуганно открыл рот, а другой радостно перекрестился.

– Слушаю, батюшко…

– Они недалеко, версты две отсюда, в дупло положены.

Толстяк бухнул мне в ноги.

– Каюсь, батюшко, грешен, только я их не отдам.

– Почему не отдашь?

– Очненно просто, я не украл, а так взял за его лихое дело: когда я в отлучке был, то он мою жену на мельнице на мучных мешках изнасиловал, и от этого младень родился, парень, и я его ростить должен, так неужели я не могу двух куниц за это дело взять?

– Врёт он, никакого насилования не было, – крикнул сухой мужик, – дело было полюбовное.

– Ладно, – сказал я, – и вы тоже полюбовно решите. Те две куницы, что спрятаны в дупле, разделите между собой – и делу конец.

Мужики ещё недолго поворчали друг на друга и в конце концов ушли, очень довольные моим судом.

Этот случай окончательно утвердил мою славу явленного попа: заговорили, что явился в Кожеозеро сам Микола-угодник со светлой книгой, чтобы усовестить и наладить народ. Посмотрим, что из этого выйдет. А народу идёт ко мне всё больше и больше.

Сегодня я увидел около своего домишки нескольких баб и трёх стариков. Все они с котомками за плечами, как странники. Я вышел на крыльцо и спросил строго:

– Вы ко мне пришли, труженики?

Все пришедшие маленькими шажками подвинулись к крыльцу и, захлёбываясь, твердили:

– К тебе, отец наш, к тебе! Благослови!

Я молчал, строго глядел.

– А зачем вы ко мне? У вас нужда какая есть?

Старики и бабы жалостливо покачивали головами.

– Много нужды, много, грехов много, бесталанно живём, научи нас, отец духовной!

Мне было понятно, что этому лесному люду нужна какая-нибудь книжная поучительная беседа с загадочным смыслом.

– Вот что, труженики, – сказал я голосом повелителя, – послужите правде народной, и все грехи ваши я прощу, и будет вам отрадно. Вот там в стороне идёт война, знайте, что побеждает красное войско, и потом светло, праведно будут жить люди. Теперь вы идите по деревням и говорите всем то, что от меня слышали.

– Пойдём, отец наш, благослови!

Я благословил этих простых, бесхитростных людей, и они, о чём-то гомоня, пошли довольно резво в ту сторону, куда мною было указано.

«Вот видишь, – сказал я сам себе, – ты уже стал повелевать людьми».

Кажется, только Ульяна меня считает обычным человеком, а старый народ... Ну что с этим народом поделать! Придётся отвечать за Миколу-угодника. Сегодня я с большим вниманием посмотрел на себя в зеркало, уж очень занятно и непостижимо, откуда такое ко мне почтение? Правда, вид у меня довольно примечательный: лицо длинное, белое, с маленькой бородкой, большой лоб и строгий взгляд, одним словом – не худой лик, а в ту пору, когда я учился в Каргопольском уездном училище, то не было во всём городе озорнее Васьки Змиева – сына кузнеца из деревни Большие Луга. Мне тогда ничего не стоило показать каргополам все чудеса Старого Завета, и я всегда ходил с синяками на лице. Каргополы предрекали мне жалкую жизнь и скверный конец, а тут вдруг этакое поклонение. Но велик почёт не живёт без блох, как говаривала моя бабка Данилиха. Надо по совести сказать, что не все в Кожеозере считают меня не простым – явленным попом. Хитрый светлобородый Фрол, пожалуй, себе на уме, у него какие-нибудь свои расчёты, а на меня он всегда глядит почтительно и услужливо. А вот жидконогий, худой человечек Тимоша Комар не только мне никакого почтения не оказывает, а даже наперекор всему Кожеозеру последние происшествия называет лешевщиной и затемнением. Тимоша Комар много лет служил сторожем в каком-то учёном ведомстве. В деревню он приехал года полтора назад, привёз подзорную трубу и дорогое ружьё. Ружью его мужики завидовали, а за трубу и учёность ругали. В зимние ясные ночи Тимоша смотрел в трубу на звёзды и на месяц, кожеозерцы крестились, глядя на него, и однажды, как говорила Ульяна, собирались побить, но Фрол уверил мужиков, что опасно трогать Комара, он, может быть, начальством послан в Кожеозеро по служебному делу что-нибудь на небе выискивать, и за него, Комара, ответишь во как!

– Да ведь он богохульник, – говорили мужики, – ни во что не верит и над нами смеётся.

– Это от учёности он, это вроде болезни, пройдёт, – утешал мужиков Фрол, – и, кроме того, всё же Кожеозеро одним учёным человеком обзавелось, где, к примеру, у турчанцев такие люди: у них одни пастухи да коновалы – и те худые.

Глава четвёртая

Умная ложь лучше глупой правды.

С недельку всего и живу-то я здесь, а происшествий было столько, что и не опишешь. Иное пропускаю нарочно, как маловажное. Несколько раз собирался записать свои думы, да ещё о том, до каких же пор мне проживаться в Кожеозере. Как будто бы и пора отпихнуться с поповских хлебов, совесть-то у Васьки Змиева не утеряна, но вот с Ульяной ещё жалко расстаться; живём мы с ней, можно сказать, душа в душу, как голубки, а тут ещё другая толковая статья. От прежнего попа осталось много отличных книг. Наверное, он был большой вольнодумец, и не напрасно его выслали в Кожеозеро; сюда, как говорят мужики, и ворона не залетает. Увидя книги, я целый день не отходил от них, перебирал, гладил, ласкал, как милых знакомых. Когда-то я работал у хорошего книжника, и теперь казалось, от книг пахло моей юностью, пахло простором и чем-то неувядаемым: ведь, перебирая книги, можно думать о тысяче вещей. Ульяна весело смеялась над моей радостью.

– Ну вот, сел над книгами, как петух над житом.

Но она тоже, оставив дела, встала со мной рядом на колени, помогала мне и указывала на те книги, которые читала. Мы вместе принялись рассуждать, что для начала можно читать ребятам и взрослым. Мы так долго стояли, увлёкшись разговором. Вдруг Ульяна стала грустной, я думал, что она сейчас заплачет, как тогда в лесной избе.

– Что с тобой? – спросил я.

Она вздохнула.

– Ох, Вася, Вася, чую, что скоро ты уйдёшь.

– Чего там толковать, уйду и снова приду, если не ты, то книги меня приманят, – пошутил я.

– Книги! – сердито надулась Ульяна.

Я видел, что она ревновала меня к книгам. Тогда я обнял её и поцеловал. Она повеселела, разнежилась от этой маленькой утехи. У нас с ней довольно складно на этот счёт. Чем больше её обнимаешь, тем она ласковее, утешнее, будто её, милую, прежний поп мало любовью баловал.

В то время, когда я разбирал книги, на улице послышались голоса…

– Опять к тебе судиться пришли, – сказала Ульяна.

Приходивший ко мне народ обычно долго стоял на улице. Всем хотелось, чтобы я их заметил и вышел на крыльцо или попросил бы их в дом. На этот раз у крыльца

стояло много здешних баб, мужиков и других, издалека пришедших. Среди них был учёный человек Тимоша Комар. Я его видел всего лишь раз, и то мельком. Я подозреваю, что этот Тимоша завидует моей славе и эта зависть привела его сюда. Мне в окно было хорошо видно маленькое Тимошино лицо с красным носиком. Он то и дело поправлял на голове чёрную шляпу и говорил нарочно громко, чтобы я мог слышать.

– Вы, почтеннейшая публика, пригласили попа, а разрешение властей есть? – спрашивал Тимоша. – Я думаю, что власть надо известить, послать кого-нибудь в Кошелево.

– Вы о чём, насчёт чего? – спросил торопливо подошедший к толпе Фрол.

– Да вот, – указали на Комара, – говорит, что на отца Василья разрешение надо.

Фрол, вероятно, выбежал, из-за обеденного стола, что-то ещё жевал и вытирал рукой рот.

– Насчёт отца Василья, да кто это спохватился? – закричал Фрол, наступая на Тимошу. – Я сам в Кошелево ездил, и всем там известно об отце Василье.

– Ну и хорошо, – усмехнулся Тимоша, – ведь я так... для порядка... потому что я научен. Ко мне приходили люди и разрешение на мою зрительную трубу спрашивали, имею ли я право на небо непростым глазом смотреть, а тут ведь человек явился, и без всяких видов.

Толпа вдруг зашевелилась, разом заговорила:

– Тебе-то тут какая забота, смотри себе в трубу, ишь, выискался нехристь! До того досмотрелся на месяц, что дырья скоро на месяце будут от твоей трубы, а тут лезет к мирскому делу!

– Вы, братцы, не шумите, – отмахивался Тимоша, – я всегда вам на пользу говорю. Сколько раз я с научной точки вам говорил о мироздании, о светилах небесных, всякие достоверные факты примерял насчёт вашего невежественного понимания, а также о религии и вере. Кто теперь верит так, как вы? Срам один у вас, а не вера, никакой научной точки, и поп ваш такой же...

– Мы тебе покажем точку, – зашумели кругом Тимоши.

Я поспешил выйти к народу.

– Батюшко, дозволь Комара побить! – кинулся ко мне сухой мужик в фуфайке, который был у меня недавно на суде о куницах.

– Постой, сейчас всё разберу, – сказал я и позвал всех в дом. У меня везде были разложены книги, много книг в отличных переплётах красовалось на полках. Я взял одну книгу, подал Комару и спросил:

– Читал ты это?

– Нет.

– А эту?

– Нет.

Я указал на десяток книг, и Тимоша смущённо смотрел на них и повторял, что он их не читал.

– Ну так как же ты, – рассердился я, – осуждаешь людей и хочешь, чтобы они иначе жили и верили, если ты ничего сам не знаешь?!

Комар нерешительно оправдывался.

– Я-то знаю, знаю, – и неловко перелистывал книгу Спиридовича «История революционного движения». Мужики посмеивались над ним.

– Он только хвастает учёностью.

Мне уже было жаль Комара, и я сказал:

– Всё же я тебя хочу наказать за пустословие и засажу читать книги народу, собирайтесь по вечерам и читайте, я буду помогать.

Такой выход для Комара был самый подходящий, он с готовностью согласился читать мужикам и со мной расстался приятельски.

«Вот что, Васька, – сказал я сам себе, – пожалуй, в конце концов, ты из попов перейдёшь в агитаторы».

Глава пятая

Праведный муж весь век ликует.

В Кожеозере Воздвиженье – четырнадцатого сентября – престольный праздник. Фрол говорит, что старики выбрали этот день неспроста. С Воздвиженья кожеозерцы начинали охоту на птицу и зверя. Праздник был переходным днём для мужиков от хозяйственных дел к промыслу, к жизни в лесных избах, где в долгие ночи при свете дымной лучины, под ляссканье блошливых собак под нарами пелись былины о богатырях, рассказывались весёлые бывальщины и сказки. Фрол ждёт на праздник большого сбора народа. Фрол, как всегда, степенно стоит передо мной, гладит светлую бороду и с надеждой говорит:

– Нынь, я думаю, у нас праздник знатно пройдёт, нынь мы приукрасились насчёт веры и церковного, а то у нас, бывало, неказисто выходило.

– Что неказисто? – спросил я.

– А так что… В прошлом году отец Пётр перед службой выпил и пошёл кадить. Кадил, кадил и говорит: «С Воскресением вас, братие». С каким Воскресением? – Никому неведомо. И вот отец Пётр и начал говорить. Говорит и плачет, и мы все плачем. Долго говорил, и опять всем непонятно, а слёзы текут. На этом и служба кончилась. А до отца Петра был у нас поп отец Анисим, так он заставлял к верхним иконам прикладываться. Пока иная старуха лезет по лестнице к верхней иконе, так можно половину обедни пропеть; и падали с лестницы не однажды. Неказисто выходило.

«Пожалуй, вот у меня выйдет казисто, казистее всех других», – думал я и гордо сказал:

– Фрол, мне хочется прославить Кожеозеро. Вот ты на празднике увидишь, приготовь прихожан к вниманию: мы откроем славу и истину, крестьянскую Русь пора просветить.

Фрол шумно, радостно вздохнул и поклонился мне.

– Всё сделаю, отец Василий, надежда ты наша, а народ уж любит тебя, верит, что ты неспроста к нам пришёл.

Я решил пока не открывать Фролу того, что я хочу сделать на праздник. Я хотел воспользоваться верой в моё явление от Миколы-угодника, чтобы эта вера нашла то, к чему должны мы все прийти.

Сегодняшний престольный праздник приготовил для меня шутейные и беспокойные дни. Начну всё по порядку.

С раннего утра начались в деревне суета, скрип телег и собачий лай. Это приезжали из дальних деревень гости. От избы к избе сновал маленький остроносый турчанский дьячок Лука. Он был приглашён кожеозерскими мужичками варить самогонку. Были ещё, кроме Луки, и турчанские мужики. От этих гостей мне грозила самая лихая опасность, но я заранее приготовился.

Вот отбренчал наш церковный колокол. Я не спеша пошёл в церковь, спрятав под рясу несколько видных книг. Церковь уже была полна народа. На ступеньках амвона кто-то громко говорил, а народ шумел. Я пробрался к алтарю, и только ступил на амвон, как мне навстречу вылетел из правой алтарной двери дьячок Лука. За ним выбежал, потрясая кулаком, Фрол. Кривя рот, Фрол бормотал:

– Ишь ты, гусь, ишь ты, гусь какой, хозяйничать начал!

– Православные! – завопил звонким голосом Лука. – Дайте слово сказать, правду открыть!

Я смерил дьячка глазами и сказал:

– Пусть скажет сей человек. Если он скажет неправду, то я уличу его.

Вся церковь радостно повторила:

– Пусть, пусть!

Я зашёл в алтарь, положил на стол книги и вернулся.

– Православные, – говорил Лука, – не так давно на нашем погосте было сражение, война, значит. Мы, то есть отец Иван, я да богомольцы наши заутреню служить начали, а как сражение началось, то мы побегли на колокольню. Пока мы там были, какой-то солдат забрался в нашу церковь, надел рясу отца Ивана и заместо её свою шинелишку оставил. Потом сцапал камилавку, да Евангелие, да крест и был таков. Теперь же я прослышал про вашего нового попа, каковой явился к вам с Евангелием и крестом. Так я вам скажу, православные, что Евангелие и крест эти я сейчас видел, и они из нашей церкви. Ясное дело теперь, как это случилось.

– Стой! – крикнул я. – Теперь я доскажу, как это случилось. Очень даже просто объясняется. В наказание турчанцам за их скудоверие и хвастовство были взяты мною из их церкви Евангелие и крест и перенесены в Кожеозеро. Но надо смилостивиться над турчанцами и вернуть им всё, а я вам сейчас покажу новую книгу.

Я сунулся в алтарь и вышел оттуда, держа над головой том «Живописной России», только что принесённый мною из дому. «Живописная Россия» в два раза

больше турчанского Евангелия, и красный, густо тиснённый золотом переплёт казался ярким, как заря.

– Вот она, книга! – сказал я и увидел, что народ поражён.

– Золотая книга, огненная! – катился по церкви радостный шёпот.

Я с торжеством оглянулся на дьячка, но дьячок куда-то исчез.

– Я пришёл в Кожеозеро, чтобы дать вам новую веру и посрамить худоверие, – продолжал я.

Вдруг кто-то стал неистово хлопать в ладоши. Мне бросилось в глаза безбородое лицо Тимоши Комара. Это он хлопал и кричал:

– Верно! Хвала отцу Василью! Он наш революционный поп!

Пока хлопал в ладоши и кричал Комар, около меня снова появились дьячок и ещё незнакомый человек с тёмными усами, одетый по-городскому.

– Покажи-ка, батюшко, покажи свою новую книгу, – лез ко мне усатый человек.

Я его сразу же разгадал: ловок он и хитёр, это видно было по ухватке и беличьим глазам. Но Васька Змиев будет половчее этих усатых сыщиков. Помню, я отступил, чтобы зорче видеть своего врага, может быть, не отступил, а только двинулся, оберегая «Живописную Россию», и усатый мигнуть не успел, как я его треснул по голове этой самой «Живописной Россией» и крикнул:

– Вяжи супостата! Фрол, где ты? Кушак давай!

Фрол был рядом, его двинул народ, народ гудел, рванулся к амвону. Чьи-то руки подхватили «Живописную Россию», а я мял усатого. Затем я увидел, как Фрол и три мужика крутили руки усатому. У Фрола было белое, злое лицо.

– Заприте его в амбар до утра, – сказал я, – утром отправим куда следует, и дьячка с ним вместе заприте.

Народ отхлынул от амвона. Я пошёл в алтарь и подумал: «Завтра явленному попу Ваське Змиеву надо уходить из Кожеозера, пора скинуть рясу, а то сделают из Васьки мощи».

Пришёл я домой, сел на лавку к окну, где я часто посиживал, глядя на озеро и думая о своём житии. Теперь мимо окна мелькали фигуры людей, на озере было мутно, моросил дождь, лес за озером сумеречный, осенний. Ульяна поставила на стол самовар, принесла груздей. Я взглянул не неё и сказал:

– А ведь завтра мне надо уходить.

Ульяна прильнула ко мне, на глазах слёзы, пухленькая нижняя губа жалобно дрожала.

– Как я останусь, неужто тебе… Только и порадовалась.

– Пора пришла, понимаешь. Порадовались, потешились – хватит, надо и честь знать.

Ульяна совсем разревелась.

– Ну вот, – сказал я, – купили дуду на свою беду, стали играть, а слёзы льются.

И действительно, слёз было немало Ульяной пролито. Пожалел я её, безутешную, пообещал снова явиться в Кожеозеро, только не попом, а настоящим Васькой Змиевым. Это её сразу утешило, и всё у нас снова стало складно.

Глава шестая

Всякая птица своим пером красуется.

Вот принял я ладный мирской вид, пошёл лесной дорогой к реке Онеге, и вся суета кожеозерская стала помаленьку выветриваться, мало меня жалобить, будто я побыл в некоем почётном плену, а теперь взвился, как жаворонок над весенним полем. А тут ещё услышал я добрую весть, что из Архангельска все до единого человека ушли англичане. Я знал, чему это приписать, знал, кто поторопил такой ускок домой этих всесветных хитрецов. Наши старики зовут англичан просто англичанкой, и дед мой любил потешно рассказывать об этой «англичанке»:

– Подошла она на кораблях в пятьдесят четвёртом году к Соловецкой обители, подошла и думает: «Сейчас вот я тресну из пушек и всё раскрошу и покорю». Треснула она это с большим задором, а пушки-то и лопнули. «Что за чудо? – думает англичанка. – Ведь пушки у нас первосортные, и что же, теперь придётся их обручами стянуть». Стала она обручами пушки стягивать и вдруг видит, как со всего острова соловецкие чайки поднялись, инда солнце затмилось от птичьей рати, а рёву было на сто вёрст. Налетела рать да как стала пакостить, стала пакостить! Англичанка и завертелась, куда и деваться от птицы, прямо здоху нет. Побросала англичанка обручи и давай удирать домой. Всё старанье пропало, и убытки большие. Но убытки-то она, хитрущая, покрыла тем, что птичий помёт на свои поля свезла, и урожай у ней на иной год такой был, какого никогда не было. С тех пор у ней земля наладилась и не хуже нашей земли хлеб родит.

Я вспомнил этот дедушкин рассказ, когда входил в маленькую деревню. Она называлась Задериха. Задериха – захудалого вида деревня: избы старые, окошки с выбитыми стёклами, одна изба курная. На крыше этой избы сидело с десяток ребят с самострелами. Вдруг перед моими ногами воткнулось в землю пять томаров-стрел. Я остановился, посмотрел на ребят не сердясь. До ребят я всегда добрый и всякое озорство их на шутейный лад перевожу. Ребята вырастут, выровняются и потом не хуже меня будут. И я, бывало, большие знаки отличия за баловство имел. Помню, я показывал, как пророк Илия летел к небесам на огненной колеснице, и двум мужикам при этом чуде я опалил бороды. Тогда мужики набили мне в штанишки крапивы, и, что делать, пришлось мне поёрзать по земле, как ёрзает медведь, которому выстрелят в зад дробовым заправом. А теперь… на то пример Кожеозеро, где мне был оказан почёт редкостного сорта. Посмотрел я на ребят и сказал:

– Ну-ка, ребятки, слезайте ко мне, я с вами поговорить хочу.

– Нет, не слезем, – засмеялись ребята, – ты нас прибьёшь.

– Вот дурачки, не побью я вас, вы мне только скажите, за что вы меня томарами встречаете?

– Ты, дядюшка, не бойся, – заверили меня ребята, – это мы так в войну играем.

– А если бы вы меня в голову томаром угостили?

– Нет, мы в голову не стреляем, мы по ногам больше.

Я засмеялся и пошёл дальше. Впереди была большая деревня Распутино, где у меня набралось несколько поучительных случаев. Иного человека эти случаи отяготили бы печальным раздумьем, а мой благодушный, закалённый в житейской суете нрав после этого ещё больше закалился. Началось с того, что я зашёл в одну избу попить чаю. Увидел я в избе мужика, он сидел против окна на венском стуле и точил нож, потряхивая длинной бородой. Я, как водится, поздоровался и попросил согреть самовар.

– Сейчас девка придёт, согреет, – сказал мужик, – садись.

Я сел на другой венский стул и похвалил стулья.

– Это с делёжки достались, – сказал мужик, – делили добро купца Агафонова, комитет его облегчил малость.

– Что ж, мужику всё сгодится, – одобрил я, – а хорошо разделили, без драки?

– Ну как без драки, делёжка без драки не бывает, за эти стулья мне два зуба выбили. Агафонов и драку подзадорил, хитрой чёрт! – Мужик встал и перекрестился: – Иду барашка свежить.

Он пошёл из избы и, открывая дверь, крикнул:

– Машка! Иди поставь самовар!

В избу вошла складная девка. Она шла лёгкой поступью к столу, чтобы взять самовар, смотрела на меня, а я на неё. Мы с первого взгляда остались довольны друг другом, у Машки даже в глазах и по лицу весёлые зайчики пробежали. Я люблю рассматривать всякого человека, а особливо женское дородство. В женщине много хорошего, а мы и не очень-то это хорошее ценим. У них есть доброта, весёлость и любовь к нашему брату – часто грубому и неряшливому. Когда Машка брала со стола самовар, я заметил её белые чистые руки; видно было, что она не жалела мыла, хотя его в эту пору трудно было добыть. «Хорошая девка, – подумал я, – и всё на ней впору и к лицу: юбка, кофточка, чулки домашней крашенины». Теперь у нас на Севере бабы и девки не носят рубах и сарафанов, а норовят больше фабричное, потому что дешевле.

– Знаешь что, Маша, – сказал я, – у тебя счастливое лицо, редко увидишь такое. Не хочешь ли, я тебе погадаю по руке? Дай ручку!

Девка тут моя засмеялась, на меня из-за плеча посмотрела столь лукаво и весело, что мне уже деваться было некуда от удачи. Стал я ей на руке гадать, всякую ересь смешную болтал и на спелые девкины губы прицеливался; прицелился и поцеловал. И вот в эту самую трогательную минуту входит в избу мужик, погрозил мне кулаком, запачканным в крови, и ушёл. Вскоре он вернулся с другим мужиком. «Ну, – подумал я, – сейчас они за меня возьмутся!» Второй мужик, ещё очень молодой, был в шинели, в руках винтовка.

– Вот возьми, Егорович, этого савраса, – указал на меня хозяин.

– Прекрасное дело, – сказал я. – Зачем, куда меня взять?

– Не лезь к девкам.

– Я не лез, я только гадал по руке.

– Верно, батюшка, тебе померещилось, – вступилась девка.

Мужик с винтовкой глядел на нас милостиво, большой рот его открывался всё шире и шире, на нижней губе висела мокрая цигарка, наконец он сказал:

– Хреновину ты затеял, дядя Иван.

– Каку хреновину, ежели я видел, как он Машку чмокал! Христов день, что ли, сегодня?

– Постой, – остановил хозяина Егорович, – ведь гражданка не жалуется на гражданина, и к тому же она вольна собой располагать.

– Да что там располагать, – закричал мужик, – ты у него виды спроси, он, может, разведчик какой.

У Егоровича сразу же стало лицо строгим.

– Виды какие? – спросил он у меня.

– Никаких.

– Да ты кто такой?

– Я племянник турецкому султану.

– Путай, слепых на брёвна не наводи, – подмигнул мне Егорович, – пойдём к комиссару!

Мы пошли.

Комиссариат был в доме купца Агафонова, во втором этаже.

В сенях и в комиссариате гомонили мужики – кто в шинели, кто в кафтане. Комиссар сидел за столом в углу на высоком стуле. На голове комиссара была серая папаха, на плечах шинель. Лицо рыжеусое, рябое. Он часто брался рукой за усы и сердито поглядывал то на румяного паренька в коричневой тужурке, то на револьвер, что лежал на столе.

– Ну, всё сказал? – спросил комиссар.

– Пока всё, – кивнул паренёк.

– А я тебе вот что отвечаю: передай Перепёлкину и всему вашему уездвоенкомату, что Клинов лучше их знает, что надо делать и кому подчиняться. Клинов кликнул, сказал – и добровольцы к нему ворохом полетели. Штаб фронта дал обмундировку, довольствие, штаб нам ближе уезда.

– Распоряжение уездвоенкомата номер пятьдесят четыре вами не выполнено, надо выполнить, – сказал паренёк. – У меня особые полномочия, я приказываю!

Комиссар вскочил.

– Что? Ты мне смеешь приказывать? Плевал я на твои полномочия, я тебя арестую. У нас власть на местах!

Румяный паренёк отступил от стола, побледнел и дрожащей рукой тащил из кобуры револьвер.

– Я тебе сейчас покажу!

Не знаю, что бы было дальше, если бы я не остановил паренька.

– Что ты, – говорю, – дружок, опомнись, ведь свои люди, и так ты...

– Пошёл, пошёл, сделаем. Больно ты горячий, – сказал комиссар; он уже с уважением глядел на уездного представителя.

– То-то, чёрт! – дёрнул головой паренёк и пошёл к двери.

Очередь была за мной.

– Документы есть? – спросил комиссар.

– Нет.

– Да ты кто такой?

Я сказал о себе. Комиссар усмехнулся.

– Не врёшь, так правда. Так и быть, поверю тебе.

Мы разговорились. Комиссар окончательно уверился, что я ладный человек, и предложил даже мне пообедать с добровольцами.

– Много ты навербовал? – спросил я.

– Шестьдесят молодцов отправил на фронт.

– А давно ли комиссаришь?

– Не считаю я, товарищ, дней и недель, – тряхнул головой Клинов. – Граждане мужики поставили меня комиссаром, говорят: «Сподручней тебя нет править волостью». Ну вот и правлю. Так, значит, правлю, что назад не гляжу и вперёд тоже не гляжу, мешаю в одно место небо и землю, а что выйдет – потом разберут. Эй, деловед! – крикнул Клинов.

– Иду, – отозвался из другой комнаты тонкий голос, и тотчас к нам подбежал коренастый человек в чёрном мундире и вытянулся.

– Что прикажете, товарищ комиссар?

Клинов показал на меня.

– Записку дай на обед товарищу.

– Слушаю-с!

Деловед повернулся, стукнул каблуками сапог и проворно пошёл в другую комнату; ходил он ловко, носки его сапог будто взлетали кверху, руки бережно держали листы бумаги. Круглая стриженая голова крепко сидела между полных плеч.

Пока деловед писал записку, я на него любовался. Он был менее грозен, чем комиссар. Лицо даже доброе, нос широкий, загнутый кверху, как носки сапог. Подписав записку, он мило поглядел на неё и подал мне.

– Извольте-с!

Я прочёл подпись: «Делопроизводитель Минин-Пожарский».

– У вас две фамилии, и обе исторические.

Деловед засмеялся и погладил себя по голове.

– У меня, видите ли, до военной службы была одна фамилия – Минин. А когда я служил писарем у воинского начальника, то он прозвал меня Минин-Пожарский, так и подписываться велел. С тех пор я и присоединил к Минину Пожарского. – Деловед покрутил головой. – Не знаю уж, как дальше быть: фамилия важная, только, говорят, менять надо, не по времени.

Делопроизводитель подмигнул мне как человеку, который узнал его секрет, и махнул рукой.

– Ладно уж…

Уходя из комиссариата, я вспомнил о купце Агафонове. Этот купец нередко приезжал в нашу деревню по своим делам. «Раньше он был большой хвастун и гуляка. Каков-то теперь?» – подумал я и решил купца повидать. Нашёл его в маленькой полутёмной избушке; в неё я спустился из сеней по ступенькам лестницы, как в подземелье. Прежде всего я услышал запах нюхательного табаку с примесью мяты. Агафонов сидел, согнувшись над низким тяжёлым столом. На плечи был накинут армяк, грудь голая. На стол спадал с груди большой медный крест на толстой цепочке. Борода у купца зеленоватая, лысина медяковая, длинный тонкий нос. Купец похож на икону. На столе были недопитая бутылка самогонки, хлеб и рыжики.

– Что скажешь, человек? – спросил купец; голос у него был ребячий, глаза светились, как у кошки.

– Поклон тебе зашёл передать от своего батьки Ильи Змиева. Знаешь кузнеца с Больших Лугов?

– Помню, но зачем мне кузнецы? Я и так скован, – усмехнулся Агафонов и провёл широкой ладонью по столу, – садись, выпей со мной.

– Как живёшь? – спросил я.

– Грузно живём, парень. А раз так, то разговору лёгкого да складного не жди. А всё от немцев, хвастуны они несчастные!

– Почему от немцев?

– Потому что войну начали. Разве худо им жилось? Сколько богатства, почёту было у них, и всё фукнули, будто чёрту в карты проиграли. Вот и я, как бы вроде немцев, – тоже всё проиграл. Теперь я думаю: кто же выигрывает, как не чёрт? Как поглядишь, подумаешь – и кажется, что ничего крепкого, вековечного нет. Одно рушится, другое строится, растёт. А с чем сросся, того и жаль.

– Жаль батьки, да надо на погост везти, – сказал я.

Агафонов строго на меня посмотрел и стал тыкать грязным пальцем по сторонам.

– Нет, не может быть, чтобы не было чего-то вековечного, нерушимого. Вот к этому бы, к этому бы пристать, прирасти, а оно должно быть, должно быть, – жадно шипел купец и грозил кому-то пальцем, – без этого нельзя жить. Ты вот слушай, – уже спокойнее заговорил Агафонов, – я всю жизнь с этим бился. Золочёные кресты на церковные купола ставил, сияют – дивились люди; потом люстру за тысячу рублей из Питера в церковь привёз, оклады к иконам, и мой портрет во весь рост богомаз один написал – как бы икону, и эта икона в церкви висит на видном месте в одной раме с моим ангелом Симеоном Столпником. А ведь не помогло это, надо было чёртом себя нарисовать, ха-ха, чёртом, памятнее было бы, а то теперь меня к люстре-то за ноги привесят! Да, брат, всё рушилось, чем жил.

Купец устал, он свесил над столом голову и, казалось, задремал.

Я тихонько открыл дверь.

– Эй, парень, постой! – крикнул Агафонов.

Я вернулся и сказал:

– Прощай, мне пора!

– Что же ты мне только «здорово» да «прощай» – ты мне скажи, утешь меня.

– Не умею я утешать, а только скажу тебе, что ты, я и весь народ научились, узнали за этот год больше, чем за всю жизнь, но есть и то, чего мы ещё не узнали.

Купец встал, армяк заколыхался на нём; казалось, купец дрожал.

– О-ох! – заскрипел он. – Сказал ты мне…

Я было пошёл, но мне пришлось остаться – Агафонов догнал меня, уцепился за рукав и потащил за собой.

– Нет, я тебя не отпущу, ты мне загадку задал. Я такого человека давно дожидаюсь, как ястреб, я выглядывал, доглядывал, может быть не один год, и не мог ничего доглядеть, а ты сам ко мне. Ну, значит, пойдём.

– Куда пойдём? – упирался я.

– Да ко мне пойдём. Ты думаешь, я уже совсем сдался, глупой сорокой стал? Нет, не совсем, не совсем. Зинка! Старуха! – закричал он во весь голос. – Встречай гостя!

В большой прихожей нас встретили старуха, жена Агафонова, и тонкая румяная девка.

– Обедать! – сказал купец.

– Щи на столе, проходите в столовую, – ответила старуха.

Мы принялись за обед.

Купец ел и теребил меня:

– Ты скажи, чем ты живёшь, во что веришь? Ведь человеку надо так, чтобы кругом его было всё крепкое, нерушимое.

– Видишь ли, сказал я, – нерушимое есть ведь, у меня вот не всё рушилось, даже больше того: я люблю то, что ещё не настало, что не сделано, но верю, что оно будет сделано. Вот это самое и есть, на чём мир стоит и дальше чего не ускачешь. Об этом можно тебе не один день рассказывать.

– Постой, постой, – схватил меня за руку купец, – чтобы так думать, как ты думаешь, надо большую веру иметь, силу большую. А ты скажи, как это выросло, чем воскормилось? Не благодать же тебя Божья осенила?

– Мои кормильцы, купец, такие, что иных уже могилы потеряны, а вот всё-таки я от них веру и силу взял, и её так много, что на всех людей хватило бы, да, видишь ли, многим она не годится.

Купец опять схватил меня за руку.

– Верно, не годится, не доросли. Ведь есть человеки, а есть ещё обер-человеки: это выше; так вот ты и есть обер-человек. А раз ты такой, то скажи мне, что впереди, к чему прилепиться?

– А ты что умеешь делать?

– Умею землю пахать.

– Ну так паши, расти хлеб, прилепись к земле.

Купец вдруг рассердился, плюнул.

– Плевал я! Ты знаешь, сколько я, бывало, хлеба в лесных полянах растил? Тысячи пудов!

Он куда-то побежал и скоро вернулся, неся в руках горшок. За купцом бежала жена.

– Что ты, старик, не с ума ли ты сошёл? – стала отнимать жена у купца горшок.

– Не тронь! – кричал Агафонов. – Всё прах! Я покажу...

Старики, толкая один другого, уронили горшок, он разбился, и по полу рассыпались пачки старых кредиток.

Старуха ахнула и кинулась на пол, торопилась собрать деньги в подол сарафана.

Купец указывал на деньги и скрипел:

– Вот смотри, это за хлеб всё выручено было, за лён ещё, а всё прах.

– Ой, хвастун, ох, хвастун старый! – охала старуха.

Я незаметно ушёл. «Он не хвастун, – думал я о купце, – а говорун-пустосвят».

Глава седьмая

Один в поле не воин.

Чем ближе подходил я к фронту, тем больше мне думалось о том, что за этот год пережито. А с кем я жил, многих уже нет. Вот нет и Феди, и Степана Терентьича. Надо теперь сказать, что было у нас за год.

Вспоминая все наши трудные дни, я часто задумываюсь над числом одиннадцать. Много раз это число повторялось всеми, кто следил и знал, каковы дела белых. Началось это с одиннадцатого декабря прошлого года. Тогда я работал в Соломбале, и весь Архангельск у нас был на виду. Англичан, американцев, французов и другой чужеземной силы было очень густо, больше, чем белогвардейцев. Везде было парадно, богато – одним словом, озолотили, осчастливили чужеземцы Архангельск. Белогвардейцы взялись заводить прежний фасон: топорщили хвастливо усы, нацепляли погоны, кресты на грудь и вились, как на балу, будто это уже им сразу обещало всё прежнее. Мы же, рабочий народ, глядели, что делалось, и любили перекидываться поговоркой: «Город-то наш Архангельский, а народ в нём собрался дьявольский».

Иных из нас брали в войска, была объявлена мобилизация. Белогвардейцы спешили сколотить порядочную силу, надо было похвастать, как народ на них радуется, а если и не радуются кое-где, то они «ведь не солнце – всех не угреешь», как говорил один хитрый полковник.

Вот они похвастали одиннадцатого декабря. Парад перед отправкой на фронт Архангелогородскому полку устроили, попы водой святой солдат кропили, а как только солдаты разошлись по казармам – и началась кутерьма. Будто вихрь прошёл по городу, когда услышали о бунте. Взбунтовались три роты; они неистово звали всех, кто был вблизи казарм, поддержать их: они не пойдут воевать – и только! Белые усмирили солдат бомбомётами, и вечером было расстреляно одиннадцать человек. Расстреливали их солдаты первой роты этого же Архангелогородского

полка, а сзади стояла рота английской пехоты. В городе и у нас в Соломбале вихрь не унимался, ещё мы цеплялись за вольные права революции, на собрании пели «Жертвою пали», иные звали идти к Чайковскому, почему он допустил расправу генералов с солдатами?

– Правительство одобрило расстрел, – сказал нам архангельский комиссар. Он говорил о дисциплине, о долге и борьбе с большевиками.

– Ну хорошо, – сказал я, – только если вы так будете воевать, как сегодня, то малые достанутся вам успехи. Всё равно генералы вас под порогом, как слуг, держать будут. И надо правду сказать, что потерянного рая им не вернуть.

Я довольно много говорил. Иногда на меня страсть нападает к речам, и говорю я занятно.

После меня выскочил Федя Петухов, мой приятель. Ну, он такое сказал, что старики досадливо заскрипели ему отходную. Потом Федя – это был тонкий молодой парень – взял меня за руку и заныл:

– Не могу, Змиев, больше здесь оставаться, пойдём к Советам.

Я уже тоже думал об этом, да и большевики, которых мы укрывали, посоветовали нам уйти; они дали нам компас и адреса верных людей.

В эту же ночь мы стали перебираться на пустынную сторону Двины. Мы шли и прислушивались к песням на Бакарице: пели солдаты, которых сегодня усмиряли бомбомётами. С песнями они шли на фронт, но как они пели? Мне это казалось посмешищем солдат над самими собой. Кто знает, что было в сердце у этих людей? Надо много часов после ураганного огня, чтобы смотреть на мир по-обычному, и нам с Федей долго не удавалось толково наладить свои мысли и чувства.

Мы шли оленьими тропами дня три без особых происшествий, имели в виду деревню Окуниху, где жили двое указанных нам верных людей. Впереди Окунихи, в деревне Зимницы, стояли французы, тут уже было гнездо фронта. В Окунихе мы увидели много подвод с сеном и толпу мужиков. Мужики говорили о мобилизации и всяких повинностях с присущей нам, северянам, беспечной шутливостью.

– Ну, сват, как, сват, бей сороку и ворону? – говорил молодой мужик.

– Понятно, сват, добьёмся и до ясного сокола.

– Толкуй-морокуй: говорят, белые знают медвежью радость.

– Что это за штука?

– Это такое дело, что им надо из каждого супостата сделать родного солдата.

К толпе подошёл плотный мужик в полушубке, за поясом у него был топор.

– Степан Терентьич, здорово, брат! Откуда ты? – спрашивали в толпе.

Степан Терентьич погладил покрытые инеем усы и сказал:

– Блокгаузы французам рубили, лесу извели столько, что деревню срубить хватило бы. А французы, как мураши, ползают да лопочут: «Рус, рус, большевик».

– А ты, Степан Терентьич, с ними поговорил бы.

– Я говорил. Говорю им: «Вы – мусью, а я – мужик Степан Терентьич, Анисьин муж». А они смеются, лопочут: «Муж, муж, музик». Ни лешего, говорю, вы не понимаете, мусью. Вот у меня, говорю, жена Анисья в гости уехала и обратно домой по-

пасть не может, потому что вы ей дорогу загородили. Наш офицер им по-французски сказал это, они зубы скалят, головами мотают. Вы, говорю, теперь мне ероплан давайте за женой слетать. Я, бывало, над Двинском летал на ероплане-то. «Как ты, – спрашивают они, – летал, разве ты лётчик?» А вот, говорю, как: сидели мы в блиндаже, и вдруг чеботан немецкий как грохнет рядышком. Вот грохнуло это, значит, и весь блиндаж со всеми нашими потрохами, что осиное гнездо, кверху кинуло.

Офицер им переводит, усмехается, а французы глаза таращат на него, а я дальше рассказываю: «Кинуло нас, да и высоконько. Я лишь под облаками в чувство пришёл и думаю: надо обратно на землю сплыть. Тут, на моё счастье, ероплан летит, сгрёб я его за хвост и в благополучии съехал на земельку-матушку». Французы давай хохотать и спрашивать, где же другие, что со мной в блиндаже были? Я говорю, что эти и посейчас летают.

– Усмешил ты их, значит?

– Усмешил, – кивнул Степан Терентьич, – хотел я им ещё сказать, что и вы-де, молодчики, так же полетите.

К этому весёлому мужику Степану Терентьичу мы с Федей зашли на ночлег, рассказали о бунте солдат в городе и о новых мобилизациях.

– Мне вот тоже надо идти в войска, – сказал Степан Терентьич, – а я не согласен. Я сначала за женой схожу, у красных погощу.

– Пойдём с нами, – предложил я.

– Пожалуй, – сказал Степан Терентьич. – Вижу, что вы, ребята, кстати пришли, зачем я буду против своих воевать? У меня, ребятушки, – вдруг чему-то обрадовался наш хозяин, – таким манером женитьба была проведена. Я, значит, жениться не хотел, думалось, успею ещё обсемениться, а родители поштенные и родня вся невесту мне нашли и давай меня женить. Ну, думаю, женюсь уж, так и быть. Вот раз я на невесту посмотрел – не нравится, другой раз посмотрел – совсем не то, что мне надо. Тогда я взял ружьё и пошёл в лес на охоту. Дней пять ходил глухарей стрелял, на шестой день вышел я на большую поляну и вижу: девка в красном сарафане пашет. Пошёл к ней, и чем ближе подхожу, тем больше меня манит. «Здравствуй! – говорю ей. – Пять дней, значит, я тебя искал и наконец нашёл».

Девка засмеялась.

– Нашёл-то ты нашёл, да и дальше пошёл.

Вижу: девка ладная, могутного виду и что медь красная на солнце горит.

– Дальше, – говорю я, – мне идти некуда, ежели не полюбишь меня, то сейчас вот я себя устрелю.

– Ой, что ты, – говорит, – шальной, вздумал, да и отчего тебя не полюбить? Только зачем так уж, будто с разбегу?

– Ну, коли так, – говорю, – так давай я тебя обниму для первого знакомства, – подскочил к ней. Она засмеялась, лицо закрыла рукавом рубахи.

– Ох! – повертел головой Степан Терентьич. – Как только обнял девку, и всё забыл, будто воцарился я тут на этой поляне. Это и была та Анисья, котору я опять искать иду.

Мы ещё долго разговаривали. И всё, о чём говорил Степан Терентьич, казалось сказкой, и Анисья, которую он хочет разыскать, – тоже сказочная. Так или иначе, а утром задолго до света мы пошли. К нам ещё пристало два соседа Степана Терентьича, оба они слыли в деревне коммунистами.

Когда мы перешли Онежский тракт, Степан Терентьич остановился, топнул ногой и сказал:

– Теперь мы на советской земле.

– Да, это хорошо, – сказал я, – теперь нам надо подумать об этом Онежском тракте, это важная дорога.

Степан Терентьич задумался. Я стал чертить палкой по снегу, изображая линию фронта. Мои спутники стали помогать, только Степан Терентьич смотрел, курил.

– Вот что, ребятушки, – наконец сказал он, – я в военном-то деле тоже кое-что понимаю и мыслю так, что очень причинное, важнейшее место наши Зимницы. Они на дороге между станцией Обозерской и Чекуевым. Обозерская и Чекуево – большие укреплённые гнёзда, а наши Зимницы не очень крепки. Ежели тронуть их, тогда полетят и эти самые большие гнёзда.

– Это верно. Ты молодец, Степан Терентьич! – обрадовался Федя.

– Ну ещё бы, – подмигнул нам Степан Терентьич, – погоди вот: запасём пороху, нагнём силы.

– Верно, – подхватили соседи Терентьича, – наберётся таких, как мы, немало, сколотим рать на помогу красноармейцам.

Мы шли, разговаривая о будущих делах, потом сделали привал и долго сидели у огня. Все мы незаметно как бы оброднились между собой. Наши думы, слова шли в лад, и так стройно, весело, точно мы собрались строить одно хорошее хозяйство. Федя любил толковать широко и картинно, у меня тоже эта слабость, как у всех русских, водится, и мы потолковали с часок о прежнем и новом.

– Лет двести назад, – начал Федя, – по этой дороге Ломоносов в Москву ехал.

– Нет, не по этой, – сказал я, – это не Московский тракт.

– Всё равно, пусть там, – согласился Федя. – Какой, однако, срок уже, много чего было за этот срок: батоги были, крепостное право, Пугачёв, войны, бунты. И всё это золотой шапкой прикрывалось – Россия; немногие из-под этой шапки выглядывали. Наконец тесно стало под шапкой, и свернули её, выползли на свет.

– Смирный же был народ, – качнул головой Степан Терентьич.

– Народ наш был известно какой, – сказал я, – народ только молитву одну знал, молитву Ефрема Сирина: «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему». В этом была вся историческая суть народа – мужика. А те, кто владел народом и обольщал его своим союзом с небом, молились тоже по Ефрему Сирину: «Господи, Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия даждь ми, рабу Твоему», – тоже были рабы.

Федя усмехнулся.

– Это правда, хотя ты молитву переврал.

– Ладно, я согласен. А теперь мы всё это отвергаем, не по пути нам с наши-

ми прежними господами, – тут я поднял руку и с торжеством сказал: «Да пусть же будет благословенна наша земля и наш народ, и пусть эта война с вековечным врагом будет ступенькой, через которую мы переступим к началу другого времени! Нам нужно не только побороть, разбить остатки прежней святыни, но нам ещё надо побороть в себе тьму, жадность и жестокость. Революция открыла нам ворота в мир, где есть неисчерпаемые сокровища. Это дела мудрости, высокого духа учителей и певцов восстания человека против тьмы и ужаса. Вот мы за этот мир теперь будем вместе с Красной армией воевать – так ли я говорю?» – спросил я своих спутников.

Степан Терентьич похвалил меня:

– Какой ты учёный, братец, а мы ещё как птенцы, кои только что из яйца вылупились, где нам ещё всё знать. Только врага-то мы хорошо знаем. Ежели восстали, значит, сила есть и рост добрый есть, наша возьмёт.

– Верно, Степан Терентьич, – сказали мы все, – ты и насчёт Зимниц верно говорил.

С этого дня мы начали работу. Наши силы росли. Росли и силы белых. Они ставили под ружьё мужиков, мешали их с офицерством, с иностранным войском. Но чем больше становилось у них войска, тем труднее было с ним ладить. Это войско наполовину склонялось на нашу сторону. В каждой волости, в каждой деревне у нас была родня, и мы часто ходили к ней в гости и звали к себе.

Народ стал думать о том, о чём никогда не думал, и нам надо было его поддержать. Между тем мы всё время собирались идти на Зимницы, и только в конце зимы по крепкому насту мы на лыжах двинулись туда.

Решено было кинуться в атаку ночью, а я и Степан Терентьич взялись забраться в Зимницы, как лиса в курятник. Помню тёмную ветреную ночь, – в такие ночи немало скрытных дел делается. Степан Терентьич дорогой вспоминал, как он в такую ночь в Питере за революцию ратовал. Шли мы в английских шубах, тащили пулемёт и пришли в Окуниху без мала в полночь. Степан Терентьич хотел зайти домой, но раздумал и постучался в крайней избе, минуту поговорил с кем-то в сенях и вышел на улицу.

– Сейчас старик запрягёт лошадь, – сказал он, – это отец Ивана, что с нами ушёл тогда.

Скоро мы сели в сани и поехали в Зимницы. Никто нас не остановил, не окрикнул, да и кто же, кроме своих, поедет из Окунихи. На деревне было пусто, в избах темно. Мы подъехали к церкви и пошли в сторожку будить сторожа. Старик наш тихонько поехал обратно. Сторожа Степан Терентьич знал, это был тоже старик, бородатый и грузный. В темноте он не узнал моего спутника.

– Проведи нас на колокольню, – сказал я, – велено там пулемёт поставить.

– А ставьте хоть пять, – сердито проворчал старик и повёл нас на колокольню.

Мы спешили, нас двоих ждало пятьсот человек. Когда мы поднялись и встали под колокола, Степан Терентьич сказал сторожу:

– Ты погляди, как мы будем чесать французов.

– Да неужто? – испугался сторож. – Меня-то хоть отпустите, ребятушки.

– Нет, ты подожди, – сказал я.

Сторож сел и перекрестился.

– Недаром с вечера собаки выли, значит, быть покойничкам.

Нам сверху видны были в конце деревни тлеющие огоньки, и ветер доносил неясный говор.

– Туда, – указал Степан Терентьич.

– Наши уже, наверное, подходят, того гляди, ну…

Степан Терентьич помолчал, потом сунулся ближе к моему лицу и спросил:

– А что если нашим не взять будет Зимниц?

– Не шути в такой час, – сказал я. – Хлопай!

Степан Терентьич припал к пулемёту, и мы начали понятное для нас дело. Обрывая стрельбу, мы глядели вниз. Деревня будто кипела, всюду вились тёмные фигуры и слышалось страшное слово: «Бунт, бунт!»

– Чеснём-ка по улице, – сказал Терентьич, – раз кашу заварили.

В ответ на переполошный бой нашего пулемёта в стороне затрещали ружейные выстрелы. Вот выстрелы всё ближе, чаще. В нас не стреляли, и нам уже нечего было делать. Мы смотрели вниз и видели толпы бегущих людей. Ружейный огонь рассекал деревенскую улицу.

– Это наши ворвались в деревню, – сказал Степан Терентьич и хвастливо ударил по пулемёту.

– Я же говорил, что возьмём, Анисьин муж зря не скажет! А знаешь ли, мне эта колокольня сколько раз снилась: один раз снилось, что будто я все языки у колоколов оторвал и хотел колокол на голову себе надеть и не мог подобрать по голове колокола: то велик, то мал. Так и не вышло ничего. В другой раз снилось, что меня хотели повесить на этой колокольне, а я удрал от этой штуки.

Внизу кричали, звали нас к себе. Стрельба уже ушла из деревни и скоро совсем затихла.

В конце концов оказалось, что мы напрасно старались. Дней через десять белые двинули на Зимницы много артиллерии и стали громить. Раскрошили колокольню, исковеркали несколько мужицких изб. Мы не могли устоять и ушли.

– Это очень обидно, – говорил я, – но зато наши заняли Украину и остановили Колчака.

После неудачи в Зимницах мы взялись за пятый полк на реке Онеге.

В пятом полку служило много моих приятелей – бойких мужиков из Порожской волости. Мужики этой волости были прокляты купцами и их приказчиками за дела со сплавным лесом. Купцы-лесопромышленники каждое лето с рёвом выплачивали мужикам Порожской волости не одну тысячу рублей налога. Налог мужики брали так: по Онеге шли стотысячные заготовки брёвен. Шли они не сразу, а их гнали всё лето крупными партиями, одну за другой. Брёвна сплавлялись россыпью, и каждая партия имела голову и хвост. Хвост тянулся на десятки вёрст. Голов-

ные брёвна плыли сами по себе, но все они в конце концов приставали к берегам, и их надо было гонщикам леса отталкивать, а часто и скатывать с обсохших берегов, вытаскивать из ложбин и низких мест, потому топтались богатые заливные луга – наволоки. Купцы иногда платили за помятые луга, но этот платёж надо было брать силой. Мужики Порожской волости делали это просто. Как только показывался хвост, сотни три порожан шли с баграми на армию гонщиков, прогоняли их, били, если гонщики упрямились.

– Убирайтесь, лободыры, вперёд ниже нашей волости, а здесь мы сами лес гоним!

Новички приказчики вступали в спор, грозили судом, полицией, тюрьмой. Мужики смеялись, а лес стоял, дорогое время бежало.

– Что же вам надо? – наконец спрашивали приказчики.

– Плати деньги, и мы прогоним лес через свою волость, сами наши наволоки будем топтать.

– Сколько?

Тогда выступал Сенька Заводихин, матёрый мужик в кумачовой рубахе. Он поднимал увесистый кулак, долго молча грозил приказчикам и потом говорил:

– Знаем, всё знаем: и суды, и тюрьмы, и вас, мошенников! Вы пособляете купцам миллионы наживать, а бедным лободырам не жирно у вас работать. В реке от ваших брёвен вода – не вода, а сосновый квас, наволоки, травы наши вечно даром топтали. Теперь шабаш: плати деньги, тряхни купецкой мошной – и лес пойдёт.

С упрямых и вздорных приказчиков Сенька брал сколько хотел, иногда хорошие деньги, а опытные, ловкие приказчики умели не очень убыточно для купцов ладить с порожанами. Порожане гнали лес, пили водку стаканами, лободыры смотрели на них с завистью. Из этих-то мужиков Порожской волости и был составлен пятый полк.

Весной я оделся, как одеваются самые последние немудрящие мужичонки, взял у знакомого пастуха деревянную трубу, пестерь на спину и пошёл в Порожскую волость. Шёл я лесными дорогами, дороги были грязные, топкие, но я скоро осилил большой путь. Я метил в деревню Отшибалову к Сеньке Заводихину. Пришёл к нему утром, постучался. Открыла мне баба – Сенькина жена. У ней лицо и руки до локтей были запачканы мукой.

– Стряпаешь, хозяйка? – спросил я.

– Стряпаю. А тебе что надо?

– Семён дома?

– Дома, да спит ещё, ночь проохотничал на косачей.

– Вот и хорошо, я летучего мяса давненько не ел, теперь поем. Буди Семёна!

Баба весело глядела на меня.

– Какой прынц пришёл… да иди уж в избу.

Сенька сначала не узнал меня, смотрел строго, потом засмеялся и развёл руками.

– Да откуда ты, Рвань Ивановна?

Он взял мою трубу и закинул её на полати.

– Пастух у нас уже нанят, да ведь ты не за тем пришёл?

– Какой хитрый мужик, – погрозил я Сеньке, – я на самом деле хотел в пастухи наняться, а пока косачом угощай и чаем.

– Это всё мы справим, – сказал Сенька, глядя из-под бровей на меня. Брови у него чёрные, нависшие на глаза. Лицо широкое с маленькой стриженой бородкой.

– А пока, гость, пойдём в мою читальню.

Мы пошли в маленькую горенку. В углу на лавке и на столе лежали толстые старые книги. Я стоял и дивился, смотрел на Сеньку, как будто видел его в первый раз, сказал:

– Я не думал, что ты такой грамотей.

Сенька стоял потупя глаза.

– Вот готовлюсь… – вздохнул он.

– Куда?

– Уйти думаю от людей, место приискал ладное, скоро уйду.

Я дивился всё больше и больше.

– Это на тебя не похоже, что такое случилось?

Сенька поднял кулак и пригрозил им кому-то, как, бывало, грозил он приказчикам.

– Противен мне стал народ, потому что сегодня он святой, а завтра хуже зверя; что делается теперь, ты погляди. Вон в потустороньи мужики своих же соседей ко льду примораживали, а потом молебен служили. Погодя и их самих приморозили. Мне говорили, что видели на льду ряды мёртвых людей, они сидели, как ледяные истуканы.

– Может быть, это не совсем верно? – сказал я.

– А что делается по всей-то Русской земле, – продолжал Сенька, – в деревнях бьются, на полях бьются и в лесах тоже. Страшный наш народ, и земля страшная.

– Ну вот, – сказал я, – додумался же ты. Народ как народ, и бьётся он – это верно, а тебе уходить куда-то в такую пору стыдно. Надо за дело взяться.

– За какое?

– Войну, белых прикончить.

– Ты думаешь от них всё? – спросил Сенька и сердито махнул рукой. – Я никого не признаю. Я хочу спокойно жить – не тронь меня.

– А-а, ты во святые хочешь, – язвил я, – во святые? А мы, грешные, майся, воюй, ещё англичанку чёрт надавал.

– Англичанку, – сказал Сенька, – да англичанку-то, пожалуй, надо вышибить.

Сенька задумался, губы его что-то шептали, он будто дремал.

– Стой! – вдруг сказал он. – Пойдём чай пить, ещё побеседуем… Работа теперь на ум не идёт, может быть, я ещё и не уйду скоро, а войну кончать надо, англичанку – главное дело, я и сам думал…

После чаю Сенька уложил меня спать в своей горенке. Засыпая, я вспомнил, как ночью шёл лесной дорогой. Везде булькала вода, где-то пел глухарь. Дорога

была иногда сухая, высокая, а то – низины. Из низин тянуло холодком, а с высот – смолью и теплом. Я проспал до вечера. Потом опять пили чай.

– Вот что, – тихо сказал мне Сенька, – сейчас пойдём на охоту, солдаты придут туда, побеседуем, наши ребята теперь на отдыхе стоят здесь.

Ночью мы сидели в лесной избе, топили каменку, курили и вспоминали старину. До войны я работал в здешнем лесничестве и знал почти всех мужиков. Поговорить было о чём: о промыслах, о хозяйстве, о старой и новой жизни. Здесь раньше у стариков бывали сказочные дела. Край был богатый. Уток ребята весной палками били, лесную дичь можно было из окошка стрелять и зверя всякого стада стадами. Трава на лугах росла на славу. Старики рубили большие избы и дворы, чистили в лесу поляны, жгли мелкий лес. Удобренная золой земля, по словам стариков, давала урожай ржи сам-шестьдесят, а то и больше. Жили мужики кряжисто, часто праздновали, любили приятство и песни. В старину управлялись головами. Головы были выборные из богатых мужиков. Головы имели большую власть и большой почёт. Но бывало и бесхлебье: урожай косили заморозки, тогда лихо наживались богатые мужики. Особенно наживался голова волости. Это были маленькие цари, неграмотные, но важные. Был такой голова Пигасов, чудной старик. Он не знал счёта своим деньгам, сыпал медь и серебро в засеки амбаров, не любил чиновников и не называл их иначе как скокухами. Когда приезжал чиновник, Пигасов торопился его угостить и спрашивал: «Ну, сколько тебе, скокуха, денег надо с волости?» Не дожидаясь ответа, голова шёл в амбар. В амбаре стояла железная маленка, в которой помещается около пуда ржи. Пигасов насыпал полную маленку денег и приносил чиновнику: «Вот тебе, скокуха, получай!»

Теперь уже ничего похожего на прежнее нет. Край стал беднее, многим нужны отхожие промыслы. Потому и народ не прежнего склада. Правда, есть ещё такие места, как Кожеозеро, где живут мужики так, как жили их деды.

После шутливых разговоров я спросил у солдат:

– Как у вас, ребята, в полку, каков народ, как держитесь?

– Не за что держаться, офицерство нас держит, – сказал круглолицый Лавруха, – иные из наших не любят красных и воевать готовы до зарезу, а больше тех, кои хоть сейчас бы кончили воевать.

Заговорили сразу несколько человек:

– Американцы навоевались – уезжают, да и англичане тоже собираются. Вот жалко, Митрохина нет, он всё знает, говорил, что на Обозерской не совсем тихо, народ-то, вишь, прожжённый стал – сегодня так, а завтра этак.

– Да что Митрохин! – горячо крикнул Лавруха. – Митрохин – коммунист, ему и знать следует, а вчера Дементий, который раз в неделю слово скажет, вдруг говорит мне: «Знаешь, Лавруха, в Архангельске опять одиннадцать большевиков расстреляли». Это, значит, канун Первого мая было. Откуда-то всё узнают.

– Кроме Митрохина у вас есть коммунисты? – спросил я.

– Мы все здесь коммунисты, – засмеялся Лавруха.

– Стой, кто-то идёт, – сказал Сенька и открыл дверь избы.

Мы увидели чёрненького молодого солдата.

– Свои, что ли? – весело крикнул он.

– А, Митрохин, Митрохин, – обрадовались солдаты, – тебя и не хватало. Слыхал?.. Говорят, красные Колчака погнали на каторгу.

Митрохин сел на порог и сказал:

– Туда ему и дорога, мы послезавтра на позицию отправляемся. А вы что тут?

– Пастуха нанимаем, – кивнул на меня Сенька. – Слыхал о Ваське Змиеве? Так он самый и есть.

– Слыхал одним ухом, только не знал толком, какой он масти. – Митрохин закурил и поглядел на меня. – Ну, что же нового?

– Войну думаем кончать, – сказал Сенька.

– Если ты так говоришь, значит, надо кончать. – Митрохин опять взглянул на меня. – Товарищ Змиев, ты с чем к нам?

– Помогать хорошему делу, – сказал я, – есть ли надежда?

– Надежда есть, но это же дело рисковое, надо подготовку и момент подходящий. Что на Обозерской слышно?

– Там то же, что и у вас, и у Сельца, – готовятся к восстанию, но у вас самая выгодная статья. Ваш полк один на этом онежском пути, если восстанете, то белым пугать и крыть нечем, фронт будет открыт, город Онега падёт. Такое дело срежет войну, нельзя это упустить. Вы, я думаю, сами это знаете, что мне вам рассказывать. Решайте!

Долго все молчали. Потом Митрохин поднял руку, ударил кулаком себя в грудь.

– Товарищи, иду на это дело!

Солдаты разом поднялись. Один большой бородатый солдат, Фёдор Иванович, потоптался и молча облапил Митрохина. За ним и все обняли Митрохина и один другого.

Сенька стоял, смотрел на солдат и говорил:

– Ладно, ребята, ладно…

На глазах у него были слёзы.

Глава восьмая

Сначала цветочки – ягодки потом.

Наступали самые страдные дни, но всё пока шло складно. Пятый полк пережил генеральский смотр. Полк был похож на прежнюю вышколенную армейскую часть – всё было звонко, чисто, по-русски весело. Полк получил похвалу. Через несколько дней в пятом полку был другой смотр. Этот смотр производил не генерал, а самый простой человек – это я, Васька Змиев. Мой штаб тоже был не очень знатный: при мне состояли Степан Терентьич, Федя и Сенька Заводихин.

В памятный день утром мы с Сенькой сели в чёлн и поехали о берег вверх по реке. Было тихо, пекло солнце. Река казалась хрустальной. Пахло береговой, сонной ещё, водой. На отлогом берегу росла густая трава, тяжёлая от росы. Мы ехали и посматривали наверх, туда, где кончалась трава, – ждали Федю и Степана Терентьича, которые должны были выйти к реке с Обозерского тракта. Но, главное, мы смотрели и в светлую даль реки. Скоро заметили большое судно.

– Плывут, – указал Сенька и спросил: – Подвинемся ещё или будем здесь ждать?

– Подвинемся.

Через минуту Сенька бросил весло.

– Всё равно теперь далеко не уедешь.

Мы вышли на берег и стали смотреть на судно – знали, что это едут на отдых солдаты с передовых позиций. Все они были на палубе. По реке катился шум, смешанный с криками, похожими на команду.

– Началось, – сказал Сенька и поднял кулак.

Я видел, как в Сеньке заиграла прежняя удаль, когда он водил порожских мужиков отбивать у гонщиков лес.

– Эх, ещё раз тряхнуть стариной, с народом вместе беду спихнуть!

Мы снова сели в чёлн и поехали к судну.

Сенька махал веслом и радостно выл:

– Ребята, заводи! Заводи коня в оглобли-и!

Наш чёлн пристал к корме, и мы поднялись к солдатам, их было две роты, все с ружьями в руках. Солдатам, казалось, тесно на палубе, они беспокойно толкались и кричали разное. Иные стояли задумавшись. Посреди палубы я увидел Митрохина, Лавруху и другие знакомые лица.

– Товарищи, к порядку! – крикнул Митрохин, стоя на бочке из-под трески.

– Где офицеры? – спросил я Лавруху.

– Внизу, двое их всего, а мы ещё только начинаем.

– Товарищи! – говорил Митрохин. – Мы обсуждаем большое дело – долго ли нам носить английские френчи и винтовки?

Десятка три солдат бросили себе под ноги фуражки.

– Да будь они трижды... пора сказать правду!

Митрохин махнул рукой:

– Не мы первые заговорили об этом. У кого лежит сердце к этой войне? Уже не один десяток солдат расстрелян генералами за правду. Они за них ответят, довольно им командовать народом!

– Довольно! Прогоним англичанку! – кричали кругом.

На бочку вскочил коротконогий усатый солдат.

– Вы прытки очень, ребята, – заговорил он, – перейдём да прогоним – легко сказать, а как это выйдет, как другие роты?

– Давно ждут того же.

– Ну ладно, – продолжал коротконогий, – скажем так, что мы, все онежане, сплотимся, перейдём за красных, а война-то ещё не кончится. У белых силы много. Пушек у них сотни. Мы свои семьи с собой не возьмём, и их белые изгонять будут, где тут резон?

– Обсудить надо! – раздались голоса.

На бочку вставали один за другим знакомые и незнакомые мне солдаты, иные говорили боязливо, не верили в успех восстания. Два солдата выкатили на середину палубы вторую бочку и поставили на неё Сеньку Заводихина.

– Старого атамана послушаем, рассуди, Семён Порфирьич.

Заводихин снял фуражку с головы, помахал ею и строго оглянул ряды солдат.

– Я много думал, братцы мои, – начал он, – думал за вас и за себя. Вон Змиев, – указал он на меня, – да Митрохин и другие знают, что я думаю. Иным из вас, я знаю, домой на поля работать уйти хочется, смотрите: солнце, теплынь зерно хлебное в полях наводит, трава в кудри вьётся. А я думаю, что всё это своим чередом, а нам прежде надо вот что сделать: первое, – Сенька выпустил из рук фуражку и загнул палец (все смотрели на его большие руки так, как будто бы в них держалась судьба каждого), – первое – это вышибить, к чёртовой матери, англичан и французов; известно, зачем они пришли, у них карманы широкие и замыслы дьявольские. Возьмут они все наши леса за то, что белым народ бить помогают. Белые с ними рассчитаются по-хозяйски, а таких хозяев тоже надо в море спихнуть. Стыд и позор нам за такое дело ружья в руках держать. Я подыму всех стариков, и с ними, если вы не согласны, пойдём биться за своё родное.

– Идём! Все идём! – подняли солдаты винтовки.

Солдаты грудились к середине палубы, лица их были красны и строги.

– Давай мне винтовку, – топтался Сенька, – на город Онегу пойдём вместе.

На палубе долго длились шум и крики.

Я стоял рядом с круглолицым Лаврухой, он смеялся, как ребёнок, и бил в ладоши. Митрохин спокойно стоял на бочке, курил, поглядывая на берег. Мы плыли мимо большой деревни, от которой до штаба полка оставалось не больше пяти вёрст.

– Товарищи! – сказал Митрохин. – Теперь слово делегату красных партизан товарищу Змиеву.

Я поднялся на бочку, мне не надо было уверять солдат в том, что они уже сами решили, но я немного досадовал. Мне тогда казалось, что знамя нашего восстания ещё не так высоко и уверенно поднято, и я сказал:

– Есть поговорка, что и золото не золото, не побывав под молотом. Так и с нами. Эта война выкует из нас славных бойцов за новую жизнь. Разве не видно, как Красная армия рушит полчища своих врагов. Вся страна, как котел, кипит, и вся ржа, нечисть выкипит, выплеснет её через края. Тогда мы за отдых и дело возьмёмся, а пока, пятый полк, получай свою славу. Народ ждёт тебя.

Тут я увидел на берегу двоих солдат – узнал Федю и Степана Терентьича. Я показал на них Митрохину.

– Обозерская восстала! – трубил в кулак Степан Терентьич.

То же кричал и Федя.

– Вот! – сказал я.

Наше судно затрещало от криков и топота.

– И мы идём за революцию, за своих, Митрохин! Веди!

Как потом оказалось, Степан Терентьич и Федя говорили не совсем верно. На Обозерской действительно началось восстание, но белые изловчились с ним справиться.

А мы на палубе стали спешить со своим делом. Выбирали старших. Потом Митрохин объявил:

– Офицеров не выпускать на палубу! По приезде сразу же захватим штаб. Я по телефону сговорюсь со всеми нашими ротами. Там уже поджидают сигнала. На берег выходить в порядке.

Вот судно подошло к пристани. Перед нами была большая деревня с богатыми домами лесопромышленников. Пока мы выходили на берег, подошёл, чуть хромая, моложавый полковник – командир полка. Он угадал что-то неладное, но спокойно поднял к козырьку фуражки руку, видимо, хотел, как всегда, поздороваться с солдатами, а вместо этого строго спросил:

– Почему нет офицеров?

Солдаты молча обступили полковника.

– Вы арестованы, командир, – сказал Митрохин, – сдайте ваше оружие.

Полковник стоял перед Митрохиным, храня ещё на лице следы власти и достоинства. Он оглянул солдатские лица, и в них он не нашёл прежнего уважения и преданности.

Давно ли эти люди, как он называл солдат, радовали генерал-инспектора боевой готовностью, а теперь они рвут, топчут печальную надежду – образ старой великой России.

– Я вам верил, я вас не боялся, – тихо сказал полковник, – и вот... всё...

– Это мы знаем, – кивнул Митрохин, – и теперь вы нам поверьте, полк восстал!

Пять солдат повели полковника на судно, а мы пошли к штабу.

На крашеном крыльце обширного дома, где был штаб, сидели два офицера. Один высокий, с трубкой во рту, второй был толстяк, видимо весёлый малый, он что-то рассказывал высокому, и оба часто хохотали. Десять солдат вбежали на крыльцо и схватили офицеров. Другие десять входили в дом, за ними уже хлынула густая толпа. Входя в дом, я видел, как высокий офицер боролся с солдатами, у него в оскаленных зубах дымилась трубка, лицо было злое, чёрное, а толстяк, красный, растрепанный, уже покорно сходил с крыльца.

Штаб мы захватили легко, без шума. Митрохин встал к телефону, вызывал каких-то безвестных рядовых: Крынкина, Баранова, Ветеркова.

– Штаб нами захвачен, – говорил им Митрохин. – На Обозерской восстание. Поднимайтесь и идите к нам!

Около Митрохина стояли солдаты, и они то с жадным вниманием слушали переговоры, то бежали к открытым окнам и кричали неистово:

– Все идут, скоро все будут здесь!

Солдаты шумной толпой растянулись по деревне. Одни занимали почтовое отделение, ставили караулы; другие захватывали последних людей штаба.

Я с кучкой солдат сел в маленький грузовой автомобиль и поехал к позициям. В одной деревне близ позиции густо трещали выстрелы, всюду бегали солдаты. Они выбивали засевших в избах офицеров. В этой деревне мы встретили красноармейцев. Они смешались с солдатами пятого полка, везде было торжество, праздник. Все видели только своих, свой народ и Красную армию, которая должна закончить начатое пятым полком дело.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Я ничего не писал после моего почётного кожеозерского плена. По слухам, там всё ещё ждут меня, якобы Тимоша Комар кожеозерцев уверил, что я вернусь, но только в ином виде. И всем хочется увидеть, в каком таком виде я явлюсь, а я и не думаю туда являться. У меня уже теперь другие дела на уме. Тимоша, говорят, служит председателем сельсовета и очень приснорövился к начальственным делам. Сидит в сельсовете за столом, и труба зрительная тут же перед ним. Если кто едет по дороге или в лодке по озеру, Тимошка сейчас же хватается за трубу и смотрит, не начальство ли какое едет. В Кожеозеро редко такие гости приезжают, а как приедут, то всех в дрожь бросит, потому что с налогами в Кожеозере не ладится. Народ теперь изрядно прибеднился, да и в самом деле, хозяйство за войну поразбило, как старую телегу на ухабах. И всё идёт кувырком без складу, новое на старое наскакивает. Вот и у нас в волости так было. Молодой народ стал с войны домой приходить, много ещё нас на семена осталось, и где бы радоваться нашим бабам, а они вдруг бунт устроили. Я пришёл домой в самый разгар этого бунта, и что ты скажешь, пришлось мне баб утихомиривать, потому что с бабами у меня всегда редкостное приятство. Конечно, ничего бы такого не было, если бы не крутоумный наш председатель исполкома Меркурий Матвеич. Не по себе мужики дерево срубили, выбрав Меркурия председателем. Им бы надо было найти кого-нибудь попроще, вроде Фрола кожеозерского, но Меркурий подкупил народ уменьем всё делать. Он мыло умел варить, кожу выделывал и красил. Соляную варницу подбивал мужиков оборудовать. И в то время, когда все курильщики ходили с кремнём да огнивом, у Меркурия сколько угодно было спичек своего изделия. Выборы Меркурия Матвеича происходили таким манером: Меркурий отказывался, а мужики уговаривали:

– Ты, Меркурий Матвеич, послужи волости, знаешь сам, что нынь всем скудаемся, не то что керосину и соли нет, а хлебом и скотом ослабели, живём своей автономией. Ты же человек деловой, хозяйственный, уж постарайся!

Меркурий Матвеич тряс лысой головой, краснел, сосал трубку и твердил:

– Нет, граждане, нет, увольте.

Вдруг он выхватил изо рта трубку и выплюнул в руку кончик чубука.

– Чёрт возьми! – сказал он. – Чубук даже против того, чтобы я был председателем, видите… откусил…

– Пустяшное это дело, – ухмылялись мужики, – кабы язык откусил, а то чубук, он ещё долгой, послужит, и ты послужи волости.

Происшествие с чубуком вдруг изменило мысли Меркурия Матвеича. Он ещё для приличия упирался, а потом поднял руку над головами мужиков и сказал:

– Не совсем мне сподручно быть председателем, но коль так уцепились, значит, возьмусь. Только я буду строго дело вести, план составлю, как хозяйство ладить, а главное – это ударить в цель.

И вот Меркурий Матвеич принялся за дело.

Мужики разошлись по домам и хвалились, какого они нынче отменного председателя в исполком посадили. Этот не то, что Иван Петрович, который только умел ловко топнуть ногой и крикнуть: «Я ваша власть. Исполняй, что приказываю». Когда на полях помёрз хлеб, Иван Петрович спокойно сказал: «Против природы ничего не попишешь». А Меркурию Матвеичу и природа была нипочём. По деревням полетел первый его приказ о заготовке торфа:

«Торф – великое дело, – писал он, – это богатство лежит втуне. Пусть отныне торф идёт в подстилку во дворах, конюшнях, клозетах. Мы торфом поднимем, удобрим поля, высушим, обчистим дворы, добыча торфа уничтожит болота».

Мужики читали при свете лучины распоряжение председателя и таращили друг на друга глаза.

– Вот, шут его возьми, загнул же декрет, теперь спину сломаешь с этим торфом.

Хозяйственным мужикам приказ Меркурия пришёлся по душе.

– Ничего, мы повозим, а как-то лодыри будут работать? Меркурий не потатчик бедноте.

А Меркурий послал в деревни второй приказ, как бы довеском к первому: «Бедноте, – говорилось в приказе, – будет дана ссуда хлебом».

Всем было неясно, откуда Меркурий Матвеич возьмёт хлеб. Богачи думали, что это пойдёт с них, а беднота сразу же повалила в исполком за хлебом.

– Вы что же, граждане, думаете, – рассердился Меркурий Матвеич, – кто же вам раньше срока ссуду давать будет? Вот выберите комитет, и мы добудем хлеб, добудем.

Потом так и вышло: комитет добыл хлеба, а Меркурий как бы ни при чём. Но он настойчиво проводил дело с торфом. Обязал учителей, учительниц и фельдшера толковать мужикам о пользе торфа.

– Замучит он нас с этими болотами, – ворчали мужики, – так и зудит, так и зудит.

А Меркурий Матвеич пошёл дальше. Он стал водить мужиков на свой огород; мужики видели капусту и дивились. У них она ещё не завивалась, а Меркурий уже пироги с капустой ест.

– Что за чудо у тебя?

Меркурий весело подмигивал и вёл мужиков в свой двор, показывал лошадь. Все знали, что это недавно была самая последняя кляча, а теперь перед мужиками стоял ладный конь, и шерсть на нём лоснилась, как серебро.

– А вот ещё телёночка вам покажу, – смеялся председатель, – сколько, думаете, ему годов от роду?

– Да что, годика два есть, телёнок хорош.

– Ха-а, ребятки, не угадали, телёнку всего восемь месяцев.

– Ты колдун, прямо колдун! – исступлённо кричали мужики.

– А вы чудаки, – ворчал Меркурий, – тут дело простое. Тут всё мышьяк делает. Вот вы жалуетесь, что работы много, а силёнки мало, кормёжка худая. Ежели хотите, то я из вас, из каждого, плясуна сделаю, на работе плясать будете. Нужны работоспособность и ещё просвещение масс, это вас-то.

– Ну и колдун, чудеса, брат... – твердили мужики. – Был у нас Васька Змиев, воюет он теперь, миляга, так он показывал нам чудеса, только твои почище будут.

Меркурий стал говорить о мышьяковом колчедане.

– Вы только делайте по-моему, мы займёмся добычей мышьяка, тогда и нужду, и болезни побоку. В уезд поеду – буду поддержки просить.

Меркурий Матвеич поехал в уезд, но туда он не мог взять с собой ни капусты, ни лошади, ни телёнка, чтобы уверить уездных работников в мышьяковых чудесах. В уезде его приняли за помешанного, хлопали по плечу и показывали то на окно, то на дверь.

– Там у нас уже сидит один изобретатель, а ты лучше, товарищ, развёрстку подвинти, чтоб на сто процентов.

Правда, в земотделе и ещё один молодой доктор очень толково поговорили с Меркурием Матвеичем, одобрили даже его и дали совет не горячиться и ждать, а Меркурий с досады плюнул и пошёл заказывать подводу. На улице он встретил редактора газеты «Звезда», остановил его и сказал:

– Знаешь ли, товарищ, я большой специалист бомбы делать, если вам понадобятся такие штуки, то запишите мой адрес.

Редактор остолбенел, но тотчас справился со столбняком и ухватил за рукав Меркурия.

– Что ты, голубчик, говоришь?

– Ей-богу, – кивнул Меркурий.

Редактор сдёрнул с носа очки, протёр стекла и сказал:

– Пойдём, голубчик, в редакцию, она тут рядом. Очень хорошо, очень хорошо, ты, наверное, ещё что-нибудь умеешь?

Редактор был пожилой бойкий человек, он до революции работал лет тридцать в «Петербургской газете» и любил редкостные новости.

– Где вы научились бомбы делать? – спросил он Меркурия.

– Я работал в химической лаборатории, а теперь, значит, председателем волисполкома.

Меркурий Матвеич проговорил с редактором до поздней ночи, в редакции и ночевал.

На другой день в «Звезде» была напечатана большая статья о торфе и успехах сельского хозяйства в Угловской волости и об изобретении гражданином Меркурием Панкратиным маленького снаряда, которым можно глушить большую рыбу.

Встреча с редактором спасла Меркурия Матвеича, он поверил в печать и обещал писать в газету о всех своих удачах и неудачах.

Дома он посоветовал мужикам не унывать, всё будет в своё время, пока что работай.

Он уже готовил другие приказы и всегда был в суете. Его звонкий голос, будто колокольчик, звенел по дорогам, по деревням. Меркурий ко всему лез, давал всем советы, кого ругал, кого хвалил, то хвастался большими сапогами из своей кожи, то домотканым пиджаком. Мужики любовались на своего председателя.

– Ну и мужик! Как солнышко!

Меркурий – коротконогий, плотный человек с румяным лицом, русой бородой, и к нему шло прозвище Солнышко.

Была у Меркурия слава, были и недруги. О нём говорили всё больше и больше как о колдуне. Одна старуха видела, как председатель обернулся вороной и полетел в Бабкино на собрание.

– Вишь, поздно было, а он торопился, ну и давай перекидываться, полетел толь скоро.

Другая старуха видела, как Меркурий волком обернулся и собаку, куклу, утащил к себе на мыло переделать.

– Потом я купила у него кусочек мыла, – рассказывала старуха бабам, – понюхала и слышу, как собачкой пахнет. Ой, бедовый мужик Меркур!

Между тем Меркурий Матвеич задумался над старыми обычаями; иные из них шли от хозяйственного русла. Если с невестой зятю дают по двести и больше яиц, то это, думал он, заставляет держать много кур. Ухватился Меркурий за эту старину и задумал ввести новый обычай. Созвал совет и сказал:

– Я нашёл верный способ поднять животноводство и птицеводство, пусть бы все девки, выходя замуж, несли с собой мужу не меньше пяти кур, двух уток, двух кроликов и телёнка, а жених обязан иметь лошадь, корову, кур и уток.

Только Меркурию Матвеичу могла прийти в голову такая затея, но, видимо, он сам мало верил в неё и только пробовал. В деревнях бабы подняли вой, а мужики посмеивались и грозили провести выдумку председателя. С неделю шумели в волости о курах и кроликах. Вдруг всех сбила с толку большая бумага Меркурия Матвеича о воспитании ребят. Из неё только поняли, что ребят нельзя пороть, нельзя при них ругаться похабно, надо бы для них летом детские площадки, купанье в реке до поздней осени и даже зимой обливать ребят холодной водой.

Тут-то и началась кутерьма.

В один день бабы толпами стали стекаться к исполкому и сразу же взялись за Меркурия Матвеича.

– Ах, ты, выдумщик поганый, смутьян! – кричали бабы. – Житья не стало от твоих декретов, будто блины печёшь!

Меркурий Матвеич думал было усовестить баб, но, как только полетели клочья от его бороды, он ловким ходом взмахнул на стол, со стола кинулся в окно и постыдно бежал. Бабы грозили ему вслед кулаками и долго ещё гомонили около исполкома.

На второй день Меркурий отказался от своей почётной должности. А бабы не унимались, спорили с мужиками о своих правах и требовали поставить председателем того, кого они хотят. Сначала бабы хотели посадить на председательское место бойкую вдову Малиниху, но она не пошла, и бабий выбор остановился на мне.

Теперь надо сказать, как меня встретили соседи и домашние.

В Древнем Риме были герои; их чтили подобно богам. Для них строили триумфальные арки, готовили почести; а я хотя и не герой, но всё же добропорядочный боец за революцию, и поэтому почётишко какой-нибудь полагался бы мне, а между тем что я увидел? На нашей деревенской улице мне попались два подвыпивших мужика, оба раньше слыли богатыми. Они меня узнали и давай кривляться.

– Вояке почёт! Жив, здоров, ладненько, брат. Похвастай, что завоевал? Здесь нас так греют, только поворачивайся.

– Ладно, потом поговорим, – сказал я, не останавливаясь.

Откуда-то выскочил старик Антоша.

– Васька! Вот уж настоящий Змиев, ни пуля, ни штык его не берёт, ну и молодец! Дай-ка покурить, ведь махорку несёшь?

Я засмеялся и достал табак.

– Угощу, кури.

– Так-то, – подмигнул мне старик, – знал я, что дашь покурить, доля в твоём табаке есть, потому что я большакам корову отдал, и не только что шкура или мясо, а одни рога три восьмушки махры стоили.

– Жалеешь?

– Нет, чего жалеть, дело наживное.

Вот я вбежал на наше старое крыльцо и вспомнил, как я так же вбегал на крыльцо, когда приезжал из городского училища. Какие уже далёкие годы! И старинная тёмная картина Егорья Победоносца в сенях на стене тогда вызывала некоторое почтение как коренное наше дедовское обличье; теперь Егорий был сросшимся со стеной куском бумаги.

Отец мой, Илья Змиев, стоял у рукомойника, мылся и рычал, как всегда.

– Говорят, кузнец раз стукнет, и гривна в кармане, а у меня всё из кармана: день прокуешь, и наполовину даром.

Отец увидал меня и растопырил мокрые руки.

– Старуха, крести образину! Васька пришёл.

Моя мать охнула где-то за печкой и выбежала ко мне. Потом всё было как и прежде: мы с отцом сидели на лавке, курили, мать грела самовар и смотрела на меня, у неё доброе, подвысушенное работой и старостью лицо.

– Смотри, матка сморщилась, как гриб прошлогодний, – шутил отец, – променять думал цыгану на цыганку, да много придачи косматый просил. Ведь ты знаешь, я в сарае и зимой до Рождества сплю, а её, – кивнул он на мать, – в избе мороз обижает.

Мать засмеялась.

– Хвастай. А кто из сарая ночью бежит в избу и на печь скорее: «Ой, старуха, я озяб».

– Мой покойный батюшка, – начал отец одну из своих сказок (на них он был мастер), – значит, одну зиму в конюшне в яслях спал, хотел домового поймать и отдубасить его за то, что тот рыжему коню гриву заплетал.

– Ну, пошёл врать, – сказала мать, ты бы лучше Васе Кирюху показал. Жеребчик у нас есть, Кирюхой зовём.

– Верно, – вскочил отец, – пойдём. А ты знаешь, Васька, старого-то коня я на Масленой неделе утопил. Пьяноват я был, с кумом Никифором угощались. Угощались, он и говорит: «Не проехать тебе, кум, прямо рекой в Малашову». «Проеду», – говорю. Проехал и всадил коня в полынью. А сам-то опять к куму. «Ну что, – говорит, – проехал?» «Проехал, – говорю, – теперь ты, куманёк, запряги свою лошадь, и поедем вместе». «Поедем», – говорит. Поехали, и что скажешь: мимо полыньи проскочили полным ходом. Я уж думал, что кумову лошадь всадим, – нет, обошлось рукодельно. А у меня не так вышло.

Пока мы смотрели на жеребёнка, согрелся самовар, и пришёл тот кум Никифор, который помог отцу утопить лошадь. Он – статный, плечистый мужик с седой бородой – вошёл в избу и заговорил:

– Здорово, кум. Как живёшь? Хвати леший, кум, всю родню, кроме тебя. У всех языки отсохли, рёбра повыломались, спины погнулись.

– Ты орёл, кум, орёл! Не опускаешь крылья! – кричал мой почтенный родитель, и два кума долго хлопали один другого по плечу и хвалились так, будто в избе разом говорило двадцать мужиков.

– На свадьбу, кум, пришёл тебя звать, – кричал Никифор, – и воина твоего, Василья, тоже. Пятую девку замуж выдаю. Летят девки мои как красный товар на ярмарке, потому что девки не росомахи какие-нибудь, а видом как ягодки, на работе удалые; только убытошно, кум, с ними. Сколько я сундуков, да, пожалуй, десятка два, купил для девок, сколько пуху, пера на постели да на подушки приданые, одеяльца стеганые, платы да шубы! Что добывал в вывозках да на постройках, то и шло на девок.

– Знаю, – махнул рукой отец, – и я выдавал девок замуж, хорошая девка сама себя в житьё дважды окупит.

– Ну, одна, кум, ну, две окупят, – кричал Никифор, – а пять-то – ежели их в житьё? Нет, кум, не скажи.

– Садитесь, куманьки, чай пить, – сказала мать.

За чаем Никифор хвастался своими зятьями, потом стал жалеть последнюю свою дочь, она выходила замуж в нашу деревню за молодого парня-комсомольца.

– Все зятья на подбор у меня, – тряс бородой Никифор, – а вот комсомолец теперь будет. Не знаю, кум, как его понять, – комсомолец, выдумают ведь прозвище! Да и от отца ушёл к Семёну Жданову в примаки. Что у него с отцом-то вышло, кум?

– Раздорили. Ерохин – скаред, знаешь, правду сказать, воровством нажился, кто больше его товары воровал с баржи, да ловок он, увиливал, вор вора покрывал. У нас этих воров под Ерохина много есть, артель воров. Сын-то, Гриша, отца за это воровство укорял, и за всю жизнь скаредную тоже укорял. С кулаками Ерохин да мачеха кидались на Гришу, и тот ушёл к дяде жить, а Семён Жданов и позвал его в примаки. Парень хороший, не унывай, кум.

– Вот спасибо, кум, спасибо, утешил, – повеселел Никифор.

Он ещё раз поклонился нам, приглашая на свадьбу, и ушёл.

Свадьба была на второй день. Я пришёл в избу Жданова раньше других гостей. Меня встретили с поклоном на крыльце хозяйка тётка Устинья и её сестра Фёкла. Крыльцо и сени были чисто вымыты. В сенях и в избе по полу протянуты домотканые половики. На столах белые скатерти. На стене между окнами висели широкие утиральники. У белой печи грелось два самовара. В избе пахло сдобной стряпнёй, соком свежей рыбы. Устинья, Фёкла и ещё какая-то баба, в передниках, степенные, добрые, ходили то в чулан, то в ледник, то подавали нищим. У них всё уже готово к приёму молодых и гостей. Кроме баб, в избе на лавке сидели Семён Жданов и старик Антоша. Прежде без Антоши не обходилась ни одна свадьба, ему было самое почётное место, как дружке-колдуну; колдун оберегал невесту и жениха от дурного глаза и порчи. Теперь Антоша был просто гостем. Это маленький старик с хитрым сухим лицом, плешивый, на ногах у него старинные сапоги со сборами, на высоких каблуках, на плечах был пожелтевший от времени и залитый водкой пиджак. Антоша заряжал тяжёлое шомпольное ружьё и ворчал:

– Нет, что ни говори, а прежде ладней свадьбы были, всё по чину, а теперь никакого почтения.

Бабы присели отдохнуть, глядели на Антошу, и Устинья сказала:

– Верно, Антон Оверьяныч, раньше с большими узорами свадебничали, помнишь, как в эту пору пели, ну-ка споём, бабы!

Устинья запела:

На дворе дождичек покрапывает,
У Григорья сударя Петровича
Золот перстень с руки спадывает,
Жених невесту спрашивает:
– Суженая, скажи правду всю:
Кто тебе из роду мил?
– Мне мил-милёшенек

Батюшка родимый.
– Невеста моя, неправда твоя.
На дворе дождичек покрапывает,
У Григорья сударя Петровича
Золот перстень с руки спадывает,
Жених невесту спрашивает:
– Суженая, скажи правду всю:
Кто тебе из роду мил?
– Мне мил-милёшенек
Ты, сударь, Григорий Петрович.
– Невеста моя, то правда твоя.

Один за другим стали подходить гости, всё пожилые мужики и бабы.

– По-новому, без церкви свадьба? – спрашивали гости Семёна.

– А мне-то что, – отмахивался Семён, – как жених хочет. Вот и дружка-колдун тоже в отставке, – кивнул он на Антошу.

– Верно, – подхватили гости, – теперь Антошу уже который год не зовут дружкой.

– Да-а, – вздохнул Антоша, – конец. Бывало, ладно делалось. Бывало, помните...

Старик бойко вскочил с лавки и запел:

На дружке-то кафтан
Весь по нитке сбиран;
Как на дружке-то кафтан
Со фальшивой бахромой.
Как на дружке-то штаны
После дяди-сатаны.
Чулки вязаные,
И те краденые.
Башмачки хороши,
Лишь подошвы изошли.
На дружке-то шляпёнка
После сватушки-чертёнка.
Он по горнице прошёл,
Трои жёлуди нашёл,
На полати поглядел,
Трои лапти стянул.
На поварне живал,
И он ложки мывал.

Антоша пел и бойко плясал. Гости смеялись и били в ладоши.

Посадим тебя за стол,
Пришибём тебя пестом,

На закусочку,
Колотушечку.
Скажем: под воду пошёл,
Скажем: под лёд ушёл.

Бабы стали плясать вокруг Антоши.

Подари мне, миленький,
Подари, хорошенький,
Не рублём, не полтиною,
А простою нас гривною.
А не станешь дарить,
То мы станем корить
И в глаза говорить:
У Антоши кудри,
У Оверьяныча черны,
По четыре грани,
Черти его драли…

На улице кричали мальчишки:

– Едут! Едут!

К избе Семёна сбегались девки и бабы.

К крыльцу подъехал тарантас. Молодые хотели выйти из тарантаса, но их не пустили. Они засмеялись, стоя в тарантасе, и поцеловались.

– Ну, вот как хорошо, – одобрили бабы.

Гриша ещё раз на радость бабам поцеловал краснощёкую свою молодуху и повёл её в избу. В сенях их обсыпали житом, и затем Семён благословил караваем хлеба. Когда молодые и гости стали садиться за стол, на крыльцо выбежал Антоша с ружьём.

– Дай ход, дай ход, краснопёрые, – толкал он баб, – а куда старухи идут, куда вы! Устрелю! – Антоша в шутку прицелился в кучу старух у крыльца.

– Што ты, бес, што ты, бес, – зашумели старухи, – ещё первой гость – отставной колдун!

Антоша выстрелил вверх и бойко побежал в избу и опять кричал на баб. А баб набилась полная изба. Они смотрели, как гости едят, и считали, сколько рыбников и других блюд подаётся на стол.

Я сидел рядом с Никифором.

– Вот видишь, – указывал он мне на невесту, – последнюю ягодинку выдаю, а выпить ни-ни… только со сватом да с Антошей кувырнули по стакану самогонки. А бывало, знаешь, как свадебничали – у самого последнего мужика водки хоть обдавайся. Шуму, веселья сколько было. Пока обедали да чаёвничали, можно было напиться и выспаться, потом снова пить. За обедом подавали на первое селёдки архангельские, за селёдкой, знаешь, тресковый рыбник, потом рыбники: зубатка, камбала одноглазая, палтус синий или белый, потом щука свежая или налим, бы-

вали и лещи, язи, потом щи, говядина, студень; квас всё время на столе, как сейчас. После студня пойдут пироги из крупчатки сдобные. Насчёт пирогов у нас бабы мастерицы. Или блины подадут, тут, брат, не то что не хочу иль сыт, а блины сами в рот лезут. Мы нынче со сватом уж не по-прежнему, а всё-таки кое-что раздобыли, иное берегли с просторного времени.

В избе стало шумно и жарко.

Я замечал, как бабы шептались и весело указывали одна другой на меня.

– Васька Змиев пришёл с войны, смотри-ка.

«Что я им дался, – думалось мне, – надо их поругать за Меркурия Матвеича».

Никифор поманил пальцем Устинью и указал на съеденный гостями рыбник.

– Менять можно, сватьюшка, а кость-то просил Фёдор Иванович.

Устинья весело подмигнула свату.

– Знаю. Сейчас, сватушко.

Фёдор Иванович, широколицый мужик, самый тихий гость за столом, пил квас, когда ему Устинья влепила в волосы на макушке головы рыбий остов.

– Ба-атюшки! – всплеснули руками гости. – Что это с Фёдором-то Ивановичем?

– Гребень-то какой, гребень! – кричал, привскакивая, Никифор. – У моего петуха важный гребень, а этот куда краше.

– Да где же гребень, тут не гребень, а целая борона! – вопил Антоша.

Фёдор Иванович сидел как пришитый, глядел на поданный вновь рыбник и чмокал.

– А мне и ладно, пусть борона иль что, мне ладно.

– Тебе-то ладно, – кричала ему через стол жена Марья, – а мне не ладно, куда ты мне такой… – она вышла из-за стола, подошла к мужу, поцеловала и переложила рыбий остов с головы Фёдора на голову Никифора.

– Вот тебе, чтобы не привскакивал.

Никифор давно будто этого ждал.

– О-о! Степанида Ивановна! – кричал он жене. – Что это, глянь-ка, матушка, мне совсем не так ладно, как Фёдору Ивановичу. Иль тебе всё равно, хоть лесина вырастай на моей голове?

Степанида сняла кость, и она пошла дальше по головам мужиков. У кого не было на голове волос, тому лепили кость в бороду. Я не дождался конца этой свадебной шутки и вышел в сени. Вот тут в сенях и напали на меня бабы, и все в один голос:

– Садись в исполком председателем.

Я поругал баб за Меркурия Матвеича и сказал им:

– Ведь бабий ум что коромысло: и криво, и зубристо, и на два конца. Что ж нам на свадьбе толковать о таком важном деле, вот завтра собрание выборное, там решим, кому быть председателем.

В избу пришёл отец Гриши, чернобородый плечистый Ерохин.

– Ну-ка пусти, эй! – рычал он, будто в рог трубил, толкал баб, плевал себе на бороду и стучал кулаком по низкому потолку, прикидываясь сильно пьяным.

– Мошенника взял в дом Жданов, самого последнего ирода, избавил, слава тебе…

Гости мужики с шумом выскочили из-за стола.

– Что, драться, заступники? – трубил Ерохин, размахивая кулаками. – Сунься-ка кто, щелкани-и!

Бабы разбегались, падали, и Ерохин лез вперёд на гостей. Я подскочил к нему, схватил за плечи и потащил из избы. В дверях он вывернулся и ударил меня в грудь кулаком. Тогда я сильно шлёпнул его ладонью по лицу. Он взревел и сразу же стал смирнее. Я взял его за волосы и вывел на крыльцо.

– Уходи! – указал я на лестницу.

– А-а, это Васька меня украсил! – захлёбываясь, крикнул Ерохин и выставил вперёд на меня злющее, оскаленное лицо, по заплёванной бороде текла кровь.

– Ладно, рассчитаюсь с тобой, змием, – погрозил он, пятясь от меня на лестницу.

К нему подбежала беловолосая жена Параня. Круглое, молодовитое лицо её было чем-то обрадовано. Она показывала редкие длинные зубы и всплёскивала тяжёлыми руками, глядя на мужа.

– Почествовали, слава богу, угостили у родного сынка батюшку-родителя, выпестовали доброхота!

В окно высунулся Антоша и крикнул:

– Заходи, и тебя почествуем, ха-ха, нашлась матушка!

Тут волчком пошла Параня под окошком.

– Плевать, плевать мне на вас, тьфу, тьфу, нехристи передранные, столешники, ухватники! – Она с торжеством крестилась и басом продолжала кричать, пятясь от окна:

– Мы, слава богу, сыты и Бога не боимся, людей не стыдимся!

– У-у-у! – рычал Ерохин, потрясая кулаками. – Пей не хочу! Украсили-и!

Бабы и ребятишки услаждались, глядя на Ерохиных. Насмешник Антоша опять крикнул Паране:

– Ты пуще лай да заголись, а я тебя заговорю!

Параня, видимо, вспомнила, что Антоша – колдун, стала дальше отходить от окошка, но голос её долго был слышен.

Глава вторая

Как только я ввязался в дело Меркурия Матвеича, волей-неволей довелось мне с общественными делами маяться, Меркурия-то удалось отстоять, и он, шельма, отплатил мне тем, что со всяким делом – ко мне; и нашёл я друга, можно сказать, такого, что хоть колоти – не отгонишь. Леса, земля, хлеб, товары, мельницы, кузницы, мужики обложили меня кругом, а тут ещё ликвидация неграмотности подскочила. Знатно вышло с этой ликвидацией, только мне пришлось пострадать из-за одной ошибки. Мне, грамотею, выпало на долю учить около сорока учеников.

Другие учителя букварей да бумаги ждали, а я без букварей и без бумаги открыл кампанию, и этих учеников повалило ко мне десятками. Ведь в любом деле особый секретишко есть: уразумеешь ты его – и тогда торжествуй; так и с моей кампанией было. Я тем взял, что мои ученики сразу же читать учились, и всем казалось, что грамоте научиться проще, чем в баню сходить. Учились мы в большой старинной избе Николы Мокрого. Дед Николы был богачом, а внук всю жизнь в пастухах провёл, и ему тоже надо было учиться грамоте. Его мы избрали старостой, и этот длинный, с покатыми плечами и маленькой головой Никола Мокрый ходил по деревне с рябиновым прутом и кричал таким манером, как летом на коров:

– Но-о, пошла-и учиться, эй!

Сам он учился весело, толково и хлопотливо собирал учеников, ругал нерадивых. Но самой нерадивой ученицей была его жена, Дуня Мученица, жёлтая, сухая баба. Никола втихомолку даже побил её за неуспехи в грамоте, и она неделю ходила с подбитым глазом.

Прежде чем начать занятия, конечно, много было разговоров, даже ругани. Особенно ругался Ерохин: он и Параня были неграмотны и не хотели учиться, но их кто-то припугнул чужим человеком, что, мол, уездный уполномоченный утянет их за агитацию в город.

Вот собрались мои ученики в избе Николы Мокрого. Я, как полагается учителю, провёл начальную беседу, потом сказал:

– Мы сейчас сразу же будем читать.

Все замахали руками.

– Ну, что ты, где нам читать!

– Вот увидите, – засмеялся я и позвал к себе пожилого мужика Анисима. Анисим, нескладно усмехаясь, подошёл. Я написал мелом на его груди букву *А*. Анисим, открыв рот, поглядел боязливо на свою грудь.

– *А-а*, буква *А*, видим. Теперь ты уж не дядя Анисим, а буква *А-а-а*, – веселились ученики.

А я уже ставил рядом с Анисимом Николу Мокрого, за ним Ивана, за Иваном Семёна, Иону, Марфу. Писал на груди каждого начальные буквы его имени.

Когда я растолковал, как прочесть получившееся из шести живых букв слово-имя, то все предовольно засмеялись.

– Просто как, и буквы нам памятны по имени, – и весь мой класс зашумел, радуясь неожиданному успеху, один перед другим совались ко мне, а я писал у них на груди буквы. Так расписал всех. Алфавит вышел, живой алфавит, и ещё в запасе осталось с пять букв. Дальше мне оставалось только любоваться, как мои ученики с хохотом засуетились, сами образуя слова.

– Ну-ка, соединимся в *топор*, в *топор*, – размахивал руками самый бойкий, понятливый мужик Павел.

Соединялись в *топор*, в *бабу*, в *мужика*, в *землю*.

– В *пастуха*, в *пастуха*! – кричал Никола Мокрый. Он больше всех радовался и всё крутил своей маленькой головой.

– Ну и дела, тётка ты, хлеб мяккой!

Большой гомон и веселье были у нас в первый день, да и потом ловко шла учёба. Ученики букв с груди не стирали, так и ходили, работали. На улице при встрече мужики-буквы кричали друг другу:

– Здорово, Буква Ивановна!

– Здорово, Петровна!

Много шутили мужики с бабами.

– Ну-ка, Марья, соединимся в полсловечка!

По волости слава пошла о нашей грамоте, учеников прибывало, и часто можно было в деревнях видеть мужиков и баб с буквами на груди. Их примечали с шуточками:

– Вон змиевская азбука ходит, ликвидация.

Только Ерохин стирал со своей груди букву, он её ненавидел, долго тёр рукавом по меловым полоскам и, кривя рот, ворчал:

– Ишь ты, въелась, проклятая!

Всем говорил, что я плохо учу.

– Какая это грамота, одно баловство, строгостей нет, не ученье, а танцы получаются.

Во время занятий он больше мешал, чем занимался, – нарочно путал буквы и сбивал других. Всем ученикам моим это надоело, и я применил к Ерохину строгость: однажды поставил его в угол и велел беспрерывно твердить: «Я – Ерохин, я – Ерохин».

Он встал в угол и сердито забубнил:

– Я – Ерохин! Я – Ерохин! Тьфу! Я – Ерохин!

Когда Ерохин злюще плевался, все мои ученики хохотали. Через минуту он выбежал из угла и прямо к двери. На пороге он крикнул:

– Нога моя больше здесь не будет! Провались ты со своей грамотой! К другому учителю пойду.

– Ну и пускай он, цыган, к другому учителю идёт, – сказала Параня.

Ей как будто было всё равно, она шла после занятий со мной рядом по улице, поталкивала локтем меня в бок и заглядывала в лицо.

– Ты знаешь, мой цыган тебя не любит, съесть готов, а для меня так ты лучше всех, право. А ты всё с Глафиркой да с озорными бабами заигрываешь, чего тебе они дались?

Я зевнул.

– Что же мне, я человек вольный: с кем хочу, с тем и заигрываю.

Мне было досадно, что я в этот вечер столкнулся в тёмных сенях Николиной избы с Параней, принял её за Глафиру, и я был порядочно обрадован: сегодня Глафира не увильнула, как всегда, из моих рук, а ловко впилась в мои губы своими. Предательский случай вышел со мной. Когда я увидел ошибку, то невольно выругался: «Слепой курице всё – пшеница». С этим случаем можно было примириться, но на другой день вышло куда хуже. Под вечер я пошёл в соседнюю деревню к

Меркурию Матвеичу; он созывал совещание по продналогу. Я шёл по нашей деревенской улице и думал, что у Меркурия встречу Глафиру. Она живёт по соседству и часто забегает к Меркурьевым дочкам. Она весёлая, всегда что-то поёт и почти каждый вечер приходит смотреть на нашу учёбу. Я всегда любуюсь, как она смеётся своим немного оттопыренным ртом. Глаза у ней ласковые, синеватые, чёрные брови и золотистые волосы. Мы с ней подружились, а на деревне уже заговорили, что я на Глафире готов жениться, только за меня её не выдадут.

Думая о Глафире, я вспомнил вчерашний случай и взглянул на дом Ерохина. В доме много окон, и у этих окон было какое-то сходство с обликом хозяина. Одно окно открылось, выглянуло широкое лицо Парани.

– Куда пошёл-то, а? Зайди ко мне.

Я отказался.

– Очень надо, зайди, – ласково упрашивала Параня.

Я торопливо зашёл в большие ерохинские сени. Пахло солёными рыжиками. Параня стояла в дверях избы, сложив на груди руки, и вся была в смехе и радости. Ужималась, виляла бёдрами, пощёлкивала своими лошадиными зубами.

– У-у, съем сейчас, не заманишь его, дурашливого. Иди скорей!

Параня закрыла за мной дверь в избу и обхватила… нет, надо сказать, змеёй обвилась вокруг меня и подламывалась, подлая, увлекая меня за собой.

Признаюсь, первый раз в своей жизни я испугался женщины. У меня горячая кровь, но я похолодел от Параниной страсти и рванулся прочь.

– Ах ты, чёрт! – обозлилась Параня и завизжала на весь дом. В избу поспешно вошёл Ерохин.

– А-а, гость, – сказал он, проходя мимо меня и жены. Я увидел, как он потянулся под лавку за топором. Параня кинулась за печь, а я вон из избы. Ерохин пустил топор мне вслед, топор воткнулся в дверь и затем зазвенел, падая на порог. В сени вбежал Антоша без шапки с палкой в руке.

– Что за шум, эй? – топал он, грозя палкой.

Мы вышли с ним на улицу.

– Счастлив ты, парень, – повертел головой Антоша, – видел я, что она тебя манила, думаю, ущёлкнут тебя, – побежал выручать.

После моего бегства от Ерохина Параня пошла на деревню хвастать тем, что муж спас её от насилия, и я бежал, испугавшись топора. Ещё учитель!

Глава третья

После совещания я остался у Меркурия Матвеича пить морковный чай с молоком; мне всегда было хорошо в доме Меркурия. Облик жилья обычно схож с обликом того, кто в нём живёт. У степенного, рассудительного мужика средней руки чистая, приглядная и светлая изба. У богачей много прикрас, хвастливости, дородства. К ним боятся заходить нищие и бедняки, просят, что нужно, под окнами. У бедняков избы, как худые постоялые дворы. В них всегда много разного люда,

и не разберёшь, кто хозяин, кто гость, на столе грязный самовар, немытые чашки, под столом блошливая собака. Тепло и пахнет хлевом. Но ни в одной избе нет ничего такого, что бы отвлекало от земли, от работы. В доме Меркурия Матвеича была комната, которая называлась чуланом. Когда Меркурий скрывался там, то жена Марья Степановна и девочки говорили: «Папа чуланит». В чулане был угол, где Меркурий делал всякие опыты. Этот угол не всем был доступен. На стенах чулана были чучела птиц, ружьё, мандолина, полки с книгами, полочки с разными растениями. На полу стояла большая, древнего письма, икона: святой Христофор с собачьей головой.

За чаем Меркурий оглядывал свой чулан и недовольно ворчал:

– Какой я, к шуту, председатель? Или я не по деревне, или деревня не по мне, ничего толком до конца не увариваю. – Меркурий сморщил лицо и ударил себя в грудь кулаком. – Пон-нимаешь – не увариваю. Правду сказать, деревня в таком нынешнем виде никуда не годится. Как вы, молодёжь, думаете? – Он оглянул всех за столом. Кроме меня и семьи Меркурия, сидели Глафира и её старшая сестра, учительница Анна Ивановна.

– Как что? – встрепенулась Анна Ивановна и засмеялась, она о чём-то думала и не слышала, что говорил Меркурий. Она часто задумывалась, сидела неподвижно, опустив доброе, в веснушках, лицо, и, казалось, дремала; школьники звали её Дрёмушкой. – Вы опять что-нибудь страшное говорите?

– Что страшного? – усмехнулся Меркурий Матвеич. – Наша деревня напоминает мне Христофора с собачьей головой, вот икону эту. Надо переделать её на настоящую голову.

Глафира засмеялась.

– Как ты, Меркурий Матвеич, переделаешь?

– Очень просто: работать надо, работников готовить, промышленность, город поможет. Я вот думаю в промышленность уйти пока, люди туда нужны, временный я здесь человек.

– Договорился же ты, – сказал я, – сначала промышленность, а деревня потом. Нет, надо теперь здесь начинать работу. Вот, хотя взять ликвидацию неграмотности, я до сего дня не умел её верно толковать, может быть, вольнодумство у меня было, а сейчас понял, что всякое новое дело у нас связано с трудной борьбой. – Я рассказал сегодняшний случай с Параней. – Для меня ясно: Ерохины на что угодно пойдут, чтобы осмеять, опозорить мою работу. Такие Ерохины в каждой деревне, и надо плоты плотить из лучших мужиков против Ерохиных. Тебе нельзя уезжать.

Меркурий забеспокоился.

– Вот штука, братец ты мой, у тебя вышла! Но ничего, мы Ерохиных не испугаемся. Антоша, говоришь, видел? Тогда ничего, выправим дело.

Меркурий успокаивал, а Глафира с Анной Ивановной меня подняли на смех.

– Какое нашёл счастье!.. Ещё недоволен Параниной любовью! – больше смеялась Глафира.

– Это из-за тебя вышло, – сказал я сердито.

– Ладно, сваливай на меня, ха-ха, теперь ты от Парани не скроешься!

Мне было досадно слышать смех Глафиры.

– Вы не смейтесь, – сказал Меркурий, – тут дело нешуточное. Как ты говоришь – надо плоты плотить? Согласен. Да если два коммуниста в волости да столько же комсомольцев, так как, какими силами плотить?

– Сплотим, – упрямо сказал я. – Если мы хотим что-то строить, новую деревню, то новую постройку надо в противовес старой выгодно рисовать и страсть к ней поднимать, – это будет толково.

– Не забывай одного, – возразил мне Меркурий, – теперь поднялась в деревне страсть к развитию единоличного хозяйства; пока это является нужным, о перестройке не говори, но будет время...

– Вы, Меркурий Матвеич, практик, – горячо сказала Анна Ивановна, вскакивая со стула. – Вы готовы всё отдать за хорошее единоличное хозяйство, за образец, за сотни пудов хлеба. Пусть они нужны, но политическую работу надо вести, надо сбивать силы для удара по старым уродливым идолам деревни.

– Ишь, как взвилась, какую пыль выкинула! – смеялся Меркурий, любуясь на Анну Ивановну. – Тебе бы и книги в руки, возьмись читальни по деревням на ноги поставить.

– Возьмусь, сделаю, – тряхнула головой Анна и продолжала с жаром говорить и стучать по столу кулаком.

Я смотрел на неё и думал, что она, должно быть, дочь своего отца. Его звали за горячность Иваном Горячим. Это был упрямый мужик, который когда-то на сходе со становым в спор вступил и так ему в бороду вцепился, что с трудом испуганные мужики оттащили Ивана от станового. Когда с ним в чём-нибудь были не согласны, то он сучил руками и сердился.

– Что ты мне говоришь, когда я на три сажени в мёрзлую землю вижу, а ты что-о... тьфу, какой народ несговорчивый!

Глафира лукаво, исподлобья поглядывала на меня и говорила:

– Я завтра с батюшкой на станцию лес поеду возить, вот поеду.

– Подожди, Глафирка, – оглянулась на неё сестра, – поскольку теперь мы занялись кампанией ликвидации неграмотности, то надо с честью это делать.

– Ладно, – сказал Меркурий. – Послезавтра собрание всех, всех, кто годен и охоч на дело.

Я сидел, говорил мало, передо мной всё время как живые вертелись Ерохины. Только уходя домой, я забыл их ненадолго. Мы вышли от Меркурия вместе с Глафирой и Анной Ивановной.

– Ты, Глафира, проводи меня, – попросил я, – сказку расскажу.

Глафира куталась в полушубок, кряхтела, подражая мужикам.

– Ох, я буду в лесу замерзать, а ты, Вась, ко мне со сказками, как к ребёнку. Разве я ребёнок?

– Ты же любишь сказки.

– Люблю-то, люблю. Ну что же, рассказывай, новая, что ль?

– Новая и коротенькая, как зимний день.

– Про старичков?

– Да, – сказал я. – Старички жили-были – старик со старухой. Лет до девяноста жили и друг другу до того надоели, что хоть помирай раньше сроку. Живут и думают один про другого: когда же, старый чёрт, умрёшь, тогда бы всё добро и деньги мне одному достались и напоследок зажил бы всласть. Однажды старик говорит старухе:

– Полезем, старуха, на небо, что нам тут путаться на земле, там, на небе, место себе угодное подыщем. Ты, примерно, будешь чулки штопать, а я на святых лапти плести, подрядимся спозаранку, как умные люди делают.

Уговорил старик старуху, положил её в мешок, завязал, вязки в зубы и полез на самую высоченную сосну, которая в небо взвивается.

Лез, лез, до половины сосны добрался и слышит старухин голос:

– Скоро ли ты, старик, долезешь?

– Сейчас, – сказал старик и выпустил из зубов мешок.

Спустился старик на землю, снял шапку и перекрестился.

– Ну, слава богу, старуху доставил на небо, а я ещё здесь поживу, добра у меня хватит, скупая была, царство ей небесное.

Похоронил дед старуху и женился на молодой. «Заживу же я теперь, – думает он, – всем старикам на зависть».

Зажил старик с молодой женой, а она на второй день свадьбы и говорит:

– Потешь ты меня, муженёк-старичок.

– Чем тебя, милая, потешить, годки-то мои знаешь какие...

– Выпей стакан водки и попляши.

Один раз старик выпил водки и поплясал, второй раз выпил, поплясал и третий. Как будто и весело молодой жене, а старику невмочь больше такое веселье.

– Что хочешь, – говорит, – жёнушка, проси, только не это.

– Ну, тогда, – говорит, – поплачь, попричитай.

Попробовал старик плакать, а ничего не выходит.

– Нет, – говорит, – я лучше так сделаю: схожу, плакальщицу, причитальницу найду.

Пошёл он плакальщицу искать. Долго искал, наконец нашёл и приводит к себе в дом. Приходит и видит жену и молодого мужика за столом – обедают. Пока он ходил за плакальщицей, жена другого мужа нашла.

– Уходи, старик, я тебя не знаю, – сказала жена.

Старик заплакал и сказал плакальщице:

– Ты мне теперь не нужна, я сам теперь хорошо умею плакать.

Старик пошёл по деревне и плакал так, что ему завидовала плакальщица.

Я закончил сказку и посмотрел на Глафиру. Она остановилась и сказала:

– Ты сегодня невесёлый, и сказка невесёлая. Прощай, я пойду домой, теперь долго не увидимся.

– В самом деле, ведь ты уезжаешь.

Я обнял Глафиру, и мы секундочку так постояли, глядя друг другу в лицо.

– Озорная ты девчонка, Глафира, – сказал я, – в лес едешь, ну поцелуй же меня на прощанье.

– Ты дурачок: как же я не поеду, если батюшка требует, с ним не поспоришь, скажет, и кончено.

Она приподнялась на носках и торопливо, неловко поцеловала меня и убежала, смеясь.

– Смотри, не люби Парани, – сказала она, обернувшись.

«Ох, эта Параня, – подумал я, – что-то теперь у нас в деревне?»

Там Паранино хвастовство, к моей радости, не имело успеха. Против него задорно восстал Антоша.

– Врёт она, холера! – кричал старик на всю деревню. – Я всё видел. Подумаешь, какого соболя нашёл в ней Васька. Шкандал Ерохиным надо, вот что!

Глава четвёртая

В половине зимы кое-кто из моих учеников заговорил об экзаменах. Зачинщиком тут был бойкий курносый Павел. Он учился получше других и спешил одолеть начальную грамоту. Проходя мимо его избы, я часто слышал, как Павел во весь голос читал букварь. Видно было, что он въедался в букварь и о чём-то думал. Иногда он забегал ко мне, ёжился и озабоченно вертел головой.

– Знаешь ли, мои старики да бабы донимать меня стали, хлебишка не хватит, надо где-нибудь подработать. Лошадь у меня ещё не лошадь, а жеребёнок, с вашим Кирюхой однолеток. Надо на станцию дрова пилить идти или телушку продать.

Павел мне был нужен, и я его утешал:

– Погоди, мы весной добудем хлеба, будь уверен.

Но вдруг Павел разбогател. Вышло это так.

К Ерохину заехал в гости скупщик пушнины и скота Вертухин. Приятели пили самогонку, хвастались друг перед другом своими удачами. Потом Ерохин повёл Вертухина к Павлу покупать телушку.

– Грамоте, значит, мужик учится, а хлеба нет, – смеялся Ерохин. – Где им, гольтепе, учиться, и ничего они не научатся. Я только три буквы выучил.

– Н-ну, три буквы, ай молодец, – хохотал Вертухин.

Ерохин остановился на дороге и начертил пальцем на снегу непечатное бранное слово.

– Вот, видишь, выучился…

– Дошёл, дошёл, вижу, – и оба хохотали.

Я ехал из леса на нашем Кирюхе, вёз сухие дрова, увидел Антошу с палкой в руке. Он всегда выходил с палкой, если на улице был беспорядок.

– Смотри, – указал он мне на избу Павла, – два мерина гуляют. Верно, у Павла что-то продаётся, пойти пособить им купить.

Я подъехал к своей избе, оставил Кирюху и побежал к Павлу. Антоша уже был там. Хитрый старик обхаживал хвастливого скупщика.

– Мяккому мужику, Прохору Семёнычу, почёт, уваженье. Не купишь ли у меня выдру?

– Можно, где спромышлял?

– Давно уж, лет сорок, как спромышлял, в деревне Масловой, звать Агафьей.

Вертухин подтянул кушак на животе, сопя большим носом, запачканным в табаке.

– Этот товар на погосте покупают, а вот у Павла, говорят, телуха продаётся.

Павел погладил голову и взглянул на меня. Я погрозил ему и сказал.

– Телушку я покупаю.

Скупщик и Ерохин проворно оглянулись на меня.

– Чего наперебой лезешь, дело хозяина: он, может, нам продаёт.

– Верно, – крикнул Ерохин, – давай, Павел, литки пить, есть горячая.

– Нет уж, – сказал Павел, – Змиеву продам…

– Эх, браты-сваты, – чмокнул Антоша, – зря дорогу мяли, – он ткнул Вертухина кулачонком в бок, – да ты, мяккой, не тужи, корову купишь; вон наш Яшка двух коров сверху пригнал.

– Разве я тужу, – задорно засопел Вертухин. Он осанисто повёл плечами и расставил короткие, толстые ноги. – Нужда мне, что ли, какая… Я, слава богу, полтора десятка куниц и две лисицы в Ундозере купил и вас, любого, куплю и продам.

– Отскочишь, – ехидно засмеялся Антоша, стуча палкой, – у меня выдру и то не можешь купить.

– Купим! Всех купим! – кричал, будто в рог трубил, Ерохин и сжимал кулаки. – Мы работники, а вас с полдеревни лодырей. Я вон уж гору брёвен навозил, а вы что?

– У нас дела поважней твоих, – сказал я.

– Поважнее, господи помилуй, это азбука-то твоя, тьфу! – плюнул Ерохин.

– А чему ты научил, чему научил? – наступал на меня Вертухин.

Вдруг он выхватил из-за пазухи шкурку куницы и хвастливо бросил её на стол:

– Пусть твои грамотеи прочитают десять слов из книжки. Кто прочитает, тот куницу получит.

– Ай, Прохор Семёныч, ай, мяккой мужик, – вертелся перед Вертухиным Антоша, – краса мужик, король, да и только, ей-богу!

– Ха, где они, грамотеи? – шумел скупщик. – За куницу-то, ха-ха!

– Ни одному не прочитать, ручаюсь! – трубил Ерохин и радостно топтался, радовался случаю пристыдить меня и моих учеников.

В избу один по одному заходили мужики. Антоша совался к ним и шептал:

– На спор дело идёт, о грамоте, раззудил я их, доброхотов.

– Ладно, ставлю я грамотея, – сказал я, взял со стола куницу и протянул её Гришке Ерохину, – держи заклад как свидетель.

Мужики усаживались на лавки.

– Мы все свидетели, посмотрим: ну-ка, кто у Змиева экзамен выдержит?

– Павел, садись, читай, – указал я на стол.

Павел уже давно посмеивался, егозил на лавке и умильно косился на куницу. Я подал Вертухину букварь.

– Указывай, где читать.

– Вот тут, мелкую печать в конце, – ткнул он на страницу букваря и, расставив толстые ноги, стал нюхать табак.

Павел сидел за столом. Он взял букварь, и я увидел, как в его глазах мелькнула робость, руки дрогнули, лицо казалось берестяным. Он взглянул на свою жену и криво усмехнулся.

– Ты, Марфа, не больно бей меня, ежели что…

– Ой, мужик, ой, мужик, – вздохнула Марфа, – где-то тебе, смех один… – Она стояла у печного столба как привязанная, не верила, что куницу отдадут мужу, если бы он прочитал даже пять страниц.

Павел начал и споткнулся на первом слове.

– А! – закричали насмешливо скупщик и Ерохин.

– Стой, не шуми, – остановил я их, – Павел, читай, не робей.

Мужики на лавках, шелестя рукавами полушубков, тянулись к столу и тыкали ободряюще пальцами.

– Крепше читай, ловчей!

– Не мешай, не мешай, – шипел и махал палкой Антоша.

Павел наладился и довольно исправно брёл по книжной строке. Вдруг голос его зазвенел так, как он читал всегда – нараспев, чётко и весело. «Он будет славным чтецом», – подумал я и засмеялся, торжествуя.

Павел бросил букварь и выскочил из-за стола. Он точно ошалел, задыхался, сучил руками перед лицом Ерохина и брызгал слюной.

– Ну что, взял, пристыдил? Цыганская образина!

Ерохин бешено выругался и оттолкнул Павла.

– Не лезь, а то двину!

– Я тебе двину, – снова кинулся к нему Павел, и они сцепились, норовя ударить один другого. Мужики растащили их, а Антоша теребил Павла, кашлял и звал:

– Куницу-то возьми, радуйся, язевый лоб!

Куница пошла по рукам мужиков. Вертухин нюхал табак, исподлобья горящими глазами стерёг её.

– Возьми семь пудов хлеба вместо куницы, – сказал он Павлу.

– Десять давай.

– Поищи другого за десять!

Он вдруг завопил, как вопят старухи-вопленицы:

– Начихал я на куницу и на вашу грамоту. Вертухину хватит куниц, ещё могу подарить не одну. А хоть и подарил куницу, да скажу правду, что грамота ваша, змиевская, облыжного сорта. Погодите, увидите, как весь наш старинный мужицкий корень на рога возьмут и на семена не оставят.

Скупщик пошёл в дверь. Я взял его за кушак, оттащил от двери и сказал:

– Постой, я тебе тоже правду скажу. Ты нас всех купить и продать грозил, и верно, дать бы Вертухиным, Ерохиным власть да силу, тогда бы нас в кулаке держали! А теперь мы вас нисколечко не боимся, и, как ни кричи, ничего не выкричишь. Грамота наша против вашего самодурства – лучшее дело.

– Знаю я, всё знаю! – вопил Вертухин, и он ушёл, хвастаясь, что всё знает.

– Ну и дела, – смеялись мужики, – поди к ним просить фунт хлеба – не выпросишь, а тут десять пудов кинули.

– Они возьмут своё, – сказал Гриша.

– А я экзамен выдержал. А, каково! – весело куражился Павел.

– Это я тебе пособил, я, скажи мне спасибо, – кричал Антоша, – и за это ведро капусты давай, давно сулишь.

– Ладно, дам, отвяжись, – засмеялся Павел, – только мне больше Змиев помогал, а он у меня ничего не просит.

Я лишь боялся потерять ученика: Павел загордился своим успехом. Уже не слышно было, чтобы он дома читал. Мои ученики, деревня и даже вся волость долго говорили о выигранной Павлом кунице, и, где бы Павел ни появлялся, все его поздравляли, а мальчишки указывали на него один другому:

– Смотри, этот мужик куницу вычитал. Васька Змиев его грамоте научил.

Павел стал меня избегать, ему скучно было заниматься, тогда я пошёл к Дрёмушке. Она сдержала своё слово и взялась за читальни.

– В этом году ничего не успеем с читальнями, – сказал мне Меркурий, – только ты можешь что-нибудь сделать. Да, ты можешь, это тебе на следующий год. Анна умеет читать, а ты всё развернёшь.

Так говорил Меркурий, потому что я обольстил его своими разговорами о занимательных читальнях-библиотеках. Он слышал о драках в нашей волости, о поножовщине, о мерзком озорстве молодых ребят, слышал, как всюду прорекали старики:

– Это перед большой бедой так народ со смыслов соскочил. У всех одна дурь, и ничего никому делать не заказано. Что было хорошего – забыто, а вновь не сотворено. Остаётся одно: напиться да в драку. Будто у всех чёрт душу украл.

Меркурий знал ещё, что иные поножовщики, озорники ко мне в гости заходят, и на меня он смотрел как на заботливого просветителя. А какой я, к шуту, просветитель, если я немного больше, чем эти ребята, знаю! Очень часто по вечерам я откуда-нибудь возвращался домой и встречал толпу молодых ребят; они останавливали меня и не отпускали, пока я не рассказывал им какой-нибудь занимательной истории. Это теперь вошло в обычай, и я часто думаю, что мне придётся быть здесь ходячей книгой. Началось это в один из осенних вечеров. Я шёл по деревне Шиловской, слышал гомон и крики молодых голосов, ещё где-то причитали бабы. Вдруг всё это заглушил треск изгороди. Я увидел толпу парней с кольями, они шли, почти бежали мне навстречу.

– Куда? Зачем? – крикнул я, стоя на дороге.

Парни хлынули на меня, смотрели в лицо, хватали за руку.

– А-а, Змиев, Василий Ильич! Щипачей бить идём, они Игнаху да Митюху отлупили сейчас. Мы их вот примем, избы раскрошим ихние!

– Не уйти вам, ребятки, из Шиловской, ей-богу, не уйти, – засмеялся я.

– Как так не уйти?

– Спорю на что угодно. Не уйти, говорю вам, отсюда.

Парни окружили меня плотнее.

– Что такое морочишь ты?

– Да поверьте, – сказал я, – со мной был такой чудной случай – тоже, как вы сейчас, не верил, что не уйду, а вышло не так, сразили меня на месте.

– Ну, тебя-то, черта, сразили? Где это так?

– А вот как: случилось это в городе. Мне тогда, это лет восемь назад, было двадцать годков. Как-то весной бродил я по базарной площади, зашёл в калашные ряды пошутить с калачницами и послушать, как поют слепцы. И вот около церковной ограды, где пели слепцы, я увидел такое, чего никогда раньше не встречал на базаре. На большом камне сидела молодая женщина, похожая на дочь купца-миллионера Софью Ляхову. Софья наряжалась как деревенская девка, всюду ходила одна и поминутно отгоняла от себя всяких франтов. Она была очень красива лицом, статна и горделива. Я вгляделся в женщину на камне, это была не Софья, а самая простая горожанка, одетая в брезентовое пальто, но лицо такое, что я минуты две стоял как одуревший, взглядывал на женщину и тотчас опускал глаза. Её красота заворожила меня. Женщина ела калач и смотрела на слепцов, они пели стих про Алексея, Божия человека. Я подошёл к ней совсем близко и спросил: «Ты любишь слушать слепцов?» «Нет, не очень», – ответила она, не взглянув на меня.

Я подумал, что бы ещё ей сказать; вдруг к женщине подбежал парень в распахнутой коричневой тужурке и, размахивая руками, торопливо заговорил: «Давай деньги, муж твой послал меня, он лошадь покупает, давай скорей! Славная лошадь, чтоб не выпустить из рук». «Чего же он сам... – сказала женщина, вынимая из кармана юбки деньги, и взглянула робко на парня. – Да ты верно ли говоришь?» – «Ну вот, провалиться мне на этом месте, раз муж твой доверяет мне, значит, чего говорить!»

Парень схватил деньги и скрылся в рядах торговцев. Женщина посмотрела ему вслед и вздохнула: «Посадил меня тут, и жди его; да ещё каких-то приятелей посылает за деньгами, казначей я ему». «Верно, – сказал я, – тебе тут скучно сидеть, хочешь, я куплю тебе калач у тётки Улиты? У ней самые лучшие калачи».

Женщина засмеялась, посмотрела на меня очень сердечно, весело.

«Ты знаешь Улиту, а Ирину Абрамовну не знаешь? Вот у ней калачи... Только её сейчас нет, она ушла домой».

– Вы слушаете? – спросил я парней.

– Говори, говори, слушаем.

– Так мы разговорились, – продолжил я. – Она сидела, кутаясь в пальто, а я стоял, любовался на неё, и это ей нравилось. Певцы всё пели. Базар стал затихать –

торговля кончалась. К нам подошёл человек с чёрной бородой в фуражке с лакированным козырьком.

«Марина, давай деньги, лошадь я покупаю».

Женщина испуганно вскочила, поводя руками.

«Что ты, Семён, говоришь, да ведь ты прислал человека за деньгами, парень в коричневой тужурке, и я ему отдала...»

«Какой парень? Что ты, дура?!»

Мужик оглянулся и побежал куда-то.

«Ой, что я наделала, ой, ой, – застонала Марина, – это был жулик!»

Она огорчённо сжимала руки, губы её дрожали, лицо покраснело. Марина готова была разреветься.

«Теперь муж убьёт меня, а я знаю, он этого хочет».

Мне стало жаль её и обидно, что она поддалась на обман.

«Послушай, Марина, пусть твой муж прибьёт меня, а не тебя. Я твой друг, поверь, – гордо сказал я, – за тебя отдам жизнь».

Марина мило, сквозь слёзы, взглянула на меня.

«Как же это можно, что же он слепой, что тебя будет бить вместо меня?»

«Очень просто. Только скорей надень моё пальто, а я твоё, платок дай, и я сяду на камень, а ты уйди в сторону, меня легко можно принять за тебя».

Марина, должно быть, очень боялась побоев и сразу же согласилась переодеться, после чего она ушла за будку, а я остался сидеть на её месте. Сидел склонившись, будто в большом горе, ждал мужа Марины и дождался. Он подошёл и хватил меня кулаком по голове. Я ткнулся лицом в землю и подумал: сейчас он будет меня пинать. Вместо того стал он меня лупить по спине палкой да приговаривать:

«Не будь дурой! Не будь дурой!»

Раз десять ударил он меня, потом бросил палку и ушёл. Я поднялся, Марина подбежала ко мне и схватила за рукав пальто.

«Ну, что, больно он тебя?»

Я охнул, расправляя спину.

«Сердитый он у тебя, неужели ты такого любишь?»

«Не знаю, как сказать... – она вдруг поцеловала меня в губы. – Я, может быть, из-за тебя дурой сегодня стала, деньги-то парню отдала. Я тебя уже третий раз вижу здесь. Первый раз видела, как ты калач у тётки Улиты покупал недели две назад. Я тогда стояла рядом с мамой, – она тоже калачами торгует, Ирина Абрамовна и есть моя мама. Теперь пойдём к ней».

У меня на губах горел Маринин поцелуй, и я сказал: «Пойдём, я согласен, только ты позволь мне раз поцеловать тебя».

«Там, там поцелуешь», – засмеялась Марина, подхватила меня под руку, и мы пошли.

Дорогой она поглаживала мою спину и утешала:

«Бедненький мальчик, славный, но ничего – до свадьбы заживёт. Жаль, что я замужем, а то я вышла бы за тебя».

«А ты брось мужа, разведись».

«В самом деле, это бы хорошо, – сказала Марина, – а вдруг ты тоже бить меня будешь?»

«Вот, глупая, неужели тебе я сейчас не доказал своего смирного характера?»

Мы подошли к старому деревянному домику с садом.

«Ты постой минутку на дворе, а я сейчас вернусь, – сказала Марина, вбегая на крыльцо».

Я остался один, оглянул дом и подумал: «Что-то сегодня здесь будет со мной, совсем околдовала меня эта Марина».

«Заходи!» – крикнула она с лестницы, захватила меня за руку и потащила за собой.

Толстая калачница Абрамовна встретила меня с поклонами.

«Заходи, соколик, погости, порадуй старуху, будто и видала тебя где-то».

С Мариной она обходилась как с важной гостьей, не знала, куда посадить, обдувала стулья, сменила салфетки на столах.

«Уж сейчас я, сейчас я дорогих гостей...» – торопилась старуха, и голос её таял, замирал в другой комнате, где она что-то доставала из шкапов, шкапиков.

«Ах, я очень хочу кофе с ликёром, – сказала Марина и засмеялась, взглянув на меня, – видишь, какие у меня желания, так я могу разорить любого мужа. Что бы ты сделал, если бы твоя жена захотела кофе с ликёром?»

«Я бы сказал: это будет тогда, когда я буду получать триста рублей жалованья в месяц».

Марина одобрительно кивнула головой.

«А что бы ты сделал, ну вот, если бы у тебя вдруг стало на руках много денег, этак тысяч пятьдесят?»

«Что говорить об этом, у меня никогда не будет таких денег».

«Нет, нет, ты скажи», – настаивала Марина.

«О, я знаю, что делать: я бы озолотил наш край. К примеру, у нас мужики не слишком расторопны на хозяйственные дела, не умеют, и сил нет в одиночку что-нибудь сделать. Я взял бы в пай полсотни мужиков и развернул такое хозяйство, какое никому и не снилось, а потом народ к нам полез бы десятками, сотнями дело наше растить. Я люблю такие шумные большие дела».

Марина с любопытством смотрела на меня.

«Это что-то особенное, – в раздумье сказала она, – по-моему, куда лучше бы заниматься скупкой и выделкой мехов, но и хозяйство не худо».

«Да, не худо, – засмеялся я, – но есть поговорка: сидя на рогоже, не рассуждай о соболях.

Абрамовна угощала нас кофеем и сладкими пирожками. Марина говорила, что она давно знает меня, с тех пор, когда я учился в городском училище.

«Я нарочно ходила посмотреть на известного шалуна Ваську Змиева, тебя все ругали, и я хотела тебе подарить плитку шоколада, да это не вышло».

Я видел, что моя Марина с каждой минутой становится какой-то другой, не по-

хожей на ту, которую я спас от побоев, да и Абрамовна удивила меня, вдруг шепнув мне:

«Не выпускай, парень, счастья!»

Я ещё ничего не мог понять, и вот всё объяснилось в этот вечер.

После заката мы с Мариной стояли в городском саду, я её уговаривал завтра поехать со мной на новое место моей работы, в дубровское лесничество.

«Мы завтра и решим, завтра и скажем, – говорила Марина, – а сейчас ты узнаешь новость, нас выследили, смотри».

К нам подходил Маринин муж. Я обернулся к нему, ждал, радуясь случаю отплатить ему за палочные удары. Он почтительно снял фуражку и поклонился нам.

«Софья Матвеевна, батюшка ваш приказал передать вам, что он вас ждёт домой, а с этим молодым человеком, – указал он на меня, – Матвей Никандрыч хотел бы отменно побеседовать.

Пока этот человек говорил, я таращил глаза то на него, то на Марину-Софью, понял, что я вляпался в диковинную историю, и краснел от гордости, что красавица, дочь миллионера Лехова, взялась обольстить меня и стала моей невестой. «Но, может быть, всё это только шутка?» – подумалось мне, и я сердито посмотрел на Софью. Она кивнула чернобородому человеку, тот дотронулся до козырька фуражки и отошёл в сторону.

«Ну-с, – лукаво взглянула на меня Софья, – теперь будем продолжать наш прерванный разговор, может быть, ты отложишь свой отъезд?»

Я развёл руками, потом приложил руку к сердцу и сказал:

«Я буду слушать, что ты мне скажешь, а то я...»

«Ну вот, как же ты будешь говорить с моим отцом, ведь он сердитый? Впрочем, знай: он дал мне слово выдать меня замуж за того, кого я выберу».

Я опять покраснел от гордости и обрадованно засмеялся, хватая Софью за руку.

«Значит, ты выбрала меня? Тогда я пойду к твоему отцу».

«Семён! – позвала чернобородого Софья. – Идём!»

Мы подошли к дому Лехова.

«Ты знай, денег со мной ничего не даст мой родитель», – шепнула мне Софья.

«Мне не надо».

«Смотри не ошибись...»

«Ну разве я ошибусь», – похвастался я перед самим собой.

В леховском доме было тихо. Огней не заметно, уже светлые ночи развёртывались. Софья вбежала в дом раньше нас, а я и Семён вошли в полутёмную переднюю и стали ждать. Я стоял и смотрел на Семёна. Он, ступая на носки и поводя плечами, обошёл кругом меня, погладил свою бороду и с ехидцей спросил:

«Как спинка, хребетик не болит?»

«Ты чёрт, тебе палачом быть», – проворчал я.

«Хе-е, тонко сделано-с всё, по нотам разыграно, потому практика у нас».

«Какая практика?»

«Тс-с, зовут, – встрепенулся чернобородый, указывая на высокую дверь. Там за дверью резко два раза подряд брякнул колокольчик. Я вошёл в комнату, сплошь заставленную мягкою мебелью; в углу была ширма. Купец Лехов сидел на диване в рваном халате и расчёсывал белой гребёнкой густую, нескладную, как помело, свою рыжую бороду. Он покосился на меня, сесть не пригласил.

«Это кто вошёл?» – спросил он куражливым тягучим голосом.

«Это я, Змиев Василий Ильич».

«Та-ак, а ты чем известен?»

«Ну, – думаю, – сейчас я тебя, купец, раскуражлю».

«Родом известен я, Матвей Никандрыч, очень известен, – и двинулся я к купцу поближе, – известнее и счастливее нашего роду в уезде нет».

«Неужто? Ну-ка, скажи!» – купец уставился на меня с интересом.

«Известность наша такая, – сказал я, – сейчас отцу моему сорок лет, деду шестьдесят, прадеду восемьдесят, а прапрадеду сто. Все четверо одинаково хорошо работают, по праздникам все четверо же в бабки играют и наперегонки один от другого убегают».

Лицо купца перекосилось от усмешки.

«Ну и ловкач ты, ну и ловкач, как я погляжу, – затряс он головой, – настоящий Змиев. Прознал я, что ты на моей дочери возмечтал жениться, а я тебе скажу, что, хоть ты и известен родом, только дочь моя тебе не пара. Потому глупость ты эту оставь».

«Это не глупость, Матвей Никандрыч, это дело хорошее. Мне пора жениться, ведь весь мой род – и отец, и дед, и прадед, и все, – девятнадцати лет женились, а я уже на год опоздал».

«Хе-е, успеешь ещё, ведь жениться – не чихнуть, можно и погодить. Ты лучше возьми отступного, этак тысяч пять я тебе дам».

«Нет, спасибо, я без денег возьму Софью Матвеевну».

«Хе-е, вот какой гордой! А ты возьми десять тысяч».

«Нет».

«Ну, двадцать!»

«Не надо мне и тридцати».

«Ну сорок возьми!» – разгорячился Лехов и, вскочив с места, стал кашлять; кашлял он долго, выпучив на меня глаза. Мне вдруг стало тошно вести этот торг. Я знал, что никаких тысяч мне купец не даст, и решил сразу всё прикончить. Подскочив к Лехову, руку ему протянул и говорю:

«Давай по рукам, отваливай два миллиона, меньше ни копейки».

Лехов перекрестился и сел опять на диван.

«Господи помилуй, с кем говорю-то я, грешный?!»

«Вот у тебя и нет двух миллионов, нет, нет», – тихонько смеялся я.

Тут купец затопал ногами и зашипел на меня:

«Да я тебе, наглец, рубля не дам! Как ты со мной говоришь?.. Ну-ка, сейчас посмотрим на твою ухватку». – Он брякнул в колокольчик, и в комнату вошёл чернобородый, за ним двигался белобрысый парень в ситцевой рубахе.

«Проводите его с почётом», – кивнул Лехов на меня.

Что говорить, я знал, о каком почёте пойдёт речь, и был даже этим обрадован.

«Вот спасибо. Уж если в гости зазвали, так будете меня помнить». – И оттолкнул от себя чернобородого, оттолкнул и парня. Они разом с двух сторон кинулись на меня, но я опять отбил их, отскочил к окну, и тут у нас началась кутерьма. Парня я шлёпнул в пузо ногой, а чернобородого треснул кулаком по башке, не дал им опомниться и давай молотить то одного, то другого. Скоро они оба с рёвом уползли из комнаты. Лехов корчился на диване и сучил ногами.

«Дьяволы, осрамили меня, гады!» – кричал он.

Я только мельком взглянул на Лехова, и сразу же схлынул с меня пыл драки, когда увидел Софью. Она стояла у ширмы и смеялась. Я смотрел на неё, поднимая с полу фуражку, и мне показалось, что Софья смеется надо мной. Значит, она всё время стояла за ширмой. Я надел фуражку и пошёл.

Сзади шла Софья.

«Зайди в сад», – шепнула она и убежала.

Чудный весь этот день был для меня, уже второй день начинался. И вот я в леховском саду, увидел открытое окно, в окне Софья. Неужели ещё что-нибудь хитрое приготовлено мне этой купеческой дочкой? Ни слова не говоря, я полез в окно, и приняли меня неплохо.

«Теперь тебя у нас никто не посмеет тронуть», – сказала Софья.

– Ну вот и всё, весь сказ, – засмеялся я, оглянув парней, – теперь идите бить щипачей.

– Нет, ты доскажи, что ещё было. Да зайдём в избу покурить, а то мы застыли.

– Кузьма, пустишь нас?

Кузьма стоял тут же в толпе, он повёл нас в избу. Парни бросили колья и засмеялись.

– Хитрый Змиев, разманил вот. Мы думали, что такое у него... Ну, досказывай, чем кончилось.

– Рассказывать осталось мало, ребята. Я стал ходить таким манером к Софье каждую ночь, но только недолго, этак с недельку, а потом меня призвали в армию. В это время велась война с немцами.

– Ну а с миленькой что? Чем кончилось?

– Конец невесёлый. Через полгода я узнал, что Софья умерла от чахотки, а Лехов стал нищим.

Конец моим слушателям не понравился, они верили всему рассказу, кроме конца, он им казался сочинённым.

Как бы то ни было, а с этого дня я стал рассказчиком. Меня останавливали на дороге парни, ребятишки. Приходили ко мне на дом, толпа за толпой, и требовали рассказов. Поэтому-то Меркурий Матвеич и стал смотреть на меня как на просветителя. Ну что ж, кое-какие успехи были уже у меня. Только вот Павел, мой лучший ученик, стал отставать, но мне помогла Анна Ивановна. Она довольно ловко взя-

лась за читальню, десятка три-четыре было книг для начала, и народ приохотился к читальне. Была у нас в волости ещё вторая читальня, но её погубил неумелый чтец, а у Анны Ивановны дело наладилось. Она так умела читать, что даже Ерохин заходил её послушать. Мужики и бабы, слушая её чтение, сидели в избе как на знатном празднике.

– Будто положит она в сердце каждое словечко, – говорили бабы про Дрёмушку.

Однажды Дрёмушка пришла читать к нам в избу Николы Мокрого. С ней пришёл её почитатель Игнатий Денисыч, старик с румяным моложавым лицом. Он всю жизнь служил в Мариинском театре и любил рассказывать о знаменитых артистах. В читальне Денисыч в весёлую минуту потешал посетителей пением. Он знал наизусть оперы «Руслан» и «Онегин», но чаще всего любил петь из «Фауста», уверяя всех нас, что он поёт так, как пел Шаляпин, о котором он много говорил.

– Только у Шаляпина бас, а у меня альт, – пояснял Денисыч, моргая весёлыми маленькими глазками.– Собственно говоря, я люблю больше женские голоса, особенно контральто, как у Анны Ивановны. У ней чудесное контральто; когда она читает, я в восторге от её голоса.

Появление Игнатия Денисыча в избе Николы Мокрого было встречено дружным смехом:

– Гости идут! Гости!

Денисыч, входя в избу, пел своим довольно скверным голосом:

Сбылись давнишние мечты,
Сбылися пылкие желанья.
Минута сладкого свиданья,
И для меня блеснула ты…

Разматывая цветной шарф, которым были закутаны шея и лицо, Игнатий Денисыч кряхтел и моргал глазами.

– Сегодня, знаете ли, варварский ветер, а мы, значит, к вам на гастроли.

К ногам красавицы надменной
Принёс я меч окровавленный,
Кораллы, злато и жемчуг…

– Это Финн так поёт в опере «Руслан и Людмила», – пояснил весёлый старик.

– Эк чудит, эк чудит, Денисыч, – смеялись мои ученики. Больше всех смеялась Дуня Мученица, смеялась до слёз. Никола даже подивился на жену.

– Вот тя сокрушило как, худое ты место; годов десять не смеялась, а тут…

Игнатий Денисыч замахал руками и сказал:

– Я умолкаю, товарищи, ибо Анна Ивановна должна читать. Я пришёл её слушать, и вы послушайте.

В избе было много народу, кто сидел на лавках, кто просто на полу. Анна Ивановна сидела в углу за столом и, казалось, дремала. У стола торчала длинная фи-

гура Николы. Чтобы не заслонять собою света лампы, Никола встал к столу на колени, подпёр свою маленькую голову руками и стал смотреть на доброе, румяное лицо учительницы. Вдруг она встрепенулась и спросила с живостью:

– Кажется, собрались? – Её белые большие руки перебирали книги, газеты. – Товарищи, разрешите мне читать.

– Читай, читай, – сказал Никола Мокрый и оглянулся на слушателей. – Заприте рты, открой уши.

Дрёмушка стала читать газетную передовицу. Эту передовицу я читал сам для себя, и теперь, слушая её в передаче Дрёмушки, я всё больше и больше дивился. Обычная газетная статья вырастала в мелодичную живую речь, и я догадался, что Дрёмушка не читала, а пересказывала статью, и выходило сильнее, проще и благозвучнее. Она читала недолго, отложила её в сторону, и я увидел, как все слушатели с сожалением вздохнули. Газету заменила книга, и Дрёмушка, как бы балуясь, прочла несколько слов из маленького рассказа.

– Так скучно, так читают все, – сказала она, – нет, совсем не скучно, смотрите.

Дрёмушка встала, её лицо, голос вдруг изменились, в них были доброта, какое-то торжество словолюбия, радость, и из книжного рассказа создавался будто другой рассказ, полный сердечности и красоты.

Тишина в избе и ротозейные лица моих учеников уверили меня в том, что я не ошибся, что сегодняшний вечер есть начало предстоящей большой работы.

На второй день ко мне пришёл Павел. Я умышленно избегал разговоров об успехе Дрёмушки, а Павлу хотелось поговорить как раз об этом.

– Ты что ж это, учитель, совсем меня закинул? – обидчиво сказал он.

Я засмеялся.

– Нет, я не думал тебя куда-то закидывать, учился ты хорошо, читать стал – ведь куницу выиграл. У тебя отличный голос, но главное – то, что тебе легко всё даётся. Ты бы мог научиться читать не хуже Анны Ивановны.

Павел провёл рукой по лицу, подумал, глядя в пол, и поднял на меня свои голубые смеющиеся глаза.

– А что, Васька, попробую я так научиться, славно будет.

– Ну вот, давно бы так, – сказал я, – ведь недоученный хуже неучёного.

Глава пятая

В конце зимы Глафира прислала мне большой лист бумаги, на нём были удивительные каракули.

«Милый Васька, – писала она, – мне очень хочется твоих сказок, да ещё больше хочется видеть твоё бородатое лицо, старый ты дуралей, – ведь тебе скоро уже тридцать лет стукнет. Одним словом, я соскучилась в лесу, так бы и ускочила отсюда. А батюшко норовит до большой распутицы прожить здесь. Жаден он до работы, а каждый день твердит, что последнюю зиму работает. “Тебя, – говорит, – Глафирка, я женю, и работайте с мужем”. Наглядел уж он здесь и мужа мне. Это

Спиридона Дупленского, брата вашей Парани Ерохиной; на неё похож, и когда он смеется, то мне тошно, да и имя какое-то лесное – Спиридон Дупленский. А батюшке он пришёлся по душе, и они уже, кажется, сговорились... Похоже, что Спиридон метит к нам хозяином».

Я долго разбирал досадные и милые каракули, потом взглянул в оттаявшее, будто хрустальное, на солнце окно. Пора уже бросать работу в лесу, вон слепой Макар с братом приехали с работ. Высокий слепой Макар тихо шёл мимо моих окон, колесил ногами по навозной сырой дороге. Я подумал, что, может быть, слепой с братом работали там же, где работает Глафира, и пошёл на улицу: может быть, они вместе возили дрова и шпалы. Я представил резвую фигуру Глафиры рядом с Макаром и шёл к нему, радуясь встрече, притом ещё я в первый раз нынче почувствовал прилив к сердцу весны. Воздух, казалось, таял на лице и на плечах, а солнце завивало волоса на моей голове.

В одно время со мной вышел на дорогу Антоша. Он, искосив голову, поглядел, как шёл слепой, и звонко крикнул:

– Ишь ты как, Макар, сегодня ловко шьёшь ногами!

– Ты что, дядя Антоша? – обиделся слепой. Он остановился, оборачиваясь лицом к солнцу.

– Теплынь, – помахал он рукой, – и так льётся солнышко, что я почти избы вижу. Это редкость. А ты, дядя Антоша, со мной, с тёмным, говоришь, как с дураком.

– Я так, спроста, я сам, как таракан, брожу, – покряхтел Антоша.

– Мне на станции тоже сказали... – усмехнулся Макар. – Кладу я дрова в костер, а какие-то мужики идут мимо и говорят: «Что ты кладёшь дрова, как слепой?»

– Ты ко мне идёшь? – спросил я Макара.

– К тебе-то я думал зайти, а прежде я к пильщикам пройду, вон, слышно, пилят. Это у Ерохина; говорят, он баржу хочет шить для перевозки товаров.

– Ну что ж, иди к пильщикам, а я пойду в кузницу работать, верховские мужики привезли много сох наваривать.

Я пошёл рядом с Макаром.

– Не много уж снегу в полях, – говорил он, – а в лесу ещё много.

– Ты почему знаешь?

– Знаю: услышу, как захлопочут ручейки, значит – весна кисель в полях варит, а в лесу ещё олень по насту бегает. Теперь всякая тварь зашевелилась, вон косачи зауркали, во дворах да хлевах телята, ягнята голос подают.

– Кто с вами работал в лесу и на станции? – спросил я.

– Много было народу: Вдовины, Сидоровы, Дупленский, Иван Горячий с Глафирой.

– Иван Горячий ещё не собирается домой?

– Теперь скоро все приедут.

Я ждал, не скажет ли слепой чего-нибудь о Глафире, а он опять заговорил о весне, что скоро лес надо сплавлять, воды нынче будет довольно.

В эти весенние дни я был в хозяйственной суете. Надо было и работать в кузнице, и вывезти из полян сено, готовить рамы для парников, гнуть полозья. По утрам на заре хотелось бежать в лес, где перекликались, чуфыкали и бормотали косачи. Гриша Ерохин знал большой косачиный ток вёрст за восемь от деревни на лужемских полянах. Мы пошли туда на несколько дней, рассчитывали пожить в старой лесной избе, срубленной сто лет назад дедом Николы Мокрого. Нам хотелось попасть на токовище до заката и всё там приготовить к утру, чтобы спокойно и удобно было смотреть на косачиные бои. Бывало, я занимался охотой или просто любил бродить в лесу с ружьём и никогда не думал, хорошо это или плохо, – довольно было того, что это занятно, – а потом я заметил, что охота вызывает в нас беспечный и весёлый дух, точно мы хотим в лесу, в полях разом взять то, что ежечасно теряем. Несколько лет подряд я не испытывал этого, и вот, шагая по грязновато-сальной лесной дороге, я посматривал на знакомые места. При ярком солнце лес казался реже, стройнее, чем всегда, всюду перемешивались причудливые дымчатые тени и свет, и где-то далеко мелькали более чистые, чем у дороги, снежные полотнища. Деревья казались тёплыми, с них капало, и падали иглы хвои. Около полян в густых ельниках неутомимо бормотали косачи. Я смотрел, слушал, и что-то новое, тихо-радостное находил я во всём и думал, что, когда вернусь с охоты, приедет Глафира. Иногда близко слетали куропатки или шмыгал через дорогу заяц. Гриша хватался за ружьё, но заяц исчезал в лесу.

– Ах ты, косой, – смеялся Гриша и взглядывал на меня.

Он смеялся, двигая рыжеватыми бровями, чуть загоревшие щёки его сияли как медь. Гриша – смирный, рассудительный паренёк; он очень любит животных, и его любимое занятие – ухаживать дома за коровами, телятами и овцами. Он молчалив и строг к людям. Часто заходит ко мне и всегда говорит и думает не о том, о чём обычно говорят и думают мужики. Таскает книги от Меркурия Матвеича. Должно быть, он очень увлекается историей. Это я заметил в первый наш разговор. Во время своей свадьбы Гриша заговорил со мной о Меркурьевых затеях и потом неожиданно спросил:

– У тебя нет ли чего-нибудь интересного из истории?

Не дожидаясь моего ответа, он продолжал:

– Когда я ездил в город, мне в укоме выговор сделали. Какой ты, говорят, комсомолец, если ты стариной увлекаешься? Я спрашиваю: что же нужно, товарищ? «Историю партии, – говорит, – читай. Историю партии». Да я, говорю, товарищ, лучше тебя её знаю, читал, и потому лучше знаю, что историю изучал, а ты, говорю, и не знаешь истории. – «Мне, – говорит, – и знать не надо».

Ночью мы сидели в лесной избушке втроем, к нам после заката пришёл Меркурий. Он нам рассказал, как началась вчера постройка кооперативного кожевенного завода, – это тоже затея Меркурия.

Потом Гриша заговорил о том, что в деревне трудно и неинтересно жить.

– Я ушёл от своего отца, а теперь думаю и из деревни в город уйти.

– Почему? – спросил я.

– Ну что здесь?.. В городе и развлечение настоящее, и подучиться кое-чему можно, а здесь как-то не то.

– Видишь, видишь, – кивал на Гришу Меркурий, – вот она какая молодёжь, чуть оперится и в город во все лопатки. – Меркурий замолол руками, загорячился, как всегда. – Ну и пускай идёт в город молодёжь – в рабфаки, в техникумы, в вуз, потом из них многие вернутся в деревню и будут дельными работниками; а пока деревня пропутается с тем, что есть; к тому же теперь политика взята на укрепление мужицкого хозяйства, промышленность растёт, мужик работает, молодёжь учится, значит – всё хорошо.

– Казалось бы, так, – сказал я, – но те люди, которые уходят в город, не вернутся в деревню, им всегда будет здесь скучно: мало развлечений, и всё не то, что нужно. Говорят, здесь звериная жизнь, в деревне живут Ерохины. Положим, будут посылать в деревню для работы людей, но ведь мы знаем, что эти люди перебегают с места на место, чего-то ищут и на всё жалуются. Нам нужны не налётные, а коренные работники, пусть бы они полюбили дело в деревне и взялись бы за него плотно. Ты же, Меркурий, говорил, что деревню надо перестроить.

– Да, да, капитально, капитально перестроить, – обрадовался Меркурий и поднял кверху грозящий палец, – но умело.

Я усмехнулся и продолжал:

– Верно, так надо вести дело и надо начинать настоящую боевую работу по грамоте. Я сразу же наших неграмотных учил читать, и выходило знатно, и в деревне теперь сразу же надо создавать хорошие библиотеки, театры, клубы, без этого мы ничего не сделаем. Пусть приедут к нам городские работать и найдут у нас хотя начало того, что всем надо. Для них же надо заводить ладно устроенные общежития, лаборатории, разные показательные участки. Без всего этого я не принимаю деревни и уйду из неё, если не удастся это сделать.

– О-о, – сказал Гриша, – будет ли это через десять лет? А мне хотелось бы раньше.

– Да, да, действительно… – вздыхал Меркурий. – Мы переживем ещё не одну кампанию, прежде чем начнётся кампания умственного развития масс.

– Тут не кампания, – сказал я, – а обычное дело. Вот мы пробуем, налаживаемся. Может быть, выйдет толк.

Меркурий благодушно надувал своё красное, нагретое огнём каменки лицо и усмехался.

– Будет толк, если сам с толком, – он посмотрел на часы и встал. – Пора, а то мы протолкуем здесь до восхода.

Мы вышли из избы на хрупкий, скованный ночным холодом снег. Меркурий оглянул тихий тёмный лес и сказал:

– Везде теперь люди спят: в городах, в деревнях; теперь только петухи поют, а что мужикам во сне снится? Эх, жизнь, чёрт возьми! – неожиданно закончил Меркурий.

Мы по насту прошли на поляну и спрятались каждый в свой шалаш. Меркурий закуривал, чиркал спичку за спичкой и ворочался в шалаше, как на полатях. Это сердило меня: думалось, Меркурий попортит нашу охоту. Наконец он перестал возиться. Я оглядывал тёмный круг леса и прислушивался к морозным шорохам. То казалось, в ложбинах оседает снег, то будто кто-то осторожно шагает по проталинам. Вдруг тишину полоснул разгульный призыв токовика «чу-хви-иш». Он сидел где-то на крайних лесинах.

– Чух, чух-ши, – отозвался другой петух в той стороне, откуда мы шли, и затрепетала, гакнула тетёрка. Тотчас на широкую проталину среди шалашей спустился токовик. Он долго торчал чёрным пеньком, потом, распустив крылья, опять разгульно чуфыркнул и сразу же благодушно забормотал своё «ур-тур-ур». Со всех сторон понеслись торопливые отклики и зашумели крылья птиц. Кругом токовика уже вился широкий хоровод, а к нему всё летели, падали из сумрака новые петухи. Хоровод рос, растягивался, плясал, поляна курчавилась и рокотала. В рассвет, когда заря, будто цветом иван-чая, усыпала просеки и просветы звериных троп, на поляне, как весенний поток, полыхал, шумел бой.

Петухи-бойцы кидались друг на друга, их крылья хрустели, точно ломались в схватке, широко раздувались белоснежные перевязи хвостов. Взлетали винтом боец на бойца. Побитые, взъерошенные отбегали, другие урчали, чуфыркали, волочили по земле крылья, точно оттачивали их для боя.

На заре стали переливчатее, разгульнее голоса, и всё гуще, яростнее раздавались кремнёвые удары крыльев. Шумные наскоки, затейливое, форсистое кружение – пляска ловких бойцов, которые уже целый час мелькали передо мной, но я всё ещё не решался стрелять. Мы условились стрелять на восходе, когда косачи бывают в высоком задоре и не боятся выстрелов.

И на восходе я не спешил браться за курок ружья – вдруг да косачи улетят и совсем, а я ещё не налюбовался! Вот по небу радугой пробежали лучи, высокий сосновый остров за поляной засиял золотой опушью верхушек и бросил свинцовую тень на снега в ложбине. Задорно клокочущая вереница косачей была совсем близко от меня. Я отчётливо видел синеватый стальной отлив на их спинах, зеркальный блеск перевязи крыльев и красные линии бровей. Выстрелил я после Меркурия и Гриши. Косачи разом поднялись с поляны и расселись на крайних лесинах. Через некоторое время они один по одному снова спустились на место тока, и с прежним задором зашумел бой.

Мы покинули поляну, когда солнце уже сняло с леса холодный бисер ночи. Снега плавились в серебро, и на лучистой их глади беличьими хвостами лежали утренние тени лесин. Привольно синели далёкие просторы лужемских мхов.

Глава шестая

Пока я был на охоте, дома случилась беда. В нашу деревню пришёл мужик с медведем. Мужик-вожак выдавал себя за коновала, был опутан ремнями, на по-

ясе висела кожаная сумочка, украшенная медным конём. Мужик и медведь долго забавляли народ разным шутовством. Медведь даже умел ходить в запряжке. Запряжку вожак делал из ремней. Запрягал медведя в борону, и он таскал её исправно. После шутовства вожак зашёл к моему отцу пить чай и уговорил его холостить Кирюху. Подходя к избе нашей, я увидел у крыльца под навесом на цепи медведя. Медведь тихо ворчал, поглядывая на открытую дверь сеней. В сенях был топот и рёв, казалось, там тоже медведи. Поднявшись на крыльцо, я увидел драку. Мой родитель яростно трепал коновала-вожака.

– Что такое? – крикнул я.

– Зарезал, дьявол, Кирюху зарезал!

Я уронил ружьё и кинулся во двор. Кирюха, весь мокрый, крутился по двору и хрипел. Ноги его дрожали и гнулись, по соломе волочились кишки. Я повернул в сени, думая, что лошадь надо добить. Коновал вырвался из рук моего родителя и неуклюже выскочил из сеней, прыгнул с крыльца и побежал.

– Устрелю! – вопил мой старик ему вдогонку. Заметил меня и повалился в ноги.

– Васька, теперь ты бей меня!

Я прошёл в избу. Там на полу ничком лежала мать. Я постоял, глядя на неё, вспомнил, как отец показывал мне полгода назад Кирюху. Это был весёлый житель нашего двора. Ему надо было постоянно шалить, он охотно шёл к рукам, хотел, чтобы с ним играли, в шутку теребил за рукав, и мягкие губы его смеялись.

– Ишь ты, ишь ты, анафема, – ворчал тогда на Кирюху отец.

Я вздрогнул, услышав во дворе выстрел, и пошёл в сени. Мать приподнялась, застонала.

– Ой, старик, старик, всю жизнь так...

Отец шёл из двора, он качался как пьяный, тащил, держа за ствол, свою старую берданку. На крыльце кто-то грузно топтался, затем из-за косяка в сени заглянуло рыжее широкое лицо Яшки-спекулянта.

– Экое дело-то у тебя, дядя Илья, – запел Яшка, – уж так, верно, быть, от убытку, что от судьбы, не тройке не ускачешь. Тельный жеребец-то был, мясо я могу купить, а то и со шкурой.

Отец злобно посмотрел на Яшку.

– Ты, ворон, уж прослышал... – Он плюнул и махнул рукой. – Говори с Васькой, теперь ему надо заводить лошадь, а я наездился.

– Коновал без медведя убежал, – сказал Яшка, – хоть и вернётся, да вы не отдавайте ему медведя, пусть он у вас за убыток. Этот медведь, скажем, да я дам кое-что, смотришь – и деньги. Потом и медведя могу купить.

Я ушёл из дому, а старик мой продал Яшке зарезанного Кирюху.

Вожак-коновал так и не вернулся за своим медведем. Я не знал, что с ним делать, пока кормил и берёг. Медведь ведь был молодой, хорошо вышколенный, он привык ко мне, и я часто выводил его на промысел. Это значит, мы шли с ним по деревне, собирали народ, а потом занимались шутовством, и за то медведю я со-

бирал много еды. Он понимал выгоду нашего выхода на деревню и каждый день прикидывался голодным и скучным, ворчал и скулил под навесом. Мне было не до шутовства. Отец и мать были подавлены несчастьем, они заметно постарели, и их мучила пустота нашего двора. Они растили Кирюху для меня, это была их гордость, утешливость. Отец засел в кузнице, работал почти круглые сутки. Грязный, мокрый от пота, он ворочал на меня белки глаз и рычал:

– Не тужи, Васька, ещё выкормим не одного коня.

Тяжёлым трудом хотел старик искупить свою вину. Я ему сказал однажды, что не следовало доверять какому-то случайному коновалу.

На деревне уже готовились к пашне. Мужики складывали телеги, делали новые челны. Трое лодочных мастеров шили большую лодку для Ерохина. Он пригласил к себе в компанию Яшку и ещё нескольких приятелей для перевозки со станции кооперативных товаров.

До станции по реке тридцать вёрст. Берега у реки обрывисты, и потому издавна большие лодки ходили на станцию и обратно при помощи лошадей. Ниже нашей деревни лодки не спускались: там были пороги; а выше не было деревень, – от нашей деревни до станции шли наволоки. Потому-то Ерохин и четверо его приятелей всегда были подрядчиками по перевозке грузов. Брали они за перевозку сколько хотели и понемногу воровали кое-что из товаров. Был один только среди них честный мужик, Масляков, за то Ерохин не всегда его брал с собой в лодку. Однажды я на деревне сказал, что скоро будет конец их воровскому промыслу. На второй день Ерохин подослал ко мне Маслякова с предложением вступить в их артель. Я отказался. Тогда ерохинская кучка решила, что я на самом деле что-то замышляю против них, и они пустили слух, будто бы я грозил отбить у них на торгах перевозку, если они не дадут мне пятьдесят рублей золотом на покупку лошади. Одним словом, ошельмовали меня ерохинские молодцы, да ещё всем на деревне они шептали, чтобы мне не давали лошади яровые пахать. Всё это рассказал мне Антоша.

– Не может быть, как же они могут нашептать кому-нибудь такой вздор? – удивился я.

Антоша сердито покосился на меня.

– Вздор, вздор. А ты верь: я тебе первый человек здесь. Знай, что Ерохин с дружками тебя сжить из деревни норовят, боятся, умишко у них вертится туда-сюда, ну и плетут что вздумается. Насчёт лошадей говорят, что у Змиевых рука тяжёлая, ежели побудет у них какая лошадка хоть час на руках, обязательно потом изведётся.

Мы с Антошей стояли под навесом. Я кормил медведя, слушал старика и замечал, как всё больше и больше горят мои щёки и уши.

– Сволочи, – вздохнул я.

Медведь вынул из ведра запачканную в болтушке морду и протянул мне лапу.

– Спасибо даёт. Ай, идол мохнатый, – захрипел Антоша, давясь смехом, – ай, идол!

Ткнув меня в бок кулачонком, он заговорил опять об ерохинских молодцах:

– Знаешь, они сейчас поехали под овёс полосы Ерохина пахать всей артелью. Ерохин-то в город за покупками едет, ну они и торопятся ему услужить.

Я поднялся в сени, взял пук верёвок и стал готовить медведю запряжку.

– Вот тоже поеду в поле боронить.

Антоша пятился от меня, крестился, распахивая полушубок.

– Что ты чёрт, что ты, – и от лилового рта старика по всему сухонькому лицу разливалась блаженная ухмылочка.

Я повёл медведя по деревне и подумал, что Антоша завидует ерохинским молодцам. Медведь охотно тащил лёгкую борону, а в поле его манили ростки зелени на межах. Пахали ерохинские полосы сам Ерохин и трое других. Моя полоса была около ручья, правее ерохинской. Я провёл медведя по широкой меже к ручью, и оттуда уже мы поехали по полосе. Я зорко смотрел на пахарей и заметил, как лошади их подняли головы, стали.

– Погоди, Васька, чёрт, не езди близко, ошалеют кони!.. – закричали мне.

– А-а… – махнул я рукой. – У Васьки рука тяжёлая, ему нельзя пахать на конях.

Мне опять что-то кричали, вдруг лошади потащили мужиков с сохами в сторону.

Я тряхнул цепью.

– Ну-ка, Мишка, похвали мужиков.

Мишка мой неохотно брёл рысцой по сырой, тяжёлой пашне и рад был променять бороньбу на такое пустое дело, как похвала мужикам.

Он поднял облепленные жирной землёй передние лапы и степенно рявкнул. Лошади пустились в подбежку, поперёк полос, мужики выли, волочась за сохами. Я доехал до конца полосы и повернул обратно. Мужики справились и снова ехали на свою полосу. Я опять тряхнул цепью.

– Ну-ка, Миша, похвали…

Лошади, испуганно фыркая, резвее прежнего потащили мужиков в деревню, сохи трещали, мужики падали. На изгородь около деревни петухом взмахнулся Антоша, звонко кричал мужикам:

– Ай, молодцы, в поле – хоть плачь, а из поля – вскачь!

Собирался народ.

– Васька на медведе боронить выехал, Ерохина и всех с поля сжил. Вынеслись лошади, дрожали от страха, теперь они и в поле не пойдут.

– Ну отчего не пойдут, неужто так испугались?

Антоша был прав. Как только я вывел медведя из поля, Ерохин со своими помощниками вновь собрались пахать.

– Не испугаемся змиевских шуток, это мы посмотрим, – грозно рычали они.

При выезде в поле у ворот лошади стали, дальше ворот не шли, пятились и поворачивали обратно, хозяева исступлённо били лошадей. Народ кругом потешался:

– Приехали, вылезай, медведь дорогу в поле закрыл.

– Я говорил, говорил! – суетился Антоша. – Теперь коней живьём в поле не запихать.

Ерохин плюнул и поехал домой, за ним и другие.

– Сват, постой! – строго сказал Ерохину Семён Жданов. – Хоть ты мне и сват, да я тебе правду скажу, что зря ты на Змиева напраслину по людям пускаешь, он с тобой ещё не то сделает.

– А я-то не могу сделать? – хвастливо кинул Ерохин. – Васька мне теперь, о-о-х!..

В этот день под вечер ко мне пришёл Меркурий Матвеич. Здороваясь со мной, он просто сказал:

– Жди ещё гостей, соседки мои…

– А-а, Глафире хочется посмотреть медведя.

– Как будто так, – усмехнулся Меркурий, – ведь здесь не принято ходить девушкам в гости как вздумается, и особенно в тот дом, где вместо подруг есть бородатый друг. Поэтому ты увидишь вместе с нею её жениха.

Я огорчённо отвернулся.

– Это ничего, – продолжал Меркурий, – Спиридона облюбовал дядя Иван. Дядя Иван – упрямый козел, ему кажется, что он нашёл клад для Глафиры и для дома.

Меркурий хозяйственным глазом оглядывал мою комнату, как у нас называют – боковушку.

– У тебя ладная комната, только окошки малы. В общем похвальны наши северные постройки – у мужика не дом, а палаты в две-три большие комнаты. Это какому-нибудь рязанцу, самарцу и во сне не снилось. А ещё ледники, амбары, бани, гумна. Хозяйственность – дело хорошее, а вот другое, – Меркурий вздохнул и сжал кулаки, – мне хочется знать, что у нас будет впереди, мы на охоте не договорили. Вот у нас теперь перед глазами самая настоящая голая правда. Это не икона, перед ней свечку не поставишь. Это не статуя, не книга, не дом со светлыми окнами, а огромная куча дел, накопленная для нас тысячами поколений. Ха-а, каков подарок, – скривил рот Меркурий, взглянув на меня.

Я смотрел в окно, мне видна была солнечная, охрусталенная даль в полях. Там привольно; утром я видел куликов, слышал благозвучный рокот ручейков, а на реке, казалось, играют серебристые стаи рыб.

– Что у вас сделано в связи с открытием кооперативного завода? – спросил я.

– А что нужно? Пускаем – и всё.

– Нет, не всё, – сказал я, – надо созвать правление и провести одно правило, очень важное для нас.

– Ты меня, друг, сбил с очень прекрасной мысли, – капризно заявил Меркурий, – порассуждать иной раз люблю.

– А ты знаешь меня, – сказал я сердито, – ты будешь рассуждать, а осенью мне захочется украсть где-нибудь денег на общественные дела. Я не украду, может быть, если ты не сообразишь предупредить.

Меркурий хлопнул себя по ляжкам, уставив глаза в потолок, он силился понять то, чего я хочу, наконец засмеялся.

– Ты что же, на барыши от завода глаза кинул?

– Верно, – кивнул я, – ты завтра же добейся того, чтобы правление постановило отчислять весь чистый доход с завода на культурные и общественно полезные нужды.

– Это верно, верно, – охотно согласился Меркурий, – так и должно быть.

Я опять смотрел в окно, увидел Анну Ивановну и Глафиру. Глафира чуть-чуть повыше ростом сестры, на ней дымчатая кофта с кушачком, на голове цветной платок. Анна Ивановна в кепке и в такой же, как у сестры, кофте. Рядом с ними форсисто шагал в новых чёрных сапогах Спиридон Дупленский. Шапка у него на затылке, красное лицо с большим ртом казалось важно надутым, под мышкой у Спиридона поблёскивала гармоника. Глафира заметила меня, смеясь что-то сказала сестре. У ней уже загорели щёки, а особенно носик. Спиридон, искосив голову, посмотрел на Глафиру, когда она засмеялась.

– Вот и гости, – сказал я и пошёл их встречать.

Дупленский сразу же простодушно заявил:

– А мы медведя смотреть. – Голос у Дупленского песенный, ладный.

– Видите, как нас много, но мы народ хороший, – сказала Анна Ивановна, входя в сени.

Глафира лукаво смотрела на меня.

– Да, да, – кивнула она, – просим любить и жаловать.

Спиридон, искосив голову, посмотрел на неё, как на картинку, и засмеялся.

– Какие церемонные у меня соседки, – покачал головой Меркурий Матвеич. – Между прочим, пока мы вас ждали, у меня зародилась одна затейка; сейчас мы её обсудим.

– Опять затейка, – удивилась Глафира, – отложите её до завтра.

– Никак нельзя, милочка, никак нельзя, – нетерпеливо потирал руки Меркурий и пихал моих гостей в избу, – заходите же скорей.

Дупленский зашёл в избу последним и крикнул моей матери:

– Здорово, тётушка! – И форсисто прошёл в передний угол, сел на лавку, положив гармонику на колени.

Моя мать разбирала на столе вытканное ею белое из овечьей шерсти сукно отцу на кафтан, и ей очень понравилось, что Глафира и Дрёмушка хвалили, щупали и гладили сукно.

– Я тоже тку, – сказала Глафира, – только у нас попроще.

– А у нас ещё проще, – засмеялся Дупленский, – наткали всем ребятам на заплаты, ей-ей.

Пришёл отец из кузницы, грязный, лохматый, но весёлый; он любил свою кузницу; покряхтывая, ковал в ней и выкрикивал поговорки, прибаутки. В соседних волостях отца звали «кузнец с поговоркой» или просто – «змий с лугов».

Он вошёл в избу, увидел нас, и лицо у него стало таким, точно он славного мёду выпил; хлопнул кожаными рукавицами и махнул Дупленскому.

– Чего тёщей сидишь, козырни музыкой-то. – И фигурно поплыл по избе.

Ритатуй, ритатуй,
Жил мужик Морокуй,
Прожил два веку,
А всё смерти нету...

Мои гости в лад засмеялись, любуясь на отца. Спиридон, пыхтя, схватился за гармонику.

– Ходи, дядя Илья, ходи! – кричал он, оскаливая свои, такие же, как у Парани, лошадиные зубы.

– Ты в меня, Илья Тимофеич, – сказал Меркурий, – от работы весел.

Отец хлопнул своей рукой по руке Меркурия и, задорно поблёскивая белками глаз, богатырствовал.

– Для меня, Матвеич, работа – что гармонь хорошая: чем больше играю, тем больше хочется. А то что люди, что человеки. Человек – дурак, и до тех пор он будет дураком, покуда в работе сладость не найдёт.

Меркурий Матвеич подвинулся ближе к отцу, вдруг молча обнял его и поцеловал. Отец, совестясь, попятился от Меркурия.

– Эк ты... пристыдил ведь.

Меркурий почмокал красными выпуклыми губами и, садясь на лавку, сказал:

– Люблю хорошую речь, правильную.

Я сел рядом с Глафирой, она улыбнулась и тихо запела:

Вчера, вчера, младёшенька,
Я в хороводе гуляла,
Молодая цыганочка
Меня за рученьку брала...

– Теперь я о своей затейке скажу, – говорил Меркурий.

Глафира дотронулась до моей руки и шепнула:

– Ну, каков мой жених?

– Хорош, – ответил я сердито.

– Вот и хорошо, что он тебе нравится.

– Очень нравится, – ещё сердитее сказал я.

– Ты зачем сердишься?

– Так... день прошёл нехорошо, скучно.

– А мне весело, что я у тебя в гостях. – Девчонка явно смеялась надо мной, толкала меня к окну. – После поговорим, ты слушай, что Меркурий говорит.

«Да, надо с ней поговорить», – подумал я и рассеянно оглянулся, заметил на подоконниках тени рябин моего садика, потом взглянул на мать. Она грела само-

вар, сложив на груди тяжёлые руки, и смотрела на Глафиру. Лицо у неё добрее и красивее, чем всегда. Мне показалось, я угадал, что она думала о Глафире, когда смотрела на неё.

– У нас в эту зиму было некоторое хозяйственное оживление, – говорил Меркурий, – разминаем деревню, как засохшую глину, и так и этак.

– Как? – закричал отец, побрякивая рукомойником, и он оглянулся на Меркурия, выставив напоказ мокрое, всё в мазках грязи лицо, – сейчас я тебя...

– Ты мойся себе, – засмеялся Меркурий, – нам надо пошире развести просветительное дело. Этого требует жизнь. Сейчас у нас нет ни гроша на какую бы то ни было работу, но у нас на днях открывается первое общественное предприятие – это кожевенный завод.

– Вот это хорошо, – отозвался отец.

– Завод кое-что нам даст, – продолжал Меркурий, – теперь нам надо ещё источники искать.

– Нам ещё второе предприятие надо открыть, – сказал я, – перевозку грузов по реке с железной дороги и взять его в надёжные руки; нужна ещё моторная лодка. Она будет таскать маленький баркас, и мы можем перевозить товары на три волости. Это даст большой доход, и тогда будут хорошие средства на всё то, что называется просвещением.

Меркурий сорвался с места и забегал по избе.

– Да, да, это блестящее дело – мотор, лодка. Да мы мотор используем ещё для другого. Скажем, полусложную молотилку для деревни достанем, и тут мотор нам пригодится блестяще, тут начало иной, ладной хозяйственной работы. Из-за этого я ещё год в деревне проживу, пока не добьюсь. Я верю, что у нас выйдет с лодкой, – Меркурий счастливо засмеялся, бегая по избе.

Мой отец, уже вымывшийся, любовался на Меркурия и сказал Дупленскому:

– Ты бы, парень, сыграл ему плясовую, вишь, пляшет.

Дупленский захохотал, слегка ударил по клавишам гармоники и тихо заиграл плясовую.

– Выходи, выходи, – махал Меркурий отцу.

Отец, как на пружинках, подскочил к матери.

– Дозволь, хозяюшка, старинный форс выкинуть – пройтись кренделем!

– Ты опоздал, гляди... – засмеялась мать, указывая на Глафиру.

Отец всплеснул руками. Глафира с хороводным грохотом шла прямо на моего старика и дразнила его игрой шалости в лице.

– Ведь пляшет, пляшет, свет ты мой, – кричал отец, – и как кудревато!

Глафира прошла круг и упала на лавку, рассыпая весёлый смех.

– Ещё! Ещё! – звали её старики.

– Нет, теперь вы, вы, я зажгла, – отказывалась Глафира.

Отец дёрнулся на месте.

– Эх-х, зажгла-а! Ну-ка играй «Проходную».

Спиридон сидел с высоко поднятой головой и лениво сверху следил за отцом, он как будто презирал старого плясуна – играл холодно под плясовой ход и подпевал:

– Ри-та-та-та-та-та-та.

Отец вскользь хлестнул ладонью об ладонь, точно высек огонь разгульной молодости, и она блеснула в глазах, на лице, отлилась в топотке ног, во взмахе рук и в цветной прошиви пояса.

Плясун плыл мимо всех нас, подмигивал Меркурию и гармонисту.

– Ход! Ход! Чаще! – кричал он, рубя каблуками пол.

– Ловко, – засмеялся Меркурий. Он смеялся и поводил плечами, а отец уже перешёл на воркотливую, как он говорил, кудреватую ярь пляски.

– Вот пошёл, вот!.. – замирающим голосом сказала Дрёмушка.

– Глафирка, ты что?

Глафира скинула кофту, взяла в кольцо рук своё красивое смеющееся лицо и пошла мелкой хороводной чеканочкой вслед за стариком. Старик переплетал мелкий узор танца с блеском литого, разгульного звона каблуков. Глафира, как светлый ветряк, плескала вокруг и пела:

Выпустила сокола
Из правого рукава…

Теперь и Спиридона нельзя было узнать. Он припал лицом к запыхавшимся мехам гармоники, его широкий рот всё больше и больше перемещался на правую щёку, и один глаз отчаянно мигал. Вдруг он оборвал игру и зажужжал, как пчела:

– Жарко, хорошо вышло.

Отец уже сидел на полу и вздыхал.

– Хорошо, только пена выступила. – И он с торжеством слушал шумные похвалы.

Только мать изумлённо качала головой.

– Вот шальной бес, до ста годов плясать будешь! Да пожалуйте, гости, чай пить.

Глафира вызвала меня плясать. Потом мы вышли с нею на крыльцо, а гости садились пить чай.

– Вась, что же ты скажешь о моём женихе? – спросила Глафира.

– Что я тебе скажу?.. Ты выйдешь за него?

Глафира плаксиво надула губы.

– Да батюшко велит, говорит, что надо зятя в дом, это Спиридона-то. У нас батюшка, если скажет что, будто цепью тебя свяжет.

– Значит, у вас всё почти слажено, – сказал я, – ну что ж, во святой час.

– Я заплачу, если так будешь говорить, – рассердилась Глафира, – ты бы меня утешил, а то – во святой час!

Из избы в сени вышел Спиридон.

– Я думал, что вы ушли медведя смотреть, – усмехнулся он.

– А ты, Спиридончик, позови Анну и Меркурия смотреть медведя.

– Сейчас, – кинулся в избу Спиридончик.

Мы с Глафирой спустились с крыльца, зашли под навес.

– Вась… – прижалась ко мне Глафира.

Я её обнял, а она нежно погладила меня по щеке.

– Спиридончика я не люблю.

– Вот что, – сказал я. – Мне надо поговорить с твоими стариками – свататься приду, а ты помогай, может быть, удастся нам…

– Хорошо, ладно, – задумчиво сказала Глафира.

Я показал гостям медведя.

– Что же ты будешь делать с ним? – спросил Меркурий.

– Что с ним делать, вот свезём в зоологический сад, продадим и купим на вырученные деньги мотор.

– Чудно, дело говоришь, – одобрил Меркурий.

Но на второй день мне пришлось снимать с медведя шкуру: кто-то ночью его отравил.

Глава седьмая

В первую грозу сгорела от молнии изба самого смирного, тихого мужика Фёдора Ивановича. Во время пожара тут же на улице у жены Фёдора, Марьи, начались роды. Её утащили в избу Антоши, где Марья и родила. Фёдор в прожженной в нескольких местах рубахе стоял, глядя на пожар, и на широком лице его были недоумение и обида. «Почему, за что?» – казалось, твердил он. Когда всё было кончено и бабы-соседки стали собирать в избы вынесенное добро, мужики обсуждали важное дело. Кто-то предложил провести сбор брёвен на избу Фёдору. Толпа мужиков была с сотню, а то и больше. Кто давал два бревна, кто три, иные предлагали тёс, плахи.

– И срубить избу нам ничего не стоит, – сказал Павел.

– Братцы, это верно, – крикнул Семён Жданов, – срубим мужику избу, выздынем его из беды, что миру стоит!

– Выздынем, согласны! – отозвались десятки голосов. – Фёдор Иванович, с избой будешь, не тужи.

– Спасибо, соседи, и вас… – он тряхнул волосами и вытер рукавом рубахи слёзы.

Мужики сразу же деловито взялись за дело. До ночи успели навозить много брёвен и выровнять, очистить место для постройки. Утром началась рубка. На всходе я и отец с топорами вышли на деревню. На месте вчерашнего пожара стояла кучка мужиков, около них отчётливо синел в солнечных лучах дым цигарок. В немного туманном конце деревенской улицы, будто парус, плыл в белой широкой рубахе лучший плотник наш Михайло Суслонов.

– Ну и время стоит, – говорил он кому-то, – благодать, погодка что ягодный налив. Теперь только строить да песни петь.

В самом деле, была лучшая пора, когда лето в цвету, в красе. Когда ночи светло-голубые, душистые, и дни такие, будто весь мир с праздником.

Мы скоро срубили Фёдору Ивановичу избу. Через неделю он уже справлял новоселье, и все были рады, что мужика выздынули из беды.

В этот день я пошёл к Ивану Горячему сватать Глафиру. Мать меня заботливо принаряжала, выгладила брюки и заставила надеть поверх серой рубашки чёрный пиджак.

– Какой ты жених без пиджака? – шутила она. – Вон Ермил женился, венчался в одной рубахе, и бабы осмеяли, говорят: жених и ничего, только из-под рубахи пуп видно.

Мать шутила, но она не верила в успех моего сватовства. Отец смотрел на меня насмешливо.

– Ты, Васька, медвежий бы коготь взял для счастья – помогает в этих делах.

Я знал, что никакой медвежий коготь мне не поможет, если Иван Горячий уже облюбовал себе зятя. Всё же мне было любопытно, как меня встретят в доме Глафиры, и я шёл с самым весёлым, беспечным видом. Семью Ивана я застал за чаем. Я увидел, как Глафира пролила на стол из чашки чай, увидя меня. Александра, мать, с чайником в руке оглянулась и так окаменела. Иван бросил на всех строгий взгляд, медленно выпрямился и что-то хотел сказать. Тут-то из-за стола выскочила Дрёмушка.

– Просим, просим, гость, как раз к чаю!

– Ну, да, да, – затопал ногами Иван, – ублажаемся чаишком. Василий Ильич, кажется? Н-да, садись-ка с нами, – он попробовал приветливо посмеяться, но вышло у него это кисло.

Александра кинулась к шкапу за стаканом для меня.

Дрёмушка не давала никому слова сказать.

– Только что Меркурий Матвеич у нас был, – говорила она, – о моторной лодке речь шла. Вот батюшко не верит, что у вас будет моторная лодка.

– Не верю, – потряс головой Иван, – тут капитал надо.

Мы поговорили о лодке, о заводе.

– Не знаю, будет ли у вас что, везде хозяйственный глазомер надо, – ворчал Иван. – Меркурий толкует о том о сём, что хозяйство надо вести по-новому, а как вести – ещё никто толком не знает.

Я стал говорить, как, по-моему, следовало бы вести хозяйство, сказал, что на следующий год в нашей деревне будет товарищество по мелиорации, по запашке целины и посеву трав, потом оно вырастет, перейдёт в крупное хозяйство. Иван слушал меня, и лицо его, сухое и строгое, становилось хитрым и насмешливым.

– Я в этом деле не спорю, – сказал он, – только трудно, круто вам будет.

Я подумал, что пора начинать самый важный для меня разговор. Начал я издалека, надо было похвастаться своей рассудительностью, степенностью и дать

понять, что из меня выйдет хороший семьянин. Чем ближе я подходил к самому главному, тем сумрачнее, беспокойнее становился Иван.

– Ой-ой! – вдруг застонал он, хватаясь за поясницу. – Покалывает что-то, кой чёрт!

Я ещё не успел всего сказать, как Иван, кряхтя, встал.

– Ой, ой! Поясница заболела! Ой, старуха! Ножом режет, ой!

Он повалился на лавку и застонал голосистее:

– Девки! Старуха! Зовите фершала! Смерть приходит, ой! Говорил я, что надо взять в дом молодого хозяина, чёрт вас возьми, вон как стало меня прихватывать.

Александра и обе дочери встали из-за стола, они не знали, что делать; казалось – старик дурит, притворяется, а вдруг да на самом деле он заболел.

Я кивнул сёстрам и пошёл из избы. В сенях остановился – за мною бежала Глафира.

– Горе с нашим батюшкой, – сказала она печально.

– Зачем печалиться, мы обойдёмся без батюшки, верно ведь? – спросил я.

– Боюсь, – прошептала Глафира.

– Нет, я никому тебя не отдам, – сказал я, обнимая её.

Она счастливо улыбнулась и сказала, уходя:

– Ладно, я потом скажу тебе... скоро...

«Всё же я ничего не проиграл», – думал я по дороге к дому.

В поле я оглянулся назад. Было тихо, светло, как всегда в эту пору ночью, – всё цвело, и мне стало жаль, что я один. Правда, я люблю одиночество, если в нём есть сколько-нибудь мудрости, если кроткая душа Васьки Змиева нуждается в отдыхе и размышлении о своём житии, но сейчас мне больше всего захотелось идти полем рядом с Глафирой. Я прошёл мимо полос с рожью, ровных, голубых, с искрой цветения, миновал мост через ручей и совсем неожиданно увидел Парасковью. Она полола гряды около своей избы. Я сел на межку.

– Ты помогать? – засмеялась Парасковья.

Я смотрел на её полное лицо с ласковыми глазами и круглые красивые плечи.

– Нет, не помогать, а посмотреть на тебя, давно не видал.

– Кто тебе мешает заходить к нам? А сейчас ты иди от меня, я сердита.

– Так ведь и Прохор сердит на меня, ты слышала, что на деревне говорят?

– Пусть говорят, я не боюсь, а Прохор на всех сердит. С кем поговорю – на того он и сердится.

У нас с Парасковьей были не одни только разговоры; ещё с осени она привадливо на меня посматривала при встрече, и однажды я узнал, что у ней пряничные губы, – так ей и сказал, и Прохор сердился на меня не напрасно.

– Ты откуда идёшь? – спросила она, принимаясь полоть траву. – А-а, я знаю откуда, – на лице её была недобрая усмешка. – Женишься, небось?

– Отказали, ходил свататься.

Парасковья недоверчиво взглянула на меня.

– Врёшь ведь. Фу, всё ещё мошка есть, ночью и то её много. Я твоей невесте что-нибудь скажу про тебя, – Парасковья бесстыдно засмеялась.

– А я разве говорил про тебя что-нибудь Прохору?

Баба оглянулась и тихо сказала:

– Женись уж поскорее, может, так лучше, а то всё...

Мы ещё поговорили недолго, и я ушёл.

На всходе я выехал на реку ловить щук на дорожку. Встретил Ивана Горячего, он тоже, сидя на челне, тащил дорожку.

– Поправился? – спросил я.

Иван Горячий косо взглянул на меня и ничего не ответил.

Несколько дней подряд шёл дождь. От ветра шумели ряды берёз и осин, посаженных мной лет двенадцать назад кругом нашей избы. Мы с отцом ладили косы, грабли, ждали доброй погоды. Наконец проталинами выглянуло небо, а утром на Аграфену Купальницу я радовался, взглянув на реку. Она была ровная, голубая, с искрами серебряных быстрин, и в ней не отражалось уже ни одного облачка. В это утро заколосилось жито. Волнистый после дождя лён усыпан был синими глазками.

– Жито на колос – берись за косу, – говорили мужики, и вдруг все поехали в челнах косить наволоки. Поехал народ и из соседних деревень. На реке были сплошь челны. В носу челнов торчали косы и грабли. Мельком я видел Глафиру и Дрёмушку, потом слышал голос Ивана Горячего.

– Что ты мне говоришь, – кричал он кому-то, – всякие косы у меня испытаны – лучше кос, кованных нашими мастерами, я не нашёл.

Мы жили там в маленьких избушках. Пока сохла скошенная трава, люди ловили рыбу, брали ягоды, а я бродил в лесу с ружьём и стрелял рябчиков. Помню, я шёл по тропе; она перевита узлами корней. Было жарко и тихо. Пахло смолистыми серянками, что горят, поблёскивают на елях, а около позолоченных солнцем сосен мелькали пёстрые монашенки и сосновый шелкопряд. В чаще егозила пеночка-свистунья, и высоко в ясном небе плавал ястреб. Подойдя к скошенному наволоку, я увидел у реки нагого человека. Это была женщина. Она выжимала воду из своих тяжёлых тёмных волос, причём по полусогнутой спине пробегали серебряные струйки. Я стоял, смотрел на женщину. Она увидела меня, вскрикнула, опустилась на колени и стала одеваться. Я хотел пройти к наволоку Глафиры, он был близко, всего через один перелесок, и пошёл, не глядя на женщину у реки.

– Васька, ты куда? – спросила она, надевая юбку.

Я остановился, со мной говорила Парасковья.

– Ты как сюда попала, ведь ты с Прохором косила сейчас?

– Кончила косьбу, за ягодами иду, тут смородина.

Мы пошли к перелеску, где были кусты смородины. Мне показалось, что там мелькнуло серое платье.

– Там есть кто-то.

Парасковья зашла в пахучие кусты и усмехнулась, повернув ко мне лицо.

– Никого нет, иди… Я ведь видела, как ты шёл мимо нас. Проклятый, не смотрит уже на меня! – Она с соблазнительной бабьей повадкой стала теребить меня за рукав рубахи и щипать. Каюсь, я не торопился уйти от Парасковьи.

Мы двинулись в гущу перелеска. Когда выходили оттуда, Парасковья прильнула ко мне и дурачилась, надувая губы.

– Побей ты меня, Васька, за все грехи наши, не могу я от тебя отстать.

Тут я увидел в кустах Глафиру. Лицо её было красно, глаза испуганные. Пока я отстранял от себя Парасковью, Глафира убежала. Идти за нею я не решился и весь день думал, что мне теперь делать, как встретиться с Глафирой? Надо ей всё рассказать, но на сенокосе я не мог её увидеть, она избегала меня.

Глава восьмая

Осенью я жил, ходил в муках, как всегда, когда хочешь сделать многое, а ещё не знаешь, выйдет ли так, как надо.

Закурчавились, пожелтели, как хмель, березняки. Пролетела на юг морская гага. Покинули просторы золотистых мхов журавли, оставив под снег россыпи гранатовой клюквы. Кругом деревьев дымились овины, охотники чистили ружья. Наш кожевенный завод был на полном ходу. Я сказал Меркурию, что теперь самое подходящее время заняться нашими доброхотными делами.

– А-а, свой комиссариат просвещения открыть, – пошутил Меркурий. Он стоял посреди своего чулана в пиджаке домашней крашенины и мотал рукой, будто благословляя меня. Лицом он за лето похудел, только по-прежнему сиял толстенький медяковый нос.

И в чулане всё было по-прежнему. Казалось, над всем наблюдал тут святой Христофор с собачьей головой.

– Давай посчитаем, что у нас есть; скажем так, – загнул палец Меркурий, – что половина народа у нас грамотная, другая половина, хоть не вся целиком, училась немного в прошлом году, и нынче надо учить. Теперь бы хорошо иметь много книг.

– А деньги? – сказал я. – И, по-моему, надо открыть нам книжную лавку.

– Хм, – развёл руками Меркурий и захохотал.

– Это, чёрт возьми, предложеньице, ты настоящий доброхот. Прибыль от лавки пойдёт на библиотеки – это дело. Ты ещё задумал моторную лодку. Нынче кооперация большие убытки понесла, связавшись с Ерохиным, лапа он.

– Да, большие убытки, дольше нельзя терпеть, – сказал я сердито, – тебе надо ехать в Питер за покупками, по пути заедешь в райсоюз и в губернию. Что мы можем взять с завода и с кооперации, смекал ты?

– Немного, но я написал кучу писем в Питер, у меня там много хорошей, деловой родни, она мне поможет козырнуть нашей важной работой. Кроме того, райсоюз обещал ссуду дать. Ох, чёрт возьми, – засмеялся опять Меркурий, – мне книжная лавка нравится, дородное дело. Клуб при лавке устроим.

Я весело посматривал на своего друга и ещё больше раззадорил его, показав протокол нашего деревенского собрания. Собрание было накануне, и я устроил его как раз в то время, когда Ерохин с компанией делили барыши и пили водку. Ерохин был жаден, хитёр и предостерегал своих помощников не хвастаться достатками. Но их работа была у всех на виду. Видели все, как они драли за перевозку товаров с кооператива соседней волости, видели, как они запускали руки в ящики, в мешки, в бочки, распивали водку на своём судне и варили в котлах рис с сахарным песком и треску с маслом.

– Это же грабёж, – сказал мне однажды Павел тоненьким плачущим голоском. – Какая же это артель? Маслякова-то они запутали, жалуется тихонько: «Сокрушился я, – говорит, – с ними, всю совесть в котлах сварили».

На собрании соседи мои один перед другим обрывисто с сердцем подсчитывали лёгкие достатки и обжорство ерохинских молодцов. Иные со страстью таращили на других глаза и запальчиво убеждали:

– Нам указывать не надо на таких живодеров, видим, кто они есть. Скрутить их во как бы надо, прикончить грабёж, к чёртовой матери.

Все знали о том, что я задумал, а тут на собрании я изрядно расписал все выгоды нашего предприятия. Заехал я и в хозяйственную статью дальнейших лет, что эта лодка нам сулит большой хозяйственный простор, зазвенит слава о наших знатных успехах.

Павел, Семён Жданов и Гриша больше других верили мне.

– Животишки свои продадим, а заведём лодку и снаряды все нужные.

На меня свалили все хлопоты да выбрали Семёна Жданова старостой-нарядчиком для вывозки леса на баркас. Это мы решили сделать по первому снегу, а потом кинуться артелью на лесозаготовки и из заработка выделить то, что потребуется на мотор. В конце концов получилась у нас с Меркурием Матвеичем довольно большая цепь всяких дел, которой мы опутали себя. И что ж, не хвастаясь, скажу, что мы не трусили, а даже легонько, как резвые кони, удила закусывали, и пыл нашего хозяйственного разбега казался большим предстоящим праздником. Одно лишь было нехорошо – с Глафирой я не мог помириться. Пожелтела, как березняк, наша дружба, отрумянились её весенние зори.

Меркурий уехал в Питер, а мы с Дрёмушкой возобновили прошлогоднюю работу. Главное дело – это чтецы, и надо сказать, что ничего бы с ними не вышло, если бы не талант Дрёмушки. Правда, нашлось бы много чтецов бойких и горластых, но что в них толку, если в их чтении нет страсти, нет любви и того дароносного, обольстительного волнения, какое есть у Дрёмушки. Так же и книга. Она должна быть такой, как чтение Дрёмушки, потому мы с большой заботой подходили к делу. Счастливая одарённость Дрёмушки была известна, и если бы даже она вздумала что-нибудь читать на улице, то наверно бы собралась большая толпа слушателей. Мы выбрали восемь грамотеев из молодых, среди них были Павел и бородатый Андрей Ефремыч. Павел ещё в прошлом году льстился стать знатным чтецом, а я

льстился создать бой за книгу и за чтеца. Мне казалось, что здесь начало ладной жизненной струи, она приведёт к торжеству новых взглядов на жизнь.

Мы собирались то у меня, то у Николы Мокрого. Пользовались библиотечкой Меркурия Матвеича да кое-где ещё находили нужные книги. Анну Ивановну всегда сопровождал Игнатий Денисыч. Он у нас был судьёй и поучителем. Надо правду сказать, Денисыч умел подзадорить наших учеников, умел и похвалить, оценить. Обычно было так: на столе горела маленькая лампа, за столом Дрёмушка перелистывала книги и читала напоказ. На лавках сидели ученики-чтецы и гости. Чтецы читали стоя, оборачиваясь лицом к гостям. Чтецу светил зажжённой лучиной Никола Мокрый. Игнатий Денисыч стоял против чтеца, перебирал концы своего цветного шарфа и учил:

– Вольно стой, фигурности особой не надо, всё это – манера и жест – должны выливаться сами собой. Ну, начинай, да посадочку голоса держи, не уносно читай, а практично, ну-у! – Он впивался глазами в чтеца, заботливо опуская правый угол рта.

Никола Мокрый уважительно глядел то на Денисыча, то на чтеца и очерчивал уголь лучины о старинный дедовский поднос, который он держал в левой руке под огнём. Чтец уже несколько раз слышал, как надо читать, и старался угодить учителям. Денисыч всеми силами помогал ему: приседал, дёргал плечом, вытягивал к чтецу голову, иногда поднимал руку, с одобрением щёлкая пальцами.

– Вот, вот, верно, шире голос, узвонистее! – А то вдруг хлопнет себя по бедрам: – Эх, братик, перехватил, с посадки сбился, ты ведь знаешь, ты это уловишь. Бывало, у нас, знаете ли, артисты читали, это музыка, прямо музыка, если стих возьмут. Был такой Анатолий Петрович: он и газетную статейку начнёт читать, так у тебя слёзы покатятся, век бы слушал.

– Ну-у, неужто так? Вот ты, хлеб мяккой! – крутил головой Никола.

Кроме Анатолия Петровича, Денисыч вспоминал ещё целую вереницу имён артистов.

– Где же нам сразу, – ворчал Павел. Ему не нравилось то, что Игнатий Денисыч часто говорил об артистах. Однажды он заспорил:

– Что ж такое артисты, уж если на то пошло, так и я прочитаю не хуже всякого.

– Не греми, Павел, – сказал Денисыч, – впрочем, попробуй, валяй.

По курносому лицу Павла пробежала хитрая ухмылочка. Он почти неделю читал дома вслух речь Ленина о просвещении, и иные места из речи ясно отлились в его памяти.

– А что, пусть почитает, – сказали гости-мужики, – ублаготвори, Павел, раз далась те грамота. Может статься, куницу опять добудешь.

Павел закрыл ладонью лицо, постоял так недолго, точно проверял себя. Потом он прочёл, что помнил, прочёл просто, любовно. Все похвалили.

– Хорошо идёт, – с доброй улыбкой торопилась сказать Дрёмушка. – У тебя уже есть успех. Теперь кому читать, Ефремычу, кажется?

– Мне, – откашливаясь, сказал Ефремыч густым басом и, расправив бороду, взялся обеими руками за книгу.

– Бывало, я лучше читал, теперь голос сдаёт, м-да.

– Читай, читай, мы скажем, лучше иль хуже, – кивнул Игнатий.

Ефремыч стоял против старика, раскоряченными пальцами держал перед собой книгу, как блюдо со щами, и глянул на Николу Мокрого; тот торчал сбоку с лучиной – светил, жмурясь от дыма и огня. Ефремыч начал и сразу же оглушил нас своим басом. Никола удивлённо покрутил головой, а Денисыч посмеивался.

– Ну и труба у тебя, – сказал он через минуту, – прямо разбойный голос, только управу ему надо, высоко, трубно выходит. А ты, где надо, трепеток подпусти, сладость или строгость, смотря по месту. Слушай, как Анна Ивановна...

Ефремыч, устало мигнув, обернулся к Анне Ивановне. Он слушал её, глядя в потолок, будто что-то ловил открытым ртом.

– Да, вот штука, попробую снова.

– Вот, вот, выходит, так, так, – заегозил радостно Денисыч, подступая к чтецу с поднятым кулаком, – читай, в театре играть научим.

– Вспотеешь с тобой, – усмехнулся Ефремыч, – дай отдохнуть, я те погодя ещё не так прочитаю.

На смену Ефремычу вызвали нового чтеца.

Так шли у нас занятия, пока Меркурий Матвеич ездил за покупками. Приехал он уже по зимнему пути, весёлый и удачливый, как всегда. Но эта поездка сгубила для нас Меркурия.

– Скоро совсем уеду в город, – заявил он мне, – манят старые приятели. Слово я им дал, что к весне приеду. Зато и помогли мне мотор добыть, чудо мотор. – Меркурий торопился сказать самое важное: – Ну, брат, я и расписал там, разукрасил то, что мы здесь делаем, в восторг привёл, одним словом. Эх, жизнь, чёрт возьми! Обалдуи, говорю, вы этакие, ведь деревня в рост, в силу пошла, она, может быть, через десять лет совсем иной будет, а вы чем ей помогаете?

Мы с Меркурием разговаривали, сидя в его чулане. Пришла Дрёмушка, вслед за нею пришла Глафира под руку со Спиридоном. Лицо Глафиры показалось мне бледным, и оно не было освещено тем весельем, какое я привык видеть раньше; зато Спиридоновы щёки горели, как сафьян красный на солнце.

– А, моё вам, Василий Ильич, – важно поздоровался со мной Спиридон и сел рядом. Он, видимо, гордился тем, что Глафира его невеста, что я получил отказ, даже насмешку от Ивана Горячего, и внимательно посматривал на моё лицо, желая увидеть обиду и огорчение.

– Дельная погодка стоит, – сказал он степенно, – того гляди, надо забираться в леса на работу.

– Да-да, вы разговаривайте, кивнул нам Меркурий, – я сейчас вскрою хотя один тюк – покажу вам, что я привёз.

– Интересно, я помогу вам, Меркурий Матвеич, – сказала Дрёмушка.

Спиридон хлопнул меня по колену.

– Знаешь что, Ильич, будь добрый, продай мне цепь, что осталась от медведя, брёвна на возу цепью вязать хорошо.

– Хочешь, я тебе подарю цепь, – сказал я.

– Это уж очень красиво выйдет, – засмеялся Спиридон, – нет, ты что-нибудь возьми за неё.

– Сто рублей, – пошутил я.

Спиридон захохотал.

– Нет, ты дело говори. Знаешь, что я тебе скажу, кто твоего медведя отравил.

– Кто?

– Это Прохор сделал, Парасковьин муж.

– Неправда, – сказал я, – это тебе сестра Параня наговорила. Мне известно, кто отравил.

Спиридон хлопал глазами, покраснел ещё гуще.

– Так вить она божилась, что Прохор...

– Мне это совсем не интересно, – сказал я сердито, – знаю, что отравили медведя твоя сестра и её муж, да и все знают об этом.

– Что же ты в суд не подал? – приставал ко мне Спиридон.

Я промолчал, смотрел на Глафиру. Она сидела на крайчике стула и, склонив голову, чертила пальцем по столу и подёргивала плечом. Пока мы со Спиридоном говорили, она один раз взглянула на меня. Что-то страдальческое, беспокойное было во взгляде, на лице её и во всех малозаметных движениях; казалось, она вот-вот сорвётся с места и убежит куда-то. Я боялся, что она убежит, сторожил её и хотел, чтобы она вдруг стала такой, как год назад, даже не год, ведь летом у нас были славные встречи. А потом всё поросло чертополохом, и, казалось, растили его с большим старанием Иван Горячий, Спиридон, Парасковья, бабы, мужики – любители всяких вздорных дел, но и я, я... Много раз я думал что-то сделать, казалось, у сердца камень лежит, нужно отвалить его, и вот теперь здесь... к чёрту всё! Не помню всего, что в эту минуту было, только знаю, стоял я перед Глафирой на коленях, что-то говорил. Помню, как у Глафиры поднялись брови, лицо покраснело, и вдруг она заплакала, вскочила и кинулась вон из чулана, за нею побежали Спиридон и Анна Ивановна. Я поднялся с колен и взглянул на Меркурия, он дёрнул себя за бороду и потом погрозил мне пальцем.

– Разбил сердце девчонки, теперь склеивать вздумал, ссора, что ли, у вас была?

– Чертополох вырос, надо было его вырвать, – сказал я.

В чулан вернулись Дрёмушка, Спиридон, но больше всего обрадовало меня то, что с ними шла Глафира, и лицо её, умытое слезами, уже улыбалось, светилось по-праздничному.

– Вот и хорошо, – сказал Меркурий, – будем смотреть, какие я книжки привёз, хо-орошие книжки.

– Да, да, книжки хорошие, – сказал я, – но Меркурий Матвеич не говорит главного, что мы открываем кооперативную книжную лавку.

– И Глафиру Ивановну продавцом, – засмеялся Меркурий, – оттого она и побежала от нас, ей-ей так.

Глафира цвела, немного стыдилась и весело взглянула на меня.

– Вот его продавцом, зачем он меня пристыдил сейчас.

– Я ему задам, – шутливо накинулся на меня Меркурий и стал щипать и осыпать меня тумаками.

Я вертелся и хохотал, радуясь тому, что наконец опять начинается славное время.

Спиридон тоже хохотал, но с ужимкой и сердито, будто его тоже осыпали тумаками.

Глава девятая

В эти дни я был кроток и добросердечен, как счастливая невеста. Но может ли человек быть долго в ближнем родстве с самым дорогим для него, и может ли он быть завтра таким, как сегодня, если у него всегда жажда, страсть поскорее износить то, чем одарила его природа. А мне казалось, что я ловко отошёл в сторону от этой человечьей неволи и живу, созерцая свои мысли. Можно бы в это и поверить, други мои, потому что у Васьки кристальная душа и такая же совесть, кроме того, он на редкость удачлив, но и достаточно мудр, чтоб не гордиться своим богатством перед бедным человечеством. Говорят, у всякого мудреца больше врагов, чем учеников и друзей, – и у меня тех и других довольно. Враги меня мало занимают, каждый из них ни больше ни меньше, как тот соляной столб, в который была обращена жена библейского мужа. А что такое друзья и ученики? Мне хотелось бы видеть здесь приметное созвездие Васьки Змиева – это работников большого смысла, чтобы они научились волновать народ дерзко и обольстительно. Вот за мной давно уже установилась слава еретика, хитродума, сказочника, и народ всегда ждёт от меня небывалых дел. Что делать, выпала такая судьба на мою долю, ну я и несу её помаленьку.

На этих днях народ взбеленился, услышав о моторе и ворохе книг, привезённых Меркурием Матвеичем.

– Господи владыко, что это? Моторная лодка, книжная лавка – с ума можно сойти!

– Ох и свернёт себе голову на этих выдумках Васька!

Многим хотелось, чтобы я свернул себе голову, доказал бы этим своё равенство с ними.

– Куда ты прёшь, какой у тебя прыск дьявольский! – говорили мне иные мужики, озадаченно мигая глазами. – Ну, грамота те удалась, учеников лёгких подобрал, ребят тешишь, а тут ты в несусветную кинулся,– мужики уговаривали меня, как любимую лошадь с маленьким норовом.

– Э-э, вы не верите, дяденьки, – говорил я, – да разве Васька кинется в бестолковое дело? У Васьки всё обдумано, и всё выйдет проще, чем полосу посеять.

– Хвастун, хвастун, – отчаянно махали руками мужики, – леший у тебя будет покупать книги да на лодке ездить.

Не верили люди в мои новые дела, а говорили о них всё задорнее, привязчивее, точно в этом видели какой-то знаменательный признак. Соседи мои усердно возили брёвна на баркас и моторную лодку; все они ходили к Меркурию увериться в том, что мотор уже привезён; соседи верили в лодку и в лавку. Всех их перещеголял Антоша. Он тоже надеялся кое на что быть годным в нашей артели и в пылу разговоров отменно гордым голосом кричал:

– Васька! За Ваську я ручаюсь, хоть он и не колдун, а выше всех колдунов, чёрта под лавку загонит!

– Это верно, большая хитрость ума у Васьки, только на что он метит? Достатки у нас невелики ещё, лесозаготовки вот ежели. За белку нынь полтину дают, горностая мало бьём – тот подороже; лисиц, выдры, куниц не густо стало.

Подсчитывали достатки, взвешивали, перетянут ли они книжную лавку. Мне эти достатки тоже были известны, я не особенно и льстился на широкую торговлю. Мне надо было сделать лавку местом сборищ, местом разговоров о новом, небывалом у нас товаре – книге. Это будет клуб, как мы условились с Меркурием Матвеичем.

За последние дни ко мне больше, чем всегда, валил разный народ, и Никола Мокрый в нынешнем году не жаловался на пустоту своей просторной избищи. Ко мне ходили доброжелатели, мужики живого ума и молодёжь. Они приносили вести из деревень, там застойные тихие омутки житейщины, издревле освящённые отеческими заветами сумрачной Руси, беспокойно волновались. Явно недобрые были разговоры.

– Кожевенный завод ограбили да кооперацию почистили на моторы да на книги, народные деньги на ветер, разбойники, пустили. Доведут они всё до острия, эти новые большаки, подымут таку копоть, что чертям будет тошно, гнетут, клонят всё туда, к расстройству, к вражде. Откуда-то всё это идёт, а им и любо.

– А у нас-то, у нас-то, – трубил Ерохин, – Николу Мокрого скоро благословят в начальники, хвалится он, что нагонит богачам жару. А всё Васька-разбойник народ с толков сбивает; теперь ограбили завод, – засудить их надо за это, чего смотреть?

У Ерохина была большая родня в волости. И вот в это время деревня, волость в первый раз ещё взглянули пристально на нас с Меркурием Матвеичем. Что же это за люди, как с ними жить, чего ждать? Чтобы выставить напоказ всем правду, мы созвали общее собрание пайщиков завода и кооператива. Идя на собрание, я слышал споры, крики, много было злорадных, торжествующих голосов.

– Отчёт пускай дадут, мы их припекём. Савелий Маркович раскопает, где и что.

Савелий Маркович был прежний петербургский комиссионер и сутяга, а теперь он живёт в деревне на двух наделах земли. Это высокий мужик, русый, с умным лицом, в очках, он всегда говорит обо всем как следователь; на этот раз Савелий был избран ерохинской кучкой для проверки вместе с ревизионной комиссией дел и отчётности завода. Перед началом собрания Савелий, кончив ревизию, вышел в сени. Тут его ждали избравшие его мужики.

– Ну как, Савелий Маркович?

Савелию Марковичу, видимо, не хотелось огорчать мужиков, и он загадочно сказал:

– Есть кое-что...

– Ну как нет, понятно есть, – обрадовался Ерохин, – да мы, мы, господи ты помилуй... они разбойники, кровь нашу пьют.

В это время председатель правления кооператива Андрей Кренделев, дельный, порядочный мужик, начал делать отчёт. По словам Кренделева, было всё ладно, прибыльно, кооперация росла, завод работал хорошо. Часть дохода отчислена на новое предприятие.

– Ревизия, Савелий Маркович пусть скажет! – раздались голоса.

Савелий Маркович с ленивым видом долго протирал платком очки, потом заявил:

– Граждане, я вместе с ревизионной комиссией проверял доходы и расходы завода и взял под сомнение факт отчисления на открытие нового предприятия – книжной лавки – восьмисот рублей, но оказывается, что, по уставу нашему, который составляли Меркурий Матвеич и комиссия, значится, что доходы от завода идут на культурные и разные общественно полезные надобности. Что касается покупки мотора на устройство моторной лодки, то на это имеется договор между гражданами деревни Большие Луга и правлением кооператива. Благодаря этому договору райсоюз выдал ссуду на моторную лодку. Эту ссуду погасит в этом же году деревня Большие Луга. Формально всё в порядке, – развёл руками Савелий.

– Значит, всё и ладно, значит, куда ни кинь деньги – всё покрыто? – кричали свирепые голоса. – Кроме книг, уж не на что больше деньги тратить, мало ли у нас нужды всякой?! Не хозяйственно дело идёт, не верно!

Вдруг поднялся шум. Сразу заговорили все, кто о деньгах, о налогах, кто о товарах, другие грозили кому-то кулаками, рыча непонятное.

– Дай говорить, не шуми! – надрывались молодые голоса.

– Отчитаемся во всём, – гордо сказал Кренделев, – отпили мне голову, если не отчитаемся.

– И отпилим, – засмеялись в ближних рядах.

– Ну что ж, давай отбиваться, – шепнул мне Меркурий, – скажу я, потом ты.

Он встал и повёл рукой, утишая толпу.

– Не хозяйственно, не верно, а может быть, всё верно, – начал Меркурий и кудряво мотнул головой, – ой как суматошно, криво толкуют о деле некоторые доброхоты, а другие им поддакивают. Мы бы послушали и душой и брюхом бы порадовались, если бы вы сказали, какие неотложные нужды нам всем ноги и руки сплетают. Ведомо, что мы во многом нуждаемся и дел у нас вороха ворохами, а впереди их ещё больше. Разве нам страшно оттого, что дел много, и своих, и общих? Но вот кто и как эти дела выполнять будет? Я у вас здесь который уж год, как на горячей сковороде, верчусь и всё хочу оттащить вас от убыточного вашего хозяйства к другому – выгодному. Всем нам понятно, почему это не выходит, а я вот думаю: это

потому не выходит, что въелся в вас старый строй деревенской жизни. Всё грузно, неповоротливо, на всём печать нищеты, нищеты ума, бытия. Вот эта-то нищета и мешает нам как-то шире, привольней жить. Что же нужно делать нам прежде всего, как не взяться изгонять эту нищету? Она у нас на каждом шагу, и вот мы уже второй год буквой, словом, мыслью сживаем её из деревни, но она въелась во всю нашу жизнь, и шутя с ней не справишься. Пока мы её не сживём, до тех пор не сможем ладно обстроить жизнь.

– Что вам не нравится, чего вам надо? – ворчали в углу.

– Не подходят, не надо нам моторы да лавки, не к лицу они нам, – трубил Ерохин и приседал, топал, – зарежьте меня, если неправду говорю.

Меркурий Матвеич погрозил Ерохину и сказал, какие нынче убытки причинил Ерохин кооперации.

– Я налоги плачу, налоги, какие мне наколотили! – отчаянно трубил Ерохин.

Тут мои соседи принялись его припекать, отчитывать, и Ерохин замолчал, спрятался, как таракан в щель. Его приятели были обескуражены, но что-то ещё уркали с видом побитых косачей.

– Мы отчитались, с весом отчитались, – торжествовал Кренделев.

– Ну а лавка, книги – куда их?

– Выйдет лавка, мы верим! – кричали мои доброжелатели.

Пришло время и мне сказать. Я видел, вставая, как закачались мужицкие головы, оживлённо запыхтели. Лица в сумраке избы, будто закопчённые образа со сверлящими точками глаз, уставились на меня.

Я говорил о грамоте, о книге и уверил собрание, что берусь выгодно поставить книжную лавку, а моторная лодка даст большие выгоды нескольким волостям. Эти выгоды особенно волновали собрание; они вдруг явно подкупили всех, заговорило сразу с десяток голосов.

– Видим, ладно это. Ну а лавка тебя ушибёт!

Расходясь по домам, одни шипели:

– Всё равно провалится Васька.

– Нет, выйдет, посмотрим ужо, – убеждённо говорили другие, – вон как у него с лодкой...

Разговоры о лавке не утихали в деревнях.

А я с этой лавкой ночей не спал – торопился всё приготовить. Главное, надо было прочесть, просмотреть много книг, чтобы говорить о них покупателю. Ведь не скажешь, например, о писателях, что этот-де всю жизнь о драках писал, а этот о любви, как говорил, бывало, нам, школьникам, один книжник. Мало сказать, что известкование почвы есть дело выгодное, надо разогреть покупателя, чтобы книжечка поплыла в его руки. Вначале мне подумалось о рекламном каталоге, но это ещё дело будущего, когда торговля даст сколько-нибудь себя знать. На большие доходы я не рассчитывал, но и расходов у нас никаких нет. Если бы я только стал торговать одними разговорами о книге, то и это уже польза, а разговоров будет довольно и народу тоже достаточно, потому что лавки на самом прибое, близ ис-

полкома, кооператива и почты, на почтовом тракте, где ежедневно проходят, проезжают сотни людей. Помещение я облюбовал просторное, с готовыми полками и прилавком, – раньше тут была торговля красным товаром. Охотно вызвались отделывать помещение Гриша, Павел, Никола Мокрый и ещё трое молодых наших мужиков. Был ещё с нами Антоша – он поправлял печи, белил и топил, а мы переделывали полки, готовили щиты. К нам поминутно забегали с мороза мужики, парни погреться, покурить, пошутить. Заходил и разный служилый люд – из кооперации, кредитного, с почты, учителя, фельдшера; они путались в стружках и хвалили помещение.

– Светло, просторно, на открытие придём, поддержим торговлю.

Из задних комнат выбегал Антоша, забрызганный известкой, с кистью в руке.

– Верно, поддержать надо, – кричал он, – только бы рука у вас лёгкая была, дело новенькое!

– А-а, Антоша, без него ни одно дело не обходится! – удивлялись наши гости.

– Понятно, – соглашался старик, – готовим вам палаты, на этом месте Егоров на красном товаре капитал нажил, а нам хоть бы свои выручить, товар наш мудрёный.

– Зато торговец простой.

– Простой, только вывеску забыл заказать, какая лавка без вывески бывает, прогорим без вывески.

Когда красноносый старик Трублин, известный мастер по окраске девичьих прялок, принёс небольшую простенькую вывеску, Антоша огорчённо махнул рукой:

– Какая это вывеска, с ней труба через неделю, верная труба. Надо видную вывеску с золотыми буквами…

– Во-во, – радостно подхватил Трублин и развёл красочно рукой, – золотые буквы по голубому – первый сорт, м-да.

– И эта хороша, – одобрили мои помощники, и все они, и Антоша с Трублиным вынесли вывеску на крыльцо. Трублин подержал её над дверью, а другие рассыпались по сторонам и оттуда кричали:

– Ничего, ладно!

– Да уж не то, не картинно, – чмокал Антоша и ткнул в бок кулачонком Николу Мокрого. – Ты как, пастырь, думаешь?

Никола понуро, грустно глядел на вывеску, поставленную Трублиным на прилавок; казалось, ему было чего-то жаль, видимо, он жалел, что от него уходит сюда хорошая жизнь.

– А у нас-то как там?.. – спросил он.

– У нас будет по-прежнему, – сказал я, – ведь здесь я смогу быть только три раза в неделю, кроме лавки, у меня хозяйство и другие дела.

– Ну и хлопот, делов у тебя, хлеб ты мяккой, – покрутил головой пастух, – и всё хорошо.

– Конечно, так. Всё хорошо бывает тогда, когда сам себя назначаешь на дело, сам себя подгоняешь, а не кто другой.

В это время к нам вбежали Анна, Гришина жена, и Глафира.

– Ой, едва убежали от Парани, – смеялась Анна, – в гости звала. То глядеть не хотела, а вдруг добрая, сладенькая стала.

В этот день Гриша говорил мне, что Ерохин стал неотступно ходить за Гришей и всё умоляет вернуться к нему.

– Ты мой сын, и всё моё – есть твоё, – бил он себя в грудь кулаком, – жить нам просто, всего довольно, а недруги нас раскололи.

– Понял, ему выгодно жить с тобой, – сказал я.

Вслед за Анной и Глафирой вошла к нам Параня в длинной шубе, в толстой вязаной косынке; в руке у ней корзина.

– Просить пошла, а у нас подать тебе нечего, – встретил её смешком Антоша.

– У-у, ты-то… сам нищепрос, – сердито взглянула на Антошу Параня. – Я к Гришеньке пришла, да в куператив ещё надо. Анну Никифоровну я уже звала в гости. Уж, Гришенька, ты не откажись, – поклонилась она пасынку, – приходите сегодня с Анной, а то грех будет.

Меня мало интересовала Параня со своей лживой добротой, и я незаметно отозвал Глафиру. Рядом с толстушкой Анной она казалась высокой и стройной, на ней была короткая шубка, на ногах чёрные валенки.

Мы зашли в другую комнату. Тут топилась печь, выбеленная Антошей. Я в радостной суете говорил что-то весёлое, видел знакомые глаза, розовое лицо, а Глафира осторожно взялась рукой за пуговицу моей гимнастёрки и стояла, опустив брови; рот её обидчиво оттопырился.

– Ты что, светик… – зашептал я в припадке нежности и поцеловал её в розовую щёку, оставив белое пятнышко, и уже не мог удержаться – целовал и в щёку, и в губы.

– Подожди, увидят, придут, – шептала она, дрожа, и увлекая меня дальше от входа.

– Тебя кто обидел? – спросил я.

– Хуже, – улыбнулась она, – ты знаешь… нет, ведь совсем неладно у нас: я убежала тебе сказать, что меня совсем скрутили.

– Как скрутили?

– Каждый день старухи, бабы да Спиридон только о свадьбе говорят, тебя ругают, сестру Анну тоже. Говорят – она ребят худо учит, а всё с мужиками занимается. Мама плачет, а батюшка выругал сестру самыми последними словами.

– Какие бабы, старухи, какое им дело? – шипел я сердито.

– Есть такие сплетницы да сводницы, а сегодня другие за нас вступились, свалка на улице была – пошли бабы наши дела разбирать, только стон стоит, и батюшке досталось, что нас в обиду даёт, – Глафира вдруг ласково потеребила моё ухо. – Покраснело у тебя ухо, уши… горят… Ну вот, значит, батюшко и говорит: «Ежели люди стали наши семейные дела судить, так надо это прикончить, свадьбу в пятницу на той неделе играть». Я обомлела и побежала сюда.

Я потёр ладонью лоб.

– Ну что ж, восемь дней ещё, да чего мы будем ждать, я приду сегодня вечером за тобой, или пойдём сейчас в исполком. Меркурий Матвеич нас повенчает, и всё решено, вот и свадьба у нас.

Глафира засмеялась, слегка отталкивая меня и снимая с моих усов пёрышко стружки. Надо, кстати, сказать, что я теперь не ношу бороды, и это очень нравится Глафире.

– Ты торопливый, – продолжала она, а знаешь, сколько я передумала, помучилась. Анна от хозяйства отказалась, она не хозяйка, и сегодня здесь, завтра ей где-нибудь в другом месте служить. А старики как будут жить? Ведь у них в доме, в хозяйстве всё, вся жизнь. Мне их жаль. Уйти от них – значит, им горе, с ума сойдут, а остаться – мне горе с чужим, не с тем, кого... Ох этот Дупленский, его мне не жаль нисколечко!

– Они-то тебя не жалеют, закостенели они в своём хозяйстве, – сказал я.

– Мать жалеет, она и рада бы мне волю дать, но батюшка упёрся. Я всё думала с Анной его перебороть, да он только злится, бороду рвёт. «Пока жив – будет по-моему». Сюда идут, – встрепенулась Глафира.

– Это Антоша, он уйдёт. А ты оставь свою жалость. Старик ваш дурит. Вечером я приду, буду ждать тебя, мы уйдём ко мне, мои старики обрадуются.

Глафира сложила в замок руки.

– Как решиться... – И вдруг она отскочила в сторону от меня.

В дверях стояла Параня.

– Испугала голубков, – засмеялась она, неуклюже изгибаясь и показывая свои лошадиные зубы, – невестушка, просватана, кажись, а что проделывает...

– Ты проваливай, нищуха, – подбежал к ней Антоша и стал её подталкивать к выходу. Параня ударила старика корзиной по голове, а он её головой в живот, и Параня покатилась по полу в своей пышной шубе, как свёрнутая перина. Я думал, что баба оглушит нас руганью, вместо того она стала хохотать, барахтаясь в стружках.

Когда Параня ушла, Антоша гордо потряс сухим кулачонком.

– Она меня боится, я колдун!

Глафира ещё минутку постояла со мной и подала руку.

– Мне уж всё равно, мне не стыдно быть здесь.

– Я приду после за тобой, – сказал я, обнимая её.

– Ладно, – шепнула она, – только не сегодня, а через два дня, это в воскресенье. В этот день батюшко именинник, будут гости. Пусть именины ладно пройдут, а к вечеру батюшко упьётся, – ему уже не до нас.

Я ещё долго стоял после ухода Глафиры на том месте, где мы расстались. Кругом были стружки, ящики, сухой, тёплый воздух, пропитанный запахом сосны, за стеной голоса людей, и всё это будто в каком-то фиолетовом тумане. В моей груди, казалось, таяли последние слова Глафиры... «Да, может быть, и лучше через два дня, лучше...» И вот Васька будет с праздником. Я представлял, как Антоша примется меня поздравлять, засмеялся и побежал в переднюю комнату.

На второй день бабы мыли полы, потолки, стены; после их шумной, хлопотливой работы остался тепличный запар, белизна и приглядность. Мы распаковали тюки, выкладывали книги стопками на прилавок. Пришли Меркурий, Дрёмушка и Игнатий Денисыч помочь мне расставить книги и сделать выставку. Я знал, что самое мудрёное дело – это выставить книгу. И всё, что мы сделали, вышло, как в библиотеке, – строго и холодно. Я был недоволен, шёл домой расстроенный и весь вечер и долго ночью раздумывал, перестраивал всё сделанное.

С утра я пришёл в лавку, посмотрел, и мне стало понятно – вчера была сделана черновая работа. Книги стоят на полках, на щитах, на прилавке, пестреют в разных нарядах, толстые, тонкие, маленькие, большие; но вот одна книга заслоняет другую, форсит своим видом, а то обидчиво топорщится целый ряд книжек. Там скупо, сумрачно, будто света мало, и редко, редко где книги цвели, играли радугой. Мне хотелось их всех обласкать, разместить почётно, приглядно, и я всматривался в них, брал в руки, переставлял.

– Вот сюда тебе, тут твоё место, – говорил я, – ведь о каждой мне из вас рассказывать надо, не один только ваш вид, титул показать придётся. Многие из вас совсем простецкого вида, как обычная наша жизнь, дело, иные всегда готовы тревожить, искушать человека жаждой мысли и правды, другие просто благоухают, радуют соками земли, как весенний сад. – Может быть, я бы думал и чувствовал не так, если бы не пленял меня завтрашний день – завтра открытие лавки, и вечером мне надо идти за Глафирой, – так у меня и было положено в душе, и я боялся это выронить, хотя и не выронишь никак.

В конце дня в сумерки кто-то подъехал к лавке, потом я услышал топот на крыльце и стук в дверь. Я открыл. В лавку вошли, отряхивая снег, отец и кум Никифор.

– Вот он где, Василий-воин! – закричал кум Никифор и хлопнул, не снимая огромных кожаных рукавиц, рукой об руку так, что всё задрожало. – Новую кузницу открываешь, язви тя в ухо!

– Здорово, здорово, Никифор Егорыч, – сказал я и занёс кверху руку, чтобы оттуда ударить по руке дюжего старика, – не кузницу, брат, я открываю, а невестин дом. Всех мужиков, парней, девок и баб думаю оневестить, приданое вот приготовил, – показал я на книги.

– Ах ты, суровая твоя башка! – захохотал Никифор. – Погоди, я ужо с тобой поговорю, – он тряс бородой и указывал на книги, – не осуждаю, не осуждаю, ежели приданое это беса в ребро твоим невестам не вгонит. Того и гляди, они завертятся потом, как на горячих угольях: «Ой, жить горько, не сладко, ой, не хочу мужиком быть». – Никифор, искосив рот, тряс зеленоватой бородой, краснел и вилял задом, изображая куражливого бунтаря против мужицкой жизни.

– Не чуди, кум, ладно, пускай их... – посмеивался мой отец. Он стоял в тулупе, в надвинутой на глаза шапке. – Молодяжнику-то это не худо – народ нынь не прежний.

– Ну-ка, куманьки, скажите, какова лавка? – спросил я.

– Я без очков не вижу, – моргнул Никифор, но подвинулся вслед за отцом ближе к книгам. – Ну что ж, птица пером, а человек умом красуется, – степенно проговорил Никифор – торговать те на славу!

Отец ничего не сказал, его занимало больше, чем моя лавка, другое.

– Знаешь, сынок, мы с кумом на молодяжке за тобой приехали – вороной жеребёнок; кум продаёт его, погляди-ка.

– Клад жеребёнок, клад, золото! – хвалил Никифор. – Только для кума, никому другому не продам, а у меня ещё есть старик конь, годов десять послужит.

– Какая цена? – спросил я.

– Молчи ты о цене, свои люди, – отмахнулся Никифор, – я ведь знаю, что вы такие, как и я: лоб себе разобьёте, а с людьми в долгах рассчитаетесь.

Отец ещё больше надвинул на глаза шапку.

– Спасибо, кум, спасибо, век другом был... да поедем, что ли?

У крыльца стоял небольшой круглый конёк, запряжённый в лёгкие сани. Мы поехали по бело-пушистой улице, в избах мелькали уже огоньки.

– Во-во, но-о, дурак! – покрикивал Никифор на конька. – Ты гляди, как он забирает ход, что шар катится, еретик.

– Хороший жеребёнок, – похвалил я, – и ты хороший мужик, Никифор Егорыч.

– Ладна-й, – засмеялся он. – Ужо выпьем. Есть, кум, выпить-то?

– Найдём. Как не выпить, – весело сказал отец, – праздник ведь – лошадь завели.

Я подумал, что вот у меня завтра праздник. А этот мой праздник был полон разных неожиданностей, тревог и огорчений. С утра всё было хорошо, даже сверх ожиданий хорошо. В одиннадцать часов я открыл лавку. Со мной были Гриша, Павел и Антоша. Потом пришёл Меркурий Матвеич, за ним повалил наш служилый люд, мужики и молодёжь. Антоша в старом коротком тулупчике торчал у дверей, впуская народ в лавку, и всех наставлял, подмигивая.

– Нагляди на рупь, а купи на два, всё вольготно у нас, аккуратно, без запросов.

Накануне Антоша немного подгулял с моим отцом и Никифором и всё хвастался, осанисто оглядывая нас, подпирая бока кулаками:

– Я век с настоящими людьми дружбу вожу, потому что я люблю вот таких до страсти, – мне без них дня не прожить. А первейший мой друг – это Васька, всё колдовство своё ему теперь передал, в компанию вошёл, – старик крутил головой и смеялся, – теперь, значит, что бы Васька ни делал, я тут участник.

Народ шёл в лавку. Я вглядывался в лица как победитель. Каждое новое лицо несло, выражало одну и ту же загадку: что же у нас случилось, чёрт возьми; может быть, тут новая святость, дивность, а может быть, и пустая выдумка?

– Смотри-ка ты, ведь знатно вышло, – переговаривались между собой мужики, – загляденье, брат!

Те, что пришли раньше, облепили прилавок, учтиво брали книги, что-то соображали, читая заглавие.

Первое время служилый люд расхватал десятка три книг. Служилых я предоставил на долю Меркурия и Дрёмушки. Мне достаточно было мужиков и молодёжи. Эти не сразу покупали, советовались между собой, прислушивались к тому, что я говорил другим о книгах, облюбованных ими.

Толпа у прилавка густела. Служилый люд перемешался с мужиками, и разговоры о книгах иногда переходили в спор, но он тонул в растущем оживлении. Посреди лавки стояла кучка мужиков-наблюдателей, они о чём-то говорили своём, иногда неодобрительно усмехались, как бы ожидая чего-то другого. Они встречали вновь входящих людей, и часто слышалось предупреждение:

– Умным охота быть, вишь, новый иконостас выставили!

– А ты приложись, не холоди людей! – кричал Антоша.

Вдруг кто-то крикнул:

– Змиев, ты Глафиру-то проторговал!

Я принял это за шутку и тотчас забыл.

Через минуту протискался ко мне Антоша.

– Что делается, слышал? Иван Горячий сейчас в Совет Глафиру и Спиридона привозил, записались, сегодня свадьба, – старик смотрел на меня с любопытством. – Ты сам благословил, что ли, её?

Последние слова больно разгневили меня, рябилось в глазах лицо Антоши, и всё кругом смешалось; казалось, отовсюду смотрят на меня враждебные уродливые рожи. Это было сразу, на один миг.

– Ты узнай толком, – сказал я старику. Он тотчас исчез.

«Что это такое? – думал я. – Неужели она решила похоронить всё?..» Я отвернулся от людей к полкам и в приступе вновь охватившего меня гнева уронил пачку книг, стал ползать по полу, ворча:

– Ну и пусть так, конец, не думай.

Я подобрал книги и взялся вязать оборванное дело, но я уже был вроде человека, у которого вдруг что-то заболело, и он, скрывая боль, силился быть таким, как всегда.

Так шло до вечера. Я закрывал лавку, когда вернулся Антоша.

– Ну? – спросил я.

– Вот те и ну, – презрительно отозвался старик, – пируют. – Язык старика был немного хмельной, и весь он как-то разогрелся, тулупчик его распахнулся во всю ширь.

– Мне чашечку поднесли, – признался он, – гостей много – одним словом, свадьба.

Мы пошли домой. Антоша, толкая меня плечом, говорил:

– Только у них всё этак на крутую руку, и узнал я, что Параня и Спиридон насели вчера на Ивана Горячего, наплели чего-то. А Иван что, он век как на огне горит... «Ах бес, ах сатана, ну, что вы!.. Завтра же всё решим!» Сегодня пришёл к Ивану Спиридон, запрягли они лошадь, посадили Глафиру в сани и поехали в Совет.

– А как Глафира? – спросил я.

– Весёлая, – развёл руками Антоша, – все даже дивятся. А Спиридон петухом на неё смотрит, могучий парень, не зря Иван такого облюбовал. А ты что... – насмешливо оглянул он меня. – Видом, стенами-то ты тоже приглядный, только ведь старый солдат, две войны провёл.

Антоша был болтливее обычного после угощения, толкал меня то локтем, то плечом и говорил:

– На войне был, воевали, а что нынешние войны – хитростью воюют, а раньше сила бушевала, потому и пословица говорится, что кто сильнее, тот и правее. Эх-хо, было это, да прошло. Теперь сила сдала, теперь хитрость правит всем – кто хитрее, тот и правее.

– Хорошо, что она весёлая, – сказал я, думая о Глафире.

– Что-о? – спросил Антоша, спотыкаясь. – Весёлая, ха-ха! Говорю – весёлая. Да уж чего, упустил кралю, – Антоша явно меня презирал.

Я долго один ходил по деревне, потом зашёл домой. Через пять минут опять был на улице. Уже давно стемнело. Вверху сквозь сито тонких облаков проглядывали звёзды. Чёрные избы с белыми крышами и пятнами огоньков в окошках развлекали меня своим мирным видом; я вспоминал тех, что живут в этих избах. Кое-где лежали брёвна, вывезенные мужиками из леса на баркасе и моторной лодке.

«Да, будет лодка, ещё что-то будет. Меркурий уедет, я буду один, и теперь... тоже один».

Я вспомнил Тимошу Комара. Вот он, пожалуй, один, одинокий со своей трубой, и выдумал себе занятие.

– Тьфу! – разозлился я на себя и пошёл домой.

Отец, напевая лихую песенку, вязал хомут. Мать сидела за прялкой, прямая, высокая, казалось, была увлечена пряжей.

– Ты бы, мать, подтянула мне, – сказал отец, обрывая песню, – а не то чаем бы подогрела нас, мы ведь с Васькой прохолонули, – он хитро оглянулся на меня.

– Как, парень, дело-то? Токуй не токуй, а того гляди устрелят.

– Ты о чём? – спросил я, раздеваясь.

– А всё о том...

– Старик! – строго сказала мать. – Заговори о чём-нибудь ладном.

– Что ж, тебе сказку рассказать? Давай: вот, жили-были две вороны, и всю жизнь они воронили, а на старости лет им захотелось соколами быть...

Я подошёл к верстаку и принялся строгать брусок – я делал уже недели две большой стол. Сказка отца или работа развлекли меня, и вдруг мелькнула волнующая мысль: «А что если Глафира обманывает всех своим весельем? Нет, это пустая надежда».

– Нет, чёрт возьми, не пустая, – сказал я глухо, бросил работу и стал одеваться.

– Ты куда опять? – спросил отец.

– К Ивану Горячему на свадьбу, – сказал я весело.

Отец вскочил. Он будто сразу вырос на голову выше, лицо и шея налились буйством и молодостью.

– Иди! – крикнул он и хватил кулаком по столу. – Благословляю, светозарно благословляю, отбей, а то мне не сын был бы, не Васька Змиев, а помело старухино!

– Ошалел старик, спятил совсем, – вздыхала мать.

Я готов был уйти и не ушёл, идти было не надо. В этот час в доме Ивана Горячего, как потом мне рассказывали, кончался свадебный пир. Спиридон взялся увеселять гостей игрой на гармонике, гости плясали, пели песни, потом вызывали плясать Глафиру.

Глафира не отказалась, она плясала с подругами в кругу гостей, отчаянно махала рукой.

– Последний разочек в девках поплясать.

– Ну уж и жена у тебя! – говорили Спиридону гости.

Спиридон горделиво хохотал.

Вдруг Глафира исчезла. Раньше других это заметила Параня.

– Смотри, где невеста-то? – сказала Параня брату.

– А што? – испугался Спиридон.

– Не видать нигде.

Скоро всё затихло в доме Ивана. Гости шёпотом спрашивали друг у друга:

– Куда делась, куда?.. Ой, грехи!

Около дома и по деревне суматошили бабы, девки.

– Потерялась невеста, потерялась, – и грешный восхищённый шёпот бежал с бабьих губ.

– Вот история! – веселился среди баб Игнатий Денисыч. – Черномор, что ли, похитил? Это как в опере «Руслан и Людмила». Там, знаете, тоже так пировали, свадьбу справляли – Людмилу за Руслана выдали, а потом точь-в-точь, как у нас... Чудно, право, чудно, не ожидал!

Может быть, в то время, когда веселился Игнатий Денисыч, к нам в избу вошла Глафира в накинутой на плечи шубке. Она мило, с мольбой взглянула на меня и прислонилась к лежанке – шумно дышала и, видимо, оробела, увидя ещё не утихшее буйное смятение моего отца. Я обнял Глафиру и провёл несколько шагов.

– Как счастливо! Только что хотел бежать за тобой, это они меня... – показал я на стариков.

Глафира хотела что-то сказать, но мать кинулась её обнимать.

– Глафирушка, а мы-то думали, что нам тебя и не видать больше!

Отец стоял уже не с видом богатыря, а как святой Трифон на иконе древнего письма.

– Благослови их, старуха, – сказал он благодушно, и я вот... ну-ка, невестушка... – шагнул он к Глафире, ширя руки. – Род-то наш не таковский, и жить ему во веки веков, аминь.

Пусть на этом и кончатся мои записки «Житие Васьки Змиева». Записки не совсем полные, но для меня в них есть своя внутренняя полнота – это сборник благочестивого вольнодумства.

Охотники*

I

Агапей взял Маришку на косачиный ток – уступил назойливой просьбе и после жалел и ругался неистово. Девчонка заснула в шалаше, точно дома на полатях, – не видала, как падали из сумрака к шалашу лесные петухи, задорно шумя крыльями. Ей снился ледоход, видела себя на берегу у самой воды, вдруг вода хлынула ей на ноги. Маришка испугалась, побежала к избам. Кто-то сзади схватил её за плечо.

– Спишь, чертовка! Ногами бьёшь, ворочаешься. Косачей согнала.

Девка виновато мигала сонными глазами, вглядываясь в сумрак. Давно ли был закат, давно ли они влезали в этот шалаш из ёлок, нагретый за день солнцем и пахнущий смолой.

– Может, ещё прилетят, – робко сказала она на ругань деда.

– Так и есть, прилетят. Ток сбила, кукла ты сонная. Пошли домой, кончено.

Такова была первая охота Маришки с дедом. Осенью Агапей взял внучку на охоту за рябчиками. Он был, по старости, туговат на ухо – плохо различал, где пищит рябчик, и здесь маленькая спутница очень пригодилась старику. Он стал её водить дальше в лес, иногда вёрст за двадцать от дому, там они промышляли белку, глухарей, горностая, благо собака – бойкая на птицу и зверя. За осень напромышляли десятков шесть белок, три горностая и птицы вдоволь настреляли. Агапей всю зиму хвалился промыслом. В его годы не приходится помышлять о больших достатках, а всё же он ещё лихой охотник и при случае не упустит ни куницы, ни выдры.

Зимой он помогал сыну Анисиму в домашних делах. Плели корзины, бураки, делали бёрда, лопаты, вёдра, но больше всего старик вёл бесконечные разговоры с гостями-охотниками о промысле, о повадках зверей и птиц. Любил вспоминать о своих подвигах. Когда-то ему удалось убить медведя и чернобурую лисицу.

Иногда Агапей садился читать Псалтирь (других книг он не признавал), сажал рядом Маришку и учил её славянскому. Анисим купил на ярмарке букварь, – он немного разбирал печатное – и взялся учить грамоте дочь и сына Гришку. Старик обиделся и заносчиво стал кричать на Анисима:

– Противо меня какой ты грамотей, где тебе учить ребят!

– Сиди, батюшка, сиди со своей Псалтирью. Я выучу.

– Молчать! Я пока хозяин в доме, – вдруг вскипел Агапей, – не дам тебе учить. – Он хлопнул Псалтирью по столу, на пол полетели чашки, не убранные хозяйкой после чаепития.

– Будет, будет, а то свяжу тебя, – спокойно сказал Анисим.

Тут старик взбеленился окончательно, схватил Анисима за волосы. Тот, разгорячась, потрепал отца. Шуму было много, чуть не вся деревня собралась к Агапеевой избе. Агапей пошёл к старшине жаловаться и требовал, чтобы сына Анисима

* Печатается по: *Черноков М. В.* Охотники. Л. : Гослитиздат, 1936.

выпороли всенародно в волостном правлении. До этого, однако, не дошло. Соседи помирили упрямых учителей. Решили сообща так, что у Анисима больше прав учить ребят, к тому же он потратился на букварь. Агапей ушёл в лес на лыжах и прожил в лесной избе больше недели. Потом ходил на тока, лето удил рыбу, а осенью опять в лес с Маришей, – обещал купить ей ситцу на платье. Девка привыкла к промыслу, её уж тянуло в лес, весело было идти на лай собаки. Замирало сердце, когда они с дедом подкрадывались к глухарю, бесшумно переходя от дерева к дереву. Глухарь обычно сидел на толстой ветви ели или сосны под самой верхушкой, иной раз на суку сухарки и глядел на лающую внизу собаку. Дед почти всегда подстреливал глухаря, он падал вниз, распустив крылья. Занятно было и отыскивать белку: поздней осенью этот зверёк хитро прячется в высоких густых елях. Редко брали её с первого выстрела. Дед позволял стрелять в белку и Маришке. Случалось, раза два выстрелят и тот и другой – и всё без толку. Дед, ругаясь, заряжал вновь ружьё.

– Ты тоже, востроглазая, – «я, я попаду», а что вышло... два заправа испортила.

Мариша досадливо глядела на верхушку ели.

– А кто её знает, где-то затаилась, ведьма... Уйдём, ну её...

– Нет, девка, стукни ещё раз обухом, да посильнее. Я буду глядеть.

Так стучали и стреляли, пока хватало терпенья.

Не лучше было и с горностаем. Он забивался от собаки под валежник, покрытый рыхлым слоем первого снега. Собака подбиралась к зверьку, – летели из-под лап её снег, мох, земля. Дед стоял наготове с ружьём в руках, дрожал.

– Так его, так, лови, Пеганка.

У Мариши горели щёки, и дух захватывало, когда горностай стрелой вылетал из-под валежины и дед торопливо палил в него. Зверёк опять забивался в укромное место, и опять повторялось то же самое.

Если дед справлялся с глухарями и кое-как одолевал белку, то на долю Мариши доставались рябчики. Как только старик зазевается, начнёт шарить глазами под ветвями ели, углядывая рябчика, Мариша выхватывала из его рук ружьё и стреляла, рябчик падал. Тогда дед растягивал рот, обнажая жёлтые, съеденные зубы, и скрипел:

– Ишь, холера, бойка стала. Надо винтовочку тебе справить. С двумя ружьями ловчее.

На следующий год девка ходила на охоту с винтовкой, за поясом носила топор. Дед налегке. Он начинал понемногу отвыкать от лишних хлопот. Девка и стреляла больше, у избы на ночлеге дрова рубила, варила ужин, а старик покуривал, грелся у огня и мечтал о богатой охоте – говорил о куницах, выдрах, норках.

Если промысел был плох – ходили по лесу попусту, – старик злился и кричал:

– Ох, чёрт возьми, хоть бы медведь попался. Так бы я его, мохнатого, огрел... Ты бы, Маришка, наверно, заробела, ты ещё ребёнок, где тебе... Неужто бы не испугалась? Ишь, чертовка! А ты смотри, – учил он её, – ежели до топора дело дойдёт – сразу не бей, а сначала махни шутя топором-то. Как бы погрози ему. А потом уж

тяпай, а то он выхватит, отберёт твоё оружие... Было у меня так... – он начинал рассказывать, как это было.

Медведя им не привелось встретить за всё время совместной охоты.

Охотились пять осеней...

Мариша стала красивой, ладной девкой. К Анисиму заглядывали свахи, сваты. Чуть ли не первым сватался к Марише завидный жених Илья Улейкин, – не пошла за него. Анисим не принуждал. Только для приличия поворчал на дочь:

– Зачем бы брезговать таким женихом, как Улейкин, парень хозяйственный. Отец его всегда хлеб продавал, немного барышничал, – знать, не без денег живут...

Жалела жениха и Маришина мать.

– Приданого у тебя нет, порядочные женихи больше не заглянут, – говорила она.

– Приданое! – засмеялась девка. – Возьму от Пеганки двух щенков – вот и приданое.

– Верно, – одобрил Агапей. – Промысла не бросай, кормиться будешь. Главное – собак добрых держи.

Весной Мариша вышла замуж. Агапей всё лето собирался сходить к ней в гости и не собрался. Осенью пришёл звать на охоту. Фёдор, Маришин муж, угостил старика хмельным. Подвыпив, он расчувствовался – думал много сказать и всё тряс головой, слёзы текли по лицу.

– Ты понимаешь, понимаешь, – бормотал он, – из одного ружья, бывало, в белку палили, а жили как... Радовались и горевали вместе – старый и малый... Эх, да где всё высказать...

В слезах и ушёл домой. На второй день он захворал. Дня четыре пластом лежал – не пил, не ел. Анисим считал старика покойником. Между тем старик через день встал и заговорил об охоте. Всю осень провёл в лесу.

Мариша, выйдя замуж за Фёдора Суслонова, стала соседкой своему первому жениху Илье Улейкину. Это был рыжеватый мужик с широким лицом, с толстыми покатыми плечами. На Маришу он, видимо, сердился. При встречах глядел на неё почти со злобой в глазах.

Он иногда зазывал Фёдора к Назарихе выпить по стаканчику и за выпивкой расспрашивал, как Фёдор живёт с Маришей.

Тот покручивал светлый ус и смеялся.

– Живём. А ты чего заботишься? Очень ты любопытный. Конечно, наше хозяйство беднее твоего. Ты хлеб продаёшь, а мы покупаем. Один надел земли. Рыбная ловля выручает, у озера живём. Маришка промысла не бросает, всё же достаток.

Мариша ещё одну осень промышляла с дедом. Он по-прежнему легко ходил в лесу, только совсем оглох и называл теперь себя старым псом. На осенней охоте Агапей простудился, слёг и больше уже не встал. В этом же году утонул в озере во время бури Фёдор, Маришин муж. На руках бабы остались двое ребят и свекровь Агафья Сидоровна.

II

Склонясь перед низким открытым окошком, Мариша взглянула на озеро. Ветер стих. На озере лёгкая, играющая на солнце зыбь.

От берега пошли две лодки с рыбаками. И Марише нужно бы ехать ставить сети, но к ней пришёл Улейкин покупать пух и перо.

Она села на лавку и стала перебирать и считать беличьи шкурки. В окошко тянуло запахом елей, посаженных когда-то стариками вокруг древней часовни. С улицы доносились голоса баб, мычали пригнанные с пастбища коровы.

Улейкин забрал из больших коробов перо и пух, набил три мешка, стряхнув пух с рукавов кумачной рубахи, хлопнул рукой по карману широких штанов.

– Ну что ж, кошелёк доставать или хлебом берёшь? Мне всё едино. Да ведь у тебя ещё товар – белочки. Это что под весну убиты, по насту.

Мариша думала: продать ли белок Улейкину, соседу, или оставить их старику Шипунову. Хмуря тёмные брови, припоминала, сколько же она продала зимой беличьих шкурок старику. И, кажется, продешевила. Улейкин скупает пушнину первый год, уверяет охотников, что он всегда будет платить за всё дороже, чем Шипунов. По-видимому, мужик имеет деньжонки. Отец его поторговывал хлебом, перекупал лошадей, хозяйство было большое, как не накопить денег.

– Ну что ж задумалась, соседушка, смотри веселее. – Улейкин сел на лавку, брезгливо оглядывая курную избу с высоким чёрным потолком: – Эх, не вышла за меня замуж, погордилась. Теперь не в чёрной бы избе жила, не так бы жила, как теперь, а получше.

Он ещё скромно говорил о своих достатках, но уже не подавал руки беднякам. В церкви стоял среди богатых мужиков, отпускал бороду и много раз в день расчёсывал её.

– Чего старое вспоминать. Я давно это забыла, – она бросила косой взгляд на скупщика, поднялась с лавки и быстро подошла к воронцу, стала шарить на нём рукой, что-то отыскивая. – Кажется, здесь валялась шкурка беличья.

– Дай я найду, – ринулся к ней Улейкин. – Подожди… – он обнял бабу и зашептал, прижимаясь подбородком к её плечу:

– А я ничего не забыл, до сих пор сердце горит. Ей-богу…

Мариша вспыхнула и слегка отстранила Илью.

– Ещё раз побожись.

– Да хоть тысячу раз, я тебе говорю, у-ух, – он стиснул зубы, опять тронулся к Марише и, тотчас овладев собой, стал ходить по избе, пиная мешки с пером. – Да, прогадала ты тогда… и за кем погналась – за Суслоновым, который умел девкам зубы заговаривать. Не понимаю.

– И понимать тебе нечего. Давай-ка о деле говорить. Что тебе с бедной вдовой проводить время. Берёшь белки, а то…

– Ладно, беру. Конечно, чего мне с тобой время проводить. По правде говоря, моя жена краше тебя – это кто угодно скажет. Но ты, ты… поглядишь – голова

хмельной делается. Неужели никто после мужа?.. А бедный Фёдор сгорел около тебя.

– Зря ты хмелеешь, иди протрезвись, посмотри на свою жену-икону, помолись, и всё пройдёт. Я еду сети ставить.

– Ну, ну, не обижайся, давай белки, и будем расплачиваться. Если хлебом – бери сколько надо. Переберёшь, осенью рассчитаемся.

Улейкин стал считать шкурки.

В избу вошёл, покашливая, сухой мужик в рваном пиджачишке, в домотканых, запачканных смолой штанах, но на ногах были добрые опойковые сапоги, на вороту – серебряная часовая цепочка, на руке сверкал дорогой перстень. Он снял фуражку, крестясь, тряхнул маленькой плешивой головой и вдруг злобно плюнул.

– Тьфу, Улейкин всюду поспеет, опять мне дорожку перебежал, разбойничьи глаза. На большой бы дороге тебе жить. Как с тобой людям не гадко дело иметь?

– А, Шипунов, шипун! Продай перстень, куплю, – сказал Улейкин; он поспешно забрал шкурки, мешки с пером и пухом и пошёл из избы. – Некогда с тобой, хозяйке надо на озеро ехать. Мариша, приходи расплачиваться.

Шипунов пошёл вслед за Улейкиным, размахивая фуражкой, кричал:

– Перстень, перстень мой тебе не носить. Капиталов не хватит. Мелко плаваешь. Торгован копеечный или где-то денег хапнул? Оно на тебя похоже.

Улейкин, выйдя на улицу, сердито обернулся.

– Ты что это, сухой чёрт... – Он стряхнул со спины мешки, потом взмахнул одним из них и кинул в Шипунова: – На вот, я тебе дарю, пропадать на нём будешь.

– Я, я пропадать, ах ты нищепрос!.. – И Шипунов с бешенством пнул мешок. Пух полетел по улице. Мариша, стоя у окна, смеялась, держась за бока.

– Кошкодав ты, пискун! – выл Улейкин, наступая на противника. – Уходи! Проваливай!

Мариша закрыла окно и подумала: «На рысь похож Улейкин-то, совсем рысья морда».

III

Год предстоял трудный. Ранним морозом побило весь ячмень на поле. К тому же и рожь уродилась половинная против прежних лет.

Народ по осени стал продавать скотину. Мужики спешили уйти на заработки. Беднота целыми семьями поехала побираться. Нужда постигла и охотников. На пушнину и на птицу держались низкие цены. Скупщики ошалели от невиданных барышей. Надо было ходить к ним и умолять, чтобы они купили у промышленника товар.

– Подождите, успеете, да и что вам платить теперь за ваш промысел, – говорил охотникам Шипунов. – Вы видите, что делается. Вон новый торгован Улейкин на скотине капитал нажил, а я тряпья всякого накупил, деньги потратил, когда-то его продам. Белка нынче пустое дело, разве горностай поценнее.

Маришу он встретил сурово.

– А-а, стосковалась, милая, по старику. То-то. А летошнюю измену помнишь? Нашла дружка Улейкина, пух, перо и лучших белок отдала ему, – он вертел на пальце перстень и потряхивал маленькой плешивой головой. – То-то вот и смеялась, как он меня потыкивал кулачищами. Приверженность к нему имеешь. Что на меня глядишь как на звиря. Я теперь ничего не покупаю, вот.

– Звирь ты и есть. Купил бы ты у меня выдру.

Вдруг Шипунов просиял:

– Выдру, говоришь?.. Неужто спромышляла? Ай да бабица!.. Я когда-то у твоего дедки Агапея чернобурую лисицу купил, вот была краса. Да садись, сделай милость, самовар поставим.

– В самоваре не нуждаюсь, не до того. – Мариша села на лавку. Подумав немного, спросила: – Сколько за выдру дашь?

Шипунов ходил по избе, вздыхал, мял полы своего рваного пиджака.

– Не знаю, что тебе и дать, – наконец сказал он, – рублишек семь.

– Семь? Это что же – полтора пуда хлеба купить. – Мариша в досаде ударила себя ладонью по колену. – Ты в прошлом году дал бы больше за выдру. Она меня с семьёй половину бы зимы прокормила, а теперь что же… Нет, этак ничего не выйдет, – она поднялась и пошла из избы. – Прощай. Я не отдам зверя так дёшево.

– Дело твоё, дело твоё, – равнодушно проговорил Шипунов. – Рад кормить, чем могу, каждый год кормил, не забывай.

Мариша вышла на улицу, оглянула богатый дом скупщика пушнины – ей вдруг стало обидно.

Сколько этот Шипунов перекупил у неё и у деда Агапея разного зверья и птицы, сколь он наживал. Наверно, рубль на рубль, а нынче он хочет нажить побольше.

Прежде чем идти домой, Мариша зашла к охотнику Щербакову, застала у него Плиткина Терентия, который неделю тому назад звал её пойти вместе к гористому поясу охотиться на куниц. Охотники о чём-то спорили.

Низкорослый бойкий Щербаков, всучивая в дратву щетину, говорил с упрямством в голосе:

– Я верно тебе говорю, поверь! Старик мой божился, что видал своими глазами.

Здороваясь с Суслоновой, он пожаловался:

– Вот всё вздорим с Терентием, не верит он ничему.

– Вы о чём говорите?

– О чём говорят – известный разговор у моего мужика, – вмешалась жена Щербакова, высокая черноглазая баба.

– Анисья, ты молчи, – прикрикнул охотник на жену, – что ты понимаешь в важных делах!

– Какие важные дела-то – о кладах тебе только и разговаривать, а того не знаешь, важный, что мука кончается. Промысел не продан.

– Ну ладно, ты слушай, Терентий, и ты, Мариша, – невозмутимо продолжал хозяин. – Клад кладом, а надо его уметь взять, а вот отец мой покойный о городе

одном рассказывал. Будто бы этот город очень близко отсюда. Лесом на лыжах махнуть прямиком на запад два дня, не больше, и город тот богатейший. Отец говорил, что там по рублю за белку платили.

– По рублю! Много получаешь, много домой не носишь, – возразил Плиткин. – Да и никакого города ты не найдёшь, там, где хочешь найти, чудак.

Добродушное красивое лицо Терентия вдруг приняло озабоченное выражение.

– Не то, братец, надо, давай-ка о деле поговорим. С чем, Мариша, пришла?

Мариша нисколько не удивилась тому, что говорил Щербаков, он всегда рассказывал разные небылицы. То он на один выстрел брал по пяти рябчиков, то лось, которого он поднимал, вдруг превращался в зайца. В этом году он будто бы видел белого тетерева, – это к голоду. Но больше всего он говорил о кладах и мечтал найти клад.

– О деле говорить вам, а я послушаю, – обиделся Щербаков, – давай, говорите.

Мариша села к столу наискось от Терентия, он спросил:

– Была у старика?

– Была. Я думаю, обойдут нас скупщики, глядеть надо. Десять лет из долгов не выкарабкаться. Ты, Щербаков, что думаешь?

– Опутают, да, да. Это может быть. – И Щербаков заёрзал на скамье. – А как им противоборствовать?

– Рискнуть надо.

Анисья подошла к столу, с любопытством уставилась на Маришу. Она слыхала от мужа и от людей немало разговоров об этой молодой бабе.

Щербаков помнил один случай, говорил о нём жене. Это было прошлой весной. Он похвастал Марише, что убил тетёрку-матку в гнезде. Похвастал и схватился. Баба так его устыдила, так отчитала, что он всё лето боялся с ней повстречаться. Вспомнив сейчас этот случай, он тянулся рукой к своей лохматой голове и, стараясь придать лицу умное выражение, бормотал:

– Да, да, оно рискнуть следует, да как же?

– А вот как: помните, осеней пятнадцать тому назад был такой же недород, как и нынче. Народ мучился, скупщики наживались, охотники не знали, как быть со своим промыслом. Вот однажды дед Агапей и батюшка уложились в сани и поехали. Проездили они долго, недели три. Но зато продали промысел выгодно и вернулись домой с хлебом. Так вот теперь и нам нужно сделать. Батюшка помнит, куда они с дедом ездили. Какой-то большой город. Я боюсь соврать, – она взглянула на Терентия.

– Что ж такое, нам дороги не заказаны, поедем, – сказал Терентий, – лучше не придумать.

Щербаков мечтательно ухмылялся, он увидал входивших в избу ещё двух охотников и крикнул хвастливо:

– Эй вы, коростели, мы в город надумали ехать, едете, что ли?

– Отчего не ехать. Можно.

– Ну то-то, можно. Вот мы и говорим... Садитесь. Мне полкуницы с каждого за совет.

– Но ведь ты сам не поедешь, Анисью отправишь? – пошутила Мариша. – Ты накупишь плохих ружей вместо хлеба.

Потолковав с охотниками о поездке, она уже под вечер пошла домой. Падал лёгкий снежок, за деревней по ту и другую сторону дороги два мужика ставили вешки.

– Ай да молодцы! – похвалил мужиков Улейкин, проезжая мимо; он осадил коня, оглянулся:

– Садись, соседка, подвезу. Посмотришь, какого я бегуна купил.

Мариша села рядом с Улейкиным в маленькие сани.

– Ну-ка, что у тебя за бегун? Ты ведь бахвалить любишь.

– Я? Ты смотри. Эй!

Лошадь пошла крупной рысью.

– Эх, промахнулась ты, бабонька, четыре года назад. Ездила бы теперь на бегуне, не ходила бы в этаком кафтане. Лисья бы шуба была. Сама виновата. Нынче без хлеба поживёшь, каково, а?

– Ты что это... – Мариша схватилась за вожжи, остановив лошадь, сошла с саней. – Ты бахваль, да меру знай. Купил верблюда и расхвастался. Ходила бы да ездила бы. Уезжай с глаз долой, пила худая.

Улейкин перекрестился, сердито глядя на бабу.

– Спас Господь, не женился... У меня жена ангел, а ты что... – не договорив, он уехал.

Весь день в избе народ: соседки, соседи-старики, охотники с тощими, голодными собаками – все говорили с Маришей о поездке в город, – завтра выезжать. Заходил Шипунов и клялся, что он охотникам отец родной, он готов взять пушнину по высокой цене. Видя неудачу, ушёл, обиженно потряхивая головой.

Вечером влетел в избу Улейкин. Мариша только что вернулась из бани, – отпустила мыться бабку Агафью. Стояла посреди избы в клетчатом сарафане, надетом поверх рубахи с широкими до локтей рукавами. Расчёсывала свои длинные, чуть не до пят, волосы.

– Соседка, я мириться пришёл. – Улейкин потрогал на голове высокую шапку из молодого оленя, но не снял её: – Ты забудь то, что я тебе говорил сгоряча, ей-богу. И насчёт цены тоже... – Он обошёл, осмотрел бабу со всех сторон, глаза его горели решимостью и нахальством. – Поверь, ты не хуже моей жены, может, даже лучше, право. Знаешь, я теперь не бедный, мне потребуется по хозяйству женская рука. Хочешь, тебя возьму, семью прокормишь. Ничего лучше не найдёшь по нынешним временам. Работы, дела в моём хозяйстве хватит. Только условие: во всём быть покорной хозяину, что скажу, прикажу, значит – без слова. Ну и волосы у тебя, лешевицы.

– Сколько дашь – остригусь. Или волос не покупаешь?

– Отчего, всё можно купить. Но ты не стригись уж. Красивее с волосами.

– Вот ты какой хороший, сосед, видно, и обиды забыл. Забыл, что ли?

– Забыл, наладится всё... – Он, изогнувшись, подскочил к Марише, обнял одной рукой. – Ах, что за хмель ты, всё забудешь...

– Подожди, – отстранила она его. – Дело не забывай. Вон, возьми-ка полено в углу и нащипай лучины побольше, а прежде сходи за водой на прорубь, ведро на конике.

Улейкин ухмыльнулся, горделиво погладил усы.

– Брось шутить, какой я тебе водоносчик.

– А я какая тебе работница, во всём покорница, проваливай со своим хозяйством.

Улейкин потемнел, сжал кулаки.

– Ах, так-то со мной. За добро так? Ладно, сама придёшь, пораздумаешься. – Он надвинул на глаза шапку и пошёл к дверям. У порога обернулся, погрозил: – Сегодня же назло тебе возьму Дуню Матрёнину, позавидуешь. – Вышел, хлопнув дверью.

– Дуролом, – проговорила вслух Мариша, – разбогател, с жиру бесится.

IV

Поездка в город с пушниной вышла удачной. Охотники и Мариша вернулись с хлебом, закупив его в урожайных местах, вёрст за триста от дому. Зиму прожили без забот. Ещё в апреле бабка Агафья хвалилась перед соседками запасом хлеба. По её расчётам, квашня не будет пустеть до июня, а там как-нибудь дотянут до урожая. Строгая и богомольная бабка Агафья весной меньше думала о хлебе, чем о великом стыде перед людьми за свою сноху. Мариша была беременна. Бабы уже, как сороки, стрекочут об этом, старухи шепчутся: «Ой, грех какой, грех, двое маленьких, и ещё... закон обошла».

– Да, да, таким что закон! – кричал Иван Улейкин, старший брат Ильи, живший отдельно от него. – Таких прежде кнутом стегали, а в Писании сказано: кто прелюбы сотвори, тому геенна...

Мариша мало думала о том, что о ней говорят. Она жила обычной жизнью: ходила весной на тока, рубила дрова, готовилась к рыбной ловле. Потом сразу и сев, и погоня за рыбой, куча других дел – когда тут думать о людских разговорах.

Бабка Агафья весной похварывала, сидела дома с ребятишками. Потом, в тёплые дни, работала на огороде, работала бойко. Порой подмечала какое-нибудь неловкое движение Мариши и предостерегала: «Тихонько, тихонько ты», – и, взглянув на её живот, кривила в усмешке губы.

– Ой, зачем бы тебе экое место...

Вскоре, по окончании весенних работ, она показала остаток муки – последний берестяный бурачок.

– Вот тут всё, кончать или оставить… когда у тебя?..

– Скоро, последние дни…

– Тогда ты не езди на озеро… Я заменю тебя.

– Нет, зачем это. Я справлюсь.

– А что на деревне? Будто шум какой, – сказала бабка.

Мариша открыла окошко, выглянула на улицу.

Под елями стояли Фрол в солдатской фуражке и пастух с берестяной трубой под мышкой.

– Маришо-о! – крикнул Фрол и оскалил белые зубы. – Пойдём вино пить. Мы, значит, все мужики продали Улейкину избёнку Фёклину, выморочную. Продаём ещё островки на скос. Улейкин поехал траву смотреть, вон поехал на моём челне.

Там, на озере, куда указывал Фрол, быстро летел челнок, оставляя за собой сверкающую рябь.

– Ну, впрочем, ты того… инвалидная команда, – махнул рукой Фрол, – не то, что я – ездовой гвардейской батареи. Сегодня мы погуляем… До утра…

– Не завидую.

Мариша закрыла окно, ещё раз взглянула на озеро, сказала бабке:

– Похоже, что язь пойдёт. Утром надо пораньше встать. Погода дельная.

Утром она поднялась с восходом солнца, надела кафтан и тихо вышла из избы. Недолго постояла под окошками, по обыкновению любуясь на зеркальную гладь озера, на кудрявые берега. Еле заметные струйки пара носились по воде – неслись, таяли, возникали вновь; какие-то странные звуки – не то храп, не то урчание – поразили её. На озере, за островком с разбитой молнией берёзой, струилась вода, а левее мелькнули очертания рогов и голова большого зверя. Мариша догадалась, что за островком лоси, очевидно, они вплавь перебираются с одного берега на другой.

Вернувшись в избу, она сняла со стены заряженную пистонную винтовку.

– Ты что… куда? – спросила бабка, слезая с полатей. Она, стуча босыми пятками, подошла к окну, стала смотреть на озеро.

– А-а, вот оно что, звири, сохатые плывут.

Мариша прошла мимо с винтовкой и веслом в руках.

– Ой, смотри, умаешься с ними, – старуха, открыв окошко, выставила наружу косматую полуседую голову, повела глазами по деревне – не бежит ли кто к лодкам. Но на деревне было тихо. Далёкий конец улицы с садиками в проулках тонул в утренней прозрачной синеве. В сараях пели петухи.

Мариша спустила в озеро Фролов челнок, ещё сырой после вечерней поездки Улейкина. Она спешила, волновалась, как бы не прозевать, не упустить лосей. Второпях выронила из рук весло, подхватила его, качаясь в челне, а бабка, как ворон, из окошка:

– Примета худая, воротись.

Мариша молчала. Вскоре она была уже далеко от берега. Чтобы сильнее ударять веслом, она не садилась, а стояла на корме. Челнок скользил по светло-синей воде, в которой отражались играющие вверху лучи солнца.

Густел, клубился пар, временами он серебристой сединой расстилался по воде, тогда ничего нельзя было различить впереди. Затем опять показывались вытянутые над водой головы лосей, но Мариша с тревогой смотрела на них. Близко берег, уйдут лоси, а у ней с каждым взмахом весла падают силы; режет в груди, в боках, ноги подкашиваются, пот заливает лицо, а стрелять нельзя, – далеко, ещё надо гнаться.

Выстояла на корме, пока чёлн плыл мимо островка с разбитой молнией берёзой, потом села, продолжая грести. Лоси подплывали к берегу. Теперь-то гляди, баба. Положила на борта поперёк челна весло, взялась за винтовку и едва-едва взвела тугой курок – руки не служили, по телу дрожь, боль – как и стрелять. Подняла винтовку – ствол ходуном ходит, с бровей свисают капли пота, тьфу! А лоси у берега, один уже вынырнул из воды, тряхнул своими огромными рогами. Лоснились шея и хребет. Мариша вновь вскинула винтовку, быстро прицелилась. Выстрел прокатился по озеру, вспугнув в берегах куличков. Пороховой дым повис над челном. Мариша согнулась на корме, вытянула лицо. Ей было видно, как один лось метнулся в кусты и исчез – только треск пошёл. Другой брёл по воде, шатаясь, голова опущена вниз. Добрёл до суши и упал. Тогда баба взяла весло и тихонько стала двигаться к берегу, услыхала чей-то голос по деревне:

– Эва-а! Должно, Мариша лося ухлопала.

А она теперь не думала о лосе – ползком выбралась из челна на берег, на четвереньках, как медведица, дошла до куста ивы и легла, раскинув руки. Подумала: «Бабка не придёт ли, а то и не надо… Одна…» – Судорожно схватилась руками за шершавые стебли хвоща. С куста ивы обдало росой.

У крыльца Фрол и кривой Илья торгуют лосятиной. Бабка Агафья порой зорко выглядывает из сеней на торговцев – не утаили бы денег мужички. Фролка – жох. Соседи подходят с корзинами в руках, поздравляют старуху:

– С внучком, Сидоровна, а как Мариша? Наверно, уж рыбу ловить собирается?

Старуха не вступает в разговоры – зубоскалят людишки, иные завидуют Маришиной добыче.

Мясо скоро распродали. Фрол честно выложил на стол деньги – серебро и медь. Бабка принялась считать выручку. Вдруг тревожно обернулась к снохе.

– Ой, а как быть с попом? Мяса ему не оставили. Себе я насолила ушат, а попу не осталось… Беда.

– Что за беда?

– Да как же не беда? Ребёнок не от законного отца. Поп первым делом отчитывать тебя за грех будет, потом такое имя младеню даст… всем на смех, уж я знаю…

– Что ты знаешь? Запаси-ка вина побольше, ребёнка думаю назвать Акимом.

– Акимом ничего бы, имя складное. Только не сговоришься с попом.

– Сговоримся, делай, как велю.

Мариша не ошиблась. Поп, задобренный выпивкой, даже в святцы не заглянул – согласился назвать ребёнка Акимом.

V

Соседи часто говорили о богатстве Улейкина – разжился мужик, хватил денег за последние годы. Стал брать подряды по рубке и сплаву леса, торговал мукой, рыбой, скупал и пушнину. В один год построил огромный дом и всё покупал, привозил возами разное добро. Пьяный, он чванливо кричал на мужиков-соседей:

– Ну, ротозеи, кто вверх ногами по деревне пройдёт – тому четверть вина ставлю. А-а, нет охотника, никто не хочет потешить соседа. Эх, вы-ы.

Он теперь только так и разговаривал с мужиками, точно они чем-то обидели его.

– Вы что, я вас знаю, поддайся вам, живо обделаете.

– Что ты, Илья Ерофеич, и в уме нет, мы народ простой.

– Да, да, знаем мы вас, простых.

На деревне он бывал редко. Если шёл или ехал по улице, все низко кланялись ему, он почти не замечал никого.

Двое хитрых хозяйственных мужиков, Пазухин и Филька Зипунов, прислуживали Улейкину. Когда было нужно, они разговаривали за него с соседями.

– Илье Ерофеичу островок скосить надо, – угостит, – говорили они. Или: – Илья Ерофеич требует порядок на дороге навести.

Мужики не смели ослушаться – шли косить, починять дорогу.

Филька и Пазухин иногда рассказывали Улейкину про соседей – кто как живёт, чем кормится. Илья только хмыкал. Один раз спросил про Маришу:

– Что эта мидвидица поделывает? Всё с ружьём? За ней, кажется, мужики, как за маткой, ходят.

– То верно, Илья Ерофеич. У Суслоновой всегда в избе народ – мужики и бабы. Полюбилась, видно, изба, а может, и хозяйка, – остроглазый Филька подмигнул хозяину. – Что говорить, статная эта Маришка, глаз не оторвёшь...

– Мидвидица, – насупясь, повторил Улейкин.

Вскоре после этого разговора он, проходя по улице, заметил голубоглазого мальчика с грязным лицом в широкой домотканой рубахе. Мальчик кувыркался через голову, потом хлопал в ладоши и что-то пел звонко и весело.

Кругом сидели бабы, мужики, ребятишки – все, смеясь, подзадоривали малыша:

– Ну, ещё раз, ещё раз.

– Это чей такой пузырь? – спросил Улейкин, останавливаясь.

– Это Маришин Акимка, лосёк.

– А-а! Маришин, так. А кто отец, на кого он похож?

Бабы засмеялись:

– Смотри, может, на тебя похож.

Улейкин не понял, была ли это шутка или насмешка над ним, сказал:

– Я худо вижу, не разберу… – обернулся, увидал Маришу.

Она подходила к толпе с вязаньем в руках – босая, в коротенькой юбке. Увидал и чуть дрогнул от неожиданности, сощурил глаза – всё такая же, чертовка, такая же…

Уходя, он вспомнил всё, что было между ними, и не утерпел – обернулся и ещё раз посмотрел на бабу.

Подошёл Филька Зипунов, вздыхая и покряхтывая.

– Голова трещит, Илья Ерофеич, поправь.

– Где гуляешь, там и поправку ищи. Да уж ладно, пойдём, поправлю.

Филька пошёл рядом с Улейкиным, сказал:

– Сенокос скоро, с мужиками бы надо поговорить.

– О чём говорить?

– Островок-то на скос, может, нынче и не отдадут тебе.

– Отчего не отдадут? Кто против? Поговори, потом скажешь.

Пошли в дом. Филька выпил стакан водки и ушёл разговаривать с мужиками. День был праздничный. К Улейкину пришли гости: брат Иван – чёрный сутулый мужик, Шипунов и старшина Мозолин – низенький человек с пушистой бородой, круглоносый, в длинном пиджаке и сапогах со сборами. Улейкин созвал гостей с целью похвастать своими покупками. Он купил в городе часы с музыкой, и теперь гости, выпивая за круглым столом, слушали музыку и одобрительно улыбались. Но главное было не в этих часах, – хозяин думал поразить гостей второй своей покупкой и завёл речь издалека.

– Вот вы оба политики – ты и ты, – ткнул он пальцем в грудь Шипунова и в плечо старшины, – газеты читаете, книгами занимаетесь, а что у вас за книги, по-моему, ничего они не стоят.

– То есть как ничего не стоят? – насупился Шипунов. – Зачем ты так говоришь?

– Знаю, потому и говорю. Во-первых, книги ваши никакого почтенного вида не имеют, и для души они одно лишь баловство.

– Ой ты, Илья Ерофеич, – заговорил Мозолин и ласково улыбнулся, – ты знаешь, какая у меня книга есть. Это не то, что Еруслан или «Кощей бессмертный», а «Меч духовный». Вот, а потом ещё есть, знаешь, таинственное путешествие на какой-то остров, да, вспомнил, на Остров добродетели.

– А-а, знаю, видал, – подтвердил Шипунов, – книги порядочные, спора нет, а вот у меня есть печатное – так эта получше Острова добродетели.

Мозолин обиженно заморгал глазами.

– Ох уж у тебя, Яков Ионыч, всегда получше, чем у других, а на поверку…

– Что на поверку? Возьмись-ка ты за мои книги. Видал Книгу бытия небеси и земли, а то вот ещё есть «История о несчастном короле Сонгском Заморе и о супруге его храброй королеве Крементине», где описываются геройские подвиги и великие победы индейской сей героини над многими державами и странная её кончина по отмщении за смерть своего супруга.

Выговорив залпом все названия книг, Шипунов запыхтел, с торжеством оглядывая собеседников, – вот вам.

– Брось ты пустяками хвалиться, – сказал Улейкин, он вынул из шкафа книгу в обхват толщиной в кожаном переплёте. – Вот книга так книга. – Отстегнул застёжки: – «Уложение церковное».

Шипунов встал, поднатужившись, поднял книгу и повертел головой. – Фунтов тридцать. Ну, знаешь, очень уж ты завернул…

– Добра покупка, – похвалил Иван Улейкин, – а по-моему, самая лучшая книга – это «Плач кающегося грешника».

Вошёл Филька, потирая руки и ухмыляясь.

– Едва уговорил, Илья Ерофеич.

– Ври, ври, – кто мне смеет противоборствовать?

– Да все почти, а Мариша прямо сказала: мол, последний раз отдаём сенокос, на будущий год сами будем косить.

Улейкин захохотал.

– О, нищета несчастная, сами… Погоди, сами и отдадут, а эта тетёра Суслониха у меня завертится.

– Ой как ты строго народ держишь, – сказал Шипунов, – молодой, а этакий у тебя гонор большой.

Улейкин молча посмотрел на Шипунова и взялся за графин с водкой.

VI

Акимка и Артюшка учились делать силки для ловли рябчиков. Братья сидели посреди избы на полу, помогая один другому скручивать конский волос. Сестра Домка и бабка пряли. Мать вязала чулок, сидя у стола и разговаривая с гостями-охотниками об осенней охоте.

В избу входили один за другим соседи – мужики, бабы – и первым долгом к Акимке:

– Здорово, лосёк. Силки делаешь, молодец! А как живёшь?

Акимка отвечал по-разному, а чаще всего отделывался скороговоркой:

– Живём помаленьку.

Он был любимцем соседей, и потому всякий его ответ вызывал похвалу.

– Ай да лосёк!

Пришёл в гости дед Анисим. Он, кряхтя и улыбаясь, достал из кармана шубы заваленный в табаке пряник. Дед называл пряник пустяковинкой. Сам он любил водочку и треску с горчицей, и Аким относился с уважением к тому, что любил дед, и верил каждому его слову. Старик всегда рассказывал смешное, он и сапоги оставлял посреди дороги, завязнув в глине, и потом сапоги сами домой приходили. Шапку ветер хватал с головы, уносил под облака, и оттуда она возвращалась наполненная серебром. Аким верил и рассказам бабки Агафьи: она рассказывала о домовом, водяном, будто встретила однажды в лесу лешего, заблудилась и

вспомнила о нём, а он тут как тут – большой, с лесину ростом, в куколе, спрашивает бабку: «Что тебе надо? Выйти из лесу? Рассмеши, тогда выйдешь».

Пришлось смешить, бабка сказала:

Ты бы, батюшко леший,
Сам бы меня потешил,
Стал бы ты у нас звонарём,
Мы бы тебя поили вином.

И леший исчез, только хохот по лесу пошёл, видимо, простой-простой малый, хозяин-то леса. Ну, бабка тотчас к деревне вышла.

Дед Анисим, по прозвищу Кучка, русый, одинаковый во все стороны старик, был частым гостем у дочери и внуков. Он обучал ребят делать из ивовых прутьев морды, плесть из сырой лучины короба и корзины.

Сегодня Анисим, побалагурив немного с мужиками, сказал, обращаясь к внукам:

– Что, ребята, хлеб даром нигде не едят. Ну-ка мы начнём веретёна точить.

Он скоро наладил станок, принесённый бабкой из клети. Артюшка и Акимка достали с печи сухие берёзовые бруски. Потом Акимка, жмурясь, любовался на крутящуюся стружку. Ловко, скоро точил дед. Под конец он стал выжигать деревянным ножом пояски у выточенного веретена. Веретено шипело, синий дымок окуривал лицо старика.

Только он успел вынуть веретено из станка, в избу вошёл слепой высокий старик дядя Трофим, держась за плечо мальчика – сына своего Калинки. Трофим был приятель и свояк Анисима. Когда тот приходил к Марише, непременно плёлся из своей Пестуковки и Трофим провести с приятелем вечер. Он забавлял мужиков присказками и пел былины, чем он славился по всему уезду.

Мариша поднялась с лавки, пошла навстречу старику.

– Дядя Трофим, проходи, присаживайся. Рады гостю.

Старик сел на пол, где он всегда сидел, опёрся спиной о край лавки, протянул ноги в белых валенках и, постукивая палкой, заговорил густым басом:

Бабка лапоть варила,
Кочедыг потеряла,
Вдруг, старая, вспомнила,
Старика с печи сдёрнула:
– Отправляйся, старик,
Поищи кочедыг.

– Вот я и пошёл. Анисим здесь? Говорили мне, что пришёл сюда.

Мужики смеялись шутке, почтительно смотрели на старика. У него неплохое хозяйство, три сына-работника, все живут вместе. Трофим умел держать в руках

семью. Он и на волостных сходах занимал почётное место. Там он говорил немного, но всегда умно.

– Ты кстати пришёл, старина, – сказал Анисим, – помнишь, давно обещал моим внучатам сказку рассказать про сорок разбойников, и народ послушает.

– Про какую сказку говоришь? Как сорок братьев ездили отца крестить?

Как ходили они к старику просить огню,
Вырезал он у них из спины по ремню…

– Во, во, эта самая.

– Но это небылица, враки. Значит, сорок братьев на одной пегой кобыле верхом поехали. Кобыла прыгнула через реку и переломилась. Младший брат – самый бойкий – сшил кобылу берёзовыми прутьями. Враки, такого дела не было. А я вот расскажу то, что было доподлинно. Ребята, слушайте.

– Ладно, слушаем, дядюшка.

– Так вот, ехал богатырь, ехал он через леса дремучие, через степи широкие, через горы высокие. В один прекрасный день пал у богатыря конь. Жалко коня, много он потрудился, где только не бывал на нём богатырь, да делать нечего. Пожалел, пожалел Сивого и пошёл пешком. Видит – на дороге дерутся змей и лев, и никоторый одолеть друг дружку не может. Лев стал просить богатыря пособить ему справиться со змеёй, а змея просит пособить льва одолеть. Подумал богатырь и решил заступиться за льва: «Змея змеёй и будет, нечего от неё ждать мне». Пособил льву, и змею убили. Лев и спрашивает: «Что тебе за услугу хочется получить?» «У меня коня нет, – говорит богатырь, – а пешком я не привык ходить, довези меня до города».

Лев согласился. Сел богатырь на льва, доехал на нём до города. «Никому не говори, что на льве ехал, – заказал лев, – а не то съем. Я царь, и на себе возить людей мне стыдно. Тогда я и царём не буду».

На этом они и распрощались. Богатырь в городе сошёлся с товарищами, те над ним посмеялись, что, мол, какой ты богатырь, пешком ходишь. Он сначала так говорил, что конь издох, потом, как выпил, и рассказал, на ком он до города доехал. Посидел, посидел с товарищами, и вскоре надобность случилась из города ему выйти. Вышел, а лев тут как тут. «Зачем ты, – говорит, – похвалялся, что на мне ехал? Похвастался, теперь съем тебя». «Извини, – говорит богатырь, – это не я похвастал, а хмель…» – «Какой хмель?» – «А попробуй, тогда сам увидишь». – «Ладно».

Богатырь принёс крепкого вина. Лев напился. Начал бегать, скакать, потом упал и заснул. А богатырь, пока лев спал, вкопал в землю толстый высокий столб и туда поднял льва. Тот проспался и дивится – как он на столб попал, и спуститься не может.

«Видишь ты, куда тебя хмель-то занёс, – говорит богатырь, – теперь узнал, что такое хмель?» – «Узнал, спусти со столба, сделай милость».

Снял богатырь льва со столба, и расстались они приятелями. Вот так-то, – закончил Трофим.

Акимка стоял у ног старика, воображал себя богатырём, а собаку Куклу – львом. Артюшка дёрнул брата за подол рубахи, висевшей на нём наподобие колокола.

– Садись, Акимка, ещё расскажут.

Рассказывали сказки и дед Анисим, и Мариша, и кое-кто из мужиков.

Акимка и Артюшка вдоволь наслушались, выбежали ненадолго на крыльцо. Когда вернулись в избу, Трофим пел былину.

– Гул-то идёт, гул-то, – прошептал Акимка, – стёкла бренчат в окошках.

Ёжась от холода, он опять сел к ногам старика.

Он пел о том, как народился Вольга-богатырь:

...И звери ушли в тёмные леса,
Рыба ушла в глубокие станы,
А птица улетела под оболока...

Все сидели теперь на лавках как заворожённые, лишь порой кто-нибудь вздыхал или шептал что-то.

Потом дядя Трофим пел о Садко и кораблях в бурном море, как волной корабли бьёт, паруса рвёт, ломает чёрные корабли, а жеребья гоголем плывут на синем море. Трепет охватывал Акимку. В голосе старика чудился ему шум морских волн, и будто наяву видел: все жеребья гоголем плывут, а Садки-то жеребья ключом ко дну, и самого Садко требует царь морской в сине море.

Акимка вскочил и полез на полати: страшный царь морской, хотелось плакать – до того жаль Садко. Он прощался с дружинушкой хороброю, прощался с белым светом. Вскоре Акимка заснул на полатях под шум моря, который ему чудился в голосе дяди Трофима.

VII

Начались светлые мартовские дни, закапало с тяжёлых тесовых крыш. Оттаявшие на солнце окошки покрылись синеватым глянцем.

Мариша с утра до вечера сидела за широкими ставинами-кроснами. Гулко стучали зубчатые бёрда, пощёлкивая, мелькал гладкий челнок, постукивали подножки.

Посреди избы вертелись воробы. Бабка, в коротком клетчатом сарафане, в цветных домашних чулках, наматывала пряжу с турика на воробы. Весь день не умолкал шумливый говор заходивших в избу соседок. Приходили они красить пряжу (мотовьё) или заводили большие воробы. Гомон баб, струившаяся кругом пряжа, воркотня воробов, хлупанье бёрд увлекали Акима. Он за всем следил, вертелся среди баб, желая в чём-нибудь помочь, а то отбивал у сестры скало и бойко принимался навивать цевку.

Тканьё тянулось вплоть до посева яровых.

В избе почти всегда было сумрачно. Маленькие окошки с отодвигающимися ставенками освещали лишь пол и лавки, а выше окошек висел синеватый сумрак, сливающийся с чёрным высоким потолком. Только при ярком солнце вверху светлело, и тогда поблёскивали окаменевшие кусочки сажи. Весной мужики приносили парить только что обделанные полозья, чаще других это делали бойкий светлоглазый Фрол и кривой Илья. Распарив конец полоза в горячей печи, Фрол и Илья несли его в лекало. Аким бежал к лекалу впереди мужиков и вьюном вился, собирая и раскладывая по порядку весь набор клиньев, спешил, пыхтел, потряхивая желтоватыми волосами, больше мужиков волновался, не случилось бы охулки какой.

– Ну что, Акимка, не выйдет ли у нас лыжа вместо полоза? – говорил Фрол озабоченно. – Это ведь не лучину гнуть, это берёза, распарить надо толково, чтобы тестом пахло.

– Ну-ка, я понюхаю.

– Ладно, потом, давай-ка самый долгой клин, вот так, того гляди, скоро мастером будешь.

Фрол вбивал клинья один за другим. Илья подтягивал верёвкой холодный конец полоза и, кося голову, таращил на Фрола свой единственный глаз. Илья был горячий мужик, в случае неудачи он сильно ругался, топал ногами и рвал свою худую бородёнку.

Мало-помалу сгибалась длинная шейка полоза; шипя, поскрипывая, попискивая, ребро шейки заливалось горячим соком. Аким, сидя на корточках, смотрел на шейку и одобрял:

– Важно, важно загнулась, – подбирал губами струившуюся изо рта слюну. – Нигде не отскочило.

– Ну разве отскочит, – весело говорил Фрол. – Трое нас таких…

Однажды он сказал после того, как загнули полоз:

– Теперь пойдём лодку шить. Ты, Акимка, беги к Андрею Тугунову за стругом двуручным, а мы подготовимся тем временем. Знаешь, как Андрею крикнуть?

– Знаю.

Андрей только что обделал чёлн и собрался разводить, поставив его на огонь, разложенный на сгорке. Андрей, когда работал, ничего вокруг себя не замечал – помахивал теслой или топором да только улыбался в бороду. Один раз закричали о пожаре – в соседней деревне изба горела, – а Тугунов не тронулся с места, пока не услыхал рядом голос жены Федосьи:

– Лопнешь с тобой, глухой тетерев.

Аким знал Тугунова и, подбежав к нему, крикнул:

– Федосья идёт!

Андрей вздрогнул. Оглянувшись, он не увидал Федосьи и сердито уставился на Акима:

– Принеси-ка прут, я тебя высеку, чтобы не баловал вперёд.

– Я не балую, дядя Андрей. Фрол послал за стругом к тебе, а как докричаться, ежели Федосью не вспомянуть?

Андрей задумался, потом махнул рукой.

– Поди к Никите, струг у него. Постой, в воскресенье будем в бабки играть, дам тебе бабок, если выиграю, десяток дам.

– Спасибо, дядя Андрей, я собирать буду, когда кон разобьёшь.

– Ладно, только не воруй, чтоб честно.

Андрей – лучший игрок в бабки. Тогда он всё видел и слышал, бойчее и шумливее его не было никого во время игры.

Аким побежал к Никите. Никита рубил с мужиками сарай, было видно издали, как взмахиваются светлыми крыльями топоры и летит во все стороны лёгкая щепа.

Никита отослал Акима за стругом к Тихону. У избы Тихона стояли на солнопёке выкрашенные суриком стулья. Аким полюбовался на них и пошёл к крыльцу. Тихон сидел на нижней ступеньке в фартуке, измазанном краской, и, подставив под солнечные лучи свою коричневую лысину, вырезал ножом игрушку – гривастую тонконогую лошадку. Он делал и голубей с круглыми крыльями, толчеи, тележки. Аким любил заходить к Тихону, смотреть на его мастерство. Рядом с Тихоном на ступеньке сидел столетний Захар Петухов – высохший, с белой бородой, но ещё крепкий старик, дед Фрола. Считая себя старше всех по годам в деревне, Захар по обыкновению снисходительно разговаривал со стариками, которые моложе его лет на тридцать. Теперь он, указывая на виднеющийся за озером лес, говорил:

– Ты ещё молод, Тихон, где тебе помнить про все пожары. Вот в тысяча восемьсот тридцать пятом году пожар был лесной так пожар, дымом всё заволокло, солнца не было видно.

Аким стоял, слушая разговоры стариков, простоял долго. Фрол пришёл сам за стругом и поругал Акима, обозвав его растрёпой, лентяем.

– Жди тебя битый час.

Но сам он, получив струг, вовсе не спешил уходить.

– Ты, Тихон, слышал новость, – спросил он, закуривая, – будто Иван Улейкин очень худой, весь высох, скелет скелетом, должно быть, не жилец?

– Неужели так плох?

– Не жилец, – убеждённо повторил Фрол. – У брата Ильи Ерофеича он лежит. Тот, кажется, всё движимое и недвижимое добро Ивана думает себе забрать, это верно. Старуха у Ивана извелась, дочери замужем и далеко. Ну, имущество – хрен с ним, дело тут не наше, а вот земля… У Ивана земли много, лучшие полосы в полях – старинные, улейкинские. – Фрол замолчал и, нахмурясь, стал смотреть в землю.

Аким знал, что Фрол сейчас будет говорить о своём малоземелье. Он только об этом и говорил за последний год, его земельный участок не больше, чем у Сусловых, а семья велика, выручали Фрола горшки, да и то не всегда. Горшки – товар ненадёжный. Сделаешь партию, повёз её на базар, и где-нибудь в ухабе половина перебьётся.

– Иванову землю возьмёт Илья Улейкин, – сказал Тихон, и в тоне его голоса Фрол уловил что-то похожее на злорадство.

– Ты точно рад за Улейкина.

– Как не радоваться, я заранее знаю, что деревня ни в чём ему перечить не станет.

Фрол поднял кулак.

– Ну, это ещё посмотрим, Улейкин и так богат, зачем его награждать.

– Смотреть нечего, дело ясное.

– Ни за что, – рассердился вдруг Фрол, – с какой стати мы будем землёй бросаться! Надо всем дружно отпор Улейкину дать. Ты, Тихон, не шути.

– Ладно, я посмотрю, как вы отпор будете давать.

– Чего смотреть, надо всем вместе быть, а не смотреть со стороны. Тебя оберут кругом, а ты будешь смирно себе сидеть... Ты Тихон – так Тихон и есть. Только игрушки тебе делать да стихи петь.

Тихон толкнул локтем Захара.

– Смотри, бойкой у тебя внук-то, вон как на меня покрикивает, храбрится, вот что значит в солдатах послужить.

– Да, да, – кивнул Захар, – в солдатах был Фролко, а ещё робёнок. Где земля? Иван не умер, а вы о земле его спорите.

– Тьфу! Вот чудаки старые! – разгорячился Фрол. – О чём я говорю? Надо нам подготовиться.

– Да ты же первый струсишь, – живо сказал Тихон.

– Я? Ни за что, вот хоть с места не сойти, первым во всюда иду.

Пока Фрол кричал о своей храбрости, размахивая руками, подошли Филька и Пазухин. Филька Зипунов, молодой мужик с клинообразным хитрым лицом, был забияка и озорник. Нищие и попы боялись заходить к нему в избу. Едва поп или нищий перешагнёт через порог, Филька кричит: «Зарежу! Кто идёт? Всех режу сегодня!» Так же он встречал и ребят.

Степан Пазухин, сутулый толстоносый бородач, был мужик степенный, очень набожный. Он часто говорил о скорой кончине мира, по вечерам дома читал Четьи-минеи.

Пазухин увидал на ногах Фрола новые бахилы и укоризненно покачал головой (сам он весной и летом ходил в берестяных лаптях).

– Форсисто народ ходит, сапоги носят. Ты, Фрол, опять о земле кричишь, всё о мирском думаешь. Ох, брат.

– А ты не думаешь, сыт? – злобно взглянул на Пазухина Фрол.

– А чего думать, может, и миру-то стоять год, два, надо об этом думать.

– Не тебе знать, сколько миру стоять. Вот Иван Улейкин умирает, куда его земля пойдёт – вот о чём надо говорить. Ты не нуждаешься, и у Зипунова земли довольно.

– У меня лишней нет, как раз в обрез, – сказал Зипунов, – а что Иван умирает, то неверно.

– Неверно, неверно, – подтвердил Пазухин. – Илья Ерофеич всех соседей зовёт к себе в дом, нас с Филей послал сзывать народ, а брата Ивана посадил сниматься на карточку. Пётр Викторович снимает, псаломщик, да вот идёт.

По улице шёл крупными шагами одетый в пальто псаломщик Пётр Викторович с фотографическим аппаратом под мышкой.

– Ну что, богомолец, снял? – спросил Филька.

Псаломщик приподнял с головы фуражку с лакированным козырьком и, ничего не ответив, прошёл мимо. Филька крикнул ему вдогонку:

– Кланяйся попу Алексею. Я к нему в гости заеду, обрадую!

– Зря ты, Филипп, обижаешь духовенство, – вздохнул Пазухин. – Да пойдём дальше, народ звать, вы, старички и Фрол, приходите.

– Да, да, приходите, дело важное, винцом пахнет, винцом, – посмеивался Филька, уходя вслед за приятелем.

– Два друга, – проворчал Фрол, – прислужники.

Тихон, улыбаясь, разглядывал, вертел в руках лошадку.

– Чёлочку, пожалуй, надо попышнее сделать и хвост тоже, лучше будет.

Аким любовался на лошадку, на старика и думал, что лошадки для Тихона дороже всяких деревенских дел. Но зачем же Улейкин зовёт мужиков? И Фрол уже пошёл туда, и Тихон не утерпит, пойдёт.

VIII

У крыльца улейкинского дома баба-работница, выгнув широкую сухую спину, чистила самовары, подносы, тазы медные.

– Стараешься, Никоновна? – ухмыльнулся Фрол, обходя посуду.

Баба не разгибаясь что-то проворчала, затем ткнула рукой на маленький пузатый самовар.

– Почистишь... Тридцать самоваров разных, хотя бы украли десяток, спасибо бы вору сказала.

Из сеней выглянула вторая баба с испуганными глазами – жена Улейкина, она погрозила кофейником.

– Что ты такое говоришь, Никоновна, страх, что ты!

– Ничего, так, с сердца соскочило, – ответила Никоновна.

Мужики шли в общую людскую половину, озадаченные неожиданным приглашением богатого соседа. Одни шли весело и смело, перекидываясь шутками, другие неохотно, с хмурыми лицами, видимо не ожидая ничего хорошего.

Аким занял место на конике за спиной Фрола, когда все уже собрались и ждали Улейкина. У последнего окна в левом углу стояла кровать. На ней под домотканым одеялом лежал умирающий Иван Улейкин. Близ кровати, напротив изголовья, стоял аналой с Церковным уложением. Мужики почтительно смотрели на книгу.

– Сколь она весит, – сказал Фрол, – у моего дедка Захара есть книга, да куда тощее этой, вот и у Пазухина Четьи-то тоже не сравнишь, Четьи – блин, а эта пудовая коврига.

Пазухин обиделся. Сунул в нос щепоть табаку и строго выглянул из-за мужиков на Фрола.

– Ты будто ребёнок, Фрол, ей-богу, как ты судишь. Может, из-за таких книг, как моя да эта книга, мир лишний год простоит, пойми-ка, ребёнок.

– Понял, – ответил Фрол, – только я дивлюсь, как ты не променяешь до сих пор свои Четьи, кажется, всем хорошо меняешься.

– Ну и ты, Фрол, хорошо меняешь, – вступился за приятеля Филька.

Мужики засмеялись, вспомнив мену Фрола лошадьми. Это было год тому назад. Фрол променял цыганам старую лошадь, получив взамен коня пяти лет, но конь, как выяснилось потом, был не пяти, а двадцати трёх лет. Однако в первую минуту Фрол торжествовал. Поставив лошадь во двор к яслям, он дал ей охапку лучшего сена, думая о том, что соседи будут завидовать и подивятся, как ему удалось обойти в мене цыган. Недаром он служил в гвардейской батарее ездовым, знает толк в лошадях.

Соседи скоро собрались в избе Фрола, поздравляли с меной. В это время Пазухин и Филька успели уже осмотреть и оценить лошадь.

– Ветхая лошадёнка, – сказал Пазухин, – воробей на голову сядет – она не почувствует, видно сразу удалую.

Вышли из двора, но Филька тотчас вернулся и потом позвал Пазухина. Тот восторженно захлопал руками, словно никогда ему не приходилось видеть забавнее, чуднее того, что он сейчас увидал.

– И не шелохнётся, стоит, вот чудо-то, вот… пойдём поздравлять хозяина.

Фрол повёл соседей во двор. Мужики вошли и ахнули. Лошадь стояла, подпёртая со всех сторон кольями.

После того долго потешались над Фролом и его лошадью, и теперь Фролу было стыдно перед мужиками. Эта проклятая мена всегда будет ему укором. Он, покашливая, нетерпеливо посмотрел на дверь и сказал, желая отвлечь внимание мужиков от жалкого воспоминания:

– Что ж мы сидим, где хозяин?

Фрол поднялся, подошёл к кровати больного, долго смотрел на его тёмное, худое, безжизненное лицо с торчащей вверх полуседой бородой. Видимо, больной был в забытьи, но порой он вздрагивал и что-то бормотал.

– Идёт сам, – указал Филька на полуоткрытую дверь.

Мужики услышали быстрые шаги, поскрипыванье сапог и отрывистый, грубый голос.

– Всё кофейники, кофеёк на уме, вот у баб что…

Впереди Улейкина вошёл волостной писарь Андреич с потным круглым лицом, с бумагами и чернильницей в руках. Ласково, полупьяно улыбнулся, проходя к столу.

– Здравствуйте, старички! Нет-нет да и увидимся.

– Ладно, не забывай.

Писарь боком пролез за стол и улыбнулся ещё ласковее, ещё пьянее и руками развёл.

– Уж я-то всегда с вами…

Улейкин, осанисто держа голову, прошёл до кровати брата, затем круто обернулся к мужикам и спросил:

– Все, что ли, соседи? Брат больно хотел вас повидать, ну и ещё дело есть, кстати… как вы знаете, мы с братом жили врозь, участок наш был поделён, теперь же мы порешили сложиться вместе опять, я буду считаться хозяином, поняли? Мы вот и позвали вас быть свидетелями нашего согласья, приговор подписать.

Мужики слушали Илью, в то же время вглядывались в безжизненное лицо его брата. Почему-то все были уверены в том, что Иван не жилец. Не сегодня-завтра он умрёт, а земля его по закону, по обычаю поступает в распоряжение деревни. Малоземельные давно говорят о переделе, из-за этого в деревне начинается вражда. Ивановой землёй можно бы заткнуть на время кое-кому глотку. Надо бы поговорить, но никто не решался заговорить первым. Наконец Фрол прервал молчание соседей; указав на Ивана, спросил:

– А как Иван-то Ерофеич… в памяти?

– Ясно, в памяти, сейчас спит, дремлет, когда надо – встанет. Пишите, угощенье ставлю.

Писарь басом, слегка надувшись, прочёл приговор селения, по которому Иванов участок переходил во владение брата Ильи Ерофеича.

Мужики подозрительно смотрели на писаря, на бумагу – приговор. Подписывать медлили. Подписать недолго, подпишешь, а потом кайся, жалей. Да и не те слова в приговоре, но опять никто не смел начать, только покашливали и сопели.

Улейкин ходил по избе, поскрипывая мягкими, ярко начищенными сапогами, задумчиво щурился на освещённые солнцем окна.

Вот он остановился и заговорил о том, что к делу как будто бы вовсе не относилось, но в то же время подчёркивало его первенство и волю в деревне.

– Я думаю нынче часовню построить, надо поспеть к нашему празднику Илии-пророка, как вы думаете?

– Часовню? Что тут думать, дело хорошее, твоё дело.

– То-то, моё дело. Для вас же делаю, надо это понимать, вот и угощенье тоже.

– Мы понимаем, Илья Ерофеич.

– Ну так что же вы мнётесь, чего не подписываете бумагу?

– Да надо подумать, поговорить.

– А что думать? – поднялся Пазухин. – Давай… раз угощенье, ну!

– Постой, соседи! – вдруг вскочил с отчаянным видом Фрол, – как писать, не все в сборе, Мариши нет.

– Верно, верно, как же так, – и все обрадованно ухватились за то, что нет Мариши, нужно позвать, без неё нельзя подписывать приговор.

Фрол вызвался позвать соседку.

Мариша возвращалась с рыбной ловли.

Узнав от Фрола о приговоре, она молча прошла в избу сдать бабке корзину с рыбой. Вскоре вернулась, на ходу надевая белый кафтан. Потом затянула потуже концы платка под круглым подбородком и спросила ожидающего её Фрола:

– Подписывают или нет ещё?

– Нет, раздумывают, один Пазухин выскочил, да обсёкся, не подпишут соседи.

Между тем, пока Фрол ходил за Маришей, Улейкин успел много сделать. Он посоветовал соседям заготовлять кору ивняка. Он хорошо будет платить, ему надо немало ивовой коры на кожевенный завод. Постройку завода он начнёт этой осенью. Словом, мужикам кругом заработок. Охотники спрашивали о ценах на пушнину в этом году, где будут лесные заготовки, не дешевеют ли хлеб и кожа. Оказалось, что и здесь самые приятные сведения у Ильи Ерофеича.

– Живите лучше, стройтесь, обряжайтесь в торговое, мне же любо будет на вас смотреть, – говорил он наставительно и всё более оживляясь. – Вот погодите, я ещё большую торговлю здесь открою, забью всех мелких торгашей. Правление волостное сюда перетяну, почту сюда, школу тоже. Одним словом, наша Дубиниха прославится.

– Да-а, капиталу у тебя хватит, мы что, мы радёшеньки, – умилённо покачал головой Пазухин, он поднялся и строго оглянул мужиков, указывая на приговор.

– Вы что же, суседи, думаете? Такому человеку, как Илья Ерофеич, бумагу жаль подписать? Чего нам Маришу дожидаться?

– Верно, – раздались голоса, – подпишем, не жалеем Илье Ерофеичу.

– Ладно, ладно, – одобрил Улейкин и погнал в открытое окно залетевшую дикую пчелу. Взмахнув руками, он ударил локтем в аналой и чуть не опрокинул его, Уложение слетело с аналоя, грузно ударилось об пол.

– Не к добру так, – тихо зашептались между собой мужики, – быть худу.

Улейкин смущённо поднял, подул на переплёт, кладя книгу на прежнее место, и затем двинулся к брату, заметив у него тревогу на лице. Когда повернулся опять к мужикам, недовольный, раздосадованный их шёпотом о «худе», увидел в дверях Маришу и хмуро пошутил:

– И баба идёт – тоже не к добру, примета плохая.

– От примет толку нет. Если вам хорошие надо приметы, – скажу, – Мариша указала рукой на окно, в которое видно было озеро. – Сейчас белая липка показалась, это к большой ловле, чего вы сидите здесь, время теряете или богатый хозяин на прокорм возьмёт? У него тут недавно становой три дня кормился, на четвереньках ходил, по-собачьи лаял.

– Это спьяна, – сказал Илья Кривой и залился смехом.

– Я не знаю с чего, только Улейкин всё может сделать. Он переделает гуся в чирка, барана в щенка, а мужика в пастуха.

– Я всё могу, всё могу, а честь берегу, – отшутился Улейкин, желая намекнуть на вольную жизнь бабы в лесу с охотниками. Ему ничего не оставалось, как только

отшучиваться. Это единственное средство против острого языка Суслонихи, как он обычно называл Маришу. На неё не действовали ни угрозы, ни ласка. А всему причиной, по-видимому, широкий промысел, её дружба с охотниками и разными досужими людьми вроде Трофима – певца былин, мужицкого любимца и советчика.

– Честь берегу, – повторил Улейкин, хвастливо тряхнув бородой.

– Ясное дело, – и Мариша бойко оглянула Илью с головы до ног. – Твоя честь в смазных сапогах, а наша босиком по миру ходит, а ты лучше скажи, зачем звал соседей.

– Ладно, послушай. – Улейкин дал знак писарю.

Тот повторно взял со стола бумагу и опять, как и в первый раз, надувшись, прочёл её.

Мариша стояла посреди избы, заложив под кафтан за спину руки, – исподлобья смотрела на писаря, потом подвинулась к столу и ткнула пальцем в бумагу.

– Ты о переделе ещё припиши, земля ждёт.

Закашлял умирающий Иван и завозился на кровати.

– Какая земля, кому?

Илья подошёл к кровати, помахал на брата обеими руками.

– Молчи, молчи, о нашей земле говорим.

– О переделе надо говорить, – продолжала Мариша, – пора землю делить, давно она не трогана, если Иван поправится, ему полнадела одному довольно, остальное на деревню.

– Верно, так и надо, – заговорили малоземельные, – передел!

– Что-о? – застонал Иван. – Передел? Мою землю? – Он опять завозился на кровати, царапая скрюченными пальцами одеяло. – Пособи, Илюха, – и злобно взглянул на брата, силясь подняться.

Илья помог Ивану сесть, но тот не довольствовался этим, спустил с кровати голые сухие ноги, встал, качаясь, длинный, худой с тёмным, измученным лицом, и вдруг затрясся весь, оглядывая горящими глазами мужиков.

– Вы что? Не тронь земли, я сам буду пахать, не дам никому, уйди!

Мужики с сожалением и страхом смотрели на Ивана, так же как смотрел на него и брат Илья. В этом скелете неожиданно вспыхнула страшная жажда жизни, жадность к земле, к работе.

– Уйди, не тронь! – говорил он, задыхаясь и протягивая вперёд руки. – Вы соседи или воронье? И брат, ты бы... – Он покачнулся и упал на руки подоспевшего брата. Мужики поднялись, вздыхая и торопливо крестясь.

Филька и Пазухин помогли Улейкину положить Ивана на постель. Он был мёртв.

Мужики тихо один за другим пошли из избы.

На второй день, похоронив брата, Улейкин опять созвал соседей. На этот раз собрались у крыльца вокруг столов с водкой и хлебом.

Когда выпили по стакану, вышел на крыльцо Улейкин в измятом пиджаке при часах. Лицо было потно и пьяно, борода мокра от слёз, водки и кваса.

– На поминки вас созвал, – сказал он, клоня голову. – Скорблю о брате, родная кровь – улейкинская... Спасибо, пришли...

– То что говорить, Илья Ерофеич, – и мужики расчувствовались. Они привыкли видеть Илью важным, гордым, порой недоступным, всегда занятого торговыми сделками, а теперь перед ними будто другой человек, простой, сердечный.

Филька и Пазухин поднялись на крыльцо и свели вниз к столам Улейкина под руки, как архиерея. Пазухин поднял вчерашний приговор, приглашая соседей подписать. По-видимому, всё было подготовлено, чуть не половина подписей чернела на бумаге.

– Подписывай, за неграмотных я пишу, – вызвался Филька, – я живо.

– Пиши, пиши, – мужики толпились у стола, протягивая грязные руки к стаканам с водкой, – пиши за всех, принимай грех.

Подошла Мариша с ловушками на плече, молча оглянула соседей и направилась к дому, как будто бы вовсе не интересуясь земельной сделкой.

– Не уходи, Суслонова, тебя тоже касается, – остановили её, – приговор...

– Какой приговор?

– Такой, вчера читали, слышала? Подписываем.

– А зачем это надо? Плюньте вы, чудаки, за вино землю дарить. Да за эти три надела любой дурак ведро вина поставит. – Мариша говорила со своей обычной подкупающей рассудительностью, нисколько не стесняясь Улейкина. Мужикам стало неловко, баба уличила их в неправом деле, но земля уже пропита, приговор почти всеми подписан, уже поздно добрые советы слушать.

– Ты что же, против всех? – строго спросил Пазухин, двигая широкими плечами. – Обойдёмся, Илья Ерофеич, без неё.

– Пускай идёт домой, пускай, гулящая баба.

– Это ты зря, Илья Ерофеич, – вступились мужики.

Мариша, бросив на землю ловушки, быстро подходила к Улейкину. Лицо её дрожало от обиды и гнева.

– Я гулящая? Ах ты, басурман, рысь!

Казалось, она сейчас схватит Илью за бороду или ударит. Вдруг круто повернула к столу, сгребла приговор и скомкала. Филька вцепился в её руки, подоспел Пазухин, оба грозили, отнимая бумагу.

– Разбой, разбой делаешь, мы тебе...

Тучей двинулся на Маришу Улейкин.

– Вяжи, вяжи её, холеру! В хлев её, не давай рвать!

Нахлынули мужики. Одни хватали со стола стаканы с водкой и пили, другие отбивали Маришу. Они были рады переполоху и рады бы уничтожить приговор. Но Улейкин завладел им, руки его дрожали, с багровым лицом, отдуваясь, он выбежал из толпы, взошёл на крыльцо и, разглаживая бумагу, хмуро оглянул мужиков.

– Не орите, вино-то ещё есть, чего нам спорить, лучше в дружбе жить. Приговор малость разорван, да ничего, я не обижусь.

Но он всё-таки погрозил Марише кулаком.

– Погоди, я тебе поубавлю прыти, поубавлю.

– Ладно, не хвались, ястреб, я не курица. – Мариша со злой усмешкой отвернулась и пошла к своим ловушкам, подёргивая оторванный рукав кафтана.

Мужики бестолково толпились около столов. Попойка уже не веселила.

IX

Утром мужики приходили к Марише пить квас, все были мрачны, сонны, винились в том, что отдали землю, покорно выслушивали Маришины упрёки.

В это время бабка Агафья будила Акима, трогая его за ногу, чёрную от грязи и загара:

– Вставай, вишь, вороньи сапоги на лапках-то, ужо поревёшь в бане в этих сапогах.

Аким проснулся, открыл глаза, потянул на плечо домотканое одеяло и снова заснул.

– Ай, соня, соня! – не отставала бабка. – Ребята уже удить пошли, такое солнышко, тишь, а он спит.

Аким знал, что бабка настойчива, она не уйдёт, пока не поднимет его с постели, и он покорился.

– Встаю я, сейчас, вот встаю, – сел на постели, оглядываясь.

Артюшка, должно быть, давно встал. Братья спали в сарае на половике, постланном на соломе. Пахло в сарае сенной трухой, но больше пахло свежими вениками. Их приносил каждый день Артюшка из лесу. В эти дни он пас овец от деревни вместо захворавшего пастуха Ваньки.

Бабка пошла в избу, говоря о курах, о мелузине, крупе. Аким думал, слушая её голос: «Будто берестяный скрип, и вся-то она, бабка, берестяная, но не хворая, не беззубая. Сухари грызёт, только подставляй».

Особенных обид у него на старуху не было, разве только скуповата. Высекла она его всего один раз за баловство: он бегал по деревне в её старинном кокошнике и потом уронил его в колодец, бабка ревела на всю деревню, до того ей было жаль кокошника.

Она часто называет себя великой грешницей, по её словам, и у Акима грехов куча. Он худо молится по утрам перед образом, плохо слушается старших, не разбирает постных дней – среды и пятницы, – ест украдкой молоко, дерётся с ребятами.

Из сеней донёсся голос Фрола. Аким вспомнил всё, что было вчера у дома Улейкина, вскочил и побежал в избу.

Мать приехала с рыбной ловли, сидела на лицевой лавке, вытянув ноги в мокрых сапогах с прилипшей травой. В избе пахло свежей рыбой. Фрол топтался

посреди избы с горшком в руке, вертел его, стучал по нему кулаком и болтливо расхваливал своё изделие, делая вид, что горшком он только и заинтересован, на самом же деле он пришёл поговорить о вчерашнем.

– Такой сосуд поискать, звенит, как колокол, а крепость какая, вид, в любую кухню поставить не стыдно. Ты как-то просила горшок уху варить, вот получай.

Мариша, не глядя на Фрола, сказала:

– Улейкину подари, он опохмелит тебя за то, – хорошо угощает, гладко стелет.

Фрол, поставив горшок на стол, схватился за голову.

– Ой, не вспоминай, худо вышло, худо. Говорил я соседям, а многоземельные все за чёрта стеной, боятся и до водки жадны.

– А вы не жадны, не трусы? Если так пойдёт, то нам никогда передела не добиться, без земли и будем жить.

К Марише подошёл Аким, протирая кулачонками глаза, она погладила его по желтоватым волосам и слегка оттолкнула.

– Иди, дружок, вымой свою образинку, да за Чернухой последи, куда она яйца кладёт, иди.

Фрол стал хвалиться:

– Вот погоди, как мы поднимем деревню. Поровняем же в конце концов землю. Нам так, по-прежнему, жить нельзя.

– То-то и есть, мужичок-соседушка, без земли нам жить нельзя, а вы, молодцы, землю пропиваете. Я не хочу с вами за компанию лизать Улейкину стаканы, знать вас не хочу. Вот Артюшку в город отправлю, пусть там мастерству учится, а я здесь с малым прокормлюсь.

– С кем думаешь отправить парнишку?

– У меня же брат Григорий в городе, слыхал?

– Слыхал. Мастеровой он?

– Мастеровой. Он приехал вчера на побывку. Вот с ним и отправлю Артюшку.

Фрол усмехнулся.

– Ладно. Значит, Григорий дома. Опять Шипунову женишок.

– Какой он Шипунову женишок?

– А ведь он своей сестре Олёне, старой девке, городского жениха подбирает. Григорий ему подойдёт, ей-богу.

– Будет тебе, Фрол, болтать. Иди ты, делай свои горшки.

– Ладно, я пойду, только ты, Мариша, не серчай на мужиков, образумятся они, вот подожди…

Фрол пошёл из избы, но увидел в дверях Шипунова и остался.

– Здорово, здорово, жители, – заговорил Шипунов, оглядывая избу, – хозяюшке почтеньице, – он сделал умильное лицо и обнял Маришу, форсисто откидывая в сторону левую ногу. – Прекрасная женщина. Вот старуху свою прогоню, тогда пойдёшь ко мне в хозяйки. Старуха смирна, мне поухватистее надо бабицу… Я хорошой, доброй. Сапоги с себя снимать не заставляю, как ваш Улейкин…

– Ты, говорят, теперь с Улейкиным в дружбе?.. – спросил Фрол.

– Какая дружба, сукин сын жеребца мне фальшивого продал. А я недоглядел. Вот уж шельма так шельма. Он не токмо что с людьми, а и с Богом плутует, то есть надувает и Божество.

– Ну-у, как это, Яков Ионыч? – удивился Фрол. – Это ловко, ежели…

– Ловко ли, не ловко, а для души хорошо, – ответил Шипунов, садясь на лавку. – Прошлым летом, как вы знаете, жито пострадало от утренника. Народ в горе, а Улейкин пришёл на праздник к обедне в церковь и рублёвую свечу поставил «Воскресению». Лезет к образам, расталкивает народ со свечкой-то в руке, хвалится, а всё из-за чего? Из-за того, что у него восемьсот пудов хлеба в амбаре.

Шипунов помолчал, оглядывая Маришу, подвинулся к столу.

– Ну и бабица, весело смотреть.

– Что тебе не веселиться. Но ты по делу, наверно, пришёл, похвастай.

– Дела, дела есть, голубушка моя, хозяйство думаю разводить, займище в лесу выбрал. Хочешь поработать? Хлеба дам.

– Поработать? Сколько дашь? Ты ведь скуповат, а я дёшево не возьмусь.

– Не обижу, всё равно работу тебе искать придётся. Хлеба нет, да и подать платить надо.

– Всё-то ты знаешь. А с кем мне работать? Вот у меня какие помощники, – указала Мариша на Акима. – Невелики мужики.

За Акима вступился Фрол, похвалил.

– Ладно, ничего малый, мне полозья гнуть пособляет, молодец.

Аким, довольный похвалой, вышел на улицу.

– Наймись расчистку делать, ценой не обижу, – уговаривал Маришу Шипунов. – А потом, потом у меня ещё есть к тебе дельце, и уж такое-то забористое, секретное.

Фрол подошёл к Марише и шепнул на ухо:

– Видишь, я тебе говорил.

– Секретное дельце, – продолжал Шипунов. – Ты бы, бабица, зашла ко мне, там бы мы обо всём и договорились, о всех делах.

В избу вбежал запыхавшийся Акимка.

– Наш-то пастух, – закричал он обрадованно, – наш-то улейкинского бьёт, глядите в окошко, так и треплет, так и треплет…

Мариша улыбнулась и, заметив, что Шипунов поднялся с лавки, сказала ему:

– Зайду, зайду к тебе, что у тебя за секреты? Работу я, пожалуй, возьму.

– Буду ждать, буду ждать, – уходя, твердил Шипунов.

X

Аким вволю спал в воскресенье. Проснувшись утром сам по себе, он тотчас вспомнил, какой сегодня день, и, заметив солнечный свет в углах сарая и слыша на улице голоса, быстро вскочил с постели. В избе мать и курносая толстушка Домка пили чай. Бабка справлялась к обедне на погост, надевала новый сарафан, поглядывая на Маришу.

– Чего купить в лавке – сахару разве? Мыло ещё есть, сахару больно много ребята грызут, фунт – за две недели, с ума сойти, не накопить денег. – Бабка взяла со стола двугривенный и бережно завернула в платок.

– Помойся, – сказала мать Акиму. – Или некогда? Чего к окошку прильнул, успеешь набегаться.

Аким наскоро вымылся, потом хватил со стола горячую шаньгу и убежал на улицу, поддерживая свободной рукой штанишки.

На улице шумно, задорно играли в козни (бабки), стоял большой кон. Мимо кона и через него проносились, звеня и подпрыгивая, светлые плитки. Мужики, парни с криками бегали взад-вперёд и ахали, когда чья-нибудь плитка врезалась в середину кона и козни летели по сторонам.

Играли чуть ли не все мужики. Тут были Фрол, Андрей и Филька-босой в кумачовой рубахе. Илья играл, поскрипывая новыми берестяными лаптями. У Фрола были сдёрнуты с ног сапоги, они стояли у угла избы, наполненные кознями.

Собирались старики смотреть на игру. Подошёл завьяловский охотник на куниц Терентий, статный русый мужик в запылённых сапогах, в белой фуражке. Он поговорил недолго со стариками и направился к избе Мариши.

– Ты, дядя Терентий, к нам? – спросил Аким, догоняя охотника.

– К вам, к вам. Мать дома?

– Дома, чай пьют у нас.

– Вот я к чаю-то и поспел, счастливый.

Аким побежал домой впереди Терентия. Серая собака Кукла встретила его на крыльце, виляя хвостом.

– Мама, Терентий идёт, – радостно объявил Аким.

Он всегда радовался появлению в доме знаменитого охотника, ожидая от него занятных рассказов про охоту.

– Радость принёс тебе, Анисимовна, – заговорил Терентий, входя в избу и чуть сгибаясь в дверях, снял и кинул на лавку фуражку. – Жарко, а славное лето нынче, полем шёл, любовался на хлеба. Тишь, теплынь, а в лесу что делается? – он улыбнулся, прищурив левый глаз. Он часто так улыбался, и Акиму казалось, что Терентий с такой же улыбкой стреляет из ружья по куницам.

Мариша поднялась с лавки и вышла, шаркая босыми ногами, на середину избы, где стоял гость, подала руку.

– Ну, в лес-то носа теперь не сунешь, – овода, мошка.

– То-то тебя украсила мошка, глаз не видно. Если бы знал, что ты такая некрасивая, не пошёл бы.

– А ты не пяль глаз на меня, – засмеялась Мариша. – Садись чай пить, да что за радость принёс?

– Чай? Сажусь, наливай, а радость вот какая: выводки хороши, и много. Но это ещё что... белки много идёт, видала?

– Как не видала, вон у нас по изгородям, по лесиньям, по крышам пробегают каждый день, только хвост мелькает.

– Идёт, густо идёт белка, нынче мы со зверем, – радовался Терентий. – Но и это ещё не всё. А я тебе по секрету скажу: в нынешнюю осень горностай нас поддержит, зверь есть, а хороших собак мало.

Мариша налила и подвинула Терентию стакан чаю и деловито посмотрела на охотника.

– То всё верно, Васильич, охотники потянутся за белкой, нынче и рыжая, говорят, шесть копеек стоит, а за горностаем не каждый сунется, этого зверька шутя не возьмёшь. Какие цены будут, не знаешь?

Терентий отпил из стакана чаю и сказал:

– На этот счёт говорил с Бахваловым, не обещает высоких цен. Мне за лисицу дёшево дал, жмётся.

– За какую лисицу?

– Разве я тебе не говорил? Весной убил на току.

– Нет, я не слыхала, чудишь ты. Как на току убил?

– Ну, не совсем на току. Искал ток рано поутру, это в начале апреля было, ещё снег лежал, только проталины на чистых местах показались. Вот иду тихонько лесом, и вдруг мелькнуло рыжее этак раз, другой. Ладно. Стал я вглядываться и вижу: лисица растянулась вдоль валежины и что-то высматривает впереди, понемножку подкрадывается. Ах ты, думаю, охотница, наверно, тетеревей слышит. Приложился я и стукнул, сразу же тетерева взлетели, а лисица ногами задрыгала. Я к ней и в мешок её сунул, да и не стал тока искать, домой пошёл. Прихожу, мать печь истопила, хлебы валяет, собака меня встречает, лезет, зверя слышит. Я вытряхнул лисицу из мешка, дорогой-то она шевелилась маленько, я думал, чуть жива, а тут как пошла прыгать, сначала на лавку, потом на стол, в квашню с раствором, в крынки с простоквашей, собака за ней туда же. Старуха моя ревёт, руки в тесте и в муке вверх подняла, собака лает, лисица визжит, рвётся от собаки на полки, а там горшки, чашки – всё полетело на пол. Когда-некогда собака справилась с лисичкой.

Мариша слушала охотника, облокотясь на стол и подперев ладонью щёку.

– У меня тоже такое было, – вспомнила она, – но только не с лисицей, а с рысью. Чуть собаки не лишилась. Вскочил бы мне этот зверь в копеечку. За собаку-то я трёх куниц не возьму.

– Понятно, – согласился Терентий и, допивая стакан, вытер ладонью пот со лба. – А я к тебе знаешь, зачем пришёл? Хочу взять твою Куклу на медведя, ходит матёрый в островах, того гляди скотину обидит, думаю подкараулить, собаки пособят. Мой кобель один-то несмел будет.

Мариша поднялась и, сняв со спицы полотенце, подала гостю.

– Жарко, я вижу, тебе, а собаку можно, бери, если пойдёт. С чужим не пойдёт.

Поговорили о собаках, потом вспомнили о лесных избах. Избы старые, столетние – нуждаются в ремонте. Надо бы сговориться с охотниками и летом, до сенокоса, сходить подладить избы. Сенокос пройдёт, а там, смотришь, и промысел скоро начинать.

– По-моему, у Жабьего ручья изба больше других нуждается в починке, – сказал Терентий, – как ты думаешь?

Мариша быстро вскинула на Терентия глаза, улыбнулась чему-то и промолчала. Охотник, глядя на неё, вспомнил осенний день – паморочный, удачную охоту. Потом вечер в избе у Жабьего ручья. Вечером варил тетерева, в это время пришла на ночлег Мариша. Она открыла дверь избы и, увидев его, воскликнула в шутливом негодовании:

– Не леший ли тебя водит, Терентий? Куда я – туда и ты, нехорошо.

Он засмеялся.

– Почему нехорошо? Входи, ужин готов.

Вспоминая всё это, охотник, щурясь на Маришу, теребил русую свою бороду. Уже сколько осеней прошло с тех пор, – надо считать с рождения Акима.

В избу вбежала Домка с взволнованным, сияющим лицом.

– Дедушка идёт, дядя Григорий идёт...

Домке хотелось ещё что-то сказать, но гости уже были в дверях. Она замолчала и, пугливо шмыгнув к печи, стала с жадным любопытством смотреть на молодого человека в городской чистой одежде, немного сутулого, с гладко выбритым незагорелым лицом.

С приходом гостей в избе стало шумно, празднично. Больше всех шумел Анисим. Сегодня народ поздравлял его с приездом сына, и многие, вероятно, ему завидовали. Разумеется, и уважения снискал он немало. Кое-кому из приятелей своих шепнул тихонько, что сын подарил ему тридцать рублей на расходы и всего навёз. На самом деле он получил от сына всего десятку денег да старый пиджак и ситцу на рубаху и был очень доволен. Чего ему ещё требовать, сын немного зарабатывает, наверно, не больше десятки у самого осталось – на обратный путь в город.

Григорий подарил и Марише ситцу на кофточку. Она раскраснелась от подарка. Потом, смеясь, пообещала сводить брата в лес на хорошую охоту.

– На охоту сходим, сходим, хотя дед Агапей и говорил, будто я худой ходок по лесу и охотник из меня не выйдет. Ну зато вышел мастеровой, и то ладно, – хорош и лунный свет, когда солнца нет.

Всем понравилось, что Григорий скромно говорит о себе, особенно понравилась пословица. Дед Анисим, вторя сыну, начал сыпать пословицами, улыбаясь и покряхтывая.

Вдруг в самый разгар беседы, когда усаживались пить чай, явилось волостное начальство. Впереди старшина Мозолин, за ним шли сборщик податей с денежным ящиком, урядник Бычков и десятский Пазухин.

– Здравствуйте, почтенные, – заговорил старшина, медленно снимая с головы фуражку и бросая строгий взгляд на хозяйку.

Затем он поспешно выхватил из кармана какую-то бумагу и, тряхнув плечами, продолжал:

– Вот указ, чёрт возьми, нахлобучка мне изряднейшая. Указано недоимку собрать всю дочиста. Дочиста-а, – повторил он, играя голосом и, видимо, ра-

дуясь тому, что он так здорово умеет приступать к делу, пусть-ка поучится у него этому любой волостной или какой другой служилый человек. – За тобой, Суслонова, недоимка большая. Баба бойкая, землю требуешь, приговора рвёшь, а подать не платишь. В бумаге указан срок, чтобы сегодня всё было собрано. Плати! Довольно вам мирволить. Волостной сундук довели до того, что срам посмотреть.

– Верно, – подхватил писарь, – одни лишь цепи да замок снаружи, а внутри пусто.

– Срам посмотреть, пусто! – кричал Мозолин. – Но я не допущу, я наполню сундук, если не деньгами, то самоварами, ковшами, рукомойниками, коров отбирать буду.

– Народ обеднеет, хуже будет, – заметил Плиткин.

– Ни черта не обеднеет, я знаю. Лучше бы все лавки закрыть, чтобы покупать нечего было, тогда легче подать собирать, а то деньги тратят зря.

– Да где же деньги? – возразила Мариша. – Ты, Иван Андриянович, больно крут, сам знаешь, в прошлом году был недород, дай народу поправиться. Осенью и крути. Я тоже осенью рассчитаюсь.

– Было много осеней, а что толку? В сундуке три копейки. Нельзя терпеть, нельзя – указ! Плати сегодня, а то опись сделаю, вон самовар на столе гож за недоимку.

– Самовар не отдам, уходите. У меня гости, видишь, чай пьём. Подать отдам, как сказала. Не обману. Ты, может, и ружьё возьмёшь вместе с самоваром? Ружьё-то мною у тебя было куплено. Тогда уж я совсем никакой подати платить не смогу.

– Ты, Мариша, у старшины ружьё купила? – удивился Терентий. – Как же теперь старшина справляется с курами, раньше он мочёным горохом по курам стрелял, в шкаф с посудой брякнул из ружья, охотничек.

– Молчать, не твоё тут дело! – рассердился Мозолин и круто повернулся к сборщику. – Ну-ка, посмотри, Павел, сколько за Плиткиным чего.

– За Плиткиным всего два рубля стоит, – ответил сборщик, – он платёжный.

– Нет, худоплатёжный, тоже надо теребить, плати. А за Анисимом сколько? Все должнички, чёрт возьми! Эй, десятский, урядник, забирайте самовар. – И старшина надел на голову фуражку, тем показывая, что он уходит, закончив дело.

– Послушайте, старшина, – сказал Григорий, – нельзя ли обойтись без лишних строгостей? Сколько нужно заплатить, чтобы вы оставили самовар? Я могу внести десять рублей.

Мариша испуганно взглянула на брата. Лицо её покраснело от стыда.

– Нет, Григорий, не плати, не плати, пусть лучше самовар забирают. Тебе деньги на дорогу нужны, а я не справлюсь скоро отдать, к тому же Артюшку отправлять с тобой надо, тоже расход.

– Ничего, я заплачу, – настаивал Григорий, – как-нибудь обойдёмся, как-нибудь, у меня ещё есть деньги, хватит, ещё не столько заплатим, – похвастал он, не желая казаться перед волостным начальством бедным человеком.

Анисим с гордостью, почти с восхищением смотрел на сына и говорил:

– У нас хватит, хватит. – Потом вскочил и замахал руками, призывая всех выслушать его: – Мы не хуже других, вы что думаете… Вон сын-то у меня чего только не привёз, даже старухе кофею не забыл купить. А кофей-то!.. Тридцать три копейки фунт, такого ни вам и ни Улейкину во веки веков не пивать.

Анисим будто знал, чем поразить начальство, заставить подумать о его сыне и о себе. И старшина сказал, принимая от Григория деньги:

– Вижу, вижу. Очень даже приятно отцовскому сердцу такого сына дождаться.

Мариша сидела огорчённая неприятностью. Надо где-то добывать деньги, что-нибудь продать или заработать. Вспомнился Шипунов, предлагавший ей взять расчистку поляны в лесу. Вчера, думая об этой работе, она нашла её невыгодной. Рубить лес, корчевать мелкий пень в жару, на оводах, рвать одежду, обувь, а весь дневной заработок вряд ли будет больше полтинника. Теперь же она решила взять работу. Во всяком случае, нужно сходить к старику поторговаться.

– Ну-с, почин хорош, – проговорил старшина, – идём дальше. До свиданья, почтенные. – И он торопливо пошёл из избы. Последним уходил Пазухин.

Перед тем как уйти, он умильно взглянул на образ в углу и вздохнул:

– После стрижки Господь на овец теплом пахнёт.

XI

Воспоминание о десяти рублях брата не давало покоя Марише. Она на второй день после встречи с Григорием пошла к Шипунову. Старика не оказалось дома – уехал на станцию встречать сына.

Хозяйничали старуха и длиннорукая, нескладная девка с жёлтым лицом. Старуха, по обыкновению словоохотливая, принялась расхваливать Григория.

– Наживщик, говорят, брат-то твой, Анисимовна. Видела я его вчера – с отцом шли, любо смотреть, жених завидный, молодец, и только.

– Не знаю я, что Григорий думает, может, и женится, – уклончиво сказала Мариша, – наверно, со мной посоветуется.

– Ну как же, как же, с сестрой-то не посоветоваться. – Старуха поправила на голове платок и заговорила ласково: – Мой старик, Яков Ионыч, тобой нахвалиться не может. Такая, говорит, хозяйка, работница, никому другому расчистку отдать не хочет. У Мариши, говорит, рука счастливая. Пускай дело начнёт, за платою не постою. Ты приходи послезавтра на праздник наш деревенский, старик будет тебя ждать.

– Ладно, я на праздник пойду к дяде Трофиму и загляну к вам.

До крыльца провожала её девка с вязаньем в руках. Она всё время мило щурилась на Маришу, порой улыбалась, вмешивалась в разговор, видимо, хотела казаться весёлой, приветливой, красивой. На крыльце она, остановив бабу, посоветовала просить с брата хорошую цену за работу.

В избах звенели посудой. В открытых настежь окнах видны были освещённые солнцем бороды, загорелые шеи, широкие спины гостей в рубахах и пиджаках.

На улице нищие с корзинами и мешками. В тени берёз около дома Шипунова спал пьяный пастух, обхватив грязными руками связки кренделей и бутылку с водкой.

Артюшка и Аким в чистых рубахах, босоногие, шли впереди Мариши по Пестуновской улице. Мариша одета по-праздничному: на ней коричневая юбка, на ногах старенькие башмаки с оторванными ушками.

Обходя пастуха, вышел на улицу Щербаков, высоко подняв подстриженную к празднику бороду.

– Давно гляжу, поджидаю, радуюсь гостьюшке, Марине Анисимовне.

– Я к дядюшке иду, чему тебе радоваться.

– Какой там дядюшка, у меня охотники, зайди.

Подошёл медвежатник Леймаков. Маришу взяли под руки и потащили в избу.

– Раздели компанию, брага есть, попразднуем.

В избе на передней лавке четверо охотников рассматривали ружья. Терентий заглядывал в ствол и ругался:

– Тьфу, печник, лодырь, а не охотник наш Щербаков. За ружьями не наблюдает, грязи, ржавчины воз. За плясунами бы тебе бегать, а не охотой заниматься.

– Плясунов люблю, то правда, – сказал Щербаков, – есть, говорят, плясун, зять Шипунова. Шипунов хвалился зятьком, да мы, говорю, вам не уступим в плясовом деле.

Он позвал гостей к столу, налил из четверти всем по стакану браги.

– Медведя не нашёл? – спросила Мариша Терентия.

– Нет ещё. Медведя убьём, собирайся завтра вместе со мной.

Охотники засмеялись.

– Тебе, Терентий, без Мариши и сороки не подстрелить. Как ты один за куницами ходишь или тоже с Маришей?

– Врёте, я и один медведей бивал.

– Ой, – поёжился Щербаков, насупив густые жёсткие брови, – я терпеть не могу ни медведей, ни зайцев. Медведь страшно ревёт, а заяц, как ребёнок, плачет. Ну, за промысел! – Щербаков поднял стакан.

– А что сегодня с Маришей?

Мариша молча сидела у стола, почему-то сегодня её не увлекали ни шутки, ни разговоры.

– Ничего, ничего, – торопливо ответила она, – вы угощайтесь. У меня здесь сегодня дело, хочу устрелить бобра, а справлюсь ли, потому сердце не на месте.

– Мы пособим. Какое дело?

Терентий щурил левый глаз, задумчиво поглядывая на Маришу.

– Если ты о земле тужишь, – заговорил он. – Только вряд ли вам удастся землю поровнять, не те времена. Новые права, а за это новое право мой двоюродник Костя, матрос, четвёртый год в тюрьме сидит.

– А что это значит, братцы, – удивлённо посмотрел на всех тихий Леймаков (он всегда чему-нибудь удивлялся), что это значит? Я сорок годов прожил и не знаю, какие права самые лучшие.

– Хороши права, когда душа солнцем полна, – сказала Мариша и вышла из-за стола. – Теперь я к дядюшке Трофиму, к вам потом зайду.

– А брага? – указал Щербаков на стакан.

Мариша выпила, не желая обидеть хозяина, и пошла к Трофиму.

Щербаков, провожая её до сеней, говорил озабоченно:

– Чёрт его знает, выстоит ли Кузьма против зятька шипуновского, говорят, что зятёк – плясун неплохой, кудряво пляшет. Ежели Кузьма сдаст, тогда ты, Мариша, выручи, а то срам.

– Не знаю, буду ли я плясать, не до того.

– Ой ты... – Щербаков сделал умильное лицо. – Спляшешь, спляшешь, чего там...

– Не знаю, вон Акимка мой начинает плясать, где-то научился, фигурки две умеет.

– Ладно, Аким потом. Пускай учится, мы его лет через пяток пустим в дело, а сегодня тебя. – Щербаков похлопал Маришу по плечу и повернул в избу.

Мариша вскоре сидела с гостями Трофима за столом и, так же как они, пила водку, закусывала треской, палтусом. Трофим сидел на своём хозяйском месте в длинной рубахе, усыпанной мелким белым горошком по красному, прислушивался, хорошо ли звенят рюмки, хорошо ли гости едят сочную рыбу, и говорил:

– Вам, племянница, надо бы поспешить с переделом. Кто знает, что будет впереди с землёй. Когда я ездил в уездный город по мирским делам, то слышал там вести, будто бы закон новый выпущен. По этому закону можно мужику землю за собой закреплять навечно.

Мариша долго с изумлением смотрела на Трофима, затем лицо её помрачнело.

– Не может этого быть, это не по правде сделано, дядюшка.

– Ну, племянница, я говорю о том, что слышал, а вы подарили Улейкину три надела, он ускочит в собственники – и был таков.

– Ты думаешь, ускочит?

– Ускочит.

– А мы не пустим.

– Верно, не пускайте, – говорили гости, – какой такой закон? Дядюшка, скажи что-нибудь повеселее.

– Дядюшка, спой.

– Чего вам спеть, вам поют дядюшка в рясе да становой в тарантасе.

– Ну их, нам повеселее.

Но Трофим не сразу стал петь. Он долго отделывался присказками, пока Анисим не подзадорил его – не запел фальшивым голосом:

Слетались на море птицы стадами...

– Не так, не так. – И Трофим запел по-своему, как должно петь.

Обед был бесконечен. Наконец, старики потянулись курить и отдыхать в просторные сени и горенку. Мариша вышла на крыльцо. На широкой улице толпы праздничных людей, шум, смех, песни в конце деревни. Лишь тихо стояли берёзы, рябины, залитые солнцем. Вот девки начали танцы. Мариша уже не думала о том, что её занимало, мучило в эти два дня.

Стариков утомил обед, утомило вино, они отдыхают, а её всё больше и больше охватывает беззаботность, жажда веселья, завидно смотреть на девок, как они носятся в кудрявом танце. Мариша улыбнулась, задорно и быстро спустилась с крыльца.

На улице густая толпа: мужики, парни, бабы и девки в цветных платьях. На деревьях и крышах ледников, на изгородях сидели мальчишки, тут же были желтоволосый Аким и Артюшка.

Среди толпы разливался голос Щербакова:

– Шире, шире, дай волю плясунам. Эй, – он махнул ещё раз рукой и, расставив ноги, стал смотреть на поджарого парня в щегольских сапогах, – пошла писать...

Парень, зять Шипунова, с разгульными посвистами шёл по кругу, пощёлкивая пальцами, форсисто поводил плечами. Порой он развёртывался на широкую пляску, захватывал толпу красивым ходом, но почему-то сразу переходил на частую дробь.

Толпа упоённо следила за плясуном. Даже Щербаков, считавший парня пустым хвастунишкой, застыл со счастливой усмешкой, сложив на животе руки. Соперник шипуновского зятя – Кузьма Белоглазов, сухой чернявый мужик, выпив лишнее, плясал неважно, два раза упал, чем привёл в отчаяние Щербакова, – один лишь смех, срам с этим плясуном.

Вдруг кто-то крикнул:

– Мариша! Смотри-ка, ведь она... девки!

Толпа тотчас отвернулась от пьяного Кузьмы. Щербаков кинулся занять место распорядителя в новой потехе, но никак не мог выбраться на простор. Наконец толпа рассыпалась по сторонам и притихла. Щербаков увидал ряды девок, впереди них Маришу и залился смехом.

– Птицей, птицей плавает, ястребом, – пояснил он, указывая Леймакову на пляшущую Маришу. Девки пели, постукивая каблуками в такт песни:

Вдоль по улице молодчик идёт,
Вдоль по широкой, удаленькой.
Ой, жги, ой, жги! Говори!
Вдоль по широкой, удаленькой.

– Гуляй, Мариша, гуляй! – крикнул Щербаков.

Но Мариша не слышала ни криков, ни разгульного шума толпы. Она была увлечена пляской и песней. Плясала так, как ей хотелось плясать, резвые ноги её бойко отделывали русскую. Девки, подражая ей в пляске, пели всё задорнее, веселее:

Под полою у молодца дуда,
Под другой-то он гусли несёт.

Щербаков басом подтягивал:

Как струна-то загула, загула,
А дуда-то выговаривала:
Ой, жги, ой, жги! Говори!
А дуда-то выговаривала.

К Щербакову подошёл Шипунов, смеясь, сказал, кивнув на Маришу:

– Эк её разбирает. А мне её надо в гости заманить.

– Эге, разлакомился, – проворчал Щербаков, – где твоему зятю плясать против нашего брата-охотника.

– Ловко пляшет, – одобрил старик.

К Шипунову Мариша зашла вскоре же после пляски. Старик усадил её за стол в лучшей из комнат в своём большом доме. Старуха не скупясь ставила на стол кушанья. Водка на столе не простая, а подкрашенная красным вином. Что это значит, почему такой приём? Неспроста так. И она решила быть осторожной.

– Тебе после гулянья-то подкрепиться следует, – говорил Шипунов, наливая гостье рюмку и почмокивая губами. – Винцо хорошее, не то, что у других. А ты ловко пляшешь, прямо дивно, дивно.

– Да так, знаешь ли, напало разгулье, – как бы извиняясь, ответила Мариша, – раз в год потешить себя.

– Верно, верно, как не потешить, а ты выпей. Винцо славное, такого ни у кого нет. У меня с тобой долгий разговор.

– Ты расчистку хотел сдать мне, почём с сажени?

Шипунов одёрнул плисовую жилетку, поиграл брелоками часов и указал на рюмку.

– Что ж ты меня обижаешь, винца не попробуешь? Я думаю, о расчистке потом поговорим. Впереди есть другое дело.

Маришу больше всего интересовала работа, нужно добыть денег во что бы то ни стало, но и любопытство подстрекало поскорее узнать, какое такое ещё дело у старика. Всё же она настояла на своём, чтобы прежде всего договориться о работе:

– У меня денег много, денег хватит, ты можешь много заработать, – говорил Шипунов, – но если кенозёры берутся за расчистку по две с половиной копейки с сажени, то и я тебе больше не положу.

– Что ты, Яков Ионыч, таких цен нет, везде работают дороже, да и лес тяжёлый на твоём займище.

– Ладно, не обижу, не обижу ценой, больше дам, больше, хлеб печёный буду давать, только ты мне пособи одно дело устроить.

– Смотря какое дело.

– А такое… надо твоего брата женить, невеста ему есть – моя сестра Олёна. Мы давно городского жениха подглядываем. Твоему брату гордиться можно, если на моей сестре женится. Он как насчёт женитьбы-то, не говорил с тобой?

– Пока нет, а может быть, он совсем не захочет жениться.

– Что ты, не говори пустяков, не говори. Всякого человека можно обделать и всякого можно женить, только надо умело взяться. Ты не знаешь, как я Степана Пазухина, своего племянника, женил. Вот уж пятнадцать лет с тех пор прошло, а Степан при каждой встрече спасибо мне говорит.

– Удружил?

– Удружил, да ещё как. Ни одна невеста – ни девка, ни вдова – за него не шла замуж. Ребят у него полная изба, сам страшной. Два раза был женат, обе жены умерли. Я нашёл ему девицу в Колтушихе за двадцать вёрст. Девица и добра и умна, на лицо как лапоть, притом и кривая. В день свадьбы привёз я жениха в церковь, условились к часу дня венчаться. Ждём невесту, уже два часа, а её всё нет. Думаю – обман, раздумала девка. Сел я в сани и поехал дело выяснять, жениха в церкви оставил. Проехал я версты четыре и загадал: если не встречу на двух верстах невесту, то обманула, не приедет. Проехал две версты, вижу – идёт нищая баба с корзинкой, Устинья Пирогова. «Слушай, – говорю, – Устинья, у тебя есть дочка?» «Есть, – говорит, – Яков Ионыч, двадцать годков девке, в работницах жила у Губарева, теперь домой погостить пришла, смирная она у меня, что овечка, пусть погостит». «Некогда, – говорю, – гостить, жених её в церкви ждёт, садись вот в сани, и поедем за девкой, не разговаривай, счастье тебе Господь посылает. Знаешь меня, я с худыми женихами возиться не буду».

Устинья не перечит. Мы к ней в избёнку. Девку обрядили. Я её живо к жениху представил – и венчаться. Только венчанье кончилось, привезли настоящую невесту. Меня в жар кинуло. Что делать? Говорю, жених не мог дождаться, уехал домой поесть. Я его сейчас привезу, теперь вы подождите, раз опоздали.

Невесту жаль упустить, хлопот много было, да и стыдно как-то.

– Кого же ты женил на этой невесте?

– Женил своего работника, Фёдора-бобыля, обрядил и повёз венчаться. Свадьбу справил я. Молодые потом отработали расходы. С Пазухина я взял жеребёночка за хлопоты.

– Но ведь моего брата так не женишь, – сказала Мариша.

– А ты возьмись… невесту нахвали. Она немолода, зато хозяйственная. Приданого много. Одних рукавиц пар семьдесят, домашнего полотна аршин двести. Работает до бесчувствия, сядет ткать – и ткёт, пока свет в глазах не помутится. Под руки из-за тканья выводим. – Шипунов замолчал и выжидательно посмотрел на Маришу.

Марише стало вдруг скучно, неприятно. Она схватила графин с водкой, налила полный чайный стакан и выпила залпом.

Старик изумлённо смотрел, как она пила, потом захихикал, подвигая ей рыбу и хлеб.

– Ишь ты, как вольготно прокатилось, право. А что ты скажешь про брата?

– Что сказать... зайдём с братом к тебе чай пить, тогда сам увидишь.

– Но-о, вот хорошо, буду ждать. А насчёт работы кончено. Задатку два рубля дам, вот получи.

У Мариши от водки голова пошла кругом, подумала, что она сейчас опьянеет и может наговорить чего-нибудь во вред себе, и поспешно поднялась.

– Спасибо. Я пойду.

Шипунов настоял, чтобы она выпила ещё рюмочку на прощанье.

Вышла от Шипунова покачиваясь, сходя с крыльца, упала. Тотчас вокруг неё собралась толпа мальчишек, баб.

– Опрокинуло тётку, обнесло прямо в крапиву.

– Обнесло, верно, так и есть, – бормотала Мариша, подымаясь, – пьяно у праздника, с ног валит.

Она пошла по улице, сорвав с головы платок и размахивая им перед собой.

– Мир не оголила, ребят по миру не пустила.

Встретила пьяного Копрея и схватилась с ним бороться. Копрей кричал:

– Сомнёт, ей-богу, медведица напала, в кучку складёт.

Подбежали Артюшка и Аким, но толпы подвыпивших людей тесно сомкнулись вокруг Мариши и Корпея, люди потешались. Артюшка попробовал пробиться через толпу: не тут-то было, а толпа ещё больше росла. Подростки смеялись над братьями, дразнили:

– Медвежата, медвежата, матку потеряли.

Артюшка мрачно сказал Акиму:

– Ты постой тут, я погляжу наших мужиков, а то нам не увести её.

Он ушёл. Аким заплакал, обидчиво глядя на толпу, засучивая руками подол рубахи. Толпа вдруг отхлынула в сторону. Ехал на паре с бубенчиками Улейкин. Объезжая барахтающихся в пыли Маришу и Корпея, он нагнулся, потряхивая бородой, и ударил по ним кнутом.

– Не тронь! – строго крикнули из толпы. – Сам вылетишь.

Откуда-то появился Терентий. Он был в одной рубахе, без шапки. Подскочив к тарантасу, освещённому заходящим солнцем, он схватил Улейкина за грудь и потащил на дорогу. Тот упирался, что-то кричал, толпа хохотала.

Потом Терентий и Щербаков, которого привёл Артюшка, вразумили Маришу и выпроводили её из деревни.

Пошли полем по узкой дороге среди полос с колосившейся рожью. Зашло солнце, с меж тянуло сыростью. Мариша брела, покачиваясь и размахивая руками, говорила о подряде, взятом у Шипунова. Сыновья шли рядом и поминутно кричали в испуге:

– Падёшь, стой, стой же...

Когда она падала в канаву, ребята тащили её на дорогу, и все трое ревели в один голос. Наконец дорога стала шире, ровнее, скоро и деревня. Аким повеселел, оглянулся назад и сказал: «В тех местах и в прошлом году так же падали».

XII

Перед тем как идти в лес, где работали мать и Артюшка, Аким с большой корзиной в руках заходил к Шипунову за хлебом. Хлеб вешал на обтёртом руками безмене сам Шипунов, заботливо записывал фунты в книжку и сопел, поглядывая порой на Акима.

– Ай да желтоволосый, работаешь, стараешься. Работа, брат, всему голова, а хлебец-то хороший даю, мягкий, сытный, целая ноша тебе.

Потом он, стоя на крыльце, выставив вперёд бороду, смотрел на Акима. Тот, изогнувшись, уносил на руке корзину, проворно семеня чёрными ногами, и думал, что старик, наверно, удивляется, как он легко тащит такую тяжёлую корзинищу.

Но чем дальше он уходил от деревни, тем чаще перекладывал корзину с руки на руку. Останавливался отдыхать у широкой канавы и подолгу смотрел на воду. Вода текла, поблёскивая среди высокой травы. В ясные дни над полями струился воздух, казалось, звонче, радостнее кричат кулики, кружась близ кудрявых перелесков. Один раз Аким долго просидел у канавы, потом вскочил, глядя на солнце, и, повернувшись спиной к нему, смерил шагами свою тень, как это делали мужики.

– Ну и ладно, враз иду, – успокоил он себя. – Наверно, девятый час. – Проворно схватил корзину и пошёл дальше.

Придя на подсеку, он сел к огню и позвал мать и брата обедать. Варилась уха из свежей рыбы, кипел чайник.

– Уже есть захотел? Ах ты, родимый, – засмеялась Мариша, подходя к костру. Она в сапогах, в рядовке и кожаных рукавицах, жмурясь от дыма и летящих от огня искр, сняла с тагана котелок с ухой и стала рядом с Акимом на колени.

– Ты вся смоляная, – сказал Аким, оглядывая мать, – по рукам смола течёт, по лицу пот и смола.

– Ну что, сынок, смотреть, лес такой – ёлка смоляная, теперь самая такая пора, в соку всё. Овода, комары – хуже того, в дыму спастись. Теперь, поди, лоси в озёрах, в воде стоят, только голова над водой, чихают.

Аким засмеялся.

– Как они чихают, отчего?

– Гнус в ноздри лезет, и ты чихнешь, ежели…

Подошёл Артюшка в больших берестяных лаптях и, усевшись на кочку, устало снял с головы полотняный куколь, усыпанный иглами хвои. Его худенькая фигура в длинной рубахе и изморённое работой и жарой лицо показались Акиму иссохшими за эти дни, и он сказал, жалея брата:

– Артюшка тощей стал, ест мало.

– Жарко, есть не хочется, пить хочу, – ответил Артюшка.

Мариша развернула скатерть, хлеб разрезала, затем вынула из котелка на деревянную тарелку рыбу.

– Щука? – спросил Акимка. – Мне два куска, я лучше работать буду.

– Какой ты ловкий! Будем делить, что достанется – то и получишь. Знаешь, как охотник рябчика разделил на семью?

– Как? Не знаю.

– Не знаешь? Расскажу, ладно. Принимайтесь за уху. – Мариша помолчала, затем начала: – Охотник, видишь ли, подстрелил рябчика и пошёл продавать. Зашёл в один дом – купите рябца. Хозяин говорит: «Куплю, только сумей разделить рябчика на моё семейство...» – «Сумею, сколько вас?» – «Шестеро – отец, мать, два сына и две дочери».

Охотник принялся делить. Отрезал голову рябчика – подал хозяину: «Это твоя доля, ты голова в доме». Отрезал шею – это хозяйке. Резвые ноги – сыновьям. Крылья дочерям. «Остальное, – говорит охотник, – мне, за хлопоты».

Ребята засмеялись.

– Какой хитрый, всего рябчика себе. А хозяин что?

– Хозяин посмеялся и заплатил, что полагалось. Так и я буду рыбу делить.

После обеда мать и Артюшка рубили лес, выдирали кустарник, очищали от сучьев лесины и, обливаясь потом, размазывая по лицу смолу и грязь, ворочали кряжи, складывали в кучи.

Аким выравнивал сечкой землю около пней, собирал хвою, драл кору с ивняка и связывал её в пучки – это для кожевников, кожи дубить. Порой взглядывал на солнце и мерил свою тень, но как ни меряй, а до вечера всё ещё далеко, и, когда одолевала усталость, ему хотелось лечь куда-нибудь под куст за солнце, а мать или Артюшка кричали: «Аким, иди подбирай хвою, клади на костёр, оводов отгоняй дымом», – он плёлся подбирать колючую, смоляную хвою.

Наконец мать заговорила о доме, спрятала под хвою топор, пилу и побрела к костру собирать пожитки.

– Я нисколько не устал, – хвастался Аким, – погляди, через голову перевернусь.

– Ты молодец, а мне ещё пахать ночью надо, да ладно, за сохой идя, высплюсь, хорошо за сохой спится.

Аким, почёсываясь, думал о купании в озере, хотелось поскорее домой.

Но шли домой тихо, ноги заплетались одна за другую, ныли спина и шея, висели плетьми руки, но так хорошо было после дымной подсеки на просторах полей, овеянных свежестью вечера, что всякое неловкое движение от бессилья, утомления вызывало смех и шутки.

– Будто от праздника, от дядюшки идём, ишь, пошатывает, – говорила Мариша, – только в канаву сегодня не упадём.

Аким подумал и сказал басом:

– А ты, мамаха, Копрея-то зачем борола?

– Молчи, сынок, молчи, не смейся над маткой, – хмуро возразила Мариша, не любившая много говорить о своих слабостях.

Артюшка вспоминал своё:

– Улейкина-то на праздник Терентий поучил, из тарантаса вытащил и, как кота, тряхнул.

– Верно, силы много у Терентия, – сказал Аким, – ведь и Улейкин силой хвастает.

Подошли к деревне.

– Вот он, лёгок на помине, – тихо проговорила Мариша, заметив на улице Улейкина, крикливо разговаривавшего со старшиной Мозолиным, по-видимому, оба были навеселе.

Улейкин в лиловой рубахе без пояса стоял, широко расставив ноги, держа в карманах синих штанов руки, поводил рыжеватой пушистой бородой и наставлял старшину.

– Дороги, мосты для тебя плёвое дело, вздуй старост, сотских, и сейчас они тебе народ выстроят. Мир не поклонов ждёт, а палки, так ты эту палку и подымай почаще, жить будет слаще.

– Оно так, оно так, согласен, – твердил старшина.

Улейкин не слушал его, продолжал:

– Ты, Мозоль, Терёху Плиткина непременно в чулан посади на неделю за разбой на празднике в Пестуновке, меня чуть не убил.

– Разве удержат Плиткина чуланы? – возразил старшина. – Да и без суда не посадишь.

Улейкин из-под руки посмотрел на Маришу и ребят и, когда они поравнялись с ним, спросил:

– Поляну Шипуну делаете, почём с сажени?

– Недорого, – ответила Мариша, не взглянув на Улейкина.

– Ну всё же хлеб, чего ещё… – И Улейкин взял за локоть Мозолина, заставляя посмотреть на бабу и ребят, а сам он, радуясь чему-то, хлопал руками по бёдрам и шипел: – Что мидвидица, что мидвидица матёрая с дитями, право…

Мариша повернула к своей избе. Вскоре все трое пошли купаться.

Аким и Артюшка долго не хотели вылезать из воды. Бабка вышла на сгорок звать их домой, – дома самовар на столе. Мать уже давно вернулась с купания и, распустив свои мокрые, длинные, чуть не до пят, волосы, в чистой рубахе ходила около стола, разговаривая с бабкой о домашних делах. После чая Марише нужно ехать на озеро ставить ловушки, потом пахать. На очереди немало неотложных дел: пашня, ремонт изгородей, копка канав, прополка гряд. Всё это необходимо сделать по ночам до сенокоса.

Соседи светлой летней ночью работают легко, не спеша, их, по-видимому, радуют и тишина, и медвяные росы на травах меж и заполосков, радует и душистая прель свежей пашни, и пар на лугах перед выходом солнца. Мариша ничего почти не замечала. Она спала, идя за сохой. Засыпала на чистке гряд – падала лицом в гряду, очнувшись, стояла на борозде, как пугало, расширив чёрные от земли руки.

Так было каждую ночь вплоть до сенокоса. Силы поддерживала надежда на заработок. А Шипунов дурил. Придирался к работе, требовал то, чего не следовало делать по условию. Наконец стянул несколько десятков саженей при обмере расчистки. Всё это из-за того, что ничего не выходило у Мариши со сватовством. Заработанных денег далеко не хватило для того, чтобы рассчитаться с братом и отправить Артюшку в город. Пришлось взять в долг под осенний промысел.

XIII

Аким, стоя на лавке, упираясь в неё пальцами ног, потянулся вверх, снял тяжёлое ружьё со спицы, и, пока ещё мать затягивала себя ремнём по рядовке, он подержал в руках ружьё, затем кряхтя попробовал приложиться, как это делали охотники. От курка и всей казённой части сильно пахло порохом, но от курка пахло ещё конопляным маслом. Он был огромный, в виде чёрного петушка, скрипел, когда его взводили.

– Уронишь, парень, – недовольно сказала Мариша, торопясь взять из рук сына ружьё. Она сердилась, когда ребята брались руками за вещи, которые являются принадлежностью взрослых. – Ну что же ещё – шомпол надо взять.

Аким достал с воронца закопчённый рябиновый шомпол, оглянул внимательно мать – всё ли теперь ею взято. Она стояла в короткой клетчатой юбке, в жёлтых бахилах, поправляя висевшие на груди кожаные мешочки с дробью, пулями, пистонами, пороховницу, сделанную из рога, гладкую, как стекло.

Помогая матери справляться на охоту, он думал и о лесе, представлял птиц на лесинах и птиц, с шумом вылетающих из-под ног охотника.

Особенным удовольствием для Акима было встречать Маришу, возвращающуюся с охоты. Она приносила домой запах леса. На рядовке виднелись пятна крови с прилипшим птичьим пухом. Не спеша выкладывала на стол молодых тетеревей, рябчиков, беличьи шкурки. Аким зорко следил за каждым движением матери. Потом осторожно дотрагивался до птиц, перебирал их перья, испытывал при этом какое-то странное возбуждение.

– Ишь ты, рад, что щенок, – усмехалась бабка, глядя на мальчика.

Мариша садилась на лавку. Широколобое, с тёмными бровями лицо её сразу же веселело. Но в быстрых обычно глазах её заметно было утомление.

Акимка не провожал мать дальше крыльца. Не желая, чтобы кто-нибудь встретился или видел её, не сглазил или не оговорил, она через изгородь прошла в поле на широкую межу и направилась по ней к ближним полянам. Было облачное тёплое утро, сквозь облака порой проглядывало солнце, тускло освещая сжатые поля, лес и поляны с пожелтевшим березняком.

Мариша любила начало осени. После тяжёлых летних работ ходьба по лесу с ружьём казалась отдыхом, и осень она называла своим бабьим летом, когда под ногой шуршали полузасохшие листья, сметённые ветром с лесин. Из густых ель-

ников ещё тянет запахом гриба и хвои. На оголённых ветвях берёз хорошо виден в эту пору рябчик, долго сидит под лаем собаки тетерев.

И Кукла любила осеннюю охоту, она лакомилась мясом подстреленных белок, потому больше всего носилась по их следам, когда загоняла зверьков в лесины, звонким лаем подзывала хозяйку.

Сегодня Кукла в первый раз залаяла на белку в трёх верстах от деревни. Белка была щенок, совсем ещё рыжая, – открыто сидела на верхушке низкой ели. Мариша не стала в неё стрелять, ушла. Кукла долго ещё лаяла, обиженно скулила, надеясь, что хозяйка вернётся. Потом, догнав её у речки Уйты, вновь залаяла на белку и спугнула стадо рябчиков.

По речке плыли, кружась, жёлтые листья, красные ягоды, сорванные рябчиками с ветвей кудрявого рябинника.

Мариша зорко оглядела берега речки. Один раз, года три тому назад, ей привелось здесь убить выдру. И каждый раз, проходя по берегу Уйты, она ждала, не повторится ли счастливый случай. Вдруг услышала выстрел, по-видимому, кто-то охотился на рябчиков, ходил без собаки. Кукла замолчала, озадаченная выстрелом. Вскоре опять залаяла.

Птицы не могло быть – не такой лай. Вскоре удалось заметить рыжевато-серое пятно в густых ветвях. Выстрелила наудачу. Белка покатилась вниз с ветви на ветвь, посыпалась хвоя, зашуршали, падая, сухие сучки. Мариша отняла от собаки зверька. Надо было тотчас снять с него шкурку. Вынула из берестяных ножен широкий нож. Опять прогремел выстрел почти там же, где и в первый раз, затем по-прежнему стало тихо в лесу, только журчала вода, переливаясь через затонувшее дерево.

Мариша скоро справилась и перешла Уйту, думая об охотнике, опередившем её. Может быть, это Терентий, он иногда любил выслеживать рябчиков, на манок летят. И у неё был манок, сделанный под голос самки-рябухи. Тихо шла по тропе, посвистывала, ожидая отклика или подлёта рябчиков, они должны бы откликаться, судя по погоде. Вверху стало светло, здесь, в густых зарослях, от лучей таял сумрак, закурились влажные курчавые шапки старых пней, на тропах теплилось, оплывало золото бабьего лета.

Вновь залаяла Кукла, похоже было, что лаяла она на птицу. Острый слух Мариши уловил клокот тетёрки. Быстро повернула туда. Кто-то выстрелил, прежде чем она подошла. Увидела падающую с высокой сухарки птицу, затем чей-то грубый голос закричал на собаку:

– Брось, брось, жадная!

«Это не Терентий, а какой-то гуляка». – И Мариша строго сказала:

– Ты что из-под чужой собаки птицу бьёшь? Обычая не знаешь. – Тут она узнала в охотнике Улейкина с двустволкой за плечами. Он бросил тетёрку к ногам бабы, ухмыльнулся, провёл рукой по лицу.

– Ну, разве я спорю, возьми, я рябков бил, близко твоя собака залаяла, я и пошёл...

– Пошёл, пошёл, если бы не дошёл, согнал бы, я бы тогда по твоей рыжей бороде стрелять стала.

– Стрелять бы стала… Ишь ты как, ах ты злющая, злющая! А я ещё к тебе расположение имел, а ты стрелять, чёртом смотришь.

– А ты ангелом?

– Я всяко могу, кто хорош да пригож – тому я и ангел. – Улейкин прислонил к стволу дерева ружьё и шагнул к Марише, выставив на неё бороду: – Ну ты что, всё из-за земли, что ли, серчаешь?

– Отвяжись ты от меня. – И она, спрятав за пазуху тетёрку, крикнула собаку: – Кукла, пойдём.

– Вот баронесса какая, подумаешь, – Улейкин скривил рот, – да я таких нищих, как ты, по три копейки покупаю, а за тебя и трёх не дам. За распутное твоё поведение, нищёха. – Он рванул её за ворот рядовки.

Баба надвинула ему на глаза фуражку и с силой оттолкнула от себя.

– Мерзляк, дуролом!

Улейкин упал, споткнувшись о валежник.

– Я мерзляк? – захрипел он, вскакивая, – дуролом? – И бешено двинулся на бабу.

Она уже держала в руках ружьё, грозя прикладом.

– Сунься, сунься, отделаю…

Улейкин только потряс кулаками, поругался и повернул к своему ружью. Мариша пошла к тропе.

XIV

Скупщики пили чай и вели торг с охотниками – спорили, божились, вытирали пот с лица, отдувались, точно после трудной, изнурительной работы.

– Фу, батюшки, умаешься с вами, – сказал высокий седой краснорожий скупщик. – Мы вам говорим по совести. Приехали мы нарочно к вам, чтобы купить товар, а не цену набивать. Можно цены набить, людей с толку сбить и ничего не купить. Вот ваш Улейкин приехал нынь к мехрякам – нашумел, наобещал на тыщу, а вышла полушка: бери у него за пушнину хлеб да товар, пожалуй к нему на дом. Его хлеб да товар – ой-ёй-ёй! Вот где сядет, – скупщик хлопнул себя по шее, – это известно.

– Да, да, это так, – проговорил второй скупщик с кудрявыми волосами. – Улейкина товар у лешего ночевал.

Плиткин слегка толкнул локтем Щербакова (они сидели рядом на лавке), заглянул в лицо кудрявому.

– Значит, Улейкин вам щетинку всучил, потому-то вы и сюда махнули. Платите подороже, всегда вам свой промысел готовы отдавать.

– Ладно, – сказал высокий, – на белку по копейке накинем, горностай дороже как два семь гривен не пойдёт, за выдру, норку и куницу противо прошлогодней цены, как вам давали ваши торгованы, мы накинем по полтине.

– А што, как, ребята? – оглянул Щербаков охотников и остановил глаза на Марише. – Ну что, Мариша?

Скупщики улыбнулись, взглянув на хозяйку.

– Говори, да и по рукам...

– Что на меня смотреть, сами толкуете, что почём. По-моему, нужно за белку двадцать семь, за горностая три рубля – не меньше.

Скупщики опять стали креститься, божиться. Краснорожий старик, двигая локтями, разбил стекло в раме.

– Экой вы тугой народ, фу, господи! Да до японской войны красная цена на белку была двугривенный, а нынь двадцать шесть копеек даём. Вот вам крест и последнее слово. За горностая накинем ещё гривенничек.

– Накинь ещё, а мы скинем.

Скупщики ещё поторговались для виду – цены невелики – и вскоре ударили по рукам.

После ухода скупщиков к Марише пришли малоземельные соседи. Сегодня они надумали требовать передела земли, назначена сходка у десятского. Наступал решительный час. Теперь они, сидя на лавках, протянув вперёд руки, считали по пальцам, сколько лишних наделов у богачей. Обсуждали, кто из богатых особенно упрям и жаден до земли, подсчитывали свои силы. Порой весело оглядывали друг дружку: а неужели они не одолеют богачей? Более всех возбуждён был Фрол, он – в роли вожака, немножко гордился и кричал:

– Эх, ребята, лёгкое житьё будет, когда земельку возьмём. Малина житьё. Нас ведь много, возьмём... чего там.

– Оно так, – сказал Илья Кривой, одобрительно косясь на Фрола, – а вот, говорят, сам Улейкин придёт на сходку. Пошипит на нас.

– Не очень-то испугаемся.

– Да ладно, пора, кажется, идти.

– А двинемся помаленьку. – Все взглянули на Маришу.

Она погрозила мужикам пальцем (стояла посреди избы с вязанием в руках).

– Вы не думайте, мужики, как Фрол думает, будто легко землю возьмёте. Но брать её надо, смотрите, дружно стойте, смело. Начните с трёх наделов, что подарили Улейкину. Идите. Я скоро приду, пособлю, что могу.

Мужики, задорно покрикивая, направились к десятскому. Вскоре в избу вошёл сухой, бойкий мужик в заплатанном полушубке, в больших обшитых кожей валенках. Войдя, он тотчас прыгнул на приступок и, крякнув, влез на полати. Там он снял валенки и, кидая их на печь, закричал:

– Маринушка, здорово, каково живёшь?

– Архип, ты с дороги, замёрз, как видно?

– Замёрз, хрен возьми, пятнадцать вёрст прошёл.

– Наниматься?

– Думаю наняться. – Архип, уже растянувшись на полатях, глядел оттуда на хозяйку, глядел как-то особенно, словно любуясь или вспоминая что-то хорошее.

– Ты всё такая же, тетёрушка, – сказал он, усмехаясь. – А как, мужики, хозяева, ждали меня или другого работника присмотрели?

– Ждём, ждём, ты пришёл кстати, сходка сейчас у десятского. Собираемся землю делить. Наверно, долго проговорят, успеем, грейся.

– Так, значит, у вас большое дело, а мне бы надо на благословенье к Улейкину сходить. Хозяин он у вас, голова.

– Не ходи, сойдёт и так, да он тоже на собрании, ты не беспокойся.

– Ладно, пусть по-твоему.

Архип знал, что деревня им дорожит, двенадцать лет подряд он пас здесь коров, и пас счастливо. Было всего два несчастных случая со стадом – озорничал медведь. И ни один пастух, даже колдун, не в силах уберечь от медведя стадо. Архип ничего не смыслил в колдовстве, заговоров не знал, лишь изредка в знак дружеского внимания к лешему оставлял ему у Ильёва ручья большой кусок хлеба, не подозревая того, что этот хлеб на следующий день съедали коровы.

Лёжа на полатях, Архип расспрашивал Маришу о деревенских новостях, затем заговорил о себе. Было чем похвастать. Он нынче выдал замуж старшую дочь за хорошего мужика, выдал без всяких нарядов, всё приданое в круглой коробейке – одному унести, но жених не погнушался, сам жил на бобыльей ноге.

Вдруг с улицы донёсся вой, рёв мужичьих голосов, вопли баб. Мариша встревоженно бросилась к окошку.

– Дерутся, что ли, не успели сойтись.

Вскоре влетел в избу Фрол без шапки с разбитой скулой. Он долго не мог отдышаться, хрипел и дико ворочал глазами.

– Бьют нас, – наконец сказал он и стал просить у Мариши ружьё. – Улейкина убью, не быть, собаке, на этом свете. – Сгрёб вместо ружья железный крюк и выбежал из избы.

Бабка, крестясь, слезла с печи, злорадно говорила:

– Из-за земли, дьяволы, дерутся, спаси, Господи, наших.

– Которые, бабушка, наши? – спросил Аким. – Кто с Фролом-то?

– Кто-кто, известно, у кого земли мало, у других вон сколько нахапано. Улейкин пять коров держит да тройку лошадей бешеных. Амбар хлеба. Мы впятером на одном наделе живём, а другие ещё того хуже.

Аким не мог представить себе, как можно делить землю, он видал поля, засеянные рожью, ячменём, овсом, видал сенокосные пожни и поляны, где растут земляника и куманика, но зачем из-за этого драться? Он ещё знал, что в деревне есть богатые мужики. Они всегда до половины зимы едят старый хлеб, а другие едва дождутся урожая – жнут зелёную рожь. Мать тоже каждый год жнёт такой хлеб.

Вскоре дверь настежь распахнулась, в избу ввалились толпой мужики – все будто с разбоя, лица залиты кровью, полушубки в снегу, шапки потеряны. После всех вошёл Фрол, размахивая кулаками:

– Мы трусу не празднуем, не сдаёмся. Пойдём рамы бить, всех прищёлкаем.

Мариша толкала мужиков к рукомойнику.

– Обмойтесь хоть... причём рамы-то, у вас тоже выщелкают.

– Ну и пускай, а мы начнём. Эй, пошли, ребята!

– Погоди, кто ещё идёт?

Вошёл Трофим, ведомый за палку сынишкой. – Кто шумит, гремит, эй народ!

Комар муху побил,
Рукава засучил.

– Может, и так, – сказал Фрол. – Ты, дядя Трофим, всегда шутишь, а нам не до шуток, да. Садись-ка, совета у тебя надо спросить.

Старик уселся на своё обычное место, сказал:

– Совет давать – не репу рвать. Что за дело у вас, послушаю?

– Да вот дело... как бы нам землю разделить. Из-за земли подрались сейчас да ещё пойдём.

– Это ваше дело, а земля что... Кто жадно за неё держится, тому земля и радеет, а вы заработками да промыслом больше живёте, земля вас не любит. Знаете, что: у кого шесть коров во дворе, тот встаёт на заре. Работник спит в одежде, и Бог дежурит на окошке. А вы что...

Вы лёгкие мужики,
Купецкие батраки,
Толпой пьёте водку,
С похмелья шьёте лодку,
Потом побрели с багром
По реке за бревном.
А бабёнка-то дома бьётся,
Хозяйство из рук рвётся,
Корыто текёт,
Дым в трубу нейдёт,
Хлеб бескорый –
Зато обед скорый.
Корова еле бродит,
Землю ужо петух удобрит.

– Верно дядя Трофим расписал, всё так и есть, но ведь побольше земли не худо. Без земли-то вот мы и погибаем.

Старик подумал, склонив голову, и сказал:

– Земли у нас видимо-невидимо, да ведь ничего вам с ней не поделать, как вы за неё возьмётесь?

– Ты о каких землях говоришь? – крикнул Фрол, ложась на пол рядом с Трофимом. – Зачем нам дикая земля, когда хорошей общественной много.

– И эта земля скоро уже не сможет всех прокармливать, а меж тем на наших землях славное можно хозяйство вести, добрые земли. Опять-таки говорю: как

вы за них возьмётесь? В этом-то и вся суть. Вам теперь больше всего передела хочется, поровнять между собой поля, но и за это надо взяться с толком, а то никакого вам прибытка не будет.

Мужики смотрели на старика горящими глазами, ожидая от него умных поучений.

– Делят у нас всегда землю как нельзя хуже, – если вы недавно заговорили о переделе, так года три пройдёт, пока вы добьётесь согласья. У кого есть улишечная земля, тот уже смекнул, что ему отдать, фокусы придумывает, как бы ему всех вас обойти, и обойдёт. Придумают как можно больше вреда вам при дележке принести, это в виду имейте. Прежде всего они сейчас будут улишечную землю голодить, навоз на неё уже не повезут, пахать почти забросят – словом, пустыри худые вам готовить начнут. И какой бы передел ни был, они останутся с лучшей землёй, всегда с хлебом, а вы как были неудалыми хозяевами, так ими и останетесь. Вот только что я знаю, что мне известно.

Мужики угрюмо, зло смотрели на старика, точно он-то и установил тот порядок, о котором говорил, и не хочет изменять его. Потом все разом взвыли, потрясая кулаками.

– Не дадим так… врёшь, у нас глаза есть, не дадим! Мы им шеи свернём. Пойдём рамы щёлкать, чего смотреть!.. Мы их заставим нынче делить землю, пойдём, ну, все!..

Вошёл Филька Зипунов. Он не участвовал в драке. В дележе земли был не заинтересован ни с какой стороны – не видал ни прибытка, ни убытка, но держался стороны многоземельных.

– Вот что, соседи, – весело крикнул он, – пойдёмте-ка мириться, зачем свору заводить. Соберёмся и о дележе поговорим, добром всё. Улейкин полведра водки ставит. Ну, пойдём, что ли. Так-то лучше.

Мужики будто о чуде каком услышали – глядели и на Фильку, и друг на друга с удивлением и торжеством. Вдруг их побитые лица блаженно засияли, все поддались очарованию.

– Ну что ж, пойдём, ребята, – сказал Фрол.

– Пойдём, мировая так мировая, мы не прочь… – И мужики повалили из избы. Из сеней Фрол крикнул:

– Мариша, и ты пойдём, всех касается.

– Не ходи, – посоветовал Трофим, – не ходи, лучше будет, не верь этим мировым.

– Пожалуй, – согласилась Мариша, – Улейкин раздобрился неспроста.

Всё же Маришу донимало любопытство: на чём состоится мировая или вовсе никакой мировой не будет.

Она, проводив Трофима, зашла в избу Тугунова, где гуляли мужики. Все уже были пьяны и веселы. Недавние враги обнимали друг друга, клялись в дружбе, по лицу текли слёзы и кровь.

Мировая оказалась невыгодной для малоземельных; подкупленные водкой и обещаниями, поцелуями и пьяными слезами своих недавних врагов, они согласились подождать с переделом ещё два года.

На другой день бабы ругали своих мужей, так легкомысленно пропивших передел.

– Никогда вам, окаянным, не получить земли, никогда, – слезливо кричала на всю деревню изнурённая, с жёлтым лицом, баба – жена Фрола. Ей было обидней всего то, что Фрол оказался простофилей, а вчера она гордилась им как вожаком малоземельных.

XV

Мужики спешили уехать на заготовку леса от громовской конторы – с мрачными, опухшими рожами увязывали, убивали коленами возы сена, стоявшие около изб, свирепыми окриками гнали от возов улейкинских коней и жеребят, выпущенных порезвиться. Прислушивались к пьяным голосам, к смеху и звукам гармоники. Это ещё со вчерашнего гулял с приятелями Улейкин. Два его сына-подростка торговали в амбаре овсом, сушьём и пикшей.

– Обирай последки, кому ещё? – кричал краснощёкий подросток в беличьей шапке, высовываясь из амбара.

Блекло-красное в утреннем тумане солнце вышло из-за густой рощи, окружавшей погост, и окрасило в розоватый цвет запушённые морозом окошки изб, снег на крышах и дым, валивший из труб. На улице с мёрзлым конским навозом, с возами сена в кругу изб стало светлее. Кое-кто из мужиков успел опохмелиться у Назарихи и теперь хрипло перекликались меж собой о харчах, табаке, котелках и вёдрах. У дома Улейкина бродили пьяные, бормоча слова песни:

Как посе-ею я, посе-ею,
Я посе-ею, я посе-ею…

На крыльцо выбежал Улейкин в короткой дублёной шубе с вышитой грудью и, взмахнув руками, приседая, подхватил песню:

Лён-конопель, лён-конопель!..

Затем он навалился грудью на перила крыльца и закричал, тряся пушистой бородой:

– Догуливай Святки! Эй, кум, всё сварилось, испеклось, пойдём закусывать. Да куда нам торопиться, завтра двадцать возов муки всякой подвезут: ешь – не хочу.

Из амбара опять высунулась голова парня в беличьей шапке.

– Ну, кому ещё, торопись, а то чай пить пойдём.

– Поспеешь, – ворчали мужики, кончая убивку возов. Их раздражали зазывные голоса парней, раздражали песни и гармоники, вся сытная улейкинская домови-

тость и его гуляющие меж возов лошади. Они жалели, что вчера не были твёрдыми в своём намерении выбить у него рамы, а вместо того польстились на водку и в конце концов остались в дураках.

Из улейкинского амбара вышел с мешком через плечо завьяловский охотник на куниц Терентий Плиткин. Борода его и усы были покрыты густым налётом инея. Он шёл по улице, загребая ногами сено и мёрзлый навоз и раскидывая то и другое в сторону изб, как бы желая осмеять этим деревню.

Вскоре он остановился и, подтянув мешок, с любопытством стал смотреть на Фильку Зипунова. Тот только что выбежал из избы в одной вязаной шерстяной рубашке, прожжённой на животе, – ударил на ходу плечом в круглый, плотно убитый воз и, поплевав на ладони, схватился за оглобли.

Вначале он тронул воз в сторону, затем, выгнув здоровенную спину, рванулся в оглоблях вперёд прямо на Терентия.

– Куда ты, Серко, тпр! – сказал Терентий.

– Да вот пробую, сколько положено добра, – ответил Филька, опуская оглобли.

– Пробовал бы ты пустые дровни возить, а то за двадцать пудов взялся, миляга.

– Садись и ты на воз, и с твоим мешком увезу. – и Филька задорно схватил Терентия за плечо: – Давай поборемся.

– Уйди ты, – какой я борец, – попятился охотник, – видишь, еле пуд пикши несу – взял у вашего богача, в лес тоже налаживаюсь.

– Да полно те притворяться, говорят, боролся раньше нехудо.

– Ну, какое нехудо, всегда в канаве лежал. – Терентий нехотя опустил мешок, бросая косой взгляд на Фильку: – Ты этакие возы ворочаешь, а я что... худой петушонко.

– Борись, борись, – подзадоривали мужики, – ежели ты подвернулся в такой день.

– Да уж если только Зипунова потешить, а то давно я не боролся.

– Потешь, потешь, он у нас любитель.

Борцы схватили один другого за руки между плечом и локтем и вначале, как бы разминаясь, ходили в кругу мужиков.

– Худая силёнка стала, совсем худая, – твердил Терентий, слабо обороняясь от пробных подёргиваний и напора Фильки, – я не люблю горячиться, супротивник как хочет, так пусть ворочает.

Филька волочил противника, забавляясь его вялой, раздражающей манерой борьбы.

– Ну и борец, что баба сонная около печи.

– Да, верно, так и есть, вот погоди, разомнусь.

Подбежала Филькина собака и принялась лаять, злобно вытянув голову на Терентия.

– Ишь ты, животина, понимает, чей хлеб ест. Ну, Филя, теперь вдвоём-то легче справиться, – говорили мужики, утешливо следя за Терентием и ценя его благо-

душное потворство горячему Фильке. Но вот и Терентий кончил шутки. Он одним броском откинул Фильку назад; ноги у того скользили, как по льду.

– Не гнись, Филя, не гнись! – кричали кругом.

Вдруг Плиткин точно вширь весь раздался – круто двинул плечами, и Филька, как сноп, мотнулся в сторону и упал на снег. Плиткин тотчас сгрёб его в охапку, раскачал и закинул на воз сена.

– Уложил, ещё дай ему соску, – потешались мужики.

– Втянул меня в баловство, что ты поделаешь, – как бы извиняясь, говорил Терентий и, кряхтя, он взял свой мешок и направился к избе Мариши. Навстречу бежал Аким в Артюшкиной шубёнке, волоча спадавшие с ног широкие валенки.

– Аким, как живёшь? – подмигнул охотник.

– Хорошо, а ты к нам?

– К вам, а ты морозиться выбежал?

– Поеду на возу, Фрол подвезёт.

– Ну, ну, поезжай, малый.

Фрол запрягал свою рыжую с отвислым задом кобылу, страдавшую к тому же одышкой и немного хромую.

– Но-о, смотри веселее, растрёпа, – подбадривал Фрол кобылу, – овса шапку схрупала на дорогу, чего ещё.

Эта кобыла была стыд и горе Фрола. Он любил шустрых, красивых лошадей. Любил ухаживать, кормить, чистить такую лошадь. Когда он служил в войсках – в первой гвардейской батарее, – мечтал по выходе со службы купить породистого жеребёнка и вырастить лошадь такую же, как тёмно-карий Колчан, за которым Фрол ухаживал в батарее, но вот уже семь лет прошло с тех пор как он вернулся домой, а жеребёнка ещё не справился купить. Невозможно прокормить двух лошадей, а если кобылу променять на жеребёнка – голодом сидеть будешь. Семья беднела, кругом нужда. Будь у него на один надел больше земли, тогда давно бы он жил с хорошей лошадью. Он мог бы на ней заработать за зиму в два раза больше, чем на убогой кобыле. Горе с этой кобылой в лесу ежедневно. Наладишь ей посильный, казалось бы, возёнко, и потом сердце надрывается, глядя на её муки. С хрипом бьётся она в снегу, таща воз к дороге. В нитку вытянется, еле ковыляя короткими подламывающимися ногами, вытаращив мутные глаза. Когда выберется на дорогу, долго не может отдышаться – стоит как пьяная, бока пылают, из глаз по запорошённой снегом морде текут слёзы.

Фрол затянул супонь и проворно стал продевать конец повода в кольцо низкой зелёной дуги – покосился на Акима и заворчал шутливо:

– Уж поспел пострел, куда ни поедешь, он тут уж и есть, готов ехать, лосиный крестник.

– Какой у тебя, Фрол, воз-то высокий, в два раза кобылы выше, – удивился Аким, – увезёт она?

– Молчи, не разевай рта, – рассердился вдруг Фрол. Его злил всякий разговор, мало-мальски касающийся способностей неудалой кобылы.

Он ушёл в избу. Вскоре вернулся, молча поднял Акима на воз и тронул лошадь, предоставив Акиму править.

Выехали за деревню. Дорога поднималась к погосту, окружённому еловой рощей. Сюда Аким любил ездить на высоких возах сена. Видны деревни и дороги с вешками. Сегодня по дорогам тянулись обозы. Лошади – седые от инея. Синел за озером лес – тот самый, где весной бывают тетеревиные тока.

– Аким, будет, наездился, – крикнул Фрол. – Беги домой.

Он снял мальчика с воза, помял его, повертел и, смеясь, отпустил.

– Беги, грейся, вот погоди, мы с тобой жеребёнка купим, выкормим, вырастим и на работу в лес поедем.

Аким пошёл к деревне, широко ступая большими валенками по выбитому лошадьми лотоку, очень довольный словами Фрола. Он вообразил себя большим и таким же силачом, как Терентий. Тот, говорят, возьмёт за конец любое бревно и закинет на колодку подвозок.

– Акимка, шаром играть, шаром! – кричали бегающие по улице ребята, когда Аким показался на деревне.

– Дымник, лосиный крестник, – дразнила Акима бойкая Любка Улейкина, – где ему бегать, играть в таких валенках с маткиной ноги.

– А ты чего к нам лезешь, – обозлился Аким, – вертушка, берестяная коробушка. Девкам не играть шаром.

– Дымник, дымник, страшной! – кричала Любка, убегая к дому.

Аким с завистью смотрел на её новенькие чёрные валенки. Любка часто забегает в избу Суслоновых и без умолку рассказывает о домашних событиях и радостях: с чем ели сегодня блины, сколько вынули сала из зарезанного барана, какую славную ячменную кашу с салом они едят по скоромным дням. В постные дни варят московский горох, пекут рыбники.

Аким поиграл шаром с ребятами и, вспомнив, что к ним в избу шёл Терентий, бросил игру и побежал домой.

По улице под руку с Пазухиным шёл пьяный Улейкин и, кривляясь, кричал:

– Суслониха передел выиграла, поздравляю. Дружки её в лес уехали. Всех я помирил, наладил, через два годика поговорим о земле, раньше не стоит.

– Нет, ты погляди, погляди ужо, – бормотал Пазухин, – весной они опять подымутся.

Аким пробежал к своему крыльцу и, обернувшись, крикнул, думая устрашить Улейкина:

– У нас Терентий сидит, чай пьёт.

О чае Аким сказал для пущей важности, – они не хуже других живут, даром что изба худая.

Терентий сидел у стола с невесёлым лицом, и мать показалась Акиму чем-то расстроенной. Она вязала чулок, хмурилась, порой взглядывая на бабку, которая спала на печи.

– Сам Улейкин хвастал, что с тобой угощался в лесу, – тихо проговорил Терентий.

– Ты и поверил!

– Почему не поверить?

– Ну и верь, – вспыхнула Мариша. – Я божиться не буду и отчёта никому ни в чём не отдаю.

Терентий потянулся за мешком с пикшей, встал, закинул мешок за спину и вышел из избы, не взглянув на Маришу.

Она провела рукой по широкому лбу, потом вгляделась в Акима и строго спросила:

– Ты что глаза уставил? Садись за работу, если набегался.

Акиму было жаль, что охотник ушёл чем-то недовольный, даже рассерженный, в избе казалось невесело. Он взял кусок хлеба и опять побежал на улицу.

XVI

Зима подходила к концу. Южные ветры и солнце согнали с крыш снег. Почернели дороги, по утрам был хороший наст. Маришу потянуло в лес на весенний промысел. Хотелось что-нибудь спромышлять к предстоящей ярмарке. Соседи возвращались с лесных работ изнурённые, грязные, прокопчённые в избах-конторках. Они отмывались в бане, перед тем парились до потери сознания, отъедались редькой с квасом и овсяными блинами с заквашенной брусникой, отлёживались на полатях, говорили о скорой весне, о ярмарке, не удастся ли купить по сходной цене кожи, ситчишку. Нужен и платок бабе, девкам наряды, сундуки, образа с цветочками, приданое – убыточная статья, но никуда от неё не уйдёшь – обычай.

Мариша направилась в лес вечером по обмякшей дороге. Тащила за собой лыжи, за плечами был мешок с харчами и котелком. Потом, когда стемнело, она встала на лыжи и пошла просеками к Каликиной избе. Снег окреп. Лыжа шумно катилась по узкой просеке среди густого леса. Шла она долго, потом впереди увидала огонь – значит, кто-то ночевал в избе, топил каменку, открыв настежь дверь.

Ночевал здесь Терентий, он варил куропатку, сидя на чурбане против ярко пылавшей каменки. Вылез из избы разогретый, красный, пахнущий дымом, с пуком горевшей лучины.

– Это ты? – спросил он с весёлым смехом. – Вот радость…

Мариша повесила на спицу под крышей ружьё и сказала:

– Я, я, а сзади Улейкин идёт.

– Ладно, уж брось шутить, дело прошлое, я не верю тому, что плёл Улейкин, помиримся, ладно.

Они не видались с тех пор, как произошла между ними маленькая размолвка в день отъезда мужиков на лесные работы. Теперь оба были обрадованы неожиданной встречей, и размолвка как-то сразу забылась. Зашли в избу. Терентий место на лавке очистил, в котелок с куропаткой заглянул, суетился, хлопотал как хозяин и

говорил о том, что он три дня тому назад приехал с лесных работ, зайти к Марише не успел, а соскучился по ней страшно.

Мариша слушала, жмурясь, глядела на огонь, улыбнулась на признание охотника.

– Врёшь ведь... А я с батюшкой лес на крышу возила, знаешь, какой мойострой – дедовский, столетний, крыша разрешетилась.

– Знаю, знаю, хлопот много – хозяйство, дом, достаётся тебе, – Терентию хотелось сказать что-нибудь особенно приятное. В голове вертелась давнишняя мысль о женитьбе. Он жил вдовцом, призапустил хозяйство, отвлекаясь часто на охоту, старуха-мать плохо ему помогала.

– А я бобылём живу, – продолжал он задумчиво. – Перешла бы ты ко мне жить, лося, может, убьём, свадьбу справим.

– Нашёл место свататься. Ты бы сватов прислал, да хороших сватов – с поклонами, с долгими присловьями.

– Что ж, можно и сватов... старух в кокошниках штук десять подберу тебе. Только самовары ставь да крендели подноси. Пожалуй, разорят. – И Терентий, довольный шуткой, сел на низкий стояк-чурбан, улыбнулся с обычной своей прищуркой и продолжал с ласковой убедительностью:

– Жить тебе на одном наделишке тесно, что в курятнике. Передела вам не добиться. Промысел здоровье унесёт, и богата с промысла не будешь. У меня не так много земли, да проживём.

– Нет, друг, лучше жить по-старому, лучше. Или для тебя не лучше? – Вдруг лицо Мариши стало хмурым, даже суровым. – Если думаешь жениться – женись, невест найдёшь довольно, а я тебе не невеста.

Терентий огорчённо развёл руками и повернулся к котелку с куропаткой, ворча под нос:

– Думаешь, думаешь... мало ли что я думаю. Невесты... экая невидаль.

Затем он, всё ещё немножко надутый, поднялся с чурбана и сказал, подходя к Марише:

– Ну и шальная ты, на два дома жить... не складно. – Он стиснул широкими ладонями её щёки и засмеялся: – Ходить к тебе – сапог не хватит.

– А ты смотри, хозяин, стряпуха, – указала Мариша, – твоя куропатка из котелка вылетит.

Терентий отвернулся к котелку. Мариша, поправив платок на голове, вышла из избы. Тотчас позвала Терентия – голос был звонкий, весёлый.

– Ну, что там? – выглянул в открытую дверь Терентий. – Не ворожить ли собралась, тогда в этом деле я тебе не помощник.

Он вышел и встал рядом с Маришей.

– Нет, ты смотри, какая ночь... звёзд сколько высыпало, – говорила она, широко поводя рукой.

Но Терентий больше смотрел на неё, чем на звёзды. Он чувствовал сегодня себя таким же влюблённым, как несколько лет тому назад, когда они в первый раз

вместе ночевали в избе у Жабьего ручья. Ему точно так же, как тогда, хотелось слушать её голос, следить за всеми движениями её сильного, казалось ещё сохранившего девичью гибкость тела, и теперь, стоя рядом, он не мог удержаться, чтобы не провести рукой по её плечам и спине и, не глядя на звёзды, вторить удивлённо: «Да-а, звёзды... верно, да-а...» А Мариша как будто не замечала прикосновения его рук. Терентию даже показалось (он был ревнив и мнителен, нетерпелив), что ей даже не нравится что-то в нём сейчас. Он опустил руки и, хмурясь, слушал её. Она говорила, что вот уже зима проходит, скоро затокуют косачи, тетерева. Птица заиграет, запоёт.

Терентий тоже любил иногда помечтать, но на этот раз сердито сказал:

– Ну что там косачи! Пока есть о чём думать, чёрт возьми! Куропатка сварилась, пойдём.

Мариша засмеялась и взяла его за плечо.

– Ты что сердишься? – горячее дыхание её обдало лицо Терентия. Она говорила ещё что-то, обнимая его, и Терентий уже растроганно бормотал:

– Ладно, по-старому, по-старому. – И потянул её в избу.

На восходе оставили избу – пошли к горам, где водились куницы. Там Терентий по обыкновению промышлял в начале зимы, а в эту пору, под весну, он почти никогда до гор дойти не мог – увлекался крупным зверем. Он ронял и белку, если собака чуяла «верховую». Вспугивал со стоянки лосей и гонялся за ними иной раз весь день. Лосей на пути к куньим горам было довольно, встречались изредка и олени. Терентий любил копить в доме шкуры этих зверей, он спал на шкурах и не мог представить лучшего ложа, потому всегда с удовольствием укладывал спать на шкуры и гостей-ночлежников. Всякие постели презирал.

Весной в солнечные дни он развешивал шкуры на верёвке, на изгороди около дома, долго проветривал и любовался на них, порой смотрел на пролетающие вереницы гусей, уток. Выносил из дома огромный самострел, налаживал тяжёлую стрелу и пускал её в птиц – стрела скрывалась из глаз, тонула где-то в синем небе, потом, белея, падала на землю. Иной раз падала птица вместе со стрелой. Вся деревня собиралась смотреть на эту потеху Терентия, и, казалось, для него не было ничего занятнее стрельбы из пудового самострела.

От избы пошли по просеке. Терентий сказал, надвигая на уши шапку:

– Свежо, свежо, снег сегодня – что свинец. Пожалуй, и крупный зверь по насту пойдёт, вон лыжня едва заметна.

– Скоро степлеет, – заметила Мариша.

– Ну, как ни скоро, а нам до куньих гор до ростепели пробежать надо.

– А сколько до куньих... говорят, вёрст пятьдесят от деревни?

– Кто считал? Может, и побольше, а твои лыжи, Мариша, надо бы шкурой подбить, а то горушки, острова будут. Да ладно, у пенусов остановимся, наладим всё.

Подожди… – Терентий свернул в сторону. – Тут у меня кладовая в дупле, укладены берданка и снаряды, возьмём, с тремя ружьями надёжнее.

Мариша, стоя на просеке, оглядывала деревья, снег, усыпанный иглами хвои, и вспомнила примету стариков: хвоя осыпается, значит, до ярового сева пять недель.

Справившись, пошли прямо к пенусам, оставив просеку. В лесу становилось светлее. Всё отчётливее, ярче выделялась гладь маленьких полянок, прогалков, освещённых солнцем, учерченных дымчатыми тенями деревьев.

Местами видели недавние следы зверей – широко расторбанный могучими ногами лося снег. Только в одной низине нашли свежую стоянку, видимо вчера покинутую. Судя по следам – ушли лоси в ростепель, в сторону куньих гор. Теперь стоят где-нибудь под елями, ожидая оттайки снега.

Молча, широким ходом направились по следам. Собаки их бежали впереди, по обыкновению скрываясь из виду. Только изредка где-нибудь вдали на прогалинках мелькнут их резвые тонкие ноги, мелькнёт пушистый, загнутый крючком хвост.

Пройдя версты две, Терентий остановился и спокойно сказал:

– Нечего спешить пока. Вздохнём чуть. Я закурю.

Он поднял голову, прислушался, точно ожидал каких-то звуков в тёмном лесу. Ничего не услышав, он со своей обычной манерой, упирая в грудь подбородок и о чём-то думая, стал набивать трубку.

– Они знаешь где, – ронял он лениво, – они не дальше как в еловой толще за пенусами.

– Не узнаешь где, – возразила Мариша, – в нашем деле больше на случай надейся, иногда проходишь день без толку, а то на одной версте возьмёшь что тебе надо.

Вдруг она подняла вверх свои быстрые глаза и насторожилась. Терентий перестал курить, тоже прислушивался и выжидательно глядел на Маришу.

– Будто собаки ворчат на кого-то, – сказал он.

– Нет, это не собаки, – и Мариша кивнула в сторону пенусов.

Оба быстро двинулись в том же направлении, в каком шли и ранее.

Разгорячённые, с потными лицами, выкатились на широкую гладь пенусов, в серебристой синеве утра меж седых, обросших мхом сухарок вдруг увидели потоком несущихся по крепкому насту оленей. В это же время откуда-то издалека донёсся лай собак.

– Станови, а то урвут! – указала Мариша на оленей, срывая с плеча винтовку.

Терентий, бросив на снег дробовик, выстрелил в стадо из берданки. Мариша ждала. Олени стали, бестолково и пугливо сбиваясь в кучу, как всегда при звуках выстрела, передние поводили рогатыми головами, чуя опасность, но не зная ещё, куда от неё бежать. Охотники стреляли, стоя у тонких сухарок. Терентий выстрелил третий раз. Мариша второй. Олени только тогда их заметили, тронулись с места, сплошной массой понеслись к синеющему вдали лесу.

Звучно захрустел снег под их широкими копытами.

Охотники, опустив ружья, неподвижно стояли некоторое время, взволнованно следя за уходящим в туманную даль стадом, а там, где только что стояли олени, виднелись на снегу тёмные бугорки.

– О-о, ещё один упал, я вижу, – поднял руку Терентий, – кажется, три на месте остались. Пойдём.

Пока они шли к убитым оленям, прибежали собаки, бросив погоню за лосем, и жадно стали обнюхивать рогатых зверей.

Терентий широким взмахом руки откинул на затылок шапку и, сияющий, обернулся к Марише.

– Вот утро-то выдалось нам, а? Теперь некуда больше ходить, хватит.

Мариша молча разглядывала оленей. Слишком редко удаётся встречать их в здешних лесах. Это всего второй раз за всю её охотничью жизнь.

– Значит, мы теперь здесь поживём, – говорил Терентий. – Я дров нарублю, тебе огонь разводить, чайник, котелки кипятить. Оленей обделаем, подкрепимся, отдохнём и подумаем, как отсюда вытаскивать добычу.

XVII

Два дня ушло на то, чтобы вытащить оленей из лесу. Тащили до дороги, под конец достали из деревни лошадь. Мариша попала домой только вечером, в канун ярмарки, утомлённая охотой, с весенним загаром на щеках.

Вечер выдался тёплый. По размякшим навозным дорогам тащились возы с товарами на ярмарку, гнали лошадей, коров. Брели нищие, калики с сумами униженно просились в избах на ночлег. Брели и коробейники, и барышники, весело перекликаясь со знакомыми мужиками.

Почти весь народ был на улице, даже старики вылезли из тёплых изб и бродили с клюками, прислушиваясь к разговорам. Деревню взволновали слухи о каком-то новом законе о земле. Улейкин привёз слух из города, куда он ездил по торговым делам, будто бы закон этот рушит мир, старые обычаи, позволяет разрубать землю на участки, на хутора, и будет на участке мужик сидеть хозяином, независимым от мира.

Филька Зипунов, поведавший соседям новость, говорил ещё, что закон такой уже существует третий год, а пока сюда не дошёл.

Тот же Филька рассказывал о том, что Улейкин приписал к своему семейству тётку Маланью с её участком, участок останется за ним, а Маланья уходит в Сийский монастырь душу спасать. Илья даёт ей сто рублей на вклад угодникам.

Филька сегодня не был на стороне Улейкина, видимо, завидовал ему и боялся что-то упустить.

– Загребает, загребаетземельку Илья, и недаром это, – кричал он, оглядывая мужиков, выставив вперёд своё клинообразное лицо с маленькой русой бородой, – недаром, соседи.

– Ясно, недаром, что-нибудь замыслил, ужо опять столы раскинет.

– Ну, к чертям, со столами, а закон-то, должно, ему на руку.

– На лапу, на лапу, ясное дело.

– Что вы о законе толкуете, – заворчал столетний дед Фрола Захар Петухов, прозванный за белую бороду Куроптем. – Я теперешних законов не знаю, а помню про старое. Прежде земля тоже была за хозяевами, могли продавать и дарить, разделов не было, оттого одни большими участками владели, а другие скудались землёй. Вот, помню, в восемьсот тридцать первом году, когда я женился и сына Ивана в тот год крестил, который в Севастопольскую кампанию на войну ушёл и не воротился домой...

– Ты, дед, не мели много, – сказал Фрол.

– Чего не мели, – я всё знаю. Уйди, – рассердился старик, – ты ещё молод, помолчи.

– Дай старику сказать, он помнит всё за сто лет.

– Помню. Так вот, в восемьсот тридцать первом году, когда я женился, был у нас головой волости старик Кузьма Кузьмич, тот, что самовар завёл, до него мы и не знали о самоварах, он любил хвастать, будто под Москвой с французским царём сражался, ну, я того не помню, мал был.

– Дед, будет, – опять сказал Фрол, – ты о законе-то скажи.

– О законе? Ладно. Значит, в том году вышел закон, чтобы поравнять землю между мужиками, и с той поры переделы пошли. Сначала поделили земли пахотные и сенокосные меж деревнями, потом всякая деревня по дворам делила. Говорили знающие люди, что властям от этого больше податей выходило, да и народ у земли чтобы держался, кормился сохой-маткой. Понятно, хозяева, у коих земли много было, шкандалили всячески, только ничего поделать не могли. Ну, расчистки в лесу делали, те расчистки в передел могли идти только лет через пятьдесят.

Мужики увидали Маришу и Терентия, подъехавших с возом к избе. Хлынули все к ним.

– С добычей, Мариша, с оленинкой! Где охотились?

– Пошли к куньим горам, да не дошли, – ответил Терентий. Он стал рассказывать об охоте, тем временем Фрол передал Марише всё, о чём сейчас говорилось на деревне.

– Улейкин набрал земли и в собственники норовит выйти, закон новый есть.

– Закон? – насупилась Мариша. – Закон законом, а землю надо поравнять, потом пусть идёт в собственники на край поля. Помещик, а мы по старине будем жить.

– Верно говоришь, Мариша, верно, старого обычая держаться надо.

Почти всем мужикам новый закон был не по душе, особенно малоземельным. Разрубить по участкам землю было невозможно, земля разная, слишком обидно одним сесть на худшую землю, оставив другим богатый береговой край, но и все поля в таком виде, что надо пять лет думать, как их разбить на отруба безобидно, лучше владеть землёй по-старому.

Мариша верила только в одно: проведено будет уравнение земли, тогда все в деревне заживут ровно, пожалуй, без нужды, и у неё вырастет на год хлеба, хва-

тит и кормов скоту. Она жила всегда с мыслью о переделе, но добиться согласия большинства соседей на это было делом нелёгким. Услыхав сейчас от мужиков о новом законе и хозяйственных заботах Улейкина, Мариша поняла, что лучшего случая ждать не приходится, мужики, видимо, разбрелись умом. Новый закон ещё чужд, непонятен, больше всего не хочется видеть Улейкина помещиком.

– Вот что, соседи, – заговорила она, шагнув ближе к мужикам, – послушайтесь меня на этот раз. Ничего не пожалею, оленя дарю, заводите завтра праздник.

– Ну, говори, послушаем.

– Сделаем по-твоему, как скажешь.

– Сделаете, то добро. Я вам напомню, как вы Иванов участок Улейкину подарили. Теперь он сам другой участок берёт, и, если мы будем разинями, Улейкин середи поля хозяином сядет и заставит вас на себя пахать и косить.

– Отскочит, не дадим.

– Не дадите ли? Всегда ли вы слово держите? Друг дружке вы соседи худые, жалеете землю поравнять. Зачем на два года оттянули? А по-моему, нынче под яровое делить начнем, прежде всего отберём назад подарки от Улейкина. Все чтоб с землёй были, а вперёд смотри всяк на себя. Что там новый закон даст, куда жизнь повернётся, а теперь мы ещё справим свой старый обычай.

Мужики вдруг все разом стянули с голов шапки, оглядываясь друг на дружку, и растроганно заговорили:

– Давай, братцы, сделаем всё по старине, старики начали, а мы кончим.

– Мир, чтобы безобидно.

Больше всех растроган был Фрол.

– Праздник, братцы, праздник, – вздыхал он умилённо и лез ко всем целоваться.

Терентий, стоя у воза сзади Мариши, с любопытством смотрел на мужиков. Земля, хозяйство были для него обузой, и делить землю, ходить по полям, слушать споры, укоризны казалось очень скучным делом. Земли хорошей мало, все до неё жадны, способны драться из-за вершка, противно. Он сказал, усмехаясь:

– Только мирно делите, не дорожите кусочками, крохоборства у вас много. Вон у меня соседи все полосы опахали, такие соседи – Яша да Паша. Одна полоса была когда-то три сажени шириной, а теперь две стала. Что вы, говорю, ребята, сделали с полосой? Ведь мне скоро и пахать нечего будет. Смотрите, землю искать пойду, обмеряю, известно, сколько на душу. Не спорят, обещали отпахать.

Мужики посмеялись над простотой Терентия, затем ещё долго в вечернем сумраке раздавались их голоса, но больше других кричал Захар Куропоть, вспоминая старину.

– А в восемьсот тридцать первом-то году хозяева прощались с землёй, как с невестой.

Мариша и Терентий выдали мужикам одного оленя. Сложив остальных в амбар, зашли в избу. Пока они раздевались, разговаривая с бабкой, хлопочущей с самоваром, Аким вертелся около них, потом надел рядову матери, воображая себя охотником. От рядовки пахло лесом и олениной.

За ночь подморозило, но с утра опять был тёплый ясный день. По оттаявшим дорогам шли и ехали люди на ярмарку. Всюду слышались говор, ляцканье лошадиных копыт, звон бубенчиков. На погосте, где была ярмарка, звонили к службе. Аким, засунув в карман шубёнки руку с пятачком, полученным от матери, шёл среди пешеходов, постоянно оглядываясь на проезжающих в санях мужиков и думая о том, что на пятачок можно купить много кое-чего. Впрочем, там будет видно, что купить, самое важное – посмотреть на всякие чудеса.

Погост, куда шёл Аким, стоял на высоком месте, к нему тянулись со всех сторон дороги от десятков деревень. Две церкви были окружены высокой зелёной оградой с немногими деревьями, раскиданными среди могил и крестов. Торговые площади – передняя и задняя – соединялись двумя рядами рубленых лавок. Позади стояли дома попов, торговцев, сторожки церковные и избы мужиков.

Вскоре Аким поднялся на переднюю площадь перед церквами. Направо были кожевенные лавки – открытые, низкие, осевшие под гору. Вниз с площади мимо лавок текли ручьи, поблёскивая на солнце. У ограды сидели слепцы, одетые в ряднину, с обнажёнными головами, с деревянными чашками у ног, складно пели стихи, казалось не замечая толкотни и шума на площади.

У лавок и на площадях сплошь полушубки, тулупы нараспашку, шапки, бороды – всё в движении. Потом Аким увидал баб с горшками, с калачами, чужих мужиков с иконами, ложками, чашками, за ними рыбные возы. Были и сколоченные кое-как будки коробейников с разноцветными застёжками, лентами, шильём, щетиной, гребнями, развешанными на бечёвках копеечными книжками, картинками. Дальше между рядами лавок – толпы баб и девок. Бойкие торговцы, размахивая железными аршинами, мерили яркие ситцы, веселили покупателей шутками. Пока Аким рассматривал выставленные на полках лавок товары: посуду, самовары, шапки, навесы, гармоники, ружья, – пошли по ярмарке попы, кропили святой водой товары, лица купцов, собирали серебро и что-то пели.

На задней площади среди колёс, саней, ушатов, вёдер, сундуков, стульев, наконец, среди возов с хлебом, шоколадом, пенькой, скотом Аким нашёл деда Анисима. Дед сидел близ важни, где вешали хлеб, покрикивал звонко:

– Эй, кому лопата хлебы сажать, печь радовать, корзины по ягоды ходить, корыто в гости ездить, – всё есть у нас!

Анисим торговал своими изделиями и, видимо, торопился в кабак, там уже давно гуляют дружки-приятели.

Дал Акиму на два калача – послал купить, воротил и прибавил ещё копейку на пряник.

– Сходи закупи, вот распродам свой товар, тогда…

Аким был ошеломлён ярмаркой, он никогда не видал такого скопления народу, на каждом шагу его поражало что-нибудь. Он останавливался, дивясь на городские невиданные товары, особенно долго смотрел он на игрушечные ряды. Тут торговцы дудели, свистели, играли на губных гармониках. Два мужика в драных тулупах спорили о богатстве ярмарки.

– Давай, на что хочешь бьюсь, что больше как на шестьсот тысяч товаров не найдётся.

– Ошибаешься, Микола, – говорил второй, – на миллион есть, а то и больше.

Когда Аким вернулся с калачами, деда уже на месте не нашёл. Мужик, торговавший хлебом, указал на высокий дом с красной крышей:

– Давно твой дедко гуляет, поди, тащи его за бороду, а то пропьётся.

Акиму стало обидно: неужели дед пропьёт все деньги, экая невидаль – вино.

Кабак гудел так, что, казалось, сотрясался весь большой дом. На широких ступеньках крыльца толклись пьяные, бабы с воем вытаскивали из дверей упиравшихся осовелых мужиков.

Аким увидел деда перед трактиром, но не пьяного, – он стоял с Захаром Куроптем, держа в руках оловянный ковш. Захар, потряхивая белой бородой, говорил:

– А в тысяча восемьсот сорок четвёртом году здесь трое мужиков запилось, и потом пошло каждый год так. Говорят, водку стали портить.

– Ты не пьёшь? – спросил Анисим, хмуро разглядывая ковш. – Ходил я, знаешь ли, сейчас к Губареву за получкой, работал у него и думал рубля три получить. Губарев в лавке бойко торгует, дал мне этот ковш и говорит: «В расчёте мы с тобой, товаром, значит, всё забрано». «Где, – говорю, – забрано, раз соли брал да пшена». Губарев своё твердит, у него будто бы всё записано. Поругался я и ушёл.

Анисим подмигнул Акиму и сказал, чтобы он его дожидался, ел бы калачи, а сам пошёл в трактир.

Аким постоял недолго, калачи съел и отправился вслед за дедом. Вступив в трактир, он остановился, разглядывая мужиков, но всё тонуло в табачном дыму. В глубине не видно было стен и потолка, всюду смутно колыхались пьяные фигуры.

Анисим, вытирая мокрую бороду, шёл к выходу в обнимку с Фролом и хвалился:

– Я много не пью, всего полковшичка, и тебе не советую пить.

– Я здесь и не пил, не попробовал, – ответил Фрол, – а взял четвертуху на всю деревню, у нас оленина варится, Мариша вчера пожертвовала, сговорились передел вершить. Все малоземельные рады-радёшеньки.

– Ладно, я приду посмотреть на ваш праздник. Ох и переделаете, великое пьянство будет, шум, грех.

– Понятно, не без того, пошумим, Анисим Агапеич.

Анисим взял за руку Акима, и они вышли из трактира.

– Теперь пойдём, внучок, на ярмарку, петли к дверям посмотрим.

– У меня есть пятачок, – сказал Аким.

– Пятачок? Богат ты, выберем и тебе что-нибудь, смотря по капиталу.

XIX

Как только сошёл снег, мужики потащились с длинным шестом обмеривать землю. В первый день всё шло мирно, толково. Померщик, хромой Демьян Пань-

ков, плут и бражник, записывал в тетрадку сажени, беспрерывно курил, хмурился и чмокал губами.

– Ну и земелька, добра, очень добра, делить мило такую.

Земля ничем, пожалуй, не отличалась от земли других деревень, а всё же мужикам были приятны похвалы померщика: хороший мужик, дело знает.

Паньков взялся делить, выговорив подёнщину два рубля на день, притом готовые харчи и водка. Оплата его шла за счёт малоземельных, – им прибыль в поле, им и расход.

Не успели ещё обмерить поле, явился Улейкин со старшиной и писарем. Потребовал отрубить ему отдельный участок, в общине он больше оставаться не желает. Мужики стали в тупик. Где отрубить землю, имеет ли он право получить Иванов и Маланьин участки?

Два дня спорили, торговались, старики ходили советоваться к попу, к уряднику.

Передел висел на волоске.

– Нашли с кем советоваться, чудаки, – сказала Мариша старикам. – Они пьют и едят у Ильи, что же они вам скажут.

Вечером она пошла к ближнему озерку, поохотиться на уток и на свободе подумать о земельных делах. Заняла на бережке чей-то шалаш, свой делать не захотелось, может быть, и не понадобится – уток не видно. Вечер свежий, долго не пролежишь.

Мягкий свет зари теплился на опушке леса, где-то сонно уркал косач, булькала вода в ручейках, а Марише всё ещё чудился шум, рёв мужичьих голосов. Покричат, пошумят и бросят передел. Нет, теперь, пожалуй, не бросят. Улейкин всем поперёк горла встал.

Пролетели две утки, потом стали слышны чьи-то торопливые шаги.

«Сгонят, надо уходить, свой шалаш делать».

Подошёл Улейкин, влез и лёг рядом с бабой.

– Что, змея, завела-таки передел?

Улейкин обдал её запахом вина, толкнул в плечо.

– Лежи, поговорить надо…

– Ладно, любо послушать.

– Оно так. Вот что, баба, по правде говоря, я бы тебя так и утопил в озере, до того ты мне очертенела, а с другой стороны, уж больно ты, холера, занятная. Мужики около тебя, что рябки, всем стадом, и все на меня. Водишь ты их. Смотри, не споткнись, вожак.

– Ты, видно, жалеешь, что мужики-рябки от тебя ушли. Ты водил их да ощипывал.

– А ты взялась на них перо-пух наводить? Ладно. Я ваш передел могу знаешь как повернуть – фига вам, малоземельным, и больше ничего.

– Это делать тебе расчёта нет. Ты ведь поместье думаешь завести, получше земельку подобрать, а если научишь земельных мужиков против общего согласия идти – сам останешься ни с чем, никакого тебе поместья не устроить.

– Ну и плевать. Я могу и в общине остаться, а то закреплю за собой все наделы, тем передел ваш собью.

– Врёшь, ты этим нас не испугаешь. Мы потребуем отделить нам половину полей – пахоту и сенокосы. Нас половина деревни, выделимся в особую.

– Ишь куда загнула, хлопот много будет, а ты лучше о деле скажи, – где мне землю дадите? Хочу поместье – это верно. Ну и хитра же ты, баба.

– А ты не хитёр, думаешь хлопотами нас испугать. Бери в заднем поле и устраивай свою усадьбу.

– Ты что, смеёшься? Хуже этого земли и нет… У-у, чёрт, утки… садятся…

Стадо уток облетело озерко и опустилось, зашулькало по воде.

– Сели, – шёпотом сказал Улейкин и выдвинул вперёд ружьё.

Мариша медлила.

– Ну, что ты…

– Далеко, пусть подплывут.

Оба подняли выше головы, разглядывая уток. Они плыли по светлой от зари полосе воды.

Мариша навела ружьё, медная мушка чуть видна. Выстрелили в одно время. Утки поднялись, закрякали. Улейкин вылез из шалаша, поехал на плотке взять убитых уток. Привёз, бросил на берег. Мариша стояла у шалаша, заряжала ружьё.

– Отделиться в особую вам не удастся, – опять заговорил Улейкин. – Нет, вы лучше дайте мне участок в паровом поле. Я вам за это Маланьину землю брошу, бог с вами, а Ивановой не отдам. – Указал на уток: – Бери, одна твоя.

Баба промолчала. Тогда он вынул из-за пазухи бутылку водки, затем полез в карман.

– Где-то чарочка была, надо с удачи выпить. Полезем, что ли, в шалаш. Мы ведь, пожалуй, и договорились, теперь мировую пить будем.

Мариша шагнула к утке, взяла её и, вскинув на плечо ружьё, обернулась к Улейкину:

– Землю тебе нарежем в заднем поле, будь доволен. – И пошла по дорожке к деревне.

– Экая ты змея, – простонал Улейкин и затрясся от злости… Потом тихо пробормотал: – Погоди, доберусь я до тебя.

После долгих споров пришлось Улейкину взять землю в заднем поле. Участок ему очень подходил, но было обидно отступаться от выбранного им самим участка. Дня три подряд ходил он по своему отрубу, прикидывая, соображая, как он устроит хозяйство. Участок примыкал к лесу, это-то больше всего радовало Улейкина. Можно рубить лес, расширять участок, будет и пахота, и сенокос, те же мужики ему сделают расчистку, денег хватит.

– Ладно, соседушки, ладно, – говорил он сам с собой. – Я вас запрягу в работу. Подожди… – Порой он прислушивался к крикам мужиков (они делили яровое поле), шёл ближе к ним, смотрел с любопытством на толпу.

Теперь он отделился от этих людей, у него усадьба. Пусть они спорят между собой из-за полос, из-за меж, а всё равно будут по-прежнему бедны, по-прежнему будут кланяться ему, Улейкину. Он медленно двигался по меже, курил и всё шире распахивал полушубок. Апрельское солнце сильно пригревало. Тихи, прозрачны были перелески, овеянные дыханием весны. Над полянами струился воздух, щекотал ноздри запах земли.

– Шумят, – ухмылялся Улейкин, разглядывая толпу. Иногда доносился спокойный голос Мариши, её, видимо, слушали, шум утихал.

Деревня после земельных расчётов с Улейкиным мирно начала передел, всякие другие дела были отложены. Теперь каждый думал о том, сколько ему достанется земли. Малоземельные мечтали о прибавках – новых полосах, пожнях. Они оживлённо, весело принимались за делёжку. Теперь конец бесхлебью и горьким думам о земле. Хозяйственные – были заняты мыслями об отдаче излишков, – как бы не выпустить из рук лучших полос, отдать что похуже да поменьше. Нельзя ли померщика подкупить стаканчиком водки, он легко может уменьшить убыток. Но как бы то ни было, а к переделу приступили все дружно.

Мариша радовалась, глядя на соседей: ни шуму, ни споров, как будто все думают только об одном – безобиднее и скорее разделить землю. Пошли разбивать поле.

Хозяйственные хотели держаться за свои любимые полосы, сбывали с рук мелкие полоски, поженки, отрезали концы полос с заполосками, с межами. Первый это начал Пазухин, он отказался отмерить соседу край полосы шириной с аршин, а отдавал низкий конец с заполоском. Никакие доводы не повлияли. Пазухин стоял на своём, бились с ним чуть не половину дня и бросили.

– Зачем бы дробить землю, швырять людям отбросы, – раздавались голоса, но отбросы всё прибывали. Скоро заподозрили померщика в плутнях и сделках. Началась перебранка. В конце концов так расшумелись, что нельзя было ничего понять, кто о чём кричит, стоял сплошной рёв. Чуть не кончилось всё это дракой. Фрол полез с кулаками на Пазухина, за того заступился Филька. Пазухин только кричал своё:

– И миру-то, может, стоять год или два, а вы спорите, хлопочете. Одумались бы.

Померщика прогнали, потом взяли вновь, выпили мировую, говорили о безобидном дележе, но обид, споров, ругани каждый день было довольно. Мариша вечером приходила с поля усталая, раздражённая.

– Фу, вот путаники, – говорила она осипшим голосом про мужиков.

– Зачем они ругаются? – спрашивал Акимка.

– Ладно, вырастешь большой – увидишь. Каждый норовит получить больше других.

– Кто же больше получит?

– Понятно, те, у кого было богатое хозяйство. У них останется всё самолучшее. И нам кое-какая прибыль выйдет.

– А я сегодня на гармонии играл, – похвастал однажды Акимка. – Митьке своему Улейкин гармонь купил – с серебряными мехами. Вот бы мне. Ах!

– Заработаешь, тогда купим.

– Отчего Митька не зарабатывает, а у него всё есть?

– Молчи, – строго сказала Мариша. – Отчего, отчего? Мы не капиталом живём, а работой, где же нам за Улейкиным гнаться...

XX

Рассказывал Пазухин, будто бы у Ильёва ручья он видел рысь, там же проходили лоси.

До Ильёва вёрст девять от деревни, место глухое, казённый нетронутый лес.

Пришла Мариша к ручью ещё задолго до полудня, постояла, ворча на свою доверчивость, вероятно, ни лосей, ни рыси она не найдёт здесь. А лес какой, лес! Любовалась она на высокие ровные сосны. Ей нужно бы брёвен двадцать на ремонт построек. Зимой она с отцом успела вывезти десяток брёвен. Их надо было распилить на тёс и потом починить кое-где крышу на избе, но не справилась с этим и оставила брёвна на ремонт хлевов.

Думая о своих расходах, она тихо шла по траве, порой останавливалась, зорко оглядывая деревья. Вдруг её удивил стук топора. Кому пришла надобность рубить дерево в казённом лесу? Может быть, сторожа чистят просеку? Вскоре она заметила мужика с топором. Мужик тоже заметил её и тотчас куда-то скрылся, точно его совсем и не было. Это ещё больше удивило Маришу. Что это за мужик, что он тут делает? Ведь это как раз то место, где Пазухин видел рысь, по-видимому, он ещё кому-то сказал про зверя. Но зачем понадобилось рубить дерево?

Она остановилась, разглядывая сделанный топором на дереве широкий щап.

– Стой, стой, – услышала она строгий голос. – Ты это рубила?

К ней быстро подходил лесной сторож – чернобородый, сутулый мужик с ружьём за плечом, сзади шёл второй сторож с верёвкой в руке и, что-то ворча, сердито глядел на Маришу.

Она знала, что сторожа эти получают хорошие деньги с лесопромышленников, они не позволяли промышлять охотникам в казённых лесах, обвиняя их в поджогах и порубках. Те, не желая считаться ни с какими правилами, запретами, называли сторожей собаками, при случае гонялись за ними с кольями, иногда и били, зато и сторожа не оставались в долгу. Попадался им в руки охотник-одиночка – разделывались с ним жестоко. Маришу они всегда щадили, но в этот раз совсем неожиданно набросились на неё, скрутили руки, потом стали привязывать её к дереву, оба свирепо кричали:

– Ты рубить, рубить казённый лес! Мы тебя поучим, вот постой тут, потрись спиной о дерево.

Отчаявшись вырваться, Мариша сделала попытку образумить сторожей.

– Вы с ума сошли, мужики, вы видели, что я рубила? Бросьте шутить, а то будет вам такая шутка…

Привязать её к дереву неизвестно за что казалось до того диким, невероятным, что она принимала это за шутку и ждала – вот-вот сторожа рассмеются и освободят её. Между тем они, привязав её, быстро ушли. Вскоре затихли их шаги, только ветер донёс обрывок какого-то неясного короткого разговора. Сторожа были люди молчаливые, тяжёлые.

На пороге Ильёвской лесной избы сидел, выгнув спину, Улейкин, он курил, разглядывая свои высокие болотные сапоги, лениво постукивая пальцами по коробке с папиросами, потом мельком исподлобья взглянул на подошедших сторожей и спросил:

– Вышло что али нет?

– Вышло, Илья Ерофеич, – ответил чернобородый, – гладко вышло, взяли, точно тетёру на яйцах. Всё устроили.

Улейкин выпрямился, засунул руку в ворот рядовки и вытащил из-за пазухи бутылку водки («Тёплая, но ничего, слопают», – подумал он).

– Вот вам угощенье, пейте и марш отсюда. А где ещё третий?

– Придёт, не потеряется, – ответил чернобородый, – он прислушался, высоко задрав голову, и затем с довольным видом кивнул в ту сторону, откуда они только что пришли.

– Не кричит, и то ладно.

– Не такая, чтоб кричать, скорей уйдёт, растянет верёвки, – заметил Улейкин. – Каково вы её привязали?

– Будь спокоен, не уйдёт, как прикована.

– Так, так, вы почаще ловите таким манером охотников. Это самый вредный народ, сколько лесу перепортили. Белку берут часто не ружьём, а топором, – затаился зверь в верхушке, и начнут рубить дерево, будь оно хоть самое лучшее-разлучшее, золото губят.

– А всё-таки жалко бабу, – сказал чернобородый, – да и охотники озлобятся.

Улейкину казалось, что сторож говорит так с целью больше получить с него. Водку спрятали в мешок, видимо, не хотят пить здесь. Ну и пусть. Илья лениво потянулся, закидывая за голову руки, и спросил:

– Уходите? Счастливо. А вы знаете, какая это баба? Выпил я от неё яду немало, а вы молите Бога, что легко взяли её, и помалкивайте. Я всё улажу и награжу вас, улажу всё, не бойтесь.

– Ладно, будем надеяться, в гости придём. – Чернобородый посмотрел на дождливое небо, закидывая за плечо ружьё. – До дождя бы уйти к Каликиной избе. Бывай здоров, Илья Ерофеич.

Сторожа тронулись от избы по тропе через густой малинник.

Как только они скрылись, Улейкин вскочил, бормоча про себя.

– Не ушла бы «куница». Надо поторопиться.

Он потуже затянул себя ремнём, схватил прислонённую к стене винтовку, но прежде чем уйти, заглянул в избу, представляя, как он приведёт сюда Маришу. Будет ли здесь им хорошо? Воображение рисовало картины заманчивее одна другой. Вдруг кто-то ударил его по спине тяжёлой рукой.

– Кой чёрт!..

Улейкин сердито обернулся и обмер от неожиданности, чуть ружьё из рук не выронил. Перед ним стоял Терентий и, казалось, хитро, подозрительно смотрел на него. Глаза усталые, видимо, он много ходил сегодня.

– Кой чёрт, – повторил Улейкин раздражённо, – хребет мне переломил, нехристь. В казённый лес всё прёте.

Терентий молча сел на обрубок бревна и стал доставать из кармана серой широкой рядовки кисет с табаком. Улейкину хотелось поскорее от него избавиться, куда-нибудь услать, но смущало молчание охотника, точно он что-то знал.

– Казённый лес… – сказал Терентий, – ты говоришь, как будто бы лес этот твой, чтобы, кроме тебя, никто и ходить здесь не смел. Видимо, на откуп леса взял у казны, сторожа – твои слуги.

– Разве удержишь вас? – проворчал Улейкин. Он, сморщив лицо, чесал висок, придумывая, куда бы послать Плиткина. Наконец придумал.

– Слышь-ко, Кунья смерть, охотничек, по ручью в низине-то твои сенокосы – два зарода?

– Мои.

– Так вот доложу тебе, на один зарод лесина упала, сходи-ка, посмотри.

– Лесина? – удивился Терентий. Он только что проходил мимо своих зародов, никакой упавшей лесины не видал.

– Ладно, посмотрим, – сказал он, заинтересованный выдумкой Улейкина. – Большая лесина-то?

– Большущая, вершиной упала.

– Так, так, а ты куда-то будто спешишь, путик, ловушки, что ли, не осмотрел?

– Верно, не всё осмотрено. – Улейкин вскинул за плечо двустволку и указал на тропу: – Я туда. Прощай-ко.

Уходя, подумал: «Пусть прогуляется, не всё ли равно, куда ему идти».

Терентий усталым, угрюмым взглядом проводил Улейкина, затем тихонько пошёл по его следам.

Мариша выбилась из сил. Платок сполз с головы. Волосы растрепались. Длинные густые пряди свисали чуть не до колен, и время от времени она мотала головой, норовя откинуть волосы с пылающего лица, они льнули к лицу, щекотали кожу. Кричать, звать на помощь было противно. В конце концов, она сумеет освободиться, верёвка постепенно ослабевала.

В лесу было тихо. Только где-то далеко, должно быть у болота, кричала желна, да здесь под ногами скулила Кукла.

Вдруг шаги, треск валежника, затем удивлённый голос Улейкина:

– Батюшки, ведь Мариша! Да что с тобой, какие мошенники!..

Он быстро перерезал ножом верёвку.

Мариша, вздохнув, опустилась на землю и минуту сидела неподвижно, с закрытыми глазами.

– Пойдём в избу, – сказал Улейкин, – там отдохнёшь, а здесь, того гляди, дождь чехнёт. Ну, приди, приди в чувство-то. Я подожду. – Он лёг к её ногам и говорил, качая головой: – Ай, ай, какая подлость, какая подлость! И за что, спрашивается?

Он выведал, кто её привязал к дереву, поругал сторожей, обещал проучить их при первой встрече. Без умолку говоря, он раздувал ноздри прямого носа, тянулся ближе к Марише, гладил её ноги, вздыхал и настойчиво торопил идти к избе.

– Пойдём же, ну, и забудем всё, что было прежде, много хочу сказать тебе. Вот, как перед Богом каюсь, делал я тебе худо, теперь замолить хочу, душа размякла. Все люди для меня ничто, никого не люблю, не уважаю. Только тебя… ты могла бы, знаешь… я бы тебя стал слушаться во всём, кто знает, не будет ли нам обоим счастье… – Он даже покраснел, выкрикивая последние слова, и потряс пушистой бородой: – Ей-богу же, ну…

Мариша убирала волосы, с любопытством посматривая на Улейкина, и, казалось ей, хорошела от его слов, всё в нём сегодня подкупало её, хотелось верить ему, но в душе оставался холодок неприязни.

– Слушаться будешь… Ты чего-то много наговорил, и то и сё, но где ж синице быть в дружбе с кречетом.

– А я тебя сделаю павой, брось-ка… – Улейкин прислушался. – Идёт, что ли, кто… – И не успел он договорить, как прогремел выстрел, дробь зашуршала по стволу сосны, у которой стояло ружьё Улейкина. Улейкин вскочил, озираясь. Прямо на него шёл Терентий с дымящимся ружьём, шёл, мрачно выдвинув вперёд голову.

Улейкин не выдержал его горящего взгляда, отступил к своей двустволке и затем скрылся в лесу. Терентий остановился, ударил прикладом о дерево и, бросив сломанное ружьё, он пошёл по тропе в сторону Ильёвской избы.

Мариша, вскочив на ноги, крикнула:

– Терентий, вернись! Слышишь! Вот упрямый…

Она прислонилась плечом к стволу сосны и с горькой досадой на лице следила за Терентием. Он не вернулся, вскоре исчез за деревьями.

XXI

К крыльцу Терентия подъехал Шипунов в низком дребезжащем тарантасе, в котором он всегда ездил, высоко задрав голову и что-то напевая, точно езда в этом уроде доставляла ему огромное удовольствие.

Привязав к столбу лошадь, он стряхнул с выгоревшего летнего пальто приставшие клочки сена и бойко стал подниматься на крыльцо, пробуя крепость перил и дивясь ширине ступеней.

– Ишь, бобыль, из лиственницы сделал крылечко, долголетнее, и не пошатнёшь.

Войдя в избу, он увидел Терентия, занятого набивкой косачиных чучел, и прежде чем говорить о деле, начал расхваливать крыльцо, потом полюбовался на чучела, назвав Терентия большим рукомесленником. Он всегда говорил только приятное людям, потому и преуспевал в жизни.

Терентий знал: старик заехал купить у него оленьи и лосиные шкуры. Дешёвый покупатель, продавать ему не хотелось, но под влиянием похвал он решил уступить пяток шкур.

– Ну что же, как видно, прекрасно живёшь, – продолжал Шипунов и лукаво подмигнул, – а я тебе хочу невесту предложить, прямо радость в руки возьмёшь, ежели женишься.

Терентий вспомнил, что было вчера у Ильёва ручья, и хмуро сказал:

– Знаем мы эти радости. Какая невеста?

– А-а, всё-таки любопытствуешь, уж я знаю тебя, хитреца. Ну, давай по рукам, кстати, шкуры куплю, а невеста – клад.

– Да что ты.

– Правда, родную сестру Олёну хочу за тебя отдать. Приданое у ней не бедное, конечно, в годах девка, передённая, но зато рукомесленная, хозяйственная, одних рукавиц и чулок у ней пар шестьдесят запасено.

Терентий взглянул на полати, где виднелась коротко стриженная голова спавшего человека, и позвал:

– Костя, ты спишь?

– Кто это? – спросил Шипунов.

– Это мой двоюродник Костя, он не так давно пришёл со службы. Ну, как бы тебе сказать, служил года три матросом, а потом года четыре в тюрьме сидел, исхудал, одна тень осталась.

Костя слез с полатей; накинув на плечи матросский бушлат, он сел на боковую лавку к окну и добродушно улыбнулся.

– Хорошо отдохнулось; говорят, что дома и стены помогают.

– Костя, – сказал Терентий, – невесту предлагают, женись, приданое хорошее. Ты намялся в эти годы, наплавался, теперь на якорь встань.

– За что сидел? – спросил Шипунов, подозрительно разглядывая матроса. – Ты не из тех ли, не с теми ли был, что царство шатали, царя и господ спихнуть думали.

– Из тех, из тех, теперь я сюда под надзор полиции выслан.

– Так, так, это ладно, а я ещё тебе посоветую к попу сходить.

– Чего мне у попа делать?

– Как чего, тебе надо покаяться.

– В чём мне каяться? Для меня попы не существуют.

– А ты в Бога-то веруешь? – И Шипунов всё строже, презрительнее глядел на Костю. – Наверно, не веруешь.

– Стойте, я вас рассужу сейчас, – поднял руку Терентий. – Ты, Шипунов, слушай. Если Костя верует в Бога, тогда ты сестру свою отдаёшь за него замуж и земли дай в приданое, он парень хороший.

Старик поднялся с лавки и погрозил Плиткину.

– Довольно, парень, шутить. Моя сестра богомольная и работница. Из-за тканья под руки выводим, вот как работает. Ей надо жениха примерного, а то что... парень гол как сокол и ни во что не верует. В работники такого не возьму.

– Я к тебе и не пойду, – сказал Костя.

– И не возьму, – повторил Шипунов и вышел из избы, хлопнув дверью.

Терентий стал набивать трубку, смеялся.

– Удрал и про шкуры позабыл. – Помолчав, Терентий продолжал: – А тебе, Костя, надо промыслом заняться или хозяйством обзавестись, место приискать бы, земли тебе общественной нигде не дадут, надо свою добывать, расчистку в лесу делать.

Терентий прислушался, затем посмотрел в окно. Мимо с грохотом промчалась пара ямских, ехал становой пристав, за ним гнался Шипунов в своём дребезжащем тарантасе.

– Э-ге, начальство твоё, Костя, едет, сейчас, наверно, потребует тебя.

Действительно, вскоре пришёл урядник и увёл Костю к становому.

Терентию хотелось пойти с Костей, не было бы ему какой обиды. Впрочем, что ему может быть, – ссыльный и ссыльный.

Оставшись один, Терентий стал думать всё о том же, о чём думал весь день. Порой окидывал взглядом стену, где висели на оленьих рогах ружья, пороховницы и самострел. «Дурак, дурак, – ругал он себя, – бешеный». Может быть, Мариша ни в чём не виновата, может быть, совсем не так, как ему показалось.

Он вздыхал, поднимал плечи, вздрагивал, вспоминая свой поступок. Да нет, всё ясно, он обманут, – значит кончено, кончено. Он двадцать раз говорил себе это «кончено», но, как только доходил до него, тотчас снова обдумывал это решение, начинал вспоминать свои встречи с Маришей, и чем живее, ярче он это представлял, тем больше, мучительнее волновал его вчерашний случай. Вдруг в избу вошла Мариша. Прежде всего Терентия поразило утомлённое, грустное выражение лица; казалось, ничего радостного не несёт оно ему. У Терентия сжалось сердце, как перед разлукой. Между тем Мариша просто, даже с добротой в голосе сказала, кладя на лавку свёрток.

– Ружьё твоё принесла. – И, видя, что он, насупясь, молчит, спросила: – Или не надо было приносить?

– Не стоило бы.

– И верно, не стоило бы.

Мариша круто повернула к двери, намереваясь уйти.

– Постой, – кинулся к ней Терентий, – что ты хотела мне сказать в лесу?

– Хотела сказать... тогда не слушал, теперь не скажу.

– Ну, дело твоё.

Мариша с покрасневшим, злым лицом вышла из избы.

Терентий догнал её на крыльце, взял за руку, упрашивая вернуться:

– Не обижайся, вернись, право.

– Нет, нет, не пойду, не могу.

Она ушла.

Терентий, сгорбясь, уныло смотрел ей вслед, потом взял себя за голову и, уходя в избу, бормотал:

– Зачем я так с ней обошёлся, дурак, дурак, а всё злость, злость.

Торопливо надел пиджак, фуражку, выбежал на улицу, но ни на деревне, ни на дороге за деревней он не увидал Мариши. Куда она ушла – было для него загадкой.

Вошёл Щербаков во всей охотничьей справе – в рядовке, с ружьём и мешком за плечами.

– Терентий, ты справляешься в лес? – спросил он, останавливаясь посреди избы.

– Зачем же?

– Как зачем? Сторожей проучить.

– Почему, за что?

– За что… разве ты не знаешь? Вчера они Маришу у Ильёва к лесине привязали, хорошо, Улейкин подвернулся, а то бы…

– Что ты говоришь, да так ли, парень? – И Терентий, покраснев до ушей, стал молотить по столу кулаком: – Это, чёрт возьми, новость, а я-то дурак, дурак.

– Так, так, жолвак им в рот! – кричал Щербаков. – Какие-то поганые сторожишки проходу порядочным людям не дают. Мир не берёт, ладно, мы им покажем чертей в болоте.

Накричавшись, он подсел к Плиткину и вздохнул, доставая табак.

– Ну, закурим, что ли? Ты вот скажи, отчего людям тесно жить на свете?

Вошёл медвежатник Леймаков, дымя трубкой и поглядывая из-под косматых бровей на охотников.

– Сторожа-то сами сюда идут с повинной, – сказал он, кивая головой на окна, – скоро, наверно, явятся.

– Ну, это ладно, – обрадовался Щербаков, – мы за них примемся так примемся. А вот что, Терёша, поставь-ка самовар, или давай я поставлю, чайку хочется.

– Ты что… известный чаёвник, – усмехнулся Леймаков, – и в лесу на каждой версте чайник кипятишь.

– Не чайник, а котелок, – поправил Щербаков, – вытряхивая из самовара на шесток угли. – Один раз кипячу это я котелок, у родников это было, пищик в рот взял, посвистываю, рябков подманиваю; слышу – откликаются, один, другой. Этакое весёлое коленце завивают напоследок. Ладно, я тоже коленце повеселее беру. Вдруг ряб камнем пал на ближнюю ель. Ружьё у меня в руках, поднял, выпалил, и рябок свалился прямо в котелок. Вот как охотятся. – И Щербаков горделиво посмотрел на хозяина, но тот его не слушал, погружённый в свои думы.

XXII

Бабка Агафья жаловалась на нездоровье, ходила в избе сгорбясь, одетая в шубу, поминутно охала, всё у ней валилось из рук, но дел домашних не оставляла, порой плакала, вспоминая какие-то нехорошие сны, и говорила о своей смерти. Аким жалел бабку, утешал, как мог, и всё думалось спросить, что она ему откажет, умирая. Больше всего он хотел получить серебряный пятачок, который бабка берегла много лет в своём зелёном сундучке и уверяла, что этот пятачок ей дороже всяких денег, он у ней для счастья.

– Для какого же счастья? – недоумевал Аким.

– А для такого, – неохотно отвечала бабка, – мало ли что стережёт человека, скажем, поедешь куда, ну и возьмёшь его с собой, он те всё худое отведёт, одно хорошее останется.

Аким часто думал о чудесном пятачке, и, казалось, оттого, что он есть у бабки, с ним богаче и веселее в доме.

Но вот однажды Аким исчез из дому. С ним исчез и пятачок из зелёного бабкина сундучка.

В этот год Аким считал себя уже достаточно выросшим, чтобы начать делать самостоятельно то, что ему хотелось делать и чего ни мать, ни дед, и никто другой ему бы не сделал. В этом году он ездил с дедом далеко от дому – вёрст за сорок, в хлебные деревни, где дед торговал своими изделиями – веретёнами, вёдрами, шайками, туесами, но больше распивал в небогатых избах чай, водку и рассказывал сказки. Любителей водки и сказок деда всегда было довольно. Домой вернулись с одной трёшницей, но и то дед не жаловался – случалось и хуже.

Поездка с дедом дала Акиму много любопытного, он больше деда ко всему приглядывался, прислушивался, как люди живут, о чём говорят, точно так же, как и в своей деревне, но здесь он помнил запах каждой избы, каждых сеней, знал поступь, повадки каждого соседа. Любил смотреть, как они работают. За работой мужик, на каком бы он счету ни был в деревне, казался Акиму достойным всяческого почтения. Любая работа, выполняемая обыкновенно мужиками просто, умело, без особенных усилий, делала их в глазах Акима лучше, добрее, веселее, смотреть на них никогда не наскучит. Больше всего занимали его ремёсла, но за последний год потянуло и к полевым работам, к посевам, к огородам, к посадке ягодных кустов, маленьких лесинок. Весной клал в росты семена, подражая большим, с этого и началось.

Мать, а также соседи в своих избах ставили на освещённое весенним солнцем окошко корытце, покрытое сверху мокрой тряпкой. Через день заглядывали под неё с таким любопытством, будто под тряпкой в корытце происходит нечто чудесное. Потом ещё через день снимали тряпку, и тогда Акима глубоко трогала радость, сияние на лицах матери, бабки, соседей, все смотрели на густую светло-зелёную поросль, покрывшую землю в корытце.

– Ну и жито, славное жито, – хвалили все.

– Подай урожай.

– А нынче гуси высоко летят – жито будет высокое.

– Это ещё не всё, если гусь не кричит много, то к урожаю, так и утка.

Спустя недели две Аким заметил и дома, и на деревне приготовления к пашне, старики толковали о приметах.

– Снег стаял дружно, вода дружная – сей, не зевай.

– Серёжка у берёзы лопаться начинает – пора сеять.

– А как воздух-то благополучный, ежели восток и запад дует – то хорошо, и тихо – ещё лучше.

– Земля проветрилась, прогрелась, ишь, воздух над пашней струями текёт.

И все, как по сговору, начали бороньбу, жгли навозные кучи, поля заволокло душистым дымом. Через день сев был в разгаре. Аким боронил на дедовом рыжем толстом коне, помогая матери и Домке разрывать на полосе навоз, помогала и бабка. Мать торопилась пахать, чтоб навоз не выветрел и не высох на солнце. Легко, глубоко врезались в землю светлые ральники сохи, и ровные чуть лоснящиеся ноздреватые ряды пашни подбирали под себя дымящийся ещё навоз.

Весь народ в поле. Все работают с каким-то особенным увлечением, даже с жадностью, это заметно на каждом лице – потном и весёлом. Порой мужики курили, перекидываясь замечаниями:

– Божьих коровок много – это к добру.

– Верно, и жуков майских порядочно, – тоже хорошо.

– Хорошо-то хорошо, а ты на кукушку гляди, – кричал старик Куропоть, – закуковала кукушка на голый лес – быть голодному году. Я помню, в шестьдесят восьмом году этак было.

– А нынче не приметили, а помнится по озимым ладная примета, – паутина на пашне была перед севом.

Такие приметы радовали народ, только Пазухин говорил всем наперекор. Он злился на передел, на всю деревню, заставившую его отдать лишнюю землю, и предвещал голод.

– Рыба больно хорошо ловится – это к бесхлебью, вон и куры рано ложатся, а лягушечью икру видали? Замёрзла икра-то нынче – тоже к бесхлебью.

– Врёшь ты, – возразил Андрей Тугунов, – где икра замёрзла? А ты погляди, как комар вьётся, и крупный комар нынче – это к хорошему году.

– А жаворонок-то, смотри, – указал Фрол. Все посмотрели вверх на жаворонка. – Ишь, помогает сеять, радуется тоже.

Аким слушал разговоры, почтительно оглядывая мужиков, так уверенно рассуждающих о тайнах природы.

Он любовался на пашню, на толкунцов (мошкару) над лошадьми, завидовал подросткам, которые пробовали пахать, беря соху из рук отцов.

Акиму тоже захотелось попахать.

– Куда тебе, не удержать, – сказала мать.

Но он настоял на своём, взялся за ручки болозна и прошёл шагов десять за

сохой по сырому, холодному дну борозды. Сильная рука матери, шедшей рядом, помогала править сохой, но Акиму показалось, что пахать просто, легко, только холодом тянет по босым ногам. Потом он смотрел, как мать сеяла, как сеяли соседи. Идти с сетевом по мягкой, свежей пашне, рассевать зерно, видимо, никому не было в тягость. Скорее даже можно было заметить чувство любования на лицах сеющих мужиков и какую-то особенную бодрость во всех движениях.

Через дорогу на широкой полосе сеял Куропоть. Он не позволял Фролу без него начинать сев, всегда сам засевал первую полосу. Фрол из уважения к старику уступал.

Сеял Куропоть тихо, спокойно и ещё легко для своего возраста. Развевалась белая борода, сияла широкая лысина, старик точно молодел в поле. Мужики, оставив работу, смотрели на него с таким же почтением, как Аким смотрел на старших. Старик древний. Молодость его теряется где-то в далёких уже временах. Теперешние мирские дела волнуют его меньше, чем воспоминание о неурожае восемьдесят лет тому назад. Но вот выйдет сеять первую полосу (точно просыпается в старике весной трудовой дух) – невольно заглядишься на него и ждёшь чего-то.

– Вон как идёт старик, – любовалась Мариша, – ай, старик!

Куропоть был доволен. Кончив сеять, он припал лицом к пашне, потом, кряхтя, тряхнул головой.

– Ох, и дух крепкий, здоровенный, к урожаю.

Мариша вернулась с охоты и, встревоженная отсутствием Акима, послала Домку узнать, нет ли его у деда Анисима.

Тут пришёл Фрол с жалобой:

– Твой Акимка сущее наказание, – сказал он огорчённо, – сманил куда-то моего Гришку. Гармонику выкрали у Митьки Улейкина и ушли неведомо куда. Теперь с Улейкиным не разделаться шутя.

Мариша спокойно, как всегда, повесила на спицу ружьё и приправу, сняла рядовку, вымылась и только тогда заговорила о ребятах.

– Я думала, что-нибудь похуже сучилось, – испугалась, а теперь ясно, что они тешатся с гармоньей, далеко не уйдут. Всё же надо поразведать.

– Ещё новость, – вспомнил Фрол, – Костю переводят в другую волость, приходил прощаться. Жалко парня. Тихон жалеет, он хотел Костю в дом взять, дочь выдать за него. Теперь девка в слезах.

Помолчав, Фрол заговорил опять:

– Ты слышала, Улейкин завод кожевенный основал, мастера выписал, людей много работает.

– Слышала я. А нам бы надо поберечь заполечные земли, взяться бы за них, пока Улейкин не захватил. Вот Костя бы здесь пригодился.

– Да как возьмёшься, – проворчал Фрол, – все устали от делёжки, израсходовались. Улейкин манит к себе работать. Нет, нынче не взяться за дело. Подождём.

– Долго ли ждать-то?

– До весны.

– Весной всё не поднимешь, да, может быть, до весны подберут земли другие.

– Не подберут, чего беспокоиться.

– Не ручайся.

– А как быть с воришками? – спросил Фрол.

– Как быть… завтра пошлю батюшку разыскивать. Воришки рано жить начинают.

Между тем Аким вовсе не считал себя воришкой. Всё взято на время, не больше как на неделю, на две. Правда, взято самовольно, но никакого воровства в этом нет. В один прекрасный день бабка и Митька Улейкин получат своё. Меньше всего Аким беспокоился за бабку, чего ей горевать о пятачке, сама и расхвасталась о счастье. Аким не очень-то и верил в счастливость монеты, взял её лишь на всякий случай. Вроде как бы испытать. Вот Митька Улейкин куда опаснее бабки. Разыскивать пойдёт или умолит отца на поиски. Быть Акиму битым за гармонику. Впрочем, об этом почти не думалось. Пусть там после будет что угодно, пусть на горячую сковороду сажают, только бы успеть собрать, наиграть достаточно денег на покупку своей гармоники. Когда купит, то будет великий день, заиграет Аким, и весь мир обрадуется – вот какова гармоника.

– Мы с тобой, знаешь, вроде калик, – говорил Аким Гришке, – только ты лучше подпевай под гармонь, иногда и спляснёшь, больше подадут.

Гришка пошёл с Акимом, увлечённый его рассказами о больших деревнях. Притом и заработок, доходы пополам. Дома семья большая, ждёт нового хлеба, кое-как перебивается на долгах.

В первый день дело шло неважно. В деревнях народ на работе. В избах и на улице лишь старые да малолетки. Платили старухи за игру и за песни кусками хлеба, денег никто не давал. Хлеб вечером продали по копейке за фунт, всего двадцать фунтов. Аким приуныл. Что-то ещё завтра будет, завтра воскресенье, народ отдыхает и больше расположен слушать калик, но как бы то ни было, а ожидания далеко не оправдываются, при таком заработке гармонику не скоро купишь. Притом и старухи ужасно надоедают расспросами: «Какие, чьи, откуда?» Аким всем неизменно отвечал, что они дальние, из-под города, их деревня нынче разорилась от передела.

В воскресенье утро началось нехорошо. Зашли в крайнюю избу большой деревни и только заиграли, запели, как выскочила из-за печи старуха с помелом и погнала калик вон.

– Ах вы, безбожники, – кричала она, грозя помелом, – в церкви служба идёт, ранняя обедня, а они беса тешить пришли, бесенята!

Гришка чуть не заплакал от такого приёма в первой избе.

– Значит, нам до полудня ждать надо, когда служба отойдёт. – И Аким увидел, что товарищ его от маленькой неудачи задумался о доме, на дорогу к дому глядит.

Акиму пришла в голову мысль играть и петь в это время до полудня не песни, а что-нибудь более подходящее. Стихов духовных они не знали, зато умели петь две-три молитвы, и если петь молитвы под гармонику, то этим можно здорово порадовать и удивить богомольных людей.

Сели за бани посовещаться. Потом сделали пробу. Аким живо подладился играть «Достойно есть яко воистину». Гришка одобрительно ухмыльнулся, вытер рукавом нос и сказал:

– Оно выходит подходяще.

– Выходит, ну и ладно, давай пойдём да начнём с богатых домов, – решил Аким, – богатые любят божественное.

Гришка согласился. Вскоре они зашли в большой новый дом с цветами на окнах. В избе и в сенях пахло чем-то вкусным, масляным. «Блины, кажется, ужо попотчуют за игру», – подумал Аким, разглядывая хозяев.

У стола стояла баба, снимая со сковороды дымящийся горячий блин. Толстый пожилой мужик в ситцевой рубахе уписывал блины, обливая их маслом и сметаной.

– А-а горяченького, давай, давай, Митревна, – мужик протянул руку к блину. – Я тебя всегда Митревной зову, а вон Шапкин старик свою Акулину постоянно змеёй кличет: «Эй ты, змея».

– Вот сравнил, – ответила баба, – Акулина не кормит старика блинами. – Она обернулась, удивлённо посмотрела на мальчиков, лицо бабы и руки были такие же красные, как её кумачовый передник.

– Уткудашны? – спросила она.

– Дальние, деревня разорилась, мы кормиться пошли. – И Аким, усевшись на лавку, тронул клавиши гармоники, косясь на Гришку. Тот запел, выставив вперёд грудь, вытянув по швам руки, стараясь придать своей грязной фигуре благонравный вид.

– Гармонисты, – промычал мужик, – это что такое, что за баловство?

Мужик, видимо, был набожный, ему показалась кощунством игра молитв на гармонике.

– Вы что это, – вскричал он, топнув ногой, – «Достойно» как плясовую играете! Марш из избы, лоботрясы!

– Да что ты, Степан, так выходит у них, – вступилась за мальчиков баба.

– Я им покажу «так выходит», насмешки! – не унимался мужик.

Мальчики поспешно оставили избу, баба догнала их на крыльце и сунула в руку Гришке кусок хлеба.

Аким был в большой досаде, надежда на праздник пропадала.

– Никак не уладишь людям, – говорил он, выходя на улицу, – подождём уж до полудня.

Аким оглянул окно с цветами, и вдруг чего-то стало жаль, скука забиралась в сердце. Уныло пошли по деревне, разглядывая избы, по виду их хотелось определить, где можно ожидать неплохого приёма.

– А, будь что будет! – Аким сел на низкий штабель досок под рябинами и старой черёмухой, по которой лазили мальчишки, обрывая последние кисти ягод, и заиграл развесёлую.

Вскоре собралась толпа парней, мальчишек, мужиков. Аким уже ел хлеб, держа на коленях гармонику. Гришке он отломил хлеба больше, чем оставил себе, – надо делить по-товарищески.

– Откуда такие рабки, нищие будто, а с гармонью.

– Мы не нищие, а хлеб берём, кормимся.

– За гармонь, что ли, кормись, хлеба не жалко.

– А вам чего играть-то, мы и поём, божественное можем и повеселее.

– Да жарь всё подряд.

– Нет, мы по избам пойдём.

– Зачем по избам?

– А хлеб-то как? Может, кто и денежку положит.

Толпа всё больше, всё веселее смеялась, а Аким всё сердитее, недоверчивее смотрел на людей, изредка потряхивая волосами.

«Обманут, – думалось ему, – и за божественное выругают старики».

– Мы вам хлеба нанесём, и копейки будут, играй.

Аким подчинился, он заиграл любимую песню Фрола «Вдоль да по речке...». Гришка хорошо её знал и, возбуждённый общим вниманием, пел недурно, и здесь с этой песней у мальчишек начался успех. За этот день они собрали больше вчерашнего в два раза, но до того утомились, что оба заснули, сидя на лавке в избе мужика, который купил у них заработанный хлеб.

На следующее утро двинулись дальше, ободрённые вчерашней удачей, к тому же впереди представлялись большие заработки. Шли к селу, где были богатые торговцы, жил лесничий. В селе и почта, и двухклассная школа. Учителя и учительницы – добрый народ, и лесничий, наверно, не поскупится за хорошую песню.

– Мы им позаунывнее споём, – сказал Гришка, – они любят такие, знаешь, долгие песни.

– Оно так, споём и долгую.

Весело разговаривая, приятели зашли в село. Аким взглянул на солнце.

– По солнцу ещё не время к богачам идти, давай с простых начнём, у кого самовар на столе в окошко видно.

Нашли избу с самоваром на столе. Хозяин оказался радушный, послушал гармонику, чаю по чашке налил. Только уселись за стол, в избу вошёл урядник Бычков.

– А-а, вот они где, гармонисты, далеко усвистали, изволь из-за них лошадь гонять, время терять. Что сидите как истуканы, пейте по чашке да поедем домой.

Аким бы подавлен, потрясён неожиданным появлением урядника, видимо посланного Улейкиным. Теперь вместо гармоники – насмешки, ругань, побои, и на лице мальчика видно было такое горе, что хозяин не выдержал и мрачно сказал уряднику:

– Ты бы, власть, не строжил ребят, что они сделали!

– Как что? Гармонь украли и пошли по деревням куролесить, разве это порядок?

– Украли?

– Ну да, чего за них заступаться, вишь…

– А мы не украли, – пролепетал Аким и вытер кулачком слезу, – мы поиграли бы и отдали, кому жаль…

– Ладно, нечего нюни распускать, будет, наигрались.

Вскоре урядник, усадив мальчиков в телегу, повёз домой.

Дома встретили Акима строго. Он поскорее сунул в руку бабке её пятачок, желая успокоить старуху. Мать взяла ремень, но что-то удержало её, села на лавку с ремнём в руке и спросила:

– Зачем тебе заниматься такими делами?

– На гармонь деньги достать хотел, мы бы достали, да урядник…

Мариша погрозила Акиму ремнем, побранила, однако в душе её было сочувствие к затее сына.

– Эх, гармонь. Погоди, вот заработаем. Делом займись, иди с бабкой картошку копать.

XXIII

Мариша простудилась на охоте поздней осенью, недели две никуда не выходила из дому. Потом снова ушла в лес. Закончила промысел по снегу.

По зимней дороге поехала на мельницу. Бабка заготовила зерна на добрый воз, она тихонько крестилась, провожая сноху. В нынешнем году у них больше хлеба, почти хватит до урожая.

Вечером Аким, возвратившись из школы, пошёл встречать мать. Дошёл до Пестуновки, мечтая всё о той же гармонике. Всё же путешествие его с Гришкой каликами по деревням не пропало даром: сорок копеек, заработанных тогда, теперь выросли до двух рублей – помогли этому мать, Терентий и дед. Ещё бы рубль как-нибудь сколотить до весенней ярмарки, а там и гармоника.

В Пестуновке мать он нашёл в доме Шипунова. Лошадь с возом стояла у крыльца хорошо привязанная, и старик позаботился вынести бурак сена. Видимо, хотел залучить к себе Маришу надолго. Она сидела у стола, скинув тулуп на лавку. Шипунов в малиновой шерстяной рубашке, обхватив руками графин с водкой, сидел наискось от гостьи за столом же и, чмокая губами, любуясь на неё, говорил:

– Ты выпей, Маришенька, с холода, выпей, от всей души потчую, и слушай, что тебе скажу, слушай, дело выгодное дам, заплачу нехудо.

– Говори, какое дело, только я не гонюсь за делами из чужих рук. Вон у меня своих хлопот сколько хочешь. Нужно лесу нарубить на крышу, хлева плохие. Нынче я справлюсь, хлеба почти хватит, кое-что ещё спромышляю под весну на мастеров-пильщиков, рублей десять, а то и больше пропилить придётся.

Мариша, уступая настойчивому потчеванью хозяина, отпила водки из стаканчика и продолжала:

– Думаю весь построй свой подновить, с землёй у нас ещё много дела, словом – не до твоих затей.

Шипунов как-то по-новому посмотрел на Маришу, его удивлял самоуверенный, даже немножко гордый тон её речи, она вела себя с ним как равная.

«Ишь ты, разжилась», – подумал он и сочувственно закивал головой.

– Верю, верю, похвально. А что вражья сила Улейкин делает, как он за землю сгрёбся, прямо страх, помещик – и только. Я, знаешь ли, хочу ему ножку подставить, поэтому я тебя и зазвал, знаю, что немирно с ним живёшь. Ещё знаю, как он подговорил сторожей к лесине тебя привязать. Я всё знаю и вперёд тебе приятство со мной советую не бросать.

«Завидует Улейкину, зло берёт», – подумала Мариша.

– Ты мне ненадолго бы и нужна – дело начать, а потом я людей найду.

– Какое дело, говори, может, я и возьмусь.

– Вот это по-приятельски. Значит, слушай. Я подумал урочище под брусничным занять, чтобы не пустить Улейкина, он, как слышно, подбирается туда. Ты там начни нынче же лес снимать. Я сейчас условие заготовлю, оговорим, что лес снимаешь на моём займище.

– Но ведь ты ещё не занял его, не брал бумагу.

– Нет ещё.

Мариша, пораздумав, сказала:

– Зачем условие, успеем это сделать, сегодня тебе ничего не скажу, вот подумаю, послезавтра дам ответ.

– Ладно, я заеду к тебе, главное – занять надо место, рубку начать, а бумага правленская – пустое дело.

Мариша рассеянно слушала, надевая тулуп.

– Ты уже ехать? Что так спешишь?

– Пора, пора, некогда праздновать.

– Значит, я послезавтра заеду к тебе, – крикнул ей вслед Шипунов.

Аким, забежав вперёд, отвязал лошадь, отставил в сторону бурак с сеном. Когда поехали, он спросил:

– Опять в лес работать от Шипунова?

– Нет, нынче не будем от старика брать работу, больше проработаешь, чем заработаешь.

Бабка уже давно согрела самовар. Аким, Домка сидели за столом, ждали мать – она зачем-то ушла на деревню. С полатей слезал Терентий, покашливая и ворча:

– Проклятая дорога выпала сегодня. Фу, кажется, отдохнул, так ли, бабушка Агафья?

– Так, так, с полудня спал, хватит тебе, – бабка загремела чайной посудой. – давайте пить, хозяйки нашей, видно, не дождёшься, приехала с мельницы и ушла.

– Народ-то где у вас – дома или на работах в лесу?

– Да кто где, половина народа, пожалуй, дома.

Вошла Мариша, быстро разделась и села к столу, заставляя двинуться Терентия в большой угол.

На лице её ещё были следы белой мельничной пыли.

– Беда на деревню надвигается, – заговорила она хмуро, – беда, а никто и в ус не дует, да и мужиков мало.

– Беда, туча, что такое? – спросил Терентий.

– Да видишь ли, Улейкин прокладывает широкую дорогу к заполечным землям, всё, что подходит ему, – забирает. И у Шипунова глаза горят, боится упустить хорошие места в лесу, хороших земель не так-то много. Я и ходила сейчас к соседям, говорила, что надо завтра же идти в лес и ограды поставить, а то мы останемся ни с чем, выхода никуда не будет, сожмут нас.

– Ну и что же, идут?

– Какое идут! Все говорят: половины народу нет дома, надо подождать, успеем, а, видимо, никому не хочется, авось, так обойдётся.

– Останется и вам земли.

– Боюсь, не останется.

Терентию стало уже скучно говорить о земле. Он протянул над столом руки и засмеялся.

– Вот счёты приготовил, давай считать, сколько тебе лесу надо. Вчера отличный лесок видел, пособлю рубить и возить.

Подсчитали, сколько нужно вывезти брёвен на крышу, сколько будет стоить распиловка. Мариша опять заговорила о планах Шипунова.

– Нет, никак нельзя отдать этому коростелю урочище, через десять лет деревня будет искать землю и не найдёт, не будет её вовсе вблизи. Ну и пусть на себя пеняют.

Её расстроило равнодушие соседей к тому, что она считала несчастьем. Теперь вспомнилась их обычная расчётливость в деревенских делах, боязнь переработать, сделать на грош больше другого в общем деле.

– Ну пусть на себя пеняют, крохоборы, – повторила она раздражённо, – не стоит и хлопотать. Что мне, больше других надо? – И на этом, казалось, Мариша успокоилась и больше уже не говорила о встревожившем её деле.

Терентий после чаю собрался домой в свою Завьяловку и, прощаясь с Маришей, спросил:

– Значит, ты махнула рукой на беду-то вашу?

– Махнула, ну их… так и решу.

Но утром она поднялась с другим решением.

Резкий, сердитый голос матери разбудил Акима, за окнами было ещё темно, шумел ветер.

– Чтобы отдать всё в руки Шипунова и Улейкина? – говорила Мариша, принимаясь точить бруском топор. – Нет, голубчики, не будет вам тут удачи, не пущу.

Деревня спит, двинуться не хочет. Ладно, я одна ограды поставлю, одна справлюсь. – Проговорив это, она вдруг растрогалась сама над собой. – Справлюсь, не постою за свои руки, – повторила она с воодушевлением, и горькое чувство обиды на соседей незаметно уступило место горделивой уверенности, что она настоит на своём, сделает всё одна.

– Ветер такой сегодня, худо работать, – осторожно сказала бабка, ставя в пылающую печь горшки и чугуны. Ей не нравилась горячность снохи, выдумала какую-то себе обузу неизвестно зачем.

«Батюшкин конь сегодня пригодится, ладно, что с Терентием не отослала вчера, – соображала Мариша. – Я рубить, Аким будет возить домой, что подойдёт, две версты всего от дому».

– Вставай, Аким, в лес сегодня.

Вскоре Аким точно так же, как мать, затянул себя ремнём, взял под лавкой маленький топорик и, засунув его за ремень, стал надевать мягкие, нагревшиеся в горячей печурке рукавички. Бабка проводила Маришу и Акима до крыльца с лучиной в руках и говорила обычное:

– Счастливо. Всё ли взяли, спички не забыли?

– Ладно, кажется всё взяли, – ответила Мариша, выходя из сеней на крыльцо и приглядываясь к улице. Пахло оттепелью, южный ветер приносил запах дыма из кузницы Панкрата, где, видимо, заготовляли уголь. На озере кто-то рубил лёд, и там же ржали лошади.

– Улейкин коней поит, – догадался Аким и посмотрел на потоки и крышу избы. Новые летом будут и потоки, и крыша, весной пильщики под окнами брёвна на тесины разделают, целый штабель тесины выйдет, всем деревенским на удивленье. Он сел рядом с матерью на дровни, уже думая о том, что завтра дед придёт доделывать санки, а Тихон обещал выкрасить их суриком.

– Постойте-ка, – тревожно крикнула с крыльца бабка, – подите сюда.

Мариша и Аким молча повернули к крыльцу.

– Что такое?

– Вернуться вам надо, – тихо и настоятельно посоветовала бабка, – у меня два раза помело из рук выпало, не к добру такое...

Мариша посмотрела на старое бабкино лицо, казалось, старуха ещё что-то знает, только приметы её не всегда верны, да и не на охоту собрались.

– Нет, уж мы поедем, – решила она, – мы сегодня ненадолго, места отопчем, обживём.

– Ну, как хочешь, – обидчиво отвернулась бабка и ушла в избу.

Акима не удивило бабкино проска765, но ему стало нехорошо оттого, что мать вдруг нахмурилась и совсем ни к чему ударила кнутом по лошади.

Без труда проложили по рыхлому, ещё неглубокому снегу дорогу к месту рубки. Шумел ветер, с лесин сыпался снег, его крутило внизу, слепило глаза.

Аким сделал из мелких ёлок загородку от ветра, развёл огонь. Порой с любопытством оглядывал лес и припоминал, как в прошлом году он и Гришка Фролов отважились зайти сюда за брусникой и всё боялись заблудиться. Лес казался угрюмым, бесконечным. Неужели теперь его вырубят, или останутся островки, да, наверно, останутся.

Вспомнил бабкин наказ: вырубить мутовку и наломать тонких сосновых веток на помело. Это вовсе не трудно, сосняк подходящий есть.

Пока Аким занимался этим делом, мать успела свалить десяток лесин, их очистили от сучьев, разрубили, наладили воз. Аким сел на воз, лошадь побрела по своим следам к дороге, которая была близко от места рубки.

Спустя час он вернулся, привёз из дому хлеб, рыбник и письмо от Артюшки.

Сели к огню читать письмо. Мариша повертела в руках синий конверт, улыбнулась задумчиво. Артюшкины каракули и почтовые штемпеля и марка умиляли её бесконечно.

– При мне Малиниха с почты принесла, – сказал Аким, отбирая от матери письмо, – давай я буду читать.

– А бабке ты не читал?

– Нет, она не хотела, чтобы я увозил письмо сюда, говорит – потеряешь, в свой сундучок забирала.

– Ну, ну читай.

Аким прочёл первую страницу, он её знал наизусть – это поклоны матери, бабке, деду и всей родне. «Живу я на прежнем месте, – писал далее Артюшка, – всё в том же галантерейном магазине на Перинной линии, близ Невского проспекта. Место весёлое».

Аким остановился, откинув назад голову, отмахивал рукой дым, протирал глаза.

– Видишь, ветер крутит как, вирает дым. Ну, дальше слушай.

«В магазине нашем есть такой товар: брюссельские кружева, таких вы в деревне никогда не видали. От хозяев обид больших нет, хозяйка строгая, скупая. Хозяин каждый вечер заставляет меня читать книгу “Тайны мадридского двора”, я читаю, а хозяин и хозяйка слушают, поправляют меня. Всё это для того, чтобы язык выработать, говорят, деревня в тебе сидит.

У хозяина старший сын вышел в офицеры, очень важный. Когда с батькой пойдут вместе в церковь, то батько идёт позади – этак шагов на тридцать, сыну совестно идти с простым человеком. К тому же и хозяин неказист с виду и одевается не очень чисто».

Аким поднял на мать глаза, спросил:

– Что это за «тайны двора»?

– Откуда мне знать, я только календари читала, дедушка их покупал на ярмарке. Письмо-то убери подальше, вечером ещё почитаем, хорошо писано, а теперь работать.

Аким выглянул из загородки.

– Уй, как вьёт!

– Нет, ветер как будто тише стал, да в лесу тепло, вон я в одном тоненьком плату.

Аким не возражал. Мать всегда хочет видеть всё лучше, чем есть на самом деле, не похоже, чтобы ветер стихал. Он стал блуждать, рванёт то с той, то с другой стороны, лесины вирает, как рожь на полосе.

В прошлом году Илья Кривой рубил сосну в бору, упал на голову сломленный ветром сук и чуть не убил мужика. Здесь мелкий сук у елей и гибкий, что ивняк, только сухие, лёгкие сучки падают, когда подрубленная ель затрещит, затем ломит, хрястает всё на пути к земле, густая снежная пыль долго крутится по лесу.

Акиму захотелось срубить самую высокую ель. Принялся, обрубил её кругом и бросил. Мать приготовила второй воз. Аким поехал.

– Я бабушке письмо отдам, – крикнул он, уезжая.

– Ладно, я здесь чайник скипячу.

Съездил Аким скорее, чем в первый раз. Лошадь поставил на место к сену, запорошённому снегом, и пошёл собирать хворост на костёр. Мать рубила как раз ту ель, которую он начал рубить и отступился.

– Уйди-ка подальше, – крикнула Мариша, – куда пойдёт дерево, ветер.

Вдруг ель дрогнула от порыва ветра, затрещала. Марише казалось, что ель гонит ветром как раз туда, где Аким. Она упёрлась руками в шершавый ствол, силясь перебороть ветер, кричала:

– Уходи, эй, Акимка, скорей!

Дерево трещало, ветер валил его. Мариша извивалась змеёй под деревом, подпирая его и плечом, и руками, и головой. Снежные хлопья обсыпали её сверху. Ногами она врылась глубоко в снег, но неожиданно ноги скользнули по какой-то глади. «Яма, лёд», – подумала Мариша, падая ничком под пень. Между тем дерево хряснуло наземь. Конец его упал на голову Марише.

Аким стоял далеко. Он видел, как мать боролась с деревом, потом почему-то упала и не встаёт.

Путаясь в ветвях и увязая в снегу, он подошёл к матери и обмер от страха. Она лежала, уткнувшись лицом в снег, как мёртвая. Правая её нога и половина спины были придавлены стволом ели.

Аким заревел, не зная, что делать, вспомнил о деревне, о мужиках, о бабке. Надо бы ехать за ними. Что он может один сделать, – дерева ему не сдвинуть. Вдруг ему показалось, что мать застонала. Этот признак жизни ободрил Акима. Он, размазывая по лицу слёзы, схватил кол, недавно обделанный Маришей, сообразил, как надо при помощи кола приподнять, подвинуть ствол ели. Долго мучился, пыхтел, наконец, вспомнил о лошади. Лучше всего подвести сюда лошадь и привязать к дровням верёвкой конец дерева. Лошадь двинет.

Пока Аким всё это делал, обливаясь слезами и потом, Мариша очнулась.

Аким робко тронул её за плечо:

– Мама, домой поедем, а то замёрзнешь, зашибло тебя. – Он увидел на её

запорошённом снегом платке пятна крови, опять тронул за плечо: – Смотри, до крови зашибло.

– Что?.. Зашибло... Где? – Она, казалось, не узнавала Акима и не могла ещё понять, что с нею произошло. Приподымаясь, бормотала непонятное. Наконец посмотрела на Акима мутным взглядом и провела рукой по своей голове.

– Всё ходит в глазах, домой.

Ползком добралась до дровней. Аким помог ей завернуться в тулуп и сел править лошадью.

Мариша, как в тумане, видела молодое лицо фельдшера Николая Ивановича, стоявшего у её изголовья, и никак не могла вспомнить, о чём хотела его спросить, о чём-то важном, а всё оттого, что шум и боль в голове.

– Ничего, только покой надо, – проговорил фельдшер ободряющим тоном, – завтра приду опять.

– Ну да, покой, – и Марише было досадно, что она не могла вспомнить, о чём хотела спросить фельдшера.

Он не спеша надел тулуп на чёрной овчине, взял со стола ящик с лекарствами, всё поглядывая на больную, и, посоветовав бабке наблюдать за ней, вышел к ожидавшей его подводе.

В избе пахло аптекой. Поминутно заходили соседи, говорили жалобные слова, вздыхали, уныло глядели на Маришу и в утешение рассказывали, какие несчастные случаи бывали в их жизни.

– Я, значит, стрелил из ружья, а казённик мне в лоб, так я и глаза лишился, – рассказывал Илья Кривой, – отец из этого ружья всю жизнь стрелял, и казённик не вылетал, а тут...

– А у меня было, – начал Тихон, – строили дом в Ручьевом...

– Это что, дом, а я с прясла свалился, и то...

Мариша слушала рассказы соседей, и думалось, они радуются сейчас тому, что здоровы, могут всё делать, а она вынуждена лежать. Ей надо рубить лес на крышу. Нет, совсем некогда болеть. Ей хотелось говорить только об этом, но говорить долго было тяжело, она недовольно замолкала. Порой всё окружающее её точно уплывало куда-то, голоса соседей жужжали всё дальше и дальше, потом вдруг ясно видела людей и предметы и вновь начинала говорить о своих заботах. Наконец всё это утомило её, она впала в тяжёлое забытьё. Соседи разошлись по домам. Аким заснул на полатях. Бабка спала на печи, оставив гореть ночник на воронце. За окнами по-прежнему шумел ветер, по улице прошли парни с песнями.

– У-у, кабы вас... – ворчала бабка, просыпаясь от голосов парней. Потом тревожно смотрела на Маришу, вспоминала молодое лицо фельдшера и тихо вздыхала.

– Молод больно, будто что и знает, где ему быть против Трифона Васильевича, тот фершал был старый, строгий. Тот бы скорее поправил. Вон бредит, кажись, мерещится что-то.

Опять пошли парни с песнями.

«Экое веселье пристало, знать, Улейкина сын именины справляет», – вспомнила бабка и вдруг испуганно перекрестилась.

Мариша в какой-то большой тревоге встала с постели и метнулась на середину избы, указывая рукой в угол.

– Там горит, там, народ бежит, выноси всё, всё. – Она схватила ушат с водой, подняла и тут же свалилась с ним на пол.

– Вот беда, вот беда, – растерянно говорила бабка, слезая с печи, – соседей позвать.

Она ушла звать соседей.

Проснулся Аким, он обвёл сонными глазами чёрный потолок, освещённый ночником, и заснул опять.

Когда он проснулся второй раз, было уже утро. В избе много деревенских, больше, чем вчера вечером. Бабы плакали, всхлипывая и причитая. Мужики хмуро молчали, среди них стоял Шипунов в новом дублёном тулупе и вытирал красным платком лицо и бороду.

Аким как потерянный смотрел на людей, стоявших у постели его матери.

– Вот что случилось, вот – качал головой Шипунов, – экая работница была, и вдруг... смерть взяла. Ребята остались, ну, как-нибудь, – Домку в няньки, Акимка уже в пастухи гож. Ничего, в миру прокормятся...

РОМАН

Книжники*

Книга первая

I

В сумрачных петербургских лавках антикваров и букинистов Балакин был своим человеком ещё года за два до первой революции. Покупал он тогда издания Новикова, равно брал и Бекетова, Сленина, Плюшара, Смирдина – словом, всё, что издано было в России с семидесятых годов восемнадцатого века до половины девятнадцатого. Он любил и потолковать о книгах, издателях и о том, почему пало печатное искусство в шестидесятых годах. Букинисты нередко обращались к нему за справками о старых изданиях и всегда их получали точно и немедленно. За это они охотно разыскивали или приберегали нужные ему книги. Участливо расспрашивали о его издательских делах, никогда не обижались, если он называл их алхимиками, пустосвятами, пыльной чудью. Выходило у него это отечески добросердечно. Было отеческое в его ещё молодой, складной фигуре, пышной бороде и всегда чуть прищуренных строгих глазах.

Присяжными его букинистами считались тароватый Лазурка, старик Николай Иванович и прижимистый Хапутин. В их лавках постоянно водились редкости, привлекавшие самых знатных собирателей. Тут часто происходили страстные бои за обладание редкими изданиями, азартные споры о возрождающемся искусстве книги и просто задушевные речи о неувядаемой красоте былого творчества. Знатоки держались того мнения, что за последние пятьдесят лет на книжном рынке преобладала разночинная, скучного вида книга. Букинисты с вожделением вспоминали старые времена – семидесятые, восьмидесятые годы. Немало было разорено тогда барских усадебных библиотек, а нынче букинисты говорили о своём разорении, лишь изредка отдаваясь шумной, оживлённой болтовне по поводу удачной покупки, сделанной кем-нибудь из «своих». К «своему» зависти не было, зато можно почернеть от злости, когда покупал богатые книжные собрания Фельтен, человек «чужой», вовсе не книжник, а ловкий спекулянт. Он скупал книги без всякого чувства уважения к ним, скупал, как дрова, но ни разу не случилось, чтобы он не нажился, перепродавая книги букинистам. Меньше других жаловался на упадок дел тароватый Лазурка. К нему со всей России приходили провинциальные ходебщики, принося часто сказочно редкие книги, рукописи и архивы. Этот букинист во всей чистоте сохранил торговые добродетели старых книжников, которым улыбалась судьба. Он не знал

* Печатается по: *Черноков М. В.* Книжники : роман. Кн. 1. Л., 1933.

больших цен, и в его складе всегда можно было встретить толпу собирателей-книголюбов.

У Лазурки Балакин познакомился с Картоновым, известным книговедом. Картонов не уступал Мазурину в знании редкой книги, а Мазурин мог поучить любого антиквара, только он был мелкий, малоизобретательный стяжатель, ловко умел вырвать лист из книги и тут же эту книгу покупал за бесценок. Картонов такое мелкое жульничество презирал: он и не вырывая страниц мог приобрести любую книгу, затрачивая на это очень мало или даже вовсе обходясь без денег. Так, он купил за бесценок у Лазурки каталог библиотеки братьев Покровских, составленный Чернышевским, купил кое-что из «потаённой литературы», изданной за границей, и прокламации «Народной воли». За всё это он выменял коллекцию французских гравюр, Мольера с рисунками Буше и прекраснейшее нюрнбергское издание поэмы Пфинцинга, украшенное рисунками Шауффелейна. Среди гравюр были офорты Калло, работы Морена, Меллана и Нантейля. Это стоило больших денег, но Картонов с умеренной восторженностью рассказывал Балакину об этой меновой сделке. Он легко мог бы миллионы нажить на русской безграмотности, если бы не презирал такую наживу.

Действительно, это было не хвастовство. Картонов всегда нуждался в деньгах и меньше всего о них думал.

Сидели в складе на стопках книг, держа в руках отобранные томики, разговаривали, не замечая страстной, порывистой суеты «прихожан»-букинистов. Они и сами много раз так же, как и эти «прихожане», прижимались к пачкам, к полкам, к только что распакованным ящикам, оттирали других, бросая им как откуп то, что просмотрено и забраковано.

Картонов как будто пренебрежительно смотрел на толпу собирателей, научившуюся кое-чему у Стопикова и Геннади, и говорил о ведомственных изданиях.

– Это прекрасный поучительный материал для исследования, но никто на него не смотрит. Книговеды занимаются пока пустяками, а ведь из-за этого гибнет столько прекрасных вещей. Вот и эта публика... она затопчет ногами жемчужину, гоняясь за зерном. Мне не забыть случай, когда я нашёл буквально под ногами «Карманную книжку для вольных каменщиков».

– Ах, это чудесно, – сказал Балакин. – Я не могу найти «Библиотеку для чтения».

Картонов подумал, разглядывая свои загрязнённые во время отборки книг пальцы.

– Хорошо, что вы собираете Новикова. Я, пожалуй, достану вам «Библиотеку для чтения».

Балакин влюблённо посмотрел на собирателя, готовый схватить его за руки. Ему нравилась спокойная, уверенная речь этого человека, его тощее лицо с узкой длинной бородой, надвинутая на лоб запылённая шляпа, коричневое пальто.

– Я запишу вас лучшим другом за эту услугу, притом мне кажется, я теперь благодаря вам буду ещё большим библиофилом.

– Издатель должен быть библиофилом.

– Верно сказано, только надо добавить: издатель больше всего должен интересоваться тем, что издаётся в нынешний день. – Он подумал о нынешнем дне: до сих пор успешно работают издательства лубочной книги, с которыми он начал конкурировать, и сердито продолжал: – Вы знаете, что деревенские и городские базары завалены лубком, бульварщиной, подлой шарлатанской книгой?.. Всё это надо вытеснить.

– Это московских-то книжных фабрикантов? – недоверчиво усмехнулся Картонов.

– Да, да, московских и здешних! Их время прошло. Теперь уже другой слой жизни выпирает наружу – более культурный, более нужный.

Картонов подумал, разглядывая Балакина.

– Ценю. У вас верное чутьё, хорошее чутьё. Хитрее всех других лубочников Сытин; он ловко перестраивается. Впрочем, я затронутыми вами издательствами не интересуюсь совершенно. Их издания ужасны. Даже Вольфа я постоянно ругаю. Я отнял бы у него издание детских книг.

Балакин заговорил о Девриене, о Сойкине.

У этих издателей есть вкус. Они ничем не опередили Балакина, а вот Вольф и Суворин уже европейского типа книжные тузы. Про Вольфа что можно сказать? Он не создал своего стиля, всегда копировал плохие образцы современной французской книги, а Суворин отлично усвоил опыт лейпцигского издательства «Реклама».

– Где же Лазурка? – оглянулся Балакин, вспомнив, что ему надо ехать в типографию.

– Придёт!.. Или пойдёмте к нему? Он рядом в трактире угощается со своими ходебщиками. Там расчёты, выпивка и кормёжка – словом, трактир ему служит всем, чем угодно.

Выходя из склада, Картонов сказал:

– Относительно стиля я с вами согласен. Если вы заглянете ко мне, я покажу вам образцы, которых вы наверное не видели.

– Приду непременно.

Он пришёл к нему в день известия о разгроме под Цусимой русской эскадры и, волнуясь, заговорил о событии.

– Ну, бог с ней, с эскадрой, – спокойно проворчал Картонов.

– Почему вы так? – удивился Балакин. – Для меня ужасно. Война явно непопулярна даже среди самых восторженных патриотов, желающих покорить под нози всякого врага и супостата. Но нелепость какая!

– Явная нелепость. А вот хорошо, что вы пришли. Я рад.

Картонов стоял среди своих книжных сокровищ, как средневековый маг, одетый в тонкий люстриновый балахон с тёмно-красной, с золотыми узорами, шапочкой на голове. Две стены обширной светлой комнаты были заняты от пола до потолка книжными полками. У третьей стены помещался шкаф красного дерева

с самыми редкими книгами. Свободные от книжных полок части стен и простенки были увешаны гравюрами, редкими литографиями и старинными лубочными картинками.

Три стола были завалены большими папками с гравюрами и литографиями.

– У меня ничего лишнего нет, – сказал Картонов, оглядывая полки. – Это мой рай, и вы почувствуйте дух творчества человеческого гения. Итак, начнём благословясь. Покажу вам для начала... Вот... четырнадцатый век – манускрипт нормандский с миниатюрами, целостная, сохранная вещь... сладчайшая! – Картонов так обвёл руками манускрипт, точно хотел как можно больше раскрыть перед гостем сладчайшую. – Вот ещё, смотрите: «Святые легенды» – с какой несокрушимой верой они изображены художником. Величайшее сокровище! Чертог!

– Да, да, вижу, – сказал Балакин, отдаваясь чувству обаяния; но всё же ему казалось, что он не понимает доподлинно этих изумительных творений или просто он ещё находится под впечатлением известия о Цусиме. Ему вспомнилось, как он смотрел в Троице-Сергиевой лавре на икону Живоначальной Троицы работы Андрея Рублёва. Её показывал ему знаток монах, и говорил он, как издивлены лики, они лазорем чудным написаны, самосиянны и изливают благодать, умиротворяющую человека.

Большое сходство с этим монахом было у Картонова, только книголюб превосходил того какой-то беспредельной восторженностью. Он часа три подряд неустанно занимал Балакина, показывая ему редкости, и только успел показать небольшую их часть. Потом Балакин стал часто по вечерам заходить к Картонову любоваться миниатюрами или перелистывать страницы альдинов с красивыми строчками итальянского курсива; посмотреть на пышные иллюстрации плантэнов, а то рассматривали вместе с Картоновым гравюры Дюрера, офорты Ван-Дейка, Рембрандта и рисунки французской книги. Эти картоновские вечера Балакин и назвал книжным радением. Занимали приятелей не менее чудесных книг и революционные события, охватившие всю страну во время заключения мира с Японией.

После Манифеста о созыве Государственной думы, который торжественно читали перед народом в церквах попы в день Преображения, как бы в ответ на монаршую милость по городам и сёлам зашумели сполохи мятежа. Народ, веками искавший землю и правду, по простоте своей считал единственными врагами своими чиновников, полицию, судей, управляющих барскими имениями, наконец, стал распознавать подлинного, вековечного своего врага. Война открыла все его пороки и слабости. Стали известны всему миру бездарные генералы, хищные чиновники-казнокрады, лицемерие и подлость правительства. Выродившаяся знать показала весь свой обманчивый блеск, своё фальшивое величие и силу.

В газетах писали о сенаторских ревизиях, неурожае, бюрократизме, дальневосточной панаме, обилии нищих в столице, о реформе школы, ожидаемой амнистии, долговых тюрьмах, и как будто нет никакого сомнения, что в Токио и других японских городах поднялся мятеж бездомных пролетариев, которые совершают убийства, грабежи и поджоги. Но тут же рядом печатались вести о революционном

движении в Прибалтийском крае и в Армении: что в Шушинском уезде сожжены все фабрики и заводы; мужики жгут усадьбы; революционеры убивают полицейских, жандармов и губернаторов; казаки порют мужиков; на промыслах близ Баку войска вели бои с мятежниками; на помощь пехоте была двинута артиллерия; все нефтяные промыслы сгорели; несмотря на беспощадные избиения поджигателей войсками, пожары начались в самом Баку.

– Одно лишь остаётся, – сказал однажды Балакин, – надо свергнуть весь старый порядок – в этом спасение страны. Теперь мы можем шагнуть примерно к такой республике, как во Франции. Больше нам и не надо. Хотя революционеры мечтают о другом. У меня есть молодой дельный приказчик Лука Корытов. В нём кипит молодой революционный задор; буквально пожирает потаённую литературу, бегает на какие-то собрания, спорит со мной о политике, уверяет, что буржуазия предаст рабочих и крестьянство в их борьбе за нужный им государственный строй. А какой им строй надо – не разберёшь.

Картонов поддакивал, кивал головой.

– Понятно, разберутся без нас. Кто хитрее, организованнее, тот и сядет управлять. Ну а мы займёмся новыми редкостями.

– Ладно, порадеем, – согласился Балакин.

Картонов предложил чаю с ромом. Потом похвастал новыми книгами и рассказал, как он их добыл. Каждая книга или гравюра были особенно ценны для него потому, что пришли к нему особыми, хитрыми путями через ряд трудных препятствий. У него были сотни знакомых богачей – простодушных книголюбов: он их околдовывал, опутывал сказочной книжной росписью и распоряжался их деньгами или связями как хотел. Балакин весело хохотал над рассказом Картонова о полицмейстере Глобачеве и околоточном надзирателе Юрохе. Эти полицейские оказались добряками и истинными почитателями его таланта. Полицмейстер собирал книги по истории полиции и полицейского права, любил говорить о Тюрго и восторгался екатерининским «Уставом благочиния». Картонов мог толковать о каких угодно книгах. Поругав Штейна, Блока, он уверял Глобачева, что нет оригинальнее, интереснее книги «Наказ о градском благополучии», изданной в 1649 году.

– Один восторг, один восторг, и стиль и мудрость в истом русском духе. Кстати, я ещё бы вам посоветовал приобрести «Книгу патриаршего наказа». Тоже удивительная вещь, особенно для тех, кто страдает отсутствием аппетита.

Глобачев захохотал.

– Не страдаю я, милейший Николай Петрович, отсутствием аппетита, а хотел бы иметь и эту книгу, видно, что она хороша, и также «Наказ...». Просите что угодно. – Он с довольным видом погладил пышные бакенбарды и строго взглянул на дверь кабинета.

Вошёл без доклада долговязый околоточный с тощим портфельчиком под мышкой.

– Юроха без дела не пойдёт, – сказал он с гордостью и на секунду остановился, топорща усы и усмехаясь почти дерзко. Недаром он слыл шутом, забулдыгой и

жуликом. Другой, менее ловкий, давно бы на месте Юрохи сидел в арестантских ротах, а этому всё прощалось. Он даже получал награды и был любимцем полицмейстера.

– Что у вас такое, Юроха? – заинтересовался Глобачев.

– Разрешите, ваше высокоблагородие, доложить… Сейчас я отобрал у одного жулика очень интересную вещь.

– Ну, ну, что такое?

– Как вам известно, ваше высокоблагородие, у меня есть чутьё – я узнаю жулика за сорок шагов; и вот сегодня вижу: стоит у окна оценщика прилично одетый молодой человек и говорит довольно громко: «Помилуйте, за такую вещь вы предлагаете пятьдесят рублей, ведь монограммы золотые чего стоят!» Оказалось, он закладывал чудесный серебряный портсигар.

– Какой портсигар? Вы видели? Ну говорите! – затрясся Глобачев, – чёрт возьми, я хотел бы видеть!

– Разрешите продолжать, ваше высокоблагородие? Я попросил оценщика показать портсигар, и, как только взял его в руки, закладчик юркнул в толпу и сумел скрыться. Тогда мне стало понятно, что портсигар краденый.

– Чёрт возьми, Юроха, уж не мой ли портсигар вы нашли?

– Ваш? Когда пропал? Да неужели я спас это самое? – Вдруг засмеялся, засиял Юроха и поспешно полез в потайной карман шинели.

Глобачев вскочил, выгнул шею и скрюченными дрожащими пальцами выхватил из рук Юрохи портсигар.

– Мой! Вот оно, праведное добро – в воде не тонет, на огне не горит.

– У вас он вчера пропал, – сказал Юроха и спохватился. Глобачев потряс бакенбардами, лукаво взглянув на Юроху.

– Почему вы знаете, что вчера он пропал?

– Конечно, вчера, и не рано, потому что вор не успел заложить, и вчера я видел портсигар у вас на столе.

– М-да, вы видели… – сердито проворчал полицмейстер, но он в сущности был восхищён ловкостью этого человека, который взял да и подарил ему его же собственный портсигар. – Ведь это же… ну, знаете… – погрозил Юрохе пальцем и расхохотался. Всё ясно. Из Юрохи выйдет великий служака. Он даже способен обокрасть его императорское величество, да ещё с таким успехом, что за это может получить Станислава и чин полковника.

– Вот видите, – сказал Глобачев Картонову, – какие у меня молодцы. Враги империи дурно говорят о русской полиции, и всё это одна глупость. Теперь, Юроха, вам дело. Поручаю его вам в знак особого доверия. Загляните сегодня в одну типографию. Надо конфисковать выходящий номер журнальчика «Зритель». Я думаю всю работу по обыскам в типографиях поручить вам, потом обсудим это особо. О расходах подайте счёт в канцелярию, там вы получите и адрес типографии.

Картонов тут же выпросил себе право получать от Юрохи конфискованные издания.

– Сколько угодно, сколько угодно, милейший Николай Петрович, только вы мне достаньте этот «Наказ...» как его... – Глобачев помотал рукой перед своим усатым полным лицом.

– Да, да, будьте уверены, – сказал Картонов, воображая уже себя обладателем новых редкостей.

С благословения полицмейстера он стал собирать конфискованные издания, надеялся променять их на красивые книги и гордо говорил Балакину:

– Я спасаю то, что полиция уничтожила бы.

Иногда он проникал вслед за Юрохой в опасные места и не однажды видел смертные побоища между полицией и революционерами. Он даже был при аресте Совета рабочих депутатов в помещении Вольно-экономического общества и ухитрился подобрать кое-что из материалов Совета. Читал Балакину телеграммы, полученные Советом.

Из Киева сообщали:

«Центр города и Подол в руках правительственных войск. Печерский плац и крепость в руках восставшего народа. К народу присоединились тысяча сапёр и часть войск. В городе баррикады».

Из Новороссийска:

«Город в руках восставших солдат. Солдаты призывают рабочих присоединиться к восставшим».

Из Екатеринодара:

«Арсенал в руках восставших войск. Захвачено шестнадцать тысяч ружей. Часть из них роздана в городе, другая часть отправлена для вооружения новороссийского пролетариата».

– Это документы, батенька ты мой, – потряс телеграммами Картонов, – ценность.

– Да, да, – шутливо кивнул Балакин, – особенно сейчас, когда великосветские дамы и седовласые полные генералы в почтамте заменяют забастовавших служащих. Но, по-видимому, арест Совета рабочих депутатов есть начало большого военного похода монархии на революцию. Признаться, душа разрывается надвое. С одной стороны, я боюсь реакции, а с другой – анархии. Надо держаться середины: избежать того и другого. Словом, стоим на рубеже.

В дни Декабрьского восстания в Москве Балакин пришёл к Картонову расстроенный только что бывшим обыском в помещении его издательства. Он увидел высокого сгорбленного старика с седой неровной бородой. Старик сидел у стола, просматривал книги, и на высоком жёлтом лбу его то собирались, то распускались морщины. Он сидел в шубе. На столе рядом с ним лежали бобровая шапка и толстая трость с яшмовым набалдашником. Эти брошенные на стол шапка и трость и выражение лица старика, а ещё более те грубоватые торопливые движения, с какими он хватал из рук Картонова книги и отталкивал ненужные ему, изобличали в госте строптивый нрав, избалованность богача и явное неуважение к хозяину. Хозяин же имел вид вороны, к которой прилетел в гости коршун.

– Я вам, Алексей Сергеевич, «Колокол» сравнительно недорого нашёл: сто рублей – это даром. Признаться, я проговорился Лазурке, для кого беру «Колокол», и он обрадовался: «Ну, – говорит, – с кого другого, а с Суворина надо взять побольше – заплатит».

На лице старика мелькнула озорная живость, и он с изумительным искусством, которому могли бы позавидовать самые язвительные похабники, сказал два отборных ругательных словечка. Картонов был в восторге и, передавая шлейзвигское издание Олеария, нужное Суворину для перевода, уже властно говорил:

– Вот вам... только денег я не возьму, а в обмен.

Суворин резко оттолкнул книгу.

– Я ничего не промениваю.

Картонов весело взглянул на входившего в комнату Балакина, двинулся к шкафу и открыл стеклянные дверцы, затянутые синей тафтой.

– А я, Алексей Сергеевич, ничего не продаю, а даже, как видите, тружусь – собираю, и вот мой сад, аромат которого вдыхаю каждый день.

Старик живо оглянул открытый тайник, отметив прежде всего строгий, величавый убор нюрнбергских и венецианских книг, далее – кружевной узор французских переплётчиков, мерцание червонной позолоты, изящную мозаику и светлые тона чудесного старинного марокена.

– Ах вот, – спохватился Картонов, – позвольте вас, издателей, познакомить.

Суворин поднялся, отвесил поклон Балакину и пошёл к шкафу.

– Да, да, вы неплохой садовник. Сколько чудес, сколько чудес! – Он вдруг отвернулся от шкафа, юмористически растопырив руки и закрывши глаза. – Не могу! Уведите меня отсюда, пока я не взял в руки Атлас Литке, потом уже будет поздно... – Но он тотчас выхватил из шкафа Атлас и с порозовевшим лицом оживлённо стал смотреть рисунки.

Картонов сиял и суетился; ему хотелось похвастать последней находкой: в руках у него был том Овидия; остальные три лежали на столе под папкой. Он нежно погладил сафьяновый переплёт и, кряхтя, понюхал его аромат.

– Это моё последнее приобретение. И как приобрёл – у вдовы Кирпичниковой продавалась библиотека. Посмотрел я и вижу Овидия. Кроме него не было ничего хорошего. А просила вдовушка за библиотеку три тысячи. На двух мы сошлись с ней, и пошёл я к молодому фабриканту, табачнику Колобову. Он гребёт всякий хлам и собрал уж до семидесяти тысяч томов. Этак лет чрез десять у него тысяч двести соберётся. Раньше, когда старики живы были, он книги на чердаке прятал, а теперь начал возами покупать и целый этаж в доме отвёл под библиотеку. Словом, готов все книги скупить, вот какой молодец! Только Овидия отдавать ему было кощунством, и я его выговорил себе за хлопоты, а остальное Колобов взял за две тысячи.

Суворин с любопытством сплетника прислушивался к тому, что говорил Картонов, и опять озорная живость мелькнула на его выцветшем облике.

– Благородная страсть в дурной... голове может обратиться в порок, но вы хорошо берёте с него за уроки, – может быть, он и научится.

Заговорили о собирателях, перешли на шутливый тон. Даже Балакин, который был озабочен домашним происшествием, заметно повеселел и рассказал про двух московских чудаков, скупщиков предметов искусства, но он всё время чувствовал к Суворину не то зависть, не то вражду. У Суворина никогда не было обысков, а у него они довольно часты; он ненавидел его добротно-патриотическую газету и в то же время не мог отказать ему в издательских заслугах и таланте. Вдруг вспомнил статью Меньшикова на страницах «Нового времени»: Меньшиков требовал Учредительного собрания.

– Извините меня, Алексей Сергеевич, за любопытство, мне очень хочется знать, разделяли ли вы взгляд Меньшикова (напомню вам его статью), когда он требовал Учредительного собрания?

Суворин, не глядя на Балакина, надел шапку, взял в руки трость, видимо собираясь уходить, но взгляд его упал на Олеария, и он сел, опёрся на трость и, качая головой, заговорил:

– Знаете, многоуважаемый, я ещё не решил достаточно разумно вопроса, что бывает раньше: шатание ли умов или шатание основ государства. Не примите это за отговорку. В то время, когда Меньшиков требовал Учредительного собрания, председатель Совета министров, новоиспечённый граф Витте, принимая представителей железнодорожного союза, сказал, что железнодорожная забастовка есть единственный выход из экономического положения.

Балакин подумал: «Сегодня в Москву семёновцы с пушками поехали, – это уже другой выход».

– Чего же вам ещё надо? Устраивайте забастовки, жгите усадьбы, озорничайте, сколько вашей душе угодно. Медведь поднялся и дерзко озорничает. Правительство потеряло голову.

Старик выпрямился, снял с головы шапку, положил её на Олеария.

– Есть сведения, что за октябрь и ноябрь уехали за границу из одного лишь Петербурга тридцать тысяч состоятельных лиц. В декабре германские газеты сообщали о том, что уже до двухсот тысяч русских беглецов живут в Берлине и других городах. Вывезено беглецами полмиллиарда золота. Бегут, как мыши с корабля. И то сказать, черносотенцы громят евреев, мужики – помещиков, рабочие – промышленников, и всё от агитации о какой-то свободе. Выиграет от всей нашей смуты, в конце концов, только иностранный капитал. Надо, многоуважаемые, дать народу лишь некоторую иллюзию свободы и потом крепко его скрутить, как это делают умные политики. Так случилось с немцами. Вот это народ! Дай бог всякому другому так жить и так крепко обрасти национальной гордостью.

– То есть вы хотите того же, что было до сих пор, – сказал Балакин, – только с той разницей, чтобы вместо бездарных министров и губернаторов стали более даровитые, более умные. Вы тридцать лет со своим «Новым временем» точно в тарантасе ехали спокойненько, вовсе не замечая того, что жизнь народа ужасна. Монархия прогнила. Впрочем, это вы знали, только у вас надежда была на какого-нибудь гениального царедворца. Но вместо него явилась революция. Тогда вы уже и

надежду терять стали и трагический жест сделали. Иначе и назвать нельзя эту статью Меньшикова с требованием Учредительного собрания, как трагический жест: «Объединяйтесь, мол, истинные сыны Отечества, и делайте сами революцию, не уступайте её народу, а тем временем отыщется надёжный “свой” человек, и Россия будет спасена», то есть по-прежнему будет процветать самая беззастенчивая выставка наглости, ложного благородства, обмана, богатства, выросших на угнетении и унижении трудовых слоёв населения.

Пока Балакин говорил, старик скрывал гнев, притворно ёжился и стонал.

– М-да, м-да, как страшно! – Потом взглянул на Балакина, как глядит Грозный с полотна Васнецова, и спросил:

– Что вам дало право так всё истолковать? Вы мне напоминаете человека, который надел модную шапку и тотчас захотел, чтобы все носили такие же шапки. Покорно благодарю. Я предпочту носить то, что нравится, не считаясь с модой. А что касается тарантаса, то я сделал то, чего вам не сделать при всей вашей идейности. Идейные издатели обычно секут себя и засекаются.

– Это не так, – возразил Балакин, – идейных засекал капитал. – Он вспомнил большой последний заказ тверского земского книжного склада и добавил: – Я не поддамся, не засекут.

Старик не хотел уже больше разговаривать. Только уходя, он ещё уколол Балакина.

– Я желаю, чтобы вы меня удивили, порадовали чем-нибудь, только сбудется ли – не доживу.

Балакин надолго запомнил иронию старика, и хотелось её вернуть ему.

Они встретились снова у Картонова спустя года полтора. Того и другого привлекала к собирателю страсть к редкостям – смотрели коллекцию старинных афиш.

– Я с удовольствием издал бы эти вещички, – сказал Суворин. Он перебирал афиши, сгорбясь и припадая к ним лицом, большие жилистые руки его трепетали. Взглянул на Картонова. Тот увидел лукаво-нежную улыбку и подумал: «Как есть пушкинская Наина», потом сказал:

– Вы издали растопчинские афиши – и хватит с вас.

– Ох какой вы камень-человек! Вы видели, как я Олеария издал? Не то, что Барсов и Бодянский… А Флетчера, Корба видели?

– Зачем вы скопировали шлезвигское издание, переиздавая Олеария? – сказал Балакин. – Книга вышла грузноватой, нехорошо это.

Суворин хмуро покосился на Балакина:

– Может быть, вы и правы, но поверьте мне, и вы точно так же издали бы Олеария. Вы-то что нынче издаёте? Я слышал, вы в Москве отделение открыли.

– Да, открыл. В Москву я послал сына учиться самостоятельно работать. Отделение я в Москве открыл единственно с целью конкурировать с фабрикантами-лубочниками. Это враги книги, враги истинного просвещения.

– Опять вы правы. Настоящий сочный лубок выродился. Теперь мразь, а не лубок, в провинции эта мразь в почёте…

Балакин заговорил о работе земских книжных складов; он брал от них заказы.

– Это вам клад, – проворчал старик, – только ваши издания по общественным вопросам и новая литература для школьных библиотек потонут среди ряда других подобных изданий.

– Но издания Балакина уже зарекомендовали себя отлично, – сказал Картонов.

– Да, да они ничего, – скупо одобрил Суворин (подумал о себе: не всем быть таким китом, как я) и поучительно заговорил об издательской деятельности: – Нужно всегда быть оригинальным и дальновидным. Нужно поражать публику новизной. Это первое условие успеха. Говорят, что я разбогател от изданий, а, положим, такой талантище, как Смирдин, разорился. Я всегда брался за то, что другим в голову не приходило, давал за гривенник классическое сочинение и публику брал вот так – двумя пальцами. Смирдин воображал себя крёзом, – по-видимому, он был добрейший человек, – но мне почему-то жаль, когда он платил по червонцу за строчку стихов, – это безумие. Я такого человека не понимаю.

Балакин сгладил рукой улыбку и возразил:

– Я Смирдина понимаю: это был человек, обладавший огромной верой в свои силы и в свою славу. Он один делал то, что по силам было десятку. Вы говорите: надо поражать публику новизной. Нынче, кажется, она поражается со всех сторон и на каждом шагу. За эти два года книжный рынок был цветным морем. Сперва был поток сатирических журналов, штурмовавший подгнившие твердыни самодержавия. Затем огромная волна невиданной ранее революционной литературы, за которую нынче судят авторов, издателей и книготорговцев; сажают в тюрьму, штрафуют. Но всё же это была весна новой печати. Хорошо-о! – Засмеялся Балакин, дразня старика, – не жаль, если и меня посадят.

– Весна кадетская вышла, – заныл старик, – верхоглядская весна. Неустойку кадеты заплатят и в ус не дунут – что им стоит! За выборгское воззвание их всех бы надо дьячками по глухим приходам разогнать, а им всего-навсего по три месяца тюрьмы дали.

Балакин развеселился, вскочил со стула, забегал по комнате и опять подразнил Суворина:

– Весна вначале была настоящая. Только скоро она прошла, и сразу осенью запахло: начались расстрелы, погромы, виселицы. Появились Шерлоки, Пинкертоны, самая откровенная порнография, дикая пошлость – словом, подлинная блудоискательная литература. Одно лишь отрадно, что растут молодые издательства дешёвой и нужной книги. Библиотека «Знания» отлично расходится, книжки стоят две-три копейки. Теперь возьмём другой ряд: «Мир искусства», издательство «Скорпион», «Гриф», «Мусагет». Кому нужны Флетчер, Корб, когда весёлым маскарадом, зарницей, огненным ангелом кажется публике хлынувший поток западной графики? Вот ещё «Старые годы» с романтическим призывом к былому изяществу и простоте.

– Всё это не то, – махнул рукой Суворин. – Это временное, наносное явление. Тут нет чего-то коренного, прочного.

– Да, – продолжал Балакин, – есть только попытки к созданию чего-то нового, небывалого, как будто смутное стремление к поискам самобытности в книжном искусстве, но всё однобоко. Истинно художественное построение книги большей частью жертвуется в угоду декоративной вычурности.

Суворин быстро взглянул на Балакина, вспомнив о младшем сыне, увлекавшемся роскошными изданиями.

– Теперь время фейерверочных восторгов. Нам они чужды, а наша молодёжь с хлебом готова съесть какое-нибудь «Золотое руно» или «Весы». Вашему сынку сколько лет?

– Двадцать.

– Вот вы какой… Вам не больше сорока, а уж сын помощник. – Он вдруг оглянулся на Картонова и ударил по столу ладонью.

– Ну-с, милый друг, уступайте афиши, берите за них по совести.

– В обмен.

– Опять в обмен… Не хочу, – капризно заявил он и горбясь поднялся со стула. – Ничего, я подожду, когда вы мне афиши принесёте сами.

Картонов, провожая старика, говорил:

– Дайте мне за афиши Фридриха.

– Фридриха? Нет, я вам Боклевского предложу; этого у меня два экземпляра.

– Боклевский есть и у меня.

– Вы ужасный человек! – закричал Суворин. – Отчего вам не нужны деньги? Я ухожу.

Ушёл ругаясь. Ругался и Картонов; в дверях он крикнул:

– Всё равно Фридриха дадите.

Балакин слышал, как старик бешено ударил тростью по наружной двери.

II

В начале зимы Балакин поехал посмотреть, что у него делается в Москве. Туда он нарочно долго не ездил, желая испытать самостоятельность в деле Павла Касьяновича. Самостоятельность оказалась битой, да и ожидал ли Балакин особенной удачливости от сына? Ему давно казалось, что это пустой малый и годится он только в лавку торговать галантереей, где бы мог с завидным успехом блистать среди модниц и прелестниц всех сословий. Это был Нарцисс – сын реки Кефисса и нимфы Лейрионы – баловень женщин, очаровательный божок гимназисток и девчонок мастерских дамских нарядов.

Он с семнадцати лет стал получать от них любовные записки и всем молоденьким сердцам одинаково безжалостно писал строчки из Онегина: «Напрасны ваши совершенства…» Но всё это ни к чему, всё это вздор. Он постиг более мудрое и совершенное: он скоро уходит в монастырь. Это была выдумка избалованного гор-

деца, привыкшего ловить восхищённые, зовущие взгляды девушек и любоваться собой. Увлекался он пока спортом, цирком, бешеной ездой лихачей. Постоянно выпрашивал у матери Елены Ивановны деньги, готовый за них читать скучные жития святых или творения Тихона Задонского.

Елена Ивановна любила послушать и чувствительные светские повести, но самой ей читать было лень.

За ней водилась ещё одна слабость, крайне неприятная Балакину, с которой он вначале пробовал бороться и в конце концов бросил.

Балакина не могла без слёз смотреть на нищих, богомолок и странников, щедро раздавала им деньги, подарки. Зато в домашней жизни была чрезвычайно расчётлива, даже скупа. Она ругалась с прислугой из-за гривенника, озабоченно следила за тем, чтобы приказчики и мальчики, жившие на квартире, не съели или не выпили более положенного. Если случался в этом отношении недосмотр, она впадала в тоску, жаловалась на болезнь печени и кричала, что расходы сживут её со света. Эти особенности её характера стали заметны с первых дней замужества. Выходила она замуж красивой, гордой, рассудительной девицей, способной, казалось, осчастливить мужа. Спустя два года после свадьбы Балакин бежал от жены в Москву, потом пожалел и сошёлся вновь.

Сошёлся, свалил на жену хозяйство, детей и не интересовался её жизнью, погрузившись в свою работу.

Постепенно Елена Ивановна свыклась с положением постылой жены, всё же оставляя за собой право показывать себя равной в доме мужу. Втайне надеялась ещё на любовь Касьяна, хотела быть привлекательной – пудрилась, покупала духи и нарядно одевалась.

Нежно любила Павлушу, называя его своим утешением, ангелом, красавчиком. Опасалась, чтобы его не иссушили науки, вовсе не подозревая, как эти опасения были напрасны. Окончив гимназию, Павел в первый раз надел вместо мундира серый костюм, шляпу и исчез из дома. Вскоре он сообщил родителям, что живёт в имении Тереховой, в чудесном уголке, где раскинуто богатое хозяйство, гордость которого – большой конский завод, поставляющий первоклассных орловских рысаков на беговые ипподромы Москвы и Петербурга. Эти рысаки, когда Павел вернулся из гостей домой, не выходили у него из головы; он не пропускал ни одного бегового дня. Зато редко заходил в университет, куда определился по настоянию отца; наконец, совсем бросил университет и уехал с Тереховой за границу. Балакин махнул на сына рукой, назвав его изящным, но пустым изданием. Елена Ивановна посылала сыну письмо за письмом, умоляя его вернуться домой, пока он не погиб в руках развратной женщины, какой она считала Терехову.

Письма помогли. Павел скоро приехал. Опять увлёкся бегами. Появились долги. Елена Ивановна не знала, где брать деньги, решила поговорить о сыне с Касьяном. Она зашла в кабинет мужа, села на диван и задумалась, как ей начать разговор. Блеклое, ещё красивое лицо её было совсем белое от густого слоя пудры, только темнели глаза и густые брови. В кабинете преобладал весёлый голубой

цвет. Стены были украшены гравюрами: среди них висели недурная копия рембрандтовской «Данаи» и портрет Новикова. Письменный стол был завален библиографическими справочниками и корректурными листами. С тех пор как появилась в кабинете «Даная», Елена Ивановна избегала заходить сюда и не раз упрекала мужа, что он нарочно, для греха, в насмешку над женой, повесил постыдную картину: «нагую девку».

Касьян Ильич повернулся от стола к Елене Ивановне и беззаботно заговорил:

– Ну что, мать, хорошего? Как твоя обитель?

К Елене Ивановне каждый день приходили странники, богомолки, и она уже привыкла слушать от мужа всякие шутки на свой счёт.

– Ты бы лучше о сыне спросил.

Балакин сгладил рукой с лица усмешку, подумал и сказал презрительно:

– Чудо природы, Аполлон! Пожалуй, прославит нас подвигами.

– Ах, Касьян, я боюсь, что эта женщина дурно повлияла на Павла. Надо же что-то сделать… Ты совсем не думаешь о нём.

– Он не показывается мне на глаза, я его не вижу.

– Ему стыдно, может быть, Касьян.

– Ну, стыдно! Если стыдно, то это уж не так плохо. Если учиться не хочет, тогда что-нибудь делать надо.

Балакин решил послать сына в Москву, думая, что, доверив ему отделение издательства, заставит его волей-неволей войти в деловую жизнь.

Прежде всего в Москве Павел занялся изданием своих стихов, написанных за границей, – издал стихи роскошно, со своим портретом. Книжку брали книготорговцы только на комиссию, считая её дорогой и безусловно гиблой, но в течение недели она была почти целиком скуплена Тереховой. Сумасбродная барыня не то из мести к своему прежнему любовнику, не то из внимания к нему, создала из плохой книжки загадочную новинку и библиографическую редкость, а Павлу успех.

Касьян Ильич приехал в Москву как раз к этому успеху сына, узнал от старшего приказчика Филатова новость и захохотал.

– Вот изданьице-то у меня, а? Каково? – говорил он, ударяя себя в грудь.

– Шикарно была издана книжка, вроде как у Струйского, знаете?.. – сказал Филатов.

– Я не о том издании, а о живом, своём, – пояснил Балакин.

Филатов всплеснул руками.

– Да, да, поздравляю вас, а я-то счёл… – он, горбясь, поправил свои большие очки, с тревогой думая об отчёте и взвешивая настроение хозяина.

Касьян Ильич бросил на прилавок пальто, заглянул на полки. Книги стояли как нужно – в строго алфавитном порядке, и с виду в складах было образцово. Только нехорошо выполнялись заказы.

– Это что за клоповий завод? – крикнул Балакин, разрывая провинциальные заказы.

– Не подобрано ещё полностью.

– Глупости! Сколько тут не подобрано? Знаю эти отговорки! Чтоб этого вперёд не было! Заказы и не полностью надо высылать, потом дослать можно остальное...

Подумав, он спокойно уже спросил:

– Известно тебе, сколько он денег здесь спустил? Ты писал об этом туманно.

Филатов почавкал, мотая головой.

– Что чавкаешь? Уж так страшно?

– Нет... не так уж, тысячи три, пожалуй, наберётся. Стишки вернули восемьсот рублей, а то бы... – Он шёл рядом с Балакиным туда, где было оставлено пальто, и говорил о делах. Балакин надел пальто и стал смотреть в окно. Приказчик уже почти всё ему сказал; остальное после. Теперь надо посмотреть книжные фабрики и москвичей. Среди незнакомых людей, переходивших шумную улицу, Касьян Ильич заметил Павла. Его небрежно застёгнутое пальто, сдвинутая на затылок тёмно-коричневая шляпа, лёгкая поступь и сияние лица избалованного красивого юноши невольно заставили Балакина улыбнуться. Улыбнувшись, он тотчас сгладил рукой улыбку и подумал: «Если бы ещё талант ему, подлецу... Тогда бы держись, а от успеха-то надо его утянуть в Питер, а то закружит больше».

Павел вошёл и остановился у дверей, увидев отца.

– Не бойся, я без кнута приехал, – засмеялся Балакин.

Павел тоже засмеялся, краснея.

– Я просто от неожиданности иль от радости.

– Ну, здравствуй, а радость-то невелика, я думаю. Маменька кланяется. Образок мне совала для передачи тебе, да я пообещал ей вместе с тобой вернуться в Питер, или ты ещё не думаешь? Впрочем, что ж я? Ведь я ваш гость, – шутил Балакин, оглядываясь на Филатова, – ведите меня чай пить куда-нибудь.

Он думал, что за чаем они попросту поговорят о делах, расскажут новости и, кроме того, могут встретить знакомых книжников.

– Куда же, Касьян Ильич? В трактир придётся! – заторопился Филатов.

– Всё равно, пойдём в трактир, там и пообедаем.

Филатов привёл Балакина и Павла в купеческий трактир. Это было что-то давнее, хранимое временем, дедами, отцами и внуками. Обширный буфет, как алтарь, за которым стоял пышный, бородатый «отец»-буфетчик. Наливая щедрой рукой рюмки, он приговаривал, чмокая губами: «Винцо что янтарь, кто не пьёт – тот бунтарь» или: «Сегодня по маленькой, завтра по большой».

Звенели сияющие рюмки, графины, а «отец» за буфетом вперемежку с прибаутками угощал гостей груздями, сочной рыбой, икрой, а то и нежным поросёнком с хреном и сметаной. Мимо буфета мелькали слуги, их рубахи отражались в зеркалах, как серебристые меха гармоники. На плюшевой старинной мебели сидели кочковатые, с буйными бородами, фигуры торговых людей. Они пили чай с вареньем, шумели, божились; казалось, видели ещё перед собой вороха товаров, слышали шелест бережённых за пазухой шелковистых кредиток.

Заняв свободный стол, Балакин посмотрел на сына: тот брезгливо оглядывал трактир.

– Садись, ничего страшного, да расскажи, как твои стишки.

Павел сел, держа в руках шляпу, весело взглянул на отца.

– Я думаю, надо второе издание выпустить: оно сразу же разойдётся; поскольку на книгу спрос необычайный, это можете сделать вы.

Павел хотел этим сказать: если он и виноват в чём, то издание книги, явно доходной, снимает с него чуть не всю вину.

– Да, да, выгодная книжка, – закивал Филатов и завистливо и сердито посмотрел на буфет, откуда неслось зазывное чмоканье «отца»-буфетчика и звон рюмок. При хозяине он стеснялся идти к буфету.

У стола появился высокий слуга с бритым лоснящимся лицом и подмигивающим левым глазом. Балакин заказал всем троим щи, поросёнка и чай. Потом ответил Павлу:

– Нет, друг мой, нам выгоднее не издавать больше твои стихи, потому выгоднее, что за нами остаётся счастливая интрига и некая библиографическая редкость нашего издательства. Тебе теперь следует поработать над новыми стихами, заняться изучением лучших образцов и издать уже более зрелые стихи, пользуясь счастливой интригой, так как, издав вторично свой первый опыт, ты не можешь быть уверен в том, что это пройдёт безобидно. Кстати, я тебе дам работу – написать исследование о наших русских альманахах. Я знаю лишь, что издание альманахов у нас начал Карамзин; расцвет их был в тридцатых годах прошлого века. Вот тут тебе материал и для стихотворства.

Предложение польстило самолюбию Павла.

– Это интересно, я согласен. Хочу больше работать, больше знать, только Москва мне наскучила, лучше бы в Питер.

– Вот и хорошо, поедем в Питер, – одобрил Балакин и заговорил с Филатовым о московских книжниках. Казалось, он меньше всего интересуется своим делом, а больше тем, что делается кругом. Когда говорили о новых книгах, Филатову думалось: Балакин знает, кто что издаёт, знает всё до копеечной книжки. И если он глумился над книжками Бриллиантовой, Холмушина, Коновалова, называя их трущобными, подлыми изделиями, то это было не легкомысленное суждение модного либерала, а подлинная ненависть ревнителя книги к этим изделиям.

После обеда и чая он повёл Павла на Моховую и по пути на Никольскую в «Пролом», где был книжный торг. Пройдя от трактира шагов триста, Балакин остановился, потянул носом воздух и кивнул на большой дом через улицу. В том доме два нижних этажа занимало крупное московское издательство.

– Слышишь?

– Что?

– Лубком пахнет…

Павел двинулся вслед за отцом к издательству. Они зашли в обширный магазин. Десятка три покупателей в чуйках и шапках, стоя бок о бок вдоль прилавка, отбирали «товар».

– «Книг, картин, образов!» – крикнул Балакин. – Где заведующий?

Покупатели и приказчики посмотрели на Балакина как на знатного гостя. Этот, наверно, купит или закажет немало.

– Сейчас придут Игнатий Макарович, – сказал старик-приказчик, – присядьте или поприглядите товарец.

– Посмотрим товарец.

Балакин подошёл к прилавку. Тут лежали стопы пахнущих краской картин разного формата и разного содержания. Первыми попались на глаза Балакину «святые».

– Смотри, Павел, какие красавцы; ведь это мужицкие боги, и, ей-богу, не найти ни одного мужика с таким сытым и полнокровным лицом. А цари? Чудо природы: всё сияет, горит – как не любить таких!

Вот «Ступени человеческой жизни»; рисовал, наверно, старший дворник; там какое-то побоище, словом, всё есть. Там образки – тоже ходкий товарец. А теперь посмотрим книжечки. «Плач кающегося грешника» – книжка для начинающего читателя, после которой не захочешь читать. А вот «Как стать богатым» – книжку писал человек, не имеющий ни копейки денег, но желающий иметь много. Тут и «Королева Марго», и «Прапорщик Портупей», сонники, всякие тайны. Чего только не поглощает бедный ум простого человека!

– Но вот классики, – указал Павел на две тощенькие книжечки Никитина и Некрасова.

– Классики-то классики, только изданы они будто в насмешку; бумага серая – хуже не придумать, шрифта не видно, точно таракан писал на страницах, а обложка как кусок изношенной рубахи, фу, чёрт возьми! И фабрика делает миллионные обороты. Вон в том помещении пакуют изделия, едва успевая с заказами.

Из того помещения, куда указывал Балакин, шёл, размахивая большими руками, сухой высокий человек в длинном пиджаке и широких брюках.

– Игнатий Макарович, вас спрашивали-с, – сказал старик-приказчик.

Игнатий Макарович хлопнул себя по ляжкам, повернул на бок голову и капризно вздохнул.

– Господи помилуй, отчего не сказали сразу: может быть, им некогда.

Он покосился на Касьяна Ильича, и тот увидел лукаво-добродушную усмешку. Подошёл к заведующему и назвал себя. Игнатий Макарович вытянулся и всё с тою же лукаво-добродушной усмешкой погладил усы и уже потом, будто что-то вспомнив, схватил обеими руками и сжал ладонями руку Балакина.

– Много наслышаны, любезнейший Касьян Ильич, и дельце ваше знаю, вчера встретил я Ивана Дмитриевича Сытина, и он говорил о какой-то вашей статье в журнале, где охаяны романы Пазухина, изданные нами ещё когда-то при царе Горохе.

– Позвольте, какая статья? Я никакой статьи не писал.

– Ей-богу?

– Ей-богу, не писал… – Наконец Балакин догадался: Игнатий Макарович любит огорошить нового человека какой-нибудь своей выдумкой. – Вы знаете, такая статья была лет десять назад, и написана она Пругавиным, а не мною.

Заведующий махнул рукой.

– А ну их, этих учёных, будто они что и смыслят в нашем деле. Зависть их гложет. Они на новые книжки указывают, а народ по-прежнему за наши гребётся – милее потому что это своё, истинно русское, истинно. Чем я могу вам служить, милейший Касьян Ильич?

– Да вот с сыном мы зашли поучиться, кое-что посмотрели, я ещё не говорил Павлу о том, что ваши издания мне напоминают некоторые книжки восемнадцатого века, как, например, тогда были: «Любовный лексикон», «Златой век Дафниса» или «Аптека для души», «Диоптра, или Зеркало мирозрительное». Они переводились с французского для тогдашних дворянских недорослей, а ваши издания – для современных.

Игнатий Макарович посмеялся, недоверчиво взглянув на Балакина, – не глумится ли он.

– Что вы? Разве можно сравнить те книги с нашими? Наши выдерживают десятки изданий, вон есть одна, которая выдержала сто два издания, а те, ваши аптеки-то для души, если одно-два издания только. Мы ведь, так сказать, всероссийский книжно-картинный пантеон.

– Не думаете ли вы, что на ваши книжки, картины и образа спрос скоро прекратится? Знаете, какой успех некоторых молодых издательств?

– Хе-е, это вы в своём роде пугаете, мы не боимся, от нас клиент наш не уйдёт, православная Русь-матушка с нами заедино, учиться-то вот чему надо, – он горделиво, с превосходством посмотрел на Балакина, – чтобы заедино быть с Русью.

– То есть с её невежеством? – сердито спросил Балакин.

– То есть как это с невежеством? – Игнатий Макарович замигал глазами, гневно распялил рот; у него даже хрустнуло в челюстях. – Да вы знаете, наша фирма имеет не одну благодарность и пожалования от государя императора, а также и от Синода.

– Ну, ну, не будем спорить, до свидания, – поклонился Балакин, – признаём: на наш век дураков хватит.

Он пошёл к двери. Павел уже выходил из магазина. А Игнатий Макарович, широко ступая, догонял Балакина, захлопнул за ним дверь и плюнул.

– Свинья какая, ей-богу, свинья, разозлил даже!

– Вы ведь обидели его, я не мог устоять на месте, – сказал Павел отцу.

– Ну нет, этот не обидится, он завтра же будет с тобой говорить как ни в чём не бывало: он – лакей, и вся его «Русь» – лакейская.

В книжных лавках Балакин нарочно спрашивал то, чего не могло быть. Зашли к старопечатнику. Балакин потянул носом запах старинных переплётов. Букинист сидел за книжными пирамидами – похож был на филина.

– Стариной пахнет... А у тебя, отец, есть модернисты?

Букинист ответил не сразу.

– Нет, впервые слышу о таких.

– Ну вот, как тебе не грех: модернисты у вас в Москве давным-давно гнездо свили. В Питере их тоже расплодилось немало, хорошо, что и нет их у тебя. А рукописи есть?

Букинист шевельнулся, кашлянул:

– Это найдётся.

– С миниатюрами есть? Нет? Я когда-то у Большакова купил изумительный памятник, у Вахрамеева из-под носа взял. Силин мне за него любую икону предлагал из тех, что в Третьяковку за двадцать две тысячи продал.

Букинист, ощупывая свою бороду, исподлобья весело разглядывал Балакина.

– Лукича знаете?.. А Вахрамеев мой покупатель. Нынешним летом я в гости к нему в Ярославль ездил. Ой, что у него добра собрано, батюшки! Меня даже страх взял и благоговение. А вы-то кто будете, отчего я вас не знаю?

Балакин назвал себя, выведал у букиниста всё что мог о торговле и заказал найти и выслать ему «Палею толковую».

На торговлю старопечатник не жаловался. Это удивило Балакина.

Букинист пояснил:

– Революция-то эта, как туча, мимо нас стороной прошла. Ведь и то сказать: чем больше тебе нового, модного, тем пуще старину любишь, – законное это дело.

– Поди-ка поговори с ним, – кивнул Балакин на лавку, когда они с Павлом вышли на улицу, – это ещё допетровский человек.

Невдалеке от старопечатника была другая лавка. Тут бойко торговали учебниками и новой литературой.

– Вот где цветник, а порнографии-то сколько, хоть пруд пруди!

Толстый, рябой, бойко сновавший за прилавком владелец лавки услужливо оглянулся на Балакина.

– Что вам угодно?

– Первое издание Слова о полку Игореве взял бы.

– К сожалению, нет-с, – точно выжал из себя букинист и указал на прилавок.

– К новинкам не пристрастны?

– Урожай снимаете?

– Ничего-с, половой вопрос поддерживает, слава богу, ещё погромы, голод...

– Виселицы, тюрьмы, экспроприации, – сказал в тон букинисту Балакин.

Разговаривать букинисту было некогда. Балакин повёл сына в следующую лавку, к Астапову. Старый книжник, в заячьем распахнутом полушубке, сидел в кресле у прилавка, разводил кругло руками, вскидывал смеющиеся глаза на лица двух собеседников и плавно рассказывал:

– Наконец, купил я Теребенева сохраннейшего, старинной раскраски, и по этому случаю потонул в веселии и радости, а спустя час пропал у меня Теребенев. Всё перерыл, всех переругал; народ в лавке вился, пока я в радости был, а как стал зубами скрипеть, всех будто вихрем вынесло. Я побежал вора искать, в лавке Берёзина оставил. Час бегал, два бегал, все копыта истоптал, половину книжников опросил – всё без толку. На Варварке в трактир завернул, гривенник на престол,

нутро оживил – и снова в поход. День на исходе, того и гляди лавки закроют, а я всё рыскаю. Умаялся, свет в глазах потемнел, да опять гривенник на престол – и стало светлее. Забежал ещё в две лавки, потом положил голову на плечо, язык высунул и побрёл к дому. Вдруг столкнулся со старым другом: лик добрый, бородатый – как есть Павел Александрович. Он меня и ругать, и утешать принялся: «Двенадцатитысячную библиотеку собрал, а Теребенева не имеешь». «Я, – говорю, – имел Теребенева, да тебе, другу, его в своё время уступил». Шли мы так до Китайской стены. В «Проломе» Никитич ещё книг не убирал, и вот Павел Александрович будто сокола выпустил из рукава: хвать – и вижу, Теребенев мой у него в руках. Я тут как на облака поплыл.

Пока Астапов говорил, Балакин и Павел осмотрели его небольшую лавку с хорошим подбором книг.

– Всё у него по-прежнему, рад видеть...

Астапов потянулся к Балакину, хлопнул ладонями по своим коленям и встал с кресла.

– Эх ты, гость дорогой, Касьянушка, прости, заговорился я, берёза старая, – не заметил гостя.

– А я тебя в Питер поджидал; отчего не приехал?

– Всё справляюсь, теперь ехать надо непременно. Павел Александрович заболел, а уж ему семьдесят семь годков, поеду, дело брошу, а навещу старика и к тебе зайду, да, да.

Он заботливо расспросил Балакина об издательских делах, потом заговорил о себе, прикидываясь неудачником.

– Книг накуплю – лежат, когда они пойдут, я лягу, – всегда такой разлад. Намедни даже козлу позавидовал: про того хоть говорят, что от козла ни шерсти, ни молока, а про меня и того сказать нельзя. Ой, – схватил он себя за голову, – совсем из худой скудельной головёнки деловое вылетело, ведь первую-то книжку «Аноид» я тебе нашёл. Там «Незабудочки» Хованского мне полюбились:

Я вечор в лугах гуляла.
Грусть хотела разогнать...

Старик пел, блестя глазами, притопывая ногой.

Павел засмеялся. Этот старик напоминал ему деда Ивана. Касьян Ильич предвидел долгое перепутье. Астапов сейчас решительно перейдёт на весёлую ногу, потащит на квартиру, отказаться от этого будет нельзя. В конце концов так и оказалось.

III

Балакин с вокзала поехал в «Скорлупу» (так называли служащие главное помещение издательства). Недолго поговорил с Тузовым, стариком-приказчиком; потом к нему в маленькую контору зашёл племянник, Фёдор Гаврилович Копосов.

Он тряхнул завитыми белокурыми волосами и заговорил о деревенской родне. От неё были получены письма и посылки: рыжики, треска, палтус.

Балакин помнил деревню, какой она была лет тридцать пять назад, и для него не было ничего более приятного, как вспоминать сумрачные северные леса, тихие реки, озёра, красоту летних ночей, весёлых охотников и стариков-сказителей. Каждую весну он собирался съездить в деревню, затевал переписку с роднёй об ужении рыбы, об охоте, но этим всё и кончалось.

Балакин взял от племянника письмо и стал читать.

– А, это Фёдор Серебров… просит взять в ученье сынишку. Вон как пишет:

«Гринька мой на книгах огорел бы и всё просится в город. Ты его, Касьян Ильич, возьми к себе, по дружбе возьми, озолоти тебя Бог, и сделай Гриньку человеком».

– Друг пишет. Как думаешь, Фёдор, сделаем мальчишку человеком?

Копосов опять тряхнул завитыми волосами и бойко сказал:

– Что тут, дядюшка, думать? Говорят: сусло не брага, а молодость не человек. И то сказать, что из одного дерева и лопата, и икона. Ведь деревня, дядюшка, так рассуждает, что в лесу дуб рубль, а в столице по рублю спица.

Балакин засмеялся.

– Ну и балагур ты, братец! Не про тебя ли есть поговорка: «Уела попа грамота».

– Про меня, дядюшка, есть немало поговорок. Даже в Писании сказано: «Язык мой – враг мой», но, с другой стороны, балагурство – дело весёлое.

– Так, а сколько у нас мальчиков?

– Пять пострелёнков. Четыре живут при родителях, а пятый, Купидоныч, у нас на квартире.

– Ну что ж, возьмём шестого; напиши Сереброву.

Спустя недели две Копосов заметил в «Скорлупе» мальчика в дублёном полушубке. Он только что вошёл с берестяным коробом в руках и о чём-то говорил с Тузовым. Короб был покрыт налётом инея.

– Фёдор, принимай гостя, – сказал Тузов.

Копосов закурил сигару и повёл земляка в заднюю часть «Скорлупы», отделённую от полок и прилавков с книгами тонкой перегородкой. У мальчика был немного дикий, удивлённый вид. А Копосов вертел во рту сигару и с усмешечкой ободрял:

– Ну вот и приехал… «карош молодес».

Он любил коверкать слова, находя в этом забавное сходство с говором знакомых немцев, и хотел быть похожим на них; потому стал курить сигары, закручивать кверху усы и называть русских «ржаным тестом».

– Каков хаупштат? Каков, а?

Мальчик, по-петушиному косясь, смотрел на Копосова.

– Капиштат? – с трудом выговорил: – А я не знаю.

Фёдор Гаврилович посмеялся и указал на табурет.

– Садись. Григорьем тебя звать? Сколько лет в школу ходил?

– Четыре.

– Та-ак… Географию знаешь? Германию примерно?

Гриша обрадовался.

– Знаю, я все города и реки знаю.

– А-а, ладно. А когда была битва при Калке?

– При Калке? Это с татарами?

«Ох, хорошо, что я помню, – подумал Гриша, ответив Копосову, – а то, пожалуй, отправили бы обратно в деревню».

Пошли в кабинет к хозяину.

Балакин вышел из-за стола, вплотную подошёл к мальчику, и когда тот неловко протянул ему руку, он засмеялся, крякнул:

– Ах-х, деревней пахнет: дымком, лесом. Вот и я однажды в таком же полушубочке прикатил на возу рябчиков, такой же пучеглазый, круглый, и всё было чудно тогда.

– Очень даже, дядюшка, – торопливо согласился Фёдор Гаврилович и кивнул на Гришу, – хорошо грамотный он.

Касьян Ильич зорко оглядел мальчика, провёл рукой по его голове.

– Ладно, будем жить, работать; приметы знаю, можете идти. Ты, Фёдор, его преобрази, но не обнемечивай очень, следить буду.

Копосов почтительно улыбнулся.

– Всё в меру, дядюшка; правила ваши памятны.

Гриша вышел красный и взволнованный. Казалось, этот важный человек, Касьян Ильич, в костюме цвета голубики, так же ощупывал его голову, как это делают в деревне охотники, оценивая собак.

В «Скорлупе» у прилавков покупатели смотрели книги, тихо разговаривали с приказчиками. За перегородкой мальчик Колька, пухленький, стриженый, прозванный приказчиками Купидонычем, разливал в стаканы и кружки чай. Принимаясь резать ситный, он дружески взглянул на нового мальчика.

– Садись пить чай.

Купидоныч ловко хозяйничал; казалось, он знатный книжный мальчик. Гриша дивился его ловкости, любовался на его курточку и никелированную пряжку ремня. Соблазнительно пахло свежим ситным и лимоном. Или от этого, или от дыма сигары Фёдора Гавриловича чуть-чуть кружилась голова, и Грише почему-то вспомнились щенки отцовской собаки Калачихи, которых он принёс в первый раз в избу. Он сам теперь похож на щенка. После чая Копосов надел пальто с каракулевым воротником; не надел, а повесил будто на голову щегольскую шапку и, закручивая усы, свысока сказал:

– Ну-с, землячок, поедем за обновками.

Гриша проворно вывернулся за Фёдором Гавриловичем на морозную, звонкую улицу и остолбенел от утреннего петербургского рокота. Люди, маленькие, большие, будто катились по посыпанному песком тротуару. «Шаростит как», – подумал Гриша и покачнулся от толчка какой-то шубы. Тут же наскочил на него мальчишка в переднике и надвинул ему на глаза шапку. Гриша резво взмахнул ногой и кого-то

пнул; его стали ругать, а мальчишка в переднике был уже шагах в десяти, дразнился, надувая шаром своё обмороженное толстое лицо. С досады Гриша потерял Копосова и стал метаться в веренице людей.

– Пожалуйте, пожалуйте, ваша милость, – простуженными голосами кричали извозчики, сидя пухлыми тумбами на санях. Фёдор Гаврилович торговался с извозчиками. Гриша подбежал к нему, когда весь густо заиндевелый бородач откидывал полость саней. Затем началось чмоканье и жидкое потряхивание кнутом.

Мальчик смотрел на ровные, как отсечённые, линии домов, стройные и лёгкие, рокочущие улицы в светлой морозной пыли, пыхтящие паром двери ярких магазинов. «Всегда праздник здесь», – подумал он и вздрогнул от храпа лошади над своей головой. Мимо пронёсся, обгоняя их, блестящий вороной рысак с пышным кучером и сзади него человеком в бобрах. Мальчик залюбовался.

– Ух ты-ы, как летит! – И на одну секунду важный Фёдор Гаврилович показался ему маленьким, незначительным.

В рядах Апраксина рынка, в полутёмном готового платья магазине, с сияющими манекенами, с чучелами, соломенным светом лампады, с продавцами, стерегущими покупателей, как добычу, Фёдор Гаврилович выбирал Грише курточку. Рыжеусый вёрткий приказчик в чёрных валенках, как резвый кот, легко вертелся около Гриши, примеривая курточки. Его руки точно пытались слегка щекотать мальчика, хотелось смеяться. Фёдор Гаврилович с решающим видом оглядывал курточку, требуя наилучшую добротность.

– У нас такие порядки: человек ещё грош стоит, а мы на него рубль готовы потратить.

– Правильно-с, – согласился приказчик, одёргивая надетую на мальчика курточку, – хороший товар сам себя хвалит! Видите-с, чудесно всё, извольте-с, свой глаз – алмаз.

Гриша успел влюбиться в курточку чёрного солдатского сукна и подумал о ремне с блестящей пряжкой. Копосов стал торговаться, назначив цену почти вдвое меньше той, что спросил продавец; он пошёл к двери, затем вернулся, подхваченный под руку продавцом, который с отчаянным видом просил прибавить.

– Хоть весь свет обойди – дешевле не купить. У меня правило: чем дешевле продал, тем богаче будешь. Знаем и то: не сходно, не сходись, а на торг не сердись.

– Понятно, – пробасил Копосов. – Деньги не щепки. Говорят, что алтын пробивает тын; знаю я цену, – дорого спросил. До свидания.

Продавец снова уцепился за покупателя.

– Пожалуйте, пожалуйте, непреклонный какой, ах господи! Купить – купит и внучек, а продавать – дед намается…

Они ещё долго торговались, трясли и мяли курточку, в конце концов она потеряла в глазах Гриши половину своего великолепия.

Фёдор Гаврилович платил деньги и с превосходством ворчал:

– Отживший обычай – запрашивать; нигде этого в культурных странах нет; возьмите Германию…

Продавец хитро усмехнулся.

– Нам Германия не указ, мы – матушка Русь, политика-с... В другой раз пожалуйте, дёшево купили, гостите!

– Ваши гости, – важно и весело сказал Копосов. – Русский карош человек.

За дверями магазина рыночная толпа кружилась в торговом азарте, будто принималась разбивать бочки с золотом. Фёдор Гаврилович оглянулся и, прищурясь, потянул носом воздух. Вдруг лицо его стало трусливым, он отвернулся к окнам магазина, поднимая воротник пальто.

– Господи, пронеси, – прошептал он и минуты две стоял, прячась от кого-то, потом боязливо взглянул на женщину в шляпе с зелёными перьями, прошедшую мимо, обрадованно вздохнул и заторопился.

– Ну, землячок, домой!

Гриша всю дорогу думал о страшной для Копосова женщине.

IV

В комнате было жарко натоплено. Пахло краской сыроватых ещё обложек, принесённых Лукой Корытовым из типографии. Лука в чёрной рубашке без пояса стоял у круглого большого стола, разглядывал обложки, изредка потряхивая ниспадавшими на лоб космами волос. Разглядывали обложки Гриша и Купидоныч. Лука говорил им о цвете, рисунке, посмеивался над их вкусами и называл обоих первобытными графиками.

Гришке нравилось самоё слово «график», особенно в передаче Луки. Он как-то мягко выговаривал его. Слово казалось немножко тягучим, и будто оно оплетало тонкие насмешливые губы Луки.

Напротив Луки сидел Матвей Иванович Козырев, пил чай со стручковым перцем и водкой, кряхтел, обливаясь потом, поминутно вытирая платком лицо и мокрую бороду.

– Эх, взялся я сегодня по-настоящему за простуду – тоже графика, можно сказать, – уж я её выгоню, подлую.

Рядом с Козыревым сидела его жена, Наталья Ефимовна. Она в два раза была толще своего мужа и на голову выше – строго смотрела на него и ворчала.

– У тебя всё простуда. Лишь бы выпить присловно было, когда же денег-то на пальто дашь? Оборвался до крайности и не беспокоишься.

Козырев пообещал дать денег через два дня и выпроводил жену к Елене Ивановне. Уходя, она погрозила, стуча кулаком по столу:

– Смотри, не будут деньги, тогда разделаюсь я с тобой.

Вошла дочь Балакина, Саша, в коротком гимназическом платье. Лука загромыхал стульями, выбирая получше стул.

– Вот, пожалуйте, Александра Касьяновна, – самый наилучший.

Саша дёрнула плечом в сторону Корытова.

– У, несносный кривляка, всегда что-нибудь...

Лука отскочил от стула и с притворно убитым видом, склонив набок большую лохматую голову, декламировал, бегая по комнате:

Ручей журчит. Кто скажет вам, о чём
Журчит ручей? А я скажу. Он плачет,
Стыдясь своих убогих берегов,
Где хижины печальнее могил
И где могил в сто раз больше хижин.

– Это китайские? – спросил Матвей Иванович. – Ишь ты, там не только чай, есть и стихи.

Саша оглянулась.

– У вас новый мальчик? Я зашла познакомиться.

Гриша прятал свою наголо остриженную голову за двухведёрный красной меди самовар и, поблёскивая глазами, как зверёк, смотря на Луку и ещё больше на Сашу. Его удивляли белизна лица этой темноволосой девушки, задор, живость в её движениях. Она подвинулась к мальчику.

– Как тебя звать?

– Гришка, фамилия Серебров.

– Ну здравствуй! – Мальчик сжал Сашины пальцы. Лицо и уши его покраснели от восхищения.

– Так, Гриша, стой! – Саша вскинула глаза вверх. – Я тебя буду звать Серебряный Грош. Хочешь провожать меня в гимназию? Но если не будешь слушать, поколочу, будешь слушаться – вот и хорошо.

Она взглянула на Луку, который уже сидел на своей койке с книгой, и подсела к Козыреву.

– Скажите, Матвей Иванович, что вы будете делать в праздники? А я – знаете, что? Я обязательно в Святки на тройке покатаюсь: брат моей подруги дал честное слово, что устроит поездку, ей-богу.

– Я верю, верю, – кивнул с неподвижной, доброй улыбкой на своём широком сером лице Матвей Иванович.

– Хорошо на тройке, это действительно. А я в праздники поступаю в распоряжение Натальи Ефимовны. Она, знаете ли, женщина строгая, пышная, в праздники по целым дням ходит пешком к разным людям. Одни живут за Невской заставой, другие за Нарвской, до третьих и четвёртых на тройке не доскачешь, и вот ходим. Моя Ефимовна охает да потом обливается, потому я её Снеготаялкой зову; эту Снеготаялку я в конце концов где-нибудь обманом оставлю и закачусь к дружкам-книжникам на воссияние праздничное.

– А Лука Панкратьич будет в праздники, как старик, Библию читать, – подразнила Саша, – он скоро проповедником станет.

– Ого-о, пташечка, – отозвался Корытов, выставляя напоказ свой хитрый выпуклый подбородок и тонко вырезанные губы.

– Ты угадала, я буду проповедовать кое о чём.

– Я думаю, вы скоро совсем закиснете со своими умными книжками. Какой вы чудак, право!

Лука мотнул волосатой головой.

– Спасибо за сочувствие; давеча Наталья Ефимовна говорила что-то такое же. Смотрите, у вас явно выражены задатки будущей добродетельной дамы.

– Неправда, неправда, – топнула Саша. Она покраснела и сжала кулачки, – зачем Лука сравнил её с некрасивой Натальей Ефимовной.

– Послушайте, Матвей Иванович, докажите, что Лука говорит неправду, скажите.

– Кех-кех, – смеялся Козырев, просунув руки в дырявые карманы короткого пиджака. Мальчишки тихонько потешались, как болтаются кисти рук Матвея Ивановича.

– Охота вам, Саша, с Лукой разговаривать, ведь он человек с подковыркой.

Саша прыснула от смеха.

– Хорошо, хорошо. Ай, ай, с подковыркой, с подковыркой! – кричала она, убегая.

Лука подошёл с папиросой прикурить от лампы и ворчал:

– Попрыгунья, а ничего девчонка.

– Да, – согласился Матвей Иванович. Он протяжно зевнул и стал раздеваться. – Пора, ребята, спать.

Потом, закрывшись одеялом, он благодушно пыхтел:

– Господи, помилуй меня, хорошего человека.

Мальчики тоже ложились. Они так же, как Матвей Иванович, медленно развешивали свою одежду на спинках стульев.

– Матвей Иванович, – сказал Купидоныч, – я тебя всё думаю спросить...

– Ну, что спросить?

– Отчего это Фёдор Гаврилович спит в белом колпаке и в длиннющей рубахе?

– Глуп ты, паренёк, это значит по-немецки спать.

Лука продолжал читать. Гриша взглядывал на неподвижный суровый профиль Луки, какая огромная тень лохматой головы на стене. «Вот они, городские», и мысли о городе, о новых людях приятнее сна. Фёдор Гаврилович, Козырев и даже Лука – хорошие люди. Грише хотелось заговорить с Корытовым о Саше, хотелось спросить: почему он с нею неласков, но, взглянув на мрачную корытовскую тень, вздохнул и закрыл глаза.

Из хозяйской половины доносились неясные звуки голосов.

Пришёл откуда-то Копосов, живший в отдельной комнате; он мыл в кухне руки и басом разговаривал с кухаркой Анисьей. Матвей Иванович мягко храпел и как-то занятно шлёпал губами, отчего похоже было, что он всё время повторяет чуть слышно: «Шу-б-ба, шу-б-ба».

Корытов тихо встал с кровати, взял с полочки бумагу, карандаш и сел к столу. Закурил от лампы, подумал и стал писать. Писал, зачёркивал, что-то ворча, и снова писал. Гриша ещё раз взглянул на Луку и подумал, что Лука пишет кому-то сердитое письмо.

V

На улицах постепенно обрывалась линия горящих фонарей; там, где они ещё горели, отчётливее серебрился рассвет. Синели окна домов. Дворники сеяли на тротуар песок, потряхивая заиндевелыми совками. Снимались с окон лавок ставни, распахивались запушённые морозом двери; из них выглядывали тёплые, окутанные паром лица торговых людей. Требовалось по привычке, по обычаю постоять в дверях, ухнуть – похвалить мороз, покреститься и ощутить в себе доброту, деловитость и надежду на славные прибыли. Крестились, глядя на церковь или на часовню, где у ступенек под арочкой толкались старушонки, о чём-то ворковали с монахом, напоминающим старый, сухой столб, и с умилением взглядывали то на монаха, то на блеск свечей в сумрачной часовне. На укатанной, хрупко-белой и тихой улице то там, то сям показывался легковой извозчик. На перекрестках, в узле улиц, где горел костёр и стояли неподвижные, тяжёлые фигуры городовых, торопливо сновали люди. Слышался звон бубенчиков мохнатой от инея тройки, пробирающейся мелкой, усталой рысью домой после лихой ночной поездки. У булочных скулили бродячие собаки, вытягивая свои слезящиеся морды, жадно нюхали аромат горячих булок.

Таковы были улицы, когда служащие Балакина шли в «Скорлупу» и там слушали наставления старшего приказчика Карпа Осиповича Тузова.

Гриша запоминал жёсткий, рассыпчатый голос Тузова: точно горох рассыпал старик по прилавку. Один за другим приказчики, мальчики уходили кто наверх, кто в склады во дворе, кто в экспедицию. Иные с заказами в издательства, в типографию, в переплётную.

Карп Осипович стоял за прилавком в своём ватном, сером от бумажной пыли, пиджаке и позеленевшей от времени барашковой шапке, надетой набекрень. Когда Тузов привычно совал за ухо карандаш, его строгий красный нос и клочковатая борода опускались к прилавку. Карп Осипович делал вид, что просматривает новые книги; на самом деле он прислушивался, сличал – так ли, верно ли наведён, начат сегодняшний день.

Гриша подвинулся к Карпу Осиповичу и спросил:

– Что мне, дядюшка, делать?

Старик как-то сверху строго оглядел мальчика и кивнул насмешливо.

– Моё почтение, племянничек! Иди в экспедицию, там тебе укажут. Пошёл!

Ему мальчик был неприятен потому, что он земляк Копосова, который всеми силами добивается старшинства. Карп Осипович не хотел уступать никому этого старшинства, особенно такому форсуну Копосову.

Гриша разыскал экспедицию, где работало человек шесть, упаковывая книги для провинции. Вслед за ним пришёл Копосов и провёл Гришу по всем складам. Там лазали по полкам мальчики, подбирая по списку и карточкам книги.

– Вот тут тебе азбука, – сказал Копосов, – гляди и вникай. Утром ты с ребятами будешь делать уборку помещений, и они уже тебя научат, как вести подборку книг; вон на столе алфавит возьми, вызубри для начала.

Гриша взял со стола большой истрепанный кусок картона с потускневшими буквами алфавита. Мальчики переставляли лестницы, проворно взлетали вверх, что-то кричали. Потом один-двое уносили книги, возвращались с новыми списками.

– Пополнение едет, пополнение! Сорок пачек привезли, – крикнул рослый черноволосый подросток Федька.

«Пополнение, – подумал Гриша, – а мне снова азбуку надо учить». Он смотрел на черноволосого, тот подходил к нему, что-то жевал своим большим ртом и с озорством усмехался. Всё в нём было для Гриши чужое, хитрое. Вдруг Федька выхватил из его рук алфавит, помахал им и спросил:

– Выучил аль нет?.. Погляди-ка туда, – указал он в потолок, – сразу всё вспомнишь.

Гриша взглянул на потолок, а черноволосый ловко ударил его по подбородку и захохотал.

– Смотрите, зевака, зевака стоит.

У Гриши потемнело в глазах, он вцепился в Федькину грудь обеими руками и дрожащим от обиды и стыда голосом кричал:

– Ты зачем, зачем дерёшься, змий?

– Отстань, а то я загну тебе титул, – погрозил Федька, накладывая руку на лицо Гриши.

– Ты, Федька, брось, – сказал Купидоныч строго, – а то Копосов тебе самому загнёт титул, а то и фронтиспис распишет.

Вдруг около учеников появился Тузов.

– Что это у вас, а? – сердито тряхнул головой старик и молча стукнул сухим кулачком по голове Федьку, потом Купидоныча и шагнул к Грише.

– Ты не пяться, не пяться – и тебе надо на орехи.

Гришка получил подзатыльник, заплакал и пошёл разыскивать Фёдора Гавриловича.

– Стой! Ты куда, шельмец, – крикнул Тузов, – деревенщина несчастная? Федька, покажи ему… и вы все подучивайте делу.

Когда Тузов ушёл, Федька показал Грише кулак.

– Тютя, ужо я тебе тузовское огниво припомню.

«Какое огниво?.. – подумал Гриша, довольный тем, что Федьке попало от старика. – Ну а мне то за что? Да и Кольке тоже…»

Колька уже стоял на лестнице со списком в руках. Он наклонился, подавая Грише книги.

– Подержи и следи за мной, алфавит-то брось; если плохо помнишь, тогда дома вызубришь.

Гриша обрадовался, торопливо вытер кулаком слёзы и влюбленно стал смотреть на Купидоныча, который объяснил, что книги поставлены по алфавиту и что ставить их так и потом искать – это дело мальчиков.

– Ты меня поучи, Коля.

– Ну-ну, научишься.

– А про какое огниво Федька сказал?

– Огниво… известно – кулачок тузовский так зовём: заогнивит по голове, и у тебя искры из глаз, понял?

Грише вдруг стало скучно; он оглянулся и спросил:

– А фронтиспис что такое?

– Это в книге рисунок рядом с титульным листом; я тебе после покажу. А то мы зовём лицо фронтисписом.

– Фронтиспис, фронтиспис, – бормотал про себя Гриша, – а ещё титульный лист.

Думалось, что он уже приобрёл некоторые знания, и хотелось, чтобы Купидоныч и также все другие показали ему, как и что делать. Но старик Тузов предпочитал свою путаную систему обучения мальчишек. Он был убеждён, что каждый мальчишка должен не раз быть побитым, осмеянным, униженным, и только тогда из него выйдет настоящий человек. Он любил подкреплять своё правило поговорками: «Не выросла та яблонька, чтобы её черви не точили», «Не узнав горя, не узнаешь и счастья».

Гриша догадывался, что здесь его не скоро признают своим человеком. Он хотел быть осторожным, ловким и хитрым, а на самом деле ничего не удавалось. Ему на голову нарочно роняли книги и приказывали поднимать. Без надобности гоняли по складам. Подставляли ногу, когда он бежал, и смеялись, если он обижался. Нарочно посылали его за чем-нибудь совсем не туда, куда следовало, и там над ним смеялись. Каждый новый день был день стыда и забот, и он, измученный насмешками и работой, вечером засыпал за чаем. Несколько раз он дрался с Федькой, но после каждой драки его ещё больше дразнили. Было смешно видеть, когда он, маленький, с яростью кидался на великана Федьку; тот скоро подминал его под себя. Для мальчиков Федька был второй Тузов. Он как бы шутя научился так же ловко «огнивить», как это делал старик. Если кто обижался и ревел, того Федька называл слюнтяем, а более стойких награждал: у него всегда были в кармане деньги и сласти. Подозревали, что он крадёт книги. Перед праздниками попался. За неделю до этого Федька послал Гришу передать список Тузову.

– Да скорей, – кричал он вдогонку, – живо! – и подмигнул мальчикам: – Сейчас ему, простофиле, Тузов покажет огниво.

Но Гриша на этот раз не оказался простофилей. Вместо него в склад прибежал, грозно топая, Карп Осипович.

– Где эта скотина, где скотина? – крутил головой старик.

Никогда ещё не видели его таким свирепым, и бил он Федьку ладонями по обеим щекам, приговаривая:

– Я тебе, «козел», я тебе, «старый чёрт»!

– Ты что сделал? – спросил Купидоныч Гришу. – Ты список нёс?

– Вовсе не список: Федька написал ругательства, а я за него подписался и незаметно подкинул Тузову.

Купидоныч удивлённо таращил глаза. Гриша сразу, казалось ему, вырос на голову; и в самом деле, с этого дня он был признан в «Скорлупе» своим.

Перед праздниками его с утра оставляли в квартире помогать кое в чём служанке Анисье. У Анисьи было широкое свирепое лицо, она нюхала табак и утром за чисткой хозяйского платья на площадке лестницы гулко чихала на весь дом и приговаривала торопливо:

– Ах, травничок те в ноздри.

Гриша смеялся. Служанка казалась ему доброй и забавной.

Она кидала мальчику хозяйкину шубу и грозила:

– Я тебе посмеюсь ужо…

Между делом рассказывала ему о прошлогодних рождественских событиях. Тогда у хозяйки Елены Ивановны в церкви вытащили кошелёк с деньгами и пьяный дворник откусил другому дворнику кончик носа.

Накануне праздника везде была особенная чистота, а в жаркой кухне росли горы мороженой птицы, окороков, овощей, фруктов.

В этот день, придя в «Скорлупу», Гриша увидал высокую женщину в шляпе с зелёными перьями. На руках у женщины был хорошо укутанный в кашемировое одеяло ребёнок. Фёдор Гаврилович поспешно увёл женщину за перегородку. Вскоре она ушла, но уже без ребёнка. Копосов выскочил вслед за ней на улицу. Через минуту вернулся и пробежал наверх.

Ребёнок разревелся. За перегородку заглянул Тузов и поднял крик:

– Что за безобразие, кто ребёнка оставил?

Вышел из конторы-кабинета, провожая важного человека в шубе, Касьян Ильич.

– Ребёночка нашёл, старина? – спросил он.

– И впрямь, Касьян Ильич, нашёл чей-то грех, ей-богу.

– Неужели? Чей же это грех? Позови сюда всех грешников и праведников.

Служащие столпились около ребёнка. Пришёл и Копосов. Карп Осипович видел женщину в шляпе с перьями и странное поведение Копосова: он раздвинул у лица ребёнка одеяло и радостно объявил:

– Глядите, вылитый Фёдор Гаврилович.

– Врёшь, – сказал Копосов, краснея и с ненавистью глядя на Тузова.

– Тебе не доказать, что это мой ребёнок, но, чёрт возьми, если никто не признается, тогда я возьму вину на себя, пусть я буду козлом отпущения.

– Какое великодушие, – сказал Балакин, – уж сделай милость, свези находку на квартиру – сдай Анисье,

– Нет, дядюшка, бога ради, – взмолился Копосов, – я скорей сквозь землю провалюсь, а не повезу.

Поручили везти на квартиру ребёнка Грише.

VI

В ближайшем приходе звонили к ранней обедне. Квартира спала. Елена Ивановна была возмущена: никто не думал о Боге, даже племянник Фёдор… Он раньше ходил в церковь, а теперь предпочитает церковной службе концерты Архангельского, да иногда заходит в немецкую кирку послушать орган. Обижаясь на взрослых, Балакина велела Анисье разбудить мальчиков. Вскоре Купидоныч и Гриша послушно шли следом за хозяйкой в церковь.

На белой, пушистой от выпавшего снега улице, в тусклом свете газовых фонарей шевелились степенные фигуры людей. Они в одиночку и кучками выходили из ворот домов и крестились. Елена Ивановна, глядя на них, тоже крестилась. Гриша шёл за пышной фигурой хозяйки и не понимал, зачем она без толку крестится. Надо креститься с толком, вовремя. Вот у него отец… прежде чем выстрелить в белку, он медленно крестился и говорил: «Господи благослови, Никола-угодник…» И выходило это у него толково и ладно.

Пока хозяйка и мальчики ходили в церковь, в квартире все встали. Касьян Ильич, в тёплой вязаной рубашке и туфлях, вышел из кабинета и встретился с Сашей.

– Ах, детка-репка, – я тебя разыскивать пошёл.

– Я уже к Анисье сбегала, папаня. Пойдём на ребёночка смотреть, ну, кто от кого?… – Они, смеясь, побежали на кухню.

У приказчиков шумела жена Козырева, она привела маленького человека, с синяком под левым глазом.

– Пальтецо вышло на славу, – говорил он, – и долго потряхивал и дул на воротник пальто, прежде чем надеть его на плечи Козырева. Наталья Ефимовна, пыхтя, озабоченно повертела мужа (он был удивлён обновкой) и укоризненно оттолкнула его от себя.

– Рад, небось, а, кабы не я, не видать бы тебе этакой вещи, пьянице окаянному.

– Будет, будет, понял, – решительно остановил жену Козырев. – Пошла домой, пальто, кажется, тебе больше нужно, а не мне.

– Пойду, пойду, не капризничай. – Она ещё раз оглянула мужа в новом пальто.

– Я буду ждать, приходи, как справишься.

К двенадцати часам собрались служащие Балакина. Это были любимые гости Анисьи.

– С праздничком, с праздничком, – гудело в передней, и свирепое лицо Анисьи теперь было не свирепое, а торжественно-радостное. Платье и передник широко топырились и шелестели; поскрипывали новые башмаки; казалось, у Анисьи везде трещат кузнечики. Чихала она, как всегда.

– Будьте здоровы, Анисья Семёновна, – слышалось со всех сторон.

– Ладно уж, – отмахивалась Анисья.

К Луке и Матвею Ивановичу вошёл, кряхтя и греясь, Карп Осипович в манишке и длинном сюртуке, пахнущем нафталином.

– Ну, как Копос, Фёдор Гаврилович? Этакая ему статья выпала, ха-ха! Сигару какую поднесли!..

Заметив Кольку и Гришу, Тузов решил дать им по конфетке. Вспомнил, что у него ещё осталось несколько конфеток с прошлого года или, может, с позапрошлого. Долго рылся в кармане сюртука и рассказывал, как благолепно он начал сегодняшний праздник.

Наконец вынул из кармана какие-то две измятые лепёшечки в бумажках, дал мальчикам, погрозил:

– Не будьте как Федька. Этот мошенник, оказывается, много книг на Александровский рынок перетаскал.

– К кому? – спросил Козырев.

– К Отцу родному, как слышно.

– Был такой, отлично знаю. Он только ворованными книгами и торговал. Бывало, этот Отец родной не один десяток ребят научил книжки воровать. Уговорит в первый раз украсть, а потом уже мальчишка у него в руках. Были там ещё Братья-разбойники, у которых я мальчиком работал. Те тоже ворованные книжки покупали.

– А Дуба знаешь? – спросил Тузов.

– Как не знать: вечно на камени седоша со своей книжной выставкой. Камень-то отшлифовал задом так, что лучше ничем не отшлифуешь.

– Ему не холодно зимой было на камне? – спросил Гриша.

– Какой ему холод... Он раз сорок за день бегал в трактир выпить и пил всегда рюмочку за три копейки. Самые любимые покупатели были у него мужики; для них он держал почтенные духовные книги. «Тебе, милый, полную Псалтирь надо?» – спрашивает, бывало, Дуб мужика и лезет за книгой. Выберет постарше да потолще, погладит, обдует её, снимет шапку и перекрестится. Мужик тоже крестится, и оба начинают рассматривать Псалтирь. «Видишь, милый, что тебе даю, – говорит Дуб, – книга что дверь дубовая, а печать? Слепой прочитает; напечатано – будто топором нарублено». – «Ладно, сколько же за такую?» – «Клади трёшницу без запроса». Мужик вздыхает: «Возьми полтора». – «Что-с? Полтора за эту книгу, что ты, леший! – обижается Дуб и тяпнет книгой по мужицкой голове. – Ещё полную спрашивает». Мужик в задор: «Что ж ты форсишь? Я могу и два рубля дать». «Уж больно обидно за книгу», – ворчит Дуб. Потом сойдутся на двух с полтиной и расстанутся приятелями.

– Верно, так, – смеялся Тузов и кивнул на дверь, – кажется, собралось уже всё стадо балакинское; значит, пойдём поздравлять хозяина.

VII

У Елены Ивановны были свои гости: богомолки и странники. Пригласили Луку прочесть что-нибудь из Библии. Лука выбрал Песнь песней, перекрестился, косясь на слушателей, и начал:

Да лобзает он меня лобзаньем уст своих, ибо ласки твои лучше вина...
О, ты прекрасен, возлюбленный мой. И ложе у нас зелень...

Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви...
Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня...

Глуховатый старик, странник Евдоким, крестился, а великанша-богомолка, строгая, важная, поглядела на хозяйку и толкнула Луку.

– Да ты что читаешь-то, разбойник?.. Похабщину?

Все заволновались и зашипели на Луку. Два дворника, приглашённые Еленой Ивановной на чтение, стояли у двери столбами и закрывали рты шапками.

– Да ведь Библию же вам читаю, – сердито развёл руками Корытов.

Елена Ивановна, краснея от досады, подозвала Гришу.

– Возьми-ка, дружок, смени Луку, прочитай из другого места.

Лука поклонился и ушёл.

Гриша бойко, залпом прочёл страницу и боязливо взглянул на хозяйку; она одобрительно кивнула ему. Вдруг кто-то ткнул его пальцем в бок. Увидел Сашу; она приятельски улыбнулась и сказала:

– Молодец, Серебряный Грош.

Богатырского вида богомолка тоже похвалила:

– Хорошо, звонко читает малец, – и с добротой посмотрела на него, потом на Сашу, которая что-то допевала и пощелкивала языком, бесцеремонно разглядывая компанию матери.

– Посиди с нами, старушками, красавица.

– Некогда, мать Фёкла, да и невесело у вас.

Богомолка подняла огромную свою руку, будто собиралась благословлять, и погрозила тяжёлым пальцем.

– Смиренности научись, красота да весёлость с грехом рядом живут; всё немощно, тленно будет, тленно-о!..

Саша засмеялась, глядя на смешной большущий палец богомолки и её цветущее мужицкое лицо.

– Ты, мать Фёкла, на богатыря Микулу похожа, а говоришь о тленности.

– Саша, как тебе не стыдно, – вздохнула Елена Ивановна, краснея за дочь.

Под богомолкой затрещал стул, и она натужно засмеялась, упирая острые глаза в Сашу.

– Ой, язык, ой, язык-хулитель, смеёшься над греховным видом моим; пощусь я, молюсь до пота, а всё ещё Господь наказует меня видимостью такой. Терпелива я, голубушка, ой как терпелива; озорники на улице зовут меня «квашнёй монастырской», и я терплю. И от тебя стерплю.

Вошёл странник с огромным железным посохом, похожий на колдуна; он что-то бормотал, благословляя всех, мимоходом поцеловал руку хозяйки и заговорил быстро, как-то по-птичьи:

– Из полиции я, мать, из полиции только что выскочил.

Елена Ивановна испуганно обмахнула лицо платком.

– Что случилось, отец Семён?

– Что случилось? Подшутили добрые люди, книжечки божественные я раздаю за мзду малую, мать, сама знаешь, в сумочке ношу. И вот в книжки-то эти враг человечий насовал листков крамольных: где-то я её повесил с недоглядкой. И так ловко в серединку книжек вложили эти листки. Ну, значит, полиция и дошла. «Ты, – говорят, – что, святой отец, остуду на людей наводишь?» Книжечки мне в нос суют. Тут я и завертелся, рабок Божий, насилу выскользнул. Три дня с ворами да пьяницами в шашки играл: спасибо, особа большая заступился! «Быть того, – говорит, – не может, чтобы старец Семён крамолу разводил. Выпустить». И выпустили.

Елена Ивановна перекрестилась, перекрестились и все богомолки.

– Спаси, Господи! Так где тебе такую подлость сделали?

– Все места, где бываю, заставили указать; только тебя не указал, матушка Елена Ивановна.

– У нас некому, – скромно сказала хозяйка.

Богомолка Фёкла покосилась на неё.

– Некому, говоришь? А волосатый-то, что читал здесь похабщину? – И она, подражая Луке, съёжилась, растопыря свои огромные руки: «Засвежите меня, ибо я изнемогаю от любви».

Елена Ивановна смущённо встала, обмахнула лицо платком и поклонилась.

– Пожалуйте кушать, Божьи люди.

Все чинно пошли за хозяйкой. Гриша заглянул в свою комнату. Там был один Лука; он сидел у стола и писал. На столе лежали развёрнутые книги. Корытов был в своей обычной косоворотке и русских сапогах.

– Пошли монахи обедать, – сказал Гриша.

Лука продолжал писать, потом он внимательно-строго поглядел на мальчика. Не обиделся ли Лука, что он сменил его за Библией?

– Та-ак, скажи, Гриша, о чём рассказывал странник с железным батогом?

Мальчик рассказал всё, что слышал. Лука морщил в усмешке губы, – он был доволен. Наверно, Лука и насовал в книжечки старику крамольных листков, догадался Гриша. Послышался стук в дверь.

– Войдите, – крикнул Лука.

За дверями пошептались, затем в комнату вошли Саша, в беличьей шубке и щегольской шляпе, и тонкая розовая девочка, с большими зеленоватыми глазами, просто одетая.

– Лука Панкратьич, позвольте вас познакомить, – это моя подруга Таня, я ей много рассказывала о вашей учёности, она в восторге…

Корытов поклонился.

– О, я и не подозревал у Александры Касьяновны таких очаровательных заблуждений в отношении меня; если бы вы, Касьяновна, были моей ученицей, то меня, вероятно, пришлось бы так же бить палкой, как бил Диоген одного учителя за непристойное поведение его ученика.

Обе девушки засмеялись, взглянув друг на друга, очень довольные, Саша сказала:

– Лука Панкратьич скромничает; он всего Пушкина наизусть знает.

– Правда? Это замечательно, – сказала Таня, – я, знаете ли, ужасно люблю стихи.

Корытов поклонился.

– Конечно, кто стихов не любит. Наверно, вы в ночь на свои именины читаете первую часть Онегина, не так ли?

Таня озадаченно взглянула на подругу – потом на Луку.

– Как это верно! Откуда вы знаете?

Саша, резвясь, захлопала в ладоши.

– Браво, браво! – и как бы удивилась, заметив любопытную рожицу Гриши.

– А вот ещё Серебряный Грош! Ты что поделываешь? Карп Осипович много подарил конфет?

– Да одну, деревянную, я не мог разгрызть.

Саша провела рукой по Гришиному подбородку.

– Дурачок! Ну, Таня, пойдём, пора, – посмотрела на часы – подарок отца на Рождество, и смотрела не потому, что важно было знать время, а просто хотелось полюбоваться хорошенькими часами, и кивнула Луке; обе девушки ушли.

Теперь Грише уже нечего было делать в квартире, и он побежал на улицу. «Какой счастливый Лука, – думал он, – Саша его показывает своим знакомым как чудо. От книжек он такой, много читает».

На улице вспыхивали один за другим газовые фонари. Из-за углов домов виднелся яркий морозный запад. Тепло одетые люди поскрипывали тяжёлыми ботами.

«В гости да из гостей идут, – подумал Гриша. Ему хотелось думать о Луке и о Саше. – И я могу быть таким, как Лука, буду читать по две книжки в неделю! Сколько же выйдет в год? – Он углубился в вычисления, не замечая поталкивающих его людей. – Сто книжек за год мало, по двести бы». На него двигался, ничего не видя, пьяный человек, весь в снегу, Гриша отскочил к краю тротуара и попался в лапы стоявшего извозчика с серебряной от инея бородой. Извозчик погладил скрипящими рукавицами с двух сторон полушубок мальчика и, чему-то радуясь, сказал:

– Ах, брат, полушубочек-то… Овечки добрые были.

Грише вспомнился дом, овцы, праздник дома; за самоваром – семья; отец важно, насупив брови, читает его письмо, мать вздыхает, а под столом сочувственно чавкает Калачиха. Дошёл до широкой шумной улицы и повернул обратно; у него пощипывало ноги. В домах зажглись огни, у ворот показывались дворники в тулупах, поблёскивая бляхами и свистками.

Вдруг впереди себя Гриша увидел высокую шапку Фёдора Гавриловича и услышал знакомый запах сигары. Копосов вёл под руку девушку с лисицей на плечах, о чём-то рассказывал, размахивая левой рукой.

«Это другая», – подумал Гриша.

Пока он был на улице, к Луке пришли гости. Говорили о тактике левых в Третьей думе. Грише показалось, Лука за что-то сердится на своих гостей. «На праздник-то так... что они ему сказали?»

– Мы были правы, когда говорили месяц назад, что в теперешней Думе, высиженной правительством по гнусному третьеиюньскому акту, возможны два большинства: черносотенно-октябристское и октябристско-кадетское. Первое выражает «истинно русские» голоса крепостников-помещиков, отстаивает охрану их интересов, усиление репрессий и стремится к полному восстановлению самодержавия. Второе большинство выражает интересы крупной российской буржуазии и своё контрреволюционное лицо прикрывает благочестивой маской и лживой болтовнёй, подкупающей иногда простодушных людей из левого лагеря. Самая хитрая и самая опасная для революции партия – это кадеты. Они, голосуя на деле с контрреволюционными октябристами, изображают собою не только оппозицию, но и представителей демократии.

– Верно, это спекулянты, – хмуро сказал сидевший на койке Луки один из гостей, степенный дядя с курчавыми волосами.

– Понятно, товарищ Кирик, – кивнул Лука, – потому на социал-демократов ложится при этих условиях ответственная задача с особенной силой разоблачить перед народом как насилие со стороны черносотенных помещиков, так и контрреволюционную политику кадетов. А между тем есть же господа демократы, говорящие о каких-то общих точках соприкосновения с кадетами. От кого социал-демократия может скорее ожидать поддержки в своей борьбе со всеми культурными, религиозными, национальными и тому подобными предрассудками? Кто скорее будет поддерживать все меры, клонящиеся к свободному развитию производственных сил? Так пишет один из меньшевиков, повествуя дальше, что такие братья по борьбе есть кадеты, за спиной которых стоит городская демократия. А трудовики, мол, отсталая сельская буржуазия.

– Та-ак, этакая милая откровенность, – засмеялся русый человек в косоворотке, куривший папиросу за папиросой. – Пусть бы они к своей резолюции объединительного съезда внесли такое дополнение: чёрным по белому сказали, что кадеты, прогрессивная городская буржуазия больше, чем трудовики, содействуют политике свободного развития производительных сил.

– Нет, этого они не сделают, – сказал Лука. – Они любят говорить обо всём туманно, надвое. Ведь в чём дело-то? А в том, что самым коренным вопросом в нынешней, буржуазной по существу, революции у нас является вопрос о борьбе крестьянства за землю. Положение его отчаянное. Борьба за землю неминуемо толкает крестьянство к решительной демократизации политических отношений. Без этого они ничего не добьются. Только конфискация помещичьих земель и полная победа крестьянской демократии обеспечат развитие производственных сил.

– Да, да, это корень всего, – сказал Кирик, – крестьяне отчаянно об этом говорили в двух Думах, а в третью их не пустили.

Гриша сидел на своей койке, слушал, но его больше всего интересовал третий гость Луки – всё время молчавший краснощёкий парень в тёмно-синей тужурке. Он, порой встряхивая головой, жадно глядел на лица говоривших и то улыбался, то недовольно хмурился.

– Я думаю, товарищи, – наконец заговорил и он, – что хоть революцию и смяли, но мужик когда-нибудь землю сгребёт, он не отступится от неё, и все эти спекулянты, как Кирик сказал, свернут себе шею.

Парень взглянул на входившего в комнату Матвея Ивановича и умолк. Матвей Иванович вошёл шумно; заметив гостей, виновато поднял руку к шапке, покрытой снегом, стянул её с головы и бросил на свою койку.

– Прошу извинить, дело наше праздничное, всякое бывает, всем почтение, – он, осторожно шагая, обошёл гостей, пожимая им руки. – Наше дело подневольное, маленькое. Я пятому хозяину на своём веку служу и только в праздники себя вольно чувствую, а то всё в струнку, да по фасону, да по нраву хозяйскому. С ихнего нраву и нажил отраву. Извините, может, я ерунду говорю и вам мешаю.

– Просим, просим, почему ерунду? – засмеялись гости.

– Он у меня всегда так – подвыпьет и начнёт хозяев ругать, зато трезвый паинька.

– Ты-то уж... – махнул обидчиво рукой Козырев, снимая пальто. – Да я тебе ни в чём не уважу. Ты думаешь, я Балакина обожаю? Нисколько! В глаза ему скажу, что он самый обыкновенный глупец новой марки и без нас с тобой ему делать нечего. Я в этом отношении в пять раз тебя левее и знаю, кто за что горой, силой стоит и тому подобное. Неужели ты, Лука Панкратьич, меня этому научил? Э-э, я до тебя был учён опытом. У тебя ещё опыт мал. Ты книжный, ты с пятого года меня учишь, а меж тем мне с единого разу черносотенцы всю революционную премудрость в голову втолкнули.

– Ну-ну, как же это так? – жадно глядел на Козырева краснощёкий парень.

Матвей Иванович провёл по своему весёлому лицу рукой, очень довольный, что гости сочувственно посмеиваются.

– Очень просто, братцы мои. Пошёл я года два назад на собрание Союза русского народа. Просто так, из любопытства. Было собрание у них в Михайловском манеже. Собралось народу тысяч пять – больше дворники, лавочники, переодетые полицейские – словом, мужики городские, а вожаки их – господа: Дубровин, Крушеван, Пуришкевич, Булацель. Люди совсем не русские. Вот после молебна Крушеван стал неистово бить себя в грудь, призывая истинно русских людей изгнать крамолу и уничтожить вредные газеты. Потом стали говорить о том же другие. Если кто не совсем ретиво стоял за патриотизм, тому кричали:

– Заткни свой жидовствующий рот.

После каждой речи пели молитвы. На высокой эстраде стояли попы; они подымали вверх руки, молили постоять за царя и за веру. Ораторы-господа всё больше и больше разжигали народ патриотическими речами. И до того разожгли, хоть на погром всех веди. «Вот, чёрт возьми, – подумал я, – как дурна эта

толпа», и захотелось мне её просветить. Взошёл я на эстраду и крикнул: «Братцы, подумайте толком, о чём вы шумите. Я – крестьянин и вы крестьяне, – обсудим сообща. Дан Манифест семнадцатого октября? – Дан. Много нам манифестов давали, но мало правды в них было…» Дальше мне говорить не дали. С эстрады стащили и принялись тузить так, что от Козырева пух полетел. Тузили и тех, кто протестовал. Наконец полицейские вырвали меня из рук здоровенных мужиков и потащили к выходу. Толпа расступилась, и каждый из толпы норовил ткнуть меня или пнуть. Словом, живого места у меня не осталось. Две недели я после того выправлялся.

– Что же эти господа, вожаки-то? А? – покачал головой краснощёкий парень. – Это они из подлости и злобы травят людей, для них народ – скотина.

– Я тоже был у них в переделке, – сказал Кирик. – Однако не пойти ли нам, товарищи?

Гости поднялись. Лука собрался их провожать. После их ухода Козырев, Анисья и Гриша пили чай. Козырев вначале рассказывал, где он за день побывал. Потом вытащил из кармана пальто газету и подал её Грише.

– Почитай-ка нам, Григорий, где что творится.

Гриша знал, что Матвей Иванович и Анисья любят слушать дневник происшествий, особенно об экспроприациях, покушениях.

– «Резюме телеграмм».

– Ну-ну, что там? Валяй! – одобрил Козырев.

– «В Анинске после проезда генерал-губернатора найдена бомба, которою ранен солдат».

– Солдата жаль. Ой, бедной! – вздохнула Анисья.

– «В Одессе в двух местах были взрывы трёх бомб. Убиты пять человек бомбистов». «Вынесен приговор по делу сорока одного матроса Черноморского флота, всем бессрочная каторга».

– Удерут, – сказал Козырев.

Анисья недоверчиво посмотрела на него.

– Как удерёшь, ежели крепко стерегут?

– Может, не очень…– вставил Гриша. – «Вооружённые экспроприации в Москве близ станции Шестаковки; похищены три тысячи пятьсот рублей. Ранены почтальон и ямщик. Близ станции Влохи была перестрелка жандармов с грабителями вагонов…»

– Ну, хватит отсюда, – заявил Матвей Иванович, – читай происшествия.

– «Энфлуэнция». – «Горюны и факельщики». – «Процесс о сдаче Порт-Артура». – «Месть в церкви».

– «Анна Селюгина, вооружённая флаконом серной кислоты, пыталась облить венчавшегося Парфёнова. Струя жидкости попала не на жениха, а на шафера Орлова».

– Вот дура! – возмутился Матвей Иванович и строго взглянул на Анисью. – Всё ваш брат это такой мстительный, террористки.

– Да и вы хороши, – не уступала Анисья, – одно горе... Почитал бы чего-нибудь весёлого.

Матвей Иванович взял у Гриши газету и стал искать в ней что-нибудь весёлое.

VIII

Павел и вправду занялся альманахами. Он их много нашёл среди закупленных отцом старых изданий и был очарован видом этих маленьких книжечек, очарован, как ребёнок, увидавший после скучных книг красивую сказку. Рассматривая фронтисписы, виньетки, гравюры, исполненные Уткиным, Галактионовым, Ческим, пробегая глазами по чётким мелко-бисерным строчкам стихов или изящному набору прозы, Павел думал, что именно это всё ему как раз подходит, и он с наслаждением просиживал ночи за альманахами. Днём часа три работал в издательстве. Потом бежал в публичную библиотеку, где перелистывал «Московский телеграфист», «Вестник Европы», «Сын Отечества». Ему хотелось отличиться, показать отцу себя. Но, чем больше он уходил в эту работу, тем труднее она казалась. Одна прочитанная монография открывала ему ряд других интересных работ, а эти, в свою очередь, посылали его к новым источникам. Ему необходимо было хорошо ознакомиться со всей Клауберовской школой, знать Гаварни и более ранних французских рисовальщиков... И каким ничтожным показалось ему теперь роскошное издание своих стихов. Касьян Ильич был доволен. Казалось, сын теперь пристрастится к книгам, и, чтобы окончательно вовлечь его в работу по старой книге, что Балакин считал очень полезным для всякого человека, он ухватился за свою давнишнюю мысль о создании универсального антиквариата, в котором можно было бы видеть не только торговое предприятие, но и интересную школу. Эту хитрую мысль он высказал в разговоре с букинистом Николаем Ивановичем, своим старым приятелем. Старик заговорил о смерти Ефремова и стал перечислять, сколько уже умерло его друзей-покупателей.

– Да и мне надо умирать, – закончил он. – Молодые антиквары совсем забили нашего брата-старика. – Николай Иванович погладил свою седую голову и схватил лежавший на прилавке каталог. – Ты смотри, что делается: мой сосед, Богачёв-сын, ставит за Херна и Мекензи десять целковых, Котошихина – пять, да ещё неверно в каталоге: вместо «Котошихин» – «Кошихин»...

– Ну, что же тут такого? – сказал Балакин.

– Как «что такого»! Тут на днях Юдин был, и я продал ему обе книги и ещё Уложение за сорок рублей, а Богачёв-сын одно Уложение ставит сорок. Как теперь торговать? Видишь, – указал он на полки, – одна лишь требуха осталась, за последнюю неделю купил всего-навсего «Толковую Палею» да «Эльзевираша захудалого». Всё богачи перехватывают, а плохой книгой и торговать не хочется – скучно. Прежде без хороших книг не сидел. Книга была, покупатель настоящий водился, и цены сходные.

«Но ты, старик, успел нажить деньги», – подумал Балакин и спросил:

– Теперь разве нет настоящих покупателей?

– Мало их. Теперь много народилось ищеек. Иные даже афиши разыскивают, иные – газеты, журналы; это проще, сподручнее. Потом собирают редкую книгу. А что такое редкая книга? Вот, скажем, гоголевский «Ганц Кугельгартен» или «Мечты и звуки» Некрасова очень редки и дороги. Но разве настоящий любитель книги погонится за ними? Он гонится за тем, что действительно стоит этого. Скажем, такие из русских, как «Душенька» с гравюрами Фёдорова-Толстого или «Московский театрал», «Волшебный фонарь», «Ералаш» (называть-то даже любо эти вещицы) или, скажем, «Достопамятности Москвы» Тромонина – краса, одним словом. Много чего перебывало в руках. Иное, как сейчас будто ушло от меня, так запомнилось: переплётики, фронтисписы, рисунки, даже пометки разные.

Букинист запахнул плохо греющую старую шубу, навалился на прилавок и потряс своей большой головой.

– Всё не то нынче, не то.

– Теперь другие люди, другие приёмы, – сказал Балакин. – У нового книжника сотни глаз и ушей. Он не ждёт, когда ему библиотеку предложат, у него на учёте все более или менее ценные частные собрания, и очень часто которое-нибудь из этих собраний продаётся. Вот и начинается охота, страсть. Приобрести интересную библиотеку – мечта каждого книжника. Тут и нажива, и слава, любование, шум, задор, почёт от собирателей-толстосумов. Но разве мало есть среди вас «чужих» людей, не книжников, а спекулянтов? Для таких людей книга просто товар, и на нём можно наживать деньги, искусственно создавать редкости. Я знаю десятки людей, которые, пользуясь невежеством неопытных книжников, покупают у них за бесценок прекрасные книги, гравюры и, перепродавая их, обогащаются. Таких людей становится всё больше и больше. Вот почему у тебя и других стариков дела стали плохи.

– Верно, верно, – сказал Николай Иванович, – наше время ушло.

– Не согласен, – заговорил опять Балакин, – надо наладить книжное дело, надо создать объединение порядочных книжников и взять рынок в свои руки, а то чёрт знает что на нём делается.

– А мне уж теперь всё равно, я из своей лавки не пойду.

– Почему? Неужели тебе не больно?

– Больно, но годки какие мои!

– Пустяки, соберитесь у меня на мои именины, скоро Касьянов день, и потолкуем, как дело начать. Я позову знакомых книжников, зови и ты их.

Николай Иванович засмеялся.

– Охота тебе, Касьян Ильич, в наше тёмное дело лезть! Ты ещё всего не знаешь. А так бы… по-твоему и надо сделать, только старики будут против. На именины придём.

IX

С утра на Касьянов день, двадцать девятого февраля, заполонили балакинскую квартиру странники и богомолки.

Елене Ивановне, занятой хозяйственными делами, было не до этих гостей. Красная, растрёпанная, она торопливо раздавала деньги и уходила на кухню. Всё время в передней звенело серебро, не умолкал жадный шёпот. Приходили мальчишки из кондитерских, колбасных, гастрономических. Каждый нёс на голове пудовую корзину. Мальчишек встречал Фёдор Гаврилович. Дорогие, лакомые закуски и вина он складывал в своей комнате.

Пока Елена Ивановна раздавала деньги Божьим людям, Копосов успел вылакать полбутылки бенедиктина, наелся пастилы и, румяненький, с весёлыми глазками, дымя сигарой, кричал мальчишкам:

– Битте, битте. Лезьте сюда, мороженые уши.

Он шлёпал мальчишек по спине и спрашивал:

– Как живёшь, ученичок? Хозяин-то шельма поди, ярославец или немец он? А-а, немец? Это хорошо! Пусть бы он сам принёс колбасу-то. Я его сигарой бы угостил, или пивишка выпили. Ну а тебе, друг, гривенничек на чай… изволь получить.

Мальчишкам было весело. Они зажимали в руке гривенник, чтобы, выйдя из квартиры, положить его в плохонький кошелёк, любовались на Копосова. Этот франтовато одетый говорун и добряк казался им барином.

Когда всё было принято и приготовлено, Фёдор Гаврилович оглянулся и щёлкнул пальцами.

– Вот это именины! Не то что мой Фёдор Стратилат: было полдюжины пива, кусок сыра и ещё непристойное поведение двух девиц.

Вошла в комнату племянника Елена Ивановна. Она налила две чашки кофе, села на стул и вздохнула:

– Всё, кажется, Федя, готово.

– Всё, всё!.. С ликёром, тётушка, кофе будем пить.

Елена Ивановна оглянула фотографии на стенах и погрозила пальцем Фёдору.

– Только не много ликеру-то лей, баловник, а то ноги подломятся: ведь сколько ещё ходить сегодня.

– Не беспокойтесь, тётушка, это я, наоборот, для резвости с ликёром придумал: дух подымается. День-то нынче какой! Четыре года назад дядюшкины именины совсем бледные были. Чудный ликёр, тётушка, попробуйте.

– Ладно, ладно, а что-то у тебя карточек, фотографий этих много; хорошо ли? Сегодня я у Саши в комнате увидела тоже фотографии двух артистов – Монахова и Северского. Какие это артисты? Ой, грех один с деточками.

– Не извольте беспокоиться, тётушка. Увлечение фотографиями знаменитостей – дело безгрешное. Это чувствительность, лёгкость сердца. Ведь нынче у молодёжи… – Он прислушался к звукам пианино (играла Саша), качнул головой и продолжал: – У молодёжи нынче преобладает культ искусства. Скажем, очередь за билетами на Шаляпина из кого набирается? Всё молодёжь, и последнюю трёшницу не жалеют, чтобы послушать чародея.

– Почему чародея?

– Чарует, тётенька, – развёл руками Фёдор Гаврилович, – что это такое – всех чарует. Возьмём, к примеру, нашего Козырева – и тот без ума от... Но я, признаться, сам не слышал Шаляпина. – Он взглянул на часы, допил кофе, облизнулся и озабоченно сказал: – Козырев – театрал, а Лука – агитатор-революционер.

– Ой, что ты... – испугалась Балакина. – Тогда надо уволить Луку. Я тоже за ним грех знаю.

Елена Ивановна пошла одеваться. Одевалась и всё ещё в испуге твердила: «Надо его выгнать, выгнать. Вот ужо!..» Попробовала затянуть себя в корсет, потом бросила его и стала надевать светлое платье. «Касьян тоже хорош – не видит, кого держит».

Долго не удавалась причёска. Наконец Елена Ивановна напудрила лицо и пошла в гостиную. Там встретил её Касьян Ильич.

– А вот первая гостья. Позвольте вашу ручку. Вы сегодня величественны, молоды и прекрасны, как двенадцать спящих дев.

Елена Ивановна милостиво улыбнулась. Сегодня можно простить Касьяну всякую шутку. Он стоял перед ней, в сюртуке, совсем ещё молодой, с весёлым блеском прищуренных глаз. Балакина оглянула мужа и заговорила о Корытове:

– Каков он? Тебе надо его опасаться.

Касьян Ильич курил сигару (взял её ради именин у Копосова), недовольно почмокал.

– Чего мне его опасаться? Лука не прохвост, а работник.

– Я не о том. Как-то я заметила худое за ним: он насовал старичку Семёну в книжки листков крамольных, и тот эти книжки раздавал православным и попался полиции. Нет, тебе надо Луку уволить.

Балакин встревоженно задвигал бровями и спросил:

– Ну что же, старик сказал, что ли? Указал на Луку?

– Нет, он не сказал, что у нас бывает. Это ещё до Рождества было.

Касьян Ильич махнул рукой.

– Молчи, мать, сегодня можно бы тебе не говорить об этих пустяках. Мы за Луку не ответчики. Этот парень мне нужен больше, чем другие.

Он умолк, прислушиваясь к голосам в передней. Пришёл Картонов. Лысая большая голова его любовно покачивалась, когда он шёл навстречу имениннику. Полы чёрного сюртука хлопали по коленам, точно были мокрые. Собиратель подарил приятелю пожелтевшую гравюру Гутенберга, свернутую в трубку.

– Дарю тебе изображение отца печати. Гравюра эта – продукт восемнадцатого века, как раз того времени, когда Вольтер так хорошо сказал о книге. Какая была пора славная, и бессмертная душа Гутенберга могла радоваться, видя расцвет науки и гуманизма.

Балакин сдул пушинку с лысины приятеля и заговорил об антиквариате.

– Я тебя, батенька, ждал с нетерпением.

– Ну тебя! – отмахнулся Картонов. – Знаю; неинтересно и ничего не выйдет, а

ты лучше посмотри, что я добыл у Дункана. Пойдём в твой кабинет, там я спрячу... – Он побежал в переднюю и принёс оттуда свёрток.

– Поразительный случай, друг ты мой; будто из огня взял драгоценность.

– У тебя всё драгоценность, – сказал Балакин, пропуская вперёд себя Картонова в узкую дверь кабинета. – Я вот пять лет ищу «Новиковскую избранную библиотеку для чтения». Не встречается – говорят букинисты.

Картонов вытер платком взволнованное лицо, вздохнул:

– Если только меня не арестуют... да нет, не посмеет старик. Ты знаешь, что Дункан, друг Трепова, большой человек и у него огромное собрание всех запрещённых изданий? Он за границей покупал всё, что издано там нашими. Вчера узнал я от Юрохи, что Дункан закрыл один публичный дом, и Юроха выведывал у меня, знаю ли я Дункана и, дескать, нельзя ли что сделать. Содержательница публичного дома – богатейшая баба: собственных лошадей имеет и может подкупить хоть чёрта. Вспомнил я Дункана, и захотелось побывать у старика. Прихожу сегодня и говорю: «Показывай, что приобрёл за год, то есть с тех пор, как мы не видались». Пошли смотреть, три комнаты у подлеца заняты под книги. И чего только нет! Главное, меня собрание словарей поразило – удивительное собрание. Говорю ему: «Что ж, Иван Яковлевич, всё это я уже видел раньше». «А вот,– говорит, – ящик с материалами не разобран, посмотри».

Стал я рыться, а в это время в соседней комнате появилась просительница. Иван Яковлевич вышел. Я увидел масонские книги и обомлел: среди них оказалась редчайшая вещь: «Должность братьев златорунного креста». Вдруг в соседней комнате зазвенело золото – точно кто-то рассыпал сразу сотню золотых монет. Я с «Златорунным крестом» в руках побежал на звон золота и вижу: посреди комнаты стоит на коленях барыня в каракулевом манто с соболем на плечах, протянула руки к Дункану, в одной руке мешочек зелёный, на полу куча золота. Иван Яковлевич стоит и трясётся, указывает на золото, рука дрожит: «Соберите, – еле выговорил он, – и уходите».

Ну, думаю, попал же я на уху. Обошёл я барыню с золотом и так вот с этой масонской книгой в руках и ушёл из квартиры. Увидел у подъезда пару вороных лошадей: их еле сдерживал бородатый кучер. Тут я догадался, что барыня эта и есть содержательница закрытого Дунканом публичного дома. Представь теперь: когда она падала на колени перед всесильным человеком, то приготовленную взятку – мешочек с золотом – держала в руке, ударила ли она им о пол или он так от тяжести прорвался, только золото рассыпалось. И я был свидетелем...

– Чёрт знает что такое, – сказал Балакин, – и ты сообразил утащить книгу?

– Случайность, я уже на улице заметил, что она-то у меня в руках. Ведь старообрядец Климов предлагал букинистам за эту книгу тысячу рублей. Никто не достал.

– А тебе прилипла к рукам.

– Прилипла, да и не верну, всё равно кондрашка Дункана скоро стукнет.

Пока приятели разговаривали, гостиная и столовая уже были полны гостей.

Балакин вышел к гостям.

– Имениннику! Имениннику! Сто лет здравствовать! – закричали книжники (их было человек двадцать) и принялись по очереди обнимать Балакина. Потом они друг перед другом припоминали, сколько лет знают его, что он у них покупал, что говорил.

– Помните, Касьян Ильич, как я вам «Детский магазин» из Новиковских продал? – сказал Хапутин, похожий на Пугачёва.

– Как не помнить? Помню, Андрей Семёныч!

– Вот, так я вам говорил, что это счастливая книжка, а вы не верили. И выходит по-моему: счастье не только вам, но и нам во все дни, когда мы видим вас у себя, а особенно счастливы мы сегодня, присутствуя на ваших именинах.

Хапутин любил разделять книги не только по степени их редкости, но и на счастливые и несчастливые. Он слыл большим знатоком. К нему ходили на поклон, за советом собиратели и букинисты. Приносили для оценки книги и рукописи. В его лавке с утра до вечера шли споры азартных книголюбов, и всякий спор решали слова Хапутина. У него всегда имелись завидные издания, но продавал он их только тому, кого считал достойным.

– Вот и отлично, я рад вас видеть, – сказал Балакин, – ведь так всех вас вместе я вижу в первый раз, и, может быть, эта встреча будет не только приятной, но и полезной для нашего дела. А что вы, Андрей Семёнович, о счастливой книге сказали? Я думаю, всякая хорошая книга счастливая.

– Верно, – одобрил басом маленький, быстроглазый Антонов и засмеялся: – Счастье не книга – в руки не возьмёшь.

Антонов брезгливо относился к Хапутину. Он торговал солидной научной книгой и любил новые издания.

– Нет, не скажите, – засуетился Хапутин, оглядывая всех книжников, точно призывая их в свидетели. – Я уверяю, что есть счастливые и несчастливые книги. Я вам скажу случай, а их много есть – случай с театральным альбомом. Я думаю, мало кто из вас и видел этот альбом. В полном виде и я его не встречал. Это издание Батуцкого с рисунками Брюллова, Басина и Тимма. Один экземпляр этого альбома переходит от одного владельца к другому, как смерть.

– Что ты, Андрей Семёныч? – сказал Антонов. – Просто случайность.

– Какая случайность! Альбом за шестьдесят лет сменил двадцать владельцев. Когда Александров его приобрёл, я сказал: «Ну, значит, этот скоро умрёт». Так и вышло. Потом Ефремов обзарился. Я говорил, что напрасно берёшь, не послушал – вот и ушёл на тот свет. Теперь, говорят, эта смерть к Синягину перешла.

Хапутин напомнил книжникам о Ефремове. Они, садясь за стол, заговорили о нём и его библиотеке.

Кроме книжников, были гости Саши, Павла и служащие Балакина.

– А Богачёв-сын не пришёл, – сказал Николай Иванович Балакину, – гордится.

Старик, сложив на животе большие руки, благодушно поглядывал на знакомые лица. Он был одет в чёрный широкий пиджак и старинные клетчатые брюки.

– А Василий-то Иванович, – указал он на черноусого человека в сюртуке, – тоже не уважит Богачёву-сыну в гордости. Только Хапутин их по знаниям обоих за поясок заткнёт.

Балакин думал, что без Хапутина и Василия Ивановича задуманного универсального антиквариата не начать. Что-то они скажут?

– Выпьем за именинника, – сказал, вставая с рюмкой в руках, Василий Иванович и поклонился Балакину.

Шутливо шумя и чокаясь, выпили.

– За твою бы удачную покупку, Василий Иванович, надо выпить, – съязвил Хапутин. (Он говорил о покупке библиотеки и архива одного бывшего министра).

В то время, когда Балакин с Картоновым сидели в кабинете, Василий Иванович рассказал, как вчера агенты охранного отделения конфисковали у него купленный архив. Погрозив Хапутину пальцем, он оглянулся на Балакина.

– Несчастливое я собрание купил.

– А что касается собраний книжных, – начал Хапутин, оглядывая опять всех книжников, как своих учеников, – то я вам скажу, что всякое собрание тоже бывает счастливым и несчастливым. Скажем, Альдины без Петрарки хоть не бери – пропадёшь; Эльзевиры – без Рабле. Из французских восемнадцатого века самая счастливая книга «Лафонтен» с рисунками Эйзена. Но больше несчастливых. Впрочем, я вас не хочу пугать этими книгами.

– Пугай, мы не боимся, – сказал Василий Иванович, – недаром ты на Пугачёва похож. Только признайся, что ты морочишь честную публику тем, что будто бы знаешь какое-то особое, скрытое свойство книг.

– Хапутин прав, – сказал Картонов, – я тоже знаю такие книги.

Все посмотрели на Картонова, но его перебил Лука Корытов:

– Я знаю, о каких книгах скажет Николай Петрович. Это наверно какая-нибудь средневековая рукопись или «Искусство умирать», творение краковского епископа. А вы посмотрите, что делается у нас с новой книгой и что особенно счастливо. Кажется, нет счастливее Пинкертона, который выдержал двести изданий.

– Мы этим хламом не торгуем, – заявил Хапутин.

– Хорошо и делаете, но есть и не хлам; иль новых изданий не признаёте?

Поднялся Николай Иванович.

– Позвольте-ка, братец ты мой! – остановил он Луку, – ей-богу, для именин Касьяна Ильича и нас всех мне стих некрасовский вспомнился. Это про книжников:

А вот ещё изданье. Страсть
Как грязно. Впрочем, ваша власть –
Взять или не взять. Мне всё равно –
Найти купца немудрено.
Одно заметил я давно,
Что как зазубрина на плуге,
На книге каждое пятно
Немой свидетель и заслуга…

Старик закрыл глаза и покрутил головой.

– Ах-х, – ещё сказал он и сел.

Все засмеялись и долго хлопали в ладоши.

– Молодец, Николай Иванович!

– Я для именин лучше стихи знаю, – крикнул Лука, – самые что ни на есть именинные стихи!

– Что ж, читай, только знаю я тебя, разбойника, – сказал Балакин, – краснеть заставишь.

– Я тут ни при чём, Касьян Ильич: стихи поэта Трефолева, они лет сорок тому назад написаны по поводу Касьяновых именин. Вот, слушайте.

Лука откинул рукой нависшие на широкий лоб волосы и начал:

....
....
Февраля двадцать девятого
Целый штоф вина проклятого
Влил Касьян в утробу грешную,
Позабыл жену сердечную
И своих родимых деточек,
Близнецов, двух малолеточек.
    Заломивши лихо шапку набекрень,
    Он отправился к куме своей в курень.
    Там кума его калачики пекла;
    Баба добрая, румяна и бела,
    Испекла ему калачик горячо
    И уважила... ещё, ещё, ещё.
В это время за лучиною,
С бесконечною кручиною
Дремлет-спит жена Касьянова,
Вспоминая мужа пьяного.
    Бабе снится, что в весёлом кабаке
    Пьяный муж её несётся в трепаке,
    То прискочит, то согнётся в три дуги,
    Истоптал свои смазные сапоги,
    И руками, и плечами шевелит...
    А гармоника пилит, пилит, пилит.
Продолжается видение:
Вот приходят в заведение
Гости, старые приказные,
Отставные, безобразные,
Красноносые алтынники, –
Все Касьяны-именинники.
    Пуще прежнего веселье и содом.
    Разгулялся, расплясался пьяный дом.
    Говорит Касьян, схватившись за бока,

«А послушай ты, приказная строка,
У меня бренчат за пазухой гроши:
Награжу тебя... Пляши, пляши, пляши».
Осерчало благородие:
«Ах ты, хамово отродие.
За такое поношение
На тебя подам прошение,
Накладу ещё в потылицу...
Целовальник, дай чернильницу!»
Продолжается всё тот же вещий сон:
Вот явился у чиновных у персон
Лист бумаги с государственным орлом.
Перед ним Касьян в испуге бьёт челом,
А обиженный куражится, кричит
И прошение строчит, строчит, строчит.
....
....

Не окончив песни, Лука вышел из столовой в гостиную. Но его вернули, заставили выпить и потом закончить песню.

В гостиной резвилась молодёжь. В углу сидели Елена Ивановна, её брат, Карп Антипин, и красивая девушка в чёрном платье.

– Ну вот мы и в гостях, – говорил Карп Иванович, потирая ладонями колени. – Надя в первый раз, так сказать, в свет выехала.

– Пусть она у нас бывает; почему ты её не пускаешь? – сказала Елена Ивановна.

– Ещё когда было... – Антипин строго оглянул молодёжь. – Всё в своё время, сестрица. Теперь маменька нездорова, потому Наде нужно при ней находиться.

Он умолк, озабоченно поджав тонкие губы, и маленькое лицо его с выдавшейся вперёд узкой рыжей бородкой потянулось к уху Елены Ивановны.

– Жениться думаю, сестрица.

– Пора, – живо отозвалась Балакина, – тебе уж под сорок, кажется. – Она указала на Павла, который стоял с Копосовым у входа в столовую: – У меня вон тоже женихи.

Павел украдкой смотрел на Надю; ему казалось, она ждёт, чтобы он сел с нею рядом.

– Это ведь невеста Карпа Ивановича, – тихо говорил Копосов, – она у него и живёт. Отца у ней нет, а мать бедствует, ну и рада была пристроить дочку за хорошего человека. Сначала-то Карп Иванович взял её в дом как бы в услуженье, приучал вести дела по своей антикварной лавке и помогать по хозяйству твоей бабке, а теперь всем говорит, что Надя его невеста. Словом, дело тёмное. Ты посмотри, какой у ней милый вид. Только она чуть бледна, но зато рот и глаза цветут.

Павел был согласен, что девушка очень красива, и почему-то не верилось, что дядя Карп, известный брюзга и шипун, как непочтительно называл его Касьян Иль-

ич, будет её мужем. Незаметно молодой Балакин оказался рядом с Надей, захотелось узнать: не её ли он вчера встретил около Александринского театра, не брала ли она билеты в театр.

– Нет, не брала, – скупо ответила Надя, бросив на него гордый взгляд.

Карп Иванович одобрительно усмехнулся и сказал:

– Мы в оперу ходили в четверг.

«Разговаривать не хочет со мной, – подумал Павел, – и, вероятно, дядюшка уже представил меня ей таким ужасным фармазоном, что и рядом быть страшно. Погоди же...»

– Знаешь, дядюшка, на твоём пальто в передней кто-то мелом козлиную морду нарисовал.

Антипин в испуге взглянул на племянника и побежал в переднюю. Надя покраснела и чуть отодвинулась от Павла.

– Приходите к нам, обязательно приходите, – зашептал Павел, – а то я сойду с ума.

Надя ещё больше покраснела, и, когда она подняла глаза, Павла уже не было близко.

«Это насмешка, насмешка, – думала она, – какой злой этот Балакин».

Гриша стоял у двери и смотрел, что происходило в столовой. Шёл спор. Для Гриши все эти люди в тугих крахмальных воротничках, в сюртуках и смокингах были чужие, он следил за их разгорячёнными лицами и думал, что они пришли спорить с Балакиным и пить его вино.

– Нет, нет, ты об аукционах Каратыгина, Касьян Ильич, не упоминай, прогорело это у Каратыгина.

– Ничуть не прогорело. Эти аукционы надо бы продолжать, даже царь ими заинтересовался, купил книжку «26 дураков». – Балакин провёл рукой по лицу, сгладил усмешку и продолжал: – То речь была о старой книге, и теперь скажем о новой. У нас выходит примерно до двадцати тысяч названий в год. Вот вам точные цифры: вышло отчётов 4410 названий, учебников 1105, народных изданий 1051, беллетристики 864, по религии 836, по медицине 835, приключений сыщиков 624, детских 573. Всего перечислять не буду; словом, десятки миллионов книг проходят через наши руки, но подумайте: ведь для покупателя книга не товар, а что-то гораздо больше. Вы ещё об этом не думали? По совести говоря: мы могли бы создать такой союз, который имел бы первостепенное общественное значение. Этот союз уже почти существует, но надо привлечь все лучшие общественные силы, чтобы они помогли нам овладеть книжной политикой, взять в руки книжных королей, наладить распространение дешёвой книги, – тогда просвещение страны было бы лучше устроено.

– Верно, хорошо, – кричали на конце стола подвыпившие голоса.

– Да-да, не худо, – сказал Василий Иванович, – только такой союз неминуемо станет Второй Государственной думой, и все политические партии захотят тут вести свою политику.

– Позвольте, позвольте, – уверенно заговорил Лука, зная, что после забавной песни он стал первым гостем: все хотели с ним пить и шутить. – Касьян Ильич, по-видимому, имеет в виду образовать какой-то книжный центр. Нужно ли это? Я думаю, куда нужнее открыть бы кооперативный книжный склад. Вон Крапивин со своим складом так дело ведёт, что мелкому книжнику подступа нет. Захочет – продаёт книги, не захочет – так уйдёшь. Потом скидка: у одних издателей одна скидка, у других она иная, а есть и такие, что скорее книги сгноят, а нужной книгопродавцу скидки не дадут. Всё это говорит о том, что мелкому книжнику работать трудно.

– Дельно сказано, любо слушать, – зашумели на концах стола, двинулись к Луке.

– Да на днях Крапивин меня прогнал из своего склада, – кричал маленький рябой книжник. – Капиталисты зазнались. Бороться надо.

– Жмут, жмут, – размахивал рукой Матвей Иванович.

Балакин недовольно взглянул на своих приказчиков: они ведут себя дерзко, особенно Лука.

– Ты-то чего, Козырев, кричишь?

– Я, Касьян Ильич, люблю хозяев поругать.

Балакин шутливо погрозил пальцем:

– Демократия красноносая.

Он привык считать себя передовым, культурным издателем. Надо было признавать заявление Луки дельным и уместным.

– Общество книгоиздателей и книгопродавцев имеет в виду открытие книжных складов, – сказал он,– но я считаю необходимым вступить на этот путь и антикварам.

Хапутин и Василий Иванович боялись каких бы то ни было объединений. Тот и другой отлично вели своё дело. Им казалось, что хитрый Балакин хочет пролезть на первое место в Правлении общества книгоиздателей и книгопродавцев и теперь, говоря о книжной политике, в сущности, только хитрит, сам всегда будет в дружбе с крепкими книжниками. Не может быть, чтобы сочувствовал всякой мелюзге: нет, тут просто хитрость.

– Общество наше когда ещё раскачается склады открыть, – говорил Антонов, – люди там неторопливые. А вот надо самим заняться этим делом.

Вдруг гости разделились на два лагеря. Одни обсуждали предложение Луки, другие говорили, что надо подтолкнуть общество. Балакин, сглаживая рукой усмешку, смотрел на гостей, думая их примирить, но раньше его взялся за это подвыпивший Тузов.

Он горячился, тыкался ко всем своим цветущим среди клочковатой бороды носом и твердил:

– Мы учители, учители, пестуны, а не тарантасы какие-нибудь.

Потом он вгрызся пальцами в грудь Луки и убеждал:

– Я говорю, что теперь мода на французские с иллюстрациями, восемнадцатый век. Вы – знатоки, а спроси вас о старопечатной русской книге, и тьма вас

обуяет; по-славянски года не разобрать тому же, скажем, Фёдору Гавриловичу вашему. Знаешь ли «Око церковное» или Большой устав, в 1641 году при патриархе Иоасафе напечатан? Для вас это нуль, а книга – редкость. А потом: Апостол первопечатный, Триодь цветная, Триодь постная – когда изданы?

– Не знаю, – сознался Корытов.

– А-а, сказался, – торжествовал Тузов, – а вот ещё, скажем, «Книга, глаголемая меч духовный, от многих святых и богодуховных писаний собрана на приемлющие от еретик совершаемое крещение и глаголющих, яко несть второго крещения».

– Ну тебя, – попятился от Тузова Лука, не выносивший старопечатных книг и тяжёлых славянских текстов.

– Стой, нехристь, – рычал Тузов, – поучу, дослушай: «И сочинена книга сия лета, егда под солнечными зарями исчиташеся ко седмию десяти сотиям и двадесяти шестидесятицам девятое, а по плоти Рождества Бога Слова по сто семидесяти седми десятицех первое».

Гриша и Колька весело смеялись над стариком. Сегодня они простили ему его строгость и «огниво».

Тузов вдруг притих и почтительно взглянул на Балакина. Тот говорил:

– Надо признаться, друзья мои, что наши мечты, наши интересы коренным образом связаны с благосостоянием народа. Мы заинтересованы в том, чтобы шире было поставлено просвещение, шире развернулись производительные силы. Мы и сочувствуем тем политическим партиям, которые добиваются этого. Не скрою, мы за развитие капитализма, но мы против помещика и кулака, которым нужен неграмотный работник. Этот работник для них полезнее. Даже мы не только за капитализм, но и не против кооперативных форм. Пусть лишь всё идёт мирным, ладным путём.

Лука перебил Балакина на последнем слове:

– Ладным, мирным путём не пойдёт. Да будет вам известно, что капитализм ваш родит армию батраков и рабочих, которые неминуемо станут бороться с капитализмом за другой строй жизни, за переустройство общества. Вы за мир, за борьбу с предрассудками, за те формы просвещения, какие нужны капиталу, а мы за подлинную культуру, за творчество, за искусство. Великое развитие их возможно только после победы трудового народа.

К Луке снова подступил Тузов, суча руками.

– Так ты против порядка, установленного законом, ты против веры отцов и дедов?

– Да, против.

– Ах ты, молокосос, гордец! – завыл старик, ударяя Корытова в грудь кулаком.

Лука оттолкнул старика; тот отлетел к столу, но снова бросился на Корытова.

– Я тебе, негодяю, покажу по старой памяти! Такого ли я тебя воспитывал!

Хапутин и его друг Ямкин, толстый человек с красным лицом, довольные тем, что на балакинских именинах начинается скандал, кинулись Тузову на помощь.

– Ты старика, молодой человек, не толкай с таким сердцем, а то живо в часть угодишь.

– А вы что? Вы что лезете? – свирепо оттолкнул от Луки книжников Матвей Иванович. – Я вам, скавалыги несчастные!

Неминуемо началась бы свалка, если бы Балакин и Копосов не поспешили выпроводить Луку и Козырева из столовой.

– Беда с вами, ребята, – вздыхал Балакин, – выпьют и зашумят, мошенники.

– Я тебе говорила, говорила! Вот тебе и именины – на что похоже? – торжествовала Елена Ивановна. – Ты Луку гони!

Балакин не прогнал Луку, но сердился на него долго.

X

Павел прошёл по складам и строго сказал Копосову о беспорядке в экспедиции.

– Вот это верно, сто раз хвалю вас, Павел Касьянович, – с торжеством сказал Тузов, подслушав резкий голос молодого хозяина, – чего, в самом деле, Копосов пустяками занимается! Строгости нет ни к себе, ни к другим, вот что. Скажем, списки новых книг составлять мне, старику, на долю выпало, а теперь этих книг – горы, леса, заблудиться можно. Взялся бы Фёдор Гаврилович и замёрз, прежде чем написал бы список.

Старик хвалился и досадовал. Всё труднее и труднее давались ему списки, а прежде хватало времени фигурно, замысловато выводить карандашом буквы, и его список книг напоминал страницу старинной рукописи, написанной уставом. За этой работой Карп Осипович забывал всё, и его нельзя было тревожить. Он работал карандашом, как гравёр грабштихелем: то сладостно шипел, то отодвигался, очарованно расставив руки, любовался на список.

Павел перебирал книги и украдкой наблюдал за Тузовым.

– Карп Осипович, вы идите чай пить, я за вас останусь.

– Успею, пусть молодёжь напьётся.

– Тогда я пойду чай пить.

За перегородкой, куда зашёл Павел, приказчики и мальчики – кто за столом, кто просто стоя, – пили чай и слушали Матвея Ивановича. Он каждый день за чаем рассказывал о старых книжниках. Особенно любили его слушать мальчики; все они сидели кучкой около Козырева.

– Ну вот, вставали мы, значит, в шесть часов утра, чистили пар тридцать сапог, чистили облачения хозяйские и к восьми часам шли торговать. У Братьев-разбойников было несколько лавок – холодных, без окон, с одной дверью по главной линии рынка. Я открывал среднюю лавку, становился у двери и подстерегал покупателей, но больше тех, кто нёс продавать книги. Ростом я был тогда аршин с шапкой и в книгах ещё ничего не понимал. Теперь я знаю тысячи книг, – и каждую из них колотушкой забивали мне в голову, зато крепко сидят в голове. Один из Братьев-разбойников, Иван, садился в соседней лавке, а другие шли чай пить в трактир как раз напротив моей лавки и оттуда следили, как я работаю, – глаз не

спускали. И беда, если покупатель уйдёт к конкуренту Ваганову или я не уцеплюсь за пачку книг, которую несёт кто-нибудь продавать. Бывало, спросит покупатель «Оперативную гинекологию» или «Практическую орнитологию» да ещё прибавит: «физиологический очерк организма птиц». У меня и мороз по коже от таких названий – не выговорить, хоть убей. И надо было шмыгнуть к Ивану и спросить, есть ли у нас такая книга. Получишь пару подзатыльников за то, что не сможешь назвать, что требует покупатель, и потом молишься: «Пошли, Господи, попроще названия, понятнее». Радовался, когда называли Малинина и Буренина или ботанику, тут я смело кричал Ивану: есть Малинин и Буренин? И вот, пока я так, находясь в пылу торговом, бегал взад-вперёд, запоминая книги и останавливая людей с пачками, приходили Братья-разбойники из трактира, и начиналось: что тот-то спрашивал, что этот? Почему с книгами человека к Вагану упустил? И хлоп да хлоп меня.

– Хлоп, хлоп! – повторил, входя за перегородку, Карп Осипович. – Учили тебя, а ты недоволен. Да кончайте вы, ребята, чаёвничать. А вас, Павел Касьянович, хочет видеть какой-то господин.

– Ты, Карп Осипович, ведь не знал моих первых хозяев? – спросил Козырев.

– Братьев-то разбойников не знал? Кто их не знает! Зато порядочные люди избегали с ними дело иметь. Всех я знал, даже Гумбольдта помню.

– Ну, Гумбольдт другое, он лавки не имел – был холодным букинистом и великим книжником, приятель Некрасова и Щедрина. Некрасову он давал деньги в долг, когда тот проигрывался. Проигрывался и Гумбольдт – тогда Некрасов выручал его.

– Я слышал о нём, – сказал Лука. – Но почему его звали Гумбольдтом?

– Щедрин его прозвал так потому, что старик похож был на великого учёного Гумбольдта.

– Какой же это учёный Гумбольдт? – спросил Гриша.

– Лука, расскажи ему, ты лучше знаешь, – сказал Матвей Иванович, – ты любишь естествознание.

Тузов махнул рукой.

– Пошли, пошли на дело! Лекцию, что ли, здесь читать? Лука дома расскажет. Известно – Гумбольдт естественные науки изучал.

Выпроводив приказчиков из-за перегородки, Карп Осипович вернулся с кружкой чая за прилавок и стал прислушиваться к разговору Павла с посетителем. Разговор шёл об издании пьесы. Посетитель был очень учтив, поминутно кланялся, не сгибаясь, и говорил слащаво, держал в руках свёрток и шляпу-котелок, но Карпу Осиповичу не нравился прямой, чуть не до шеи пробор на его голове. «Прощелыга какой-нибудь, – думал Тузов, – пьесы пишет. Писал бы что поладнее пьес».

– Моя пьеса пойдёт, будьте уверены, – говорил посетитель, – её обещали принять в Малый театр. Она, знаете ли, очень оригинальна, красочна и по вымыслу не уступит «Синей птице».

– Вы поклонник Метерлинка? – спросил Павел.

– Ваш покорный слуга был когда-то поклонником Лопе де Вега, а ныне Каль-

дерона – словом, поклонник испанской драмы, но Лопе был весельчак, Кальдерон мистик, а я, с вашего позволения, философ-моралист. Мои герои в пьесе переживают историю человечества в течение десяти лет. Переживают и поправляют историков-лгунов. Например, Троя вовсе не была взята и разрушена Менелаем и его друзьями, а в ней просто было возмущение народа, который прогнал Елену к мужу и отрубил голову Парису. Вот правдивое изображение истории.

Павел удивлённо смотрел на философа-моралиста.

– Вы смело задумали, – сказал он. – Я сегодня же прочту вашу пьесу и дам о ней отзыв отцу. Он сейчас в Москве.

– Вы и без отца можете решить; я уплачиваю все расходы по печатанию.

– Сколько экземпляров вы имеете в виду?

– Я имею в виду тысячу экземпляров, напечатанных на веленевой бумаге, обложку я предпочитаю в стиле модерн, а всё остальное – на ваше усмотрение. Мне только важно напечатать у вас: ваша марка, понимаете?

– Отлично, я беру вашу пьесу и попрошу вас зайти через пять дней, тогда мы обо всём и сговоримся.

Павел проводил автора-философа. Пришёл в кабинет отца и стал перелистывать пьесу. Зашёл Копосов с пачкой корректурных листов и сказал:

– Знаете, Павел Касьянович, казачьему-то офицеру, Чернобородому, надо послать корректуру; дядюшка наказывал мне об этом. В Тамбов, кажется, надо посылать.

– Что ж, посылай.

– Шалый какой-то этот офицер. Ходит он, как я заметил, всегда по мостовой задравши голову и ступает как лошадь.

– Как он к нам попал? Что печатаем?

– Поэму в прозе, на его счёт печатаем.

– Что это такое, – ворчливо сказал Павел, – берём всякий хлам, хотя бы и на счёт авторов. Сегодня тоже был один с пьесой.

– Ну нет, дядюшка хлам не возьмёт. Офицер хотел печатать свою поэму у Шереметева. Знаете «Историческое общество», что «Старину и новизну» издаёт? Там отказали ему за шуточку. А шуточка была такая: сидел, сидел, говорил с редактором, вдруг схватил книжку стихов Голенищева-Кутузова, подбросил её и перерубил на лету шашкой.

– Не может быть.

– Ей-богу, дядюшка для курьёза взял у офицера поэму.

– Ты, Фёдор, вот что: дай-ка мне мальчика шустрого, я хочу письмо послать.

Копосов прислал Гришу.

– На Итальянскую сходи, дружище, вот...

Гриша прочёл на конверте: «Надежде Николаевне Гроховой» и спросил:

– Ответ надо?

– Нет, не жди, только передай.

– Ты куда? – остановил мальчика Тузов. – С письмом? Дай сюда.

Он прочёл адрес и недовольно крякнул.

– Эх, молодо-зелено, ничего толком не сделают! – Бросил письмо на конторку и приписал на нём фигурно, замысловато выводя буквы: «Весьма срочно». Полюбовался, держа письмо на отлёте, и строго взглянул на Гришу.

– Ты живо! Не зевай дорогой, чтоб извозчик в рот оглоблей не въехал.

Гриша тотчас забыл наказ старика, но когда он останавливался у витрин магазинов, то ему казалось, что Карп Осипович догоняет его и грозит: «Я тебе, шельмецу, остановлюсь». На улицах был весенний разлив. Везде сверкали ручейки, высокие дома с поголубевшими окнами будто только что были вымыты.

«Теперь вода с гор – птицам сбор», – вспомнил Гриша пословицу.

Он с любопытством смотрел на всё, что попадалось на глаза: его интересовали и лошади, и собаки, особенно сеттеры и гончие, и дворники, колющие кирками подтаявший грязный пласт снега на мостовой, фигуры пешеходов, лица, меховые воротники, горностаевые и беличьи муфты. Он теперь знал, на что идёт шкурка этих знакомых зверьков, на которых охотится его отец. Примечал на плечах женщин куниц, лисиц, соболей, но ему было непонятно, зачем у женщин на лице сеточки (вуаль), и, казалось, много бы можно было наделать из них сачков для ловли рыбы. Особенно долго смотрел Гриша и спереди и сзади на высоких гвардейцев с тесаками, курносых, скуластых павловцев, чёрных, как галки, егерей, белокурых семёновцев. Неотразимо привлекали его гиганты кирасиры с их блестящими палашами и серебряными, увенчанными птицей, касками. Их красные, будто надутые, лица с выпученными глазами внушали почтение. Один такой гигант сошёл с тротуара и встал во фронт перед старым сгорбленным генералом. Когда Гриша смотрел на них, кто-то сдёрнул у него с головы шапку. И тут же в лицо ему расхохотался Федька.

– Ты куда пошёл, зевака?

– А ты куда?

Федька стоял перед ним в коротком потрёпанном пальтишке, в заячьей шапке. Тощее, некрасивое лицо его было ещё плутоватее, чем раньше.

– Я теперь холодный букинист, – гордо тряхнул головой Федька, помахивая пачкой старенько книг.

– Ты у отца живёшь? – спросил Гриша (отец его был ломовой извозчик).

– Нет, я с отцом поругался и ушёл от него. Живу у тётки Акулины, и живу хорошо.

– Неужели хорошо? Ведь ты ещё мало в книгах понимаешь.

Федька хвастливо усмехнулся.

– Чёрта с два! Я теперь вашему Тузу не уважу по старой книге... Я, знаешь, работал с Рождества у старика Николая Ивановича и кое к чему поприглядделся.

– А ты «Практическую орнитологию» знаешь или Гумбольдта? – спросил Гриша, желая похвастать своими знаниями.

– Ах ты, пунцовая губа, кислое молоко, ещё экзаменовать меня вздумал. Да я знаю то, что тебе за пять лет не узнать у Балакина. Не то что там первые издания,

а вчера на рынке купил «Сенсанцию мадам Курдюковой», «Шемякин суд», а то ещё «Дурацкой колпак», «Человеческая трагикомедия». Это ещё что!.. – Федька подумал, оглядывая улицу и форсисто поправляя шапку, ему хотелось поразить Гришу ещё больше, чтобы он всем в «Скорлупе» рассказал об его успехах, чтобы все удивились: вот он Федька какой.

– Если возьмём тот же фронтиспис, о котором мы часто говорили, так я тебе скажу, что ни Матвей Иванович, ни Тузов не видали такого фронтисписа, какой я на днях видел.

– Где?

– Вот те где: в «Тарантасе».

– В каком тарантасе? – удивился Гриша.

Федька засмеялся

– Эх ты-ы, книжник! Книжка такая есть. Я ещё знаю, что такое ксилография. От ксилографии и печать пошла, а потом такая книжка, как «Стефанит и Ихнилат»,– вашим и во сне не снилось.

– Да, ты много знаешь,– признал Гриша. – А как ты начал торговать, почему ты ушёл от старика?

– Дело такое вышло, – хитро усмехнулся Федька. Один раз Николай Иванович ушёл обедать, а я остался один. Приходит старуха с книгой и спрашивает: «Книги старые покупаете?» «Покупаем», – говорю ей. Смотрю – книжища большая, в тёмном толстом переплёте, потрёпана здорово, и верхняя крышка переплёта почти оторвана. Читаю: «Арифметика, сиречь наука числительная». Спрашиваю: «Сколько же, бабушка, за книгу просишь?» «Трёшницу, – говорит, – милый, положь». Ну, думаю, это дорого за старье и предложил целковый. Старуха ушла. Вернулся Николай Иванович. Я ему и сказал о книге. Только назвал «Арифметика, сиречь наука числительная», как старик поднял вверх руки, задрожал, затопал ногами. «Олух! Олух! Разбойник! Что ты сделал; ведь это Маг-ницкий! Убил, олух, до смерти убил!» Мне стыдно стало, кровь так и хлынула в лицо, прямо страсть. Понял, что книгу редчайшую упустил. «Сейчас я догоню старуху, куплю». И вот схватил я трёшник из рук старика и кинулся за старухой. Догнал у соседней лавки. Она уже в дверь лезет, а я её за рукав: «Бабушка, барыня, послушайте. Книгу-то я беру». Старуха и не смотрит, лезет в лавку. «Всё пропало, – думаю,– вот беда». И пошёл я на отчаянность: выдернул из-под мышки у старухи книгу, бросил три рубля и побежал.

Федька перевел дух, мотнул головой, точно он снова переживал этот случай, и засмеялся.

– Надо закурить, парень, а то не доскажешь.

– Что же, Николай Иванович обрадовался? – нетерпеливо спросил Гриша.

– Было чему радоваться! Трёшницу-то я ему вернул.

– А книга?

– Что ж книга?.. Книга нашла своё место. Она мне дорогу показала. Теперь видишь... я сам хозяин. Года через два свою лавку открою. Приходи любоваться.

Гриша думал о старухе и Николае Ивановиче, было жаль их, жаль и книгу.

– Сколько ты взял за неё? – спросил он.

Федька курил, прищурясь, и презрительно сверху смотрел на мальчика (он был на три года его старше), хлопнул его по шапке и подал руку.

– Прощай-ко, да приходите с Миколой ко мне в гости на Разъезжую; жарьте прямо в трактир «Невский». Я там каждый вечер на биллиарде играю и выпиваю по маленькой.

– Водку?

– Конечно, не керосин. Какой я книжник, если водку не научился пить!

– Не знаю уж, придём ли, – сказал Гриша, обернувшись. – До свидания. – Он был взволнован разговором и не мог простить Федьке того, что он не отдал книгу Николаю Ивановичу. Опять стало жаль и старуху.

С письмом в руке Гриша зашёл к Антипиным. Надя взглянула на конверт, потом на маленького посыльного.

– Ты откуда?

– Я балакинский.

– А-а, – засмеялась Надя, и лицо залилось румянцем.

Грише не хотелось уходить; ему стало весело оттого, что эта красивая девушка обрадовалась письму, которое он принёс; стоял и улыбался.

– Ответ, может быть, снести?

Он обернулся и увидел в дверях Купидоныча; он тоже шёл с письмом; но, кроме письма, Колька нёс букет цветов.

Надя взяла письмо, цветы и ушла в гостиную.

– Тузов писал на конверте? – спросил Гриша.

– Нет, мы с Павлом вместе вышли; он купил цветы, сунул мне их с письмом и посадил на извозчика. – Колька ухмыльнулся с довольным видом: – Вот я и приехал. Письмо было не запечатано, и я, знаешь, прочитал.

– Ну, что там?

– Там, значит, так, что вы не верьте первому письму... Приглашает её на выставку завтра. Если она может прийти, то пусть поцелует один цветок и пришлёт его Павлу. Вот как! А я всю дорогу цветы нюхал.

Мальчики говорили шёпотом.

– Она красивая, – сказал Гриша.

Колька, помолчав, согласился:

– Ещё бы!

Получив цветок, они побежали обрадовать молодого хозяина.

XI

Конюх Тереховой принёс Павлу билет для входа на бега.

– Это, знаете ли, вход с Николаевской улицы, а не от вокзала, – пояснил он.

– Когда бега?

– Завтра, десятого мая, начало в час дня.

– Ты, братец, любишь точность, – сказал Павел.

– Точность? Точно так, Павел Касьянович, в нашем деле часы и минуты на первом месте, потому что беговая лошадь – животина нежная.

Конюх стоял, поглаживая худую бородёнку, и усмехался угодливо, ожидая на чай. Одет он был в синий широкий пиджак, в руке держал фуражку с лакированным козырьком. Павел дал ему полтинник и спросил о конюшне.

– Покорнейше благодарю. Здешняя конюшня, слава богу... В зимний сезон мы пятнадцать первых призов взяли. Завтра Боярышню пускаем на большой весенний приз и думаем взять. Парис опасен; хорошая лошадь, окаянная, прости господи, только Жабову и ездить, да Жабов-то сегодня весь день на биллиарде в «Балабинской» играет и пьёт. Это худо. А наш Борисов накануне бегов что невеста, ходит и пятидесятый псалом царя Давида поёт. Утром перед бегами на скрипке попиликает; душевность, говорит, надо приподнять. Здесь-то слава богу. Зато в Москве конюшня убытки дала – то две, то три лошади больны были постоянно. Народишко молодой набран в конюшни, а нынче молодой народишко работать не любит и учиться не любит – только жить торопиться. А лошадь – животина нежная. Я ещё вам, Павел Касьянович, скажу, – конюх подвинулся на носках к Павлу, – у нас трёхлеток вороной есть, красавец. Барыня Зинаида Петровна назвали его Павликом. Завтра он с трёхлетками на верстовую дистанцию бежит. Вороные лошадки приносят счастье. Всего вам хорошего, – поклонился конюх и пошёл с довольным видом, постукивая высокими подборами сапог.

«Чего только не наговорил, – подумал Павел, – а Зинаида не смущается. Кажется, уж конюхам известно, как я наскандалил у ней в последний раз. Не хочет ли она, чтобы я завтра, встретив её на бегах, извинился и поехал с ней ужинать? Спасибо». Он решил ехать на бега с Надей и вовсе не хотел встречаться с Тереховой.

Только что кончился четвёртый заезд, и со всех сторон спешили к кассам счастливые игроки, становясь в очередь за получением выигрыша. Они суетливо разговаривали, признавая друг в друге умного человека, умеющего ставить на верную лошадь. Менее счастливые рассеянно шли в буфет, где хлопали пробки, звенела посуда. Огромная зала с длинным рядом касс под высокими окнами была наполнена тем шумом беспорядочного движения, когда начинался прилив азарта. Публика была обманута наездником Хлебовым – фаворитом. Его освистали и много раз обозвали жуликом, хлебопёком, пьяницей.

– Почему так? Это проигравшие кричат? – спросила Надя, выходя с Павлом из залы на верх трибуны.

– Да, это обычно. Фавориты часто проигрывают; на них больше всего ставят.

На ступенях трибуны стояли и сидели игроки с программами и журналами в руках: тут были волнующиеся простаки, тотошники и бесстрастные завсегдатаи, изучавшие законы и капризы тотализатора; были просто любители бегов, играющие без риска. Они больше всего и ругали Хлебова.

– Да на этой кобыле и я бы сумел приз взять! – досадовал краснолицый толстяк. – Сделка! Ясное дело, обманывают публику!

Толстяк подразумевал сговор наездников.

Павел и Грохова спустились к барьеру, за которым уже была жёлтая широкая дорожка, огибавшая зелёный круг, источенный тропинками.

– Этот круг ровно верста, – пояснил Павел, – и хорошие рысаки проходят его в минуту и двадцать секунд, но обычная дистанция полторы версты; только трёхлетки бегут версту.

– Э-э, вы знаете порядки, – сказала Надя и оглянулась. – Теперь что же? Затишье?

– Да, перерыв между заездами. Ну вот вам первое удовольствие.

Мимо трибуны бежал светло-рыжий рысак, и рядом скакал на маленькой караковой лошади верховой – подросток. Они неслись ровно бок о бок, и наездник в голубой куртке, сидя согнувшись на высокой американке, заглядывал то справа, то слева на ход своего рысака.

– Вы не знаете, зачем скакун? – заговорил стоявший рядом с Павлом рыжеусый малый. Он взмахнул левой рукой, сбивая на затылок шляпу, и весело поглядел на Надю. – Это, видите ли, вот зачем: во время состязания лошадь не должна сбиваться с рыси. Три скачка – и она уже проигрывает всё. А проскачка бывает часто, и это самое обидное для наездника, а ещё тем более, если к столбу лошадь придёт галопом. Иногда во время бега все рысаки начнут скакать, заражаясь этим один от другого, и вот этот наездник в голубом – Сенька Жабов – приучает Париса спокойно бежать рядом со скакуном.

– Ах, это и есть Парис! – сказал Павел. – Он соперник Боярышни. Интересно, а я его плохо приметил; вон они уже в воротах скрылись.

Он развернул программу и спросил:

– Вы, кажется, хорошо знаете и наездников, и лошадей. Кто, по-вашему, выиграет в этом заезде?

– Не смею вам советовать, – усмехнулся рыжеусый, – чтоб вам в обиде на меня не быть; лучше каждому своим умом, да ещё посмотреть надо... Я больше по наитию играю: покажется, что вот эта лошадь выиграет, ну и ставишь.

– Удачно?

– Разно. Больше мимо. В общем за зиму с тысчонку вложишь в беговое дело и сыт по горло, даже во сне бега видишь.

– А вы получали большие выдачи?

– Случалось. Вот месяц с небольшим назад получил двести пятьдесят рублей – фукса, так сказать, подловил. Бежали двенадцать лошадей на три версты, а дорожка была тяжёлая – шёл снег с дождём. Ну, я выбрал самую могучую лошадь – и она вытянула. Все фавориты в такую погоду сдают. М-да, насчёт лошадки для вас я профессора спрошу.

«Профессор», сухой, длинный человек, похожий на Дон Кихота, стоял тут же рядом у барьера и смотрел на сборную проездку рысаков.

– Из семи тройка – Медуза, Вьюн и Пахарь – должны бить, – сказал «профессор».

Павлу понравился Вьюн, и он пошёл платить ставку.

В солнечных лучах, сверливших дымную, вьющуюся синеву, крутились с деньгами, с программами в руках люди. Строгие, высокие, с решётками, кассы учащённо отбивали билеты: тупа-туп-туп-туп. Павел получил за десять рублей картонный билетик и вернулся среди потока людей к Гроховой. Им было видно, как левее трибуны на краю дорожки стоял человек в летнем форменном пальто с красным флажком в руке. Мимо него шли выстроившиеся в линию семь лошадей.

– Обратно, – пронеслось ветром по рядам публики, – портят лошадей...

Фигура с флажком что-то кричала наездникам.

Рыжеусый малый ставил на Пахаря; он глядел на толстого наездника в жёлтом камзоле и ворчал:

– Вот, Гераська наш. Пьян, шельмец, опять! Еле сидит, копна соломенная!

Человек с поднятым флажком всё ещё кричал. Лошади строились снова. Флажок опустился. Торопливо резнул где-то звонок.

– Пошли-и! – вздохнула трибуна.

Вьюн, прошедший мимо трибуны пятым в ряду, к первой четверти оказался на втором месте.

Первым шёл жёлтый Гераська на Пахаре, белом мощном жеребце.

– Вот, Гераська, молодец, копна соломенная! – восторгался рыжеусый малый.

Пахарь ровно шёл впереди соперников. Сзади него, не больше как на корпус лошади, бежал Вьюн, а за ним – маленькая каряя Медуза. Вдруг Вьюн будто споткнулся и скакнул раз, другой. По трибуне покатился рокот. Вслед за тем одобрительные крики:

– Бистер, Бистер, нажимай! Э-эй!!

То относилось к наезднику Медузы, который, воспользовавшись скачками Вьюна, нырнул ближе к Пахарю.

– Ещё, ещё...

К последнему повороту Медуза легко, уверенно держала второе место. Вьюн поправился, но всё же оказался четвёртым. С Медузой теперь соперничала широкая, весёлая кобыла Галка. Галки никто не ждал даже на третье место, и её вдруг все заметили.

– Вот подплыла! Ай черпуха, фуксом пахнет рублей на триста.

– Что ж, лошадь сегодня в порядке.

Между тем Медуза шла ровно на полкорпуса от Пахаря, но с Гераськой что-то случилось. По-видимому, боязнь соперника вскружила ему голову, он сделал нерасчётливый удар хлыстом по Пахарю, находясь в сорока метрах от старта. Мощный жеребец рванул стрелой, но тут же ни с того ни с сего сбился на галоп. С ним уже равнялась соперница.

– А-а-а! – торжествующе пошло по трибуне и отозвалось напротив, в другой чернеющей сплошной массе людей.

У старта Медуза оказалась на голову впереди скачущего Пахаря. Рыжеусый малый, ругаясь, надвинул на лоб шляпу.

– Ах, дурак, Гераська, ах, дурак, чучело, солома!

– Мы проиграли, – сказал Павел, бросая билет, – Вьюн взял лишь третье место, а я ставил в ординаре.

– Досадно… Но хорошо ехали, – улыбнулась Грохова, следя за публикой, хлынувшей в залу трибуны.

Непонятно звучали слова: «в ординаре», «в двойном», «в тройном».

Рядом с Надеждой Николаевной стояла молодая женщина с красными от волнения пятнами на лице; она, помахивая ридикюлем, всё ещё смотрела туда, где был старт, будто чего-то ждала. Несчастное лицо женщины поразило Грохову, и она участливо спросила:

– Вы, вероятно, тоже на Вьюна ставили?

Женщина рассеянно взглянула на Надю и пошла в залу.

К Павлу подошёл мрачного вида человек, одетый под конюха, и с таинственным видом, кося глазами, сказал:

– Хотите, господин, верное дело рубликов на сто?

Он бесцеремонно выхватил из рук Балакина программу и ткнул в неё несколько раз грязным тупым пальцем.

– Вот на третий номер ставьте всё, что есть.

– Не может быть, – равнодушно отозвался Павел, – здесь Боярышня выиграет, во всех журналах она первый фаворит, а вы Лунатика взяли.

Мрачный человек рассердился.

– Ну вот, и скажу по совести, куда тут Боярышне! Говорю – ставьте на Лунатика… Десять процентов мне с выигрыша.

Чтобы отделаться от назойливого человека, Павел сунул ему несколько монет и стал смотреть на пробегающих мимо рысаков.

– Какая прелесть! – крикнула Надежда Николаевна, хлопая ладонью по барьеру. Мимо неё прошла лёгкой, играющей рысью тёмно-каряя красавица Боярышня. Над её крупом согнулся, сидя на американке, широкоплечий, с синими рукавами, наездник Борисов. Боярышня и Борисов плыли совсем рядом: протяни руку через барьер – и, казалось, достанешь синий широкий рукав. Наезднику улыбались, махали шляпами, а весёлый рыжеусый малый потянулся ближе других к Борисову и ласково спросил:

– Придёшь, Ваня, первым?

Наездник знал, что он герой дня, и на его бородатом, широком лице – торжественная, величавая усмешка.

– Дело Божье, – ответил он рыжеусому и тут же зорко взглянул направо. Навстречу ему мчался, буйно кося глазом, светло-рыжий Парис.

– Я пойду к кассам, – торопливо сказал Балакин. В его словах, лице и движениях Грохова подметила что-то суетливое, азартное; ей вспоминалась женщина с пятнами на лице. «До такой степени увлечься… – подумала она, пошла вслед за

Балакиным в залу и растерянно остановилась у входа. – Вот где азарт!» Зала будто кипела, грохотала. Люди в бешеной сумятице вились, сталкивались плечом, спиной, грудью, рычали, обсыпали кассы, кидая дрожащими руками деньги и загребая билеты, а кассы стучали, как водяные мельницы, доводя людей до неистовства.

Павел вырвался из людской гущи потный, красный. Клокочущая толпа вынесла Павла и Надю на трибуну, и шум толпы слился с рокотом бега рысаков. Мелькнули их гривы, как крылья птиц, головы, линии хребта, как медь, сталь, и рядом оранжевые, огненные, синие рукава и кепи наездников. Затем по трибуне колыхнулся ветер, плеск восклицаний, – и всё стихло.

Сжатый трибунами и забором, неправильный, как сложенные концами две дуги, круг уводил лошадей далеко вправо и влево, и там они на крутых закруглениях мелькали, усыпанные разноцветными блёстками.

Павел улыбнулся и крепче зажал в кулаке два билета, взглянув на противолежащую трибуну. Оттуда катился гул, струились белыми лентами листки программ.

– Кому это, Борисову?

– Не разберёшь, кто ведёт, видишь, как кучно бегут, точно сцепились.

– Ну и хорошо: вот это настоящая резня и есть.

Трепет говора заражал игроков нетерпением, и они, вытянув шеи, глядели на рысаков, убегавших от золотистого облака пыли.

– Батюшки, Жабов ведь...

– Н-нет, вот он! – колыхнулась трибуна и запела: – Э-э-э, Бори-и-со-о-в!

Уже всем было видно, как легко, будто играя, неслась первой Боярышня, а рой соперников, казалось, только успевал сопровождать карюю красавицу. Вились синие рукава Борисова, ветром раскинуло на два крыла его бороду. И, ликуя и поддразнивая трибуну, наездник так же, как и она, пел:

– Э-э-э-о.

– Псалом поёт, – усмехнулся Павел.

– Ваня, Ванечка! – сучил руками рыжеусый малый и топтался, точно у него горело под ногами.

– Молодец. Паси тя Христос! Всех украсил!

Павел вспомнил Терехову. «Счастливая, недаром она хотела, чтобы я был на её торжестве». Он посмотрел на Надю и сказал гордо:

– Вот мы и выиграли.

Публика хлынула в залу получать выдачу за Боярышню. Пошёл и Павел, но скоро вернулся, швырнул под ноги билеты, сорвал с головы шляпу с явным намерением швырнуть и её под ноги.

– Дурак, дурак! – поносил он себя. – Надо было ставить на второй номер, а я второпях на третий поставил, и всё из-за того подсказчика. Ведь мы теперь без копейки. Такая досада!

Надя смеялась.

– Ай-ай, как это вы... что же нам делать?

– Не знаю, хотелось бы загладить неудачу, ещё сыграть.

– Ещё? Но как? Разве что... – Надя отстегнула брошку и подала Балакину, – заложите, может быть, дадут на две ставки.

– Зачем вы шутите? – обиделся Павел. – Меня так расстроила эта ошибка!

– Вовсе не шучу, тут и разговаривать нечего; ведь брошка не пропадёт.

– Ей-богу, так, не пропадёт ваша брошка, завтра же выкуплю, но эта ваша добрая выдумка меня убивает и умиляет в то же время. Завтра я буду раскаиваться и ругать себя хуже, чем сейчас ругался: «Подлец ты негодный, чью ты брошку заложил и проиграл!»

– Довольно, довольно! Поезжайте, я так хочу, – настаивала Надя. Ей всё больше и больше хотелось, чтобы брошка была заложена, и хотелось уверить Павла, что в этом она видит только развлечение.

Павел взял брошку и поехал в ломбард. Там он заложил ещё свой портсигар. Получив сорок рублей и возвращаясь на бега, вспомнил слова конюха Тереховой: «Вороные лошади приносят счастье».

– Но кому? Это к игрокам не относится; впрочем, для курьёза можно попробовать.

Решено было ставить на вороных. К кассам ходила Надя и после каждой ставки убеждённо говорила, что они сейчас обязательно выиграют. Выиграл один только вороной – тереховский Павлик (за него давали двенадцать рублей), и до последнего заезда сорок рублей были проиграны.

– Нет, довольно! Никогда я больше не зайду сюда, – сказал Павел, когда они вышли из шумной трибуны на площадку подъезда. – Хорошо, что ещё на папиросы осталось. Подождите, я куплю папирос.

У подъезда стоял лоточник. Тут же шумела, разговаривая со швейцаром, толпа женщин.

– Я каждый день по сто рублей выигрываю, – шутил швейцар и гладил усы с довольным видом, – а вашим мужьям мало сотни. Думаете, им не унести, помогать пришли?

– Скалозубый, сгорели бы ваши бега! – рассердилась пожилая женщина в платке. – Наши мужья сюда только носят денежки.

Швейцар не успел ответить, стал обеими руками махать кучеру Тереховой.

Павел, не замечая ни женщин, ни швейцара, закуривал и смеялся над собой.

– Смотрите, руки, кажется, дрожат после проигрыша, ай-ай!

– Но мы не много проиграли, – сказала Надя с беззаботной улыбкой.

– Нет, много.

– Вовсе не так много: последние сорок рублей целы.

– Помилуйте! – удивился Павел. Он даже попятился и развёл руками.

– Вы же ходили ставить, вам так хотелось...

Надя засмеялась, показывая на ладони десятирублёвые золотые.

– Я виновата, но знаете, так уж вышло!

Балакин восхищённо всплеснул руками.

– Ну и ангел вы, обманщица этакая! – И вдруг торопливо повлёк девушку от подъезда.

На площадке стояла, глядя на них, высокая женщина в чёрной, с широкими полями, шляпе, в распахнутом манто и небрежно накинутом на плечи боа из серебристых страусовых перьев. На её лице с круглыми зеленоватыми, как у совы, глазами и усмешливо опущенными уголками рта было обиженное, сумрачное выражение. Павел и Надя шли по деревянным мосткам вдоль забора. Женщина опустила на лицо вуаль и села в коляску.

– Что это сегодня с Тереховой? – сказал швейцар стоявшему рядом контролёру. – Сегодня её рысаки два первых приза взяли, а она зла как чёрт; смотрите, едет шагом, точно за похоронными дрогами.

Терехова не сводила глаз с Павла и его спутницы. Её поразила красота цыганского лица Нади, и теперь хотелось найти какой-нибудь недостаток. «У ней большие ноги, и нехорошо одета, похожа на портнишку или продавщицу». Вспомнила смех Павла, его лицо и резко крикнула кучеру:

– Поезжай, Степан! – но тотчас велела остановиться.

– Павел Касьянович! – позвала она каким-то надрывным голосом и протянула ему из коляски руку в белой перчатке. – Садитесь, садитесь со мной…

Павел учтиво поцеловал протянутую ему руку и улыбался, глядя на некрасивое лицо Тереховой. Терехова знала, что она некрасива, и сейчас ей очень хотелось казаться красивее, милее, но она была зла и на Павла, и на себя, и оттого лицо её стало ещё более некрасивым, и, не слушая извинений Балакина, упрямо, хищно тянула его в коляску.

– Садитесь же, какой вы ужасный человек!

«Увезти хочет, злится, – подумал Павел, вскакивая в коляску. – Ах, чёрт возьми, почему я не зашёл к ней в ложу»? Он обернулся к Наде и крикнул:

– Я сию минуту!

– Ах, вы «сию минуту?» Нет, вы поедете со мной, я вам посылала билет, я хотела вас видеть на бегах, а вы… с какой-то портнишкой. – Терехова поспешно вынула из манто бриллиантовую булавку. – Вот подарите ей.

– Почему вы так рассердились? – попытался заговорить Павел, но говорить было неприятно, как неприятно было и ехать. Он оглянулся. Проехали шагов сорок; ещё немного – и ему трудно будет спрыгнуть.

– Стой! – крикнул он кучеру и приподнялся.

Терехова следила за ним и опять протянула ему булавку.

– Возьмите же, подарите ей.

Павел молча спрыгнул на мостовую и вскрикнул от боли в плече: Терехова вонзила ему в плечо булавку.

XII

Копосов каждое утро, идя на кухню мыться, стучал в комнату приказчиков и бормотал бессвязно:

– Was ist das? Guten Tag!

– Guten Tag! – басом отвечал Лука.

Мальчики, подражая Луке, тоже басом повторяли: «Guten Tag». Они знали десятка два слов по-немецки и по-французски, и это было всё, что мог им дать Фёдор Гаврилович. Зато другом и учителем был Лука. Он посадил Купидоныча и Гришу за историю книгопечатания и заставил вести дневник.

Первый раз Гриша записал:

«Читал о печатании картин и карт с деревянных досок. Это было в четырнадцатом веке, а теперь у нас двадцатый. Теперь знаю, с каких пор в карты играть стали в европейских странах. А первые книги “Зеркало человеческого спасения” и “Библия бедных” с такими же картинками, как у нас в деревне старая картина Страшного суда, напечатаны тоже с деревянных досок лет пятьсот назад. Но вскоре после того Гутенберг научился изготовлять много металлических букв и набирать книги этими буквами. Он открыл типографию вместе с богатым человеком Фустом. Был у них подмастерье Шеффер. Потом Фуст и Шеффер обидели Гутенберга, попросту прогнали из типографии. Но ему удалось открыть вторую типографию и опять с товарищем. Когда стало две типографии в городе Майнце, загорелась война между двумя архиепископами. Один с войском отнимал у другого место архиепископа. Обе типографии принялись печатать прокламации; Шеффер с Фустом за старого архиепископа, а Гутенберг за нового. Для Гутенберга вышло счастливо. Новый побил старого, а Гутенбергу за помогу новый дал паёк, – давал ему каждый год платье, двадцать мер зерна и два воза вина. Допускал и к столу, словом, кормил до смерти. А Фуст умер ещё раньше Гутенберга. Умер в Париже. Туда он ездил продавать напечатанные им Библии. Умер он от чумы, хотя всем, кто покупал у него Библию, говорил, что она спасает от чумной заразы».

«Сегодня, 24 мая, напало снега чуть не до колен. Говорят, шёл какой-то скандинавский циклон. Очень невесело, если летом снега навалит. Тут и без этого снегу невесело. Сижу один и жалею Луку. Сегодня он меня взял с собой в типографию, показывал мне машины, бумагу в больших катушках, шрифты всякие. Видел я ещё, как набирают наборщики книги, да потом всё у меня из головы вылетело оттого, что нагрянула полиция и нашла в типографии запрещённые книги. Эти книги хранил Лука. Меня полицейские выпустили из типографии, и я побежал в “Скорлупу”. Хотел взять извозчика и не смел, да и бежать было стыдно, все смотрели на меня как на вора. Всё-таки я нанял извозчика. Ему заплатил Фёдор Гаврилович».

В одно время с Гришей к «Скорлупе» подъехала на паре лошадей горничная Тереховой. Пока Гриша рассказывал об обыске, старая и хитрая служанка богатой барыни, строго глядя на Павла, говорила о болезни Тереховой.

– Уж так больна, так страдает, что страсть, и беспременно хочет вас видеть. Лошадей прислала, так уж поедемте.

– Хорошо, я еду, – тихо сказал Павел, – подождите минуту. – И направился в кабинет отца. «Правда ли, наверно, притворство только». Увидел отца: Касьян Ильич шёл к нему.

– В типографию надо ехать, Павел. Беда там с Лукой. Поезжай, выясни всё.

«На тереховских лошадях заехать, что ли? – подумал Павел. – Нет, возьму извозчика». Он отослал горничную, предупредив, что скоро приедет, вскочил в пролётку извозчика и поехал в типографию.

– Стой! Стой! – кричал, догоняя его, Балакин, – знаешь, там что… наверно, книжек нелегальных Лука натаскал. Прими вину на нас. Наложат штраф – не беда, а то Корытова закатают. – Он сердито тыкал рукой в колено Павла и повторял: – Прими, всё прими, понял? – будто он хотел, чтобы сын сел в тюрьму вместо Луки.

Балакин был в тревоге, а Павлу всё это казалось пустяком. Встреча с полицией, разговоры, допрос в первую минуту представлялись тягостными, но вряд ли там что-нибудь серьёзное. «Теперь обыски – обычное явление, и кто их боится? Каждый порядочный человек сочувствует революционерам, сам хочет быть революционером и презирает полицию. Если там нашли книги, то я смело скажу, что это я их хранил». – Павел представил, как он спокойно, даже гордо, скажет об этом на допросе. Потом тюрьма, суд, может быть, ссылка, разговоры, статьи в печати, хлопоты отца, Тереховой, а Надя будет грустить. Войдя в типографию, Павел нашёл уже обыск законченным. Нелегальная литература была связана, Лука был арестован. Павлу только сказали, что Балакин будет привлечён к ответственности за хранение в типографии нелегальной литературы.

– Балакин не знал о литературе, – сказал Лука. – Я уже заявлял вам, что литература собиралась мною как любителем.

Плечистый, с военной выправкой человек из охранного, который сказал Павлу об ответственности за литературу, стоял у окна, засовывая в портфель какие-то бумаги. Солнечный луч играл на стёклах его пенсне, седые кончики усов казались серебристыми.

– Господин Балакин, – сказал он, – вы уверены, что ваш приказчик говорит правду?

– Уверен, вполне уверен, – торопливо ответил Павел, и ему почему-то стало неловко.

– Так, а уверены ли вы в том, что он не занимается в некотором роде пропагандой?

– Этого я не знаю.

– Конечно, вы не знаете, – насмешливо согласился человек из охранного.

– Да, я не знаю, – с задором сказал Павел и покраснел, – но думаю, что Корытов не занимается пропагандой.

Двое переодетых городовых по знаку охранника подвинулись к Павлу. Охранник сверху, пренебрежительно посмотрел на него и махнул рукой.

– Вы пока свободны. Ступайте, липовый адвокат.

Павел опустил глаза, скрывая вспышку ненависти, и пошёл вон из типографии.

– Рабство, рабство, – шептал он, но всё-таки был доволен своей защитой. «Липовый адвокат»! Да даже Сократ не в силах был защитить себя от смертного приговора. Выйдя на улицу, он вспомнил, что надо идти к Тереховой. Идти не

хотелось. Охотно бывал он у ней только тогда, когда самая некрасивая женщина казалась очаровательной.

И на улице было нехорошо. Дул холодный ветер. Таял выпавший ночью снег. Чуть-чуть пригревало солнце. Минут за двадцать, пока Павел шёл до дома Тереховой, ему всё больше и больше казалось, что идти вовсе не следует, что Терехова ему надоела, что Луку теперь отправили в тюрьму и отцу надо платить штраф. «Может быть, взять у Зинаиды тысяч десять на штраф и за Луку?» Павел даже остановился, поражённый возникшей мыслью. «В самом деле, что ей стоит дать эти деньги? Но, чёрт возьми, она, может быть, будет рада: если взять десять тысяч, то я уже обязан буду ходить к ней, как купленный».

Терехова действительно была больна. Павлу в передней встретился старик поп. «Почему поп? – испугался Павел, – плохая примета встретить попа». Горничная шёпотом сообщила ему, что сейчас у барыни доктор; она торопливо ушла и тотчас вернулась. Павел стоял опустив голову. Он чувствовал за собой какую-то вину перед Тереховой и никак не мог решить, почему так случилось. Но что же случилось? Он робко вошёл в спальню вслед за горничной. Терехова сидела в кресле и смотрела на Павла почти весело. Только сидела она, согнувшись как старуха, и лицо было осунувшееся, зелёное.

– Вот как я сдала, – просто сказала она.

– Что же такое? – виноватым голосом спросил Павел. Ему вдруг стало жаль эту женщину. Он смотрел на неё, придвигая стул, и думал: «Неужели всему причиной тот случай? Надо остаться у неё, пока не выздоровеет», и весело заговорил о том, что хорошо бы вместе поехать на юг, как в прошлом году.

– А вы едете? – оживилась Терехова. – Ей-богу, надо ехать, это предписывает врач.

– Обязательно едем вместе, – решительно сказал Павел, целуя её руку. Потом подумал: «Свезу и сбегу оттуда».

XIII

Всё, что делал Балакин, казалось ему, делал правдиво, искренне, нисколько не расходясь с теми житейскими правилами, на которых покоятся совесть, долг и благополучие. Но к этим старым, почтенным «добродетелям» он постепенно, год от года присваивал себе одну за другой новые, ещё более почтенные; он уже нередко говорил о чести культурного издателя, о профессиональной гордости, благородстве в работе, вовсе не думая о том, что это является следствием всё больше растущих требований, желаний.

В начале своей издательской деятельности он довольствовался небольшим доходом и похвалой друзей, любителей литературы, друзей – мечтателей о народном благе. Довольствовался первыми успехами своего соперничества с бульварщиной и лубком.

Революция дала ему в руки ворох новых изданий, которые сделали его имя известным. Похоже было на то, что дело Балакина скоро приобретёт славу большого культурного предприятия. С высоты этого предприятия он будет орлом смотреть на неудалых книжников – мелких добытчиков. Точно так же должно смотреть и на издателей, наживших дома и капиталы на подленьких изданиях. Балакин знает, что их песенка спета: теперь нужен сметливый издатель-культурник; нужно быть ближе к передовой интеллигенции.

За последнее время у него расширился круг знакомств с людьми из интеллигентной среды. Новые знакомые нередко называли его другом народа, новым деятелем просвещения. И сам Балакин не скупился на приветливое слово, особенно при встрече с автором, издающим у него свои книги. Говорил о том, как трудно нынче вести культурное дело, сколько забот, труда и искусства требует каждое издание, как развивается конкуренция: ведь покупатель больше всего считается с ценой книги. Говорил и о своём умении распространять книги: недаром же он среди букинистов свой человек, даже в некотором отношении вождь.

С любителями изящной книги Балакин толковал о своих будущих великолепных изданиях; они будут достойны Бескервилля; но пока у него ещё мало сил и средств.

Был ещё круг людей, по его мнению строгих и несколько опасных. Перед ними он хвалился своими революционными изданиями.

Он охотно брался за издание книг явно революционных. Изредка эти книги конфисковали. Балакин платил штраф. Но конфискации и штрафы нисколько не влияли на общий успех дела, даже наоборот; репрессии делали ему рекламу. Прекрасным помощником в выборе ходких революционных изданий был Лука. Потому Балакин дорожил им, хотел спасти от ареста, принимая всю вину на себя; но когда узнал, что из литературы, конфискованной в типографии, часть была подпольной, он, в душе сердясь за излишнюю революционность Луки, говорил с чисто русской хвастливостью:

– Лука у меня бесстрашный, а я ещё бесстрашнее: его, подлеца, хотел выручить, подпольщину взял бы на себя, но Павел опоздал. Риск – дело благородное.

Этот риск вскоре и его самого потянул на суд. Обвиняли в поношении христианской религии путём распространения печатных произведений. Такое произведение была книга Ницше «Антихристианин», опыт критики христианства.

Когда Балакин был на суде, в его кабинете сидели авторы изданных им книг, ждали издателя и сочувствовали ему. Почти все авторы, ожидавшие Балакина, были знакомы с судом и тюрьмой; поэтому как-то невольно темой разговора служили воспоминания о пережитых всеми чувствах, и как-то невольно каждый, говоря о себе, видел общее в судьбе передового русского интеллигента; потому разговор носил дружеский, непринуждённый характер. Всем казалось, что их переживания и потери не так уж значительны в сравнении с теми неразрешёнными спорными вопросами, которые окружают их со всех сторон и которыми так занята душа.

Один в тюрьме страдал галлюцинациями, другой увлекался упражнениями по системе Мюллера. Третий шутливо говорил, что он отнёсся к тюрьме как к очередной повинности.

– Что поделаешь, когда так на роду написано? Но без книг заключённому невыносимо.

– Да, да, – поспешно согласился ходивший по кабинету взад-вперёд, подергивая правым плечом, высокий человек с реденькой бородкой (его называли Михаилом Васильевичем). – Я думаю, что хорошо бы провести кампанию в печати по сбору книг для заключённых. Важно бы и периодику собирать. Помню, когда нам перед революцией начальство стало давать библиографический орган, это было большим праздником. Не говоря уже о том, что мы следили по этому органу за выходом новой литературы и могли выписывать её, но особенно интересны были те скудные сведения о текущей жизни, которые находили в этом библиографическом органе. Мы читали насквозь всё буквально. В каждое слово, в каждую строчку мы всматривались с затаёнными трепетными надеждами и с вниманием, обострённым до ясновидения.

Вошёл Балакин. Все поглядели на него недоумевая. Он сбрил свою пышную бороду и изменился до крайности, выглядел гораздо моложе своих сорока трёх лет.

– Ну что, как, чем кончилось? – окружили гости Балакина. – Не узнаешь его сразу.

– Две недели тюрьмы и книгу уничтожить – все две тысячи экземпляров.

– Кто защищал?

– Могилянский. Да чёрт с ними! «Вы – человек с такой истинно русской наружностью и судитесь», – сказали мне. Вот я разозлился на свою истинно русскую наружность и зашёл к парикмахеру; он обделал меня под немца. Но что происходит в судах! Какого-то несчастного оштрафовали на 200 рублей за пустое дело, а Рябушинского, этого толстосума, за то, что он напечатал в своём «Золотом руне» похабный рассказ, оштрафовали на 55 рублей. Да всего смешнее то, что в случае несостоятельности обвиняемого посадить его на две недели под арест. Я в несколько раз побольше Рябушинского штрафы платил. Не помню, кто-то подсчитал, что с тех пор, как дана свобода печати, было привлечено к судебной ответственности 1259 редакторов. Из них 462 приговорены к тюрьме и крепости, 16 к каторге, 3 – к поселению. За девять месяцев наложено 125 штрафов на сумму 700 тысяч рублей. Одним словом, мы пашем и сеем, а что вырастет и кто пожнёт? – Никто, пожалуй, не скажет... А вы о чём толковали? – А-а, о сборе книг... Хорошо!

Балакин сел к столу и по привычке поднял руку, намереваясь погладить бороду, засмеялся над своим неловким жестом и заговорил о том, что он занят подготовкой к съезду издателей и книгопродавцев, вообще он занят книжной политикой. Нужно бы написать в повременных изданиях о книжнике, о книге, её друзьях и врагах.

Гости подхватили его мысль. Потом заговорили о новой книге, новом читателе и что ни суды, ни конфискации не остановят этого отрадного явления.

– Да, да, шумит книга нынче, – сказал Балакин. – Только сыщики, порногра-

фия, оккультизм, магия и прочая в блуде родившаяся литература затемняет свет в окошке. Это – саранча. Откуда её столько? Это действительно товар, а не книга. Но это ещё не всё: есть ещё неунывающие московские и здешние фабриканты лубка. А книжки для солдат? Потом тысячи изданий духовных? Разве всё это даёт спать спокойно тому, кто способен разглядеть этот ядовитый цветник? Разве я не прав, говоря о книжной политике и объединении книжников для борьбы против нечисти? С другой стороны, большинство книгопродавцев провинции, этой глуби и шири России, не обеспеченное в своих самых насущных нуждах, но идейно дорожащее своим делом, вынуждено отвлекаться от прямой своей службы и заниматься одновременно продажею в лучшем случае писчебумажных и канцелярских принадлежностей, часто же – предметов, и ещё менее имеющих какую-нибудь связь с книгой.

– В стране, где материи, булки, табак, вино – словом, всё, что хотите, покупатель требует желательного и вполне ему ясного достоинства и почти никогда не бывает склонен получить что-нибудь по совету самого продавца, а не по собственному вкусу, – в этой стране только одна книга покупается случайно, по рекомендации часто малограмотного приказчика... Разве такое удовлетворение духовного голода не трагедия? И разве, с другой стороны, работа в такой стране не обещает плодов, о которых западноевропейский книжник не смеет даже и мечтать?

– Основным недостатком современного положения книжного и издательского дела следует признать разрозненность книгопродавцев и издателей, обособленность одних от других. Из 2500 книгопродавцев России лишь самая незначительная часть состоит членами Русского общества книгопродавцев и издателей, и ещё меньшее число членов насчитывает в своих руках Московское общество издателей и книгопродавцев. В России должно быть только одно сплочённое общество. Только такое общество может дружно и плодотворно работать, быть истинным распространителем хорошей книги в народе. Каждый книгопродавец и издатель, ведущий своё дело за свой риск и страх, при современном положении дела употребляет много энергии, средств и сил на то, чтобы поставить своё дело на надлежащую высоту, годами бьётся, бьётся и редко может похвалиться выпавшим на его долю счастьем, когда наконец дело становится настолько прочным, что в состоянии процветать долгие годы. Чаще приходится наблюдать, что начинающие фирмы принуждены прекращать свою деятельность в самом начале, и не потому только, что в их распоряжении не было нужных средств или ценных умелых работников: на первых же порах деятельность начинающего книгопродавца сталкивается с полнейшим отсутствием самого необходимого: у него нет под руками каталога, которым бы он мог руководствоваться при выборе книг для своего магазина; он не знает, к кому обратиться за получением той или иной книги, где её склад, какова на неё скидка, где и какие есть издательства и их представители; он даже не имеет полного перечня действующих в России книжных магазинов. Приходится обращаться ко всем каталогам отдельных фирм, которые собрать не так-то легко, да и всего нужного материала всё же не соберёшь. Если книгопро-

давец в то же время и издатель, он не имеет никаких путей для распространения своего издания, кроме дорого стоящей газетной или журнальной рекламы, сплошь и рядом не достигающей своей цели.

– Вы правы, – сказал Михаил Васильевич, – надо добиться большего внимания общественной мысли к книжному делу; но как вы смотрите на другого рода издания? Я имею в виду иллюстрированные роскошные произведения печатного станка.

– На это, я бы сказал, нельзя не смотреть иронически. Прежде всего надо сказать о корнях: как известно, прекрасный образец книжного искусства дали французы в восемнадцатом веке. Было, конечно, там и излишнее увлечение украшением книги иллюстрациями, но можно восхищаться чудесными рисунками Эйзена, Моро, Буше. Есть издания Казэна, Франсуа Дидо и других, в которых существует поразительное сочетание работ типографа, художника и переплётчика. Немудрено, что наши баре восемнадцатого и начала девятнадцатого века увлекались французской книгой. А нынче! Вы посмотрите, как охотятся за этой книгой наши современные баре. Но ведь вкусы смешались – классицизм разбавлен увлечением Рёскиным, Бердслеем и Ропсом. Образованные богачи ищут знакомства с тонкими знатоками искусства, и в свою очередь знатоки летят в гостиные и салоны радушных миллионеров, которые любят слыть покровителями искусства. Ведь известно, что Рябушинский, Мамонтов, Поляков, Щукин – отцы и пестуны роскошных сборников «Золотое руно», «Весы» и целого ряда других изданий. Говорят о богатом расцвете книжной иллюстрации, о десятке имён талантливых художников, украшающих книгу. Но если вы посмотрите на дягилевский «Мир искусства», на «Старые годы» Вейнера, на сборники и книги, где работают иллюстраторы, то вы увидите не искусство книги, а искусство в книге. Обилие декоративных узоров, архитектурного орнамента, наклеек репродукций – всё это говорит о самоценности искусства, о рекламировании им себя, а не книги. Всё это не то, что нужно: не создано ещё того, чем можно бы гордиться. – Балакин умолк, вспомнив, что собеседники ждут кто расчётов по изданию, кто принёс новый материал. Он торопливо взялся за дела и тотчас стал практичным, расчётливым, как всякий коммерсант.

XV

Судебная волокита, штрафы, тюрьма отняли у Балакина лето и осень. Это время он называл сплошным сумраком, ненастьем; от него никуда нельзя было уйти. Сидя в тюрьме, он подводил итог своей издательской работы, сравнивал себя с другими, желая утешиться тем, что не одному ему наградой служат штраф и тюрьма; перебирал в памяти издательства, издательские «лики», из которых с одними он дружил, с другими соперничал, третьих просто презирал. Почему-то неотвязчиво лезли на глаза фигура Игнатия Макаровича и его книжно-картинный «пантеон», получающий пожалования от царя и Синода. Потом припоминал встречи, разговоры, события в книжном мире. О том, что делалось без него в «Скорлупе», не думал, отдаваясь воспоминаниям. Взялся кое-что записать, вскоре увлёкся и

стал писать целыми днями. Последние свои тюремные дни составлял письма деревенской родне и сыну в Ниццу, где тот жил с Тереховой. Думал о новых изданиях и о том, как его встретят дома и кто придёт к ним вечером. Он оживлённо ходил по камере, вспоминая Надю и Антипина. Надя для него была самая милая гостья; зато Антипин сердился, когда она затевала шутки и носилась по квартире с Сашей и мальчиками. «Резва уж очень Надеждушка», – говорил Карп Иванович сестре. Он был недоволен тем, что Балакин во всём угождает его невесте и сам резвится, не уступая в этом молодёжи.

По выходе из тюрьмы он, вместо того чтобы уйти в ожидающие его дела, должен был принимать приятелей и знакомых. Все они с весёлой улыбкой поздравляли его с благополучным возвращением из «отпуска». Вечером собрались гости; пришёл Картонов, потом Карп Иванович и Хапутин.

– Ты что же сегодня один? – спросил Балакин Антипина.

– Надя зашла к портнихе; она скоро придёт: ведь женское дело, – развёл руками Антипин, – у них портниха каждодневно, не то что наш брат... Я, примерно, костюм вот этот четыре года ношу, зато и материал на нём... как кожа.

– Видно, видно, – сказал Картонов, – блестит, точно клеёнка. А вот что я тебе скажу. Это по твоей части. Умер известный человек.

– Ну-ну, что такое? – Антипин вдруг проворно подсел на диван к собирателю, голову откинул назад, выставив вперёд на собеседника свою жёсткую бородку: – «Умер известный человек». Так я ведь не гробовщик.

– Да его давно уже похоронили. Не будем говорить кто, только он известный моряк. Жена этого покойного, бывшая кухарка, продаёт лишние вещи. Между прочим интересный архив я нашёл в мусорном ящике. Завтра уже ничего бы не осталось от этих ценных документов. Теперь дальше: видел там я кандалы декабристов, вериги святых, обломок кареты царя Александра Второго, обломок погибшего корабля «Русалка».

– Ну уж и добро... – разочарованно отвернулся Антипин.

– Картины есть, затем нортоновские часы с музыкой, фарфор, цветной хрусталь. Видел ещё одну вещь работы Грачёва – «Буря на море» – группа, сделанная из серебра, весит три фунта, а продаётся за двенадцать рублей.

Антипин вскочил, выхватил из кармана записную книжку и снова сел на диван.

– Где, где это продаётся, господи боже? Грачёв за двенадцать рублей! Запиши, пожалуйста, – подал он книжку Картонову, – а то я волнуюсь, и в глазах рябит. Говоришь, фарфор и цветной хрусталь есть? Фарфор ты мог заметить, какой фабрики, а хрусталь тебе не отличить.

– Ты прав, я затрудняюсь разбираться в цветном хрустале. Только знаю, что императорский завод выделывает несравненно лучший хрусталь, чем частные фабрики, а как отличить императорский от частных – не знаю.

Антипин с превосходством посмотрел на Картонова и зашипел:

– Не знаешь? И никогда ты не узнаешь! Надо изучить форму орнаментации хрустальных вещей, характерную для той или иной фабрики.

Фарфор имеет марки, а хрусталь их не имеет. А как ты поймёшь вещь императорского завода? Я тебе скажу, что, может быть, ты не почувствуешь ту тонкость, ровность и красоту грани, какие есть в императорском хрустале. Есть грани: ананасная, ребриковая, репкой, горошиной, островерхая. Или, скажем, тон. Для вещей императорской фабрики характерна глубина тона. Это поразительно: особенно золотисто-зелёный тон. Получается он так потому, что в цветную массу вводится червонное золото в порошке. Орнаментовка и украшения этого хрусталя отличаются ещё густотой червонного золота и драгоценной платиной. Хрусталём же рубинового тона украшались люстры. Сочетание позолоченной, большого огня бронзы с блестящими подвесками прозрачного хрусталя и с днищами или полушариями рубинового хрусталя необычайно красиво и пленяет всякого.

– Да, это красиво, – согласился Картонов. – Я вот сегодня купил первое издание «Ябеды», которая была сожжена по приказу Павла, а автор сослан в Сибирь и в тот же день возвращён обратно и повышен в чине. Конечно, «Ябеда» редкость; только мне она не нужна, потому я её променял.

– Променял? – сказал Балакин. – Жаль, я взял бы!

– Нельзя, друг, было не променять. Сокровище нашёл, ты посмотри… – Картонов, умильно コся глазами на друга, полез в обширный потайной карман старого сюртука, в который поместились бы три больших книги, вынул «сокровище». – Это «Русская Талия», подарок любителям и любительницам отечественного театра на 1825 год. Тут и портреты Истоминой, Семёновой, Телешевой и Каратыгина. Это всё, что было мило Пушкину и его современникам. Прекрасная вещь. Уже узнали книжники и собиратели – удивляются, как мне везёт.

В столовую вошёл Хапутин. Он увидел Картонова и сказал про себя хмуро: «Вот он где, чёрт! Наконец-то нашёл». Он почти весь день гонялся за Картоновым, думая во что бы то ни стало купить у него «Русскую Талию». Её давно добивается самый видный покупатель Хапутина, богач Хрущёв. Хапутин мог бы купить «Талию» дней пять назад, но показалось дорого, он торговался и думал, что альманах не уйдёт от него. Уже вчера он похвастал Хрущёву, что наконец-то он нашёл «Талию». И вдруг её перебил Картонов! Гоняясь сегодня за ним, Хапутин бормотал, заплёвывая свою чёрную бороду: «Это нехорошо, нехорошо, стыдно перед всем светом». Ой, ой, как ловок Картонов. Теперь надо было заручиться поддержкой Балакина в деле купли альманаха. Здороваясь, он долго тряс руку Балакина, называл его «нашим вождём, героем». Потом устало опустился на стул и вздохнул, проклиная тюрьмы, штрафы. Досталось и правительству, чёрной сотне, даже октябристов Хапутин обозвал переплётчиками Империи. Наконец, он взял в руки альманах. Осмотрел его бегло, но по судорожному трепету его пальцев и по алчному разбегу глаз Картонов догадался, что букинист готов овладеть его покупкой.

– Ну-с, Николай Петрович, знаю, где ты взял эту вещь: она ведь моя.

Картонов увидел беду: он был должен Хапутину сорок рублей и обещался продать что-нибудь из театральных альманахов. Теперь букинист обязательно возьмёт «Талию».

– Да, да, я для тебя и купил, – сказал он, краснея и запинаясь. Его охватил страх за свои слова, Хапутин теперь не выпустит из рук альманаха.

– Вот это благородно, – заликовал Хапутин, – кончено, я прячу.

Картонов встал и протянул руку.

– Ещё посмотреть мне хочется.

– Нет, нет, кончено.

Картонов испуганно взглянул на Балакина. Тот, щурясь и поминутно сглаживая рукой усмешку, смотрел на соперников.

– Как вам не стыдно? Зачем так бояться друг друга?

– Ты ручаешься, что он честно?.. – кивнул на Картонова Хапутин. – Дам, посмотри, пожалуйста.

– Вот и ладно, – Картонов сунул альманах в потайной карман и показал букинисту кулак. – Смерть ты книжная, ирод!

Хапутин вскочил и пошёл на Картонова, как медведь.

– Ты сам смерть! Раздавлю вот сейчас, как клопа!

– Друзья, где вы находитесь? – строго сказал Балакин.

Хапутин попятился к стулу, сел, выхватил из кармана платок и принялся усиленно вытирать лоб и щёки.

– Ну и человек, вот уж наказанье! Посуди, Касьян Ильич, ведь обещал он, жадная душа, любую книгу, а что получилось…

Картонов уселся опять на диван и, прижимая локтем альманах, миролюбиво сказал:

– Есть о чём толковать: «Талия» мне самому нужна, а ты своё получишь.

– Ох-х! – застонал Хапутин. – Что с тебя получишь! Ты на каждом шагу мне только неприятности и убытки делаешь. Давно ли «Дафниса и Хлою» утащил из той библиотеки, которую я купил…

– Это я, Андрей Семёныч, за хлопоты взял, ты прекрасно знаешь. Убытков тебе от меня не приходилось нести. Помнишь, как я тебе на пятьсот рублей книг привёз, а ты мне пожаловал только семьдесят рублей, и пришлось взять, потому что с вашего брата больше не получишь? А ведь книги-то какие были! Сердце кровью обливалось, когда вёз их к тебе. Если бы только не нужны были деньги, разве продал бы я Де-ля-Парта или Щеровского, «Полярную звезду»? Ну, Уложение, Иакинф, Неволин, «О пятинах и погостах», Сахаров, Миллер «Сибирское царство», Ригельман – хотя редкие вещи, но уж бог с ними. А «Уличные сцены московских улиц» – это сокровище, сейчас ещё я проклинаю тот день продажи.

Хапутин смотрел на Каратонова и кивал ему ехидно:

– Помню, всё помню. Это единственный случай, когда ты оплошал, а я был чуть-чуть вознаграждён. Впрочем, и ты себя вознаградил, выменяв у сына Иващенки за дешёвую порнографию издания Баскервилля.

– Неправда! – топнул ногой Картонов, – «Девственницу» Вольтера дал я тому молокососу за «Роланда» и Ювенала.

– Знаю я, всё знаю! И выведу я тебя на чистую воду, – погрозил Хапутин. – Как

ты приобрёл «Прогулку в галерее Пале-Рояля» или, скажем, Теребенева? Это называется жульничеством.

– Неправда, – опять топнул Картонов, – праведным трудом приобрёл.

– Хорош твой праведный труд, если ты только к одному влиятельному лицу сходил и за то книги получил.

– Ничего ты не знаешь. Я человека спас, а книги те для этого человека мало значат – всё равно он бы их продал. Тебе завидно! Нет, я только спасаю прекрасные вещи. Они бы или погибли, или простояли в пыльных шкафах, не обласканные рукой восторженного поклонника. Я видел библиотеки многих наших старых бар. Есть в них чудесные вещи, есть неизъяснимой прелести марокены, но их сто лет уже в руки не брали. Только отдел порнографии пользуется большим вниманием и почётом. Есть ещё и другое. На днях мы с Петром Алексеевичем были у одного шталмейстера. Очень нужны две тысячи рублей сановнику, и он предложил Петру Алексеевичу купить всё, что тот выберет в его богатой квартире. Мы шли по комнатам и поражались их убранством. Замечательны персидские ковры, чарующие сочетанием тонов. Мебель в стиле Людовика Шестнадцатого. На столах, колонках, этажерках и в витринах бронзовые, мраморные и фарфоровые группы, вазы разных эпох от пятнадцатого века до наших дней. Особенно хороши вазы императорского фарфорового завода и севрские, а также французские статуи. Гобелены с сюжетами из Лафонтена. Картины, правда, копии, Рубенса, Мурильо.

– Батюшки! Что же вы купили? – воскликнул Антипин. Он жадно слушал Картонова, чуть мотал головой, Балакину казалось, что у Карпа шевелятся уши.

– Нам были нужны книги, а книг-то и не оказалось. Только на кухне мы увидели рукописи-дневники предка шталмейстера, который вёл их во время кругосветного плавания. Кухарка рукописями растопляла плиту. Мы взяли рукописи да ещё купили несколько рисунков Айвазовского и двенадцать английских гравюр.

– Я не жулик, – вдруг запальчиво сказал Картонов, глядя на букиниста, – а ты не брезговал покупкой краденых книг, и не было ли твоим любимым делом искусственно вздувать цены? Вспомни Пекарского, Флеровского, Шашкова. Да, да, я ещё больше скажу, – он увидел в дверях столовой Надю и махнул рукой, – впрочем, стоит ли всё это вспоминать.

Хапутин недовольно дергал себя за бороду; он взглянул на Балакина, занявшегося разговором с молодой гостьей, и проворчал:

– Всё это преувеличено, могу опровергнуть.

– Вы и опровергните, – сказал Карп Иванович, поглядывая на Надю. «К ней идёт новая блузка», – подумал он. Новая блузка Нади, из полосатого вуаля с низко вырезанным воротом, была очень проста в сравнении с модными нарядными блузками с отделками из вышитых тюлевых прошивок по тюлю фантази или с рядами гипюровых прошивок на плечах в виде эполет, инкрустированных по вышитому светло-голубому шифону.

Балакин сел к круглому столику рядом с Надей и шутливо стал рассказывать ей о том, что было с ним за последние две недели. Надя смотрела на него и весело

прищуривалась – так же, как Балакин. Ей нравилась эта прищурка и хотелось скопировать её доподлинно. Балакин заметил шалость и погрозил Наде пальцем.

– Я вам посмеюсь…

Но они уже оба смеялись. Им было весело оттого, что они всегда рады друг другу, а особенно рады были встрече в этот день.

XV

В квартире часто вспоминали Луку, и всегда при этом подчёркивалось его отсутствие, особенно в тех случаях, когда требовался не кто иной, как Лука со своим насмешливым умом и добродушной изобретательностью. «Вот Лука это бы сказал, он так бы сделал».

Лука был авторитетом, любимцем, и его ожидала шумная встреча.

Пришёл он как раз в тот час, когда все были дома, кроме Касьяна Ильича. Анисья открыла дверь и восхищённо всплеснула руками:

– Лука Панкратьевич! Батюшки!

Лука видел круглые, радостные лица мальчиков, Саши, доброе и сизое от недавнего пьянства лицо Матвея Ивановича. Наверное, они хорошо все жили без него, тогда как он должен был томиться в одиночке. Потом жадно стал вслушиваться в рассказ о том, что Касьян Ильич сидел в тюрьме, что в типографии осенью опять был обыск. Рассказывали о новых книгах, о Тузове, о книжниках. Рассказывали, перебивая один другого, разглядывали Луку и заметили, что он выглядит старше, строже, резче стали подбородок и скулы. Анисья грела самовар. Угощала гостя обедом, следила, как он ест. С её красного широкого лица не сходила радушная улыбка, и она играла ещё ярче и радушнее, когда Лука кряхтел и хвалил обед.

– Кормись, кормись, ведь «там» наголодался небось. И у нас-то великопостные обеды теперь – щи грибные, салака, корюшка да каша с постным маслом. – Анисья придвинулась к Луке и украдчиво зашептала: – Богомолки по-прежнему ходят, приглядываются да принюхиваются, не пахнет ли скоромным.

Пили чай с вареньем в комнате приказчиков. Хозяйничала Саша, воображая себя умелой и заботливой хозяйкой. С удовольствием разливала чай из маленького малинового чайника, держа на отлёте мизинец своей бело-розовой руки, и бросала плутоватые взгляды на гостей.

– Сегодня каждый должен выпить не меньше трёх стаканов, а Лука Панкратьевич ещё больше.

– Согласен, я сговорчивый, как наш тюремный служитель Туркин, который на всё, что ни спросишь, только отвечал: «Рад стараться, ваше степенство».

– Добрый этот Туркин? – спросил Гриша.

– Этот Туркин, – усмехнулся Лука, – пожалел, когда я уходил. Я сказал «до свидания», а он стоит руки по швам, на меня глаза вылупил: «Рад стараться! Жилец был хороший, пожалуй, снова ежели что – места хватит, – и опять: – Рад стараться». Ну, не стоит об этом говорить, я вот вам песенку спою.

– Какую?
– Слушайте. – Лука взмахнул рукой и запел вполголоса:

Как на той ли реке, Волге-матушке,
Там плывет, гребёт лёгкая лодочка.
Хорошо лодка разукрашена,
Пушкам, ружьицам изнаставлена;
На корме сидит асаул с багром,
На носу стоит атаман с ружьём,
По краям лодки добры молодцы,
Добры молодцы – все разбойнички.
Посреди лодки да и бел шатёр,
Под шатром лежит золота казна.
На казне сидит красна девица.
Асаулова родная сестрица,
Атаманова полюбовница.
Она плакала-заливалася,
Во слезах она слово молвила, –
Нехорош, вишь, сон ей привиделся:
Расплеталася коса русая,
Выплеталася лента алая,
Лента алая, ярославская,
Растаял мой золотой перстень,
Выкатился дорогой камень:
Атаману быть застрелену,
Асаулу быть пойману,
Добрым молодцам быть повешенным,
А и мне, красной девице,
Во тюрьме сидеть, во неволюшке.

Все сидели минуту молча.
– Ты, Лука, о бобрах спой, – сказал Гриша, – Матвей Иванович спляшет.
– Верно, – подхватили Саша и Купидоныч, – как в прошлом году.
Козырев покряхтел.
– Уж так и быть спляшу. Ну, начинай, Лука.
Корытов задвигал плечом, разгульно тряхнул головой и запел:

Уж как все мужья до жён добры,
Накупили жёнам чёрные бобры.
Лишь мой-то неладный муженёк,
Лишь мой-то сердечный с кулачок;
Он купил-то мне коровушку,
Он сгубил мою головушку…

Матвей Иванович ловко, по-молодому пошёл кругом, слегка шаркая.

В комнату вошла Наталья Ефимовна и ахнула:

– Ах ты, окаянный! В рынок со мной идти – ноги болят, отговорился, а плясать – поправились.

– Тьфу ты, угодье каиново, – выругался Матвей Иванович, – всю обедню испортила.

– А-а, Лука Панкратьич явился, солнышко ясное, – запела Наталья Ефимовна. – Сподобился на цепи посидеть за дела хорошие, то-то мой петух всё скучал без тебя, потюремщика.

– Уймись, уймись да пошла вон! – погнал жену Козырев. – Ежели ничего умнее не знаешь.

– Уйду, только ты мне денег дай, ведь получил! Костюм – худой ли, хороший – надо заказать тебе. Смотри, весь оборвался.

Матвей Иванович вынул из кармана деньги и подал жене.

– На вот, распоряжайся как умеешь.

Когда Наталья Ефимовна ушла, он закрыл дверь и вздохнул.

– Ведь образовываю, хорошие слова иной раз говорю – и всё-таки сова совой. В театр вожу. Нравится. «Ой, Матюша, как хорошо», а сама спит. Недавно мне Кугель, редактор журнала «Театр и искусство», нахвалил новую постановку «Князя Игоря»; ставит его Фокин, декорация Коровина. Ладно. Пошли мы с женой на «Игоря», и что вы скажете: самое интересное место – половецкие танцы – проспала, сова несчастная. После я три дня пил с досады.

Вошёл Копосов. У него было счастливое лицо, лихо закручены вверх рыжеватые усы. Крахмальный воротничок с застёгнутыми уголками и тёмно-лиловый галстук оттеняли рыжеватость, веснушчатость лица; большие кисти рук он держал в карманах тёмных, с светлыми струнками, брюк. Копосов был по-своему рад Луке: хотелось поговорить, кое-чем похвалиться и, может быть, даже расположить Корытова к себе ввиду неминуемых перемен в «Скорлупе». Он увёл Луку в свою комнату. На столе горела низкая лампа с голубым абажуром. Кругом неё лежали иллюстрированные журналы, книги, вечерняя биржовка и коробки из-под сигар.

– Прошу, будь гостем.

Копосов достал из шкафа бутылку портвейна, налил две рюмки и кивнул:

– Со свиданием. Я рад тебя видеть. Ведь вместе мы росли, вместе тузовскую школу проходили. Помнишь, как я Кенига, изобретателя скоропечатной машины, рисовал и Тузову подкидывал, при этом писал: «Немцы – наши учители».

– Как правит Тузов? – спросил Лука.

– Тузов?.. – презрительно сказал Копосов. – Пора старику на покой. Дядюшка медаль ему хлопочет. Да, да, дело теперь требует людей поживее Тузова, людей с новыми взглядами. Дело растёт. Механику его мы знаем лучше стариков.

Копосов давал понять, что он скоро будет большим человеком в деле Балакина.

– Павел Касьянович прилип к Тереховой, где-то наслаждается жизнью, и надо полагать, что он уже не наш. Дядюшка по-прежнему увлечён книжной политикой. Месяца через два будет съезд издателей и книгопродавцев.

– А-а, съезд! – сказал Лука. – Хорошо, если бы он оказался больше чем пересуды о копеечных делах.

– Да, да, так и дядюшка говорит; впрочем, он ещё очень занят одним планом издательским. Особенного внимания заслуживает проект нового типа изданий в связи с появлением уже разборчивого читателя из народа. Словом, нынче увидим события интересные.

Копосов говорил степенно, рассудительно, как это обязывает человека, претендующего на большое место. Но вдруг он вспомнил самое интересное из того, что следовало рассказать, и тотчас перешёл на шутейный тон.

– Имеется, знаешь ли, у дядюшки ещё третье увлечение, как будто ещё не совсем ясное. Но шила в мешке не утаишь. И есть же такие чудаки на свете, как Карп Иванович; он сам собственными руками отдал дядюшке свою невесту.

– Что такое? – усмехнулся Лука.

– Легкомысленная история, Лука Панкратьевич. Мы здесь тоже, так сказать, накануне самых неожиданных происшествий. Вернёмся к тому же Тузову. Он упорно стал говорить о Святой земле и знаменитых путешественниках в эту землю. Рассказывал об Арсении Суханове, о Позднякове, Трофиме Коробейнике, особенно влюблён в какого-то Василья Гагару, который видел, как стоит на двух горах Ноев ковчег. Видимо, Тузов стремится ехать в Святую землю, как будто это его давнишняя мечта, и не только он сам едет, но и уговаривает себе в товарищи тётеньку Елену Ивановну. Дядюшка рад этому случаю. У него тоже давнишняя мечта хотя бы раз куда-нибудь подальше отправить тётеньку. Ведь хорошо избавиться на долгий срок от богомолок в квартире, дать отдых Анисье и пожить самому вольно. Но погоди. Эта воля-то нужна дядюшке для того, чтобы лучше удалось третье увлечение. Не будем предугадывать, что произойдёт... и мешать не намерены. – Копосов взглянул на часы и вскочил со стула. – Ты, брат, извини, у меня тоже увлечение – ждут, брат... – И он поспешно стал одеваться.

XVI

Копосов был прав, говоря так о Тузове. Ещё зимой Балакин намекнул старику, что пора ему подумать об отдыхе, что издательство многим ему обязано. Тут же Тузов узнал о назначении ему хозяином пожизненной пенсии. Он расчувствовался, слезливо заморгал глазами и бухнул Балакину в ноги.

– Эк ты, брат, разве так можно? Нехорошо, нехорошо! Словом, я не хочу тебе ставить каких бы то ни было условий. Со службы не гоню. Выбирай, что любо.

Тузов понял, что пора расстаться со «Скорлупой». Он подумал о своих сбережениях, о пенсии и медали за беспорочную службу. Конец ему представлялся вполне счастливым; если ещё прибавить поставленных на ноги детей, то ему могут позавидовать многие из стариков. С этого дня Тузов заговорил о поездке в Палестину, ходил советоваться к Елене Ивановне, уговаривал её поехать с ним. Наконец они условились.

В конце апреля были проводы Карпа Осиповича. Он, наскоро вытирая слёзы, вышел из кабинета Балакина к собравшимся служащим, улыбнулся растроганно, и впервые за много лет сослуживцы и мальчики увидели у старика доброе, даже застенчивое выражение лица. Левая, чуть дрожащая рука Тузова, точно борясь с какой-то невидимой преградой, тянулась снизу к сияющей на груди медали: казалось, он хочет погладить медаль, но и закрыть её от взоров сослуживцев даже на секунду было жаль.

Из кармана пиджака старого приказчика торчал «Правительственный вестник» со списком наград.

Он принимал поздравления, обнимался благонравно со старшими сослуживцами. Казалось, он славно кончил свою службу, но, когда вышел из «Скорлупы», вдруг ему стало немножко обидно; он мог бы ещё поработать, ведь уж никогда не вернуть того почётного положения, которое Тузов занимал в «Скорлупе», но зато пенсия, медаль и заслуженный отдых. «За беспорочную службу – ведь слова-то какие… – умилённо думал старик, – надо показаться Тихону Васильевичу, куму, куме, Ивану Самойловичу».

Нашлось ещё пять-шесть хороших знакомых – тоже непременно надо навестить. Потом и путешествовать или просто ехать в деревню. Он ещё не окончательно решил ехать в Палестину – главным образом потому, что Елена Ивановна каждый день меняла решение: то ехать, то не ехать. Давно не было никакого известия от Павла: вдруг он приедет домой, а она, мать, будет где-то за тридевять земель, или кто знает, что с ним. Могла и какая-нибудь беда случиться. Думая о сыне, она дала обет непременно съездить на богомолье, если получит хорошее известие. Известие пришло. Павел писал, что они с Тереховой хотят побывать в больших европейских городах, в конце августа приедут в Петербург. Елена Ивановна чрезвычайно обрадовалась письму сына и стала торопить Тузова с отъездом. «Всё равно лето в ожидании и скуке пройдёт, уж лучше проездить это время».

После отъезда Балакиной и Тузова в «Скорлупе» стала работать Надя – Надежда Николаевна, как её почтительно называли служащие. Она совсем ушла от Антипиных; это было трудно сделать, казалось, Карп Иванович считал непременной её обязанностью выйти за него замуж, ещё тем более, что она считалась его невестой, и он и мать привязались к ней, как к родной. Теперь во всём он винил Балакина – называл его злодеем, вором, преступником, нарушителем семейных и государственных основ. В припадке мрачной озлобленности Антипин ежедневно шнырял около окон «Скорлупы» и писал мелком на стеклах окна: «Вор, вор».

Копосов пытался его усовестить:

– Как вам не стыдно, Карп Иванович; солидный человек и такую вы ересь пишете?

Это мало помогло. Антипин стал писать вместо «вора» – «злодей».

Наконец, Копосов решил непременно побить антиквара. Он уже считал себя старшим, нисколько не заботясь о том, что об этом ничего ещё не было ему сказано. Он давно присвоил себе место Тузова. Балакин это знал, но он предпочёл бы

Копосову Корытова. Фёдор – болтун, порой чванлив, и вообще мелок. Луку уважают служащие и мальчики; он смелый, толковый, хорошо знает дело, но было ещё и другое...

Лука был позван в кабинет для переговоров.

Балакин стоял у стола, поглаживал грудь и ворчал.

– Что-то сердце беспокоить стало, м-да. Мне одна старуха когда-то предсказала «неслышную» смерть. Что такое «неслышная» смерть, до сих пор не понимаю. Ты садись, Панкратьич, будем говорить. Мне нужен помощник.

Лука быстро поднял на Балакина глаза.

– Разве вы не выбрали Копосова?

– Я предпочёл бы тебя.

– Меня? Нет уж, Касьян Ильич, увольте, мне это не подходит.

– Вот ты какой! Почему бы тебе это не подошло? У тебя есть уменье различать людей. Ты способен различать книги. Ведь книга – тот же человек. Иной парень хорошо сшит и переплетён – словом, с виду издание прекрасное, а развернёшь и увидишь, что это бульвар. Копосова надо бы взять в тиски и выжать из него лишнюю дурь. Мало я его тискал.

– Но главное, – заговорил Лука, – вы давно воспитали в нём уверенность, что он должен заместить Тузова.

– Это правда. Родня – это наше наказание. Она обычно никуда не годится, а мы её люби и жалей. Ты, я вижу, хочешь быть независимым.

Балакин задумался. С Лукой ещё надо повести долгий разговор. Балакина мучило за последний год то, что Лука, лучший его приказчик, выращенный из мальчиков, вышел каким-то особенным, недоступным хозяйскому влиянию. Он выполняет любую работу, живёт с ним в одной квартире, каждый день они встречаются, говорят о деле, но Балакина всегда тревожило что-то неуловимо враждебное в Луке. Он уважал этого человека, иногда стеснялся. Больше всего было какой-то непонятной неловкости, точно Лука был его судьёй, совестью. «Что же он думает обо мне, кем считает?» Это трудно разгадать. Во всяком случае, Балакин – лучший из издателей, лучший хозяин. Лука это знает, но почему-то кажется, что, по мнению Луки, он, Балакин, нисколько не лучше других, а в некоторых случаях даже хуже. Этого никак нельзя понять. Он давно собирался поговорить с Корытовым; если теперь представился удобный случай, то надо высказаться обоим начистоту. Отказ Луки от старшинства явно показал его непримиримые взгляды. В чём же дело? Балакин рассчитывал сблизиться с Корытовым, поставив его на старшинство. Положение старшего, безусловно, повлияло бы на Луку так, как это нужно Балакину.

Вдруг ему стало обидно, неприятно, он крякнул недовольно, выходя из-за стола, закрыл на крючок дверь своего кабинета, потом засунул руки в карманы брюк и стал ходить взад-вперёд.

– Ну, скажи, Лука, будем по совести говорить. Дай слово, что ты всё выскажешь, что на душе есть. – Но злое чувство, неожиданно охватившее его, не дало

ему спокойно говорить то, что хотелось: вспомнилось заступничество за Луку во время его ареста, заступничество перед женой, но главное – он вырастил его для своего дела, для общих успехов, радостей, и вместо этого немало было неприятностей и обид, ничем как будто не оправдываемых.

– Я готов поговорить, – сказал Лука, угадывая обиду на него Балакина. – Слово даю в том, что ничего не скрою.

– Так вот, Лука Панкратьевич, в твоей голове живут, по-видимому, какие-то суровые теории. Они могут портить человеческие дружественные отношения, нужные при сотрудничестве. Вероятно, ты меня считаешь капиталистом, эксплуататором и так далее. Ты убеждён в том, что вся моя деятельность построена главным образом на коммерческом расчёте, на честолюбии, на конкуренции. Но ты забываешь одну основную черту в жизни человеческого общества – это стремление к более организованному труду, радости сотрудничества для общего блага, что является благодатной почвой, соками для роста и развития науки, искусства. Может быть, самое-то важное для человека есть только один взлелеянный им за тысячелетия чудесный образ – это вечный трепет мысли, чувств, страстей, окрылённых каким-то бессознательным, идущим из тайников человеческой природы стремлением. Если бы этого не было в человеческой природе, то невозможны были бы великие реформаторы, гениальные учёные, поэты, также все основоположники социальных учений, наконец, просто революционные деятели. – Балакин покачал головой, озираясь на Луку, и опять, как это часто бывало, подметил какой-то враждебный холодок во внимательном взгляде и тонких насмешливых губах приказчика. – Неужели ты склонен думать, что я в своей работе исключительно преследую свои издательские интересы? Я думаю, что нет. Я не буду тебе это доказывать. Со мной можно сотрудничать, и твой отказ от старшинства мне непонятен.

Лука долго молчал, глядя себе под ноги. Потом, тряхнул головой, словно отгоняя какое-то неприятное воспоминание.

– Сотрудничаю я с вами достаточно ладно. От старшинства я отказываюсь потому, что это обоим нам невыгодно. Я это предвижу. Вы сказали о стихии, которая присуща человеческой природе, которая движет историю. Я держусь того взгляда, что всё таинственное, бессознательное есть пережиток древности, так же как пережитком древности является то устройство мира, какое существует сейчас. Переустройство мира неизбежно. И тут уже не стихия будет первенствовать, а организованная воля миллионов людей. Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что мир расколот пополам.

– Факты, ты дай пример, – буркнул Балакин, останавливаясь перед Лукой.

– Хорошо, возьмите современную литературу. Значительная часть её совершенно изгоняет трезвое мышление, заменяя его идеалистической схоластикой, удаляясь в вопросы религии и половых страстей. Налицо идейный и моральный распад. Ничем не заслонишь этого социального явления. Вы это замечаете, и вам страшно, а мне вовсе не страшно. Я вижу рождение нового мира, идущего на смену старому. Вот в чём мы с вами расходимся.

Лука поднялся. Балакин сумрачно глядел в окно. Вдруг он встрепенулся и сказал торопливо:

– Ладно, каждый чёрт по-своему верует, а старшим пусть будет Фёдор.

XVII

В мае Балакин поселил Сашу и Анисью в Левашове в просторной даче, которую снял для него отец Купидоныча.

Вместо Анисьи в квартире жила и стряпала низенькая старушка.

За все годы своей жизни, среди тревог, волнений и забот о своём деле, ему часто казалось, что должны быть и будут впереди у него какие-то особенные торжественные дни и что он всё это пока откладывает, копит.

Нынче у него и начались такие дни. Они отодвинули куда-то весь лишний груз его лет, вернули добрую половину юношеской беззаботности, душевной простоты и радости жизни.

Это он относил насчёт Нади.

У них ещё не возникло ни опасений, ни тревог за будущее. Казалось, они совершенно свободны и никто не может ни в чём их упрекнуть, но вот только Антипин… С ним была неприятная встреча. Они садились на вечерний поезд среди дачников, дачниц, старательных отцов семейств, озабоченных маменек, измученных, пыхтящих толстяков, увешанных пакетами и узелками, желтолицых чиновников, франтов с тросточками, и Балакин шутливо называл всю эту толпу армией петербургских жуков и букашек, выползающих из города на травку.

– И мы жук и букашка? Мне это не нравится, – протестовала Надя, садясь на свободную скамейку в вагоне.

– Нет, нет, мы не в счёт – мы, как те боги, которые присутствуют на пирах и на торжищах людских, снисходительно оказывают этим некую честь своим поклонникам. В самом деле, эти дачи, курорты – вещи довольно нелепые. Курорты – это мода, места сборищ бездельников, а дачи для тех, кто каждый день собирается повеситься и никак не соберётся. Пожалуй, нет ничего лучше поездки в деревню, куда я намереваюсь съездить. Я там непременно поработал бы с мужиками на полях. Потом рыбная ловля, охота в лесу. Всё это в тысячу раз полезнее, здоровее дач и курортов. В будущем, конечно, так и будет. Люди городов летом найдут здоровое занятие в деревне. – Балакин снял с головы белую панаму и улыбнулся. – Впрочем, я нынче самый восторженный дачник. Вот ряд искренних признаний.

– Все ли ещё искренние признания? – сказала Надя. – Надо уж признаваться до конца. Восторженный дачник непременно должен прочесть ворох чувствительных романов, покупать граммофонные пластинки. Ах, вот! – вспомнила я что. Надо мальчиков взять на дачу. Послезавтра перед праздниками возьмём.

– О да, возьмём, – согласился Балакин, взглянув на худенькую девочку. Она только что вошла в вагон и села напротив них, положив на колени круглую жёлтую коробку. С ней рядом поместилась полная женщина, и обе стали смотреть на

Надю. Осмотрели её шляпу из гладкой белой соломы, отделанной белыми перьями и тюлем, вышитым серебром, жакет из тонкого сукна, и клетчатую юбку, гарнированную на подоле широкой полосой сукна цвета парм, и обе нашли молодую женщину очень красивой и нарядной. Поезд отходил, в вагон хлынули последние запоздалые пассажиры. Среди них был Антипин. Он, выставив на Надю свою острую бородку, постоял секунду и решил поместиться напротив них рядом с девочкой. Балакин заметил тревогу на лице Нади, взял её за руку и поднялся, собираясь идти в другой вагон.

– А-а, пошёл, вор, вор, ворище! – зашипел Антипин. Он сел, но тотчас вскочил и, надвинув на глаза шляпу, пошёл вдогонку за Балакиным и Надей. У него было непреодолимое желание зудить этого злодея, преступника, вора, как он называл Балакина; он шёл за ними из вагона в вагон.

– Нет, ты не уйдёшь от меня, я тебе всё выскажу.

Его задержал кондуктор и погрозил высадить. Тогда он притих, ждал станции Левашово. Там он догнал Касьяна Ильича за вокзалом.

– Бежишь, бежишь? – закричал он, переводя дух. – Правды боишься? Ещё как тебя земля носит, злодея!

Балакин приостановился, наотмашь ударил Антипина по лицу и, не оглядываясь, спокойно сказал, догоняя Надю:

– Вон, кажется, Саша с Анисьей идут встречать нас.

Антипин ползал в канаве, куда он упал, плевал кровью и бормотал:

– Господи, помилуй, Господи, помилуй.

На второй день Балакин уехал в город один. Надя осталась гостить на даче.

В «Скорлупе» ему сообщили, что заболел Копосов. Лежит дома с забинтованной головой. Через час Копосов пришёл с повязкой на лбу и работал как всегда; только вид у него был скорбный.

Балакин посмотрел на него, вспомнил Антипина, и ему стало неприятно. Он вчера побил «того», а Копосова кто-то другой, наверно, соперник. Как это всё глупо! Он пригласил племянника в кабинет и накричал на него, обзывая ловеласом, гулякой, забывающим дело. Копосов стоял с покрасневшим, обиженным лицом и молчал.

– Иди, и чтоб никогда этого не было, – раздражённо махнул рукой Балакин. Спустя некоторое время ему показалось, что он слишком строг был к Копосову: Фёдор молод, избалован Еленой Ивановной, виноват в этом и сам Балакин. Он мало помогал или вовсе не помогал ему в образовании. Племянник вышел с некоторым изъяном. Вот и мальчики… Ему некогда было думать о них. Была тузовская система воспитания, а у него нет никакой системы – это ещё хуже. Копосов теперь старший; на него надо влиять так, чтобы он почувствовал ответственность перед делом, стал бы серьёзнее, умнее. Словом, он сегодня напрасно обидел Фёдора. Чувствуя себя виноватым, Балакин вечером подождал Копосова, пока тот закрывал «Скорлупу», и они вместе пошли по улице.

– Я был слишком резок давеча, – признался Касьян Ильич, – меня расстроило одно дело.

– Да, вы были неправы, дядюшка, у меня произошёл трагический случай.

Балакин подумал: «Экий ведь дурень, известны твои трагические случаи».

– Да, вот что, зайдём куда-нибудь поговорим, пива, что ли, по бокалу выпить: жарко.

Действительно, на улицах ещё не улеглась знойная дневная заволока. Воздух был пропитан прелью только что законченной поливки мостовых, примешивались запахи гастрономических магазинов, кондитерских, зеленных, а то вдруг всё поглощал едкий запах красок и расплавленного асфальта.

Балакин и Копосов зашли в большую пивную.

Вокруг белых мраморных столов ютились шумные посетители. Бойкие слуги поминутно подносили к столам бокалы с пенистым пивом и тарелочки с мочёным горохом, сушкой и чёрными сухарями. Балакин сел к свободному столу, показал слуге два пальца и взглянул на Фёдора.

– Ну-ка, расскажи, где ты завоевал чалму на голову.

У Фёдора по-прежнему был скорбный вид, не изменяла его и вялая улыбка.

– Пить, дядюшка, хочется, и башка болит. А рассказывать долго надо, только ежели позволите. В сущности, досадное дело, дядюшка. И хотя бы из-за богини какой пострадать, а то экземпляр невидный, потрёпанный. Фронтиспис самый будничный, только глазёнки хороши. А кокетка... Я вам доложу, дядюшка, такая кокетка, что за пять минут она тебе представится в десяти картинах, начиная от царицы Клеопатры и кончая нашей Анисьей. Вчера я пришёл к ней и принёс в подарок зеркало небольшое (раньше видел, что у ней на комоде осколок чудовищного вида). Ну, принёс, а она будто испугалась этого подарка. Я подумал, что может быть зеркало не дарят, да застал я у ней одного молодца. Он всё поводил плечами, усы крутил и звал Марусю гулять, а она смело отказалась, когда я пришёл. «Не пойду, сказано тебе, и всё». «Ах, так», – вскочил гость, сцапал зеркало, которое я принёс, и хвать его о пол. И тут же у него в руках я увидел другое зеркало: оказывается, он тоже принёс такой же подарок. «Ты от меня не хотела взять зеркало, а от другого взяла!» – кричал он, и, казалось, хватит он своим подарком Марусю по голове. Ну, я сунулся её защищать, и что же?.. В конце концов зеркало было разбито о мою голову.

Балакин опять показал слуге два пальца. Копосов вздохнул с грустной усмешкой, вынул из кармана коробку с трёхкопеечными сигарами и протянул её дяде.

– Вот оно, дядюшка, как в жизни бывает. Идёшь ты, скажем, к милейшему созданию, и весь ты в удивительных мечтах, рисуешь в уме этакие игривенькие картиночки, каких самому благочестивому художнику не написать, пусть хоть сам демон водит его рукой, и вдруг тебя встречает непристойнейшее коварство судьбы. Ведь это трагедия сердечная, дядюшка!

– Понятно, – усмехнулся Балакин.

Копосов вдруг в радостном порыве двинулся к дяде и заговорил со смешком:

– А ведь эта Маруся-то на моей стороне, меня любит, а не того. И даже если я пострадал, так это же вознаградится. Она, наверно, больше, чем я, страдает теперь, бедная. Как мило, дядюшка, когда знаешь, что за тебя боятся, о тебе думают, может быть, слёзы льют.

Простодушные излияния Копосова невольно заставили Балакина вспомнить, нет ли в его отношениях к Наде чего-нибудь похожего на эти «игривенькие картиночки» и «живительные мечты». Может быть, и было похожее, и Копосов – это его карикатура. Вспомнилось, как он в первый раз поцеловал Надю, и лицо её точно залилось светом солнечного восхода, и им обоим было немножко стыдно, но эта стыдливость тонула в волнующей радости. «Да, это любовь», – с трепетной улыбкой подумал Касьян Ильич; ему показалось, что Копосов никогда не испытывал ничего похожего, что он счастливее его, он способен во всём проявлять себя ярче, красивее, многостороннее. Но он «злодей» для жены, для Антипина, может быть, ещё для кого-то. Вот у него трагедия впереди. Балакин отогнал эту мысль и опять, как давеча, строго сказал Копосову:

– Много в тебе непотребного, Фёдор, ужасно много. Ты часто напоминаешь мне жалкого комедианта. Ты оброс, обрастаешь дешёвкой цивилизации. Ты прочёл все современные порнографические книжки, впитал в себя всю их мерзость. Блудоискатели в искусстве и литературе – это бич общества, особенно молодёжи. И без него слишком много бичей. Способен ли ты их различить? Что тебя волнует? Что ты любишь, ценишь больше всего?

Копосов приник к столу, сгорбился, внезапно смущённый и испуганный. Было так нехорошо, точно Балакин тряхнул его за грудь и что-то испортил в нём безжалостно. Наверно, Лука наговорил о нём дяде чего-то плохого из зависти к его старшинству.

– Я, дядюшка, не совсем вас понимаю, – наконец сказал он. – Я, конечно, не могу хвастать знаниями, но теперь я читаю серьёзные книги, например, Ферроро читаю. Политикой интересуюсь. Вы говорите, что я оброс дешёвкой. Может быть, у меня и много дурного, но я сознаю, сознаю, могу, так сказать, и реформу некую сделать. – Он хмуро усмехнулся на свою шутку. – Вон Столыпин говорит... Я тоже, как Столыпин, могу о себе сказать.

– Всё это не то: дело требует от нас большой работы над собой. Ты не без способностей, но тебя может погубить дурной стиль. Надо выработать стиль другой. В нашем деле нельзя хорошо работать без глубоких общественных интересов. Не верь и пророкам вроде Столыпина. У нас их много было и есть, точно у древних евреев. Пророк Иезекииль воспринял дар пророчества через съедение книжного свитка, на котором значилась надпись: «Плач и стон, и горе». Наши пророки съели, я думаю, не один такой свиток, а толку от этого мало.

Копосов неохотно поднялся. Хотелось говорить, оправдываться.

– Эх, загуляю я с досады, – сказал он, выходя из пивной.

XVIII

Уезжая на дачу, Балакин взял туда Гришу и Купидоныча. Оба мальчика давно сговорились ехать в Левашово, где жила Колькина семья. Побыть два дня на даче, на воле, казалось большим счастьем. Дорогой на вокзал Гриша жалел людей, остающихся в городе.

На платформе была давка.

– Ну, вот, отроки, кажется, места надо с боем брать, – сказал Балакин.

Места взяли, и все трое были довольны. – Понятно, мы народ большой, не по детским билетам едем. – Говоря так, Балакин смерил глазами Гришу и Кольку, точно желая убедиться в правдивости своих слов. – Скоро уж вас будут называть почтительно: Николай Пантелеич, Григорий Фёдорович. Да-с.

– Меня и теперь мой отчим зовёт Николаем Пантелеичем, – сказал Купидоныч, – только он это в насмешку.

– А мне, бывало, двенадцатилетнему, отец вовсе не в насмешку, а от всей души писал в письмах: «Дорогому сыну Касьяну Ильичу низко кланяюсь». Конечно, он должен был ко мне относиться с уважением, потому что я был, по его мнению, парень учёный. Ещё в деревне на его глазах я Псалтырь с утра до вечера долбил (приказано было), и до того, бывало, додолбишь, что, кажется, сейчас вот голова моя расколется и вся учёность вылетит. Такие-то дела были в старину. Мы теперь в вагончиках катаемся, а мой отец пешком в Питер ходил и принёс отсюда за плечами казакин, хомут, сбрую, дугу, да ещё самовар и Псалтырь. Вот какой был мужичок!

Всё это было смешно рассказано. У Купидоныча даже слёзы брызнули от смеха, и маленький носик растаял до еле приметной пуговки. Наверно, Касьян Ильич мог бы много им рассказать такого же забавного, думали ребята. С ним не скучно ехать куда угодно, и приятно смотреть на его гладко выбритое лицо, густые усы, белую с отложным воротничком рубашку под пиджаком тёмно-синего цвета.

– Теперь ваша очередь рассказывать о своих отцах. Впрочем, Николай уже говорил.

– Недавно было от батюшки письмо, – сказал Гриша.

– Так… Что же он пишет? Я помню его таким, как ты, но ты на него не похож. Ты русый, миловидный, а он был всегда замарашкой, точно лицо было порохом серым посыпано. Голова большая с белыми волосами – такими, что бывало за версту видно, как белеет Федюшкина голова.

Гриша припоминал, что было в последнем письме. Больше всего он запомнил, что ощенилась Калачиха. Для Гриши отец оставил серого кобелька, который, по приметам, будет очень удалый на птицу и зверя. Потом сообщалось о большом весеннем разливе реки, задержавшем сев яровых. Писано было и об утках и сколько Фёдор заработал весной денег на сплаву.

Пока Гриша рассказывал о деревенских новостях, поезд подошёл к Левашову. Балакин встал и кивнул мальчикам.

– Вот и приехали. Ты, Гриша, решил сегодня гостить у Николая, а завтра приходите к нам.

– Придём, – в один голос сказали мальчики. Они вышли на старую широкую платформу с крышей на деревянных столбах, Колька взял Гришу за рукав курточки, остановил, указывая на здешних знаменитых людей. Тут были начальник станции Кох с такой же бородой, какая была раньше у Касьяна Ильича, станционный белокурый сторож Гапаев, силач. Он легко поднимает железнодорожный рельс. Среди дачников Купидоныч увидел егеря князей Вяземских. Егерь стоял с прижавшимися к его ногам двумя гончими и разговаривал с немцем – управляющим здешним княжеским имением. Дачники здесь, по словам Кольки, богачи; некоторым из них Колькина сестра, Тонька, носит молоко.

Приятели прошли через станционную хмурую залу. Купидоныч, немного важничая, поздоровался с рябым Федькой-носильщиком, булочником и ещё с какими-то подростками. Шутка ли, Купидоныч и его товарищ производят впечатление дельных ребят! На них чистые курточки, пряжки ремней как серебряные, хорошо вычищены башмаки; в довершение всего у Купидоныча под мышкой ящик с красками и свёрнутая в трубку бумага.

От станции один за другим, помахивая кнутами, уезжали с дачниками чухны-извозчики.

– Вон и наш Володька, – указал Кунидоныч на парня с толстым круглым лицом, в большой фуражке и грязной тужурке. Володька сидел на козлах недавно вымытой, ещё не запылённой коляски. Он ждал, полуоборотясь, когда усядется в коляску неторопливая барыня с палочкой в руке.

– Хорошая у вас лошадь, – сказал Гриша.

Приятели пошли мимо ренскового погреба, мимо мясной лавки с высоким крыльцом и затем окунулись в тень деревьев, чередующуюся с солнечными полосами. Впереди узкая среди леса дорога рябилась от пыли и уводила куда-то далеко говорливую вереницу дачников. Молодые берёзы оживляли ряды тихих елей едва заметным трепетом своей листвы.

Колька предупредил Гришу, что его отчим Иван Александрович, наверно, сидит дома подвыпивший и с кем-нибудь ругается.

– Он так каждую субботу, но ты не беспокойся…

Гриша уже знал, кто такой Иван Александрович. Он служил сторожем у богатого старика-дачевладельца. Лет десять назад нашёл бумажник, набитый «красненькими» и «четвертными». Разбогатев, он живо обзавёлся хозяйством: купил двух коров, лошадь и коляску. Водовоз Кузька Харитонов прозвал его Иваном Счастливым, и с тех пор так все в Левашове и звали Колькина отчима. Иван Счастливый, сухой старик с зеленоватой бородёнкой, в клетчатой бумазейной рубашке, сидел у стола и спорил с Кузькой-водовозом. На столе солнечные пятна и тень скворечницы. Окно открыто, и в него старик поминутно сердито плевал и грозил Кузьке.

– Ты Божества не тронь, ты – еретик, и места тебе нет на земле.

– Всё прах, – мрачно говорил Кузька, – нет ничего святого; вот звонят к вечерне, а к чему? Всё наше невежество.

Иван Счастливый полупьяно ворочался и стучал ногами.

– Ижица ты поганая после этого! Кабы я властен был, сжёг бы тебя.

Кузька невозмутимо курил.

– Может, тебя надо сжечь. Религия – вред... – сказал он и встал, запахнув пиджак, собираясь идти. Это был худой человек, курносый, скуластый, в шляпе с дырявыми полями.

Купидоныч подошёл к отчиму, и тот, едва взглянув на него, сунул ему руку, затем резко стукнул по столу и стал ругаться нехорошими словами.

Кузька уходил и в дверях столкнулся с матерью Купидоныча, Александрой. Она кинулась обнимать обоих мальчиков, потом прикрикнула на старика:

– Перестань, старик! Гости приехали, а он с руганью...

Иван с горделивой усмешкой посмотрел на ребят и всплеснул руками:

– Николай Пантелеич приехал, и с приятелем! Славно! Только ты, Николай Пантелеич, насчёт отчества подумай: гораздо лучше Иванычем быть, а то ты – Пантелеич.... у меня Володька – Иваныч или Марьич: он от первой, лучшей моей жены Марьи, а ты Пантелеич.

Купидонычу было стыдно перед Гришей, что отчим его злой и глупый.

Перед чаем пришла Тонька, красивая девка в коротком, узком – казалось, в детском – платье и башмаках на босу ногу. Она мазнула рукой брата по щеке и поцеловала.

– А меня?.. – сказал Гриша.

Тонька удивилась смелости мальчика, уже подростка, вдруг засмеялась и, вспыхнув, обожгла его губы своими губами. Это вышло просто, неожиданно. Всем стало весело; даже старик засмеялся, уходя встречать показавшегося на дворе Володьку. Вышел на двор, раскорячил ноги и заржал, подражая жеребёнку. Потом помог сыну распрячь лошадь.

Володька широко, неуклюже зашёл в дом и, ни на кого не глядя, стал вынимать из кармана штанов деньги. Толстое, небритое лицо его было важно, торжественно. Иван Счастливый сидел уже у свободного второго стола и одобрительно глядел на Володьку и его кошелёк. В левой руке старика был зажат свой большой замшевый кошелёк. Володька шумно сопел, клал на стол деньги и притяпывал широкой ладонью.

– Всё... – сказал он, бросая со звоном последнюю монету и делая попытку выворотить все свои карманы.

– Ладно, – басом сказал старик, считая деньги. – Надо Володьке лакированные сапоги купить.

Затем он, потряхивая кошельком, пошёл по узкой скрипучей лестнице наверх, где была комната с итальянским окном. После чая старик хотел спать и выгнал гостей из дому.

Для ночлега мальчикам был отведён сеновал. Они поднялись туда и сели на пол у широкой распахнутой двери. Было неизвестно, зашло ли солнце, но лес, дорож-

ки, дачи будто теплились, чуть сияли, как только что красками написанная картина. Где-то смеялись, где-то пели дачники, звенели посудой. Другие ещё блуждали в тихом лесу и около дач. Иногда проносился курьерский поезд.

– Это дальний, – говорил Колька.

Он указал рукой, куда они завтра пойдут.

– Право, у нас тут хорошо, в июле ещё лучше будет…

Колька тряхнул своей круглой головой. Долго думал, потом сказал:

– Косари здесь песни хорошо поют по вечерам, а по утрам князья версты за две отсюда охотятся, и каждый выстрел явственно слышно.

У Гриши ещё горел на губах Тонькин поцелуй.

– Сколько лет твоей сестре?

– Восемнадцать, а что?

– Ничего, так…

Купидоныч простодушно усмехнулся.

– Тонька у нас хорошая, мы с ней родные. Иван Александрович нас не очень любит.

– Это видно, – отозвался Гриша. – Мне раньше казалось, что все старики добрые; вот хотя у нас в деревне дедушка… у него всё: походка, смех – так вот и веселят тебя. Бывало, он если принесёт с ярмарки калач, так этот калач вкуснее всякого другого; или груздей, волнух корзину из лесу принесёт... Как славно эта корзина пахнет! Сверх груздей и волнух положены кисти рябины, залюбуешься. Или, помню, как весной в сарае колеса из-под сена достаёт. Колёса сухие, серые от пыли, и мы сейчас же их ставим на оси, тоже запылённые, собираем телегу и едем в ближний лес за чем-нибудь, больше пошуметь, посмеяться друг над другом да выкопать в ложбине несколько кустов смородины: дедушка любил сады разводить.

Близко кто-то разговаривал. Мальчики выглянули из сарая, увидели Тоньку и молодого человека в синей куртке, похожего на Фёдора Гавриловича. Они стояли, держась за руки; человек в куртке о чём-то умолял Тоньку, а она торопилась уйти. Гриша, затаив дыхание, следил. Ему хотелось, чтобы Тонька поскорее ушла. Вдруг человек в куртке строго выпрямился, выпуская Тонькины руки, несколько секунд оба они стояли молча, потом пошли рядом и скрылись в лесу. Грише стало невесело, будто его обманули неожиданно и грубо.

Утром проснулись рано. В сарае было сумрачно, но сумрак, казалось, дымился от солнечных лучей; они струились в щели стены. За стеной была та особенная, утренняя тишина, в которой голоса пеночек и славок раздавались, как нежная дробь по тонкому хрусталю. Гриша приоткрыл двери, увидел прозрачную, будто заворожённую синь в редком лесу и сказал, неожиданно припомнив отцовскую поговорку:

– А утро в самом разгуле!

– Видно это, – отозвался Купидоныч.

Они немного пошалили, запустив друг в друга подушками, и стали одеваться. Вскоре Колька повёл Гришу купаться.

На берегу маленького озера уже толклись мальчики. Они раздевались и смотрели на купающегося человека. Он нырял, гудя в воздухе ступнями ног, вынырнув, тряс головой и восхищённо кричал:

– Вот благодать-то, ребята, вот благодать!

Гриша и Купидоныч, к изумлению своему, признали в купающемся Картонова.

– Николай Петрович, Николай Петрович, когда приехали? Где живёте?

– А, это вы! – отозвался Картонов. – Когда мы приехали? Мы изволили приехать вчера вечером и остановились в хоромах книжного отца, Касьяна Балакина. – Он стал вылезать из воды. Мокрая борода его моталась, как мочалка.

Пока мальчики купались, Картонов оделся и закурил.

– Вот что, ребята, – сказал он громко, – кто согласен наперегонки вокруг озера? Шапку грецких орехов тому, кто прибудет первым.

– Я, я бегу! – крикнул азартно длинноногий мальчик (его звали Юшкой). – Кто со мной?!

– Все! Мы все!

Побежали голыми почти все мальчики, впереди были Юшка и Купидоныч, за ними Гриша.

– Белый впереди! Белый! – покрикивал, сидя на берегу, Картонов. – Ай-да, белый, это Купидоныч! Так!

– Дорожки не давай ему, дорожки… – кричал Гриша Кольке, следя за сухими лопатками Юшки в пяти шагах от себя. Но Купидоныч сдал. Первыми прибежали Юшка и Гриша.

– Ну вот, – развёл руками Картонов, – который из вас первый? Оба первые.

– Нет, я первый, – заявил Юшка.

– Так ли, милый? Этого нельзя сказать.

– Снова пусть бегут, – мрачно сказал Купидоныч.

– Эх, люблю ребячьи бега, – засмеялся Картонов, держа на ладони кучку серебра. – Хотите на большую дистанцию вдвоём бежать?

Юшка подвинулся ближе к Картонову, и его ранние скулы засияли.

– На что? За сколько бежать-то?

Картонов указал на серебро.

– Вот за это. Впрочем, подождите; вон богач Крюгер идёт, он больше даст.

Подошёл угрюмого вида человек с растрёпанной чёрной бородой, одетый в коломянковую блузу, запачканную краской. Он ещё на ходу шагов за пять уже протягивал Картонову руку и бормотал:

– Здорово, здорово, Николай Петрович. Тебя-то мне и надо, оценишь вещь.

– Опять какого-нибудь Ван-Дейка купил или Микель-Анджело.

– Не знаю, что купил, пойдём, посмотри. Я на дачу привёз покупку, теперь там реставратор ею занят.

– Пойдём. Но ты купаться намерен, а пока купаешься, картина будет здесь, мальчики сбегают. Вот два бегуна. Я только что хотел пускать их наперегонки. Дай им по рублю, и они тебе целую выставку картин перетаскают.

Крюгер оглянул Гришу и Юшку, потом указал на розовую дачу вдали.

– Слетайте туда, ребятки, спросите Тихона Семёновича, художника, и передайте, что я требую сюда картину.

Мальчики, уже одетые, побежали к розовой даче. Крюгер сел рядом с Картоновым. Этот человек был очень известный собиратель, нагрузивший два этажа в своём доме старинной рухлядью. Среди этой рухляди самый строгий знаток искусства мог бы найти немало прекрасных вещей. Крюгер покупал книги, гравюры, литографии, рисунки карандашом, пером, гуашью, углём, акварелью. Покупал фарфор, стекло, майолику, бронзу, медали, миниатюры на кости, покупал он и картины, старинные русские вещи, иконы, оружие – словом, всё, что могло называться предметом искусства, но покупал лениво и неразборчиво, не в пример Мараеву или Шутову, которые были чрезвычайно жадны к вещам, завистливы. Они теряли сон и аппетит, если видели в чужих руках хорошую вещь, и тотчас старались её приобрести. Крюгер и не дорожил особенно ничем. Он охотно продавал и променивал вещи, и притом всегда на худшие. В последнее время он больше всего увлекался картинами. На сомнительных Рембрандтов, Рубенсов, Рюисдалей променивал прекрасную, золочёную бронзу, миниатюры, старинную мебель. Была у него страсть реставрировать картины; только после его реставрации картина настолько изменялась, что если бы её показать мастеру, то он сошёл бы с ума.

Когда мальчики вернулись с картиной, Крюгер успел выкупаться.

– Стой, стой! – закричал он, выходя из воды, выхватил из рук Гриши картину, полюбовался на неё, искосив голову, и подвинулся к Картонову. – Смотри, какая прелесть, красавица!

– Вижу, – сказал Картонов. – Что ты со своим реставратором сделал!

– Мы сделали полнее груди и завили волосы на голове.

– Вы парикмахеры хорошие, да... – Николай Петрович взял в руки картину и ударил ею по голому животу Крюгера. – Разбойники вы. Вам и Рафаэля переделать ничего не стоит. Тьфу! – Он бросил на траву красавицу и зашагал по дорожке к дачам.

Крюгер тыкал ему вслед рукой и кричал:

– Ты сам разбойник, завистник, ты ни бельмеса не понимаешь в реставрации! Нахал!

– А ты парикмахер, – сказал, оборачиваясь, Картонов.

Тогда Крюгер побежал за ним, вдалбливая свои толстые ноги в песок, но скоро остановился, плюнул и пошёл одеваться.

Мальчики и Саша играли в крокет. Проигравшие должны были кланяться в ноги королеве; королеву изображала Анисья.

– Матушка государыня, – тоненьким голосом пела, подбегая к крыльцу, Саша.

Анисья величественно выплывала из кухни с сияющей медной кастрюлей на голове, в белоснежном переднике. Большие красные кулаки вжаты в бока.

– Что, курослепы, провинились опять? Клони башку! – топала Анисья.

– Мы народишко смирный, – говорил Гриша.

– Знаем, какой вы народишко, самый что ни на есть прожжённый. Кланяйся лучше, будет добра гуще.

Наговорившись, она уходила на кухню. У неё много было работы по случаю приезда гостей. Кроме Картонова, приехало ещё шестеро книжников.

За чаем они обсуждали программу съезда; он должен был открыться через три дня.

Балакину было жарко, он часто вынимал платок из кармана коричневой рубашки, вытирал лицо и, весело поглядывая на книжников, говорил:

– Если теперь же окажется невозможным привлечь в одно общество всех книгопродавцев и книгоиздателей, то необходимо сплотиться хотя бы одним книгопродавцам.

Книгопродавец и издатель, не пожелавший вступить в общество, не может входить в какие-либо сношения с членами общества, равно как и каждый член общества обязан не держать у себя изданий такого лица и отказывать ему в отпуске товара.

Для образования капитала общества установить отчисление известного процента с оборота каждого предприятия в размере не более одной двадцатой, причём процент этот уплачивается как книжными складами и магазинами, так и издателями. С целью обеспечения для книгопродавцев приобретения изданий с издательскою скидкою необходимо образование возможно большего числа, на первое время хотя бы в крупнейших книжных центрах, чисто комиссионных торговых фирм по примеру германских комиссионных фирм, как совершенно самостоятельной отрасли книжной торговли, со своим собственными уставом, отвечающим интересам корпорации в её целом. Образцом устройства таких фирм могут быть германские комиссионные фирмы.

При правлении Общества книгопродавцев и издателей в Петербурге и его будущих отделениях в крупных центрах необходимо учреждение особых бюро, на обязанности которых лежало бы:

регистрация книгопродавческих и книгоиздательских фирм, существующих и вновь возникающих;

получение и выдача всевозможных справок о кредитоспособности книжных и издательских фирм;

подбор и систематизация всякого рода каталогов, справочников, библиографических указателей и т. п. изданий, имеющих целью обеспечить книгопродавцам и публике нахождение изданий, критической литературы о них и проч. и проч.

Бюро заблаговременно к учебному сезону получает сведения о принятых в текущем году в учебных заведениях учебниках и своевременно оповещает о том всех заинтересованных в этом книгопродавцев данного района. Следит за всеми выходящими новинками книжного рынка, делает выборки из появляющихся публикаций «Книжной Летописи» и других источников, печатает периодически особые летучки о новостях и высылает всем изъявившим желание по заготовительной цене.

У большого открытого окна стояла Надя в длинном голубом платье. Она смотрела на игры мальчиков и Саши, хотелось уйти к ним, но удерживал интересный разговор с Картоновым. Собиратель, размахивая широкими рукавами чечунчевого пиджака, отгонял мух и говорил журчащим, ласкающим голосом:

– Плиний и Цицерон будто бы видели рукописный экземпляр Илиады, который помещался в ореховую скорлупу. Учёный библиотекарь Неаполитанской библиотеки, где я интересовался знаменитым «Диоскоридом», уверял меня, что этот изумительный экземпляр Илиады съел Калигула, желая воспринять поэтический дар Гомера.

– Вы были за границей?

– Да, да, был. Я там заканчивал своё образование и разменивал последние тысячи родительских капиталов.

Надя села на стул и тронула Картонова за рукав.

– Да будет вам отбиваться от мух! Садитесь, мне интересно с вами беседовать. Знаете, я вам признаюсь... Постойте, дайте мне подобрать те слова, какие нужно. Вот... рукопись, книга – всё равно что, – но я имею в виду литературу, доступную мне и другим читателям средней руки: романы, повести, стихи. Что бы вы ни взяли, вы непременно найдёте или счастливую, или несчастливую любовь. Мы слишком много читаем об этом, как будто бы вся жизнь наполнена только любовными драмами или идиллиями.

– Великолепно! – взмахнул руками Картонов. – Я понимаю вашу мысль. Лучше не сказала бы сама Паллада Афина. – Он вдруг встал на одно колено перед Надей, склонил голову и плавно, в знак почтительности, повёл рукой. – Вы символ света, девственная свежесть расцвета.

– Смотрите, Касьян Ильич, что там происходит, – указал один из гостей на Картонова и Надю.

– Да, да, это похоже на сюжет гравюры восемнадцатого века.

Надя засмеялась.

– Вы не мешайте, у нас важный разговор. – Быстро взглянула в окно, услыхав в саду голос Корытова. – Лука Панкратьевич приехал.

– Хорошо, – сказал Балакин, – зови его сюда.

Но Луку не пускали в дачу Саша и мальчики. Наконец он распихал их и вбежал на веранду, стуча запылёнными башмаками. На шляпе и тёмно-синей рубашке желтели лепестки цветов, которыми Луку осыпала Саша.

– Вы к нам, в нашу компанию, Лука Панкратьевич! – тянула его Надя. – Сейчас Анисья вас угостит чаем; мы с Николаем Петровичем начали интересный разговор.

– Я на всё согласен, – ответил Лука. – Какой у вас разговор?

Он прислушался к словам Балакина.

– Необходимо составление и издание полного каталога на все имеющиеся в продаже издания, вышедшие в свет в течение последних тридцати лет.

– Разговор у нас был о любовном бреде, который всегда очень занимает писателей и читателей, – сказал Картонов и развёл руками. – Почему самая глупая эта страсть воспевается на все лады?

– Я этого не говорила, – засмеялась Надя.

– Ах, вы этого не говорили? Ну хорошо, будем говорить о любовных переживаниях. Мне вспоминается рассказ Паоло Римини о том, какое неотвратимое любовное влечение было для него и для Франчески следствием чтения романа о Ланцелоте.

– Позволь, – остановил Картонова Лука, – ты имеешь в виду эмоциональное состояние человека, вызванное произведением искусства; тогда я тебе замечу...

– Что ты мне заметишь? Я имею в виду то, что является спекуляцией в искусстве.

– Дай мне сказать, – настаивал Лука. – Я хочу сказать, что таких романов, как роман о Ланцелоте, всегда было довольно. Древние трагедии вызывали у зрителя ужас и сострадание. Может быть, потому Платон изгонял трагедии из своей «республики». Роман о Ланцелоте и древние трагедии, вызывающие взрыв эмоций, есть не искусство, а что-то другое.

– Хорошо! – улыбнулся Картонов. – Как ты назовёшь такой случай: представь пир во дворце Аттилы. Во время пира два поэта читали стихи. Действие их было настолько сильно, что старики плакали, а молодёжь хваталась за мечи.

– Это, несомненно, была военная прокламация.

– Вот, – с торжеством сказал Картонов. – Ты, Лука, иногда говоришь хорошо, именно прокламация в том была – опять взрыв эмоций, а подлинное искусство всегда бывает потенциально, мудро, прекрасно так же, как мать-природа со всеми её многообразными явлениями. Ещё Дюрер говорил, что мы находим в природе красоту, далеко превосходящую наше понимание, и никто из нас не может вместить её целиком в свои произведения.

– А Гомер и гётевский «Фауст»? – сказала Надя.

Лука хитро покосился на Картонова.

– А воздействовать на природу человек может?

– Ты, Лука, хочешь втянуть меня в философию. Это мы оставим до другого случая.

Он прислушался к словам книжника-юриста, сидевшего напротив Балакина. Юрист говорил о правовом положении печати.

– Если бы нужно было современное положение печати обозначить каким-нибудь каббалистическим цифровым знаком, то этот знак существует, это – 129, это пресловутая 129 ст. нового Уголовного уложения. Вы по опыту знаете, что эта статья предусматривает различного рода возбуждения: возбуждение к ниспровержению существующего строя, к неповиновению закону, к вражде между классами, к неповиновению войсковому начальнику и т. п. – всевозможного вида возбуждения предусмотрены этой статьёй. Я обращаю ваше особое внимание на характер этой статьи. Против кого она направлена и какую цель она имеет в виду? Статья гово-

рит не только о распространении возбуждающего сочинения, но также о произнесении возбуждающей речи. Законодатель, очевидно, имел в виду агитаторов, которые ведут устную пропаганду и, быть может, попутно раздают преступного содержания книги. Позвольте вам рассказать следующий случай. Выездная сессия Московской судебной палаты в городе Туле слушала политический процесс. Одна из свидетельниц рассказывала о том, что к ним в деревню приехал... «Забастовщик?» – спрашивает защитник. «Нет, оратор», – сказала она. Защитник вздумал пошутить и сказал: «А господин прокурор, по-вашему, тоже оратор?» – «Нет, какой же он оратор, нешто такие ораторы бывают?»... И вот эта статья и имеет в виду этих ораторов, бунтарей и агитаторов. Нам нужно только вспомнить буквальный текст этой статьи в том виде, как она вышла из рук министра юстиции, в том виде, в каком хотел её ввести известный «либерал» Плеве. Тогда в этой статье имелось следующее добавление: «...виновные в произнесении речи и распространении возбуждающего сочинения, буде они имели целью возбудить к означенному деянию...»

Картонов взглянул на Надю и продолжал:

– Если бы Гомера и гётевского «Фауста» было также трудно достать и так же они были дороги, как Тит Ливий до начала книгопечатания, то я поступил бы подобно Панормите (сборник его эпиграмм я имею): Панормита распродал всё, что имел, с целью приобрести Ливия; или я поседел бы за одну ночь в случае потери этих памятников искусства, как это было с профессором Гварино, у которого украли ящик с рукописями. Я никогда не захочу приобрести книг Бероальда де Бервиля, старого Ренье, Парни, Вио, Бело, Мендеса. Не люблю из художников Либерти, Карраччи, Каральо, Бруна, Бри. Можно бы ещё насчитать вам десятки имён очень славных в своё время. Их произведения угодны были публике; ими руководила в работе страсть угождать. Они знали, что каждый атом содержит в себе элементы красоты (это слова Флобера), но если атом содержит элементы красоты, то неизбежно он содержит в себе и элементы совершенно противоположные. Названные мною деятели искусства усматривали только элементы красоты, упуская из виду противоположное, нарушая этим единство, потому их произведения нехороши. Другими словами, их чувство не оплодотворено мудростью. Признак подлинного, бессмертного произведения искусства именно тот, что в нём чувство художника, оплодотворённое мудростью, имеет величественный образ природы, который воздействует на нас всегда благотворно, как добрая мать.

– Вы, Николай Петрович, говорите как педагог, – сказала Надя, – но, мне кажется, вы признаете только гениев.

Картонов взглянул на сияющее в улыбке лицо Нади и кивнул.

– Так и нужно. Только гений и большой талант носят в себе истину, которую им страстно хочется высказать, а всё другое меня не интересует.

Лука сидел опустив голову.

– Пожалуй, много спорного, – заметил он. – Много спорного в том, о чём ты, Петрович, сказал; всё же это искупается любовью к творчеству, – он взглянул на

книжника-юриста, который, щурясь на солнечные лучи, золотившие его рыжую бороду, говорил:

– В законе была прямо указана цель – агитация, и только эту цель и имел в виду законодатель. Когда проект из Министерства юстиции поступил в дореформенный Государственный совет, Совет взял и отрезал этот конец статьи. Но почему отрезал? Это мы знаем из дальнейших разъяснений, но только не Государственного совета, а Сената. Совет рассуждал так: если человек произносит возбуждающую речь или распространяет возбуждающее сочинение, то какую же общую роль, как не цель возбуждения, он может иметь в виду? Совершенно ясно, что только эту цель пропаганды он имеет и может преследовать. Зачем же в тех законах, которые должны быть краткими и определёнными, вводить лишние слова? Государственный совет эти слова отрезал, считая, что и без того всё ясно. А далее произошло следующее: когда до Сената стали доходить судебные процессы, Сенат первоначально стоял твёрдо на точке зрения Государственного совета. В 1905 году по делу Крохалева судебная палата признала его виновным в том, что он передавал книги преступного содержания. Сенат отменил приговор и сказал: «Палата не доказала, что Крохалев имел в виду распропагандировать тех, кому он передавал эти книги. Если цель пропаганды не доказана, то в таком случае он невиновен». Но прошло несколько месяцев, политический курс изменился, и Сенат по делу профессора Ходского написал совершенно иное. Палата оправдала Ходского, потому что он не имел целью, помещая известный Манифест Совета рабочих депутатов, пропагандировать его; он на столбцах своей же газеты выступил против этого манифеста. Сенат написал следующее: «Отнюдь не требуется цели пропаганды; это совершенно лишнее. Безразлично, каких убеждений держался распространитель: важно только, чтобы он знал и сознавал, что содержание преступно». Таким образом, в 1905 году Сенат писал: «необходима цель пропаганды», а через несколько месяцев «не требуется», причём писал с такой же категоричностью и решительностью. Это-то решение Сената по делу Ходского, на котором строятся все наши судебные дела, и есть гибель книготорговческого и книгоиздательского дела. Нас никакие политические убеждения и никакие заслуги перед отечеством не избавят от скамьи подсудимых при таком положении вещей.

– Ух, уморил ты нас, – сказал Балакин, – но из песни слова не выкинешь. Из законов тоже слова не выкинешь. Будем хлопотать, чтобы выкинули. Теперь самое важное – это о новом способе организации книжной торговли в провинции, затем об отказе распространять всякую печатную мерзость.

В сущности, эти вопросы должны бы быть очень важными вопросами съезда.

Балакин взглянул на представителя кооперативного издательства, высокого человека в очках.

– Что у вас есть, сударь Семён Прохорович?

К столу подошёл Лука, взял из рук Семёна Прохоровича тетрадку и начал:

– В столицах и крупных торгово-промышленных центрах, а также и в небольших городах и селениях учреждаются на паевых началах книгопродавческие то-

варищества для ведения розничной торговли книгами и другими произведениями печати. Складочный капитал товарищества должен быть около ста тысяч рублей. Большую часть пайщиков такого товарищества мы имеем в виду навербовать из числа кооперативных и идейных издательств. В том городе, где будет находиться правление товарищества, открывается центральный книжный оптовый склад. Склад этот, пополняясь покупкой книг и приёмом их на комиссию от издателей, посылает книги в различные отделения товарищества. На обязанности правления лежит заведование этим центральным складом, открытие отделений для розничной торговли книгами и периодикой, ведение расчётов с упомянутыми отделениями и периодическая ревизия их. При складочном капитале в сто тысяч (деньгами и товаром) и при условии пользования кредитом со стороны издателей товарищество может открыть несколько сот отделений для розничной торговли печатными произведениями.

Балакин смотрел на Луку и думал: «Провалится на съезде эта кооперация, наверняка провалится». Оглянулся на Картонова.

– Ты слышал, о чём мы говорим?

– Слышал, спасибо.

Он поднялся и заговорил об отъезде в город. Он с утра стал беспокоиться за свою библиотеку; как всегда, уезжая из города, боялся пожара квартиры. Служанка Ирина, думалось ему, назовёт гостей и непременно устроит пожар, как это было в прошлом году в квартире Ермилова.

– Ну нет, я тебя не отпущу! – заявил Балакин. – В кои веки ты собрался на дачу, – приехал и тотчас бежать.

– Что делать, я всегда боюсь за сохранность библиотеки.

– Несчастный ты человек! Тебе надо застраховать библиотеку!

– Нет, это не то, совсем не то.

– Но ведь снова можно собрать библиотеку? – заметил Антонов. – Однако… – я понимаю, что это уж не то.

– Очень даже, совершенно уже не то! – выразительно сказал Картонов. – Я собрал книги, и сколько с ними связано воспоминаний, сколько вложено чувства, страсти. Ведь каждая книга – это сердечная повесть. Итак, до свидания.

Его уже никто не задерживал, и скоро о нём забыли, увлёкшись опять разговорами о предстоящем съезде.

XIX

Никогда балакинская «Скорлупа» не видала такого скопления книжников, какое было накануне открытия съезда. Заходили главным образом провинциальные книгопродавцы и представители земских книжных складов. Балакин всех радушно принимал, с любопытством присматривался к каждому новому гостю, отмечая в памяти облик его, манеру говорить, чистоту одежды, угадывая образ жизни. Гости рассказывали о своих торговых муках, жаловались на издателей. Они до сих пор

решительно ничего не сделали для расширения книжной торговли, не учитывали способов распространения своих изданий; книгопродавец не обеспечен ни кредитом, ни скидкой. Нет возможности следить за выходящими новинками, нет справочников. Один горячо доказывал необходимость создания комиссионного бюро, другой говорил о центральном книжном складе, третий спрашивал, обращаясь ко всем:

– Книга – товар или не товар? Равна ли торговле книгой торговля хлебом, мануфактурой, сахаром? Нет, книга для российского обывателя не «товар» вследствие слабого её распространения, когда целые города и села могут превосходнейшим образом обходиться без книжных лавок и библиотек. Я вам докажу сравнительное ничтожество оборота книжного рынка в России; надо развить, расширить, увеличить движение книги в самую гущу населения. Вот та почва, на которой издатели и книгопродавцы должны работать рука об руку.

– Вот и обсудим, съезд решит.

Надежды на съезд были большие. Балакин знал: съехались самые дельные. Имена многих из них он встречал на страницах «Книжного вестника». Но всё, о чём говорили эти люди, было слишком знакомо Балакину. Их профессиональные торговые интересы давным-давно перечтены по пальцам, и потому он больше всего интересовался их отношением к тому или иному издательству; хотелось выведать у каждого нового лица, как он различает книги, как смотрит на покупателя и задумывался ли он над тем, что такое издательское дело. Некоторые из книготорговцев сами кое-что издавали. Брались они за это, думая только о своей пользе. Выходило плохо, и на это они всегда говорили, что «мы-де не капиталисты».

После разговоров Балакин заключил с книжниками и представителями земств ряд выгодных сделок.

Съезд начался при самом восторженном настроении всех делегатов. Речи начальника Главного управления по делам печати, министра торговли и промышленности, представителей земства, разных обществ величали книжников славными служителями просвещения и как будто обязывали съезд сделать нечто чрезвычайно важное. Всем казалось, что съезд действительно всё разберёт, всё наладит и даст новое содержание книжному делу. В этот же день на товарищеском обеде в «Аквариуме» пили за союз, за дружбу между издателями и книгопродавцами. Издателям не хотелось думать, что большинство книготорговцев существуют скупкой и продажей подержанных книг и учебников. Книготорговцы радовались: издатели дадут им полюбовную скидку на книги и расширят формы кредита.

На заседаниях издатели кряхтели, говорили о своих жертвах на благо просвещения. Всем нужна скидка: студенческим организациям, народным учителям, просветительным и прогрессивным обществам, мещанским, городским и ремесленным училищам, библиотекам, земству. Заготовили ворох просьб и ходатайств о понижении цен на объявления, о книгах, о создании за государственный счёт полного каталога изданных в России книг за последнюю четверть века. Упорно отказались дать нужную книгопродавцам скидку. Кредит оставили прежним, зато

открыли Общество взаимного кредита. Написали кучу резолюций, которые тотчас после съезда забыли, и жизнь пошла по-прежнему.

Балакин не дождался конца съезда. Получил телеграмму от жены. Она умоляла его приехать в Киев. В день получения телеграммы съезд провалил проект о книгопродавческих товариществах. Балакина мало интересовала эта затея; он только настоял, чтобы проект был передан в комиссию для разработки ко второму съезду. Телеграмма его беспокоила. Было непонятно, почему Елена Ивановна оказалась в Киеве. Вероятно, что-то случилось с нею или с Тузовым, но об этом в телеграмме не было сказано ни слова.

Балакин в большой тревоге поехал на дачу поговорить с Надей. На даче его не ждали. Когда он входил в калитку, Саша и Надя наперегонки бежали его встречать. Увидев их радостные лица, он вдруг решил не говорить о телеграмме. Может быть, ничего особенного не произошло с женой. Бывали случаи… Он вспомнил, как Елена Ивановна вызвала его телеграммой из Москвы только потому, что она упала на дворе и слегка ушиблась.

Действительно, и на этот раз она вызвала мужа в Киев с испуга. Они с Тузовым дальше Нового Афона не ездили, потом отправились в Киево-Печерскую лавру. Дорогой их обокрали, после чего Елена Ивановна заболела.

Балакин застал её уже здоровой, дал денег и в тот же день уехал обратно в Петербург.

В книжном мире заговорили о новом празднике: Балакин готовится выпустить десятки роскошно иллюстрированных изданий, для чего он припас порядочный капитал и отлил чудесные шрифты. Новость эта погнала в «Скорлупу» художников, книговедов, собирателей. Все они, казалось, были кровно заинтересованы в новом деле.

– Ты никого не слушай, – говорил Балакину Картонов,– только меня слушай. Во-первых, возроди ты миниатюру.

– Спасибо, – усмехнулся Балакин, – это ты сам начни.

– Вот и хорошо, – одобрил Картонов, – всем советчикам так же говори, как мне, но скажи по совести: ты не собираешься издавать дешёвые книги с картинками? Я, пожалуй, издал бы подобное или «Дон Кихоту» с рисунками Жоанно, или «Павлу и Виргинии». Обе эти книги имеют сотни гравюр, а цена была небольшая.

– Дешёвая книга с тусклыми, уродливыми картинами у нас издавалась всеми кому не лень, – скучно.

Приятели сидели в складе Балакина на пачках книг.

Так они сидели когда-то у Лазурки при первой встрече.

Балакин сказал:

– За пять, за шесть лет, как мы с тобой познакомились, какой был шумный маскарад на книжном рынке.

– Именно… Крик моды, – проворчал Картонов. – Нужно зачем-то Рябушинскому «Золотое руно» с золотым шрифтом! Сравни это «Руно» с «Нюренбергской

хроникой» Шеделя или с изданиями, украшенными Дюрером, Шауффелейном... да просто смешно и сравнивать! Или возьми величавые фронтисписы и чарующие иллюстрации плантэнов или работы наших мастеров: Ческого, Уткина. Я уверяю тебя, что теперешняя новая наша знать очень похожа по своим вкусам на старую дворянскую знать. Для той и другой знати искусство есть прежде всего...

– Знаю, – сказал Балакин, – искусство для них есть красивый туман, окутывающий их праздную жизнь; поэтому идеал этих людей – чувственность и красота. Я уверен, что наперекор этому идеалу, как реакция, будет другой, более нелепый: это уродство и рационализм. Все эти направления с лозунгами и криками на право признания (мы-де одни истинные художники) есть самое верное доказательство духовной нищеты и дикого непонимания подлинного искусства. Ты заговорил о модерне. Можно встретить много блестящих доказательств, говорящих за то, что модерн вовсе не аксиома. Всё же надо признать: декадентский «Скорпион» сделал интересную попытку высокохудожественного построения книги, но все «скорпионовские» издания слишком уж залиты западной графикой. А вот «Мусагет» занят больше всего отливкой изящных шрифтов. Иллюстрация для этого издательства – дело относительное. Если взять «Старые годы», то сердце книжника может порадоваться при виде возрождённого ампира. Нет, форма художественного издания не найдена. Может быть, она так же относительна, как относительна всякая истина?

– Нет, чёрт возьми! – вскочил Картонов, тряся бородой. – Я не согласен! Вспомни-ка бессмертные создания Бескервилля, Бодони, Дидо или даже наших издателей-стариков! В книжном искусстве, так же как в искусстве вообще, должен быть одинаковый принцип. Творчеству всегда противны оковы штампованных форм. Практическая обыденная целесообразность властвует только в мёртвом ремесленничестве, с которым искусство всегда в непримиримой вражде. Талант и гений вынуждены преодолевать силу сопротивления среды. – Он опять сел на пачку и улыбнулся добродушно, поглаживая бороду и глядя на Балакина. Тот сидел опустив руки меж колен, смотрел на истоптанный, грязный пол.

– Да, – вздохнул он, – с книгой у нас поразительное безобразие. Возьми чудовищно неуклюжий том «Мёртвых душ», изданный Марксом, с плохими рисунками. И у Брокгауза такие же тяжеловесы, напоминающие старинные часословы. Такие книги любят только богомольные мужики, ценя их солидность. Из недавних лучшая вещь – это кушнеревский Лермонтов, где работали Васнецов и Врубель, но и это издание оформлено не совсем удачно. Если тут ещё был какой-то принцип оформления книги, то за последние десять лет этот принцип у всех издательств, выпускающих художественные издания, вовсе не существует. Украшение и иллюстрирование книги – дело огромного значения. Говорят: художник должен давать незабываемые видения, сопутствующие чтению, он мастер образной организации. Говорят ещё: его рисунки заражены литературным пафосом. Вспомним иллюстрации Агина к Тургеневскому «Помещику». Тургенев печатно заявил о том, что

Агин умеет иллюстрировать текст, отразить его смысл, подчеркнуть то, что важно, и дополнить его рисунком там, где слово было бессильно. Это заслуженная похвала замечательному иллюстратору «Мёртвых душ». Тургенев высказал правильную мысль о значении и принципе иллюстрации. Необходимо, видите ли, совместное жизненное творчество писателя и художника. Одним из лучших – и притом национальным и самобытным художником – был Агин. Его острый карандаш нам оставил великолепные портреты, дающие обобщённое отображение помещичьей России. Они высокохудожественны и вполне сливаются с литературной символикой и стилистикой. Влияние их на русского человека огромно. Я уже давно ищу среди наших художников-иллюстраторов подобного Агину по мастерству изобразительности в соединении со смелостью тонкого сатирика. Правда, есть хвалёные, неплохие художники, только чуть не все они далеки от мысли в своём творчестве преследовать задачи подлинного иллюстратора. Я наметил много книг, достойных мастерской иллюстрации, но только, по-моему, то есть я предлагаю, учиться художникам надо не у Бердслея, а у Агина, Тимма и Гагарина.

– Не найдёшь ведь, – проворчал Картонов.

– Почему не найду? У меня уже есть на примете двое – столкуюсь, может быть, с ними, – Балакин поднялся и похвалил себя: – Хорошее дело задумал Касьян.

Собиратель смотрел на него, закинув назад голову, с таким выражением на лице, какое бывало, когда он разглаживал какой-нибудь «сладчайший» манускрипт.

– Хорошо будет, если твои художники окажутся такими же мастерами, как Эйзен, Моро или даже Домье. Когда-то наши иллюстраторы были под влиянием Гаварни, а нынче увлеклись Бердслеем. И чего в нём нашли? – художник, который фигуру не умеет рисовать, и вдруг стал учителем.

Он ушёл ворча. Ему хотелось помочь Балакину, хотелось, чтобы восторжествовало то искусство, какое он считает истинным. Шёл по улице, надвинув на глаза свою запылённую шляпу, зажав в кулак бороду, и думал: «Мы с Касьяном далеко не уяснили самого важного. Мы только вертелись около него. Надо подумать. Впрочем, что же тут думать? Задача художника – это проникать в суть вещей, раскрывать вещи – это и есть подлинное».

Он стал заходить в «Скорлупу» каждый день. Заставал у Балакина книговедов, художников. Разговаривали они обычно о последних новинках: о рисунках Добужинского, Бакста, Феофилактова. Спорили об особом иллюстрационном приёме, утверждающем самостоятельность творчества художника вне зависимости от писателя. Сравнивали ксилографию Валлотона с работами Теофиля Стейнлена. Говорили и о японских цветных гравюрах. Заглядывали в восемнадцатый век, находя там достаточно пищи для художника с тонким вкусом.

Балакин говорил мало. Он последние дни ждал первых рисунков от художников и очень волновался: так ли будет, как ему хочется.

XX

Елена Ивановна всю дорогу из Киева думала, как весело она примется дома за хозяйственные дела. Надо сделать уборку квартиры, приготовить Павлу комнату, варить варенье, наговориться с домососедками и гостями.

Недобрые вести о муже всё перемешали. Было не до варенья и приятельниц. Она избегала встречаться с ними, подозревая дурные разговоры о себе. Проводила время с матерью и братом, уходя к ним с утра.

Балакин мало бывал дома. Он долго засиживался в «Скорлупе», отпуская служащих. Оставались с ним Надя, иногда Лука или Копосов и кто-нибудь из мальчиков. Всегда была срочная работа. Днём Балакину приходилось вертеться среди своих обычных посетителей: авторов, художников, корректоров, заказчиков, кредиторов или просто знакомых. Изредка выбирал время забежать в антикварные магазины, и то по пути откуда-нибудь.

Вечером Надя помогала ему закончить дела. Он её постепенно ознакомил со всем кругом дел, удивлялся её живому уму и никогда не покидающей весёлости. Если он очень уставал или был раздражён неудачею, цветущая улыбка Нади тотчас отгоняла усталость и недовольство. У неё было редкое сердце. После работы шли обедать, обсуждая только что просмотренные новинки, здешние и заграничные. Среди заграничных в это лето самым интересным было шведское издание «Войны и мира», богато иллюстрированное. Балакин показывал это издание книжникам, стучал кулаком по столу, ругал всех русских издателей и художников.

– Слепой народ, дурной народ, высокомудрствующий в погоне за мишурой! Иностранцы лучше и больше знают и ценят русских писателей, чем мы!

Всегда занятый делом, он не мог понять, почему многие из его знакомых ведут беспечную жизнь, изо дня в день только развлекаются, посещая сады, театры, клубы, вечера.

Они собирались в кабинете Балакина один-два раза в неделю, никогда не сговариваясь встретиться. Все они понемногу несли почётные обязанности: писали статьи по искусству, науке, литературе, где-то служили, собирали какие-то материалы для больших работ.

Одни из них знали последние научные открытия, другие рассказывали о выставках картин и новых веяниях в живописи, третьи говорили о театре, непримиримой позиции Кугеля к Московскому художественному театру, о скандальных историях. Новости литературы и графики занимали видное место в беседах, и притом всегда были споры. Надя считала этих знакомых Балакина самыми интересными посетителями «Скорлупы». Её влекло к их разговорам, и если Балакин эти разговоры наполовину считал вздорными, то она вначале всё расценивала как блеск красноречия, ума и знаний. Ей хотелось читать те книги, о которых говорили. Она слышала похвалу симфоническому оркестру Шереметева – музыке Листа к драматическим сценам «Прометея» Гардера – и просила Балакина свести её на концерт. Говорили о новой пьесе Рышкова, об «Анфисе» Андреева, – она хотела

смотреть эти пьесы. Балакин ходил с ней в театр, на выставки. Брал её в Москву, где они каждый день старались попасть в Художественный театр. Часто он шутливо ворчал:

– Ах, как дорого обходятся эти мои кабинетные болтуны, пропагандисты искусства.

Балакин не любил толпы, а для Нади ничего не могло быть лучше нарядной, праздной публики, среди которой она насчитала бы не один десяток своих завистниц.

Осенью собрались к Картонову посмотреть его «сокровища». Он неустанно приобретал редкости и давно ждал Балакина. Встретил друга и Надю в своей маленькой передней, нетерпеливо потирая руки и смеясь.

– Вот хорошо, вот обрадовали! Недаром у моей домоправительницы Ирины ножи и вилки на пол падали, – значит, быть гостям. А ведь я сегодня болящий к тому же, – вдруг поёжился Картонов.

– Что же с вами? – спросила Надя, кладя на столик шляпу и скользя взглядом по диковинным картинкам на стенах между книжных полок.

Балакин подал приятелю полбутылки рому.

– Вылечим, по старой памяти будем пить с чаем.

– Да, да, старое вспомним; есть и новое, – подмигнул Картонов, – а болею я после вчерашнего… Пожалуйте прямо в мой сад-рай, он отличается от рая Адамова тем, что там была одна Ева и змий, а у меня сотни Ев и ни одного змия.

– Но ты совмещаешь в себе и Адама и змия, – сказал Балакин.

– Нет, – засмеялась Надя, – Николай Петрович скорее напоминает мне счастливого юношу, которого все балуют.

– Ох, знаете ли, – покряхтел Картонов, – балуют, но не все. Вчера насилу домой пришёл.

– Да, да, расскажите, что с вами случилось? – опять спросила Надя.

– Вчера мы с Хапутиным у «Семи Симеонов» на биллиарде библиотеку Пестунова разыгрывали, и в конце концов Хапутин меня чуть не извёл.

– Как же вы разыгрывали?

– Очень просто. Этой библиотеки мы ещё ни тот, ни другой не видели. Только я вчера узнал от Волкова, узнал: библиотека с редкостями, продают её наследники Пестунова за смертью владельца. Я пошёл вчера посмотреть библиотеку и столкнулся у парадной лестницы Пестуновых с Хапутиным. Он накинулся ругать меня за пронырство и конкуренцию. Я говорю: «Ты, Андрей Семёнович, напрасно ругаешься: всё равно сегодня тебе не купить здесь ничего, потому что владельца библиотеки ещё не похоронили». Швейцар подтвердил мои слова; тогда Хапутин поверил, подхватил меня под руку и повёл к «Семи Симеонам» чай пить. Дорогой уговаривал, чтобы я не ходил раньше его к Пестуновым. Потом мы и взялись на биллиарде играть. Условились: кто выиграет подряд три партии, тот прежде другого осматривает библиотеку. Действительно, мы один другого ревновали к этой библиотеке. Ну, играть-поиграть – партий десять сыграли, вдруг Сычов приходит

и сообщает: Василий Иванович библиотеку Пестунова купил. У Хапутина и кий из рук вывалился. Потом, плюя на бороду, он стал подступать ко мне с кием, обвиняя меня в сговоре с Василием Ивановичем. Я попятился, за что-то споткнулся, упал и ушиб руку. Этого мало: Хапутин погрозил сжить меня со света. Вот как, – засмеялся Картонов, оглядывая гостей.

Балакин курил, усмешливо щурясь. Надя сидела рядом с ним, облокотясь на стол. Пока Картонов говорил, она смотрела на него с любопытством, потом сказала:

– Ах вы бедный!

Вошла с чаем толстая Ирина. У неё блестели красный подбородок и круглый нос. «Сытая тётка!» – подумал Балакин. Картонову он давал зарабатывать на корректуре до ста рублей в месяц. Корректуру Картонов брал ещё у Маркса. В последний год не жаловался на безденежье.

Ирина долго хозяйничала у стола, Надя обошла комнату, рассматривая гравюры и литографии на стенах. Картонов одобрительно следил за гостьей. Только теперь он подробно оглядел её наряд: платье из бледно-голубого крепона, юбка была слегка собрана в талии, корсаж искусно драпирован, стянутый в плечах перехватом, продолжающимся на рукаве, составляя одну его половину, под которую уходила другая, также драпированная. Что-то новое было в Наде. Картонов привык её считать всё той же красивой резвушкой, какой он встретил её в первый раз в квартире Балакина.

«Что-то в ней… – вдруг он понял, и ему почему-то стало грустно. – Вот оно что! У Касьяна в виду другая семья».

За чаем Картонов, показывая своё последнее «сокровище» – собрание офортов «Живописная Украина», – говорил:

– Добыть эту прелесть было делом нелёгким. Взять офорты у князя можно было только за исключительную услугу. Я знал: у него страсть к пикантным вещам: он на них не жалел денег. Вспомнил я об одной коллекции рисунков самой разнузданной фантазии – её имел генерал Сватов. Этот генерал – большой патриот и славный воин, собирающий оружие, освящённое в битвах героями. У него якобы есть мечи Мстислава Удалого и князя Игоря, копьё (пуд весом) Александра Невского, череп лошади Пожарского, пушка из-под Измаила. Я пошёл к Крюгеру и выбрал у него старую казацкую саблю. Два дня колдовал над ней и опять к Крюгеру: «Спасибо, говорю, милый друг, за саблю, ведь она, оказывается, принадлежала Богдану Хмельницкому». Показываю ему знак и надпись. Крюгер схватил себя за волосы и давай драть. «Дурак, дурак, какую вещь упустил! И везёт этому Картонову». Ну он же и расславил эту саблю по всему городу. А я с ней к Сватову. «Вот, – говорю, – ваше превосходительство, вещица». Сватов поглаживает усы, тает весь, но боится жадность показать: не заломил бы я слишком дорого. «Слышал я, – говорит, – про эту вещицу: какой чудак Крюгер, вот чудак! Сколько вы хотите за саблю?» Он удивился, когда я о рисунках заговорил. Ей-богу, он меня счёл дураком, выдав мне рисунки. Говорю ему: «Ваше превосходительство, я за большим не гонюсь». Мы

расстались приятелями. Дальше уж всё было проще. На князя рисунки произвели впечатление громадное: он хохотал, визжал, стонал, перебирая коллекцию. Я думаю, имение бы отдал за неё, но я ведь ему как генералу: «За большим не гонюсь, возьму всего лишь “Живописную Украину”». Видите, двоим принёс счастье; только Крюгер в обиде, но я ему снесу какого-нибудь Мурильо, и он будет счастлив.

Надя укоризненно качала головой.

– Вы думаете, что это жульничество? – сказал с доброй улыбкой Картонов. – Уверяю вас, что я делаю прекрасно. Я всегда стремлюсь вырвать чудесное произведение искусства из рук того, кто его вовсе не ценит и не способен ценить, и даю ему вместо него то, что ему любо и чего он достоин. Не было случая, чтобы я взял что-нибудь от того человека, которого уважаю. Конечно, я уважаю не многих, – закончил с усмешкой собиратель. Он доставал из шкафа и полок книги, альбомы, вертел их, поглаживая ладонью, и подсовывал гостям. Все эти редкости, сдобренные, увитые рассказом о том, как они были добыты, приобретали в глазах Нади двойной интерес. Перед ней вставали лица прежних владельцев книг, «осчастливленных» или «обиженных», но тех и других было немного жаль. Балакин говорил:

– Хотелось бы побывать у Василия Ивановича. Что он купил, обойдя тебя и Хапутина?

Картонов подумал.

– Заглянем, я зайду за тобой.

– Право, я очень довольна, – сказала Надя, отрываясь от книг. – Я тоже хочу покупать редкости.

Толстая Ирина вновь предложила чаю. Отказались, стали собираться домой.

XXI

Павел ходил по складам. Его сопровождал Копосов.

– Как хорошо, что я вновь здесь. Ей-богу, я скучал там по нашим хмурым кладовым. Надоело безделье. Я тебе завидую, Фёдор.

Павел задумался, вспомнив Москву и альманахи. Копосов потрогал усы, скрывая усмешку. Не Павлу, казалось бы, завидовать. Малый как картинка, одет изящно. Конечно, жить с этой козой Тереховой, должно быть, немного лучше, чем в монастыре.

– Я завидую тебе, ты видел столько чего... Мне, может быть, и никогда не увидать, ведь мы с тобой ровесники. Если бы в Германии побыть, то это уже счастье!

Павел уныло вздохнул.

– Нет, мне всё это ужасно надоело. Ты лучше скажи: что у вас нового, как отец?

– «Надоело!» – ты говоришь. – Копосов вдруг перешёл на шутейный тон. – Верно, в людях хорошо, а дома лучше. А у нас что же... гнём, чтобы гнулось, а не так, чтобы лопнуло. У дядюшки в кабинете каждый день «молебны с акафистами» перед ликами художников и строителей книжных. Ударили мы в новую область – хо-

тим показать, как надо создавать художественную книгу, думаем соперничать с форсистыми изданиями. Дядюшка хочет вознестись над всеми и дать новое содержание в понятие – что такое художественная книга. Вот подлинные слова, как он говорил с художниками. Нам надо дать изящную книгу для широких кругов интеллигенции, а не для буржуазии, для которой уже дано много роскоши. Да ещё и дадут.

– Отец по-прежнему держится за свою идею?

– Ещё как! Но вот с этими новыми изданиями боюсь я, что мы провалимся. Не вышло бы так, как у Вильяма Морриса. Мне о нём рассказывал один книговед. Вильям Моррис – революционер, автор утопии «Вести ниоткуда». Он задался целью, открыв типографию, создать шедевры книжной красоты и противовесие фабрикантам, выпускающим никуда не годную продукцию. Ведь за границей и у нас фабриканты в погоне за барышами изловчаются бумагу давать из чистого дерева, – она ломается после двух сгибов. Клише изготовляют как можно проще, шрифты сбиты, машины добивают до полного износа. Всё это на почве конкуренции. Среднего издателя фабриканты душат. Капитал! Вильям Моррис захотел поднять типографское искусство, но он взялся за деревянную гравюру шестнадцатого века, украшая текст декоративными рамками. Издания вышли дорогие, недоступные средней публике.

– Да я тоже сомневаюсь в успехе новых изданий, – сказал Павел. – Это невыгодное или, вернее, явно убыточное предприятие. Широкие круги интеллигенции ценят дешевизну. Я насмотрелся за границей на работу издательств. Считаю, что ты не прав, осуждая фабрикантов. Теперь именно книжная фабрика и может только вести дело: на месте отца я давно бы сделался фабрикантом. Всякая идейность вредна. Мы сто лет просидим в этой убогой «Скорлупе», безнадёжно воюя с крупными безыдейными издателями. – Павел разгорячился, он ходил взад и вперёд, форсисто пошаркивая лакированными ботинками; глаза его вспыхивали, лицо густо зарумянилось.

– Нет, я не согласен нищенствовать. Я сегодня могу достать двадцать–тридцать тысяч и открыть своё дело, которое даст через год сотню тысяч оборота; но надо убедить отца взяться за воз по-коммерчески. Ты посмотрел бы, как поставлено дело в лейпцигском издательстве «Реклама», – залюбуешься.

– Ну ещё бы, в Германии-то!.. – дёрнул головой Копосов. Он следил за Павлом, любовался и одобрял. Молодой хозяин не терял за границей времени, и, кто знает, может быть, он шагнет очень далеко.

– Я вполне с тобой согласен. Действительно, пора бы развернуть дело шире, по-коммерчески, как говорится.

Вдруг ему вспомнились слова Балакина о стиле, общественных интересах, о благородстве в работе. Он усмехнулся.

– Ты искушаешь меня: мне всё-таки кажется, что дядюшка по-своему прав; он идёт своей дорогой – медленно, но верно.

Павел пренебрежительно взмахнул рукой, круто поворачиваясь на каблуках.

– Отец только тем и берёт, что он упрям и практичен, а то давно бы его съели. Он публику идеализирует, а публика практичнее его. Ею можно овладеть, потрафив её практичности. Суворин дал ей за полтора рубля полное собрание сочинений Пушкина и с ума её свёл. В один день продал шесть тысяч экземпляров. Повторяю, это может сделать только фабрикант.

«Вот он сокол какой стал», – подумал Копосов, склонный признать большую долю разума в словах Павла, чем во всех действиях Касьяна Ильича. Опять вспомнились наставления дяди. Явное неуважение его к нему, совещания с Лукой. Лука не старший, а на самом деле он в «Скорлупе» первый человек после Балакина – тот ли Лука Панкратьич.

– Что делать, Павел Касьянович, – проговорил Копосов. – Судьба наша такая. По совести говоря, я такое дело, о котором ты говоришь, принял бы охотно: весёлое дело.

– То-то же, – усмехнулся Павел. – Вероятно, уже отец пришёл.

– Ты Надежду Николаевну видел?

– Кого?

– Ну вот... позвольте вас поздравить... – Копосов шаркнул ногой, поклонился и потом смеясь принялся крутить усы.

– Ах, эта Надя – дядюшкина невеста.

– Была когда-то.

– А теперь?

– Теперь работает у нас.

Копосову хотелось рассказать больше, это было бы для Павла поразительной новостью, – подумал и удержался. Нельзя же всё сразу рассказывать.

Павел пришёл к отцу. Спускаясь по лестнице вниз, встретил Надю. Она, в сером халатике, бежала, постукивая по ступенькам каблуками коричневых туфель, увидела Павла и на секунду остановилась. Вспомнила все их встречи. Пожалуй, она была немного влюблена в него. Может быть, это и не так, а скорее всего было просто цветение её девичьего сердца. Когда сердце цветёт, можно немножко влюбляться в каждого юношу-весельчака, пока не расцветёт оно окончательно под обаянием кого-нибудь одного. Для девушки любовь – это обаяние человека-мужчины. В этом весь смысл цветения сердца. Павел в два раза моложе и красивее Касьяна Ильича, но Надя не могла бы его любить так, как любит его отца. Она его любит, не думая ни о Елене Ивановне, ни о Саше, и тем более о Павле. Весь этот свиток чувств мелькнул перед Надей необычайно отчётливо, почему-то обрадовал её, точно она в первый раз твёрдо решила своё отношение к Балакину.

– Очень рада... Когда вы приехали? Только что? Очень хорошо. С нами работать будете? У нас вам работы приготовлено вдоволь.

Павел изумился. Он не ожидал от Нади такого спокойного, покровительственного тона. Она ему показалась милее, чем полтора года назад. Кто знает, чем бы

кончилось их первоначальное знакомство, если бы не Терехова. Впрочем, и теперь можно вернуться к недочитанной странице начатого романа.

– Да, да, она милая, – вслух сказал Павел, подходя к кабинету отца. Взялся за ручку двери и обрадованно улыбнулся, услышав в кабинете густой знакомый голос.

– Как ног у змеи, так правды у плута не найти, – говорил Балакин, разумея одного комиссионера.

– Конечно, без правды не житьё, а вытьё, – согласился маленький толстый человек, сидевший рядом с Балакиным. Павел знал манеру отца говорить с каждым особым языком. Любил лепить поговорки, когда был чем-нибудь недоволен. Сыну он обрадовался. Поспешно вывернулся из-за стола. Обнялись. Павел поцеловал отца в щёку.

– Фу, какой надушенный... Барышня! – Балакин отступил назад, разглядывая сына: «Ещё красивее стал, подлец».

Павел оглянул кабинет, увидел на стенах знакомые застеклённые гравюры, портрет Новикова, снимок с заглавного листа Острожской Библии.

– Всё по-прежнему. Рад, что и тебя вижу таким же...

– Каким таким? – перебил сына Балакин. – Ещё не горбат, не очень богат, за тем и другим не гонюсь; чем судьба наградит, то и носить будем... Садись да расскажи, что видел. Много-то толковать здесь не удастся – дела, люди. Вечером, надеюсь, будешь дома?

Павел рассказал о Вене, Париже, Берлине, где они были проездом с Тереховой. В Париже они случайно попали на аукцион редких книг и автографов. При них были проданы первые издания «Oeuvres du Philosophe de Sans-Souci» Фридриха Великого за две тысячи сто пятьдесят рублей. Издание Эразма и Плиний Младший пошли за тысячу, Терехова купила первое издание басен Лафонтена с 275 гравюрами за шестьсот пятьдесят рублей.

– Мы с Картоновым дешевле покупаем. А что издают французы нового?

– Сейчас готовится роскошное издание Анатоля Франса «Жанна д’Арк», цена тысяча франков. Я привёз кое-что из новых изданий. Есть для тебя подарок – рисунки из «Иллюстрасьона», отображающие все события нашей революции, начиная с девятого января.

– Рисунки? Хорошо, – Балакин весело прищурился, тотчас подумал, что рисунки стоит сфотографировать и можно составить интересный альбом. – Ты взгляни на наши последние книги, – указал он сыну на полки, где стояли образцы изданий.

Павел бегло осмотрел новые книги и расстался с отцом, условившись встретиться вечером дома.

На улице он вспомнил о Наде – хотелось вернуться, поговорить. Постоял минуту в раздумье. Был третий час. В пять он должен обедать у Тереховой. Куда девать время? Ведя праздную и бестолковую жизнь, он часто не знал, на что тратить мед-

ленно идущее время между завтраками, обедами, развлечениями. Под влиянием скуки начинается разговор с самим собой: «Какой деятельности отдаться? Что избрать?» – Писать стихи? Их у него написано много. Но, как ни свойственно в молодости представлять себя гением, всё же Павел считал себя лишённым призвания быть поэтом. Служить казалось скучным. Лучше всего пойти по проторённой отцовской дороге. За последнее время ему всё больше и больше хотелось уйти в книжное дело. За границей он приглядывался к богатым издательским фабрикам-фирмам. В сравнении с ними отцовская «Скорлупа» казалась старозаветной друкарней. Идя по улице, он думал, что всё идёт так, как ожидалось.

Сегодня он везде дорогой гость, и вовсе отпало чувство безделья, как только он прикоснулся к деловой жизни. По мокрым после дождя мостовым текло солнце. По Чернышеву мосту, куда вышел Павел, тянулись бесконечные подводы с ящиками фруктов. У решётки сквера стоял Картонов в своей старой, надвинутой на лоб шляпе, в коричневом пальто.

Павел, улыбаясь, шёл к собирателю.

– Рад вас видеть, Николай Петрович. Кажется кого-то ждёте?

– А-а! – встрепенулся Картонов. – Вас, вас, иностранца, дожидаюсь. Смотрел на памятник, вспоминал, как я здесь когда-то играл в этом сквере. Нелепый маленький сквер. Ведь по архитектурному плану Росси здесь должна была быть церковь-ротонда; это вышло бы красиво. Смотрите, – указал он на здания двух министерств – и простер руку к Театральной улице, – какая торжественность! Какой великолепный строй колонн! Между ними подёрнутые синевой арочки. А фасад театра! Вы посмотрите на него отсюда весной в солнечный день – и вас охватит очарование. Он точно уплывает куда-то на солнечных волнах, застёганный причудливыми тенями. Да, я люблю город, люблю строителей. Вымыслы архитектуры – это гимн вечному. Пойдёмте, я вас провожу, вы к Невскому?

– А вы, конечно, на Литейный? Расскажите, что вы приобрели из редкостей?

До Невского Картонов вёл Павла под руку, охотно поведав ему свои книжные дела. У Публичной библиотеки молодой Балакин взял извозчика и поехал на острова, где надеялся встретить Терехову и оттуда вместе ехать к ней обедать.

«Какой восторженный этот Картонов, – подумал Павел, – поэт».

Извозчик, хвалясь перед богатым седоком своей быстроходной лошадью, нёсся мимо садов, украшенных кудрявым хмелем осени, вдоль Лебяжьей канавки, в тихой воде которой плавали листья. Потом мелькнули хрустальные набережные и голубые мосты Невы. За Невой сиял в ясном просторе Петропавловский шпиль с еле приметным ангелом на верхушке. Каменноостровский проспект казался золотистой просекой. Проспект застраивался. На месте старых деревянных домиков теперь стояли дома-дворцы.

«Капитал растёт, – подумал Павел и вспомнил свою беседу с Копосовым. – Надо говорить с отцом. Если не удастся убедить его, тогда остаётся только одно – открыть своё дело».

XXII

Василий Иванович ещё не брякал ключами, согнувшись перед замком, распустив по плитам тротуара полы своего длинного, насквозь пробитого пылью пальто, а уже около лавки прохаживались двое покупателей. Один был историк, действительный статский советник, ходил, раздувая свои густые дымчатые усы, держа руки за спиной. В одной руке болталась трость. Он думал о новой покупке антиквара, хотелось увидеть её первым. Подавляя волнение и тревогу, он представлял в своих руках нужные ему книги. Второй покупатель, подслеповатый, с жёлтым лицом, изредка посматривал, мигая глазами, на историка, желая угадать, за какими редкостями тот гоняется… Сам он собирал всякую редкую книгу и неизменно поспевал к букинистам в тот час, когда было на что взглянуть, когда содрогалось сердце от страсти при виде сказочной редкости, уходящей к другому.

«Если он нумизмат, – думал о действительном статском советнике подслеповатый, – то, чёрт с ним, пусть роется». Увидел Василия Ивановича и пошёл к нему навстречу.

– Что ж вы, батенька, именины туго справляете! Гости ждут, в хоромы просятся, поздравляю…

– Ну, ну, есть с чем поздравлять, – проворчал антиквар, тая под усами усмешку. Он не любил хвастать; обычно умалял значение покупки. Сгорбясь и вытянув вперёд голову, вошёл в лавку, заботливо оглянул прилавок и полки. Половину книг в своём магазине он считал крепостным сбродом, который постепенно копится; он бывает в каждой покупке. Этот сброд стоял годами, в реестре доходов он занимал последнее место. На первом месте были модницы, прелестницы. Иные из них расхватывались, не погостив и дня в лавке. Подолгу гостили солидные семьи, зато не часто они собирались. За три года в реестре доходов один раз всего значился Солнцев, проданный за пятьсот рублей, два раза – «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей», раз встретился «Художественный листок». Висковатов полный никогда не был. Чаще встречались французские. У Пестунова оказался Ровинский: он покроет треть расходов по купле библиотеки, да есть ещё «Ferrario». За него можно взять четыреста целковых.

– Ну-с, милости просим, – обернулся Василий Иванович к покупателям, – чем вас попотчевать?

– Ух, будто нечем, – сказал историк, бойко оглядываясь. – Я за обещанным, знаете?

– Обещанного три года ждут, – пошутил Василий Иванович. – Вы новенькое смотреть, но оно ещё не упрело, сам не обнюхал толком.

Он говорил, сознавая свою силу властителя-искусника, сумевшего воспитать в собирателях почтительность к себе. Подслеповатый считал его своим учителем; с лёгкой руки Василия Ивановича он стал поклонником красоты книжного искусства.

– Разрешите, Василий Иванович, одним глазком взглянуть на новое.

– Конечно, и мне! – подступил к антиквару историк. Антиквар провёл рукой по волосам ёжиком и, тая усмешку под усами, указал на «престол», как он называл прилавок.

– Вам, ваше превосходительство, могу предложить... Вот, позвольте вас познакомить с любопытной вещицей.

Антиквар достал из конторки тоненькую книжку, обдул и повертел её перед глазами покупателей:

– Книжечке сто сорок шесть лет от роду, а не постарела. Это алмаз восемнадцатого века... – Отогнул обложку и показал заглавный лист, держа книгу влево от себя на вытянутой руке. – Пожалуйте... Не светозарная ли простота сияет здесь! Виньеты, убор, шрифт просятся напоказ всем. «Торжествующая Минерва, общенародное зрелище, представленное в Москве в 1763 году». Оно было задумано первым русским актёром Волковым и исполнено под его непосредственным распоряжением.

– Ох, чёрт возьми! – привскочил на месте и мотнул руками подслеповатый. – Почему же моя «Минерва» не такая? Откуда тут у вас взялись великолепные виньеты? Покажите!

– У вас другое издание, выпущенное в том же году; виньеты в нём заменены простыми типографскими флеронами.

Он ещё показал «Одесский альманах», «Альбом карикатурных портретов», рисованных Чиарди и Лебедевым. Потом разрешил покупателям смотреть книги Пестунова. Ящики с книгами были в соседней комнате. Подручный антиквара, Никифор, вскрыл один ящик. Статский советник, как бы нечаянно, ловким движением оттёр от книг подслеповатого. Пыхтя и раздувая усы, уселся на ящик, распустил полы шинели и жадно схватил первую книгу. Никифор подумал: «Ишь, уселся, как кура на яйцах...» Подслеповатый возмущался.

– Позвольте, почему вы завладели один всем ящиком? Это нахальство, чёрт возьми!

Историк молчал, вертел книги, откладывая облюбованные, бросил под ноги подслеповатому несколько томов и досадливо дёрнул плечом.

– Пожалуйста, разве я все беру...

– Нет, чёрт возьми! – бегал кругом историка подслеповатый. – Я не хочу объедками довольствоваться. Я подожду, ничего, я подожду и сяду так же, как вы, на второй ящик... Никифор, ты скоро вскроешь ещё?

– Когда первый просмотрите. Мне же в порядок книги надо приводить.

Около Василия Ивановича стояли новые покупатели. Топилась печь. Василий Иванович был недоволен тем, что его частый гость, Пухов, румяный кругленький человек, говорил вздор:

– Ну и при чём здесь ефремовское издание, вот уж не понимаю! Ну, сожгли его Радищева на Фарфоровом заводе, тогда первое издание стоило восемьсот–де-

вятьсот, можно было взять и больше. Теперь, когда Суворин повторил Радищева, вы разве купите дешевле тысячи первое издание? Есть книги, которые с каждым годом повышаются в цене: тут играет роль романтика.

– А-а, – в один голос сказали покупатели, – вы нас считаете романтиками!

– Что ж, я согласен, – улыбнулся Пухов. – Василий Иванович прав.

– Конечно, я прав. Возьмём Писарева; за него в своё время платили до ста рублей, а теперь он стоит гроши, и чем дальше, тем дешевле. Или Флеровский «Положение рабочего класса» – книжка стоила двадцать пять рублей. Этот разряд книг дорог, пока нет второго издания, – они романтизмом не заражают.

Вошли в лавку Балакин и Картонов.

– Свет ты мой! – всплеснул руками Василий Иванович. – Вот для кого давно книжечку берегу. – Касьян Ильич, почтеньице, обогрей старого книжника.

Антиквар нырнул за «престол» вниз и глухо кричал оттуда:

– Ах, где они, разлюбезные, тысяча им годов жить!

– Ты точно из-под земли достаёшь книги, – засмеялся Балакин. Покупатели обступили Картонова.

– Что новенького, Николай Петрович?

– Что же, друзья, новенького… – Картонов поднял глаза вверх, почавкал, тряся бородой – новенького сколько угодно. Например, у Лазурки появилось чуть ли не всё собрание гравюр Рембрандта, сообщаю по секрету. У меня, конечно, есть полный Рембрандт, потому я не гонюсь.

Все точно застыли, поражённые новостью. «Лазурка славится мотовством, у него всегда редкие вещи идут за бесценок. Надо бежать к Лазурке, – думал каждый.– Надо поспеть впереди другого, незаметно уйти».

– Потом, припоминается мне, есть у Лазурки Озеров с гравюрами. Ещё «Новейшая рисовальная азбука» Соколова. Эта редкая штука не указана даже у Ровинского.

Картонов покосился на дверь. Пухов уже выскочил из лавки, за ним спешил другой. Василий Иванович не замечал, что лавка пустеет. Он показывал Балакину книги, напечатанные Августом Семеном.

– Вот тебе всё гравированное изданьице, шестнадцать односторонних листов текста и рисунков (по одному на каждом). Обложечка с гравированным бордюром. Или вот ещё стихотворения Баратынского. Смотри, какой прелестный ажур на страницах, а титульный лист!.. Будто из тончайшего серебра – весь сияет.

– Постой, – сказал Балакин, – на этом листе примечательна виньетка, резанная на дереве. Это была новинка – возрождение гравюры на дереве: только она, ты заметь, кажется хвастливенькой, утверждающей себя. Вот уже сказывается переходная пора от ампирной русской книги к другому, романтическому, стилю. Ампирная книга была просто, изящно и стройно вылитой. Издания Семена меня привлекают строгой чеканностью строчек, красотой петита – словом, совершенством печати.

Вмешался Картонов.

– Я больше люблю книги сороковых годов. Покажи, Василий Иванович, что-нибудь из весёлых. Гоголевское время – вот прелесть-то! – проговорил и, юркнув в другую комнату, засмеялся.

– Вы куда же, ваше превосходительство, на ящике поехали? Всё за Субботиным гонитесь? А отчего вы Прохорова не возьмёте у старика Николая Ивановича?

– Есть? Когда видели? – вытаращил глаза на Картонова историк.

– Третьего дня видел. Сказал, что вам нужен, наверно, бережёт.

– Спасибо, сейчас пойду.

– Да, вот ещё, – вспомнил Картонов, – есть у старика интересная вещь «Открываемая Россия, или Собрание одежд всех народов, в Российской империи обретающихся» – величайшая редкость и не дорого.

Действительный статский советник молча слез с ящика, взял три отобранные книги и, взволнованно попыхивая, заторопился к Василию Ивановичу.

– Ах, чёрт возьми! – сказал, мигая глазками, подслеповатый. – Почему вы сами не взяли этой величайшей редкости?

Картонов занял место статского советника.

– Я дороже пяти рублей не плачу ни за какую книгу, а старик просил больше.

Подслеповатый с изумлением ещё чаще замигал глазами.

– Я, пожалуй, обгоню генерала. Это интересно.

– Да, да, советую.

Картонов бросил весёлый взгляд на уходившего подслеповатого и подозвал Никифора.

– Ну-ка, раскинь добро, я взгляну, а ты после приходи чай пить к «Семи Симеонам».

Никифор засмеялся.

– Рад стараться, учителю всё покажем. Вот здесь отборный товар.

– Вот прекрасно; я люблю так, чтобы ни один слепой чёрт не совал носа. Зови сюда Балакина; мы, пожалуй, здесь поживимся кое-чем.

XXIII

К Луке пришёл гость, Митя – Митя-философ, как называла его молодёжь того кружка, в котором Лука и Митя были деятельными членами.

– Ох, устал же я сегодня, не то, что ты, беспечный друг! – говорил Митя, садясь рядом с Лукой на койку и закидывая за уши пряди чёрных волос.

– Ты беспечен, как ленивый монах богатого монастыря.

Лука покосился на сияющие скулы Мити и спросил:

– Разве философия не даёт тебе достаточно отдыха?

– Подожди, не тронь меня, пока я перестану быть тем, что я теперь.

Шутливо ворча один на другого, они смотрели на мальчиков и Сашу, занимав-

шихся у стола немецким языком. Саша на правах учительницы пощёлкивала мальчиков пальцем по затылку и приговаривала:

– Ленивцы, дурни, когда вы будете хорошо учить уроки! Я вам...

– Вот так их, так! Это самый совершенный метод воспитания нерадивых мальчишек, – сказал Лука.

– А вы молчите, философы, бездельники, искатели счастья и истины!

Митя поднял руку.

– Вот насколько сильно в этой молодой особе чувство долга! Исполнение долга в конечном счёте ведёт к счастью. Однако импульс к счастью и чувство долга – изменчивые факторы: что теперь выполняется против воли, с усилием, с надрывом (что мы замечаем у этих несчастных мальчишек), то впоследствии совершается непринуждённо, легко, радостно.

Лука опять покосился на скулы Мити: они ещё больше сияли.

– Мудрец Фалес говорил: самое приятное – это поступать по своей воле, но, по-видимому, своя воля – мираж, а есть только чувство долга.

– Верно, – кивнул Митя. – Будь моим учеником, тогда познаешь истину и умрёшь в бедности, как умирают подлинные философы.

– Хорошо, а обладаешь ли ты правильным методом исследования, учитель?

– Конечно, о чём говорить! Я вполне им обладаю, но иногда я люблю говорить, как Фалес. Если скажу: в жизни прежде всего есть творчество, ты верь, вполне верь – это истина, не требующая доказательств. А что касается истины, то к торжеству её свойственно стремиться каждому человеку. А кто долго, усиленно и правильным путём ищет истину, тот бывает способен преобразовывать умы и сердца людей.

– Позволь поправить тебя, учитель. Прежде всего – это радость познания. Шиллер говорил: человеку стоило бы родиться на свет только для того, чтобы прочитать двадцать третью песню Илиады. – Лука взглянул на мальчиков. – Вы, ребята, возьмитесь за Гомера. Саша, ты разбавляй немецкие уроки Одиссеей. Между прочим, Гомер первый из людей высказал желание, чтобы вражда исчезла из среды богов и людей, за это ругал его Гераклит, проповедовавший преданность истинной природе вещей. Джиордано Бруно, непоколебимо веривший в познавательные способности человека, следовательно, будучи противником эмпиризма и крайнего скептицизма, на костре прославлял божественную любовь к истине. Счастливее были Руссо, Дидро. Их время было изумительным праздником плодородия научной и философской мысли. Влияние их на людей было огромно. Наконец, последнее – это наше убеждение в том, что современное общество заключает в себе начало своего разложения, как и те силы, которые осуществят социальную революцию.

Саша и мальчики с затаённым любопытством ждали продолжения разговора. Грише было досадно; он не понимал всего, о чём говорили Лука и Митя. Но всё это возбуждало жажду знания, вселяло какое-то тёплое чувство к тем людям, событи-

ям, о которых говорилось. Лука задавал загадки и уроки. Гриша решал и учил, вызывая улыбку одобрения у учителя. Колька был более рыхлый, спокойный; у него не было такой жадности всё знать, как у Гриши.

Лука каждый месяц составлял им план занятий. Случалось, они вместе с Сашей устраивали экзаменационные вечера; участвовали в них и Матвей Иванович, Анисья. Обычно экзамены кончались спором между Сашей и Лукой. Спорить с Лукой было обидно, но в то же время это оказывало большую услугу. Козырев посмеивался, глядя на них, нередко одобрительно говорил:

– Ясное дело, уела вас грамота, ребятки.

Иногда ему почему-то казалось, что Лука непременно когда-нибудь женится на Саше. Он подмигивал Анисье, думая сказать ей по секрету свои соображения, но Анисья обычно дремала с зажатой в руке табакеркой.

– Ты меня проводишь, Лука? – спросил Митя, вспомнив о том секретном деле, по которому он пришёл. Надо было условиться о дне и часе приёма нелегальной литературы, заготовляемой Корытовым. Одевшись, Лука показал простенькую светлую обложку с оглавлением: «Стихи и рассказы Добрякова». Митя не понял. Лука ткнул его в бок и пошёл, надевая на ходу шапку. На лестнице пояснил:

– Бывает, когда серьёзные деловые разговоры облекаются в шутливую форму, и от этого дело часто выигрывает. Вот и мы пламенные боевые статьи облекаем в добряковскую обложку. Пусть она будет спасительным панцирем для каждого пропагандиста. В четверг к двенадцати часам книжка будет отпечатана и связана в пачки. Приезжай на подводе.

– Слушаю, милый друг. Дай я тебя поцелую на прощанье, будем надеяться, что всё обойдётся благополучно.

– Да, да я проводил бы тебя далеко, далеко, если бы не надо было идти на совет к Балакину. Приехал из-за границы сынок с зрелыми мыслями – хочет перевернуть вверх дном отцовское дело. Сейчас у них совещание, и мне надо пойти туда. Между прочим, сынок привёз из-за границы интересную вещь...

– Слушай, ты проводи меня немножко, – потащил Митя Луку, – поговорим.

– Ладно, идём. Так вот, привёз он большую серию рисунков, в них отображены революционные события за весь пятый год. Балакин решил переснять рисунки и составить художественный альбом.

– Конфискуют.

– То-то и есть, что конфискуют, а может быть, и не конфискуют. Хочется человеку рискнуть. Это очень соблазнительно. Я его понимаю: такой богатый исторический материал, зачем ему погибать?

– Да, да, зачем погибать, – повторил Митя, – материала много гибнет. Смотри, одна улица чего стоит: видишь, идёт влюблённая пара, у обоих в глазах радость жизни; вот под фонарём проститутка торгуется со скупым старичком. Мимо них идут домой, закрывши свои лавки, купцы, приказчики, – упражняются в арифметике, подсчитывая свою выручку. Вот пожилые интеллигенты, они разговаривают

скорей всего по поводу прочитанных статей в «Русском богатстве» или «Вестнике Европы». Вон спешит солдат на проверку, прощается с краснощёкой горничной. Тяжело шагает мастеровой, звенит шпорами офицер. Ворчит на кого-то старуха, – вероятно, на невежу чиновника, нечаянно толкнувшего её локтем. Не думает, старая, толком. Чиновник, может быть, одержим великой заботой, у кого бы перехватить пятёрку до жалованья. Совсем не то дело вежливые люди неопределённых профессий, – собственно, их профессия – быть вежливыми. Самые неторопливые и самые почтенные люди на улице – гуляющие для своего удовольствия, эти живут на проценты с капитала. Все они блещут житейскими добродетелями, унаследованной моралью – подчинение себя принципам миропорядка. Вот у ворот храпит куча лохмотьев.

– Постой, – остановился Лука, – это несомненно философ. Ты не признал своего собрата; я уверен, что он глубоко презирает всю эту унаследованную мораль, о которой ты говорил, – стыд, жалость, благоговение. Тем более он презирает цель всякого существа, состоящую в развитии его природы с её конечной формулой – развитие жизненных сил, наиболее полное и гармоничное.

– Ты шутишь, Лука! Это существо находится в экстазе; оно усердно молилось богу виноделия. Я думаю, скоро это может перейти в небытие.

– Пошли вы, черти, – вдруг проворчало существо в лохмотьях.

– Ну вот, я говорил, что это философ, – сказал Лука. – Впрочем, довольно шалить. – Он напомнил Мите о четверге и повернул к дому.

Вспомнился альбом. «Зачем я рассказал о нём. Митя – свой человек, но всё же не надо было говорить». Забежал на минутку в свою комнату, потом пошёл к Балакину.

Саша закончила занятия с мальчиками, выбежала в переднюю, балуясь, ударила Луку по плечу.

– Филос-нос.

– Ах ты, задира... тревожишь ты серьёзного человека... хочешь, волчком пущу?..

– Нет, нет, – смеялась Саша, отбиваясь от рук Луки. – Я тебе хочу сказать...

– Ну, что сказать?

– Вот сейчас... это секрет... Ты возьми меня когда-нибудь на ваши собрания, ей-богу, хочется. Ну, милый Лука! – Саша преданно заглянула Луке в глаза.

– Ладно, как-нибудь... потом поговорим, – сейчас меня ждут деловые люди.

– Не обманешь?

– Нет, нет.

Саша проводила Луку до дверей кабинета.

– Я буду слушать, о чём там толкуют.

Сын и отец стояли посреди кабинета, спорили, запальчиво прерывая один другого. Копосов ёрзал, сидя на диване, крутил усы и горящим взглядом следил за дядей и Павлом.

– Что ты мне толкуешь о знамении времени, о новой книге, гениальных художниках! Твои художники-графики живут мечтательным эстетизмом французов восемнадцатого века. У них был Ватто – салонный, изящный художник, ему и подражают твои графики; да ещё больше того: они подражают его ученикам, Ланкре, Патеру.

– Ты не прав, отец, не прав, ты хочешь опорочить всю нашу современную графику ссылкой на Ланкре, Ватто, как будто бы подражать им постыдно. Ватто был гениален – это одно, а другое – то, что на наших художников имели влияние, скорее всего, Бердслей, Гейне, Кандеру, стилистическое дарование этих мастеров творило чудеса; ими увлекается весь мир. Неужели ты не признаёшь тонких, изящных рисунков Сомова, Бакста, Лансере? Можно ещё назвать ряд имён, – все они создали небывалый расцвет русской графики.

– Ох-х, графики!... – заскрежетал Балакин, крутясь по кабинету. – В этом наше благоговение перед чужим, своя нищета. Русские вечно грызлись между собой, деля, разрывая надвое свою душу. Одна половина исступлённо липла к русской старине, другая с восторгом тащила из-за рубежа новые скрижали да поношенные прелести. Сколько хлама натащено! Я спрошу тебя: где жизнь, где отображение её у твоих художников, где искания? Они бегут от жизни как от чёрта, они подобны людям, которые видят только восход и закат, но не видят того, что происходит днём.

– Позволь, отец, ты говоришь как публицист, а не коммерсант.

– У меня достаточно и коммерции.

– Нет, для коммерсанта всё равно, что ни производить, лишь бы был спрос. Благородство в нашем деле вещь относительная: часто она мешает даже росту предприятия. Надо брать пример с Запада, где всё идёт естественным путём, просто, ровно, в строгом соответствии с требованием рынка.

Лука заметил, как при последних словах Павла Копосов сочувственно блеснул глазами.

– Вы ведь, дядюшка, увлекались западной книгой, – сказал Копосов, – Бодони, Дидо ставили в ряды гениев.

– Мало ли я чем увлекался! Я умел восторгаться чистотой печати Альдинов, очаровательным итальянским курсивом Франческо из Болоньи. Умел ценить красоту, величавость плантеновских фронтисписов и иллюстраций или изящество эльзевировских шрифтов, но это ничуть не портило моей самостоятельности, не портило, я больше всего думал о том, что могло бы искоренить у нас барство, холопство и невежество. Впрочем, не только думал, а и работал.

Павел пожал плечами.

– Ведь и все издательства работают на пользу просвещения.

Это была обида, Балакин не мог простить её сыну. Он устало, с потемневшим лицом, опустился на стул и презрительно махнул рукой. Павел вдруг покраснел и виновато сказал:

– Прости, отец, я не то имел в виду, я не сравниваю с тобой разных Холмушиных, Пропперов – это низший вид.

– Позвольте мне... – вмешался Лука. Ему захотелось высказать свою давешнюю мысль о празднике плодородия, но тотчас передумал: это не убедительно. Сказал другое: – Нынче у нас, насколько я знаю, выявилось два основных общественных течения: одно течение возглавляют люди, довольные тем, что дал пятый год, другое течение – подлинно революционное – видит в первой революции только начало классовых битв. Оно не может и не должно прекращать борьбу за будущую социальную революцию. – Лука на секунду умолк, подумав: «Эх, куда я хватил, это не для них». – Три года работали виселицы; плотно набивались остроги и тюрьмы. Дороги и теперь заполнены ссыльными. Ещё пахнет дымом погромов и кровью расстрелянных. Вот вам страничка из кровавого тома истории человечества. Во имя чего, во имя кого всё это делается? Во имя правопорядка. Но что такое правопорядок? Этого я не скажу, чтобы не возбудить у вас опасных вопросов о смысле жизни, которые приводят нынче сотни молодых людей к самоубийству.

– Не страшно, мы читали Вейнингера, – хмуро сказал Копосов.

Павел ходил, плотно ступая, взад и вперёд, ворчал:

– Публика устала от сумятицы.

– Публика! – горделиво тряхнул головой Лука. – Не многие из вашей публики мучаются жгучими общественными вопросами. Большинство же потонуло в разгуле самого бесстыдного цинизма. Книжный рынок отражает этот смак самых низменных страстей.

Балакин оглядывал сына, Копосова и Луку, сравнивая их между собой. «Модники – все модники, и Лука тоже».

Копосов, будто угадывая, что Балакин думает о нём непохвально, деловито заметил:

– Я считаю, дядюшка, крайне нужным рекламировать ряд книг.

– Конечно, я хотел об этом говорить, давно бы надо подумать об «остатках». Кстати, я вам покажу иллюстрационный материал к новой серии. – Балакин пригласил всех к столу.

XXIV

Он задумался о своих помощниках: каждый из них тянет в свою сторону. Какая может быть от этого польза делу? Он старался влиять на сына, на Копосова, на Луку, и, по-видимому, ничего не вышло. «Каждый чёрт по-своему верует». Всё-таки Лука надёжнее сына и Копосова, несмотря на всё его левое фармазонство.

Балакин гордился новыми изданиями. Они должны были, по его мнению, воскресить заветы гениальных типографов. Книга, в которой сочетались бы изящество, простота, благородство, чувствовалось бы высокое искусство построения её, – вот что надо создать для русского читателя. Но хватит ли у него одного сил, уменья. Опять недовольно думал о помощниках. Тотчас вспоминал Бескервилля, Дидо, Морриса, печальную судьбу своих русских издателей: Новиков кончил

Шлиссельбургской крепостью, Плюшар и Смирдин разорились, умерли в нищете. «Неужели этот хитрый старик прав? – вспомнил он слова Суворина. – Неужели мне не удастся выполнить одному это дело? Нет. Упорства, сил хватит, поможет Лука. Так или иначе, а меня с начатой работы не собьёт ничто. Луке надо прибавить жалованья, как-то задобрить, больше расположить к делу». Когда-то во время разговора после увольнения Тузова он намерен был поставить Луку старшим. Лука отказался, тогда всё же надо было прибавить ему жалованья. Взгляды Луки не понравились тогда Балакину, и отказ его от старшинства рассердил. Дело его – хозяйское, а всё же это была ошибка.

Через день после разговора со своими помощниками он в «Скорлупе», во время чаепития приказчиков, позвал в кабинет Луку. Тот только что вернулся из типографии, где сдал Мите нелегальную литературу. Митя приезжал за литературой на автомобиле, одетый франтом, с сигарой в зубах. Он и был выдуманный Добряков, получивший якобы свою книгу – две тысячи экземпляров. Лука был доволен удавшейся работой, беззаботно вошёл в балакинский кабинет и вдруг вспомнил: ведь он забыл уничтожить бракованные листы нелегальной книги. Остановился у двери, схватив себя за голову.

– Ты чего, братец, мигрень, что ли? – сказал Балакин. – Это женская выдумка, – говорил Балакин, хмуро глядя на Луку. Утром он вынужден был вести неприятный разговор с женой. Разговоры были с женой почти ежедневно. Словом, дома жить стало невыносимо. Ещё сейчас в ушах звенят вопли жены: «Образумься, Касьян, опомнись, постыдись людей».

– Ужасная оплошность, но ничего, исправлю, – спокойно уже сказал Корытов, подбежал к телефону, стуча сапогами и откидывая с широкого лба космы нависших волос. Взялся за трубку и тотчас раздумал звонить. Решил съездить в типографию и всё сам сделать.

– Засуетился, разбойничья твоя башка, напутал что-нибудь!

– Налажу, ничего. – Лука присмирел, садясь к столу на деревянное кресло. – Зачем звали-то?

– Зачем?.. Хочу узнать твоё мнение о наших новых художественных изданиях. Материал ты видел? – Балакин нарочно сказал «о наших», намекая на сотрудничество Луки. – Я рассчитываю на твоё усердие в деле. Выдам вознаграждение за работу. Только как ты смотришь на мою затею? Будь правдив, да, да, хлеб-соль ешь – правду-матку режь. Постой, Копосов вот как-то странно себя ведёт. Юлит, финтит. У тебя ничего с ним не произошло?

Лука зорко взглянул на хозяина.

– Что же такое? Мы с ним так... прохладно относимся друг к другу. Иногда он покрикивает на меня, как старший, а сегодня был особенно вежлив, почтителен, даже сигарой угостил.

– Ну, ничего, мне показалось в нём что-то лисье. Впрочем, вздор всё это, начнём о деле.

– О деле так о деле, – сказал Лука, поглаживая рукой выпуклый подбородок. – Я новый материал видел. Взгляды ваши знаю, но, простите, эти ваши взгляды на искусство, на графику тонкие модные искусствоведы и эстеты назовут отсталыми. По-моему, особенность ваших взглядов – это своеобразный романтизм, окрашенный поисками самобытности. Ведь понятно, мне по крайней мере, что ваша затея художественных изданий есть плод дружбы с Картоновым.

– Не совсем. Я давно думал о таких изданиях.

– Думали, но как у вас всё в конце концов сложилось? Какое-то влияние Картонова, этого маньяка, сумасшедшего романтика, несомненно сказалось. Я позволю себе сравнить ваши житейско-общественные и политические взгляды с тем, что вы задумали издать. Вы начали свою издательскую деятельность как народник, а дело постепенно вырастало и вросло в капиталистическую мельницу. Благочиние народнических взглядов почти не страдает, однако Павел Касьянович приехал бить эти взгляды?

– Дурень он, – сумрачно буркнул Балакин.

– Дурень не дурень, а, объективно рассуждая, Павел Касьянович прав. Вы хотите облагороженного, грамотного мужика, мирного рабочего, чувствительного интеллигента, деятельного, здоровенного промышленника и притом добряка – это ваш идеал, простите, но идеал фантастический. Это по душе всякому буржуа, на самом-то деле всюду жестокая борьба. Вы не хотите её замечать, потому что вам легко всё далось. До барства вы ещё не доросли, а сынок ваш дорастёт. Это очень будет хорошо.

Балакин вскочил, ударяя кулаком по столу, лицо его дрожало:

– Врёшь! Не может этого быть, ты говоришь мерзости!

Лука поднял на хозяина покрасневшее, взволнованное лицо и с торжеством засмеялся.

– Не вру, это вы увидите. А разве мало новых господ? В вашей душе святая Русь. Вы за самобытность, за чистоту русской жизни; потому вам хочется новых Островских, Гоголей, Агиных и Боклевских, чтобы обличили, отсеяли нечисть. На святой Руси всегда святость и разбой на одной постели спали и ужились ещё до сих пор. Если то и другое смешать, получится нечто ладное... Я думал о ваших новых изданиях и пришёл к такому выводу: над ними стоит хорошо поработать. Необходимо издать и иллюстрировать революционных писателей. Иллюстрировать превосходно.

Лука умолк, оглядываясь на стук двери: на пороге стоил Копосов с поднятыми вверх руками.

– Дядюшка, гости, полиция.

Лука дрогнул и кинулся к телефону.

– В типографии тоже, – проговорил с запинкой Копосов.

Лука повесил трубку, посмотрел на Фёдора, тот вильнул в дверь, крикнув:

– Да-с, я пойду, дядюшка.

«Донос, – подумал Лука, – это не кто иной, как Копосов, – очевидно, ему надо было убрать меня. Немного опоздал донести. Митя увёз всё. Лишь листы...»

– Ах, чёрт возьми, – сказал Балакин, – давно не были гости, здесь взять им нечего. Неужели у тебя, Панкратьич, в типографии опять?

Лука досадливо поморщился.

– Листы нелегального издания забыл уничтожить.

– Ай-ай, – застонал Балакин, – смерть ты моя, Лука!

Ему тотчас вспомнились все неприятности последних дней: вопли жены, разлад с сыном, сомнения в своих силах, а теперь ещё беда: арестуют Луку, лучшего работника, сам ещё будешь в ответе. Вдруг он с гневом подступил к Луке, точно на него хотел свалить всё, что его тяготило.

– Ну и сядешь в тюрьму, чёртов политик. Сгноят тебя там... И садись, если добивался.

– Копосов донёс: он как-то пронюхал, – спокойно сказал Лука, опять думая о том, что Митя вовремя увёз литературу. – Я не боюсь, дело сделано. Вы не обижайтесь за неприятности: отработаю, если вернусь; только как ваш альбом?

– Ах, альбом, но ведь цензура пропускала «Иллюстрасион» сюда и в пятом году, что же тут мне страшного? Ну иди, отдавайся или изворачивайся.

Балакин отошёл к окну.

– Прощайте, – сказал Лука и пошёл. В дверях встретил полицейского.

– Здесь Корытов Лука?

– Я Корытов.

Балакин повернулся от окна, пошёл к двери, думал: «Подлец Федька».

После обыска поехал к Наде к Пяти Углам. Надя ждёт. Они собрались сегодня в театр. Час назад Балакин послал ей записку – одно слово: «Я опоздаю».

– Что случилось? Вероятно, что-то нехорошее? – спросила Надя, встречая Балакина в передней своей маленькой квартиры.

Балакин отряхнул с пальто капли дождя, погладил усы и стал раздеваться.

– Сейчас я расскажу, какая беда меня задержала, но, может быть, мы ещё успеем в театр?

Он взглянул на часы, беспечно улыбнувшись.

Тут только заметил, что Надя в новом капоте из полосатой фланели, – потрогал шелковую кисть на конце плоской берты и похвалил:

– Очень мило.

– Мило? – прищурилась Надя. – Я рада, если тебе нравится. Я думала, ты не заметишь, в этом была бы немалая обида. – Она взяла Касьяна за руку и повела в столовую.

– Ну рассказывай, что у тебя случилось; как жаль, что я не бываю в «Скорлупе»; вот уже две недели дома сижу. Постой, сколько же мне ещё так сидеть – три месяца... Но там с ребёнком...

– Вот глупенькая, зачем вперёд заглядывать? Ты же работаешь дома, не скучаешь?

Он поздоровался с Анной Васильевной, матерью Нади, занятой шитьём на ручной машине. В столовой и смежных комнатах топились печи.

– Конечно, не скучаю, на четверг звал ты кого-нибудь?

Наде очень хотелось, чтобы у неё раз-два в неделю собирались лучшие друзья Балакина. Вчера они как раз говорили об этом, наметили дни, перебрали друзей, с которыми можно вести увлекательные разговоры о книгах, искусстве, новостях сезона. Вчера всё это казалось делом ближайших дней, а сегодня…

Пока ехал к Наде, он думал: прогнать или не прогнать сына и Копосова? Оба они были ему противны. Лука вернётся нескоро. С кем работать? Позвать снова Тузова и вернуть «Скорлупу» к тому положению, какое было лет шесть назад? Или оставить всё здесь на руках Павла, а самому с Надей уехать в Москву? Чем ещё пожалуют его в Управлении по делам печати за проделку Луки. Словом, трудно сразу решить.

– На четверг, да, да, я ещё никого не звал, не до того было. – Балакин сел на диван и задумался. Потом устало взглянул на Надю. – Обыск был, арестовали Луку. Доносы, ссоры разбили меня всерьёз. Дома бывать тяжело, дело разваливается.

Надя поспешно села рядом с Балакиным на диван, её беспокоила больше всего домашняя жизнь Касьяна. О деле она вовсе не думала. Какой же может быть развал? Это с досады сказано.

– Тебе следовало бы отдохнуть, съездить куда-нибудь, – робко посоветовала Надя.

– Это резонно. А я думал этих подлецов – сына и Фёдора – прогнать. Тогда как я поеду? Кто будет вести дело? Я их прогоню, завтра же прогоню, – топнул ногой Балакин, – и ни копейки не дам.

– Тогда все будут врагами. Хорошо ли это?

– Что поделаешь? Приходится враждовать!

– Нет, надо как-то иначе.

– Как иначе? Ты понимаешь, как они мне вредят? Копосов так схитроумничал, что я поставлен теперь перед необходимостью или делиться с ними, или входить в соглашение. Они уверены, что я иначе не сделаю. А я возьму да и сделаю… Впрочем, завтра будет виднее. Поедем всё же в театр. Отойти от всего хочется.

Балакин потряс кулаками:

– К чёрту всё, всё.

Надя молча встала и пошла одеваться, но вместо того, чтобы идти в свою спальню, она подошла к окну и задумалась, сжимая обеими руками кисти берты. Было неприятно, что Касьян груб и сердит. Постоянно у него дела, неприятности, заботы. Вспомнила Павла, Копосова, Луку, Елену Ивановну, – все эти люди мешают жить счастливо, беззаботно. Потом вспомнила о себе: может быть, она неправильно всё понимает, может быть, из-за неё больше всего неприятности Касьяну? Да нет, тут совсем другое. Тотчас с повеселевшим лицом она повернулась к Балакину; он исподлобья наблюдал за ней, – хотел угадать, о чём она думает. Надя

подошла к нему, погладила по голове, заглядывая в глаза. И, радуясь тому, что угадала то главное, от чего он стал груб и сердит, рассудительно сказала:

– Я знаю, сегодняшнее событие расстроило какие-то твои планы, но ничего, ты справишься помаленьку, в самом деле…

Наивность, сердечность Нади растрогала Балакина.

– В самом деле, – засмеялся он, – ты разумно сказала, очень разумно и мило, но мы опоздаем в театр.

– Сейчас, сейчас, – заторопилась Надя, – я живо оденусь.

Балакин подсел к Анне Васильевне.

– Когда-то в детстве я любил сидеть около нашего деревенского швеца Ефима. Весёлый был дед, знал много былин. Хорошо запомнилась мне былина о «Батыге»:

Как издалеча было, из чиста поля,
Из-под белой берёзки кудревастой,
Из-под того ли с-под кустика ракитова
Выходила турица златорогая,
И выходила-то турица с турятами.
Ой, расходились туры да во чистом поле,
И случилось турам да мимо Киев-град идти.
Они видели под Киевом чудным-чудное,
Видели под Киевом дивным-дивное.
По городовой стене ходит девушка,
Ходит девушка, душа красная,
А на руках она носит книгу Леванидову,
И не только читает, да вдвое плачет,
И тому чуду туры подивилися…

– Хорошо пел старик, – качнул головой Балакин и задумался.

– Это про вас будто говорится, – сказала Анна Васильевна. – Вы тоже плачете над книгой. Отчего бы вам плакать, вздорить? Помиритесь…

– Легко сказать! Тут дело в том, как издательство дальше вести. Не знаю. Надо подумать. Трудно сейчас решить.

Копосов не признался Балакину, когда тот заговорил с ним о доносе на Луку. Признаться не входило в его расчёты. Он даже обиделся на Балакина.

– Вы, дядюшка, всегда готовы на меня возвести любую вину. Есть ли у меня время заниматься доносами? Ведь это трагедия! У меня и без того этих трагедий-то достаточно.

Балакин начинал сомневаться. Павел молчал. О доносе он и не подозревал, только видел, что отец о чём-то озабоченно думает, ни с кем не говорит. Это было хорошим признаком. Вероятно, отец колеблется, понемногу отступает от своих взглядов… и пока таится.

Балакин действительно понемногу отступал от первоначального решения отделиться от сына и Копосова. Все эти дни он был недоволен собой и служащими. Работа шла вяло, точно все чувствовали, что тому делу, какое было до сих пор, приходит конец. Надо было решать, что делать, решать скорее и толковее. Балакину хотелось найти удачный случай для начала разговора; поэтому кстати был приезд Филатова. Балакин обрадовался московскому приказчику, к тому же дела в Москве были неплохи. Повел гостя в ресторан, пригласил сына и Копосова. Выйдя из «Скорлупы», Копосов остановил Павла и указал на вывеску.

– Скоро здесь будет написано по-новому: «Балакин и сын», – форсисто сдвинув на правое ухо шляпу, он с довольным видом покашлял, копируя Филатова, который шёл впереди с Балакиным, опираясь на старый позеленевший зонтик.

– Ну и климат у вас здесь, можно сказать – варварский, а у нас ведь в Москве прямо райский воздух.

– Ну-ну, климат тебе не по душе, – сказал Балакин.– Климатом не хвастаем, зато мы умеем больше вас ценить то, чего у нас мало.

Копосов припал к лицу Павла и кивнул на Балакнна.

– Дядюшка, по-видимому, добрее становится – это хорошо.

– Мне всё равно, – ответил Павел, – сомневаюсь я, чтобы он вступил на другой путь.

В ресторане выбрали стол у окна, недалеко от буфета. Балакин попросил себе и Филатову водки и холодных груздей со сметаной, само собой, обед из трёх блюд. Павел и Копосов взяли по бокалу пива. После обеда имели в виду кофе с бенедиктином. Филатов снял очки, погладил усы, бороду, мило взглянув на грузди.

– Ой, какая благоутробная закуска! – протянул руку к запотевшему гранёному графинчику. – А веселиловки, Касьян Ильич, на всех мало, климат способствует выпить рюмки по две.

– Ты услаждайся. Я больше одной не пью, как ты знаешь, а молодые люди водки не любят.

– Это крайне некультурное средство увеселения себя, – сказал Копосов.

Филатов выпил и неожиданно спросил:

– За что Корытова забрали?

Копосов пожал плечами.

– Известно, за что – за пропаганду революционную, – отпил из бокала пива, взглянув на Балакина, и продолжал: – Лука и для нашего дела был человек опасный, этого скрывать не приходится. Благодаря своей начитанности он ловко умел кружить голову всем служащим. Особенно мальчишкам. Я не сомневаюсь, что всех мальчишек он сделал бы революционерами.

– Ишь... ты, – удивился Филатов. – Ну и времена настали, доложу я вам. Взять хоть наше книжное дело. Раньше была тишь да гладь. Как-то попросту работали, а нынче у нас в Москве издательства одно на другое прямо-таки змеиный шип пускают, всякому хочется больше ухватить, да уменья ещё мало.

– Да, да, – вдруг задорно сказал Балакин, – уменья мало. Знаю я их всех наперечёт – кто чего стоит. Вот я надумал дело расширять.

«Как не расширить, – подумал Филатов, – доходы малы, этакие два волкодава выросли, жить хотят, да и сам другой семейкой обзавёлся».

– Надо увеличить до пределов возможного круг изданий, – говорил Балакин, – но работой, ловкостью своей надо поразить в самое сердце простодушных стряпух-издателей; поэтому придётся отступить немного от старых правил в работе. – Балакин взглянул на Павла, Копосова, вспомнил свои разговоры с Лукой и сумрачно добавил: – Я не каюсь в том, что говорил одно, а делаю другое. Так суждено человеку, который привык думать о себе лучше, чем он есть на самом деле.

Павел доброжелательно улыбнулся, смерил отца глазами и сказал:

– Зачем такой рационализм: возвышенный взгляд – вещь приятная, но в общем ты прав, надо приветствовать твоё согласие перейти на европейский путь работы. Позволь мне, отец, сегодня же познакомить тебя с теми данными, какие я привёз из-за границы.

– Браво! – крикнул Копосов. – Ведь это что? Ведь русская смекалка и заграничная практика дадут изумительные результаты! – Он пьянел от восторга, глядел то на Балакина, то на Павла. – Поразительные результаты! Ну, дядюшка Павел Касьянович, за большое дело!..

Филатов с хитрой усмешкой поглаживал усы и бороду. Намечалась добрая российская попойка.

– Ну, ну, изумруды книжные, – проворчал Балакин и указал на буфет, – распоряжайтесь....

Копосов поманил пальцем официанта. Павел думал о большом деле, дающем потоки дохода и европейскую известность.

А. П. Чапыгин*

Из воспоминаний

Он пишет мало, два-три рассказика в год. В литературном мире его знают, хотя никто по-настоящему не помнит его фамилии – Чаплыгин или Чапыгин. Критики и рецензенты глядят на него холодно, гордо, а то просто вовсе не замечают – какой-то начинающий из мастеровых, мужиковатый, лет сорока. Рассказов из жизни городской бедноты набралось десятка полтора, он подыскивает издателя.

Двое издателей ему сказали: «Воздержимся».

Третий сказал: «Подождём-с».

Четвёртый решил подумать...

Он ещё не бросает работы в живописной мастерской, но большую часть дня проводит как ему вздумается – ни дома, ни в мастерской, а у своих приятелей, знакомых или в музеях и театре. Он тщательно собирает всё, что ему нужно как писателю. Память его изумительна. Стоит ему прочитать два раза любое стихотворение, – и он навсегда его запомнит от первой строчки до последней. Случалось даже так, что, прослушав какую-нибудь оперу, он мог тотчас пропеть её целиком, только голоса у него никакого нет. Бывало, запоёт песню «варяжского гостя», и кажется, что поёт какая-то древняя старуха. А петь он любил, особенно в лесной избе после охоты, когда каплет с крыши, а в избе ярко пылает каменка.

Мне вспоминается петербургское лето, сборы в деревню, мы с Алексеем Павловичем ходили по оружейным магазинам, покупали всё необходимое для охоты, а главным образом приглядывались к новинкам.

В магазине «Общества охотников» купили охотничий рог, понравившийся Чапыгину тем, что был лёгок и звучен.

– Хорош, – сказал он, – это подарок Рыжке и Кузьке. Марья пишет: волки собачек, слава богу, ещё не съели, а ты, Олёша, привези мне плат да кофию к празднику. Кофейница, – он изобразил свою мачеху Марью, кофейницу.

Приказчик, улыбаясь, смотрел на него, потом предложил новинку: свечи от комаров.

– Смотри-ка, свечи, – с комическим удивлением оглянулся на меня Чапыгин. – Взять, что ли? Комары нас здорово донимают в лесных избах. От дыма забьются, подлецы, в щель, а потом вылезают. Ладно, возьмём свечей. Попробуем новое средство, я плачу.

Денег у него тогда было довольно. Он получил аванс из «Русской мысли», где начинали печатать его «Белый скит», да издал выгодно книгу рассказов и считал себя богачом. На нём был новый костюм, модный галстук, на голове панама, казацкие усы слегка подстрижены. Приземистая его фигура казалась круглее, пышнее, чем всегда. Когда мы вышли из магазина, он остановился, вынул из жилетно-

* Печатается по: *Черноков М. В.* А. П. Чапыгин : из воспоминаний // Север. Архангельск, 1938. № 4. С. 77–85.

го кармана часы, на этих днях только купленные за двенадцать рублей, и сказал довольным тоном (забывая, что он уже говорил мне об этом):

– Замечательный ход у часов, а те, старые, продал Юревичу за три рубля. Ну вот ещё что: зайди ко мне, посмотри, какой я чемодан купил.

Я пришёл к нему утром, в день отъезда. Жил он в ту пору на Гребецкой улице, в деревянном домишке, занимал комнату в квартире какого-то артельщика. О доме этом отзывался так: «Хоромы кривые, сени лубяные, слуги босые, спаси бог, шатнёт ветер – и всё повалится».

Маленькая комната с одним окном, бедно обставленная, напоминающая жильё старого студента, мне была знакома. Здесь по субботам у него собирались приятели, с которыми он любил провести вечер, любил читать им свои произведения до печати, но обыкновенно субботники эти начинались с шутейных разговоров – на них Чапыгин был большой мастер.

Придя к нему утром в день отъезда в деревню, я удивился беспорядку в его комнате. Все закупленные в дорогу вещи валялись где попало. Алексей Павлович, стоя на коленях, возился со своим новым чемоданом.

– Что ж такое случилось? – спросил я.

– Что случилось? Беда невелика, да видишь, всё переделываю… Посмотрел я на рыночную работу и давай ломать…

– Но мы опоздаем на поезд, когда ты соберёшь свой чемодан.

Он вытер пот с лица, взглянул на часы.

– Поспешим, так не опоздаем, хочется сделать…

Я принялся помогать. Работали долго. Время ещё было в запасе, но, когда кончили, оглянулись, до отхода поезда оставалось не более двух часов, уже обоим казалось, что никак на поезд не поспеть. На наше счастье, извозчик попался лихой и выручил нас.

Когда сели в вагон, Алексей Павлович отдышался и, хлопнув по чемодану, сказал:

– Ну, чёрт с ним, зато теперь вещь, а не хлам, ладно…

В то время, когда я с ним познакомился, он жил очень скромно, даже бедно. Впрочем, он был доволен своим небольшим литературным заработком и спокойно, уверенно шёл к своей цели.

Любил искусство и сторонился того, что могло нарушить, смутить налаженность его души, души художника, поэта; весь строй жизни именно был такой: зимой в городе любимые занятия, развлечения, интересные знакомства; летом – сказочный мир Севера; сумрачные леса, охотничьи тропы, живописные олонецкие деревни и погосты, светлые воды рек и озёр – всё это постоянно поддерживало огонёк поэтического настроения. Особенно он любил деревню, где жил обыкновенно три-четыре месяца каждое лето. Лучшие его произведения зародились там, на родине, под шум вековечных сосен, под крик желны на живописной сыри низин и в тихие очаровательные белые ночи, когда сонно скрипит коростель в гус-

той ржи, облитой медвяной росой, и золотистый свет зари теплится на мшистых крышах изб.

Жизнь северных мужиков была несколько своеобразнее, разностороннее жизни мужиков других областей России, но Чапыгин и не думал идеализировать её, как это непременно сделали бы народники. В его произведениях – «Белый скит», «Лесной пеструн», «Бегун», «На лебяжьих озёрах» – явно сквозит глубокое чувство неприязни к кулацкой верхушке деревни.

Я заговаривал с ним об истоках его творчества, духе и манере письма, но он говорил об этом скупо, только один раз сказал:

– Я, друг мой, не беру материал в таком разрезе, где на первый план выдвигается навязчивый психологический анализ, это мне не нужно, у меня другой приём, – и тотчас начал говорить о том, что такой-то похвалил его рассказ, другой ещё более похвалил.

В деревню мы приехали в конце июня, как раз к началу охоты. Чапыгин, отдохнув с дороги, пришёл ко мне. Был праздник, народ толпился на улице.

– Ага, опять приехал, – говорили мужики, завидев невысокую, плотную фигуру писателя в болотных сапогах, в кожаной куртке.

Он остановился, здороваясь со знакомыми мужиками. Кто-то спросил, каково ему живётся на Зяблом ручье, возле мельницы, небось, она шумит?

– Шумит. Жернова по воде плавают. – И он рассказал смешную сказочку про мельника. Мужики хохотали до слёз.

Вообще он был большой мастер рассказывать забавные истории.

У меня он застал охотника, известного Шарапа. С него, кажется, он писал своего Афоньку Креня. Шарап был большой, рыжий, очень сильный человек, грамотный и бывалый. Я ему как-то дал прочесть рассказ Чапыгина «Бегун». Шарап прочитал не отрываясь, в один присест, и я видел: его что-то поразило.

Когда Чапыгин вошёл в избу, Шарап лежал на лавке, раскинув свои могучие руки, и грозил кого-то зарезать. Он был пьян и мрачен.

– Это кто пришёл? – сказал он, вскинув на Чапыгина глаза. – А-а, писатель. Тоже надо зарезать, ей-богу…

Чапыгин, зная Шарапа, весело рассмеялся, потрогал его за руку.

– Завидую я, Степаныч, твоим рукам, такие ручищи… Ну а за что меня резать хочешь?

– За дело! Обиду ты мне большую нанёс, горчайшую, – Шарап пошевелился, лавка заскрипела под ним. – Как же ты пишешь, – продолжал он плачущим голосом, – как ты пишешь, что какой-то пастушонок кучупатый, шалый человек, Ромаху убил, богатыря Ромаху? Так нельзя…

– А тебе жаль Ромаху? – спросил Чапыгин. – Ну, это вымысел, так было нужно.

– Нет, врёшь, что-то тут не так, – упрямо говорил Шарап. – Не так, а всё-таки и хорошо. Там у тебя кажинный кустик блестит. Я всё помню.

Немного погодя Шарап поднялся с лавки, покряхтел, встряхнулся и подсел к

нам, разговорился, пообещал принести Чапыгину морошки и сводить к Жаровому озеру, где много рябчиков.

Мы застали здесь конец июня, самый аромат лета, душистые, светлые ночи, цветение воды в реках и озёрах, когда смолью течёт лес, когда свежи травы; далеко видны в полях изломы мягких дорог. Над речками трещат синие стрекозы, а по росистым межам с самого раннего утра жужжат дикие пчёлы.

Вот мы сидим поздним вечером на высоком берегу реки у огня и жарим зайца, поджидаем гостей.

Солнце зашло давно, но ещё светло. Горизонт затянут дымом – где-то горел лес. За рекой, над затихшей деревней стоит полный месяц, отражаясь светлым снопом в струях речной воды. Тихо плывут брёвна, их много у берега и кругом островка на отмели.

Через овраг, где белеет пар, быстро идёт какой-то человек, весело посвистывая.

– Это Никиша, – говорит Чапыгин, вглядываясь. – Я посылал его сниматься к Петру Викторовичу.

К нам подходит сухой красивый мужик лет сорока, один из героев Чапыгина, описанный им в «Заломе». Он бросает вверх фуражку, затем, ловко подхватив её, садится возле меня к костру, с необыкновенной живостью сыплет прибаутки:

– Где огонёк, там сват и куманёк. У свата чарка, у кума вина кварта. Ну, вижу, заговенье у вас, мясоед, а я давно пощусь, к вам примощусь, – он весело подмигивает Чапыгину. – Был у глазастого, снялся, день потерял, плати подёнщину, свет Павлович.

Чапыгин посмеивается да отшучивается. Ему нравится этот деревенский бобыль, гонщик брёвен, балагур, бражник, любимец бурлацких артелей, о котором степенные мужики говорили так:

– Бес озорной, шалит весь век, известное дело, – Никиша ещё только родился, горшок солодяги съел.

Никиша кивает головой на белую церковь, виднеющуюся вдали, и говорит:

– Завтра надо попа звать, ребёнка крестить, понимаешь, свет Павлович.

– Понимаю, это значит: ребята твои, а расходы мои.

– Заработано, – настаивает Никиша. – Зря я для тебя снимался? Для чего тебе о пустяках толковать: расходы, расходы… У меня расход – что у Троицкого монастыря, а доход – что у репной пустыни. Ну, ладно, я тебе ещё покажу, как на брёвнах езжу, посмотри.

Никиша вскакивает и быстро спускается к реке показать своё искусство. Через минуту он плывёт, стоя на бревне, размахивает колышком, забираясь на ширь реки.

Чапыгин любуется, говорит как бы про себя:

– Ты знаешь, что такое заломы в порогах? Это горы брёвен. Там Никиша незаменим. Никто лучше его не умеет снять залом.

Мы ходили, обыкновенно, далеко в лес на охоту, вёрст за тридцать и дальше. Я пришёл к нему утром, он уже дожидается. Стоит на крыльце в болотных сапогах, в рядовке, поглаживает охотничий рог, время от времени трубит: Кузька куда-то утянулся, должно быть, за утками по ручью – не дозовёшься…

В избе самовар на столе, на лавке охотничья сумка, винтовка. Марья, мачеха Чапыгина, вынимает из печи хлебы. Стряпуха она неумелая, Чапыгин называет её хлебы «кошельками», учит, как нужно готовить тесто… Уток, тетеревей он жарит сам. Когда он занимается этим делом, приходят старухи, бабы, все хотят попробовать летучего мяска, жареного. Так как он немного сведущ в медицине и наивно верит, будто он что-то знает, к нему заходят больные за советами. Он терпеливо, даже с интересом, выслушивает историю болезни, потом долго толкует о том, что такое человеческий организм, какие существуют средства от той или иной болезни, наконец, посоветует больному какой-нибудь домашний способ лечения, и оба довольны, оба искренно верят в благодетельную медицину.

Мне всегда казалось, что ходьба в лес, охота были для него лишь времяпрепровождением, полезной прогулкой. Он не был страстным охотником, который способен претерпеть какие угодно лишения, только бы найти зверя или птицу. Правда, иногда это бывало и с ним, он легко поддавался влиянию более порывистого охотника и тогда ни перед чем не останавливался.

Я помню, мы пробирались чащей к речке Лужме. Я был впереди. Вдруг зло залаяли собаки за речкой. Я закричал:

– Смотри, Павлыч, собаки медведя взяли, бежим! – И я пустился на гладь к переходу, устроенному сенокосниками.

Чапыгин пролез чрез чащу и, не видя меня, кинулся прямо в речку без всякого перехода, ушёл в неё чуть не с головой, проворно выбрался на другой берег и поспел к собакам в одно время со мной, весь мокрый, запыхавшийся. Но оказалось: я ошибся – собаки остановили не медведя, а барсука, уйти в нору он не мог. Мы его без труда застрелили.

В этот день мы поохотились ещё на уток и пошли к избе деда Чапыгина – Романа Петушкова, куда заходили только мы да ещё один охотник, Иван Петрович Худяков. Изба стояла в таком густом ельнике, что не увидишь её, пока не подойдёшь совсем близко. Мы то и дело перелезали через бурелом, давили ногами чернику, пинали красные грибы, отмахивались от комаров, глядели вперёд. Но вот и изба на бугре – тёмная, старая; крыша, починенная Иваном Петровичем.

Мы повесили на длинные спицы под крышей сумки, ружья и некоторое время отдыхали. Чапыгин устал, это было видно по его лицу, но немного погодя, когда мы, вымывшись в низине свежей водой, сидели у ярко пылавшего костра и вспоминали наши приключения, усталости уже не было, чувствовалась только лёгкая истома в теле. Чапыгин казался мне моложе, веселее, добрее, чем всегда. Он рассказывал о своей поездке в Болгарию – рассказывал, как всегда, с юмористическим оттенком. Я спросил, почему он рассказывает совсем не так, как пишет. Пишет он мрачно и любит это письмо.

– Должно быть, у меня две души, – сказал он улыбаясь и заговорил о том, что построит у Зяблого ручья курную избу из смолистого сушника, будет в ней писать романы и слушать былины стариков.

Утром мы неожиданно встретили Шарапа на торной тропе в бору. Он охотился на тетеревей, было слышно, как в стороне звонко лаяли его собаки.

– Эх, жалко, постоять с вами некогда, – сказал он, – время горячее. – Протянул Чапыгину свою большую руку и кивнул головой: – Приходите в гости ко мне. Ещё скажу: я теперь знаю, кто такой Ромаха, – это твой дед Петушков. Да, здорово придумано. Хочу читать всё, что ты написал, смотри не забудь. – Он торопливо ушёл.

Чапыгин улыбаясь проводил взглядом большую фигуру охотника и тихо сказал:

– Любопытный мужик; ай да Крень, читателем стал.

Шарап, кажется, был в ту пору единственным читателем Чапыгина в деревне, других я не знал.

Спустя несколько лет Чапыгин прославился у себя на родине, но только не писательской деятельностью. Во время Гражданской войны он, живя в деревне, занялся от безделья выделкой овчин. Мужики скоро оценили в нём искусного мастера. Когда Чапыгин написал «Разина» и приехал в деревню, его спрашивали чуть не на каждом шагу:

– Теперь что… при других делах? Овчин уже не делаешь? Такой был мастер и вдруг…

Впрочем, мужики говорили это шутя, они любили Чапыгина.

В годы Гражданской войны он жил в деревне и литературные занятия оставил вовсе.

Нужно было как-то существовать, кормиться, и он занялся выделкой овчин. Позднее он выделывал и кожи, только эта работа была сложнее, хлопотливее, чем выделка овчин, и он не брал кож на дом, а мужики сами, по его указаниям, занимались кожами. Обыкновенно он сам приходил к мужику, который начинал выделывать кожу, приспособив для этой цели колоду или бочку, учил, когда надо класть дуб, муку, как сводить шерсть и так далее. Мужики платили ему за работу хлебом, яйцами, молоком.

В конце 1922 года что-то удалось напечатать в журнале «Красная новь», оттуда выслали ему несколько миллионов. На радостях он пошёл по деревням с мешком за плечами собирать с мужиков долги за овчины и кожи и всем смеясь говорил:

– Вот как миллионеры ходят, денег у меня теперь больше, чем в уездном казначействе.

Мужики сочувственно поддакивали, советовали жениться, находили невест с хорошим приданым, с домом, коровой и полным хозяйством. И в самом деле, ему уже за пятьдесят, а всё ещё не женат, притом человек крепкий, моложавый, весёлый, да ещё такой мастер…

Он же вдруг прекратил выделку кож, снова занялся литературой и вскоре уехал в Ленинград (тогда ещё Петроград).

Начинается последний, самый яркий и мощный период его литературной деятельности. Его потянуло к истории России, революционным движениям народа. Он по-прежнему писал мелкие рассказы, но в то же время работал, собирая материал в библиотеке Академии наук. Когда он начал собирать материал, у него ещё в мыслях не было писать о Разине. Вначале он занимался пятнадцатым и шестнадцатым веками. Очень интересовался старым Новгородом, потом натолкнулся на дело разинцев, и мало-помалу оно овладело им.

Между прочим, нужно сказать, что роман свой «Разин Степан» он начал писать без заранее составленного плана, а так, просто по наитию; только потом, когда роман потребовал тщательного изучения документов, Чапыгин с изумительной усидчивостью и добросовестностью взялся за материалы.

Писание романа, творчество шло рядом с изучением материала, и он был упоён тем и другим. Я никогда не видал его более деятельным, более счастливым, вдохновенным, чем в это время. Он перетащил меня жить в тот же дом по улице Литераторов, где жил сам в то время, и я был невольным свидетелем всей его жизни и деятельности за последние тринадцать лет. Это был самый счастливый период его жизни, и недаром он говаривал про себя, что живёт с каждым годом лучше.

У него была слабость, которая не всякому могла понравиться. Он чрезмерно любил то, что его окружало, любил свои вещи и те, что делал сам. Всякая приобретённая им вещь, раз она попадала в его комнату, становилась совершенством, и каждый гость должен был воздать ей похвалу.

Помню, я пришёл к нему, когда он только что занял комнату в доме на улице Литераторов. Мне пришлось выслушать длинную историю о том, как он нашёл эту комнату, как ремонтировал пол, как печник Лука делал ему печку с перекидной трубой и, наконец, как он доволен.

И правда, он, живя в городе, никогда не занимал такой комнаты, какая была теперь. «А главное – тишина», – говорил он, принимаясь щепать лучину из сухого полена.

Вскоре он затопил свою обожаемую печку, весело зашумело в трубе, запахло дымком. Мы сели рядом перед огнём, и обоим нам казалось, что мы сидим, как бывало, перед каменкой в лесной избе.

– Вот собираю материал, только ещё не знаю, что выйдет, – сказал он. – Язык старой Руси постигаю. Ты послушай, как писали. – Он, закурив трубку, взял со стола том исторических актов и прочитал челобитную монахов (каких – не помню) царю Алексею Михайловичу.

Читал ещё грамоты воевод, много говорил о старой Руси, и я видел, что он готовится к исторической работе.

«Разина» писал он с увлечением – писал, как всегда, по ночам, и роман удавался. Такими яркими, сочными выходили из-под пера сцены этого большого полотна, что редко-редко требовались какие-нибудь переделки или дополнения.

Жил он в ту пору так: утром долго спал после ночной работы, вставал часов в одиннадцать, непременно затоплял печку, потом шёл на кухню за кипятком, ставил чайник на маленькую плиту, что над топкой в печке. В двенадцатом часу появлялись гости, так как принимал он гостей только утром.

Посидев с гостями, он шёл навестить кого-нибудь из своих многочисленных знакомых и возвращался домой в шестом часу. Обед нам готовила уборщица дома, в то же время исполнявшая и обязанности дворника, Евдокия Яковлевна. Обедали на кухне, после обеда Чапыгин опять куда-нибудь уходил. Часов с девяти-десяти вечера он принимался за дело.

Снова топилась печка, снова шумело в трубе, пахло дымом, кипел чайник на плите, комната нагревалась. Попив чаю, он садился работать на всю ночь. Впрочем, нередко он работал и днём, и в вечерние часы. Отдыхал он за другой работой, не требующей умственного напряжения: переплетал книги, ремонтировал мебель, иногда играл с кем-нибудь в шахматы.

После издания «Разина», когда у него стало больше средств, он начал обставлять свою комнату старинной мебелью, но покупал, обыкновенно, лишь мебель полуразбитую, какое-нибудь ободранное кресло, облупленный шкаф, стол. Как только привозил свои покупки, тотчас начинал их реставрировать, не жалея на это времени.

Однажды он купил три ободранных кресла красного дерева и позвал меня посмотреть покупки и посоветоваться насчёт обивки кресел.

– Штофу, что ли, купить?

Я сказал, что малиновый штоф был бы хорош, и даже лучше обить кресла голубым. На второй день я увидел такую картину: вся комната Алексея Павловича была устлана поповскими ризами. Рослый волосатый старик ползал по ризам и, крестясь и бормоча что-то, срезал нашитые на ризах кресты.

– Вот обивку человек принёс для кресел, – объяснил Чапыгин. – Хорошая парча, старинная.

Потом он, сияющий, показал мне письмо Горького из Сорренто. Письмо было чрезвычайно лестное для Чапыгина. Горький, восторженно отзываясь о «Разине», удивлялся мастерству писателя и его знаниям. Алексей Максимович писал свои отзывы, когда роман печатался в журнале «Красная новь». Узнав, что Чапыгин не думает описывать казнь Разина (так было по замыслу автора вначале), он настойчиво советовал довести роман до конца. Чапыгин послушался и написал последние сцены – конец Разина.

Он по-прежнему ездил каждое лето в деревню и там, лет девять назад, построил для себя избу у Зяблого ручья, только не курную, как мечтал когда-то.

На охоту ходил уже реже, чем в молодости, больше всего проводил время в разговоре с деревенскими приятелями. Писал мало, разве только в дождливую погоду.

Между прочим, в деревне он начал писать «Гулящих людей» и увлёкся этой работой.

Я тоже был тогда в деревне, и мы часто бывали друг у друга. По старой памяти ходили на охоту, и чаще всего к Петушковой избе. Как только я приходил, Алексей Павлович сейчас же затевал соревнование со мной по стрельбе из своей мелкокалиберной винтовки, а потом, за чаем, читал мне написанное им за последние дни. Сидели мы в большой комнате с чистым, хорошо набранным потолком и полом, пахнущими смолой стенами. В открытое окно лился запах ржаного поля, слышны были журчание Зяблого ручья и тихий гомон птиц в густых порослях ольшатника.

Прослушав начало «Гулящих людей», я захотел узнать сюжет романа и притом сказал, что главный герой произведения не историческое лицо, и это снижает интерес к произведению.

Алексей Павлович согласился со мной, но в то же время вовсе не хотел изменять своему замыслу. Народ, безвестные народные герои-революционеры занимали его в то время. Он верил, что этот, его последний, роман удастся, как всё ему удавалось.

Шестидесяти пяти лет он работал, как юноша, и до конца своей жизни был молод душой. Это был человек огромной жизненной силы.

Список произведений М. В. Чернокова и литературы о нём*

СОЧИНЕНИЯ

Книги

1. **Тёплые росы : рассказы**.— М. ; Л. : Госиздат, 1926.— 133 с.

Рец.: Палей А. Р. [Рецензия] / А. Р. Палей // Печать и революция.— 1926.— № 6.— С. 215–216.— (Отзывы о книгах. Художественная литература) ; Анибал Б. [Рецензия] / Б. Анибал // Книгоноша.— 1926.— № 18.— С. 34; Полякова М. [Рецензия] / М. Полякова // Красная новь.— 1926.— № 9.— С. 230.

2. **Простор** : [рассказы].— Л. : Изд-во писателей в Ленинграде, 1930.— 174 с.

Рец.: Дмитриев Н. Нужная для деревни книга / Н. Дмитриев // Перелом.— 1930.— № 5.— С. 25 ; Шухер В. [Рецензия] / В. Шухер // Резец.— 1930.— № 32.— С. 17.— («На литературном посту») ; Бутенко Ф. [Рецензия] / Ф. Бутенко // Литературная газета.— 1930.— № 38.— С. 4.

3. **Житие Васьки Змиева** : повесть.— Л. ; М. : ВОПКИ : Гос. изд-во худож. лит., 1931.— 136 с.— (Новинки пролетарско-колхозной литературы).

4. **Жизнь Васьки Змиева** : [повесть].— Л. : Изд-во писателей в Ленинграде, 1933.— 167 с.

Рец.: Брайнина Б. [Рецензия] / Б. Брайнина // Художественная литература.— 1934.— № 1.— С. 56 ; Соболев В. Мирное житие Васьки Змиева / В. Соболев // Литературная газета.— 1933.— 23 сент. (№ 44).— С. 3.

5. **Книжники** : роман. Кн. 1 / худож. С. Юдовин.— Л. : Изд-во писателей в Ленинграде, 1933.— 184 с.

Рец.: Лурье А. [Рецензия] / А. Лурье // Художественная литература.— 1933.— № 8.— С. 50.

6. **Охотники** : [повесть].— Л. : Гослитиздат, 1936.— 140 с.

7. **Близкое и далёкое** : повесть.— Л. : Гослитиздат, 1940.— 220 с., 1 вкл. л. ил.

Публикации в периодической печати

8. **Бурый** : рассказ // Летопись: ежемесячный литературный, научный и политический журнал.— 1916.— № 8.— С. 68–85.

9. **Крутая ступь** : рассказ // Звезда.— 1925.— № 4.— С. 125–141.

10. **Починка** : рассказ // Звезда.— 1926.— № 1.— С. 99–119.

11. **Книжники** : роман // Звезда.— 1932.— № 2.— С. 62–118.

12. **Детство Акима** : [повесть] // Звезда.— 1935.— № 5.— С. 114–158; № 7.— С. 94–116.

13. **Председатель** : повесть // Звезда.— 1937.— № 4.— С. 114–156.

14. **Близкое и далёкое** : [повесть] // Литературный современник.— 1940.— № 1.— С. 22–68 ; № 2.— С. 61–114.

15. **А. П. Чапыгин** : из воспоминаний // Север : [альманах].— Архангельск, 1938.— № 4.— С. 77–85.

---

* Записи в списке расположены в порядке прямой хронологии.

Литература о М. В. Чернокове

1. **Никитин.** Творчество Чернокова // Перелом.— 1931.— № 11/12.— С. 65-66.— (Творческий смотр – боевая задача всей организации ЛОРОПКП).
2. **Плиско Арс.** Михаил Черноков : (литературный портрет) // Перелом.— 1931.— № 7.— С. 40-45.
3. **Оксенов И.** М. Черноков // Литературный Ленинград.— 1933.— 20 дек. (№ 21).— С. 2.— (Писатели, о которых пора заговорить).
4. **Блюм А. В.** Забытая страница библиофильской прозы: Михаил Черноков и его роман «Книжники» / А. Блюм // Альманах библиофила.— М. : Книга, 1981.— Вып. 10.— С. 223-244.
5. **Гречихин А.** Библиографическая эвристика : история, система, возможности / А. Гречихин // Библиотекарь.— 1982.— № 7.— С. 35-37.— Из содерж.: [О поиске ленинградским книговедом А. В. Блюмом информации о М. Чернокове, авторе романа «Книжники»].— С. 37.

На примере поиска А. В. Блюмом информации о М. Чернокове автор поэтапно рассматривает решение одной из типичных задач эвристической практики: поиск информации об авторе какого-либо труда.

6. **Черноков** Михаил Васильевич // Писатели Ленинграда : биобиблиографический справочник, 1934-1981 / авт-сост. : В. Бахтин, А. Лурье.— Ленинград : Лениздат, 1982.— С. 329.
7. **Пономарев Б. С.** Ученик Алексея Чапыгина / Б. Пономарев // Правда Севера.— 1985.— 6 июля.
8. **Черноков** Михаил Васильевич // Ленинградские писатели-фронтовики, 1941-1945 : автобиографии, биографии, книги / авт.-сост. В. Бахтин.— Ленинград, 1985.— С. 492-493.
9. **Пономарев Б. С.** Писатель Михаил Черноков : (к 100-летию со дня рождения) / Б. С. Пономарев // Памятные даты Архангельской области, 1987 год.— Архангельск, 1986.— С. 54-55.
10. [**Макаров Н. А**.] «Написано любопытно, ярко и серьёзно…» / Александров // Строитель коммунизма.— 1987.— 21 нояб.— Псевд.: Александров.
11. **Скоморохов М.** Михаил Черноков / М. Скоморохов // Строитель коммунизма.— 1988.— 28 июля.
12. **Пономарёв Б. С.** Забытое имя / Б Пономарёв // Литературный Архангельск : события, имена, факты, 1920-1988 / Б. Пономарёв.— Архангельск, 1989.— С. 104-107.
13. **Макаров Н. А.** Михаил Черноков / Н. А. Макаров // Земля Плесецкая : годы, события, люди / Н. А. Макаров.— пос. Плесецк (Архангельская область), 1997.— С. 116-119.
14. **Макаров Н. А.** Михаил Черноков / Н. А. Макаров // Земля Плесецкая : годы, события, люди / Н. А. Макаров.— 2-е изд., доп. и испр.— Архангельск, 2002.— С. 548-553.
15. **Михайлов А. И.** Ленинградское отделение Российской организации пролетарско-колхозных писателей (1931-1932 гг.) / А. И. Михайлов // Из истории литературных объединений Петрограда-Ленинграда 1910-1930-х годов : исследования и материалы / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом).— СПб., 2002.— Кн. 1.— С. 327-361.

Упоминается М. Черноков, раскритикованный в докладе Секретариата (1931 г.) за «мировоззренческое отставание», но более всего за «увлечение общечеловеческими иллюзиями» и «подмену социалистической реконструкции деревни культурничеством народнического толка».

16. **Макаров Н. А.** Черноков Михаил Васильевич / Н. А. Макаров // Поморская энциклопедия : в 5 т. / Ломоносовский фонд.— Архангельск, 2012.— Т. 4.— С. 582.

СОДЕРЖАНИЕ